



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Acquired through the
HOOVER INSTITUTION

The Nicolas A. de Basily
Memorial Collection



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

35/22

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ V

HERZEN A.
ŒUVRES D'ALEXANDRE HERZEN

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ V

Съ того берега. — Русскій народъ и социализмъ. —
Крещеная собственность. — Старый міръ и Россія. —
Вольное русское книгопечатаніе въ Лондонѣ. —
Юрьевъ день! Юрьевъ день! — Поляки прощаются
насъ. — Вольная русская община въ Лондонѣ. —
XXIII годовщина польскаго возстанія въ Лондонѣ. —
Народный сходъ въ память февральской революціи.

GENÈVE — BALE — LYON
H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1878

Tous droits réservés.

AC 105

1/42

136

1847---1859

ОГЛАВЛЕНІЕ.

1847—1859.

	Стр.
Съ того берега.	1
Введеніе. — I. Передъ грозой. — II. Послѣ грозы. —	
III. LVII годъ Республики.—IV. Vixerunt. — V. Con-	
solatio. — VI. Эпиграфъ 1849 года. — VII. Omnia mea	
mecum porto. — VIII. Доново Кортесъ.	
Русскій народъ и Соціализмъ (<i>Письмо къ Мишле</i>)	173
Крещеная собственность.	217
Старый міръ и Россія (<i>Письма къ В. Лигтону</i>)	249
Вольное русское книгопечатаніе въ Лондонѣ. (<i>Братъямъ на</i>	
<i>Руси</i>).	297
I. Юрьевъ день! Юрьевъ день! (<i>Русскому дворянству</i>) . . .	301
II. Поляки прощаютъ насъ!	310
III. Вольная русская община въ Лондонѣ. (<i>Русскому воинству</i>	
<i>въ Польшу</i>)	320
IV. XXIII годовщина польскаго возстанія въ Лондонѣ. (Рѣчь). .	327
V. Народный сходъ въ память февральской революціи. (Рѣчь). .	336

СЪ ТОГО БЕРЕГА



СЫНУ МОЕМУ АЛЕКСАНДРУ



Другъ мой Саша,

Я посвящаю тебѣ эту книгу, потому что я ничего не писалъ лучшаго и вѣроятно ничего лучшаго не напишу; потому что я люблю эту книгу какъ памятникъ борьбы, въ которой я пожертвовалъ многимъ, но не отвагой знанія; потому наконецъ, что я нисколько не боюсь дать въ твои отроческія руки этотъ, мѣстами дерзкой, протестъ независимой личности противъ возрѣнія устарѣлаго, рабскаго и полного лжи, противъ нелѣпныхъ идоловъ, принадлежащихъ иному времени и безсмысленно доживающихъ свой вѣкъ между нами, мѣшая однимъ, пугая другихъ.

Я не хочу тебя обманывать, знай истину, какъ я ее знаю; тебѣ эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвыми разочарованіями, а просто по праву наслѣдства.

Въ твоей жизни придутъ иные вопросы, иные столкновенія... въ страданіяхъ, въ трудѣ недостатка не будетъ. Тебѣ 15 лѣтъ — и ты уже испыталъ страшные удары.

Не ищи рѣшеній въ этой книгѣ — ихъ нѣтъ въ ней, ихъ вообще нѣтъ у современнаго человѣка. То, что рѣшено, то кончено, а грядущій переворотъ только что начинается.

Мы не строимъ, мы ломаемъ, мы не воздвигаемъ новаго откровенія, а устраняемъ старую ложь. Современный человѣкъ, печальный Pontifex Maximus ставитъ только мостъ — иной, неизвѣстный, будущій пройдетъ по немъ. Ты можешь увидишь его... не останься на *старомъ берегу*... Лучше съ нимъ погибнуть, нежели спастись въ богадѣльныя реакціи.

Религія грядущаго общественнаго пересозданія — одна религія, которую я завѣщаю тебѣ. Она безъ рая, безъ вознагражденія, кромѣ собственнаго сознанія, кромѣ совѣсти... Идти въ свое время проповѣдывать ее, въ Намъ *домой*; тамъ любили когда-то мой языкъ и можетъ вспоминать меня.

... Благословляю тебя на этотъ путь во имя человѣческаго разума, личной свободы и братской любви!

Твой Отецъ.

Твикнемъ, 1 Января 1855 г.

«Vom andern Ufer», первая книга изданная мною на Западѣ; рядъ статей, составляющихъ ее, былъ написанъ по русски, въ 1848 и 49 году. Я ихъ самъ продиктовалъ молодому литератору Ф. Каппу по нѣмецки.

Теперь многое не ново въ ней. *) Пять страшныхъ лѣтъ научили кой-чему самыхъ упорныхъ людей, самыхъ нераскаянныхъ грѣшниковъ *нашего* берега. Въ началѣ 1850 г., книга моя сдѣлала много шума въ Германіи; ее хвалили и бранили съ ожесточеніемъ и рядомъ съ отзывами, больше нежели лестными, такихъ людей какъ Юліусъ Фребель, Якоби, Фальмерейеръ — люди талантливые и добросовѣстные съ негодованіемъ нападали на нее.

Меня обвинили въ проповѣдываніи отчаянія, въ незнаніи народа, въ *dérir amougeux* противъ революціи, въ *неуваженіи* къ демократіи, къ массамъ, къ Европѣ...

Второе Декабря отвѣтило имъ громче меня.

Въ 1852 г. я встрѣтился въ Лондонѣ съ самымъ остроумнымъ противникомъ моимъ, съ Зольгеромъ — онъ укладывался, чтобъ скорѣе ѣхать въ Америку, въ Европѣ казалось ему *дѣлать* нечего. „Обстоятельства, замѣтилъ я, кажется убѣдили васъ, что я былъ не во-

*) Я прибавилъ три статьи, напечатанныя въ журналахъ и назначенныя для *второго* изданія, которое нѣмецкая цензура не позволила; эти три статьи: „Эпилогъ“, „Omnia mea mecum porto“ и „Дондзо Кортезъ“. Ими замѣнилъ я небольшую статью объ Россіи, писанную для иностранцевъ.

все неправъ?“—„Миѣ не нужно было столько, отвѣчалъ Зольгеръ, добродушно смѣясь, чтобъ догадаться, что я тогда писалъ большой вздоръ.“

Не смотря на это милое сознаніе—общій выводъ сужденій, оставшееся впечатленіе были скорѣе противъ меня. Не выражаетъ-ли это чувство раздражительности близость опасности, страхъ передъ будущимъ, желаніе скрыть свою слабость, капризное, окаменѣлое старчество?

... Странная судьба русскихъ—видѣть дальше сосѣдей, видѣть мрачнѣе, и смѣло высказывать свое мнѣніе—русскихъ, этихъ „нѣмыхъ“, какъ говорилъ Мишле.

Вотъ что писалъ, гораздо прежде меня одинъ изъ нашихъ соотечественниковъ: „Кто болѣе нашего славилъ преимущество XVIII вѣка, свѣтъ философіи, смягченіе нравовъ, всемѣстное распространеніе духа общественности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь народовъ, кротость правленій?... хотя и являлись еще нѣкоторыя черныя облака на горизонтѣ человѣчества, но свѣтлый лучъ надежды златилъ уже края оныхъ... Конецъ нашего вѣка почитали мы концемъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества, и думали, что въ немъ послѣдуетъ соединеніе теоріи съ практикой, умозрѣнія съ дѣятельностью... Гдѣ теперь эта утѣшительная система? Она разрушилась въ своемъ основаніи; XVIII-й вѣкъ кончается, и несчастный филантропъ мѣрзаетъ двумя шагами могилу свою, чтобъ лечь въ нее съ обманутымъ, растерзаннымъ сердцемъ своимъ и закрыть глаза на вѣки.“

„Кто могъ думать, ожидать, предвидѣть? Гдѣ люди, которыхъ мы любили? Гдѣ плодъ наукъ и мудрости? Вѣкъ просвѣщенія, я не узнаю тебя; въ крови и пламени, среди убійствъ и разрушеній, я не узнаю тебя.“

„Мизософы торжествуютъ. Вотъ плоды вашего просвѣщенія, говорятъ они, вотъ плоды вашихъ наукъ; да погибнетъ философія.—И бѣдный лишенный отечества, и бѣдный лишенный крова, отца, сына или друга, повторяетъ: да погибнетъ.

„Кровопролитіе не можетъ быть вѣчно. Я увѣренъ, рука сѣкущая мечемъ утомится; сѣра и селитра истощатся въ нѣдрахъ земли и громы умолкнутъ, тишина рано или поздно настанетъ, но какова будетъ она? — есть ли мертвая, хладная, мрачная...

„Паденіе наукъ кажется мнѣ не только возможнымъ, но даже неминуемымъ, даже близкимъ. Когда же падутъ онѣ; когда ихъ вѣликолѣпное зданіе разрушится, благодѣтельные лампы угаснутъ — что будетъ? Я ужасаюсь и чувствую трепетъ въ сердцахъ. Положимъ, что нѣкоторыя искры и спасутся подъ пепломъ; положимъ, что нѣкоторые люди и найдутъ ихъ, освѣтятъ ими тихія, уединенныя свои хижины — но что-же будетъ съ міромъ?

„Я закрываю лицо свое!

„Уже-ли родъ человѣческій доходилъ въ наше время до крайней степени возможнаго просвѣщенія и долженъ снова погрузиться въ варварство и снова мало по малу выходить изъ онаго, подобно Сизифову камню, который, будучи вознесенъ на верхъ горы, собственной тяжестью скатывается внизъ и опять рукою вѣчнаго труженика на гору возносится? — Печальный образъ!

„Теперь мнѣ кажется, будто самыя лѣтописи доказываютъ вѣроятность сего мнѣнія. Намъ едва извѣстны имена древнихъ Азіятскихъ народовъ и царствъ, но по нѣкоторымъ историческимъ отрывкамъ можно думать, что сіи народы были не варвары..... Царства разрушались, народы исчезали, изъ праха ихъ рождались новыя

племена, рождались въ сумракѣ, въ мерцаніи, младенчествовали, учились и славились. Можетъ быть Эоны погрузились въ вѣчность и нѣсколько разъ сіялъ день въ умахъ людей и нѣсколько разъ ночь темнила души, прежде нежели возсіялъ Египетъ.

„Египетское просвѣщеніе соединяется съ греческимъ. Римляне учились въ сей великой школѣ.

„Что-же послѣдовало за сею блестящею эпохой? Варварство многихъ вѣковъ.

„Медленно рѣдѣла, медленно прояснилась густая тьма. Наконецъ солнце возсіяло, добрые и легковѣрные человѣколюбцы заключали отъ успѣховъ къ успѣхамъ, видѣли близкую цѣль совершенства и въ радостномъ упоеніи восклицали *берегъ!* но вдругъ небо дымится и судьба человѣчества скрывается въ грозныхъ тучахъ. О потомство! Какая участь ожидаетъ тебя?

„Иногда несносная грусть тѣснить мое сердце, иногда упадаю на колѣна и простираю руки свои къ невидимому... Нѣтъ отвѣта! — голова моя клонится къ сердцу.

„Вѣчное движеніе въ одномъ кругу, вѣчное повтореніе, вѣчная смѣна дня съ ночью и ночи съ днемъ, капля радостныхъ и море горестныхъ слезъ. Мой другъ! на что жить мнѣ, тебѣ и всѣмъ? На что жили предки наши? На что будетъ жить потомство?

„Духъ мой унылъ, слабъ и печаленъ!“

Эти выстраданныя строки, огненные и полныя слезъ были писаны въ концѣ девяностыхъ годовъ — *Н. М. Карамзинымъ.*

Введеніемъ къ русской рукописи были нѣсколько словъ, обращенныхъ къ друзьямъ на Руси. Я не счелъ нужнымъ повторять ихъ въ нѣмецкомъ изданіи — вотъ они:

ПРОЩАЙТЕ!

(Парижъ 1 Марта 1849.)

Наша разлука продолжится еще долго — можетъ всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потому не знаю, будетъ-ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь, надобно-же объяснить въ чемъ дѣло. Если я кому-нибудь повиненъ отчетомъ въ моемъ отсутствіи, въ моихъ дѣйствіяхъ, то это конечно вамъ, мои друзья.

Непреодолимое отвращеніе и сильный внутренний голосъ, что-то пророчашій, не позволяютъ мнѣ переступить границу Россіи, особенно теперь, когда самодержавіе, озлобленное и испуганное всѣмъ что дѣлается въ Европѣ, душитъ съ удвоеннымъ ожесточеніемъ всякое умственное движеніе и грубо отрѣзываетъ отъ освобождающагося человѣчества шестьдесятъ милліоновъ человѣкъ, загораживая послѣдній свѣтъ, скудно падавшій на малое число изъ нихъ, своей черною, желѣзною рукой, на которой запеклась польская кровь. Нѣтъ, друзья мои, я не могу переступить рубежъ этого царства мглы, произвола, молчаливаго замиранья, гибели безъ вѣсти, мученій съ платкомъ во рту. Я подожду то тѣхъ поръ, пока усталая власть, ослабленная безуспѣшными усиліями и возбужденнымъ противудѣйствіемъ, не признаетъ *чего-нибудь* достойнымъ уваженія въ рускомъ человѣкѣ!

Пожалуйста не ошибитесь; не радость, не разсѣяніе, не отдыхъ, ни даже личную безопасность нашель я здѣсь; да и не знаю, кто можетъ находить теперь въ Европѣ радость и отдыхъ, отдыхъ во время землетря-

сенія, радость во время отчаянной борьбы. Вы видѣли грусть въ каждой строкѣ моихъ писемъ; жизнь здѣсь очень тяжела, ядовитая злоба примѣшивается къ любви, желчь къ слезѣ, лихорадочное безпокойство точитъ весь организмъ. Время прежнихъ обмановъ, упований миновало. Я ни во что не вѣрю здѣсь, кромѣ въ кучку людей, въ небольшое число мыслей, да въ невозможность остановить движеніе; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалѣю ничего изъ существующаго, ни ея вершинное образованіе, ни ея учрежденія... я ничего не люблю въ этомъ мірѣ, кромѣ того что онъ преслѣдуетъ, ничего не уважаю, кромѣ того что онъ казнитъ—и остаюсь... остаюсь страдать вдвойнѣ, страдать отъ своего горя и отъ его горя; погибнуть, можетъ быть, при разгромѣ и разрушеніи, къ которому онъ несется на всѣхъ парахъ.

Зачѣмъ-же я остаюсь?

Остаюсь затѣмъ, что борьба *здѣсь*, что, не смотря на кровь и слезы, здѣсь разрѣшаются общественные вопросы, что здѣсь страданія болѣзненны, жгучи, но *масы*, борьба открытая, никто не прячется. Горе побѣжденнымъ, но они не побѣждены прежде боя, не лишены языка прежде, чѣмъ вымолвили слово; велико насилие, но протестъ громокъ; бойцы часто идутъ на галеры, скованные по рукамъ и ногамъ, но съ поднятой головой, съ свободной рѣчью. Гдѣ не погибло слово, тамъ и дѣло еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту рѣчь, за эту гласность—я остаюсь здѣсь; за нее я отдаю все, я васъ отдаю за нее, часть своего достоянія, а можетъ отдамъ и жизнь въ рядахъ энергическаго меньшинства, „гонимыхъ, но не низлагаемыхъ.“

За эту рѣчь я переломилъ или, лучше сказать, за-

глушилъ на время мою кровную связь, съ народомъ, въ которомъ находилъ такъ много отзвуковъ на свѣтлыя и темныя стороны моей души, котораго пѣснь и языкъ — моя пѣснь и мой языкъ, и остаюсь съ народомъ, въ жизни котораго я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетарія и отчаянному мужеству его друзей.

Дорого мнѣ стоило рѣшиться... вы знаете меня... и повѣрите. Я заглушилъ внутреннюю боль, и перестрадалъ борьбу, и рѣшился не какъ негодующій юноша, а какъ человѣкъ обдумавшій что дѣлаетъ, сколько теряетъ... Мѣсяцы цѣлые взвѣшивалъ я, колебался, и наконецъ принесъ все на жертву:

*Человѣческому достоинству,
Свободной рѣчи.*

До послѣдствій мнѣ нѣтъ дѣла, они не въ моей власти, они скорѣе во власти своевольнаго каприза, который забылся до того, что очертилъ произвольнымъ циркулемъ не только наши слова, но и наши шаги. Въ моей власти было не послушаться—я и не послушался.

Повиноваться противно своему убѣжденію, когда есть возможность не повиноваться—безиравственно. Страдательная покорность становится почти невозможной. Я присутствовалъ при двухъ переворотахъ, я слишкомъ жилъ свободнымъ человѣкомъ, чтобъ снова позволить сковать себя; я испыталъ народныя волненія, я привыкъ къ свободной рѣчи, и не могу сдѣлаться вновь крѣпостнымъ, ни даже для того, чтобъ страдать съ вами. Еслибъ еще надо было умѣрить себя для общаго дѣла, можетъ силы нашлись бы; но гдѣ на сію минуту наше общее дѣло? У васъ дома нѣтъ почвы, на которой можетъ стоять свободный человѣкъ. Можете-ли вы послѣ этого звать?.. На борьбу идемъ, на глухое му-

ченичество, на безплодное молчаніе, на повиновеніе — ни подъ какимъ видомъ. Требуйте отъ меня всего, но не требуйте двосдушія, не заставляйте меня снова представлять вѣрноподданнаго, уважьте во мнѣ свободу человѣка.

Свобода лица, величайшее дѣло; на ней и *только на ней* можетъ вырасти дѣйствительная воля народа. Въ себѣ самомъ человѣкъ долженъ уважать свою свободу и чтить ее не менѣе какъ въ ближнихъ, какъ въ цѣломъ народѣ. Если вы въ этомъ убѣждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здѣсь мое право, мой долгъ; это единственный протестъ, который можетъ у насъ сдѣлать личность, эту жертву она должна принести своему человѣческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаленіе бѣгствомъ и извините меня только вашей любовью, это будетъ значить, что вы еще не совершенно свободны.

Я все знаю, что можно возразить съ точки зрѣнія романтическаго патріотизма и цивической натянутости; но я не могу допустить этихъ старовѣрческихъ воззрѣній, я ихъ пережилъ, я вышелъ изъ нихъ и именно противъ нихъ борюсь. Эти подогрѣтые остатки римскихъ и христіанскихъ воспоминаній мѣшаютъ больше всего водворенію истинныхъ понятій о свободѣ, понятій здоровыхъ, ясныхъ, возмужалыхъ. По счастью въ Европѣ нравы и долгое развитіе восполняютъ долею нелѣпыя теоріи и нелѣпыя законы. Люди, живущіе здѣсь, живутъ на почвѣ удобренной двумя цивилизаціями; путь, пройденный ихъ предками въ продолженіи двухъ съ половиною тысячелѣтій не былъ напрасенъ, много человѣческаго выработалось независимо отъ внѣшняго устройства и офиціальнаго порядка.

Въ самыя худшія времена европейской исторіи мы

встрѣчаемъ нѣкоторое уваженіе къ личности, нѣкоторое признаніе независимости, нѣкоторыя права, уступаемыя таланту, гению. Не смотря на всю гнусность тогдашнихъ нѣмецкихъ правительствъ, Спинозу не послали на поселеніе, Лесняга не сѣкли или не отдали въ солдаты. Въ этомъ уваженіи не къ одной матеріальной, но и къ нравственной силѣ, въ этомъ невольномъ признаніи личности—одинъ изъ великихъ человѣческихъ принциповъ европейской жизни.

Въ Европѣ никогда не считали преступникомъ, живущаго за границей и измѣнникомъ переселяющагося въ Америку.

У насъ нѣтъ ничего подобнаго. У насъ лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у насъ всегда считалось за дерзость, самобытность за крамолу; человѣкъ пропадалъ въ государствѣ, распускался въ общинѣ. Переворотъ Петра I замѣнилъ устарѣлое, помѣщичье управленіе Русью — европейскимъ канцелярскимъ порядкомъ; все что можно было переписать изъ шведскихъ и нѣмецкихъ законодательствъ, все что можно было перенести изъ муниципально-свободной Голландіи въ страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признаніе правъ лица, правъ мысли, истины, не могло перейти и не перешло. Рабство у насъ увеличилось съ образованіемъ; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротивъ, чѣмъ сильнѣе становилось государство, тѣмъ слабѣе лицо. Европейскія формы администраціи и суда, военнаго и гражданскаго устройства, развились у насъ въ какой-то чудовищный, безвыходный деспотизмъ.

Еслибъ Россія не была такъ пространна, еслибъ чу-

железное устройство власти не было такъ смутно устроено и такъ безпорядочно выполнено, то безъ преувеличенія можно сказать, что въ Россіи нельзя бы было жить ни одному человѣку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство.

Избалованность власти, не встрѣчавшей никакого противудѣйствія, доходила нѣсколько разъ до необузданности, не имѣющей ничего себѣ подобнаго ни въ какой исторіи. Вы знаете мѣру ея изъ разсказовъ о поэтѣ своего ремесла, императорѣ Павлѣ. Отнимите капризное, фантастическое у Павла, и вы увидите, что онъ вовсе не оригиналенъ, что принципъ, вдохновлявшій его, одинъ и тотъ-же не токмо во всѣхъ царствованіяхъ, но въ каждомъ губернаторѣ, въ каждомъ квартальномъ, въ каждомъ помѣщикѣ. Опьяненіе самовластия овладѣваетъ всѣми степенями знаменитой іерархіи въ четырнадцать ступеней. Во всѣхъ дѣйствіяхъ власти, во всѣхъ отношеніяхъ высшихъ къ низшимъ проглядываетъ нахальное безстыдство, наглое хвастовство своей безответственностью, оскорбительное сознаніе, что лицо все вынесетъ: тройной наборъ, законъ о заграничныхъ видахъ, исправительныя розги въ инженерномъ институтѣ. Такъ какъ Молороссія вынесла крѣпостное состояніе въ XVIII вѣкѣ; такъ какъ вся Русь наконецъ повѣрила, что людей можно продавать и перепродавать, и никогда никто не спросилъ, на какомъ законномъ основаніи все это дѣлается; ни даже тѣ, которыхъ продавали. Власть у насъ увѣреннѣе въ себѣ, свободнѣе, нежели въ Турціи, нежели въ Персіи, ее ничего не останавливаетъ, никакое прошедшее; отъ своего она отказалась, до европейскаго ей дѣла нѣтъ; народность она не уважаетъ, общечеловѣческой образованности не знаетъ, съ настоящимъ — она борется. Прежде крайней

мѣрѣ правительство стыдилось сосѣдей, училось у нихъ, теперь оно считаетъ себя призваннымъ служить при-
мѣромъ для всѣхъ притѣснителей; теперь оно по-
учается.

Мы съ вами видѣли самое страшное развитіе импе-
раторства. Мы выросли подъ терроромъ, подъ черными
крыльями тайной полиціи, въ ея когтяхъ; мы изуро-
довались подъ безнадежнымъ гнетомъ, и уцѣлѣли кой-
какъ. Но не мало-ли этого? не пора-ли развязать себѣ
руки и слово для дѣйствія, для примѣра, не пора-ли
разбудить дремлющее сознаніе народа? а развѣ можно
будить, говоря шопотомъ, дальними намеками, когда
крикъ и прямое слово едва слышны? Открытія, откры-
венныя дѣйствія необходимы; 14 Декабря такъ сильно
потрясло всю молодую Русь, оттого что оно было на
Исакиевской площади. Теперь не токмо площадь, но
книга, кафедра—все стало невозможно въ Россіи. Оста-
ется личный трудъ въ тиши или личный протестъ
издали.

Я остаюсь здѣсь не только потому, что мнѣ про-
тивно, переѣзжая черезъ границу, снова надѣтъ ко-
лодки; но для того чтобъ работать. Жить сложа руки
можно вездѣ; здѣсь мнѣ нѣтъ другаго дѣла, кромѣ
нашего дѣла.

Кто больше двадцати лѣтъ проносилъ въ груди своей
одну мысль, кто страдалъ за нее и жилъ ею, скитался
по тюрьмамъ и ссылкамъ, кто ею пріобрѣлъ лучшія
минуты жизни, самыя свѣтлыя встрѣчи, тотъ ее не
оставить, тотъ ее не приведетъ въ зависимость виѣшней
необходимости и географическому градусу широты и
долготы. Совсѣмъ напротивъ, я здѣсь полезенъ, я
здѣсь безъ-цензурная рѣчь ваша, вашъ свободный ор-
ганъ, вашъ случайный представитель.

Все это кажется новымъ и страннымъ только намъ, въ сущности тутъ ничего нѣтъ безпримѣрнаго. Во всѣхъ странахъ, при началѣ переворота, когда мысль еще слаба, а матеріальная власть необуздана, люди преданные и дѣятельные отъѣзжали, ихъ свободная рѣчь раздавалась издали, и самое это *издали* придавало словамъ ихъ силу и власть, потому что за словами виднѣлись дѣйствія, жертвы. Мощь ихъ рѣчей росла съ разстояніемъ, какъ сила верженія растеть въ камнѣ, пущенномъ съ высокой башни. Эмиграція первый признакъ приближающагося переворота.

Для русскихъ за границей есть еще другое дѣло. Пора дѣйствительно знакомить Европу съ Русью. Европа насъ не знаетъ; она знаетъ наше правительство, нашъ фасадъ и больше ничего; для этого знакомства обстоятельства превосходны, ей теперь какъ-то не идетъ гордиться и величаво завертываться въ мантию пренебрегающаго незнанія; Европѣ не къ лицу *das vornehme Ignoriren* Россіи, съ тѣхъ поръ какъ она испытала мѣщанское самодержавіе и алжирскихъ казаковъ, съ тѣхъ поръ какъ отъ Дуная до Атлантическаго Океана она побывала въ осадномъ положеніи, съ тѣхъ поръ какъ тюрьмы, галеры полны за убѣжденія... Пусть она узнаетъ ближе народъ, котораго отроческую силу она оцѣнила въ боѣ, гдѣ онъ остался побѣдителемъ; расскажемъ ей объ этомъ мощномъ и неразгаданномъ народѣ, который въ тихомолку образовалъ государство въ шестдесятъ милліоновъ, который такъ крѣпко и удивительно разросся, не утративъ общиннаго начала, и первый перенесъ его черезъ начальные перевороты государственнаго развитія; объ народѣ, который какъ-то чудно умѣлъ сохранить себя подъ вѣсомъ монгольскихъ ордъ и нѣмецкихъ бюрократовъ, подъ капраль-

ской палкой казарменной дисциплины и подъ позорнымъ кнутомъ татарскимъ; который сохранилъ величавыя черты, живой умъ и широкой разгулъ богатой натуры подъ гнетомъ крѣпостнаго состоянія, и въ отвѣтъ на царской приказъ образоваться — отвѣтилъ черезъ столѣтъ громаднымъ явленіемъ Пушкина. Пусть узнають Европейцы своего сосѣда, они его только боятся, надобно имъ знать, чего они боятся.

До сихъ поръ мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжкое положеніе безправія, забывали все хорошее, полное надеждъ, и развитія, что представляетъ наша народная жизнь. Мы дождались Нѣмца для того, чтобъ рекомендоваться Европѣ. Не стыдно-ли?

Успѣю-ли я что сдѣлать?... Не знаю,—надѣюсь!

И такъ прощайте, друзья, на долго... давайте ваши руки, вашу помощь, мнѣ нужно и то и другое. А тамъ это знаетъ, чего мы не видали въ послѣднее время! Быть можетъ и *не такъ далеко*, какъ кажется, тотъ день, въ который мы соберемся, какъ бывало въ Москвѣ, и безбоязненно сдвинемъ наши чаши при крикѣ: „*За Русь и святыю волю!*“

Сердце отказывается вѣрить, что этотъ день не придетъ, замираетъ при мысли вѣчной разлуки. Будто и не увижу эти улицы, по которымъ я такъ часто ходилъ полный юношескихъ мечтаній; эти дома такъ сроднившіеся съ воспоминаніями, наши русскія деревни, нашихъ крестьянъ, которыхъ я вспоминалъ съ любовью на самомъ югѣ Италіи?... не можетъ быть! — Ну, а если? — Тогда я завѣщаю мой тостъ моимъ дѣтямъ и умирая на чужбинѣ, сохраню вѣру въ будущность русскаго народа, и благословлю его изъ дали моей добровольной ссылки!

даніе отвлекаетъ, занимаетъ, утѣшаетъ..... да, да, утѣшаетъ; а главное какъ всякое занятіе, оно мѣшаетъ человѣку углубляться съ собой на единѣ. Мы постоянно ищемъ такихъ или другихъ картъ, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дѣло. Наша жизнь постоянное бѣгство отъ себя, точно угрызенія совѣсти преслѣдуютъ, пугаютъ насъ. Какъ только человѣкъ становится на свои ноги, онъ начинаетъ кричать, чтобъ не слышать рѣчей, раздающихся внутри: ему грустно — онъ бѣжитъ разсѣяться, ему нечего дѣлать — онъ выдумываетъ занятіе; отъ ненависти къ одиночеству—онъ дружится со всѣми, все читаетъ, интересуется чужими дѣлами, наконецъ женится на скорую руку. Тутъ гавань, семейный міръ и семейная война не дадутъ много мѣста мысли; семейному человѣку какъ-то неприлично много думать; онъ не долженъ быть настолько празденъ. Кому и эта жизнь не удалась, тотъ напивается до пьана всѣмъ на свѣтѣ—виномъ, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благотѣніями; ударяется въ мистицизмъ, идетъ въ Іезуиты, налагаетъ на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся нежели какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. Въ этой боязни изслѣдовать, чтобъ не увидать вздоръ изслѣдуемаго, въ этомъ искусственномъ недосугѣ, въ этихъ поддѣльныхъ несчастіяхъ, усложняя каждый шагъ вымышленными путями, мы проходимъ по жизни съ просонья и умираемъ въ чадѣ нелѣпности и пустяковъ не пришедши путемъ въ себя. Престранное дѣло во всемъ, некасающемся внутреннихъ жизненныхъ вопросовъ, люди умны, смѣлы, проникательны; они считаютъ себя, напримѣръ, посторонними природѣ и изучаютъ ее добросовѣстно, тутъ другая метода, другой пріемъ. Не жалко-ли такъ бояться

правды, изслѣдованія? Положимъ, что много мечтаній поблекнутъ, будетъ не легче. а тяжеле — все-же нравственнѣе, достоинѣе, мужественнѣе не ребячиться. Еслибъ люди смотрѣли другъ на друга, какъ смотреть на природу, смѣясь, сошли бы они съ своихъ пьедесталей и курульных креселъ, взглянули бы на жизнь проще, перестали бы выходить изъ себя за то, что жизнь не исполняетъ ихъ гордые приказы и личные фантази. Вы, напримѣръ, ждали отъ жизни совсѣмъ не то, что она вамъ дала; вмѣсто того, чтобъ оцѣнить то, что она вамъ дала вы негодуете на нее. Это негодованіе пожалуй хорошо, острая закваска, влекущая человѣка впередъ, къ дѣятельности, къ движенію; но вѣдь это одинъ начальный толчекъ, нельзя-же только негодовать, проводить всю жизнь въ оплакиваніи неудачъ, въ борьбѣ и досадѣ. Скажите откровенно: чѣмъ вы искали убѣдиться, что требованія ваши истинны?

— Я ихъ не выдумывалъ, они невольно родились въ моей груди; чѣмъ больше я размышлялъ объ нихъ потомъ, тѣмъ яснѣе раскрывалась мнѣ ихъ справедливость, ихъ разумность—вотъ мои доказательства. Это вовсе не уродство, не помѣшательство; тысячи другихъ, все наше поколѣніе страдаетъ почти также, больше или меньше, смотря по обстановкѣ, по степени развитія—и тѣмъ больше, чѣмъ больше развитія. Повсюдная скорбь самая рѣзкая характеристика нашего времени; тяжелая скука налегла на душу современнаго человѣка, сознаніе нравственнаго безсилія его томить, отсутствіе довѣрія къ чему бы то ни было старѣетъ его прежде времени. Я на васъ смотрю какъ на исключеніе, да и сверхъ того ваше равнодушіе мнѣ подозрительно, оно сбивается на охладившееся отчаяніе, на равнодушіе человѣка, который потерялъ не только надежду, но и без-

надежность; это неестественный покой. Природа, истинная во всемъ что дѣлаетъ, какъ вы повторяли нѣсколько разъ, должна быть истинна и въ этомъ явленіи скорби, тягости, всеобщность его даетъ ему нѣкоторое право. Сознайтесь, что именно съ вашей точки зрѣнія довольно трудно возражать на это.

— На что-же непременно возражать; я ничего лучше не прошу какъ соглашаться съ вами. Тягостное состояніе, о которомъ вы говорите, очевидно, и конечно имѣетъ право на историческое оправданіе и еще болѣе на то, чтобъ сыскать выходъ изъ него. Страданіе, боль—это вызовъ на борьбу, это сторожевой крикъ жизни, обращающій вниманіе на опасность. Міръ, въ которомъ мы живемъ, умираетъ, то есть тѣ формы, въ которыхъ проявляется жизнь; никакія лекарства не дѣйствуютъ болѣе на обвѣтшало тѣло его; чтобъ легко вздохнуть наслѣдникамъ надобно его похоронить, а люди хотятъ непременно его вылечить и задерживаютъ смерть. Вамъ вѣрно случалось видѣть удручающую грусть, томительную, тревожную неизвѣстность, которая распространяется въ домѣ гдѣ есть умирающій, отчаяніе усиливается надеждой, нервы у всѣхъ натянуты, здоровые больны, дѣла не идутъ. Смерть больного облегчаетъ душу оставшихся; льются слезы, но нѣтъ болѣе убійственного ожиданія, несчастіе передъ глазами, во весь ростъ, безвозвратное, отрѣзавшее всѣ надежды, и жизнь начинается врачевать, примирять, брать новый оборотъ. Мы живемъ во время большой и трудной агоніи, это достаточно объясняетъ нашу тоску. Къ кому-же предшествовавшіе вѣка особенно воспитали въ насъ грусть, болѣзненное томленіе. Три столѣтія тому назадъ все простое, здоровое, жизненное было еще подавлено; мысль едва осмѣливалась поднимать свой голосъ, ея положе-

ніе было похоже на положеніе жидовъ въ среднихъ вѣкахъ, лукавое по необходимости, рабское, озирающееся. Подъ этими вліяніями сложился нашъ умъ, онъ выросъ, возмужалъ внутри этой нездоровой сферы; отъ католическаго мистицизма онъ естественно перешелъ въ идеализмъ и сохранилъ боязнъ своего естественнаго угрызенія обманутой совѣсти, притязанія на невозможныя блага; онъ остался при разладѣ съ жизнію, при романтической тоскѣ, онъ воспиталъ себя въ страданія и разорванность. Давно-ли мы, застращенные съ дѣтства, перестали отказываться отъ самыхъ невинныхъ побужденій? давно-ли мы перестали содрогаться, находя внутри своей души страстные порывы, не взошедшіе въ каталогъ романтическаго тарифа? Вы давеча сказали, что мучащія васъ требованія развились естественно; оно и такъ, и нѣтъ—все естественно, золотуха происходитъ отъ дурнаго питанья, отъ дурнаго климата, но мы ее все-же считаемъ чѣмъ-то чужимъ организму. Воспитаніе поступаетъ съ нами какъ отецъ Анибала съ своимъ сыномъ. Оно беретъ объѣтъ прежде сознанія, опутываетъ насъ нравственной кабалой, которую мы считаемъ обязательною по ложной деликатности, по трудности отдѣлаться отъ того, что привито такъ рано, наконецъ отъ лѣни разобрать въ чемъ дѣло. Воспитаніе насъ обманываетъ прежде нежели мы въ состояніи понимать, увѣрять въ невозможномъ дѣтей, отрѣзываетъ имъ свободное и прямое отношеніе къ предмету. Подрастая, мы видимъ, что ничто неладится, ни мысль, ни бытъ; что то, на что насъ учили опираться—гнило, хрупко; а отъ чего предостерегали какъ отъ—яду цѣлебна; забытые и одураченные, приученные къ авторитету и указкѣ, мы выходимъ съ лѣтами на волю, каждый своими силами добирается до истины, борясь, ошибаясь. Томимые желаніемъ знать,

мы подслушиваемъ у дверей, стараемся разглядѣть въ щель, кривя душой, притворяясь, мы считаемъ правду за порокъ и презрѣніе ко лжи за дерзость. Мудрено-ли послѣ этого что мы не умѣемъ уладить ни внутренняго, ни внѣшняго быта, лишнее требуемъ, лишнее жертвуемъ, пренебрегаемъ возможнымъ и негодуемъ за то, что невозможное нами пренебрегаетъ; возмущаемся противъ естественныхъ условій жизни и покоряемся произвольному вздору. Вся наша цивилизація такова, она выросла въ нравственномъ междоусобіи; вырвавшись изъ школъ и монастырей, она не вышла въ жизнь, а прошла по ней, какъ Фаустъ, чтобъ посмотрѣть, порефлексировать и потомъ удалиться отъ грубой толпы въ гостинныя, въ академію, въ книги. Она совершила весь свой путь съ двумя знаменами въ рукахъ; „романтизмъ для сердца“ было написано на одномъ, „идеализмъ для ума“ на другомъ. Вотъ откуда идетъ большая доля нестройства въ нашей жизни. Мы не любимъ простаго, мы не уважаемъ природу по преданію, хотимъ распоряжаться ею, хотимъ лечить заговариваніемъ и удивляемся, что больному не лучше; физика насъ оскорбляетъ своей независимой самобытностью, намъ хочется алхиміи, магіи; а жизнь и природа равнодушно идутъ своимъ путемъ, покоряясь человѣку по мѣрѣ того, какъ онъ выучивается дѣйствовать ихъ-же средствами.

— Вы, кажется меня, считаете нѣмецкимъ поэтомъ, и то еще прошлой эпохи, которые сердились за то, что у нихъ есть тѣло, за то, что они ѣдятъ и искали неземныхъ дѣвъ, „иную природу, другаго солнца.“ Миѣ не хочется ни магіи, ни мистеріи, а просто выйти изъ того состоянія души, которое вы сейчасъ представили въ десять разъ рѣзче меня; выйти изъ нравственнаго безсилія, изъ жалкой неприлагаемости убѣжденій, изъ

хаоса, въ которомъ наконецъ мы перестали понимать кто врагъ и кто другъ; мнѣ противно видѣть, куда ни обернусь, или пытаемыхъ или пытающихъ. Какое колдовство нужно на то, чтобъ растолковать людямъ, что они сами виноваты въ томъ, что имъ такъ скверно жить, объяснить имъ, напримѣръ, что не надобно грабить нищаго, что противно объѣдаться возлѣ умирающаго съ голоду, что убійство равно отвратительно ночью на большой дорогѣ тайкомъ и днемъ открыто на площади при барабанномъ боѣ; что одно говорить, а другое дѣлать—подло.... словомъ, всѣ тѣ новыя истины, которыя говорятъ, повторяютъ, печатаютъ со временъ семи греческихъ мудрецовъ, да и тогда, я думаю, онѣ уже были очень стары. Моралисты, попы гремятъ, съ каедръ, толкуютъ о нравственности, о грѣхахъ, читаютъ Евангеліе, читаютъ Руссо—никто не возражаетъ, и никто не исполняетъ.

— По совѣсти, жалѣть объ этомъ нечего. Всѣ эти ученія и проповѣди по большей части невѣрны, неудобноисполнимы и сбивчивѣе простаго обычнаго быта. Бѣда въ томъ, что мысль забѣгаетъ всегда далеко впередъ, народы не поспѣваютъ за своими учителями; возьмите наше время, нѣсколько человѣкъ коснулись переворота, который совершить не въ силахъ ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоитъ сказать, „брось одръ твой и иди за нами“—все и двинется; они ошиблись, народъ ихъ также мало зналъ, какъ они его, имъ не повѣрили. Не замѣчая, что за ними никого нѣтъ, эти люди предводительствовали, шли впередъ; спохватившись, они стали кричать отставшимъ, махать, звать ихъ, осыпать упреками — но поздно, слишкомъ далеко, голоса не достаетъ, да и языкъ ихъ не тотъ, которымъ говорятъ массы. Намъ больно сознаться, что мы жи-

немъ въ мірѣ, выжившемъ изъ ума, дряхломъ, истощенномъ, у котораго явнымъ образомъ не достаетъ силы и поведенія, чтобъ подняться на высоту собственной мысли; намъ жалъ старый міръ, мы къ нему привыкли какъ къ родительскому дому, мы поддерживаемъ его, стараемся его разрушить и прилаживаемъ къ своимъ убѣжденіямъ его неспособныя формы, не видя что первая іота ихъ — его смертный приговоръ. Мы носимъ платья, шитыя не по нашей мѣркѣ, а по мѣркѣ нашихъ пращѣдовъ, мозгъ нашъ образовался подъ вліяніемъ предшествующихъ обстоятельствъ, онъ многого не осиливаетъ, многое видитъ подъ ложнымъ угломъ. Люди съ такимъ трудомъ добились до современнаго быта, онъ имъ кажется такою счастливою пристанью послѣ безумія феодализма и тупаго гнета, слѣдовавшаго за нимъ, что они боятся измѣнять его, они отяжелѣли въ его формахъ, обжились въ нихъ, привычка замѣнила привязанность, горизонтъ сжался... размахъ мысли сдѣлался малъ, воля ослабла.

— Прекрасная картина; добавьте, что возлѣ этихъ удовлетворенныхъ, которымъ современный порядокъ по плечу, съ одной стороны бѣдный, неразвитый народъ, одичалый, отсталый, голодный, въ безвыходной борьбѣ съ нуждой, въ изнуряющей работѣ, которая не можетъ его пропитать; а съ другой, мы, неосторожно забѣжавшіе впередъ, землемѣры, вбивающіе вѣхи новаго міра — и которые никогда не увидимъ даже выведеннаго фундамента. Отъ всѣхъ упованій, отъ всей жизни, которая прошла, между рукъ, (да еще какъ прошла) если что-нибудь осталось, то это вѣра въ будущее; когда-нибудь, долго послѣ нашей смерти, домъ, для котораго мы расчистили мѣсто, выстроится и въ немъ будетъ удобно и хорошо — другимъ.

— Впрочемъ нѣтъ причины думать, что новый міръ будетъ строиться по нашему плану.....

.....Молодой человѣкъ сдѣлалъ недовольное движеніе головой и посмотрѣлъ съ минуту на море — совершеннѣйшій штиль продолжался; тяжелая туча едва двигалась надъ головами, такъ низко, что дымъ парохода, стелясь, мѣшался съ ней — море было черно, воздухъ не освѣжалъ.

— Вы со мною поступаете, сказалъ онъ, помолчавъ, такъ какъ разбойники съ путешественниками; ограбивши у меня все, вамъ кажется еще мало, вы добираетесь до послѣдняго рублища, которое меня предохраняетъ отъ стужи, до моихъ волосъ; вы заставили меня сомнѣваться во многомъ, у меня оставалось будущее — вы отнимаете его, вы грабите мои надежды, вы убиваете сны, какъ Макбетъ.

— А я думалъ, что я больше похожъ на хирурга, который вырѣзываетъ дикое мясо.

— Пожалуй, это еще лучше, хирургъ отрѣзываетъ большую часть тѣла, не замѣняя ее здоровой.

— И по дорогѣ спасаетъ человѣка, освобождая его отъ тяжелыхъ узъ застарѣлой болѣзни.

— Знаемъ мы ваше освобожденіе. Вы открываете двери темницы и хотите вытолкнуть колодника въ степь, увѣряя его, что онъ свободенъ; вы ломаете Бастилью, но не воздвигаете ничего взамѣну острога, остается одно пустое мѣсто.

— Это было бы чудесно, еслибъ было такъ, какъ вы говорите, худо то, что развалины, мусоръ мѣшаютъ на каждомъ шагѣ.

— Чему мѣшаютъ? Гдѣ въ самомъ дѣлѣ наше призваніе, гдѣ наше знамя? во что мы вѣримъ, во что не вѣримъ?

— Вѣримъ во все, не вѣримъ въ себя; вы ищите найти знамя, а я ищу потерять его; вы хотите указку, а мнѣ кажется, что въ извѣстный возрастъ стыдно читать съ указкой. Вы сейчасъ сказали, что мы вбиваемъ вѣхи новому міру.....

— И ихъ вырываетъ изъ земли духъ отрицанія и разбора. Вы несравненно мрачнѣе меня смотрите на міръ и утѣшаете только для того, чтобъ еще ужаснѣе выразить современную тягость. Если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизація ложь, мечта пятнадцатилѣтней дѣвочки, надъ которой она сама смѣется въ двадцать пять лѣтъ, наши труды вздоръ, наши усилія смѣшины, наши упованія похожи на ожиданія дунайскаго мужика. Впрочемъ можетъ быть вы то и хотите сказать, чтобъ мы бросили нашу цивилизацію, отказались отъ нея, воротились бы къ отставшимъ.

— Нѣтъ, отказаться отъ развитія невозможно. Какъ сдѣлать, чтобъ я не зналъ того, что знаю. Наша цивилизація лучшій цвѣтъ современной жизни, кто-же поступится своимъ развитіемъ? Но какое-же это имѣетъ отношеніе къ осуществленію нашихъ идеаловъ, гдѣ лежитъ необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?

— Стало быть наша мысль привела насъ къ несбыточнымъ надеждамъ, къ нелѣпымъ ожиданіямъ; съ нимъ какъ съ послѣднимъ плодомъ нашихъ трудовъ мы захвачены волнами на кораблѣ, который тонетъ. Будущее не наше, въ настоящемъ намъ нѣтъ дѣла; спастись некуда, мы съ этимъ кораблемъ связаны на животъ и на смерть, остается, сложа руки, ждать, пока вода зальетъ—а кому скучно, кто поотважнѣе, тотъ можетъ броситься въ воду.

.... Le monde fait naufrage,
Vieux bâtiment, usé par tous les flots,
Il s'engloutit — sauvons-nous à la nage! *)

— Я ничего лучше не прошу, но только есть разница между спастись въ плавь и тониться. Судьба молодыхъ людей, которыхъ вы напомнили этой пѣснью, страшна; сугубые страдальцы, мученики безъ вѣры, смерть ихъ пусть падетъ на страшную среду, въ которой они жили, пусть обличаетъ ее, позорить; но кто же вамъ сказалъ, что нѣтъ другого выхода, другого спасенія изъ этого міра старчества и агоніи — какъ смерть? Вы оскорбляете жизнь. Оставьте міръ, къ которому вы не принадлежите, если вы дѣйствительно чувствуете, что онъ вамъ чуждъ. Его не спасемъ — спасите себя отъ угрожающихъ развалинъ; спасая себя, вы спасете будущее. Что вы имѣете общаго съ этимъ міромъ—его цивилизацію? но вѣдь она теперь принадлежитъ вамъ, а не ему, онъ произвелъ ее, или, лучше сказать, изъ него произвели ее, онъ не грѣшенъ даже въ пониманіи ея; его образъ жизни — онъ вамъ ненавистенъ, да и, по правдѣ, трудно любить такую нелѣпость. Ваши страданія — онъ и не подозрѣваетъ: ваши радости ему не знакомы; вы молоды — онъ старъ; посмотрите, какъ онъ осунулся въ своей изношенной, аристократической ливреѣ, особенно послѣ тридцатаго года, лицо его подернулось матовой землистостью. Это *facies hypocratica*, по которой доктора узнаютъ, что смерть уже занесла косу. Безсильно усиливается оно иногда еще разъ схватить жизнь, еще разъ овладѣть ею, отдѣлаться отъ болѣзни, насладиться — не можетъ, и впадаетъ въ тяжкій, горячечный полусонъ. Тутъ тол-

*) *Беранже* — На смерть Деку и Лебрю.

кують о фаланстерахъ, демократіяхъ, социализмѣ, онъ слушаетъ и ничего не понимаетъ — иногда улыбается такимъ рѣчамъ, покачивая головою и вспоминая мечты, которымъ и онъ вѣрилъ когда-то, потомъ вздохнулъ въ разумъ и давно не вѣритъ..... Оттого-то онъ старчески равнодушно смотритъ на коммунистовъ и іезуитовъ, на пасторовъ и якобинцевъ, на братьевъ Ротшильдъ и на умирающихъ съ голоду; онъ смотритъ на все несущееся передъ глазами — сжавши въ кулакъ нѣсколько франковъ, за которые готовъ умереть или сдѣлаться убійцей. Оставьте старика доживать, какъ знаетъ, свой вѣкъ въ богадѣльнѣ, вы для него ничего не сдѣлаете.

— Это не такъ легко, не говоря о томъ, что оно противно — куда бѣжать? Гдѣ эта новая Пенсильванія, готовая....?

— Для старыхъ построекъ изъ новаго кирпича? Вильямъ Пеннъ везъ съ собою старый міръ на новую почву; Сѣверная Америка — исправленное изданіе прежняго текста, не болѣе. А Христіане — въ Римѣ перестали быть Римлянами — этотъ внутренній отъѣздъ полезенъ.

— Мысль сосредоточиться въ себѣ, оторвать пуговину, связующую насъ съ родиной, съ современностью, проповѣдуется давно, но плохо осуществляется; она является у людей послѣ всякой неудачи, послѣ каждой утраченной вѣры, на ней опирались мистики и масоны, философы и пллюминаты; всѣ они указывали на внутренній отъѣздъ — никто не уѣхалъ. Руссо? — и тотъ отворачивался отъ міра, страстно любя его, онъ отрывался отъ него — потому что не могъ быть безъ него. Ученики его продолжали его жизнь въ Конвентѣ, боролись, страдали, казнили другихъ, снесли свою голову на плаху, но не ушли ни вонъ изъ Франціи, ни вонъ изъ кипѣвшей дѣятельности.

— Ихъ время нисколько не было похоже на наше. У нихъ впереди было бездна упованій. Руссо и его ученики воображали, что если ихъ идеи братства не осуществляются, то это отъ матеріальныхъ препятствій — тамъ сковано слово, тутъ дѣйствіе невольно—и они, совершенно послѣдовательно, шли грудью противъ всего, мѣшавшаго ихъ идеѣ; задача была страшная, гигантская, но они побѣдили. Побѣдивши, они думали: вотъ теперь-то.... но теперь-то ихъ повели на гильотину, и это было самое лучшее, что могло съ ними случиться: они умерли съ полной вѣрой, ихъ унесла бурная волна, среди битвы, труда, опьянѣнья, они были увѣрены, что когда возвратится тишина, ихъ идеалъ осуществится безъ нихъ, но осуществится. Наконецъ этотъ штиль пришелъ. Какое счастье, что всѣ эти энтузіасты давно были схоронены! имъ бы пришлось увидѣть, что дѣло ихъ не подвинулось ни на вершокъ, что ихъ идеалы остались идеалами, что недостаточно разобрать по камешку Бастилю, чтобъ сдѣлать колодниковъ свободными людьми. Вы сравниваете насъ съ ними, забывая, что мы знаемъ событія пятидесяти лѣтъ прошедшихъ послѣ ихъ смерти, что мы были свидѣтелями, какъ всѣ упованія теоретическихъ умовъ были осмѣяны, какъ демоническое начало исторіи нахохоталось надъ ихъ наукой, мыслию, теоріей, какъ оно изъ республики сдѣлало Наполеона, изъ революціи 1830 г. биржевой оборотъ. Свидѣтели всего бывшаго, мы не можемъ имѣть надежды нашихъ предшественниковъ. Глубже изучивши революціонные вопросы, мы требуемъ теперь и больше и шире того, что они требовали, а ихъ-то требованія остались тою-же неприлагаемостью какъ были. Съ одной стороны вы видите логическую послѣдовательность мысли, ея успѣхъ; съ другой пол-

ное безсиліе ея надъ міромъ глухимъ, нѣмымъ, безсильнымъ схватить мысль спасенія, такъ какъ она высказывается ему—потому-ли что она дурно высказывается или потому, что имѣетъ только теоретическое, книжное значеніе, какъ напримѣръ римская философія, не выходявшая нѣкогда изъ небольшого круга образованныхъ людей.

— Но кто-же по вашему правъ? мысль-ли теоретическая, которая точно также развилась и сложилась исторически, но сознательно, или фактъ современнаго міра, отвергающій мысль и представляющій, также какъ она, необходимый результатъ прошедшаго.

— Оба совершенно правы. Вся эта запуганность выходитъ изъ того, что жизнь имѣетъ свою эмбриогенію, не совпадающую съ діалектикой чистаго разума. Я помню древній міръ, вотъ вамъ примѣръ, вмѣсто того чтобъ осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, онъ осуществляетъ римскую республику и политику ихъ завоевателей; вмѣсто утопій Цицерона и Сенеки, — Лонгобардскія графства и германское право.

— Не пророчите-ли вы и нашей цивилизаціи такую-же гибель, какъ римской? — утѣшительная мысль и прекрасная перспектива.....

— Не прекрасная и не дурная. Отчего васъ удивляетъ мысль, которая до пошлости извѣстна, что все на свѣтѣ преходяще? Впрочемъ цивилизаціи не гибнутъ, пока родъ человѣческій продолжаетъ жить безъ совершеннаго перерыва—у людей память хороша; развѣ римская цивилизація не жива для насъ? а она точно также какъ наша вытянулась далеко за предѣлы окружавшей жизни; именно отъ этого она съ одной стороны и разцвѣла такъ пышно, такъ великолѣпно, а съ другой, не могла фактически осуществиться. Она при-

несла свое міру современному, она приноситъ многое намъ, но ближайшее будущее Рима прозябало на другихъ нажитяхъ — въ катакомбахъ, гдѣ прятались гонимые Христіане, въ лѣсахъ, гдѣ кочевали дикіе Германы.

— Какъ-же это въ природѣ все такъ цѣлеобразно, а цивилизація высшее усиліе, вѣнецъ эпохи, выходитъ безцѣльно изъ нея, выпадаетъ изъ дѣйствительности, и увядаетъ наконецъ, оставляя по себѣ не полное воспоминаніе? Между тѣмъ человѣчество отступаетъ назадъ, бросается въ сторону и начинаетъ съизнова тянуться, чтобъ окончить такимъ же махровымъ цвѣтомъ — пышнымъ, но лишеннымъ сѣмянъ.... Въ вашей философій исторіи есть что-то возмущающее душу — для чего эти усилія? — жизнь народовъ становится праздною игрой, лѣпить, лѣпить по песчинѣ, по камешку, а тутъ опять все рухнетъ на земь и люди ползутъ изъ подъ развалинъ, начинаютъ снова расчищать мѣсто, да строить хижины изъ мха, досокъ и унадшихъ капителей, достигая вѣками, долгимъ трудомъ — паденія. Шекспиръ не даромъ сказалъ, что исторія скучная сказка, рассказанная дуракомъ.

— Это ужъ такой печальный взглядъ у васъ. Вы похожи на тѣхъ монаховъ, которые при встрѣчѣ ничего лучшаго не находятъ сказать другъ другу, какъ мрачное *memento mori* или на тѣхъ чувствительныхъ людей, которые не могутъ вспомнить безъ слезъ, „что люди рождаются для того, чтобъ умереть.“ Смотрѣть наконецъ, а не на самое дѣло — величайшая ошибка. На что растенію этотъ яркій, пышный вѣнчикъ, на что этотъ упонительный запахъ, который пройдетъ совсѣмъ не нужно? Но природа вовсе не такъ скупа, и не такъ пренебрегаетъ мнимодущимъ, настоящимъ, она на каждой

точкѣ достигаетъ всего, чего можетъ достигнуть, идетъ до нелзя, до запаха, до наслажденія, до мысли.... до того, что разомъ касается до предѣловъ развитія и до смерти, которая осаживаетъ, умѣряетъ слишкомъ поэтическую фантазію и необузданное творчество ея. Кто же станетъ негодовать на природу за то, что цвѣты утромъ распускаются, а вечеромъ вянуть, что она розѣ и лилеѣ не умѣетъ придавать прочности кремня? И этотъ-то бѣдный, прозаическій взглядъ мы хотимъ перенести въ историческій міръ! Кто ограничилъ цивилизацію однимъ прилагаемымъ? — гдѣ у нея заборъ? она безконечна какъ мысль, какъ искусство, она чертитъ идеалы жизни, она мечтаетъ апотеозу своего собственнаго быта, но на жизни не лежитъ обязанность исполнять ея фантазій и мысли, тѣмъ болѣе, что это было бы только улучшенное изданіе того-же, а жизнь любить новое. Цивилизація Рима была гораздо выше и человѣчественнѣе, нежели варварской порядокъ; но въ его нестройности были зародыши развитія тѣхъ сторонъ, которыхъ вовсе не было въ римской цивилизаціи и варварство восторжествовало, не смотря ни на *Corpus juris civilis*, ни на мудрое воззрѣніе римскимъ философъ. Природа рада достигнутому и домогается высшаго; она не хочетъ обижать существующее; пусть оно живетъ, пока есть силы, пока новое подрастаетъ. Вотъ отъ чего такъ трудно произведенія природы вытянуть въ прямую линію, природа ненавидитъ фронтъ, она бросается во всѣ стороны и никогда не идетъ правильнымъ маршемъ впередъ. Дикіе Германь были въ своей непосредственности, *potentialiter*, выше образованныхъ Римлянъ.

— Я начинаю подозрѣвать, что вы поджидаете наступленіе варваровъ и переселеніе народовъ.

— Я гадать не люблю. Будущаго нѣтъ, его образуетъ

совокупность тысячи условий необходимых и случайныхъ, да воля человѣческая, придающая неожиданны драматическія развязки и *cours de théâtre*. Исторія импровизируется, рѣдко повторяется, она пользуется всякой нечаянностью, стучится разомъ въ тысячу воротъ... которыя отопрутся... кто знаетъ.

— Можетъ балтійскіе — и тогда Россія хлынетъ на Европу?

— Можетъ быть.

— И вотъ мы, долго мудрствуя, пришли опять къ бѣлицьему колесу, опять къ *corsi* и *ricorsi* старика Вико. Опять возвратились къ Реѣ, непрерывно рождающей въ страшныхъ страданіяхъ дѣтей, которыми закусываетъ Сатурнъ. Рея только стала добросовѣстна и не подмѣниваетъ новорожденныхъ камнями, да и не стоитъ труда, въ числѣ ихъ нѣтъ ни Юпитера, ни Марса..... Какая цѣль всего этого? вы обходите этотъ вопросъ, не рѣшая его; стоитъ ли дѣтямъ родиться для того, чтобъ отецъ ихъ съѣлъ, да вообще стоятъ-ли игра свѣтъ?

— Какъ не стоитъ! тѣмъ болѣе что не вы за нихъ платите. Васъ смущаетъ, что не всѣ игры доигрываются, но безъ этого онѣ были бы нестерпимо скучны. Гѣте давнымъ давно толковалъ, что красота проходить, потому-что только преходящее и можетъ быть красиво — это обижаетъ людей. У человѣка есть инстинктивная любовь къ сохраненію всего, что ему нравится; родился—такъ хочетъ жить во всю вѣчность; влюбился—такъ хочетъ любить и быть любимымъ во всю жизнь, какъ въ первую минуту признанія. Онъ сердится на жизнь, види, что въ пятьдесятъ лѣтъ нѣтъ той свѣжести чувствъ, той звонкости ихъ, какъ въ двадцать. Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни, —

она ничего личного, индивидуального не готовитъ впрокъ, она всякой разъ вся изливается въ настоящую минуту и надѣлая людей способностью наслажденія, насколько можно, не боится ни жизни, ни наслажденія, не отвѣчаетъ за ихъ продолженіе. Въ этомъ непрерывномъ движеніи всего живаго, въ этихъ повсюдныхъ перемѣнахъ природа обновляется, живетъ, имъ она вѣчно молода. Оттого каждый историческій мигъ полонъ, замкнутъ по своему, какъ всякій годъ съ весной и лѣтомъ, съ зимой и осенью, съ бурями и хорошей погодой. Оттого каждый періодъ новъ, свѣжъ, исполненъ своихъ надеждъ, самъ въ себѣ носитъ свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежитъ ему, но людямъ этого мало, имъ хочется, чтобъ и будущее было ихъ.

— Человѣку больно, что онъ и въ будущемъ не видитъ пристани, къ которой стремится. Онъ съ тоскливымъ безпокойствомъ смотритъ передъ собою на безконечный путь и видитъ, что также далекъ отъ цѣли, послѣ всѣхъ усилій, какъ за тысячу лѣтъ, какъ за двѣ тысячи лѣтъ.

— А какая цѣль пѣсни, которую поетъ пѣвица?..... звуки вырывающіеся изъ ея груди, звуки умирающіе въ ту минуту, какъ раздались. Если вы кромѣ наслажденія ими будете искать что-нибудь, выждать иной цѣли, вы дождетесь, когда кантатриса перестанетъ пѣть и у васъ останется воспоминаніе и раскаяніе, что, вмѣсто того чтобъ слушать, вы ждали чего-то... Васъ сбиваютъ категоріи, которыя дурно уловляютъ жизнь. Вы подумайте порядкомъ, что эта цѣль—программа что-ли или приказъ? Кто его составилъ, кому онъ объявленъ, обязателенъ онъ или нѣтъ? Если да, — то что мы куклы или люди въ самомъ дѣлѣ, нравственно свободныя су-

щества или колеса въ машинѣ. Для меня легче жизнь а слѣдственно и исторію считать за достигнутую цѣль, нежели за средство достиженія.

— То есть, просто, цѣль природы и исторіи—мы съ вами?...

— Отчасти, да *плюсъ* настоящее всего существующаго; тутъ все входитъ: и наслѣдіе всѣхъ прошлыхъ усилій и зародыши всего что будетъ; вдохновеніе артиста и энергія гражданина и наслажденіе юноши, который въ эту самую минуту пробирается гдѣ-нибудь къ завѣтной бесѣдѣ, гдѣ его ждетъ другъ, робкая и отдающаяся вся настоящему, не думая ни о будущемъ, ни о цѣли... и веселье рыбы, которая плещется, вотъ на мѣсячномъ свѣтѣ..... и гармонія всей солнечной системы..... словомъ, какъ послѣ феодальныхъ титуловъ, я смѣло могу поставить три „и прочая... и прочая.....“

— Вы совершенно правы относительно природы, но, мнѣ кажется, вы забыли, что черезъ всѣ измѣненія и спутанности исторіи прошла красная нитка, связующая ее въ одно цѣлое, эта нитка прогрессъ — или можетъ быть вы не принимаете и прогрессъ.

— Прогрессъ—неотъемлемое свойство сознательнаго развитія, которое не прерывалось; это дѣятельная память и физиологическое усовершеніе людей общественной жизнию.

— Неужели вы тутъ не видите цѣли?

— Совсѣмъ напротивъ, я тутъ вижу послѣдствіе. Если прогрессъ цѣль, то для кого мы работаемъ? кто этотъ Молохъ, который по мѣрѣ, приближенія къ нему тружениковъ, вмѣсто награды пѣтится и въ утѣшеніе изнуреннымъ и обреченнымъ на гибель толпамъ, которыя ему кричатъ: *morituri te salutant*, только и умѣетъ

отвѣтитъ горькой насмѣшкой, что послѣ ихъ смерти будетъ прекрасно на землѣ. Неужели и вы обрекаете современныхъ людей на жалкую участь каріатидъ, поддерживающихъ террасу, на которой когда нибудь другіе будутъ танцовать... или, на то, чтобъ быть несчастными работниками, которые, по колѣно въ грязи, тащутъ барку съ таинственнымъ руномъ и съ смиренной надписью, „прогрессъ въ будущемъ“ нафлагѣ. Утомленные падаютъ на дорогѣ, другіе съ свѣжими силами принимаются за веревки, а дороги, какъ вы сами сказали, остается столько-же какъ при началѣ, потому что прогрессъ безконеченъ. Это одно должно было насторожить людей; цѣль безконечно далекая не цѣль, а если хотите, уловка; цѣль должна быть ближе, по крайней мѣрѣ заработанная плата или наслажденіе въ трудѣ. Каждая эпоха, каждое поколѣніе, каждая жизнь имѣли, имѣютъ свою полноту, по дорогѣ развиваются новыя требованія, испытанія, новыя средства, одни способности усовершенствуются на счетъ другихъ, наконецъ самое вещество мозга улучшается..... что вы улыбаетесь?... да, да, cerebrumъ улучшается... Какъ все естественное становится вамъ ребромъ, удивляетъ васъ, идеалистовъ, точно какъ нѣкогда рыцари удивлялись, что виланы хотятъ тоже человѣческихъ правъ. Когда Гёте былъ въ Италіи, онъ сравнивалъ черепъ древняго быка съ черепомъ нашихъ быковъ и нашелъ, что у нашего кость тоньше, а вмѣстилище большихъ полушарій мозга пространнѣе; древній быкъ былъ очевидно сильнѣе нашего, а нашъ развился въ отношеніи къ мозгу въ своемъ мирномъ подчиненіи человѣку. За что же вы считаете человѣка менѣе способнымъ къ развитію нежели быка? Этотъ родовой ростъ не цѣль, какъ вы полагаете, а свойство преемственно продолжающа-

госа существованія поколѣній. Цѣль для каждаго поколѣнія—оно само. Природа не только никогда не дѣлаетъ поколѣній средствами для достиженія будущаго, но она вовсе объ будущемъ не заботится; она готова, какъ Клеопатра, распустить въ винѣ жемчужину, лишь бы потѣшиться въ настоящемъ, у нея сердце баядера и вакханки.

— И бѣдная не можетъ осуществить своего призванія!..... Вакханка на дѣтѣ, Баядера въ траурѣ!.... Въ наше время она право скорѣе похожа на кающуюся Магдалину. Или можетъ мозгъ выдѣлался въ сторону.

— Вы вмѣсто насмѣшки сказали вещь, которая гораздо дѣльнѣе, нежели вы думаете. Одностороннее развитіе всегда влечетъ за собою *avortement* другихъ забытыхъ сторонъ. Дѣти, слишкомъ развитые въ психическомъ отношеніи, дурно растутъ, слабы тѣломъ; вѣками не-естественнаго быта мы воспитали себя въ идеализмъ, въ искусственную жизнь и разрушили равновѣсіе. Мы были велики и сильны, даже счастливы въ нашей отчужденности, въ нашемъ теоретическомъ блаженствѣ, а теперь перешли эту степень и она стала для насъ невыносима; между тѣмъ разрывъ съ практическими сферами сдѣлался страшный; виноватыхъ въ этомъ нѣтъ ни съ той, ни съ другой стороны. Природа натянула всѣ мышцы, чтобъ перешагнуть въ человѣкѣ ограниченность звѣря; а онъ такъ перешагнулъ, что одной ногой совсѣмъ вышелъ изъ естественнаго быта — сдѣлалъ онъ это потому, что онъ свободенъ. Мы столько толкуемъ о волѣ, такъ гордимся ею и въ то же время досадуемъ за то, что насъ никто не ведетъ за руку, что оступаемся и несемъ послѣдствія своихъ дѣлъ. Я готовъ повторить ваши слова, что мозгъ вы-

дѣлался въ сторону отъ идеализма, люди начинаютъ замѣчать это и идутъ теперь въ другую сторону; они вылечатся отъ идеализма такъ, какъ вылечились отъ другихъ историческихъ болѣзней, отъ рыцарства, отъ католицизма, отъ протестантизма...

— Согласитесь впрочемъ, что путь развитія болѣзнями и отклоненіями — престранный.

— Да вѣдь путь и не назначенъ..... природа слегка, самыми общими нормами, намекнула свои виды и предоставила всѣ подробности на волю людей, обстоятельствъ, климата, тысячи столкновений. Борьба, взаимное дѣйствіе естественныхъ силъ и силъ воли, которой слѣдствія нельзя знать впередъ, придаетъ поглащающій интересъ каждой исторической эпохѣ. Еслибъ человечество шло прямо къ какому-нибудь результату, тогда исторіи не было бы, а была бы логика, человечество остановилось бы готовымъ въ непосредственномъ *statu quo*, какъ животныя. Все это по-счастію невозможно, не нужно и хуже существующаго. Животный организмъ мало-по-малу развиваетъ въ себѣ инстинктъ, въ человѣкѣ развитіе идетъ далѣе..... вырабатывается разумъ и вырабатывается трудно, медленно — *его нѣтъ* ни въ природѣ, ни внѣ природы, его надобно достигать, съ нимъ улаживать жизнь какъ придется, потому что *libretto* нѣтъ. А будь *libretto*, исторія потеряетъ весь интересъ, сдѣлается ненужна, скучна, смѣшна; горестъ Тацита и восторгъ Колумба превратятся въ шалость, въ гаерство; великіе люди сойдутъ на одну доску съ театральными героями, которые, худо-ли, хорошо-ли играютъ, непремѣнно идутъ и дойдутъ къ извѣстной развязкѣ. Въ исторіи все импровизація, все воли, все *ex tempore*, впередъ ни предѣловъ, ни маршрутовъ нѣтъ, есть условія, святое безпокойство, огонь

жизни, и вѣчный вызовъ бойцамъ пробовать силы, идти вдалѣ куда хотить, куда только есть дорога—а гдѣ ея нѣтъ, тамъ ее сперва проложить геній.

— А если на бѣду не найдется Колумба?

— Кортесъ сдѣлаетъ за него. Геніальныя натуры почти всегда находятся, когда ихъ нужно, впрочемъ въ нихъ нѣтъ необходимости, народы дойдутъ послѣ, дойдутъ иной дорогой, болѣе трудной; геній роскошь исторіи, ея поэзія, ея *coup d'état*, ея скачекъ, торжество ея творчества.

— Все это хорошо, но мнѣ кажется, при такой неопредѣленности, распушенности, исторія можетъ продолжаться во вѣки вѣковъ или завтра окончиться.

— Безъ сомнѣнія. Со скуки люди не умрутъ, если родъ человѣческій очень долго заживется; хотя вѣроятно люди и натолкнутся на какіе нибудь предѣлы, лежащіе въ самой природѣ человѣка, на такія физиологическія условія, которыхъ нельзя будетъ перейти, оставаясь человѣкомъ; но собственно недостатка въ дѣлѣ, въ занятіяхъ не будетъ, три-четверти всего что мы дѣлаемъ, повтореніе того, что дѣлали другіе. Изъ этого вы видите, что исторія можетъ продолжаться миллионы лѣтъ. Съ другой стороны я ничего не имѣю противъ окончанія исторіи завтра. Мало-ли что можетъ быть! Энкеева комета зацѣпитъ земной шаръ, геологическій катаклизмъ пройдетъ по поверхности, ставя все вверхъ дномъ, какое нибудь газообразное испареніе сдѣлаетъ на полъ часа невозможнымъ дыханіе — вотъ вамъ и финалъ исторіи.

— Фу, какіе ужасы! вы меня страшаете какъ маленькихъ дѣтей, но я увѣряю васъ, что этого не будетъ. Стоило бы очень развиваться три тысячи лѣтъ съ пріятной будущностью задохнуться отъ какого нибудь сѣр-

новодороднаго испаренія! Какъ-же вы не видите что это нелѣпость?

— Я удивляюсь, какъ это вы до сихъ поръ не при-
выкнете къ путямъ жизни. Въ природѣ, такъ какъ въ
душѣ человѣка, дремлетъ безконечное множество силъ,
возможностей; какъ только соберутся условія, нужныя
для того, чтобъ ихъ возбудить, онѣ развиваются и бу-
дутъ развиваться до нельзя, они готовы собою напол-
нить міръ, но онѣ могутъ запнуться на полдорогѣ,
принять иное направленіе, остановиться, разрушиться.
Смерть одного человѣка не меньше нелѣпа, какъ ги-
бель всего рода человѣческаго. Кто намъ обезпечилъ
вѣковѣчность планеты? она также мало устоитъ при
какой нибудь революціи въ солнечной системѣ, какъ
геній Сократа устоялъ противъ цикуты—но можетъ ей
не подадутъ этой цикуты... можетъ... я съ этого началъ.
Въ сущности для природы это все равно, ея не убь-
детъ, изъ нея ничего не вынешь, все въ ней, какъ ни
мѣняй — и она съ величайшей любовью, похоронивши
родъ человѣческій, начнетъ опять съ уродливыхъ па-
поротниковъ и съ ящерицъ въ полверсты длиною —
вѣроятно еще съ какими нибудь усовершеніями, взяты-
ми изъ новой среды и изъ новыхъ условій.

— Ну, для людей это далеко не все равно; я думаю,
Александръ Македонскій нисколько не былъ бы радъ,
узнавши, что онъ пошелъ на замазку — какъ говоритъ
Гамлетъ.

— На счетъ Александра Македонскаго я васъ успокою,
— онъ этого никогда не узнаетъ. Разумѣется, что для
человѣка совсѣмъ не все равно жить или не жить; изъ
этого ясно одно, что надобно пользоваться жизнію, на-
стоящимъ; не даромъ природа всѣми языками своими

безпрерывно манить къ жизни и шепчетъ на ухо всему свое *vivere memento*.

— Напрасный трудъ. Мы помнимъ, что мы живемъ по глухой боли, по досадѣ, которая точитъ сердце, по однообразному бою часовъ..... Трудно наслаждаться, пьянить себя, зная, что весь міръ около васъ рушится, и стало быть гдѣ нибудь задавить же и васъ. Да еще это куда бы ни шло, а то умереть на старости лѣтъ, видя, что ветхія покачнувшіяся стѣны и не думаютъ падать. Я не знаю въ исторіи такого удушливаго времени; была борьба, были страданія и прежде, но была еще какая нибудь замѣна, можно было погибнуть — по-крайней-мѣрѣ съ вѣрой, — намъ не за что умирать и не для чего жить..... самое время наслаждаться жизнію!

— А вы думаете, что въ падающемъ Римѣ было легче жить?

— Конечно, его паденіе было столько-же очевидно, какъ міръ шедшій въ замѣну его.

— Очевидно для кого? Неужели вы думаете, что римляне смотрѣли на свое время такъ, какъ мы смотримъ на него. Гиббонъ не могъ отдѣляться отъ обаянія, которое производитъ древній Римъ на каждую сильную душу. Вспомните, сколько вѣковъ продолжалась его агонія; намъ это время скрадывается по бѣдности событій, по бѣдности въ лицахъ, по томному однообразію! именно такіе-то періоды, нѣмые, сѣрые и страшны для современниковъ; вѣдь годы въ нихъ имѣли тѣже триста шестьдесятъ пять дней, вѣдь и тогда были люди съ душой горячей и блекли, терялись от разгрома падающихъ стѣнъ. Какіе звуки скорби вырывались тогда изъ груди человѣческой, — ихъ стонъ теперь наводитъ ужасъ на душу!

— Они могли креститься.

— Положеніе христіанъ было тогда тоже очень печальное, они четыре столѣтія прятались по подземельямъ, успѣхъ казался невозможнымъ, жертвы были передъ глазами.

— Но ихъ поддерживала фанатическая вѣра—и она оправдалась.

— Только на другой день послѣ торжества явилась ересь, языческій міръ ворвался въ святую тишину ихъ братства и Христіанинъ со слезами обращался назадъ къ временамъ гоненій и благословлялъ воспоминанія о нихъ—читая мартирологъ.

— Вы, кажется, начинаете меня утѣшать тѣмъ, что всегда было также скверно, какъ теперь.

— Нѣтъ, я хотѣлъ только напомнить вамъ, что нашему вѣку не принадлежитъ монополю страданій и что вы дешево цѣните прошедшія скорби. Мысль была и прежде нетерпѣлива, ей хочется сей-часъ, ей ненавистно ждать—а жизнь не довольствуется отвлеченными идеями, не торопится, медлитъ съ каждымъ шагомъ, потому что ея шаги трудно поправляются. Отсюда трагическое поположеніе мыслящихъ... Но чтобъ опять не отклониться, позвольте мнѣ теперь васъ спросить, отчего вамъ кажется, что міръ насъ окружающій такъ проченъ и долготенъ?...

Давно тяжелыя и крупныя капли дождя падали на насъ, глухіе раскаты грома становились слышнѣе, молніи ярче; тутъ дождь полился ручьями... всѣ бросились въ каюту, пароходъ скрипѣлъ, качка была невыносима, — разговоръ не продолжался.

Roma, Via del Corso.

31 Декабря 1847 г.

II.

ПОСЛѢ ГРОЗЫ.

Perec:

Женщины плачутъ, чтобъ облегчить душу, мы не умѣемъ плакать. Въ замѣну слезъ я хочу писать — не для того, чтобъ описывать; объяснять кровавыя событія, а просто чтобъ говорить объ нихъ, дать волю рѣчи, слезамъ, мысли, желчи. Гдѣ тутъ описывать, собирать свѣдѣнія, обсуживать! — Въ ушахъ еще *раздаются* выстрѣлы, топотъ несущейся кавалеріи, тяжелый, густой звукъ лафетныхъ колесъ по мертвымъ улицамъ; въ памяти мелькаютъ отдѣльныя подробности — раненный на носилкахъ держитъ рукой бокъ и нѣсколько капель крови течетъ по ней; omnibuses наполненные трупами, плѣнные съ связанными руками, пушки на *place de la Bastille*, лагерь у *Porte St. Denis*, на Елисейскихъ поляхъ и мрачное ночное *Sentinelle prenez garde à vous!*.. Какія тутъ описанія, мозгъ слишкомъ воспаленъ, кровь слишкомъ остра.

Сидѣть у себя въ комнатѣ, сложа руки, не имѣть возможности выйти за ворота и слышать возлѣ, кругомъ, вблизи, вдали, выстрѣлы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возлѣ льется кровь, рѣжутся, колютъ, что возлѣ умираютъ — отъ этого можно умереть, сойти съума. Я не умеръ, но я состарѣлся, я оправляюсь послѣ юньскихъ дней, какъ послѣ тяжелой болѣзни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа въ четыре передъ обѣдомъ шель я берегомъ Сены къ Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны національной гвардіи съ зловѣщими лицами шли по разнымъ направленіямъ, небо было покрыто тучами, шель дождикъ. Я остановился на Pont neuf, сильная молнія сверкнула изъ-за тучи, удары грома слѣдовали другъ за другомъ и середь всего этого раздался мѣрный протяжный звукъ набата съ колокольной св. Сульпиція, которымъ еще разъ обманутый пролетарій — звалъ своихъ братьевъ къ оружію. Соборъ и всѣ зданія по берегу были необыкновенно освѣщены нѣсколькими лучами солнца, ярко выходившими изъ подъ тучи, барабанъ раздавался съ разныхъ сторонъ, артиллерія тянулась съ Карусельской площади.

Я слушалъ громъ, набатъ и не могъ насмотрѣться на панораму Парижа, будто я съ нимъ прощался; я страстно любилъ Парижъ въ эту минуту; это была послѣдняя дань великому городу — послѣ іюньскихъ дней онъ мнѣ опротивѣлъ.

Съ другой стороны рѣки, на всѣхъ переулкахъ и улицахъ строились барикады. Я какъ теперь вижу эти сумрачныя лица, таскавшія камни, дѣти, женщины помогали имъ. На одну барикаду, повидимому оконченную, взошелъ молодой Политехникъ, водрузилъ знамя и запѣлъ тихимъ, печально торжественнымъ голосомъ Марсельезу, всѣ работавшіе запѣли и хоръ этой великой пѣсни, раздававшійся изъ-за камней барикады, захватывалъ душу.... набатъ все раздавался. Между тѣмъ по мосту простучала артиллерія и генераль Весто осматривалъ съ моста въ трубу *непріятельскую* позицію.....

Въ это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей

Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умѣло этого сдѣлать, собраніе не хотѣло, реакціонеры искали мести, крови, искупленія за 24 Февраля, закормы National' и дали имъ исполнителей.

Ну что вы скажите, любезный князь Радецкій и сіятельнѣйшій графъ Паскевичъ Эриванскій? Вы не годитесь въ помощники Каваньяку. Метернихъ и всѣ члены третьяго отдѣленія собственной канцеляріи дѣти кротости, de bons enfans, въ сравненіи съ собраніемъ осерчалыхъ лавочниковъ.

Вечеромъ 26 Іюня мы услышали, послѣ побѣды National' а надъ Парижемъ, правильные залпы, съ небольшими разстановками..... Мы всѣ взглянули другъ на друга, у всѣхъ лица были зеленныя..... „Вѣдь это разстрѣливаютъ,“ сказали мы въ одинъ голосъ и отвернулись другъ отъ друга. Я прижалъ лобъ къ стеклу окна. За такія минуты ненавидать десять лѣтъ, мстять всю жизнь. *Горе тѣмъ, кто прощаютъ такіа минуты!*

Послѣ боины, продолжавшейся четверо сутокъ, наступила тишина и миръ осаднаго положенія; улицы были еще опѣллены, рѣдко, рѣдко гдѣ-нибудь встрѣчался экипажъ, надменная національная гвардія, съ свирѣпой и тупой злобой на лицѣ, берегла свои лавки, грозя штыкомъ и прикладомъ; ликующія толпы пьяной мобили сходили по бульварамъ, распѣвая: Mourir pour la patrie, мальчишки 16, 17 лѣтъ хвастались кровью своихъ братій, запекшейся на ихъ рукахъ, на нихъ бросали цвѣты мѣшанки, выбѣгавшія изъ-за прилавка, чтобъ привѣтствовать побѣдителей. Каваньякъ возилъ съ собою въ коляскѣ какого-то изверга, убившаго десятки французовъ. Буржуази торжествовала. А дома предмѣстья св. Антонія еще дымились, стѣны разбитыя ядрами обвалива-

лись, раскрытая внутренность комнатъ представляла каменные раны, сломанная мебель тлѣла, куски разбитыхъ зеркалъ мерцали..... А гдѣ-же хозяева, жильцы? — Объ нихъ никто и не думалъ..... мѣстами посыпали пескомъ, но кровь все таки выступала.... Къ Пантеону разбитому ядрами не подпускали, по бульварамъ стояли палатки, лошади глодали береженные деревья Елисейскихъ полей, на Place de la Concorde вездѣ было сѣно, кирасирскія латы, сѣдла, въ Тюлери́йскомъ саду солдаты у рѣшетки варили супъ. Парижъ этого не видалъ и въ 1814 году.

Прошло еще нѣсколько дней—и Парижъ сталъ принимать обычный видъ, толпы празднующихся снова явились на бульварахъ, нарядныя дамы ѣздили въ коляскахъ и кабріолетахъ *смотреть* развалины домовъ и слѣды отчаяннаго боя... одни частныя патрули и партіи арестантовъ напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описаніе ночной битвы; кровавыя подробности ея скрыты темнотою; при разсвѣтѣ, когда битва давно кончена, видны ея остатки, клинокъ, окровавленная одежда. Вотъ этотъ-то разсвѣтъ наставалъ теперь въ душѣ, онъ освѣтилъ страшное опустошеніе. Половина надеждъ, половина вѣрованій была убита, мысли отрицанія, отчаянія бродили въ головѣ, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтобъ въ душѣ нашей, прошедшей черезъ столько опытовъ, испытанной современнымъ скептицизмомъ, оставалось такъ много истребляемаго.

Послѣ такихъ потрясеній, живой человѣкъ не остается по старому. Душа его или становится еще религіозиѣ, держится съ отчаяннымъ упорствомъ за свои вѣрованія, находитъ въ самой безнадежности утѣшеніе и человѣкъ вновь зеленѣетъ, обожженный грозой, нося

смерть въ груди—или онъ мужественно и скрѣпя сердце отдастъ послѣднія упованія, становится еще трезвѣе и не удерживаетъ послѣднія слабыя листья, которыя уносить рѣзкій весенній вѣтеръ.

Что лучше? Мудрено сказать.

Одно ведетъ къ блаженству безумія.

Другое къ несчастію знанія.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимаетъ все. Другое ничѣмъ не обезпечено, зато многое даетъ. Я избираю знаніе и пусть оно лишитъ меня послѣднихъ утѣшеній, я пойду нравственнымъ нищимъ по бѣлому свѣту, но съ корнемъ вонъ дѣтскія надежды, отроческія упованья! — Всѣ ихъ подѣ судъ неподкупнаго разума.

Внутри человѣка есть постоянный революціонный трибуналъ, есть беспощадный Фуке-Тенвиль и, главное есть гильотина. Иногда судья засыпаетъ, гильотина ржавѣетъ, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимаетъ голову, обживается и вдругъ какой нибудь дикой ударъ будитъ оплошный судъ, дремлющаго палача и тогда начинается свирѣпая расправа — малѣйшая уступка, пощада, сожалѣніе, ведутъ къ прошедшему, оставляютъ цѣпи. Выбора нѣтъ: или казнить и идти впередъ, или миловать и запнуться на полдорогѣ.

Кто не помнитъ своего логическаго романа, кто не помнитъ, какъ въ его душу попала первая мысль сомнѣнія, первая смѣлость изслѣдованія — и какъ она захватила потомъ болѣе и болѣе и дотрогивалась до святѣйшихъ достояній души? Это-то и есть страшный судъ разума. Казнить вѣрованія не такъ легко, какъ кажется, трудно разставаться съ мыслями, съ которыми мы выросли, сжились, которыя насъ лѣлѣяли, утѣшали

— пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но въ этой средѣ, въ которой стоитъ трибуналъ, тамъ нѣтъ благодарности, тамъ неизвѣстно святотатство и если революція какъ Сатурнъ ѣстъ своихъ дѣтей, то отрицаніе какъ Неронъ убиваетъ свою мать, чтобъ отдѣлаться отъ прошедшаго. Люди боятся своей логики и опрометчиво вызвавъ передъ ея судъ церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло — стремятся спасти клочки, отрывки стараго. Отказываясь отъ Христіанства, берегутъ безсмертіе души, идеализмъ, провидѣніе. Люди, шедшіе вмѣстѣ, тутъ расходятся, одни идутъ на право, другіе на лѣво; одни замираютъ на полдорогѣ какъ верстовые столбы, показывая сколько пройдено, другіе бросаютъ послѣднюю ношу прошедшаго и идутъ бодро впередъ. Переходя изъ стараго міра въ новый, ничего нельзя взять съ собою.

Разумъ беспощаденъ какъ Конвентъ, неліцепріятенъ и строгъ, онъ ни на чемъ не останавливается и требуетъ на лавку подсудимыхъ самое верховное бытіе, для добраго короля теологін настаетъ 21 Января. Этотъ процессъ, какъ процессъ Людовика XVI, пробный камень для жирондистовъ; все слабое, половинчатое или бѣжитъ, или лжетъ, не подаетъ голоса, или подаетъ безъ вѣры. Между тѣмъ люди, произнесшіе приговоръ, думаютъ, что казнивши короля, нечего больше казнить, что 22 Января республика готова и счастлива. Какъ будто достаточно атеизма, чтобъ не имѣть религін, какъ будто достаточно убить Людовика XVI, чтобъ не было монархіи. Удивительное сходство феноменологін террора и логики. Терроръ именно начался послѣ казни короля, вслѣдъ за нимъ явились на помостѣ благородные отроки революціи, блестящіе, краснорѣчивые, слабые. Жаль ихъ, но спасти невозможно и головы ихъ пали,

а за ними покати́лась львиная голова Дантона и голова ба́ловня революціи Камиль Демулена. — Ну теперь, теперь по крайней мѣрѣ кончено? Нѣтъ, теперь чередъ неподкупныхъ палачей, они будутъ казнены за то, что вѣрили въ возможность демократіи во Франціи, за то, что казнили во имя равенства, да, казнены какъ Анахарсисъ Клооцъ, мечтавшій о братствѣ народовъ, за нѣсколько дней до Наполеоновской эпохи, за нѣсколько лѣтъ до Вѣнскаго Конгресса.

Не будетъ міру свободы, пока все религіозное, политическое, не превратится въ человѣческое, простое, подлежащее критикѣ и отрицанію. Возмужалая логика ненавидитъ канонизированныя истины, она ихъ растрясаетъ изъ ангельскаго чина въ людской, она изъ священныхъ таинствъ дѣлаетъ явныя истины, она ничего не считаетъ неприкосновеннымъ и если республика присвоиваетъ себѣ такія-же права, какъ монархія — презираетъ ее, какъ монархію — нѣтъ, гораздо больше. Монархія не имѣетъ смысла, она держится насиліемъ, а отъ имени республика сильнѣе бьется сердце; монархія сама по себѣ религія, у республики нѣтъ мистическихъ отговорокъ, нѣтъ божественнаго права, она съ нами стоитъ на одной почвѣ. Мало ненавидѣть корону, надобно перестать уважать и фригійскую шапку; мало не признавать преступленіемъ оскорбленіе величества, надобно признавать преступнымъ *salus populi*. Пора человѣку потребовать къ суду: республику, законодательство, представительство, всѣ понятія о гражданѣ и его отношеніяхъ къ другимъ и къ государству. Казней будетъ много; близкимъ, дорогимъ надобно пожертвовать — мудрено-ли жертвовать ненавистнымъ? въ томъ-то и дѣло, чтобъ отдать дорогое, если мы убѣдимся, что оно не истинно. И въ этомъ наше дѣйстви-

тельное дѣло. Мы не призваны собирать плодъ, но призваны быть палачами прошедшаго, казнить, преслѣдовать его, узнавать его во всѣхъ одеждахъ и приносить на жертву будущему. Оно торжествуетъ фактически, погубимъ его въ идеѣ, въ убѣжденіи, во имя человѣческой мысли. Уступокъ дѣлать не кому — трехцвѣтное знамя уступокъ слишкомъ замарано, оно долго не просохнетъ отъ іюньской крови. И кого въ самомъ дѣлѣ щадить? Всѣ элементы разрушающейся веси являются во всей жалкой нелѣпости, во всемъ отвратительномъ безуміи своемъ. — Что вы уважаете? *Народное* правительство, что-ли? — Кого вамъ жаль — можетъ быть Парижъ?

Три мѣсяца люди, избранные всеобщей подачей голосовъ, люди выборные всей земли французской ничего не дѣлали и вдругъ стали во весь ростъ, чтобъ показать міру зрѣлище невиданное — восьмисотъ человѣкъ, дѣйствующихъ какъ одинъ злодѣй, какъ одинъ извергъ. Кровь лилась рѣками, а они не нашли слова любви, примиренія; все великодушное, человѣческое покрывалось воплемъ мести и негодованія, голосъ умирающаго Афра не могъ тронуть этого многоголоваго Калигулу, этого Бурбона, размѣненнаго на мѣдные гроши; они прижали къ сердцу національную гвардію, растрѣливавшую безоружныхъ, Сенаръ благословлялъ Каваньяка и Каваньякъ умильно плакалъ, исполнивъ всѣ злодѣйства, указаннаго адвокатскимъ пальцемъ представителей. А грозное меньшинство притаилось, *юра* скрылась за облаками довольная, что ее не растрѣляли, не сгноили въ подвалахъ, молча смотрѣла она, какъ обираютъ оружіе у гражданъ, какъ декретизируютъ депортацію, какъ сажаютъ въ тюрьму людей за все на свѣтѣ — за то, что они не стрѣляли въ своихъ братій.

Убийство въ эти страшные дни сдѣлалось обязанностью, человекъ, не отмочившій себѣ рукъ въ пролетарской крови, становился подозрителенъ для мѣщанъ.... По крайней мѣрѣ большинство имѣло твердость быть злодѣемъ. А эти жалкіе друзья народа, риторы, пустыя сердца!.. Одинъ мужественный плачь, одно великое негодование и раздалось, и то внѣ камеры. Мрачное проклятіе старца Ламене останется на головѣ бездушныхъ канибаловъ, и всего ярче выступить на лбу малодушныхъ, которые, произнося слово республика, испугались смысла его.

Парижъ! Какъ долго это имя горѣло путеводной звѣздой народовъ; кто не любилъ, кто не поклонялся ему — но его время миновало, пускай онъ идетъ со сцены. Въ іюньскіе дни онъ завязалъ великую борьбу, которую ему не развязать. Парижъ состарѣлся — и юношескія мечты ему больше не идутъ; для того чтобъ оживиться, ему нужны сильныя потрясенія, Варезомеевскія ночи, сентябрскіе дни. Но іюньскіе ужасы не оживили его; откуда же возметъ дряхлый Вампиръ еще крови, крови праведниковъ, той крови, которая 27 Іюня отражала огонь плшекъ, зажженныхъ ликующими мѣщанами. Парижъ любилъ играть въ солдаты, онъ посадилъ императоромъ счастливаго солдата, онъ рукоплескалъ злодѣйствамъ, называемымъ побѣдою, онъ воздвигалъ статуи, онъ мѣщанскую фигуру маленькаго капрала опять поставилъ, черезъ пятнадцать лѣтъ, на колонну, онъ съ благоговѣніемъ переносилъ прахъ водворителя рабства, онъ и теперь надѣялся найти въ солдатахъ якорь спасенія отъ свободы и равенства, онъ позвалъ дикія орды одичалыхъ африканцевъ противъ братій своихъ, чтобъ не дѣлиться съ ними и зарѣзалъ ихъ бездушной рукой убійцы по ремеслу. Пусть-же онъ не-

сеть послѣдствіе своихъ дѣлъ, своихъ ошибокъ... Парижъ растрѣлывалъ безъ суда... Что выйдетъ изъ этой крови? — кто знаетъ; но что бы ни вышло, довольно, что въ этомъ разгарѣ бѣшенства, мести, раздора, возмездія, погибнетъ міръ, тѣснящій новаго человѣка, мѣшающій ему жить, мѣшающій водвориться будущему — и это прекрасно, а потому — Да здравствуетъ хаосъ и разрушеніе!

Vive la mort!

И да водружится будущее!

Парижъ 24 Іюля 1848 г.

III.

LVII ГОДЪ

Республики единой и нераздѣльной.

Ce n'est pas le socialisme, c'est la république !

Рѣчь Ледрю-Роллена въ Шалѣ,
22 октября 1848 года.

На дняхъ праздновали Первое Вандеміера пятьдесятъ-седьмого года. Въ Шалѣ на Елисейскихъ поляхъ собрались всѣ аристократы демократической республики, всѣ алые члены собранія. Къ концу обѣда Ледрю-Ролленъ произнесъ блестящую рѣчь. Рѣчь его, наполненная *красныхъ* розъ для республики и колючихъ шиповъ для

правительства, имѣла полный успѣхъ и заслуживала его. Когда онъ кончилъ, раздалось громкое *Vive la République démocratique!* Всѣ встали и стройно, торжественно, безъ шляпъ, заплѣли Марсельезу. Слова Ледрю-Роллена, звуки заплѣтной пѣсни освобожденія и бокалы вина въ свою очередь одушевили всѣ лица, глаза горѣли, и тѣмъ болѣе горѣли, что не все бродившее въ ловѣ являлось на губахъ. Барабанъ лагеря Елисейскихъ полей напоминалъ, что непріятель близко, что осадное положеніе и солдатская диктатура продолжаютъ.

Большая часть гостей были люди въ цвѣтѣ лѣтъ, но уже больше или меньше искусившіе свои силы на политической аренѣ. Шумно, горячо говорили они между собою. Сколько энергій, отваги, благородства въ характерѣ французовъ, когда они еще не подавили въ себѣ хорошаго начала своей національности, или уже вырвались изъ мелкой и грязной среды мѣщанства, которое какъ тина покрываетъ зеленью своей всю Францію. Что за мужественное, рѣшительное выраженіе въ лицахъ, что за стремительная готовность подтвердить дѣломъ—слово; сейчасъ идти на бой, стать подъ пулю, казнить, быть казненнымъ. Я долго смотрѣлъ на нихъ и мало по малу невыносимая грусть поднялась во мнѣ и налегла на всѣ мысли, мнѣ стало смертельно жаль эту кучку людей—благородныхъ, преданныхъ, умныхъ, даровитыхъ, чуть-ли не лучший цвѣтъ новаго поколѣнія.... Не думайте, что мнѣ стало ихъ жаль потому, что можетъ быть они не доживутъ до I-го Брюмера или до I-го Нивоза 57-го года, что можетъ черезъ недѣлю они погибнуть на барикадахъ, пропадутъ на галерахъ, въ депортаціи, на гильотинѣ или по новой модѣ ихъ можетъ перестрѣляють съ связанными руками, загнавши куда нибудь въ уголъ Карусельской площади или подѣ

внѣшніе форты — все это очень печально, но я не объ этомъ жалѣлъ, грусть моя была глубже.

Мнѣ было жаль ихъ откровенное заблужденіе, ихъ добросовѣстную вѣру въ несбыточныя вещи, ихъ горячее упованіе, столько-же чистое и столько-же призрачное какъ рыцарство Донъ-Кихота. Мнѣ было жаль ихъ, какъ врачу бываетъ жаль людей, не подозрѣвающихъ страшнаго недуга въ груди своей. Сколько нравственныхъ страданій готовятъ себѣ эти люди — они будутъ биться какъ герои, они будутъ работать всю жизнь и не успѣютъ. Они отдадутъ кровь, силы, жизнь и состарѣвшись увидятъ, что изъ ихъ труда ничего не вышло, что они дѣлали не то, что надобно и умрутъ съ горькимъ сомнѣніемъ въ человѣка, который не виновать; или—еще хуже—впадутъ въ ребячество и будутъ какъ теперь ждать всякой день огромной перемѣны, водворенія *ихъ* республики — принимая предсмертныя муки умирающаго, за страданія предшествующія родамъ. Республика, *такъ какъ они ее* понимаютъ, отвлеченная и неудобноисполнимая мысль, плодъ теоретическихъ думъ, апотеоза существующаго государственнаго порядка, преображеніе *того что есть*, ихъ республика послѣдняя мечта, поэтическій бредъ стараго міра. Въ этомъ бреду есть и пророчество, но пророчество, относящееся къ жизни за гробомъ, къ жизни будущаго вѣка. Вотъ чего они люди прошедшаго, не смотря на революціонность свою, связанные съ старымъ міромъ на животь и на смерть не могутъ понять. Они воображаютъ, что этотъ дряхлый міръ можетъ какъ Улиссъ поюнѣть — не замѣчая того, что осуществленіе одной закраины *ихъ* республики мгновенно убьетъ его; они не знаютъ, что нѣтъ круче противорѣчія какъ между ихъ идеаломъ и существующимъ порядкомъ, что одно

должно умереть, чтобъ другому можно было жить. Они не могутъ выйти изъ старыхъ формъ, они ихъ принимаютъ за какія-то вѣчныя границы и оттого ихъ идеалъ носитъ только имя и цвѣтъ будущаго, а въ сущности принадлежитъ міру прошедшему, не отрѣшается отъ него.

Зачѣмъ они не знаютъ этого?

Роковая ошибка ихъ состоитъ въ томъ, что увлеченные благородной любовью къ ближнему, къ свободѣ, увлеченные нетерпѣніемъ и негодованіемъ, они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились, они нашли въ себѣ силу порвать желѣзныя, грубыя цѣпи, не замѣчая того, что стѣны тюрьмы остались. Они хотятъ, не мѣняя стѣнъ, дать имъ иное названіе, какъ будто планъ острога можетъ годиться для свободной жизни.

Ветхій міръ, католико-феодальный, далъ всѣ видоизмѣненія, къ которымъ онъ былъ способенъ, развился во всѣ стороны, до высшей степени изысканаго и отвратительнаго, до обличенія всей истины въ немъ заключенной, и всей лжи, наконецъ онъ истощился. Онъ можетъ еще долго стоять, но обновляться не можетъ; общественная мысль, развивающаяся теперь, такова, что каждый шагъ къ осуществленію ея будетъ выходъ изъ него. Выходъ! — тутъ-то и остановка! Куда? что тамъ за его стѣнами! — Страхъ беретъ — пустота, ширина, воля... какъ идти, не зная куда, какъ терять, не видя приобрѣтеній! — Еслибъ Колумбъ такъ рассуждалъ, онъ никогда не снялъ бы якоря. Сумашествіе ѣхать по океану, не зная дороги, по океану, по которому никто не ѣздилъ, плыть въ страну, существованіе которой вопросъ. Этимъ сумашествіемъ онъ открылъ новый міръ. Конечно, еслибъ народы переѣзжали изъ одного гото-

ваго *hôtel garni* въ другой—еще лучшій, было бы легче, да бѣда въ томъ, что некому заготовлять новыхъ квартиръ. Въ будущемъ хуже нежели въ океанѣ—ничего нѣтъ, оно будетъ такимъ, какимъ его сдѣлають обстоятельства и люди.

Если вы довольны старымъ міромъ, старайтесь его сохранить, онъ очень хилъ и на долго его не станетъ при такихъ толчкахъ какъ 24 Февраля; но если вамъ невыносимо жить въ вѣчномъ раздорѣ убѣждений съ жизнью, думать одно и дѣлать другое, выходите изъ-подъ выбѣленныхъ, средневѣковыхъ сводовъ на свой страхъ; отважная дерзость въ иныхъ случаяхъ выше всякой мудрости. Я очень знаю, что это не легко; шутка-ли разстаться со всѣмъ, къ чему чеховѣкъ привыкъ со дня рожденія, съ чѣмъ вмѣстѣ росъ и выросъ. Люди, о которыхъ мы говоримъ, готовы на страшныя жертвы,—но не на тѣ, которыя отъ нихъ требуетъ новая жизнь. Готовы-ли они пожертвовать современной цивилизаціей, образомъ жизни, религіей, принятой условной нравственностью? Готовы-ли они лишиться всѣхъ плодовъ, выработанныхъ съ такими усиліями, плодовъ, которыми мы хвастаемся три столѣтія, которые намъ такъ дороги, *лишиться* всѣхъ удобствъ и прелестей нашего существованія, предпочесть дикую юность — образованной дряхлости, необработанную почву, непроходимые лѣса — истощеннымъ полямъ и расчищеннымъ паркамъ, сломать свой наслѣдственный замокъ, изъ одного удовольствія участвовать въ закладкѣ новаго дома, который построится, безъ сомнѣнія, гораздо послѣ насъ? Это вопросъ безумнаго, скажутъ многіе. Его дѣлалъ Христосъ иными словами.

Либералы долго играли, шутили съ идеей революціи и дошутились до 24 Февраля. Народный ураганъ по-

ставилъ ихъ на вершину колокольни и указалъ имъ, куда они идутъ и куда ведутъ другихъ; посмотрѣвши на пропасть, открывавшуюся передъ ихъ глазами, они поблѣднѣли; они увидѣли, что не только то падаетъ, что они считали за предразсудокъ, но и все остальное, что они считали за вѣчное и истинное; они до того перепугались, что одни уцѣпились за падающія стѣны, а другіе остановились кающимися на подорогѣ и стали клясться всѣмъ проходимъ, что они этого не хотѣли. Вотъ отчего люди, провозглашавшіе республику, сдѣлались палачами свободы, вотъ отчего либеральныя имена, звучавшія въ ушахъ нашихъ лѣтъ двадцать, являются ретроградными депутатами, измѣнниками, инквизиторами. Они хотятъ свободы, даже республики въ извѣстномъ кругѣ литературно-образованномъ. За предѣлами своего умѣреннаго круга они становятся консерваторами. Такъ раціоналистамъ пришлось объяснять тайны религіи, имъ пришлось раскрывать значеніе и смыслъ мифовъ, они не думали, что изъ этого выйдетъ, не думали, что ихъ изслѣдованія, начинающіяся со страха господня, окончатся атеизмомъ, что ихъ критика церковныхъ обрядовъ приведетъ къ отрицанію религіи.

Либералы всѣхъ странъ, со времени реставраціи, звали народы на низверженіе монархическо-феодальнаго устройства во имя равенства, во имя слезъ несчастнаго, во имя страданій притѣсненнаго, во имя голода немущаго, они радовались, гоня до упаду министровъ, отъ которыхъ требовали неудобно-исполнимаго, они радовались, когда одна феодальная подставка пала за другой и до того увлеклись наконецъ, что перешли собственныя желанія. Они опомнились, когда изъ-за полуразрушенныхъ стѣнъ явился — не въ книгахъ, не въ

парламентской болтовни, не въ филантропическихъ разглагольствованіяхъ, а на самомъ дѣлѣ — пролетарій, работникъ съ топоромъ и черными руками, голодный и едва одѣтый рубищемъ. Этотъ „несчастный, обдѣленный братъ,“ о которомъ столько говорили, котораго такъ жалѣли, спросилъ наконецъ, гдѣ-же его доли во всѣхъ благахъ, въ чемъ *его* свобода, *его* равенство, *его* братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступомъ улицы Парижа, покрыли ихъ трупами и спрятались отъ *брата* за штыками осаднаго положенія, спасая *цивилизацию и порядокъ!*

Они правы, только они непослѣдовательны. Зачѣмъ-же они прежде подламывали монархію? Какъ-же они не поняли, что, уничтожая монархическій принципъ, революція не можетъ остановиться на томъ, чтобъ вытолкать за дверь какую-нибудь династію. Они радовались какъ дѣти, что Людовикъ Филиппъ не успѣлъ доѣхать до С. Клу, а ужъ въ Hôtel de Ville явилось новое правительство и дѣло пошло своимъ чередомъ; въ то время какъ эта легкость переворота должна имъ была показать несущественность его. Либералы были удовлетворены. Но народъ не былъ удовлетворенъ, но народъ поднялъ теперь свой голосъ, онъ повторялъ ихъ слова, ихъ обѣщанія а они какъ Петръ троекратно отрѣклись и отъ словъ и отъ обѣщанія, какъ только увидѣли, что дѣло идетъ не на шутку—и начали убійства. Такъ Лютеръ и Кальвинъ топили *анабаптистовъ*, такъ Протестанты отрѣкались отъ Гегеля, и Гегелисты отъ Фейербаха. Таково положеніе *реформаторовъ* вообще, они собственно наводятъ только понтоны, по которымъ увлеченные ими народы переходятъ съ одного берега на другой. Для нихъ нѣтъ среды лучше какъ конституціонное сумрачное ни-то, ни-сѣ. И въ этомъ-то

міръ словопрениій, раздора, непримиримыхъ противорѣчій, не измѣняя его, хотѣли эти суетные люди осуществить свои *pia desideria* свободы, равенства и братства.

Формы европейской гражданственности, ея цивилизація, ея добро и зло разочтены по другой сущности, развились изъ иныхъ понятій, сложились по инымъ потребностямъ. До нѣкоторой степени формы эти, какъ все живое, были измѣняемы, но какъ все живое измѣняемы до *нѣкоторой степени*, организмъ можетъ воспитываться, отклоняться отъ назначенія, прилаживаться къ влияніямъ до тѣхъ поръ, пока отклоненія не отрицаютъ его личности, его индивидуальности, то что составляетъ его личность; какъ скоро организмъ встрѣчаетъ такого рода влиянія, дѣлается борьба и организмъ побѣждаетъ или гибнетъ. Явленіе смерти въ томъ и состоитъ, что составныя части организма получаютъ иную цѣль, онѣ не пропадаютъ, пропадаетъ личность, а онѣ вступаютъ въ рядъ совсѣмъ другихъ отношеній, явленій.

Государственныя формы Франціи и другихъ европейскихъ державъ — не совмѣстны по внутреннему своему понятію ни съ свободой, ни съ равенствомъ, ни съ братствомъ, всякое осуществленіе этихъ идей будетъ отрицаніемъ современной европейской жизни, ея смертью. Никакая конституція, никакое правительство не въ состояніи дать феодально-монархическимъ государствамъ истинной свободы и равенства — не разрушая до тла все феодальное и монархическое. Европейская жизнь, христіанская и аристократическая, образовала нашу цивилизацію, наши понятія, нашъ бытъ; ей необходима христіанская и аристократическая среда. Среда эта могла развиваться сообразно съ духомъ времени, съ степенью образованія, сохраняя свою сущность, въ

католическомъ Римѣ, въ кощунствующемъ Парижѣ, въ философствующей Германіи; но далѣе идти нельзя, не переступая границу. Въ разныхъ частяхъ Европы люди могутъ быть посвободнѣе, поровнѣе, нигдѣ не могутъ они быть свободны и равны, пока существуетъ *эта* гражданская форма, пока существуетъ *эта* цивилизація. Это знали всѣ умные консерваторы и оттого поддерживали всѣми силами старое устройство. Неужели вы думаете, что Метернихъ и Гизо не видѣли несправедливости общественнаго порядка, ихъ окружавшаго? — но они видѣли, что эти несправедливости такъ глубоко вилетены во весь организмъ, что стоитъ коснуться до нихъ — все зданіе рухнетъ; понявши это, они стали стражами *status quo*. А либералы разнуздали демократію, да и хотятъ воротиться къ прежнему порядку. Кто же правѣе?

Въ сущности, само собою разумѣтся, всѣ неправы — и Гизо и Метернихъ и Каваньяки, всѣ они дѣлали дѣйствительныя злодѣянія изъ-за мнимой цѣли, они тѣснили, губили, лили кровь для того, чтобъ задержать смерть. Ни Метернихъ съ своимъ умомъ, ни Каваньякъ съ своими солдатами, ни республиканцы съ своимъ непониманіемъ, не могутъ въ самомъ дѣлѣ остановить потокъ, теченіе котораго такъ сильно обозначилось, только вмѣсто облегченія они усыпаютъ людямъ путь толченымъ стекломъ. Идущіе народы пройдутъ, хуже, труднѣе, изрѣжутъ себѣ ноги, но все таки пройдутъ; сила соціальныхъ идей велика, особенно съ тѣхъ поръ, какъ ихъ началъ понимать истинный врагъ, врагъ по *праву* существующаго гражданского порядка — пролетарій, работникъ, которому досталась вся горечь этой формы жизни и котораго миновали всѣ ея плоды. Намъ еще жаль старый порядокъ вещей, кому-же и пожа-

лѣтъ его какъ не намъ? онъ только для насъ и былъ хорошъ мы воспитаны имъ, мы его любимыя дѣти, мы сознаемся, что ему надобно умереть, но не можемъ ему отказать въ слезѣ. Ну а массы, задавленные работой, изнуренныя голодомъ, притупленныя невѣжествомъ, онѣ о чемъ будутъ плакать на его похоронахъ?... Онѣ были эти неприглашенные на пиръ жизни, о которыхъ говорить Мальтусъ, ихъ *подавленность* была необходимымъ условіемъ нашей жизни.

Все наше образованіе, наше литературное и научное развитіе, наша любовь изящнаго, наши занятія, предполагаютъ среду постоянно расчищаемую *другими*, приготовляемую *другими*; надобенъ чей-то трудъ для того, чтобъ намъ доставить досугъ необходимый для нашего психическаго развитія, тотъ досугъ, ту дѣятельную праздность, которая способствуетъ мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствуетъ пышному, капризному, поэтическому, богатому развитію нашихъ аристократическихъ индивидуальностей.

Кто не знаетъ, какую свѣжесть духу придаетъ беззаботное довольство; бѣдность вырабатывающаяся до Жильбера исключеніе, бѣдность страшно искажаетъ душу человѣка—не меньше богатство. Забота объ однихъ матеріальныхъ нуждахъ подавляетъ способности. А развѣ довольство можетъ быть доступно всѣмъ при современной гражданской формѣ? Наша цивилизація — цивилизація меньшинства, она только возможна при большинствѣ чернорабочихъ. Я не моралистъ и не сентиментальный человѣкъ; мнѣ кажется, если меньшинству было дѣйствительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни въ прошедшемъ оправдана. Я не жалѣю о двадцати поколѣніяхъ нѣм-

цевъ, потраченныхъ на то, чтобъ сдѣлать возможнымъ Гёте, и радуюсь, что псковской оброкъ далъ возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна; точно какъ извѣстное дерево, она мать и мачиха вмѣстѣ; она ничего не имѣетъ противъ того, что двѣ трети ея произведеній идутъ на питаніе одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могутъ всѣ хорошо жить, пусть живутъ нѣсколько, пусть живетъ одинъ — на счетъ другихъ, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только съ этой точки и можно понять аристократію. Аристократія вообще болѣе или менѣе образованная антропофагія; канибаль, который ѣстъ своего невольника, помѣщикъ, который беретъ страшный процентъ съ земли, фабрикантъ, который богатѣетъ на счетъ своего работника—составляютъ только видоизмѣненія одного и того-же людоедства. Я впрочемъ готовъ защищать и самую грубую антропофагію, если одинъ человѣкъ себя разсматриваетъ какъ блюдо, а другой хочетъ его съѣсть—пусть ѣстъ; они стоятъ того, одинъ, чтобъ быть людоедомъ, другой, чтобъ быть кушаньемъ.

Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколѣній, едва догадывалось, отчего ему такъ ловко жить; пока большинство, работая день и ночь, не совсѣмъ догадывалось, что вся выгода работы для другихъ, и тѣ и другіе считали это естественнымъ порядкомъ, міръ антропофагін могъ держаться. Люди часто принимаютъ предразсудокъ, привычку за истину — и тогда она ихъ не тѣснитъ: но когда они однажды поняли, что ихъ истина вздоръ, дѣло кончено, тогда только силою можно заставить дѣлать то, что человѣкъ считаетъ нелѣпымъ. Учредите постные дни безъ вѣры? — Ни подъ какимъ видомъ; человѣку сдѣлается также

невыносимо ѣсть постное, какъ вѣрующему ѣсть скромное.

Работникъ не хочетъ больше работать для другаго — вотъ вамъ и конецъ антропофагін, вотъ предѣлъ аристократіи. Все дѣло остановилось теперь за тѣмъ, что работники не сосчитали своихъ силъ, что крестьяне отстали въ образованіи; когда они протянутъ другъ другу руку, — тогда вы распритесь съ вашимъ досугомъ, съ вашей роскошью, съ вашей цивилизаціей, тогда окончится поглощеніе большинства на выработку свѣтлой и роскошной жизни меньшинству. Въ идеѣ теперь уже кончена эксплуатація челоуѣкомъ челоуѣкомъ. Кончена потому, что никто не считаетъ это отношеніе справедливымъ.

Какъ-же этотъ міръ устоитъ противъ соціального переворота? во имя чего будетъ онъ себя отстаивать? — религія его ослабла, монархическій принципъ потерялъ авторитетъ; онъ поддерживается страхомъ и насиліемъ; демократическій принципъ — ракъ, снѣдающій его изнутри.

Духота, тягость, усталъ, отвращеніе отъ жизни — распространяется вмѣстѣ съ судорожными попытками куда-нибудь выйти. Всѣмъ на свѣтѣ стало дурно жить — это великій признакъ.

Гдѣ эта тихая, созерцательная, кабинетная жизнь въ сферѣ знанія и искусствъ, въ которой жили Германцы; гдѣ этотъ вихрь веселья, остроты, либерализма, нарядовъ, пѣсенъ, въ которомъ кружился Парижъ? Все это прошедшее, воспоминаніе. Послѣднее усиліе спасти старый міръ обновленіемъ изъ его собственныхъ началъ не удалось.

Все мельчаетъ и вянетъ на истощенной почвѣ — нѣту талантовъ, нѣту творчества, нѣту силы мысли, —

нѣту силы воли; міръ этотъ пережилъ эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло также какъ время Рафаэля и Бонаротти, какъ время Вольтера и Руссо, какъ время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустріи проходитъ, она пережита, такъ какъ блестящая эпоха аристократіи; всѣ нищаютъ, не обогащая никого; кредиту нѣтъ, всѣ перебиваются съ дня на день, образъ жизни дѣлается менѣе и менѣе изящнымъ, граціознымъ, всѣ жмутся, всѣ боятся, всѣ живутъ какъ лавочники, нравы мелкой буржуазіи сдѣлались общими; никто не беретъ осѣдлости, все на время, наемно, шатко. Это то тяжелое время, которое давило людей въ третьемъ столѣтіи, когда самые пороки древняго Рима утратились, когда императоры стали вялы, легіоны мирны. Тоска мучила людей энергическихъ и безпокойныхъ до того, что они толпами бѣжали куда-нибудь въ Оивандскія степи, кидая на площадь мѣшки золота и разставаясь на вѣкъ и съ родиной, и съ прежними богами. Это время настаетъ для насъ, тоска наша растетъ!

Кайтесь господа, кайтесь! судъ міру вашему пришелъ. Не спасти вамъ его ни осаднымъ положеніемъ, ни республикой, ни казнями, ни благотвореніями, ни даже раздѣленіемъ полей. Можетъ-быть судьба его не была бы такъ печальна, еслибъ его не защищали съ такимъ усердіемъ и упорствомъ, съ такой безнадежной ограниченностью. Никакое перемиріе не поможетъ теперь во Франціи; враждебныя партіи не могутъ ни объясниться ни понять другъ друга, у нихъ разныя логики, два разума. Когда вопросы становятся такъ, нѣтъ выхода — кромѣ борьбы, одинъ изъ двухъ долженъ остаться на мѣстѣ—монархія или социализмъ.

Подумайте, у кого больше шансовъ? Я предлагаю пари за социализмъ. „Мудрено себѣ представить!“ —

Мудрено было и христіанству восторжествовать надъ Римомъ. Я часто воображаю, какъ Тацитъ или Плиній умно разсуждали съ своими пріятелями объ этой нелѣпой сектѣ Назареевъ, объ этихъ Пьеръ Ле-Ру, пришедшихъ изъ Іудей, съ энергической и полубезумной рѣчью, о тогдашнемъ Прудонѣ, явившемся въ самый Римъ проповѣдывать конецъ Рима. Гордо и мощно стояла имперія въ противуположность этимъ бѣднымъ пропагандистамъ—а не устояла однако.

Или вы не видите новыхъ Христіанъ, идущихъ странъ; новыхъ варваровъ, идущихъ разрушать? — они готовы, они какъ лава тяжело шевелится подъ землею, внутри горъ. Когда настанетъ ихъ часъ—Геркуланумъ и Помпея исчезнутъ, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнутъ рядомъ. Это будетъ не судъ, не расправа, а катаклизмъ, переворотъ..... Эта лава, эти варвары, этотъ новый міръ, эти Назареи, идущіе покончить дряхлое и безсильное и расчистить мѣсто свѣжему и новому, ближе нежели вы думаете. Вѣдь это они умираютъ отъ голода, отъ холода, они роняютъ надъ нашей головой и подъ нашими ногами, на чердакахъ и въ подвалахъ, въ то время какъ мы съ вами *au premier*,

Шампанскимъ вафли запивая,

толкуемъ о социализмѣ. Я знаю, что это не новость, что оно и прежде было такъ, но прежде они не догадывались, что это *очень глупо*.

— Но неужели будущая форма жизни вмѣсто прогресса должна водвориться ночью варварства, должна купиться утратами? Не знаю, но думаю, что образованному меньшинству, если оно доживетъ до этого разгрома и не закалится въ свѣжихъ, новыхъ понятіяхъ, жить будетъ хуже. Многіе возмущаются противъ этого, я на-

хожу это утѣшительнымъ, для меня въ этихъ утратахъ доказательство, что каждая историческая фаза имѣетъ полную дѣйствительность, свою индивидуальность, что каждая достигнутая цѣль, а не средство; оттого у каждой свое благо, свое хорошее, лично принадлежащее ей и которое съ нею гибнетъ. Что вы думаете, римскіе патриціи много выиграли въ образѣ жизни, перешедши въ христіанство? или аристократы до революціи развѣ не лучше жили, нежели мы съ вами живемъ?

— Все это такъ, но мысль о крутомъ и насильственномъ переворотѣ, имѣетъ въ себѣ что-то отталкивающее для многихъ. Люди, видящіе, что перемѣна необходима, желали бы, чтобъ она сдѣлалась исподволь. Сама природа, говорятъ они, по мѣрѣ того какъ она складывалась и становилась богаче, развитѣе, перестала прибѣгать къ тѣмъ страшнымъ катаклизмамъ, о которыхъ свидѣтельствуетъ кора земнаго шара, наполненная костями цѣлыхъ населеній погибнувшихъ въ ея перевороты; тѣмъ болѣе стройная, покойная метаморфоза свойственна той степени развитія природы, въ которой она достигла сознанія.

— Она достигла его нѣсколькими головами, малымъ числомъ избранныхъ, остальные достигаютъ еще и оттого покорены *Naturgewalt*-амъ, инстинктамъ, темнымъ влеченіямъ, страстямъ. Для того чтобъ мысль ясная и разумная для васъ, была мыслию другаго — недостаточно чтобъ она была истинна, для этого нужно, чтобъ его мозгъ былъ развитъ такъ-же какъ вашъ, чтобъ онъ былъ освобожденъ отъ преданія. Какъ вы уговорите работника терпѣть голодъ и нужду, пока исподволь перемѣнится гражданское устройство? Какъ вы убѣдите собственника, ростовщика, хозяина разжать

руку, которой онъ держится за свои монополи и права? Трудно представить себѣ такое самоотверженіе. Что можно было сдѣлать — сдѣлано; развитіе средняго сословія, конституціонный порядокъ дѣлѣ ничто иное какъ промежуточная форма, связующая міръ феодально-монархическій съ соціально-республиканскимъ. Буржуазія именно представляетъ это полусвобожденіе, эту дерзкую нападку на прошедшее съ желаніемъ унаслѣдовать его власть. Она работала для себя — и была права. Человѣкъ серьезно дѣлаетъ что-нибудь только тогда, когда дѣлаетъ для себя. Не могла-же буржуазія себя принимать за уродливое промежуточное звѣно, она принимала себя за цѣль; но такъ какъ ея правственный принципъ былъ меньше и бѣднѣе прошлаго, а развитіе идетъ быстрѣе и быстрѣе, то и нечему дивиться, что міръ буржуази истощился такъ скоро и не имѣетъ въ себѣ болѣе возможности обновленія. Наконецъ подумайте, въ чемъ можетъ быть этотъ переворотъ исподволь — въ раздробленіи собственности, въ родѣ того, что было сдѣлано въ первую революцію?— Результатъ этого будетъ тотъ, что всѣмъ на свѣтѣ будетъ жерзко; мелкій собственникъ — худшій буржуа изъ всѣхъ; всѣ силы таящіяся теперь въ многострадальной, но мощной груди пролетарія изсякнутъ; правда онъ не будетъ умирать съ голода, да на томъ и остановится, ограниченный своимъ клочкомъ земли или своей коморкой въ рабочничьихъ казармахъ. Такова перспектива мирнаго, органическаго переворота. Если это будетъ, тогда главный потокъ исторіи найдетъ себѣ другое русло. онъ не потеряется въ песокъ и глинѣ, какъ Рейнъ, человѣчество не пойдетъ узкимъ и грязнымъ проселкомъ, — ему надобно широкую дорогу. Для того, чтобъ расчистить ее, оно ничего не пожалѣетъ.

Въ природѣ консерватизмъ такъ-же силенъ какъ революціонный элементъ. Природа позволяетъ жить старому и ненужному, пока можно; но она не пожалѣла мамонтовъ и мастодонтовъ для того, чтобъ уладить земной шаръ. Переворотъ, ихъ погубившій, не былъ направленъ *противъ нихъ*; еслибъ они могли какъ-нибудь спастись, они бы уцѣлѣли и потомъ спокойно и мирно выродились бы, окруженные средой имъ несвойственной. Мамонты, которыхъ кости и кожу находятъ въ сибирскихъ льдахъ, вѣроятно спаслись отъ геологическаго переворота; это Комнены, Палеологи въ феодальномъ мірѣ. Природа ничего не имѣетъ противъ этого, также какъ исторія. Мы ей подкладываемъ сентиментальную личность и наши страсти, мы забываемъ нашъ метафорическій языкъ и принимаемъ образъ выраженія за самое дѣло. Не замѣчая нелѣпности, мы вносимъ маленькія правила нашего домашняго хозяйства во всемірную экономію, для которой жизнь поколѣній, народовъ, цѣлыхъ планетъ не имѣетъ никакой важности въ отношеніи къ общему развитію. Въ противоположность намъ субъективнымъ, любящимъ одно личное, для природы гибель частнаго, исполненіе той-же необходимости, той-же игры жизни, какъ возникновеніе его, она не жалѣетъ объ немъ потому, что изъ ея широкихъ объятій ничего не можетъ утратиться, какъ ни измѣняйся.

1 октября 1848 года.*)

Champs Elysées.

*) Слѣдуетъ вѣроятно читать 1 Ноября, такъ какъ эпиграфомъ этой главы взята фраза изъ рѣчи Ледрю-Роллена, произнесенной 22 Октября.

Прим. Изд.

IV.

VIXERUNT!

СМЕРТЮ СМЕРТЬ ПОПРАВЬ.

(Заутреня передъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ.)

Двадцатое Ноября 1848 года, въ Парижѣ, погода была ужасная, суровый вѣтеръ съ преждевременнымъ снѣгомъ и инеемъ въ первый разъ послѣ лѣта напоминалъ о приближеніи зимы. Зимы ждутъ здѣсь какъ общественнаго несчастья, неимущіе приготавлиются дрогнуть въ нетопленныхъ мансардахъ, безъ теплой одежды, безъ достаточной пищи; смертность увеличивается въ эти два мѣсяца изморози, гололедицы и сырости; лихорадки изнуряютъ и лишаютъ силы рабочихъ людей.

Въ этотъ день совсѣмъ не разсвѣтало, мокрый снѣгъ, тая, падалъ безпрерывно въ туманномъ воздухѣ, вѣтеръ рвалъ шляпы и съ ожесточеніемъ тормозилъ сотни трехцвѣтныхъ флаговъ, привязанныхъ къ высокимъ шестамъ около площади Согласія. Густыми массами стояли на ней войска и народная стража, въ воротахъ тьюльрійскаго сада былъ разбитъ какой-то наметъ съ христіанскимъ крестомъ на верху; отъ сада до обелиска площадь, оцѣленная солдатами, была пуста. Линейные полки, мобиль, уланы, драгуны, артиллерія наполняли всѣ улицы, идущія къ площади. Незнавшему нельзя было догадаться, что тутъ готовилось.... не сновали царская казнь.... не объявленіе-ли что отечество въ опасности....? — Нѣтъ, это было 21 января не для короля, а для народа, для революціи.... это были похороны 24 февраля.

Часу въ девятомъ утра нестройная кучка пожилыхъ людей стала пробираться черезъ мостъ; печально плелись они, поднявши воротники пальто и выскивая не твердой ногой гдѣ посуше ступить. Передъ ними шли двое вожатыхъ. Одинъ, закутанный въ африканской кабанъ, едва выказывалъ жесткія, суровыя черты средне-вѣковаго кондотьера; въ его исхудаломъ и болѣзненномъ лицѣ не примѣшивалось ничего человѣческаго, смягчающаго къ чертамъ хищной птицы; отъ хилой фигуры его вѣяло бѣдой и несчастіемъ. Другой, толстый, разодѣтый, съ кудрявыми сѣдыми волосами, шелъ въ одномъ фракѣ, съ видомъ изученной, оскорбительной небрежности; на его лицѣ, нѣкогда красивомъ, осталось одно выраженіе сладострастно-сознательнаго до-вольства почетомъ, своимъ мѣстомъ.

Ни какое привѣтствіе не встрѣтило ихъ, одни покорныя ружья брякнули на караулъ. Въ то-же время, съ противоположной стороны, отъ Мадлены, двигалась другая кучка людей, еще болѣе странныхъ, въ средне-вѣковомъ нарядѣ, въ митрахъ и ризахъ; — окруженные кадильницами, съ четками и молитвенниками, они казались давно умершими и забытыми тѣнями феодальныхъ вѣковъ.

Зачѣмъ шли тѣ и другіе?

Одни шли провозглашать, подъ охраною ста тысячи штыковъ, *народную волю*, уложеніе, составленное подъ выстрѣлами, обдуманное въ осадномъ положеніи — во имя *свободы, равенства и братства*; другіе шли благословить этотъ плодъ философіи и революціи *во имя отца и сына и святаго духа!*

Народъ не пришелъ даже взглянуть на эту пародію. Онъ грустными толпами гулялъ около общаго гроба всѣхъ падшихъ за него братій, около іюньской колон-

ны. Мелкіе лавочники, разнощики, сидѣльцы, дворники близъ лежащихъ домовъ, трактирные слуги, да наша братья — иностранные туристы — составляли кайму за шпалерами войскъ и вооруженныхъ буржуа. Но и эти зрители смотрѣли съ удивленіемъ на чтеніе, котораго слышать было невозможно, на маскарадные платья судей — красныя, черныя, съ мѣхомъ и безъ мѣха, на сифтъ, который хлесталъ въ глаза, на боевой порядокъ войскъ, которому придавали что-то грозное выстрѣлы съ эспланады инвалиднаго дома. Солдаты и пальба невольно напоминали юнскіе дни, сердце сжималось. Лица у всѣхъ были озабочены, будто всѣ имѣли сознаніе своей неправоты — одни оттого, что совершаютъ преступленіе, другіе оттого, что участвуютъ въ немъ, допустивъ его. При малѣйшемъ шорохѣ, шумѣ, тысячи головъ оборачивались, ожидая вслѣдъ за тѣмъ свистъ пули, крикъ возстанія, мѣрный звукъ набата. Вьюга продолжалась. Войска, промокнувшіе до костей, роптали; наконецъ ударилъ барабанъ, масса шевельнулась и началась безконечная дефилея подъ бѣдные звуки *Mourir pour la patrie*, которыми замѣнили великую *Марсельезу*.

Около этого времени, молодой человѣкъ, съ которымъ мы уже знакомы, продрался сквозь толпу къ человѣку среднихъ лѣтъ и сказалъ ему съ знаками истинной радости:

— Вотъ неожиданное счастье, я не зналъ, что вы здѣсь.

— Ахъ, здравствуйте! — отвѣчалъ тотъ, дружески протягивая ему обѣ руки, — давно-ли вы пріѣхали?

— На дняхъ.

— Откуда?

— Изъ Италіи.

— Ну что, плохо?

— Лучше не говорить.... скверно.

— То-то, мой милый мечтатель и идеалистъ — я зналъ, что вы не устоите противъ февральскаго искушенія и приготовите себѣ этимъ много страданій, страданія всегда достигаютъ уровня надеждъ.... Вы все жаловались на застой, на дремоту въ Европѣ. Съ этой стороны, кажется, нельзя ее упрекнуть теперь?

— Не смѣйтесь! Есть обстоятельства, надъ которыми смѣяться не хорошо, какой бы скептицизмъ ни былъ въ душѣ. Слезъ не достаетъ подъ часъ, время-ли трудить? Мнѣ, я признаюсь вамъ, страшно обернуться, страшно вспомнить; году еще нѣтъ, какъ мы съ вами разстались, а точно вѣкъ прошелъ. Видѣть исполняющимися всѣ лучшія упованія, всѣ задушевные надежды, видѣть возможность ихъ осуществленія — и пасть такъ глубоко, такъ низко! все утратить и не въ бою, не въ борьбѣ съ врагомъ, а отъ собственнаго безсилія, неумѣнья — это страшно. Мнѣ стыдно встрѣчаться съ какимъ-нибудь легитимистомъ; они смѣются въ глаза и я чувствую, что они правы. Какая школа — не развитія, а притупленія всѣхъ способностей. Я ужасно радъ, что столкнулся съ вами, у меня наконецъ просто сдѣлалась необходимость васъ видѣть; я съ вами заочно ссорился и мирился, написалъ какъ-то вамъ предлинное письмо и теперь душевно радъ, что изодралъ его — оно было полно дерзкихъ надеждъ, я думалъ васъ побить имъ, а теперь мнѣ хотѣлось бы, чтобъ вы окончательно увѣрили меня, что этотъ міръ гибнетъ, что ему выхода нѣтъ, что ему назначено загдохнуть, порости травой. Теперь вы меня не огорчите, да впрочемъ я и не ждалъ облегченія отъ встрѣчи съ вами; отъ вашихъ словъ мнѣ становится всякой разъ тяжеле,

а не легче... да я этого-то и хочу.... убедите меня, и я завтра їду въ Марсель и отправляюсь съ первымъ пароходомъ въ Америку или въ Египеть, лишь бы вонъ изъ Европы. Я усталъ, я изнемогаю здѣсь, я чувствую болѣзнь въ груди, въ мозгу, я сойду съ ума, если останусь.

— Мало нервныхъ болѣзней упориѣ идеализма. Я васъ застаю послѣ всѣхъ событій, случившихся въ послѣднее время, такимъ, какъ оставилъ. Вы лучше хотите страдать нежели понимать. Идеалисты большіе баловни и большіе трусы; я ужъ извинялся за это выраженіе, вы знаете, что тутъ рѣчь не о личной храбрости, ея почти слишкомъ много. Идеалисты трусы передъ истиной, вы ее отталкиваете, вы бонтесь фактовъ, не идущихъ подъ ваши теоріи. Вы думаете, что, помимо вами открытыхъ путей, нѣтъ міру спасенія; вы хотите, чтобъ за вашу преданность, міръ плясалъ по вашей дудкѣ, и какъ только замѣчаете, что у него свой шагъ и свой тактъ, вы сердитесь, вы въ отчаяніи, вы даже не имѣете любопытства посмотрѣть на его собственную пляску.

— Называйте, какъ хотите, трусостью или глупостью—но дѣйствительно у меня нѣтъ любопытства видѣть этотъ макабрской танецъ, у меня нѣтъ пристрастія римлянъ къ страшнымъ зрѣлищамъ, можетъ оттого, что я не понимаю всѣхъ тонкостей искусства умирать.

— Достоинство любопытства мѣряется достоинствомъ зрѣлища. Публика Колизея состояла изъ той же праздной толпы, которая тѣснилась на аутодафе, на казняхъ, сегодня пришла сюда, чтобъ чѣмъ нибудь занять внутреннюю пустоту, завтра пойдетъ съ тѣмъ-же усердіемъ смотрѣть, какъ будутъ вѣшать кого нибудь изъ

ныиѣшнихъ героевъ. Есть другое, болѣе почтенное любопытство, корни его въ болѣе здоровой почвѣ, оно ведетъ къ знанію, къ изученію, оно мучится объ неоткрытой части свѣта, подвергается заразѣ, чтобъ узнать ея свойство.

— Словомъ, которое имѣетъ въ виду пользу, но кака-же польза смотрѣть на умирающаго, зная, что время помощи прошло? Это просто поэзія любопытства.

— Для меня это поэтическое любопытство, какъ вы называете его, чрезвычайно человѣчественно — я уважаю Плинія, остающагося досматривать грозное изверженіе Везувія въ своей лодкѣ, забывающаго явную опасность. Удалиться было благоразуміе и во всякомъ случаѣ покойнѣе.

— Я понимаю намекъ; но сравненіе ваше не совсѣмъ идетъ, при гибели Помпеи нечего было дѣлать человѣку, смотрѣть или идти прочь зависѣло отъ него. Я хочу уйти не отъ опасности, а оттого, что не могу остаться дольше; подвергаться опасности гораздо легче, чѣмъ кажется издали; но видѣть гибель, сложа руки, зная что не принесешь никакой пользы, понимать, чѣмъ можно бы помочь и не имѣть возможности передать, указать, растолковать; быть празднымъ свидѣлемъ, какъ люди, пораженные какимъ то повальнымъ безуміемъ, мечутся, крутятся, губить другъ друга, какъ ломится цѣлая цивилизація, цѣлый міръ, вызывая хаосъ и разрушеніе—это выше силъ человѣка. Съ Везувіемъ нечего дѣлать, но въ мірѣ исторіи человѣкъ дома, тутъ онъ не только зритель, но и дѣятель, тутъ онъ имѣетъ голосъ и если не можетъ принять участія, онъ долженъ протестовать хоть своимъ отсутствіемъ.

— Человѣкъ конечно дома въ исторіи, — но изъ вашихъ словъ можно подумать, что онъ гость въ припро-

дѣ; какъ будто между природой и исторіей каменная стѣна. Я думаю, онъ тамъ и тутъ дома, но ни тамъ, ни тутъ не самовластный хозяинъ. Человѣкъ оттого не оскорбляется непокорностью природы, что ея самобытность очевидна для него; мы вѣримъ въ ея дѣйствительность, независимую отъ насъ; а въ дѣйствительность исторіи, особенно современной, не вѣримъ; въ исторіи человѣку кажется воля вольная дѣлать, что хочетъ. Все это горькіе слѣды дуализма, отъ котораго такъ долго двилось у насъ въ глазахъ и мы колебались между двумя оптическими обманами; дуализмъ утратилъ свою грубость, но и теперь незамѣтно остается въ нашей душѣ. Нашъ языкъ, наши первыя понятія, сдѣлавшіяся естественными отъ привычки, отъ повтореній, мѣшаютъ видѣть истину. Еслибъ мы не знали съ пятилѣтняго возраста, что исторія и природа совершенно разное, намъ было бы легко понимать, что развитіе природы незамѣтно переходитъ въ развитіе человѣчества; что это двѣ главы одного романа, двѣ фазы одного процесса, очень далекія на краяхъ и чрезвычайно близкія въ серединѣ. Намъ не удивило бы тогда, что доля всего совершающагося въ исторіи покорена физиологич., темнымъ влеченіямъ. Разумѣется, законы историческаго развитія не противоположны законамъ логики, но они не совпадаютъ въ своихъ путяхъ съ путями мысли; такъ какъ ничто въ природѣ не совпадаетъ съ отвлеченными нормами, которыя троитъ чистый разумъ. Зная это, мы устремились бы на изученіе, на открытіе этихъ физиологическихъ вліяній. Дѣлаемъ ли мы это? Занимались-ли кто-нибудь серьезно физиологіей общественной жизни, исторіей, какъ дѣйствительно объективной наукой? — никто, ни консерваторы, ни радикалы, ни философы, ни историки.

— Однако дѣйствовали много; можетъ потому, что намъ такъ-же естественно дѣлать исторію, какъ пчелѣ медъ, что это не плодъ размышлений, а внутренняя потребность духа человѣческаго.

— Вы хотите сказать инстинктъ. Вы правы, онъ велъ, онъ и теперь еще ведетъ массы. Но мы не въ томъ положеніи, мы утратили дикую мѣткость инстинкта, мы на столько рефлектеры, что заглушили въ себѣ естественныя влеченія, которыми исторія пробивается къ дальнѣйшему. Мы вообще городскіе жители, равно лишенные физическаго и нравственнаго такта,—земледѣлецъ, морякъ знаетъ впередъ погоду, а мы нѣтъ. У насъ осталось отъ инстинкта одно безпокойное желаніе дѣйствовать—и это прекрасно. Сознательнаго дѣйствія, т. е. такого, которое бы вполнѣ удовлетворяло, не можетъ еще быть, мы дѣйствуемъ ощупью. Мы все пробуемъ втѣснять свои мысли, свои желанія — средѣ, насъ окружающей, и эти опыты, постоянно неудачные, служатъ для нашего воспитанія. Вы досадуете, что народы не исполняютъ мысль дорогую вамъ, ясную для васъ, что они не умѣютъ спастись оружіями, которыя вы имъ даете — и перестать страдать; но почему вы думаете, что народъ именно долженъ исполнять вашу мысль, а не свою, именно въ это время, а не въ другое? увѣрены-ли вы, что средство, вами придуманное, не имѣетъ неудобствъ; увѣрены-ли вы, что онъ понимаетъ его, увѣрены-ли вы, что нѣтъ другого средства, что нѣтъ цѣлей шире?—Вы можете угадать народную мысль, это будетъ удача, но скорѣй вы ошибетесь. Вы и массы принадлежите двумъ разнымъ образованіямъ, между вами вѣка, больше нежели океаны, которые теперь переплываютъ такъ легко. Массы полны тайныхъ влеченій, полны страстныхъ порывовъ, у нихъ мысль

не разделилась съ фантазіей, у нихъ она не остается по нашему теоріей, она у нихъ тотчасъ переходитъ въ дѣйствіе, имъ оттого и трудно привить мысль, что она не шутка для нихъ. Оттого онѣ иногда обгоняютъ самыхъ смѣлыхъ мыслителей, увлекаютъ ихъ по неволѣ, покидаютъ середѣ дороги тѣхъ, которымъ поклонялись вчера, и отстаютъ отъ другихъ вопреки очевидности; онѣ дѣти, онѣ женщины, онѣ капризны, бурны, непостоянны. Въмѣсто того чтобъ изучить эту самобытную фізіологію рода человѣческаго, сродниться, понять ея пути, ея законы, мы принимаемся критиковать, учить, приходить въ негодованіе, сердиться; какъ будто народы или природа отвѣчаютъ за что-нибудь, какъ будто имъ есть дѣло, нравится-ли намъ или не нравится ихъ жизнь, которая влечетъ ихъ по неволѣ къ неяснымъ цѣлямъ и безотвѣтнымъ дѣйствіямъ! До сихъ поръ это дидактическое, жреческое отношеніе имѣло свое оправданіе, но теперь оно становится смѣшно и ведетъ насъ къ битой роли—разочарованныхъ. Вы обижены тѣмъ, что дѣлается въ Европѣ, васъ возмущаетъ эта свирѣпая, тупая и побѣдоносная реакція; и меня также, но вы вѣрные романтизму — сердитесь, хотите бѣжать для того только, чтобъ не видать истины. Я согласенъ, что пора выходить изъ нашей искусственной, условной жизни, но не бѣгствомъ въ Америку. Что вы тамъ найдете? Сѣверные штаты послѣднее, опрятное изданіе того-же феодально-христіанскаго текста, да еще въ грубомъ англійскомъ переводѣ; годъ тому назадъ отъѣздъ вашъ не имѣлъ бы ничего удивительнаго — обстоятельства тащились томно, вяло. А какъ-же ѣхать въ пущій разгаръ перелома, когда все въ Европѣ бродитъ, работаетъ, когда падаютъ вѣковыя стѣны, кумиръ валится за кумиромъ, когда въ Вѣнѣ научились строить барикады....

— А въ Парижѣ научились ихъ ломать ядрами. Когда вмѣстѣ съ кумирами, (которые впрочемъ возстановляются на другой день), падаютъ на всегда лучшіе плоды европейской жизни, такъ трудно выработанные, выращенные вѣками. Я вижу судъ, я вижу казнь, смерть; но я не вижу ни воскресенія, ни помилованія. Эта часть свѣта кончила свое, силы ея истощились; народы, живущіе въ этой полосѣ, дожили до конца своего призванія, они начинаютъ тупѣть, отставать. Исторія по видимому нашла другое русло; я иду туда; вы мнѣ сами доказывали въ прошломъ году что-то подобное — помните, на пароходѣ, когда мы плыли изъ Генуи въ Чивитту.

— Помню, это было *передъ грозой*. Только тогда вы возражали мнѣ, а теперь согласились черезъ край. Вы не жизнию, не мыслию дошли до вашего новаго взгляда, оттого вмѣсто спокойнаго характера, онъ имѣетъ у васъ характеръ судорожный; вы дошли до него *rag dépit*, отъ минутнаго отчаянія, которымъ вы наивно и безъ намѣренія прикрыли прежнія надежды. Еслибъ этотъ взглядъ не былъ въ васъ капризомъ будирующаго любовника, а просто трезвымъ знаніемъ того что дѣлается, вы иначе выражались бы, иначе смотрѣли бы; вы оставили бы личную *gaspine*, вы забыли бы себя, тронутые и исполненные ужаса; при видѣ трагической судьбы, совершающейся передъ вашими глазами; но идеалисты скупы на то чтобъ отдаваться, они такъ же упорно себялюбивы, какъ монахи, которые переносятъ всякія лишенія, не выпуская изъ виду себя, свою личность, награду. Чего вы боитесь оставаться здѣсь? развѣ вы уходите изъ театра при началѣ пятаго дѣйствія каждой трагедіи, боясь разстроить нервы?.... Судьба Эдипа не облегчится тѣмъ, что вы оставите

партеръ, онъ все такъ-же погибнетъ. Оставаться до послѣдней сцены лучше, иногда зритель задавленный, несчастіемъ Гамлета, встрѣтилъ молодаго Фортинбраса, полного жизни и надеждъ. Самое зрѣлише смерти торжественно—въ немъ лежитъ великое поученіе.... Туча, висѣвшая надъ Европой, не дозволившая никому свободно дышать, разразилась, молнія за молніей, ударъ за ударомъ, земля трясется, а вы хотите бѣжать оттого, что Радецкій взялъ Миланъ, а Каваньякъ Парижъ. Вотъ что значитъ не признавать объективность исторіи; я ненавижу смиреніе, но въ этихъ случаяхъ смиреніе показываетъ пониманье, тутъ мѣсто покорности передъ исторіей, признанія ея. Сверхъ того, она лучше идетъ, нежели можно было ожидать. За что-же вы сердитесь? Мы приготовлялись зачахнуть, увянуть въ нездоровой и утомительной средѣ медленнаго старчества, а у Европы вмѣсто малярии открылся тифусъ; она рушится, разваливается, таетъ, забывается.... забывается до того, что въ ея борьбахъ обѣ стороны бредятъ и не понимаютъ больше ни себя, ни врага. Пятое дѣйствіе трагедіи началось 24 февраля; грусть, трепетное состояніе духа совершенно естественно, ни одинъ серьезный человѣкъ не глумится при такихъ событіяхъ, но это далеко отъ отчаянія и отъ вашего взгляда. Вы воображаете, что вы отчаяваетесь оттого, что вы революціонеръ и ошибаетесь; вы отчаяваетесь оттого, что вы консерваторъ.

— Очень благодаренъ; по вашему, я стою на одной доскѣ съ Радецкимъ и Виндингрецомъ.

— Нѣтъ, вы гораздо хуже. Какой-же консерваторъ Радецкій? онъ все ломаетъ, онъ чуть не подорвалъ пороховъ Миланской соборъ. Неужели вы серьезно полагаете, что это консерватизмъ, когда дикіе Кроаты

беруть приступомъ австрійскіе города и не оставляють тамъ камня на камнѣ? Ни они, ни ихъ генералы не знаютъ, что дѣлають, но только они не *хранятъ*. Вы все судите по знаменамъ: эти за императора—консерваторы, эти за республику—революціонеры. Нынче монархическое начало и консерватизмъ дерутся съ обѣихъ сторонъ. Самый вредный консерватизмъ тотъ, который со стороны республики, тотъ, который проповѣдуете вы.

— Однако не мѣшало бы сказать, что я стремлюсь сохранить, въ чемъ именно вы находите мой *революціонный* консерватизмъ?

— Скажите, вѣдь вамъ досадно, что конституція, которую сегодня провозглашаютъ, такъ глупа?

— Разумѣется.

— Васъ сердить, что движеніе въ Германіи ушло сквозь франкфуртскую воронку и исчезло, что Карлъ Альбертъ не отстающъ независимость Италіи, что Пій IX оказывается какъ-то изъ рукъ вонъ плохъ?

— Что-же изъ этого? я не хочу и защищаться.

— Это-то и есть консерватизмъ. Еслибъ ваши желанія исполнились, вышло бы торжественное оправданіе стараго міра. Все было бы оправдано — кромѣ революціи.

— Стало быть, намъ остается радоваться, что Австрійцы побѣдили Ломбардію?

— Зачѣмъ-же радоваться? Ни радоваться, ни удивляться; Ломбардія не могла освободиться демонстраціями въ Миланѣ и помощію Карла Альберта.

— Хорошо намъ здѣсь разсуждать объ этомъ *sub specie eternitatis*... Впрочемъ я умѣю отдѣлять человека отъ его діалектики; я увѣренъ, что вы забыли бы всѣ ваши теоріи передъ грудями труповъ, передъ огра-

бленными городами, оскорбленными женщинами, передъ дикими солдатами въ бѣлыхъ мундирахъ.

— Вы вмѣсто отвѣта дѣлаете воззваніе къ состраданію, которое всегда удается. Сердце есть у всѣхъ, кромѣ у нравственныхъ уродовъ. Судьбой Милана такъ же легко тронуть какъ судьбою герцогини Ламбаль, человѣку естественно сострадать; вы не вѣрите Лукрецію, что нѣтъ больше наслажденія, какъ смотрѣть съ берега на тонущій корабль — это клевета поэта. Случайныя жертвы, падающія отъ дикой силы, возмущаютъ все нравственное существо наше. Я не видалъ Радцакаго въ Миланѣ, но видѣлъ чуму въ Александріи, я знаю, какъ эти роковые бичи унижаютъ, оскорбляютъ человѣка, но на этомъ плачѣ останавливаться — бѣдно, слабо. Рядомъ съ негодованіемъ въ душѣ является непреоборимое желаніе противудѣйствія, борьбы, изслѣдованія, изысканія средствъ, причинъ. Чувствительностію не разрѣшишь этихъ вопросовъ. Доктора разсуждаютъ о трудно-больномъ не такъ, какъ безутѣшные родственники; они могутъ въ душѣ плакать, принимать участіе, но для борьбы съ болѣзнію надобно пониманіе, а не слезы. Наконецъ, какъ бы врачъ ни любилъ больного, онъ не долженъ теряться, онъ не долженъ удивляться приближенію смерти, неотразимости которой онъ понялъ. Впрочемъ, если вы жалѣете только людей, гибнувшихъ при этомъ страшномъ броженіи и разгромѣ, вы правы; къ безчувственности надобно воспитаться; люди, не имѣющіе никакого состраданія къ ближнему — военачальники, министры, судьи, палачи — всею жизнію своей отучали себя отъ всего человѣческаго, еслибъ имъ не удалось это, они остановились бы на полѣ-дорогѣ. Ваша скорбь вполне оправдана, и я не имѣю для васъ утѣшеній — развѣ одни количе-

ственные: вспомните, что все случившееся, отъ возстанія въ Палермѣ до взятія Вѣны не стоило Европѣ трети людей, погибнувшихъ подъ Эйлау, на примѣръ. Наши понятія такъ еще сбиты, что мы не умѣемъ считать падшихъ, если они пали въ рядахъ, куда ихъ привела не охота драться, не убѣжденіе, а *гражданская чума*, называемая рекрутствомъ. Павшіе за барикадами знали по крайней мѣрѣ, за что падаютъ; ну а тѣ еслибъ могли слышать, чѣмъ началось рѣчное свиданіе двухъ императоровъ, имъ пришлось бы краснѣть за свою храбрость. „Изъ чего мы съ вами деремся? — спросилъ Наполеонъ — это одно недоразумѣніе!“ „Въ самомъ дѣлѣ, не изъ чего“ — отвѣчалъ Александръ и они поцѣловались. Десятки тысячъ воиновъ, съ удивительной отвагой, перебили бездну другихъ и сами легли костями изъ-за *недоразумѣній*. Какъ бы то ни было, мало-ли, много-ли погибло людей, повторяю, ихъ жаль, очень жаль. Но мнѣ кажется, что вы печалитесь не объ однихъ людяхъ, вы еще что-то оплакиваете!

— Очень многое. Я оплакиваю революцію 24 февраля, такъ величественно начавшуюся и такъ скромно погибнувшую. Республика была возможна, а ее видѣлъ, я дышалъ ея воздухомъ; республика была не мечта, а былъ, и что-же изъ нея сдѣлалось? Мнѣ ее жаль, такъ какъ жаль Италію, проснувшуюся для того, чтобъ на другой день быть побѣжденной, такъ какъ жаль Германію, которая встала во весь ростъ для того, чтобъ упасть къ ногамъ своихъ тридцати помѣщиковъ. Мнѣ жаль, что человѣчество опять отодвинулось на цѣлое поколѣніе, что движеніе опять заморожено, остановлено.

— Что касается до движенія собственно, его не удержишь. Девизъ нашего времени, больше нежели когда-нибудь, *semper in motu...* видите, какъ я былъ правъ,

упрекая васъ въ консерватизмъ, онъ у васъ доходитъ до противурѣчій. Не вы-ли мнѣ рассказывали, годъ тому назадъ, о страшномъ нравственномъ паденіи образованныхъ сословій во Франціи и вдругъ повѣрили, что за ночь изъ нихъ сдѣлались республиканцы, оттого что народъ прогналъ въ три шеи упрямаго старика и на мѣсто упорнаго квекера, окруженнаго мелкими дипломатами, позволилъ сѣсть безхарактерному теофилантропу, окруженному мелкими журналистами.

— Теперь легко быть проникательнымъ.

— И тогда было не трудно, 26 февраля опредѣлило весь характеръ 24-го. Всѣ неконсерваторы поняли, что эта республика игра словъ — Бланки и Прудонъ, Распаль и Пьеръ Леру. Тутъ не даръ пророчества нуженъ, а навыкъ добросовѣстнаго изученія, привычка наблюдать, вотъ оттого-то я и рекомендую укрѣплять, изощрять умъ естественными науками. Натуралистъ привыкаетъ не вносить, до поры, до времени, ничего своего, слѣдить, выжидаетъ; онъ не проронитъ ни одного признака, ни одной перемѣны, онъ ищетъ истину безкорыстно, не подкладывая ни любви своей, ни своей ненависти. Замѣьте, что самый проникательный публицистъ первой революціи былъ коноваль и что химикъ *) 27 февраля печаталъ въ своемъ журналѣ, который сожгли студенты въ *quartier latin*, то, что теперь всѣ увидѣли, но чего уже поправить нельзя. Непростительно было ждать что-нибудь отъ политическаго сюрприза 24 февраля — кромѣ броженія; оно и началось съ этого дня и это великій результатъ его; отрицать броженія нельзя, оно влечетъ Францію и всю Европу отъ потрясенія къ потрясенію. Того-ли вы хотѣли, того-ли жда-

*) Распаль.

ли? Нѣтъ, вы ждали, что *благорозумная* республика удержится на золотушныхъ ножкахъ ламартиновской елейности, обернутыхъ бюллетенями Ледрю-Роллена. Это было бы всемірное несчастье, такая республика была бы самымъ тяжелымъ тормазомъ, который задержалъ бы всѣ колеса исторіи. Республика временнаго правительства, основанная на старыхъ монархическихъ началахъ, была бы вреднѣе всякой монархіи. Она явилась не какъ нѣтъность насилія, а какъ вольное соглашеніе, не какъ историческое несчастье, а какъ нѣчто раціональное, справедливое съ своимъ тупымъ большинствомъ голосовъ и съ своею ложью на знамени. Слово „республика“ имѣло ту нравственную силу, которой нѣтъ больше ни у одного трона; обманывая своимъ именемъ, она ставила подпорки для поддержки падающаго государственнаго устройства. Реакція спасла движеніе, реакція сбросила маски и этимъ спасла революцію. Люди, которые годы остались бы въ опьяненіи отъ ламартиновскаго лауданума, протрезвѣли отъ трехмѣсячнаго осаднаго положенія; они знаютъ теперь, что значить усмирять возмущенія по понятіямъ *этой* республики. Вещи, которыя были понятны для нѣсколькихъ человѣкъ, сдѣлались доступны всѣмъ: всѣ знаютъ, что не Каваньякъ виноватъ въ томъ, что дѣлалось, что винить палача глупо, что онъ больше гадокъ нежели виноватъ. Реакція сама подрубила ноги послѣднимъ кумирамъ, за которыми какъ за престоломъ въ алтарѣ прятался старый порядокъ. Народъ не вѣритъ теперь въ республику и превосходно дѣлаетъ, пора перестать вѣрить въ какую бъ то ни было единую, спасающую церковь. Религія республики была на мѣстѣ въ 93 г., и тогда она была колоссальна, велика, тогда она произвела этотъ величавый рядъ гигантовъ, которыми за-

мыкается длинная эра политических переворотовъ. Формальная республика показала себя послѣ юньскихъ дней. Теперь начинаютъ понимать несовмѣстность *братства и равенства* съ этими капканами, называемыми аспизами, *свободы* и этихъ бойнь, подъ именемъ военно-судныхъ комиссій; теперь никто не вѣрить въ подтасованныхъ присяжныхъ, которые рѣшаютъ въ жмурки судьбу людей, безъ апелляціи; въ гражданское устройство, защищающее только собственность, ссылающее людей въ видѣ мѣры общественнаго спасенія, содержащее хотъ сто человѣкъ постоянного войска, которые, не спрашивая причины, готовы спустить курокъ по первой командѣ. Вотъ польза реакціи. Сомнѣнія бродятъ, занимаютъ умы, заставляютъ задумываться; а не легко было дойти до нихъ, особенно французамъ, которые чрезвычайно туги на пониманіе новаго, не смотря на всю остроту свою. Тоже въ Германіи; Берлину, Вѣнѣ удалось сначала, они-было обрадовались своимъ діэтамъ, своимъ хартіямъ, о которыхъ скромно вздыхали тридцать пять лѣтъ. Теперь, испытавъ реакцію и зная по опыту что такое діэты и камеры, они не удовлетворятся никакой хартіей, ни данной, ни взятой, онѣ сдѣлались для нѣмцевъ то, что для человѣка игрушка, о которой онъ мечталъ ребенкомъ. Европа догадалась, благодаря реакціи, что представительная система хитро придуманное средство перегонять въ слова и безконечные споры общественныя потребности и энергическую готовность дѣйствовать. Въмѣсто того, чтобъ радоваться этому, вы негодуете. Вы негодуете за то, что національное собраніе, составленное изъ реакціонеровъ, облеченное нелѣпой властію, подъ вліяніемъ трусости вотировало нелѣпность; а помоему это великое доказательство, что ни этихъ вселенскихъ соборовъ для

законодательства, ни представителей въ родѣ первосвященниковъ—вовсе не нужно, что умной конституціи теперь вотировать не возможно. Не смѣшно-ли писать уложеніе для грядущихъ поколѣній, когда у драхлаго міра едва есть время на то, чтобъ распоряжаться будущимъ и продиктовать какъ-нибудь духовное завѣщаніе? Вы оттого не рукоплещете всѣмъ этимъ неудачамъ, что вы консерваторъ, что вы, сознательно или нѣтъ, принадлежите къ этому міру. Въ прошломъ году, сердясь, негодуя на него, вы не выходили изъ него; за это онъ обманулъ васъ 24 февраля; вы повѣрили, что онъ можетъ спастись домашними средствами, агитаціей, реформами, что онъ можетъ обновиться, оставаясь при старомъ; вы вѣрили, что онъ *можетъ* исправиться и теперь вѣрите. Сдѣлайся уличный бунтъ; провозгласи французы Ледрю-Роллена президентомъ, вы опять изойдете въ восторгъ. Пока вы молоды это простительно, но оставаться въ этомъ направленіи на долго я не совѣтую, вы сдѣлаетесь смѣшны. У васъ натура живая, воспримчивая — переступите послѣдній заборъ, отрясите послѣднюю пыль съ сапоговъ вашихъ и убѣдитесь, что маленькія революціи, маленькія перемѣны, маленькія республики недостаточны, кругъ дѣйствія ихъ слишкомъ ограниченъ, онѣ теряютъ всякой интересъ. Не надобно имъ поддаваться, всѣ они заражены консерватизмомъ. Я отдаю имъ справедливость, разумѣется, они имѣютъ свою хорошую сторону; въ Римѣ при Піи IX стало лучше жить, нежели при пьяномъ и зломъ Григоріи XVI; республика 26 февраля въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даетъ болѣе удобную форму для новыхъ идей, нежели монархія, но всѣ эти паллятивныя средства столько-же вредны, сколько полезны, они минутнымъ облегченіемъ заставляютъ забыть болѣзнь. А потомъ

какъ взглядишься въ эти улучшенія, какъ помотришь съ какимъ кислымъ, недовольнымъ лицомъ дѣлаются онѣ, какъ всякую уступку представляютъ благодѣяніемъ, даютъ нехотя, оскорбляя — такъ право охота пройдетъ слишкомъ дорого цѣнить ихъ услугу. Я не умѣю выбирать между рабствами, такъ какъ между религіями; у меня вкусъ притупился, я не въ состояніи различать тонкостей; которое рабство хуже, которое лучше, которая религія ближе къ спасенію, которая дальше, что притѣснительнѣе: честная республика или честная монархія, революціонный консерватизмъ Радецкаго или консервативная революціонность Каваньяка, что пошлѣе: квекеры или іезуиты, что хуже розги или краподина. Съ обѣихъ сторонъ рабство, съ одной хитрое, прикрытое именемъ свободы и слѣдственно опасное; съ другой дикое, животное и слѣдственно бросающееся въ глаза. По счастью они другъ въ другѣ не узнаютъ родственныхъ чертъ и готовы ежеминутно вступить въ бой; пусть борются, пусть составляютъ коалиціи, пусть грызутъ другъ друга и тащутъ въ могилу. Кто бы изъ нихъ ни восторжествовалъ, ложь или насилие, на первый случай это побѣда не для насъ, а впрочемъ и не для нихъ, все, что побѣдители успѣютъ, это, ловко попировать денекъ, другой.

— А намъ оставаться по прежнему зрителями, вѣчными зрителями, жалкими присяжными, которыхъ приговоръ не исполняется; понятыми, въ свидѣтельствѣ которыхъ не нуждаются. Я удивляюсь вамъ и не знаю, долженъ-ли завидовать или нѣтъ. Съ такимъ дѣятельнымъ умомъ у васъ столько—какъ бы это сказать? — столько воздержности.

— Что дѣлать? Я себя не хочу насиловать, искренность и независимость мои кумиры, мнѣ не хочется

стать ни подъ то, ни подъ другое знамя; оба стана такъ хорошо стоятъ на дорогѣ къ кладбищу, что помощь моя имъ не нужна. Такія положенія бывали и прежде. Какое участіе могли принимать христіане въ римскихъ борьбахъ за претендентовъ на императорство? ихъ называли трусами, они улыбались и дѣлали свое дѣло, молились и проповѣдывали.

— Проповѣдывали потому, что были сильны вѣрою, имѣли единство ученія; гдѣ у насъ Евангеліе, новая жизнь, къ которой мы зовемъ, добрая вѣсть, о которой мы призваны свидѣтельствовать міру?

— Проповѣдуйте вѣсть о смерти, указывайте людямъ каждую новую рану на груди стараго міра, каждый успѣхъ разрушенія; указывайте хилость его начинаній, мелкость его домогательствъ, указывайте, что ему нельзя выздороветь, что у него нѣтъ ни опоры, ни вѣры въ себя, что его никто не любитъ въ самомъ дѣлѣ, что онъ держится на недоразумѣніяхъ; указывайте, что каждая его побѣда ему-же ударъ; проповѣдуйте *смерть* какъ добрую вѣсть приближающагося искупленія.

— Ужъ не лучше-ли молиться?.. Кому проповѣдывать, когда съ обѣихъ сторонъ падаютъ ряды жертвъ? это одинъ парижскій архіерей не зналъ, что во время сраженія ни у кого нѣтъ уха. Погодимте еще немного; когда борьба кончится, тогда начнемте проповѣдывать о смерти, никто не будетъ мѣшать на обширномъ кладбищѣ, на которомъ лягутъ рядомъ всѣ бойцы; кому-же лучше и слушать апотеозу смерти какъ не мертвымъ? Если дѣла пойдутъ какъ теперь, зрѣлище будетъ оригинальное; будущее водворяемое погибнетъ вмѣстѣ съ дряхлымъ, отходящимъ; недоношенная демократія замретъ, терзая холодную и исхудалую грудь умирающей монархіи.

— Будущее, которое гибнетъ, не будущее. Демократія по преимуществу настоящее; это борьба, отрицаніе іерархіи, общественной неправды, развившейся въ прошедшемъ; очистительный огонь, который сожжетъ отжившія формы и, разумѣется, потухнетъ, когда сожигаемое кончится. Демократія не можетъ ничего создать, это не ея дѣло, она будетъ нелѣпостію послѣ смерти послѣдняго врага; демократы только *знаютъ* (говори словами Кромвеля), *чего не хотятъ; чего они хотятъ, они не знаютъ.*

— За знаніемъ чего мы не хотимъ таится предчувствіе чего хотимъ; на этомъ основана мысль, которая до того часто повторялась, что совѣстно на нее ссылаться, мысль о томъ, что каждое разрушеніе своего рода созданіе. Человѣкъ не можетъ довольствоваться однимъ разрушеніемъ, это противно его творческой натурѣ. Для того, чтобъ онъ проповѣдывалъ смерть, ему нужна вѣра въ возрожденіе. Христіанамъ легко было возвѣщать кончину древняго міра, у нихъ похороны совпадали съ крестинами.

— У насъ не одно предчувствіе, но есть и нѣчто побольше; только мы не такъ легко удовлетворяемся какъ Христіане, у нихъ одинъ критеріумъ и былъ — вѣра. Для нихъ конечно было большое облегченіе въ неизблемой увѣренности, что церковь восторжествуетъ, что міръ приметъ крещеніе, ~~и~~ и въ голову не приходило, что крещенный ребенокъ выйдетъ не совсѣмъ по желанію духовныхъ родителей. Христіанство осталось благочестивымъ упованіемъ; теперь, на канунѣ смерти, какъ въ первомъ столѣтіи, оно утѣшается небомъ, раемъ; безъ неба оно пропало. Водвореніе мысли о новой жизни несравненно труднѣе въ наше время, у насъ нѣтъ неба, нѣтъ „веси Божіей,“ наша *весь* человѣ-

ческая и должна осуществиться на той почвѣ, на которой существуетъ все дѣйствительное — на землѣ. Тутъ нельзя сослаться ни на искушеніе діавола, ни на помощь Божію, ни на жизнь за гробомъ. Демократія впрочемъ и не идетъ такъ далеко, она сама еще стоитъ на христіанскомъ берегу, въ ней бездна аскетическаго романтизма, либеральнаго идеализма; въ ней страшная мощь разрушенія, но какъ примется создавать, она теряется въ ученическихъ опытахъ, въ политическихъ этюдахъ. Конечно, разрушеніе создаетъ, оно расчищаетъ мѣсто, и это ужъ созданіе, оно отстраняетъ цѣлый рядъ лжи, и это ужъ истина. Но дѣйствительнаго творчества въ демократіи нѣтъ — и потому то она не будущее. Будущее виѣ политики, будущее носится надъ хаосомъ всѣхъ политическихъ и соціальныхъ стремленій и возьметъ изъ нихъ нитки въ свою новую ткань, изъ которой выйдутъ саванъ прошедшему и пеленки новорожденному. Соціализмъ соотвѣтствуетъ назарейскому ученію въ римской имперіи.

— Если припомнить что вы сейчасъ сказали о Христіанствѣ и продолжить сравненіе, то будущность соціализма незавидная, онъ останется вѣчнымъ упованіемъ.

— И по дорогѣ разовѣтъ блестящій періодъ исторіи подъ своимъ благословеніемъ. Евангеліе не осуществилось, да это и не нужно было; а осуществились средніе вѣка, вѣка возстановленія, вѣка революцій, но Христіанство проникло во всѣ эти явленія, участвовало во всемъ, указывало, напутствовало. Исполненіе соціализма представляетъ также неожиданное сочетаніе отвлеченнаго ученія съ существующими фактами. Жизнь осуществляетъ только ту сторону мысли, которая находитъ себѣ почву, да и почва при томъ не остается

страдательнымъ носителемъ, а даетъ свои соки, вноситъ свои элементы. Новое, возникающее изъ борьбы утоній и консерватизма, входитъ въ жизнь не такъ, какъ его ожидала та или другая сторона; оно является переработаннымъ, принятымъ, составленнымъ изъ воспоминаній и надеждъ, изъ существующаго и водворяемаго, изъ преданій и возникновеній, изъ вѣрованій и знаній, изъ отжившихъ римлянъ и нежившихъ германцевъ, соединяемыхъ одной церковью, чуждой обоимъ. Идеалы, теоретическія построения никогда не осуществляются такъ, какъ они носятя въ нашемъ умѣ.

— Какъ и для чего они приходятъ въ голову послѣ этого? Это какая-то пронія.

— А отчего вамъ хочется, чтобъ въ умѣ человѣка все было въ обрѣзъ? что за прозаическое сведеніе всего на крайне нужное, на необходимо полезное, на неминуемо прилагаемое. Вспомните старика Лира, который, когда одна изъ дочерей уменьшала его штатъ и увѣряла, что ему про нужду достанетъ, сказалъ ей: „про нужду можетъ быть, но знаешь-ли ты, когда человѣкъ сводится только на то, что ему нужно, онъ дѣлается звѣремъ.“ Фантазія и мысль человѣка несравненно свободнѣе, нежели полагають; цѣлыя міры поэзіи, лиризма, мышленія, независимые до нѣкоторой степени отъ окружающихъ обстоятельствъ, дремлютъ въ душѣ каждаго. Ихъ будить толчекъ и они просыпаются съ своими видѣніями, рѣшеніями, теоріями; мысль, опираясь на фактическое данное, стремится къ ихъ всеобщимъ нормамъ, старается ускользнуть отъ случайныхъ и временныхъ опредѣленій въ логическія сферы — но отъ нихъ до сферъ практическихъ очень далеко.

— Слушая ваши слова, я думалъ теперь, отчего у васъ такъ много неліцепріятной справедливости — и

нашелъ причину: вы не ринуты въ потокъ, вы не вовлечены въ этотъ круговоротъ; посторонній всегда лучше разбираетъ семейныя дѣла, нежели члены семейства. Но еслибъ вы, какъ многіе, какъ Барбесъ, какъ Маццини, работали всю жизнь, потому что внутри вашей души раздавался голосъ, который требовалъ этой дѣятельности, которого перекричать не было у васъ возможности, потому что онъ поднимался изъ глубины оскорбленнаго сердца, обливающагося кровью при видѣ притѣсненія, замирающаго при видѣ насилія;—еслибъ этотъ голосъ былъ не только въ умѣ и сознаніи, но въ крови, въ нервахъ, и вы, слѣдуя ему, попали бы въ дѣйствительное столкновеніе съ властью, долю жизни были бы въ цѣняхъ, скитались бы изгнанникомъ и вдругъ для васъ наступила бы заря того дня, который вы ожидали полжизни—вы бы какъ Маццини, на итальянскомъ языкѣ, при громѣ рукоплесканій, говорили бы въ Миланѣ на площади, открыто, слова независимости и братства, не боясь бѣлаго мундира и желтыхъ усовъ. Еслибъ вы, послѣ десятилѣтняго заключенія, какъ Барбесъ, были принесены ликующей толпой на площадь того города, гдѣ вамъ одинъ товарищъ палача читалъ приговоръ, а другой его товарищъ васъ миловалъ пожизненными цѣнями; и вы бы послѣ всего этого увидѣли осуществленную вашу мысль и слышали бы двухсоттысячную толпу, которая привѣтствуетъ мученика крикомъ *Vive la République!* и вслѣдъ за тѣмъ вамъ пришлось бы увидѣть Радецкаго въ Миланѣ, Каваньяка въ Парижѣ и опять сдѣлаться скитальцемъ, колодникомъ. Представьте къ тому, что вы не имѣли бы утѣшенія отнести все это на счетъ матеріальной, грубой силы, а напротивъ, видѣли бы народъ измѣняющій самому себѣ, видѣли бы тѣже толпы, избирающія те-

перь кому дать въ руки ножъ противъ себя, — вы не стали бы тогда умѣренно и основательно разсуждать насколько мысль обязательна и гдѣ предѣлы воли. Нѣтъ, вы проклинали бы эти людскія стада, любовь превратилась бы въ ненависть, или хуже, въ презрѣніе. Вы можете пойти бы въ монастырь со всѣмъ атеизмомъ вашимъ.

— Это было бы доказательствомъ, что и я слабъ, подтвержденіемъ того, что всѣ люди слабы, что мысль не только не обязательна для міра, но даже для самаго человѣка. Но, простите, я никакъ не могу вамъ позволить свести разговоръ нашъ на личности. Замѣчу одно: да, я зритель, только это и не роль и не натура моя, это мое положеніе; я понялъ его, это мое счастье; когда-нибудь поговоримъ обо мнѣ, теперь мнѣ не хочется отвлекаться. — Вы говорите, что я проклиналъ бы народъ, можетъ быть, но это было бы очень глупо. Народы, массы — это стихіи, океаниды; ихъ путь — путь природы, они ея ближайшіе преемники, влекутся темнымъ инстинктомъ, безотчетными страстями, упорно хранить то, до чего достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые въ движеніе, они неотразимо увлекаются собою или даютъ все что попало на дородѣ, хотя бы оно было хорошо. Они идутъ какъ извѣстный индійскій кумиръ, всѣ встрѣчные бросаются подъ его колесницу, и первые раздавленные бываютъ усердѣйшіе поклонники идола. Народы обвинять нельзя, они правы, потому что всегда сообразны обстоятельствамъ своей былой жизни; на нихъ нѣтъ отвѣтственности ни за добро, ни за зло, они факты, какъ урожай и неурожай, какъ дубъ и колось. Отвѣтственность скорѣе на меньшинствѣ, которое представляетъ собою сознательную мысль своего времени, хотя и оно не виновато: вообще юри-

дическая точка зрѣнія не годится нигдѣ, кромѣ въ судѣ, и именно потому всѣ суды въ мірѣ никуда не годятся. Понимать и обвинять, это почти такъ-же нелѣпо, какъ не понимать и казнить. Виногато-ли меньшинство, что все историческое развитіе, вся цивилизація предшествующихъ вѣковъ была для него, что у него умъ развитъ на счетъ крови и мозга другихъ, что оно вслѣдствіе этого далеко ушло впередъ отъ одичалаго, неразвитаго, задавленнаго тяжкимъ трудомъ народа. Тутъ не вина, тутъ трагическая, роковая сторона исторіи, ни богатый не отвѣчаетъ за богатство, найденное имъ въ колыбели, ни бѣдный за бѣдность, они оба оскорблены несправедливостью, фатализмомъ. Если мы и имѣемъ нѣкоторое право требовать, чтобъ страждущій, худой отъ голода и горя, притѣсненный и оскорбляемый народъ, отпустилъ намъ наше неправое стяженіе, наше превосходство, наше развитіе, потому что мы въ немъ неповинны, потому что мы работаемъ надъ тѣмъ, чтобъ сознательно поправить безсознательный грѣхъ, то откуда возьмемъ мы силу проклинать, презирать народъ, который остался Каспаромъ Гаузеромъ для того, чтобъ мы съ вами читали Данта, слушали Бетговена. Презирать за то, что онъ не понимаетъ насъ, пользующихся монополією пониманія — это безобразная, гнусная жестокость. Вспомните, какъ было дѣло: образованное меньшинство, долго наслаждаясь въ своемъ исключительномъ положеніи, въ своемъ аристократическомъ, литературномъ, художественномъ, правительственномъ кругѣ, наконецъ почувствовало угрызение совѣсти, оно вспомнило забытыхъ братьевъ, мысль о несправедливости общественнаго устройства, мысль о равенствѣ, какъ электрическая искра, облетѣла лучшіе умы прошлаго вѣка. Книжно, теоретически поняли

люди несправедливость и княжно хотѣли ее поправить, это позднее раскаяніе меньшинства назвали либерализмомъ. Они, добросовѣстно желая вознаградить народъ за тысячелѣтнія униженія, провозгласили его самодержавнымъ, требовали, чтобъ каждый поселянинъ вдругъ сдѣлался политическимъ человѣкомъ, понялъ запутанные вопросы полусвободнаго и полурабскаго законодательства, оставилъ свою работу, т. е. кусокъ хлѣба, и, новый Цинцинатъ, шелъ бы заниматься общественными дѣлами. О хлѣбѣ насущномъ—либерализмъ серьезно не думалъ, онъ слишкомъ романтикъ, чтобъ пѣчься о такихъ грубыхъ потребностяхъ. Либерализму легче было выдумать народъ, нежели его изучить. Онъ нагналъ на него изъ любви не меньше того, что на него нагнали другіе изъ ненависти. Либералы сочинили свой народъ а priori, построили его по воспоминаніямъ, изъ прочтеннаго, одѣли его въ римскую тогу и въ пастушескій нарядъ. О дѣйствительномъ народѣ мало думали; онъ жилъ, работалъ, страдалъ, возлѣ, около и если его кто-нибудь зналъ, то это его враги—попы и легитимисты. Судьба его оставалась по старому, за то народъ вымышленный сдѣлался кумиромъ въ новой политической религіи — елей, которымъ мазали чело царей, перешелъ на загорѣлое чело, покрытое морщинами и горькимъ потомъ. Не освободивши ни его рукъ, ни его ума, либерализмъ посадилъ народъ на тронъ и, кланяясь ему въ поясъ, старался въ тоже время оставить власть себѣ. Народъ поступилъ какъ одинъ изъ его представителей, Санчо-Панса, онъ отказался отъ мнимаго престола или, лучше сказать, и не садился на него. Мы начинаемъ понимать ложное съ обѣихъ сторонъ, это значитъ, что мы выходимъ на дорогу, будемте указывать ее всѣмъ, но зачѣмъ-же, обертываясь назадъ,

мы будемъ ругаться? я не токмо не виню народъ, но не виню и либераловъ; они большею частію любили народъ по своему, они много жертвовали для своей идеи, это всегда почтенно—но они были на ложномъ пути. Ихъ можно сравнить съ прежними натуралистами, которые начинали и оканчивали изученіе природы въ гербаріи, въ музеѣ; все, что они знали о жизни, былъ трупъ, мертвая форма, слѣдъ жизни. Честь и слава тѣмъ, которые догадались взять котомку и идти въ горы, плыть за моря ловить природу и жизнь на самомъ дѣлѣ. Но зачѣмъ-же ихъ славой, ихъ успѣхами задвигать труды ихъ предшественниковъ? Либералы были вѣчные жители большихъ городовъ и маленькихъ кружковъ, люди журналовъ, книгъ, клубовъ, они вовсе не знали народа, они его глубокомысленно изучали по историческимъ источникамъ, по памятникамъ — а не по деревнѣ, не по рынку. Больше или меньше всѣ мы грѣшны въ этомъ, отсюда недоразумѣнія, обманутыя надежды, досада, наконецъ отчаяніе. Еслибъ вы были знакомы съ внутренней жизнію Франціи, вы не удивлялись бы, что народъ хочетъ вотировать за Бонапарта, вы знали бы, что народъ французскій не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о свободѣ, о республикѣ, но имѣетъ бездну національной гордости; онъ любитъ Бонапартовъ, и терпѣть не можетъ Бурбоновъ. Бурбоны для него напоминаютъ корвею, Бастилю, дворянъ; Бонапарты,—разсказы стариковъ, пѣсни Баранже, побѣды и наконецъ воспоминанія о томъ, какъ сосѣдъ, такой-же крестьянинъ, возвращался генераломъ, полковникомъ, съ почетнымъ легіономъ на груди...и сынъ сосѣда торопится подать голосъ за племянника.

— Конечно такъ. Одно странно, отчего-же они забыли деспотизмъ Наполеона, его конскрипціи, тиран-

ство префектовъ, если у нихъ такъ хороша память?

— Это очень просто, для народа деспотизмъ не можетъ составить характеристики имперіи. Для него до сихъ поръ всѣ правительства были деспотизмомъ. Онъ, напримѣръ, узналъ республику, провозглашенную для удовольствія *Reforme*, для пользы *National* — по 45-сантимному налогу, по депортаціямъ, по тому, что бѣднымъ работникамъ не выдаютъ пассовъ въ Парижъ. Народъ вообще плохой филологъ; слово республика его не тѣшитъ, ему отъ него не легче. Слова: имперія, Наполеонъ его электризуютъ, далѣе онъ не идетъ.

— Если на все смотрѣть такимъ образомъ, то я самъ начинаю думать, что не только перестанешь сердиться и что-нибудь дѣлать, но перестанешь имѣть даже желаніе что-нибудь дѣлать.

— По моему, я говорилъ вамъ, понимать, это ужъ дѣйствовать, осуществлять. Вы думаете, что когда поймешь окружающее, пройдетъ желаніе дѣйствовать — это значило бы, что вы хотѣли дѣлать не то, что надобно. Ищите въ такомъ случаѣ другой работы, не найдете внѣшней, найдете внутреннюю. Страненъ человѣкъ, который ничего не дѣлаетъ, имѣя дѣло; но вѣдь страненъ и тотъ, который, не имѣя дѣла, дѣлаетъ. Трудъ вовсе не клубокъ на ниткѣ, который даютъ котенку, чтобъ его занимать, онъ опредѣляется не однимъ желаніемъ, но и требованіемъ на него.

— Я никогда не сомнѣвался, что думать всегда можно, и не смѣшивалъ насильственного бездѣйствія съ произвольнымъ безмысліемъ. Я предвидѣлъ впрочемъ утѣшительный результатъ, къ которому вы придете — оставаться въ разсуждающемъ бездѣйствіи, останавливая умомъ сердце и критикой любовь къ человечеству.

— Для того, чтобъ дѣятельно участвовать въ мірѣ насъ окружающемъ, я повторяю вамъ, мало желанія и любви къ человѣчеству. Все это какія-то неопредѣленныя, мерцающія понятія--что такое любить человѣчество? Что такое самое человѣчество? Все это здается мнѣ прежними христіанскими добродѣтелями, подогрѣтыми на философскомъ очагѣ. Народы любятъ соотечественниковъ—это понятно, но что такое любовь, которая обнимаетъ все, что перестало быть обезьяной, отъ Эскимоса и Готтентота до Далай-Ламы и Папы — я не могу въ толкъ взять...что-то слишкомъ широко. Если это та любовь, которою мы любимъ природу, планеты, вселенную, то я не думаю, чтобъ она могла быть особенно дѣятельна. Или инстинктъ или пониманіе среды, въ которой вы живете, ведутъ васъ къ дѣятельности? Инстинктъ вашъ утраченъ, — утратьте ваше отвлеченное знаніе и станьте самоотверженно передъ истиной, поймите ее, тогда вы увидите, какая дѣятельность нужна, какая нѣтъ. Хотите вы политической дѣятельности въ существующемъ порядкѣ, сдѣлайтесь Марастомъ, сдѣлайтесь Одилономъ Барро, и она вамъ будетъ. Вы этого не хотите, вы чувствуете, что всякой порядочный чеконѣкъ совершенно посторонній во всѣхъ политическихъ вопросахъ, что онъ не можетъ серьезно думать—нуженъ или не нуженъ президентъ республики? можетъ или нѣтъ собраніе посылать людей на каторгу безъ суда? или еще лучше должно-ли подать голосъ за Каваньяка или за Луи Бонапарта?...думайте мѣсяць, думайте годъ, кто изъ нихъ лучше, вы не рѣшите, оттого что они, какъ говорятъ дѣти, „оба хуже.“ Все что остается дѣлать человѣку, уважающему себя—вовсе не вотировать. Посмотрите на другіе вопросы à l'ordre du jour— все то-же; „они посвящены богамъ,“ смерть у

нихъ за плечами. Что дѣлаетъ священникъ, призванный къ умирающему? Онъ не лечитъ его, онъ не возражаетъ на его бредъ, а читаетъ ему отходную. Читайте отходную, читайте смертный приговоръ, исполненіе котораго идетъ не по днямъ, а по часамъ; убѣдитесь разъ навсегда, что никто изъ осужденныхъ не уйдетъ отъ казни: ни *самодержавіе* петербургскаго царя, ни *свобода* мѣщанской республики, да и не жалѣйте ни того, ни другого. Убѣждайте лучше легкомысленныхъ, поверхностныхъ людей, которые рукоплещутъ паденію австрійской имперіи и блѣднѣютъ за судьбу полу-республики, что паденіе ея такой-же великій шагъ къ освобожденію народовъ и мысли, какъ паденіе Австріи, что никакихъ исключеній не надобно, никакой пощады, что время снисхожденія не пришло; скажите словами либераловъ-реакціонеровъ, что „амнистія дѣло будущаго,“ требуйте вмѣсто любви къ человѣчеству, *нена-сти ти* ко всему что валяется на дорогѣ и мѣшаетъ идти впередъ. Пора перевязать всѣхъ враговъ развитія и свободы одной веревкой, такъ какъ *они* перевязываютъ колодниковъ и провести ихъ по улицамъ, чтобъ всѣ видѣли круговую поруку—французскаго кодекса и русскаго свода, Каваньяка и Радецкаго—это будетъ великое поученіе. Кто теперь послѣ этихъ грозныхъ, потрясающихъ событій не протрезвится, никогда не протрезвится и умретъ какимъ-нибудь рыцаремъ Тогенбургомъ либерализма, какъ Лафайетъ. Терроръ казнилъ людей, наша судьба легче, мы призваны казнить учрежденія, разрушать вѣрованія, отнимать надежду на старое, ломать предрасудки, касаться до всѣхъ прежнихъ святынь безъ уступокъ, безъ пощады. Улыбка, привѣтъ одному возникающему, одной зарѣ и если мы не въ силахъ подвинуть ея часа, то по крайней мѣрѣ

можемъ указывать ея близость тѣмъ, которые не видятъ....

— Какъ этотъ старикъ нищій на Вандомской площади, который всякую ночь предлагаетъ прохожимъ свой телескопъ, чтобъ посмотрѣть на дальнія звѣзды?

— Ваше сравненіе очень хорошо, именно показывайте каждому идущему мимо, какъ все ближе и ближе подступаютъ, какъ растутъ и поднимаются волны карающаго потока. Указывайте съ тѣмъ вмѣстѣ и бѣлый парусъ ковчега.... тамъ въ дали на горизонтѣ. Вотъ вамъ и дѣло. Когда все утонетъ, когда все ненужное растворится и погибнетъ въ соленой водѣ, когда она начнетъ сбывать и уцѣлѣвшій ковчегъ остановится, тогда будетъ людямъ другое дѣло, много дѣла. Теперь нѣтъ!

Парижъ, 1 Декабря 1848 г.

V.

CONSOLATIO.

Der Mensch ist nicht geboren frey zu seyn.

Goethe. — (*Tasso.*)

Изъ окрестностей Парижа мнѣ нравится больше другихъ Монморанси. Тамъ ничего не бросается въ глаза, ни особенно береженные парки, какъ въ Сен-Клу ни будуары изъ деревьевъ, какъ въ Трианонъ; а ѣхать отъ туда не хочется. Природа въ Монморанси чрезвычайно проста, она похожа на тѣ женскія лица, которыя не останавливаютъ, не поражаютъ, но привлекаютъ какимъ-то милымъ и довѣрчивымъ выраженіемъ и при-

влекаютъ тѣмъ сильнѣе, что это дѣлается совершенно незамѣтно для насъ. Въ такой природѣ и въ такихъ лицахъ есть обыкновенно что-то трогательное, успокоивающее и именно за этотъ покой, за эту каплю воды Лазарю, всего больше благодаритъ душа современнаго человѣка, безиррывно потрясенная, растерзанная, взволнованная. Я нѣсколько разъ находилъ отдыхъ въ Монморанси, и за это благодаренъ ему. Тамъ есть большая роща, мѣстоположеніе довольно высокое, и тишина, которой подѣ Парижемъ нигдѣ нѣтъ. Не знаю отчего, но эта роща напоминаетъ мнѣ всегда нашъ русскій лѣсъ...идешь и думаешь.....вотъ сейчасъ пахнетъ дымкомъ отъ овиновъ, вотъ сейчасъ откроется село...съ другой стороны должно быть господская усадьба, дорога туда пошире и идетъ просѣкомъ, и вѣрите-ли? мнѣ становилось грустно, что черезъ нѣсколько минутъ выходишь на открытое мѣсто и видишь вмѣсто Звенигорода—Парижъ; вмѣсто окошечка земскаго или попа — окошечко, въ которое такъ долго и такъ печально смотрѣлъ Жанъ-Жакъ.....

Именно къ этому домику шли разъ изъ рощи какіе-то повидимому путешественники : дама лѣтъ двадцати пяти одѣтая вся въ черномъ и мущина среднихъ лѣтъ, преждевременно сѣдой. Выраженіе ихъ лицъ было серьезно, даже покойно. Одна долгая привычка сосредоточиваться и жизнь, обильная мыслию, событіями, даютъ чертамъ этотъ покой. Это не природная тишина, а тишина послѣ бурь, послѣ борьбы и побѣды.

— Вотъ домъ Руссо, сказалъ мущина, указывая на маленькое строеніе окна въ три; — они остановились. Одно окошко было немного приотворено, занавѣска колебалась отъ вѣтра.

— Это движеніе занавѣски, замѣтила дама, наводитъ

невольный страхъ, такъ и кажется, вотъ сейчасъ подозрительный и раздраженный старикъ ее отдернуть и спросить насъ, зачѣмъ мы тутъ стоимъ. Кому придется въ голову, глядя на мирный домикъ, окруженный зеленью, что онъ былъ прометеевской скалой для великаго человѣка, котораго вся вина состояла въ томъ, что онъ слишкомъ любилъ людей, слишкомъ вѣрилъ въ нихъ, желалъ имъ больше добра, нежели они сами? Современники не могли ему простить, что онъ высказалъ тайное угрызеніе ихъ собственной совѣсти и вознаграждали себя искусственнымъ хохотомъ презрѣнія, а онъ оскорблялся; они смотрѣли на поэта братства и свободы, какъ на безумнаго; они боялись признать въ немъ разумъ, это значило бы признать свою глупость, а онъ плакалъ объ нихъ. За цѣлую жизнь преданности, страстнаго желанія помочь, любить, быть любимымъ, освобождать...находилъ онъ мимолетные привѣты и постоянный холодъ, надменную ограниченность, гоненія, сплетни! Мнительный и нѣжный отъ природы, онъ не могъ стать независимо отъ этихъ мелочей и потухалъ, оставленный всѣми, больной, въ нищетѣ. Въ отвѣтъ на всѣ его стремленія къ симпатіи, къ любви, ему досталась одна Тереза, въ ней сосредоточивалось для него все теплое, вся сторона сердца — Тереза, которая не могла научиться узнавать который часъ, существо неразвитое, полное предрасудковъ, которая стягивала жизнь Руссо въ узкую подозрительность, въ мѣщанскіе пересуды и кончила тѣмъ, что разсорила его съ послѣдними друзьями. Сколько горькихъ минутъ провелъ онъ, облачаяваясь на эту оконницу, съ которой кормилъ птицъ, думая какимъ зломъ онѣ ему заплатятъ. У бѣднаго старика только и оставалось что природа—и онъ восхищался ею, закрывъ глаза усталые

отъ жизни, тяжелые отъ слезъ. Говорятъ, что онъ даже ускорилъ минуту покоя...на этотъ разъ Сократъ самъ осудилъ себя на смерть за грѣхъ сознанія, за преступленіе гениальности. Когда взглядишься серьезно во все, что дѣлается, становится противно жить. Все на свѣтѣ гадко и притомъ глупо; люди хлопочутъ, работаютъ, ни минуты не находятъ отдыха, а дѣлаютъ все вздоръ; другіе хотятъ ихъ вразумить, остановить, спасти—ихъ распинаютъ, гонятъ—и все это въ какомъ-то бреде, не давая себѣ труда понять. Волны поднимаются, торопятся, клубятся безъ цѣли, безъ нужды..... тамъ онѣ разбиваются съ бѣшенствомъ объ скалу, тутъ подмываютъ берегъ... мы стоимъ середѣ водоворота, бѣжать некуда. Я знаю, докторъ, вы не такъ смотрите на жизнь, она васъ не сердитъ, потому что вы въ ней ищете одинъ фізіологическій интересъ и мало требуете отъ нея, вы большой оптимистъ. Иногда я съ вами соглашаюсь, вы меня сбиваете съ толку вашей діалектикой; но какъ только сердце принимаетъ участіе, какъ только изъ общихъ сферъ, гдѣ все разрѣшено и успокоено, коснешься живыхъ вопросовъ, взглянешь на людей, душа возмущается. Подавленное на минуту негодованіе снова просыпается и досадуешь объ одномъ: что нѣтъ достаточно силъ ненавидѣть, презирать людей за ихъ лѣнивое бездушіе, за ихъ нежеланіе стать выше, благороднѣе...еслибъ было можно отвернуться отъ нихъ! и пусть они дѣлаютъ, что хотятъ въ своихъ полипникахъ, пусть живутъ нынче какъ вчера, опираясь на привычки и обряды, бессмысленно принимая на вѣру что дѣлать и чего не дѣлать... и измѣняя притомъ на каждомъ шагу своей собственной нравственности, своему собственному катихизису!

— Я не думаю, чтобъ вы были справедливы. Развѣ

люди виноваты въ вашемъ довѣріи къ нимъ, въ вашемъ идеальномъ понятіи объ ихъ нравственномъ достоинствѣ.

— Я не понимаю, что вы говорите, я сейчасъ сказала совершенно противоположное. Кажется, это не верхъ довѣрія, когда говорятъ объ людяхъ, что у нихъ ничего нѣтъ кромѣ мученическихъ вѣнцовъ для всякаго пророка и бесполезнаго раскаянія послѣ ихъ смерти; что они готовы броситься какъ звѣри на того, кто, замѣняя ихъ совѣсть, *назоветъ* ихъ дѣла; кто, снимая на себя ихъ грѣхи, хочетъ разбудить ихъ сознаніе.

— Да, но вы забываете источникъ вашего негодованія. Вы сердитесь на людей за многое, чего они не сдѣлали, потому что вы не считаете ихъ способными на всѣ эти прекрасныя свойства, къ которымъ вы воспитали себя или къ которымъ васъ воспитали,—но они по большей части этого развитія не имѣли. Я не сержусь, потому что и не жду отъ людей ничего кромѣ того, что они дѣлаютъ, и не вижу ни повода, ни права требовать отъ нихъ чего нибудь другого, нежели что они могутъ дать, а могутъ они дать то, что даютъ; требовать больше, обвинять—ошибка, насиліе. Люди только справедливы къ безумнымъ и къ совершеннымъ дуракамъ, ихъ по крайней мѣрѣ мы не обвиняемъ за дурное устройство мозга, имъ прощаемъ природныя недостатки; съ остальными страшная моральная требовательность. Почему мы ждемъ отъ всѣхъ встрѣчныхъ на улицѣ примѣрныхъ доблестей, необыкновеннаго пониманія — я не знаю; вѣроятно по привычкѣ все идеализировать, все судить свысока такъ, какъ обыкновенно судятъ жизнь по мертвой буквѣ, страсть по кодексу, лице по родовому понятію. Я иначе смотрю, я привыкъ къ взгляду врача, къ взгляду совершенно противополож-

ному судьи. Врачъ живетъ въ природѣ, въ мірѣ фактовъ и явленій, онъ не учитъ, онъ учится; онъ не мститъ, а старается облегчить; видя страданіе, видя недостатки, онъ ищетъ причину, связь, онъ ищетъ средствъ, въ томъ-же мірѣ фактовъ. Нѣтъ средствъ, онъ грустно пожимаетъ плечами, досадуетъ на свое невѣдѣніе — и не думаетъ о наказаніи, о пѣни, не порицаетъ. Взглядъ судьи проще, ему собственно взгляда и не надобно, не даромъ Ѳемиду представляютъ съ завязанными глазами, она тѣмъ справедливѣе, чѣмъ меньше видитъ жизнь; нашъ братъ, напротивъ, хотѣлъ бы, чтобы пальцы и уши имѣли глаза. Я не оптимистъ и не пессимистъ, я смотрю, вглядываюсь, безъ заготовленной темы, безъ придуманнаго идеала, и не тороплюсь съ приговоромъ — я просто, извините, скромнѣе васъ.

— Не знаю, такъ-ли я васъ поняла, но мнѣ кажется, вы находите очень естественнымъ, что современники Руссо его мучили маленькими преслѣдованіями, отравили ему жизнь, оклеветали его; вы имъ отпускаете ихъ грѣхи, это очень снисходительно, не знаю, на сколько справедливо и нравственно.

— Для того, чтобъ отпускать грѣхи, надобно прежде обвинять; я этого не дѣлаю. Впрочемъ, пожалуй, я приму ваше выраженіе, да, я отпускаю имъ зло, ими причиненное, такъ какъ вы отпускаете холодной погодѣ, которая на дняхъ простудила вашу малютку. Можно-ли сердиться на событія, которыя независимы ни отъ чьей воли, ни отъ чьего сознанія. Они иногда бываютъ очень тяжелы для насъ; но обвиненіе не поможетъ, только запутаетъ. Когда мы съ вами сидѣли у кровати больной и горячка такъ развернулась, что я самъ испугался, мнѣ было безконечно горько смотрѣть

и на больную и на васъ; вы такъ много страдали въ эти часы—но вмѣсто того, чтобъ проклинать дурной составъ крови и съ ненавистію смотрѣть на законы органической химіи, я думала тогда о другомъ, а именно о томъ, какъ возможность понимать, чувствовать, любить, привизываться необходимо влечетъ за собою противоположную возможность несчастія, страданій, лишеній, нравственныхъ оскорбленій, горечи. Чѣмъ нѣжнѣе развивается внутренняя жизнь, тѣмъ жестче, губительнѣе для нея капризная игра случайности, на которой не лежитъ никакой отвѣтственности за ея удары.

— Я сама не обвиняла болѣзнь. Ваше сравненіе не совсѣмъ идетъ; природа вовсе не имѣетъ сознанія.

— А я думаю, что и на полу-сознательную массу людей нельзя сердиться, войдите въ ея состояніе борьбы между предчувствіемъ свѣта и привычкой къ темнотѣ. Вы берете за норму береженные, особенно удавшіеся оранжерейные цвѣты, за которыми было бездна ухода, и сердитесь, что полевые не такъ хороши. Не только это не справедливо, но это чрезвычайно жестоко. Еслибъ у большинства людей было сознаніе сколько нибудь свѣтлѣе, неужели вы думаете, что они могли бы жить въ томъ положеніи, въ которомъ живутъ? Они не только зло дѣлаютъ другимъ, но и себѣ, и это именно ихъ извиняетъ. Ими владѣетъ привычка, они умираютъ отъ жажды возлѣ колодца, и не догадываются что въ немъ вода, потому что ихъ отцы имъ этого не сказали. Люди всегда были такіе, пора наконецъ перестать дивиться, негодовать; можно было привыкнуть со временъ Адама. Это тотъ-же романтизмъ, который заставлялъ поэтовъ сердиться за то, что у нихъ есть тѣло, за то, что они чувствуютъ голодь. Сердитесь, сколько хотите, но міра никакъ не передѣлаете по какой-нибудь программѣ;

онъ идетъ своимъ путемъ и никто не въ силахъ его сбить съ дороги. Узнавайте этотъ путь—и вы отбросите правоучительную точку зрѣнія и вы пріобрѣтете силу. Моральная оцѣнка событій и журьба людей принадлежатъ къ самымъ начальнымъ ступенямъ пониманія. Оно лестно самолюбію, раздавать Монтіоновскія преміи и читать выговоры, принимая мѣриломъ самого себя—но бесполезно. Есть люди, которые пробовали внести этотъ взглядъ въ самую природу и сдѣлали разнымъ звѣрямъ прекрасныя или прескверныя репутаціи. Увидали напри-мѣръ, что заяцъ бѣжитъ отъ неминуемой опасности, и называли его трусомъ; увидали, что левъ, который въ двадцать разъ больше зайца, не бѣжитъ отъ человѣка, а иногда его съѣдаетъ, стали его считать храбрымъ; увидали, что левъ сытый не ѣстъ—сочли это за величіе духа; а заяцъ столько-же трусъ, сколько левъ великодушень а осель глупъ. Нельзя больше останавливаться на точкѣ зрѣнія Эзоповыхъ басенъ; надобно смотрѣть на міръ природы и на міръ людской проще, покойнѣе, яснѣе. Вы говорите о страданіяхъ Руссо, онъ былъ несчастливъ, это правда, но и это правда, что страданія всегда сопровождаютъ необыкновенное развитіе, натура гениальная можетъ иногда не страдать, сосредоточиваясь въ себѣ, довольствуясь собою, наукой, искусствомъ; но въ практическихъ сферахъ никакъ. Дѣло очень простое: такіа натуры, входя въ обычные людскія отношенія, нарушаютъ равновѣсіе; среда, ихъ окружающая, имъ узка, невыносима, ихъ жмутъ отношенія, рассчитанныя по иному росту, по инымъ плечамъ и необходимымъ для тѣхъ плечъ. Все, что давило по мелочи того, другого, все, о чемъ толковали въ разбивку и чему покорялись обыкновенные люди, все это вырастаетъ въ нестерпимую боль въ груди сильнаго человѣка, въ

грозный протестъ, въ явную вражду, въ смѣлый вызовъ на бой; отсюда неминуемо столкновение съ современниками; толпа видитъ презрѣніе къ тому, что она хранитъ и бросаетъ въ геніи каменьями и грязью, до тѣхъ поръ пока пойметъ, что онъ былъ правъ. Вина вѣдь-ли геній, что онъ выше толпы, виновата-ли толпа, что она его не понимаетъ?

— И вы находите это состояніе людей и притомъ большинства людей, нормальнымъ, естественнымъ? По вашему это нравственное паденіе, эта глупость такъ и быть должны?—Вы шутите!

— Какъ-же иначе? Вѣдь никто не принуждаетъ ихъ такъ поступать, это ихъ наивная воля. Люди вообще въ практической жизни меньше лгутъ, нежели на словахъ. Лучшее доказательство ихъ простодушія въ искренней готовности, какъ только поймутъ, что совершили какое-либо преступленіе, раскаяться. Они спохватились, распявши Христа, что скверно сдѣлали и бросились на колѣни передъ крестомъ. О какомъ нравственномъ паденіи рѣчь, *si toutefois* вы не говорите о грѣхопаденіи, я не понимаю. Откуда было падать? чѣмъ дальше смотришь назадъ, тѣмъ больше встрѣчаешь дикости, непониманія или совершенно пняго развитія, которое до васъ почти не касается, какія-нибудь погибшія цивилизаціи, какіе-нибудь китайскіе нравы. Долгая жизнь въ обществѣ выработываетъ мозгъ. Выработываніе это дѣлается трудно, туго; а тутъ, вмѣсто признанія, сердятся на людей за то, что они не похожи ни на идеалъ мудреца, выдуманнаго стоиками, ни на идеалъ святаго, выдуманнаго христіанами. Цѣлыя поколѣнія легли костями, чтобъ обжить какой-нибудь клочекъ земли, вѣка прошли въ борьбѣ, кровь лилась рѣками, поколѣнія мерли въ страданіяхъ, въ тщетныхъ усп-

ліяхъ, въ тяжеломъ трудѣ...едва вырабатывая скудную жизнь, немного покоя и пять-шесть умовъ, которые понимали заглавныя буквы общественнаго процесса и двигали массы къ совершенію судебъ своихъ. Удивляться надобно, какъ народы, при этихъ гнетущихъ условіяхъ, дошли до современнаго нравственнаго состоянія, до своей самоотверженной терпѣливости, своей тихой жизни; удивляться надобно, какъ люди такъ мало дѣлаютъ зла, а не упрекать ихъ, зачѣмъ каждый изъ нихъ не Аристидъ и не Симеонъ Столпникъ.

— Вы хотите меня увѣрить, докторъ, что людямъ предназначено быть мошенниками.

— Повѣрьте, что людямъ ничего не предназначено.

— Да зачѣмъ-же они живутъ?

— Такъ себѣ, родились и живутъ. Зачѣмъ все живетъ? Тутъ мнѣ кажется предѣлъ вопросамъ; жизнь—и цѣль и средство и причина и дѣйствіе. Это вѣчное безпокойство дѣятельнаго, напряженнаго вещества, отпскивающего равновѣсіе для того, чтобы снова потерять его, это непрерывное движеніе, *ultima ratio*, далѣе идти некуда. Прежде все искали отгадки въ облакахъ или въ глубинѣ, подымались или спускались, однако не нашли ничего; оттого, что главное, существенное, все тутъ, на поверхности. Жизнь не достигаетъ цѣли, а осуществляетъ все возможное, продолжаетъ все осуществленное, она всегда готова шагнуть далѣе — за тѣмъ чтобы полнѣе жить, еще больше жить, если можно; другой цѣли нѣтъ. Мы часто за цѣль принимаемъ послѣдовательныя фазы одного и того-же развитія къ которому мы приучились; мы думаемъ, что цѣль ребенка совершеннолѣтіе, потому что онъ дѣлается совершеннолѣтнимъ, а цѣль ребенка скорѣе играть, нас-

лаждаться, быть ребенкомъ. Если смотрѣть на предѣль, то цѣль всего живаго — смерть.

— Вы забываете другую цѣль, докторъ, которая развивается людьми, но переживаетъ ихъ, передается изъ рода въ родъ, растетъ изъ вѣка въ вѣкъ, и именно въ этой-то жизни неотдѣльнаго человѣка отъ человѣчества и раскрываются тѣ постоянныя стремленія, къ которымъ человѣкъ идетъ, къ которымъ поднимается и до осуществленія которыхъ когда-нибудь достигнетъ.

— Я совершенно согласенъ съ вами, я даже сказалъ сейчасъ, что мозгъ вырабатывается; сумма идей и ихъ объемъ растетъ въ сознательной жизни, передается изъ рода въ родъ, но что касается до послѣднихъ словъ вашихъ, тутъ позвольте усомниться. Ни стремленіе, ни вѣрность его — нисколько еще не обусловливаетъ осуществленіе. Возьмите самое всеобщее, самое постоянное стремленіе во всѣхъ эпохахъ и у всѣхъ народовъ, стремленіе къ благосостоянію, стремленіе глубоко лежащее во всемъ чувствующемъ, развитіе простаго инстинкта самосохраненія, врожденное бѣгство отъ того, что причиняетъ боль и стремленіе къ тому, что доставляетъ удовольствіе, наивное желаніе чтобъ было лучше, а не было бы хуже; между тѣмъ, работая тысячелѣтія, люди не достигли даже животнаго довольства; пропорціонально я полагаю, что больше всѣхъ звѣрей и больше всѣхъ животныхъ страдаютъ рабы въ Россіи и гибнутъ съ голоду Ирландцы. Отсюда вы можете заключить, легко-ли сбудутся другія стремленія, неопредѣленные и принадлежащія меньшинству.

— Позвольте, стремленіе къ свободѣ, къ независимости стоитъ голода — оно весьма не слабо и очень опредѣленно.

— Исторія этого не показываетъ. Точно, нѣкоторые

слои общества, развившіеся при особенно счастливыхъ обстоятельствахъ, имѣютъ нѣкоторое поползновеніе къ свободѣ и то весьма не сильное, судя по нѣсколькимъ тысячамъ лѣтъ рабства и по современному гражданскому устройству наконецъ. Мы, разумѣется, не говоримъ объ исключительныхъ развитіяхъ, для которыхъ неволя тягостна, а о большинствѣ, которое даетъ постоянное *démenti* этимъ страдальцамъ, что и заставило раздраженного Руссо сказать свой знаменитый *non sens*: „Человѣкъ родится быть свободнымъ — и вездѣ въ цѣпяхъ!“

— Вы повторяете этотъ крикъ негодованія, вырвавшійся изъ груди свободного человѣка, съ прониіей?

— Я вижу тутъ насиліе исторіи, презрѣніе фактовъ, а это для меня невыносимо; меня оскорбляетъ самоуправство. Къ тому-же превредная метода впередъ рѣшать именно то, что составляетъ трудность вопроса; что сказали бы вы человѣку, который, грустно качая головой, замѣтилъ бы вамъ, что „рыбы родятся для того, чтобы летать—и вѣчно плаваютъ.“

— Я спросила бы, почему онъ думаетъ, что рыбы родятся для того, чтобы летать?

— Вы становитесь строги; но другъ *Рыбства* готовъ держать отвѣтъ... во-первыхъ, онъ вамъ скажетъ, что скелетъ рыбы явнымъ образомъ показываетъ стремленіе развить оконечности въ ноги или крылья; онъ вамъ покажетъ вовсе ненужныя косточки, которыя намекаютъ на скелетъ ногъ, крыла; наконецъ онъ сошлется на летающихъ рыбъ, которыя, на дѣлѣ доказываютъ, что *рыбство* не токмо стремится летать, но иногда и можетъ. Давши вамъ такой отвѣтъ, онъ будетъ въ правѣ васъ спросить, отчего-же вы у Руссо не требуете отчета, почему онъ говоритъ, что человѣкъ дол-

жень быть свободенъ, опираясь на то, что онъ постоянно въ цѣпяхъ. Отчего все существующее только и существуетъ такъ, какъ оно *должно* существовать, а человѣкъ напротивъ?

— Вы, докторъ, преопасный софистъ, и еслибъ я не коротко васъ знала, я считала бы васъ небезнравственнымъ человѣкомъ. Не знаю какія лишнія кости у рыбъ, а знаю только, что въ костяхъ у нихъ недостатка нѣтъ; но что у людей есть глубокое стремленіе къ независимости, ко всякой свободѣ, въ этомъ я убѣждена. Они заглушаютъ мелочами жизни внутренней голосъ, и по этому я на нихъ сержусь. Я утѣшительнѣе нападаю на людей, нежели вы ихъ защищаете.

— Я зналъ, что мы съ вами послѣ нѣсколькихъ словъ переменимъ роли, или лучше, что вы обойдете меня и очутитесь съ противоположной стороны. Вы хотите бѣжать съ негодованіемъ отъ людей за то, что они не умѣютъ достигнуть нравственной высоты, независимости, всѣхъ вашихъ идеаловъ, и въ то-же время вы на нихъ смотрите какъ на избалованныхъ дѣтей, вы увѣрены, что они на дняхъ поправятся и будутъ умны. Я знаю, что люди торопятся очень медленно, не довѣряю ни ихъ способностямъ, ни всѣмъ этимъ стремленіямъ, которыя выдумываютъ за нихъ и остаюсь съ ними, такъ какъ остаюсь съ этими деревьями, съ этими животными — изучаю ихъ, даже люблю. Вы смотрите à priori и можете логически правы, говоря, что человѣкъ долженъ стремиться къ независимости. Я смотрю патологически, и вижу, что до сихъ поръ рабство постоянное условіе гражданскаго развитія, стало быть или оно необходимо, или нѣтъ отъ него такого отвращенія, какъ кажется.

— Отчего мы съ вами добросовѣстно разсматривая исторію, видимъ совершенно разное?

— Оттого, что говоримъ объ разномъ; вы, говоря объ исторіи и народахъ, говорите о летающихъ рыбахъ, а я о рыбахъ вообще,—вы смотрите на міръ идей отрѣщенный отъ фактовъ, на рядъ дѣятелей, мыслителей, которые представляютъ верхъ сознанія каждой эпохи; на тѣ энергическія минуты, когда вдругъ цѣлыя страны становятся на ноги и разомъ берутъ массу мыслей для того, чтобъ изживать ихъ потомъ цѣлые вѣка въ покоѣ; вы принимаете эти катаклизмы, сопровождающіе ростъ народовъ, эти исключительныя личности за рядовой фактъ, но это только высшій фактъ, предѣлъ. Развитое меньшинство, которое торжественно несется надъ головами другихъ и передаетъ изъ вѣка въ вѣкъ свою мысль, свое стремленіе, до котораго массамъ кипящимъ внизу дѣла вѣтъ, даетъ блестящее свидѣтельство, до чего можетъ развиваться человѣческая натура, какое страшное богатство силъ могутъ вызвать исключительныя обстоятельства, но все это не относится къ массамъ, ко всѣмъ. Краса какой-нибудь арабской лошади, воспитанной двадцатью поколѣніями, нисколько не даетъ право ждать отъ лошадей вообще тѣхъ-же статей. Идеалисты непременно хотятъ поставить на своемъ, во чтобъ-то ни стало. Физическая красота между людьми такъ-же исключеніе, какъ особенное уродство. Посмотрите на мѣщанъ, толпящихся въ воскресенье на Елисейскихъ поляхъ, и вы ясно убѣдитесь, что природа людская вовсе не красива.

— Я это знаю и нисколько не удивляюсь глупымъ ртамъ, жирнымъ лбамъ, дерзко вздернутымъ и глупо висящимъ носамъ, они мнѣ просто противны.

— А какъ бы вы стали смѣяться надъ человѣкомъ,

который принялъ бы близко къ сердцу, что лошаки не такъ красивы какъ олени. Для Руссо было невыносимо нелѣпое общественное устройство его времени, кучка людей, стоявшая возлѣ него и развитая до того, что имъ только не доставало гениальной инициативы, чтобъ назвать зло, тяготившее ихъ — откликнулись на его призывъ; эти отщепенцы, раскольники остались вѣрны и составили гору въ 92 году. Они почти все погибли, работая для французскаго народа, котораго требованія были очень скромны и который безъ сожалѣнія позволилъ ихъ казнить. Я даже не назову это неблагодарностью, не въ самомъ дѣлѣ все, что дѣлалось, дѣлали они для народа, мы *себѣ* хотимъ освободить, *намъ* больно видѣть подавленную массу, *насъ* оскорбляетъ ея рабство, *мы* за нее страдаемъ — и хотимъ снять свое страданіе. За что тутъ благодарить; могла-ли толпа въ самомъ дѣлѣ въ половинѣ XVIII столѣтія желать свободы, *Contrat social*, когда она теперь, черезъ вѣкъ послѣ Руссо, черезъ полвѣка послѣ Конвента нѣма къ ней, когда она теперь въ тѣсной рамкѣ самаго пошлаго гражданскаго быта здорова какъ рыба въ водѣ?

— Броженіе всей Европы плохо соединяется съ нашимъ возрѣніемъ.

— Глухое броженіе, волнующее народы, происходитъ отъ голода. Будь пролетарій побогаче, онъ и не подумалъ бы о коммунизмѣ. Мѣщане сыты, ихъ собственность защищена, они и оставили свои попеченія о свободѣ, о независимости; напротивъ они хотятъ сильной власти, они улыбаются, когда имъ съ негодованіемъ говорятъ, что такой-то журналъ схваченъ, что того-то ведутъ за мнѣніе въ тюрьму. Все это бѣситъ, сердитъ небольшую кучку эксцентрическихъ людей; другіе равнодушно идутъ мимо, они заняты, они торгуютъ, они

семейные люди. Изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что мы не въ правѣ требовать полнѣйшей независимости; но только не за что сердиться на народъ, если онъ равнодушенъ къ вашимъ скорбямъ.

— Оно такъ, но мнѣ кажется, вы слишкомъ держитесь за арифметику, тутъ не поголовный счетъ важенъ, а нравственная мощь, въ ней *большинство* достоинства (*).

— Что касается до качественного преимущества, я его вполне отдаю сильнымъ личностямъ. Для меня Аристотель представляетъ не только сосредоточенную силу своей эпохи, но еще гораздо больше. Людямъ надобно было двѣ тысячи лѣтъ понимать его наизусть, чтобъ выразумѣть наконецъ смыслъ его словъ. Вы помните, Аристотель называетъ Анаксагора первымъ трезвымъ между пьяными греками; Аристотель былъ послѣдній. Поставьте между ними Сократа и у васъ полный комплектъ трезвыхъ до Бэкона. Трудно по такимъ исключеніямъ судить о массѣ.

— Наукой всегда занимались очень немногіе; на это отвлеченное поле выходятъ одни строгіе, исключительные умы; если вы въ массахъ не встрѣтите большой трезвости, то найдете вдохновенное опьяненіе, въ которомъ бездна сочувствія къ истинѣ. Массы не понимали Сенеки и Цицерона, а каково отозвались на призвъ двѣнадцати Апостоловъ?

— Знаете-ли, по моему, сколько ихъ не жаль, а надобно признаться, они сдѣлали совершеннѣйшее fiasco.

— Да, только окрестили полъ-вселенной.

— Въ четыре столѣтія борьбы, въ шесть столѣтій совершеннаго варварства, и послѣ этихъ усилій, про-

*) Августинъ употребилъ выраженіе: *prioritas dignitatis*.

должавшихся тысячѣ лѣтъ, міръ такъ окрестился, что отъ апостольскаго ученія ничего не осталось; изъ освобождающаго Евангелія сдѣлали притѣсняющее католичество, изъ религій любви и равенства — церковь крови и войны. Древній міръ, истощивъ всѣ свои жизненные силы, падалъ, Христіанство явилось на его одрѣ врачомъ и утѣшителемъ, но прилаживаясь къ больному, оно само заразилось и сдѣлалось римское, варварское, какое хотите, только не евангельское. Какова сила родовой жизни, массъ и обстоятельствъ! Люди думаютъ, что достаточно доказать истину какъ математическую теорему, чтобъ ее приняли; что достаточно самому вѣрить, чтобъ другіе повѣрили. Выходитъ совсѣмъ иное, одни говорятъ одно, а другіе слушаютъ ихъ и понимаютъ другое, оттого-что ихъ развитія разные. Что проповѣдывали первые Христіане и что поняла толпа? Толпа поняла все непонятное, все нелѣпое и мистическое; все ясное и простое было ей недоступно; толпа приняла все связующее совѣсть и ничего освобождающее чловѣка. Такъ въ послѣдствіи она поняла революцію только кровавой расправой, гильотиной, мстью; горькая историческая необходимость сдѣлалась торжественнымъ крикомъ; къ слову „братство“ приклеили слово „смерть“, Fraternité ou la mort! сдѣлалось какимъ-то la bourse ou la vie—террористовъ. Мы столько жили сами, столько видѣли, да столько за насъ жили наши предшественники, что наконецъ намъ непростительно увлекаться, думать, что достаточно возвѣститъ римскому міру Евангеліе, чтобъ сдѣлать изъ него демократическую и социальную республику, какъ это думали *красные* Апостолы; или что достаточно въ два столбца напечатать иллюстрированное изданіе des droits de l'homme, чтобъ чловѣкъ сдѣлался свободнымъ.

— Скажите, пожалуйста, что вамъ за охота выставить одну дурную сторону человѣческой природы?

— Вы начали разговоръ съ грознаго проклятiя людямъ, а теперь защищаете ихъ. Вы меня сейчасъ обвиняли въ оптимизмъ, я вамъ могу возвратить обвиненiе. У меня никакой нѣтъ системы, никакого интереса кромѣ истины и я высказываю ее, какъ она мнѣ кажется. Я не считаю нужнымъ изъ учтивости къ человѣчеству, выдумывать на него всякiя добродѣтели и доблести. Я ненавижу фразы, къ которымъ мы привыкли, какъ христiане къ символу вѣры; какъ бы онѣ ни были съ виду нравственны и хороши, онѣ связываютъ мысль, покоряютъ ее. Мы принимаемъ ихъ безъ повѣрки и идемъ дальше, оставляя за собой эти ложные маяки и сбиваемся съ дороги. Мы до того привыкаемъ къ нимъ, что теряемъ способность въ нихъ сомнѣваться, что совѣстимся касаться до такихъ святынь. Думали-ли вы когда-нибудь, что значать слова „человѣкъ родится свободнымъ“? Я вамъ ихъ переведу, это значить: человекъ родится звѣремъ — не больше. Возьмите табунъ дикихъ лошадей, совершенная свобода и равное участiе въ правахъ, полнѣйшiй коммунизмъ. За то развитiе невозможно. Рабство первый шагъ къ цивилизации. Для развитiя надобно, чтобъ однимъ было гораздо лучше, а другимъ гораздо хуже; тогда тѣ, которымъ лучше, могутъ идти впередъ на счетъ жизни остальныхъ. Природа для развитiя ничего не жалѣетъ. Человѣкъ—звѣрь съ необыкновенно хорошо устроеннымъ мозгомъ, тутъ его мощь. Онъ не чувствовалъ въ себѣ ни ловкости тигра, ни львиной силы, у него не было ни ихъ удивительныхъ мышцъ, ни такого развитiя внѣшнихъ чувствъ, но въ немъ нашлось бездна хитрости, множество смиренныхъ качествъ, которыя, съ естественнымъ побужде-

ніемъ жить стадами, поставили его на начальную ступень общественности. Не забывайте, что человѣкъ любитъ подчиняться, онъ ищетъ всегда къ чему-нибудь прислониться, за что-нибудь спрятаться, въ немъ нѣтъ гордой самобытности хищнаго звѣря. Онъ росъ въ повиновеніи семейномъ, племенномъ; чѣмъ сложнѣе и круче связывался узелъ общественной жизни, тѣмъ въ большее рабство впадали люди; они были подавлены религіей, которая тѣснила ихъ за ихъ трусость; старѣйшими, которые тѣснили ихъ, основываясь на привычкѣ. Ни одинъ звѣрь, кромѣ породъ „развращенныхъ человѣкомъ,“ какъ называлъ домашнихъ звѣрей Байронъ, не вынесъ бы этихъ человѣческихъ отношеній. Волкъ ѣстъ овцу, потому что голоденъ и потому что она слабѣе его, но рабства отъ нея не требуетъ, овца не покоряется ему, она протестуетъ крикомъ, бѣгомъ; человѣкъ вноситъ въ дико-независимый и самобытный міръ животныхъ—элементъ вѣрнопопданничества, элементъ Калибана, на немъ только и было возможно развитіе Пропера; и тутъ опять та-же безпощадная экономія природы, ея разсчитанность средствъ, которая, ежели гдѣ перейдетъ, то навѣрное не дойдетъ гдѣ-нибудь и вытянувши въ непомѣрную вышину переднія ноги и шею камелеопардала, губить его заднія ноги.

— Докторъ, да вы страшный аристократъ.

— Я натуралистъ, и знаете, что еще?... я не трусь, я не боюсь ни узнать истину, ни высказывать ее.

— Я не стану вамъ противурѣчить; впрочемъ въ теоріи всѣ говорятъ правду, на сколько ее понимаютъ, тутъ нѣтъ большого мужества.

— Вы думаете? Какой предразсудокъ!... помилуйте, на сто философовъ вы не найдете одного, который былъ

бы откровененъ; пусть бы ошибался, несъ бы нелѣпнцу, но только съ полной откровенностію. Одни обманываютъ другихъ изъ нравственныхъ цѣлей, другіе самихъ себя—для спокойствія. Много-ли вы найдете людей какъ Спиноза, какъ Юмъ, идущихъ смѣло до всякаго вывода? Всѣ эти великіе освободители ума чловѣческаго поступали такъ какъ Лютеръ и Кальвинъ и можетъ были правы съ практической точки зрѣнія; они освобождали себя и другихъ включительно до какого-нибудь рабства, до символическихъ книгъ, до текста Писанія и находили въ душѣ своей воздержность и умѣренность не идти далѣе. По большей части послѣдователи продолжаютъ строго идти въ путяхъ учителей; въ числѣ ихъ являются люди посмѣлѣй, которые догадываются, что дѣло то не совсѣмъ такъ, но молчатъ изъ благочестія, и лгутъ изъ уваженія къ предмету такъ, какъ лгутъ адвокаты, ежедневно говоря, что не смѣютъ сомнѣваться въ справедливости судей, зная очень хорошо, что они мошенники и не довѣряя имъ нисколько. Эта учтивость совершенно рабская, но мы къ ней привыкли. Знать истину не легко, но все-же легче нежели высказывать ее, когда она не совпадаетъ съ общимъ мнѣніемъ. Сколько кокетства, сколько риторики, позолоты, околичнословія употребляли лучшіе умы, Бэконъ, Гегель, чтобъ не говорить просто, боясь тупаго негодованія или пошлаго свиста. Оттого до такой степени трудно понимать науку, надобно отгадывать ложно высказанную истину. Теперь разсудите: у многихъ ли есть досугъ и охота доработываться до внутренней мысли и копаться въ тукѣ, которымъ наши учителя прикрываютъ свое посылное пониманье — отрывая фразы и крашенные стекла ихъ науки.

— Это опять приближается къ вашей аристократи-

ческой мысли, что истина для нѣсколькихъ, а ложь для всѣхъ, что...

— Позвольте, вы во второй разъ назвали меня аристократомъ, я при этомъ вспоминаю Робеспьеровское выраженіе: *l'athéisme est aristocrate*. Еслибъ Робеспьеръ хотѣлъ только сказать, что атеизмъ возможенъ для немногихъ, такъ точно какъ дифференціальныя исчисленія, какъ физика, онъ былъ бы правъ; но онъ, сказавши, атеизмъ аристократиченъ, заключилъ, что атеизмъ ложь. Для меня это возмутительная демагогія, это покореніе разума нелѣпому большинству голосовъ. Неумолимый логикъ революціи сѣззался и провозглашавшая *демократическую* неправду, народной религіи не возстановилъ, а указалъ предѣлы своихъ силъ, указалъ межу, за которой и онъ не революціонеръ, а указать это во время переворота и движенія значитъ напомнить, что время лица миновало..... И въ самомъ дѣлѣ, послѣ *Fête de l'Etre Suprême*, Робеспьеръ становится мраченъ, задумчивъ, безпокоенъ, его томятъ тоска, нѣтъ прежней вѣры, нѣтъ того смѣлаго шага, которымъ онъ шелъ впередъ, которымъ ступалъ въ кровь и кровь его не марала; тогда онъ не зналъ своихъ границъ, будущее было безпредѣльно; теперь онъ увидѣлъ заборъ, онъ почувствовалъ, что ему приходится быть консерваторомъ, и голова атеиста Клоца, пожертвованная предразсудку, лежала въ ногахъ его какъ улика, черезъ нее ему нельзя было перешагнуть. Мы старше нашихъ старшихъ братій; не будемъ дѣтьми, не будемъ бояться ни были, ни логики, не станемъ отказываться отъ послѣдствій, они не въ нашей волѣ; не будемъ выдумывать Бога—если его нѣтъ, отъ этого его все-же не будетъ. Я сказалъ, что истина принадлежитъ меньшинству, развѣ вы этого не знали? отчего вамъ это пока-

залось странно? оттого, что я не прибавилъ къ этому никакой риторической фразы. Помилюйте, да вѣдь я не отвѣчаю ни за пользу, ни за вредъ этого факта, я говорю только о его существованіи. Я вижу въ настоящемъ и прошедшемъ знаніе, истину, нравственную силу, стремленіе къ независимости, любовь къ изящному — въ небольшой кучкѣ людей, потерянныхъ въ средѣ не симпатизирующей имъ. Съ другой стороны я вижу тугое развитіе остальныхъ слоевъ общества, узкія понятія, основанныя на преданіяхъ, ограниченныя потребности, небольшія стремленія къ добру, небольшія поползновенія къ злу.

— Да сверхъ того необычайную вѣрность въ стремленіяхъ.

— Вы правы, общія симпатіи массъ почти всегда вѣрны, какъ инстинктъ животныхъ вѣренъ, и знаете отчего? оттого, что жалкая самобытность отдѣльныхъ личностей стирается въ общемъ; масса хороша только какъ безличная и развитіе самобытной личности составляетъ всю прелесть, до которой дорабатывается съ другой стороны все свободное, талантливое, сильное.

— Да... до тѣхъ поръ, пока вообще будетъ толпа, но замѣьте, что прошедшее и настоящее не даютъ вамъ причины заключать, что въ будущемъ не измѣнятся эти отношенія; все идетъ къ тому, чтобъ разрушить дряхлыя основы общественности. Вы ясно поняли и рѣзко представляете раздоръ, двойство въ жизни, и успокаиваетесь на этомъ; вы какъ докладчикъ уголовной палаты свидѣствуете о преступленіи и стараетесь его доказать, предоставляя судъ—палатѣ. Другіе идутъ далѣе, они хотятъ его снять; всѣ сильныя натуры меньшинства, о которомъ вы говорите, постоянно стремились наполнить пропасть ихъ отдѣлившую отъ

массъ, имъ было противно думать, что это неизбежный, роковой фактъ, у нихъ въ груди слишкомъ много было любви, чтобъ остаться въ своей исключительной выси. Они лучше хотѣли, съ опрометчивостію самоотверженнаго порыва, погибнуть въ пропасти ихъ отдѣляющей отъ народа, нежели прогуливаться по ихъ краямъ, какъ вы. И эта связь ихъ съ массами не капризь, не риторика, а глубокое чувство сродства, сознание того, что они сами вышли изъ массъ, что безъ этого хора не было бы и ихъ, что они представляютъ ея стремленія, что они достигли того, до чего она достигаетъ.

— Безъ сомнѣнія, всякій распустившійся талантъ, какъ цвѣтокъ тысячью нитями связанъ съ растеніемъ и никогда не былъ бы безъ стебля, а все-таки онъ не стебель, не листъ, а цвѣтокъ, жизнь его, соединенная съ прочими частями, все же иная. Одно холодное утро — и цвѣтокъ гибнетъ, а стебель остается; въ цвѣткѣ, если хотите, цѣль растенія и край его жизни, но все же лепестки вѣнчика, не цѣлое растеніе. Всякая эпоха выплескиваетъ, такъ сказать, дальнѣйшей волной полнѣйшія, лучшія организаціи, если только онѣ нашли средства развиться; онѣ не только выходятъ изъ толпы, но и *вышли* изъ нея. Возьмите Гёте, онъ представляетъ усиленную, сосредоточенную, очищенную, *сублимированную* сущность Германіи, онъ изъ нея вышелъ, онъ не былъ бы безъ всей исторіи своего народа, но онъ такъ удалился отъ своихъ соотечественниковъ, въ ту сферу, въ которую поднялся, что они не ясно понимали его и что онъ наконецъ плохо ихъ понималъ; въ немъ собралось все волновавшее душу протестантскаго міра и распахнулось такъ, что онъ носился надъ тогдашнимъ міромъ, какъ духъ божій надъ водами. Внизу хаосъ, не-

доразумѣніе, схоластика, домогательство понять; въ немъ свѣтлое сознаніе и покойная мысль, далеко опередившая современниковъ.

— Гёте представляетъ во всемъ блескъ именно вашу мысль; онъ отчуждается, онъ доволенъ своимъ величіемъ; и въ этомъ отношеніи онъ исключеніе. Таковы-ли были Шиллеръ и Фихте, Руссо и Байронъ и всѣ эти люди, мучившіеся изъ того, чтобъ привести къ одному уровню съ собою массу, толпу. Для меня страданія этихъ людей, безвыходныя, жгучія, провожавшія ихъ иногда до могилы, иногда до плахи или до дома умишенныя—лучше нежели Гётевской покой.

— Они много страдали, но не думайте, что они были безъ утѣшеній. У нихъ было много любви; и еще больше вѣры. Они вѣрили въ человечество такъ, какъ его придумали, вѣрили въ свой разумъ, вѣрили въ будущее, упиваясь своимъ отчаяніемъ, и эта вѣра врачевала одушевленіе ихъ.

— Зачѣмъ-же въ васъ нѣтъ вѣры?

— Отвѣтъ на этотъ вопросъ сдѣланъ давно Байрономъ; онъ отвѣчалъ дамѣ, которая его обращала въ христіанскую вѣру: „какъ-же я сдѣлаю, чтобъ начать вѣрить?“ Въ наше время можно или вѣрить, не думая, или думать, не вѣривши. Вамъ кажется, что спокойное повидимому сомнѣніе легко; а почему вы знаете, сколько бы человѣкъ иногда готовъ былъ дать въ минуту боли, слабости, изнеможенія за одно вѣрованіе? Откуда его возьмешь? Вы говорите: лучше страдать, и совѣтуете вѣровать, но развѣ религіозные люди страдаютъ въ самомъ дѣлѣ? Я вамъ расскажу случай, который былъ со мною въ Германіи. Призываютъ меня разъ въ гостинницу къ пріѣзжей дамѣ, у которой занемогли дѣти; я прихожу; дѣти въ страшной скарлатинѣ; меди-

цина нынче на столько сдѣлала успѣховъ, что мы поняли, что мы не знаемъ почти ни одной болѣзни и почти ни одного леченія, это большой шагъ впередъ. Вижу я, дѣло очень плохо, прописалъ дѣтямъ для успокоенія матери, всякія певинныя вещи, далъ разныя приказанія очень хлопотливыя, чтобъ ее занять, а самъ сталъ выжидать, какія силы найдетъ организмъ для противудѣйствія болѣзни. Старшій мальчикъ поприутихъ. „Онъ кажется теперь спокойно заснулъ,“ сказала мнѣ мать; я ей показалъ пальцемъ, чтобъ она его не разбудила; ребенокъ отходилъ. Для меня было очевидно, что болѣзнь совершенно одинаково пойдетъ у его сестры; мнѣ казалось, что ее спасти невозможно. Мать, женщина очень нервная, была въ безуміи и непрерывно молилась; дѣвочка умерла. Первые дни человѣческая натура взяла свое, мать пролежала въ горячкѣ, была сама на краю гроба, но мало по малу силы воротились, она стала покойнѣе, толковала мнѣ все о Шведенборгѣ... Убѣжая, она взяла меня за руку и сказала съ видомъ торжественнаго спокойствія: „Тяжело мнѣ было..... какое страшное испытаніе!... но я ихъ хорошо помѣстила, они возвратились чистыми, ни одной пылинки, ни одного тлѣтворнаго дыханія не коснулось ихъ... имъ будетъ хорошо! Я для ихъ блага должна покориться!“

— Какая разница между этимъ фанатизмомъ и вѣрой человѣка въ людей, въ возможность лучшаго устройства, свободы! Это сознаніе, мысль, убѣжденіе, а не суевѣріе.

— Да, то есть, не грубая религія *des Jenseits*, которая отдастъ дѣтей въ пансіонъ на томъ свѣтѣ, а религія *des Diesseits*, религія науки, всеобщаго, родового, трансцендентальнаго, разума, идеализма. Объясните мнѣ пожалуйста, отчего вѣрить въ Бога смѣшно, а вѣрить въ

человѣчество не смѣшно; вѣрить въ царство небесное—глупо, а вѣрить въ земныя утопіи—умно? Отбросивши положительную религію, мы остались при всѣхъ религіозныхъ привычкахъ, и, утративъ рай на небѣ, вѣримъ въ пришествіе рая земнаго и хвастаемся этимъ. Вѣра въ будущее за гробомъ дала столько силы мученикамъ первыхъ вѣковъ; во вѣдь такая-же вѣра поддерживала и мучениковъ революціи; тѣ и другіе гордо и весело несли голову на плаху, потому что у нихъ была непреклонная вѣра въ успѣхъ ихъ идей, въ торжество христіанства, въ торжество республики. Тѣ и другіе ошиблись — ни мученики не воскресли, ни республика не водворилась. Мы пришли послѣ нихъ и увидѣли это, Я не отрицаю ни величіе, ни пользу вѣры; это великое начало движенія, развитія, страсти въ исторіи, но вѣра въ душѣ людской или частной фактъ или эпидемія. Натянуть ее нельзя, особенно тому, кто допустилъ разборъ и недовѣрчивое сомнѣніе, кто пыталъ жизнь и поддерживая дыханіе, съ любовью останавливался на всякихъ трупоразъятіяхъ, кто заглянулъ, можетъ быть больше нежели нужно, за кулисы; дѣло сдѣлано, повѣрить вновь нельзя. Можно-ли напримѣръ меня увѣрить, что послѣ смерти духъ человѣка живъ, когда такъ легко понять нелѣпость этого раздѣленія тѣла и духа; можно-ли меня увѣрить, что завтра или черезъ годъ водворится социальное братство, когда я вижу, что народы понимаютъ братство, какъ Канъ и Авель?

— Вамъ, докторъ, остается скромное *a parte* въ этой драмѣ, бесплодная критика и праздность до скончанія дней.

— Быть можетъ; очень можетъ быть. Хотя я не называю праздною внутреннюю работу, но тѣмъ не менѣе думаю, что вы вѣрно смотрите на мою судьбу.

Помните-ли вы римскихъ философовъ въ первые вѣка христіанства, ихъ положеніе имѣетъ много сходнаго съ нашимъ; у нихъ ускользнуло настоящее и будущее, съ прошедшимъ они были во враждѣ. Увѣренны въ томъ, что они ясно и лучше понимаютъ истину, они скорбно смотрѣли на разрушающійся міръ и на міръ водворяемый, они чувствовали себя правѣ обоихъ и слабѣ обоихъ. Кружокъ ихъ становился тѣснѣе и тѣснѣе, съ язычествомъ они ничего не имѣли общаго кромѣ привычки, образа жизни. Натяжки Юліана Отступника и его реставраціи были также смѣшны, какъ реставрація Людовика XVIII и Карла X; съ другой стороны, христіанская теодицея оскорбляла ихъ свѣтскую мудрость, они не могли принять ея языкъ, земли исчезала подъ ихъ ногами, участіе къ нимъ стыло; но они умѣли величаво и гордо дожидаться, пока разгромъ захватитъ кого-нибудь изъ нихъ — умѣли умирать, не накупаясь на смерть и безъ притязанія спасти себя или міръ, они гибли хладнокровно, безучастно къ себѣ; они умѣли, пощаженные смертью, завертываться въ свою тогу и молча досматривать, что станетъ съ Римомъ, съ людьми. Одно благо, остававшееся этимъ иностранцамъ своего времени, была спокойная совѣсть, утѣшительное сознаніе, что они не испугались истины, что они, понявъ ее, нашли довольно силы, чтобъ вынести ее, чтобъ остаться вѣрными ей.

— И только.

— Будто этого не довольно? Впрочемъ нѣтъ, я забылъ, у нихъ было еще одно благо—личныя отношенія, увѣренность въ томъ, что есть люди также понимающіе, сочувствующіе съ ними, увѣренность въ глубокой связи, которая независима ни отъ какого событія; если

при этомъ немного солнца, море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климатъ... чего-же больше?

— По несчастію этого спокойнаго уголка въ теплѣ и тишинѣ, вы не найдете теперь во всей Европѣ.

— Я поѣду въ Америку.

— Тамъ очень скучно.

— Это правда...

Парижъ, 1 Марта 1849 г.

VI.

ЭПИЛОГЪ 1849.

Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer—unerhært.

(GÆTNE) *Braut v. Corinth.*

— Проклятіе тебѣ, годъ крови и безумія, годъ торжествующей пошлости, звѣрства, тупоумья. Проклятіе тебѣ!

Отъ перваго до послѣдняго дня, ты былъ несчастіемъ, ни одной свѣтлой минуты, ни одного покойнаго часа, нигдѣ, не было въ тебѣ. Отъ возстановленной гильотины въ Парижѣ, отъ буржскаго процесса до кефалонійскихъ висѣлицъ, поставленныхъ англичанами для дѣтей; отъ пуль, которыми растрѣливалъ баденцевъ

братъ короля прусскаго, отъ Рима, падшаго передъ народомъ, измѣнившимъ человѣчеству, до Венгріи, проданной врагу полководцемъ, измѣнившимъ отечеству — все въ тебѣ преступно, кроваво, гадко, все заклѣмено печатью отверженія. И это только первая ступень, начало, введеніе, слѣдующіе годы будутъ и отвратительнѣе, и свирѣпѣе, и пошлѣе...

До какого времени слезъ и отчаянія мы дожили!.. Голова вдетъ кругомъ, грудь ломится, страшно знать, что дѣлается и страшно не знать, что еще за неистовства случились. Лихорадочная злоба подстрекаетъ на ненависть и презрѣніе; униженіе разѣдаетъ грудь ... и хочется бѣжать, уйти ... отдохнуть, уничтожиться безслѣдно, безсознательно.

Послѣдняя надежда, которая согрѣвала, поддерживала, надежда на месть — на месть безумную, дикую, ненужную, но которая бы доказала, что въ груди у современнаго человѣка есть сердце—исчезаетъ; душа остается безъ зеленого листа, все облетѣло...и все затихло... мгла и холодъ распространяются...только порой топоръ палача стукнетъ падая; да пуля, тоже палача, просвищетъ, отыскивая благородную грудь юноши, разстрѣливаемого за то, что онъ вѣрилъ въ человѣчество.

И *они* не будутъ отомщены?....

Развѣ у нихъ не было друга, брата? Развѣ нѣтъ людей, дѣлящихъ ихъ вѣру? — Все было, только мести не будетъ!

Вмѣсто Маріи изъ ихъ праха родилась цѣлая литература застольныхъ рѣчей, демагогическихъ разглагольствованій — мое въ томъ числѣ—и прозаическихъ стиховъ.

Они этого не знаютъ. Какое счастье что ихъ нѣтъ и что нѣтъ жизни за гробомъ. Вѣдь *они* вѣрили въ лю-

дей, вѣрили, что есть за что умереть и умерли прекрасно, свито, искупая разслабленное поколѣніе кастратовъ. Мы едва знаемъ ихъ имена — убійство Роберта Блума ужаснуло, удивило, потомъ мы обдержались.....

Я красиѣю за наше поколѣніе, мы какіе-то бездушные риторы, у насъ кровь холодна, а горячи одни чернилы; у насъ мысль привыкла къ безслѣдному раздраженію, а языкъ къ страстнымъ словамъ, не имѣющимъ никакого вліянія на дѣло. Мы размышляемъ тамъ, гдѣ надобно разить, обдумываемъ тамъ, гдѣ надобно увлечься, мы отвратительно благоразумны, на все смотримъ съ высока, мы все переносимъ, мы занимаемся однимъ *общимъ, идеей, человечествомъ*. Мы заморили наши души въ отвлеченныхъ и общихъ сферахъ, такъ какъ монахи обезсиливали ее въ мірѣ молитвы и созерцанія. Мы потеряли вкусъ къ дѣйствительности, вышли изъ нея вверхъ, такъ какъ мѣщане вышли внизъ.

А вы что дѣлали, революціонеры испугавшіеся революціи? Политическіе шалуны, паяцы свободы, вы играли въ республику, въ терроръ, въ правительство, вы дурачились въ клубахъ, болтали въ камерахъ, одѣвались шутами съ пистолетами и саблями, цѣломудренно радовались, что заявленные злодѣи, удивляясь что живы, хвалили ваше милосердіе. Вы ничего не предупредили, ничего не предвидѣли. А тѣ, лучшіе изъ васъ, заплатили головой за ваше безуміе. Учитесь теперь у вашихъ враговъ, которые васъ побѣдили, потому что они умиѣ васъ. Посмотрите, боятся-ли они реакціи, боятся-ли они идти слишкомъ далеко, замарать себѣ кровью руки? Они по локоть, по горло въ крови. Погодите немного, они васъ всѣхъ переказнятъ, вы не далеко ушли. Да что, переказнятъ — они васъ пересѣкутъ всѣхъ.

Меня просто ужасаетъ современный человѣкъ. Какая безчувственность и ограниченность, какое отсутствіе страсти, негодованія, какая слабость мысли, какъ скоро стынетъ въ немъ порывъ, какъ рано изношено въ немъ увлеченіе, энергія, вѣра въ собственное дѣло!—и гдѣ? чѣмъ? когда эти люди истратили свою жизнь, когда они успѣли потерять силы? Они растлились въ школѣ, гдѣ ихъ одурачили; они истаскались въ пивныхъ лавкахъ, въ студентской одичалости; они ослабли отъ маленькаго, грязнаго разврата; родившіеся, вырощенные въ больничномъ воздухѣ, они мало принесли силъ и завяли потомъ, прежде нежели разцвѣли; они истощились не страстями, а страстными мечтами. И тутъ, какъ всегда, литераторы, идеалисты, теоретики, они мыслію постигли развратъ, они прочитали страсть. Право, иной разъ становится досадно, что человѣкъ не можетъ перечислиться въ другой родъ звѣрей—разумѣется, быть осломъ, лягушкой, собакой, пріятнѣе, честиѣе и благороднѣе, нежели человѣкомъ XIX вѣка.

Винить не кого, это не ихъ, не наша вина, это несчастіе рожденія тогда, когда цѣлый міръ умираетъ?

Одно утѣшеніе и остается, весьма вѣроятно, что будущія поколѣнія выродятся еще больше, еще больше обмелѣютъ, обнищаютъ умомъ и сердцемъ, имъ уже и наши дѣла будутъ недоступны и наши мысли будутъ непонятны. Народы, какъ царскіе дома, передъ паденіемъ тупѣютъ, ихъ пониманіе помрачается, они выживаютъ изъ ума—какъ Меровинги, зачинавшіеся въ развратѣ и кровосмѣшеніяхъ и умиравшіе въ какомъ-то чаду, ни разу не пришедши въ себя; какъ аристократія, выродившаяся до болѣзненныхъ кретинотъ, измельчавшая Европа изживаетъ свою бѣдную жизнь въ сумеркахъ тупоумія, въ вялыхъ чувствахъ безъ убѣжденій,

безъ изящныхъ искусствъ, безъ мощной поэзіи. Слабыя, хилыя, глупыя поколѣнія протянутся какъ-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ покрываломъ и предастъ забвенію — лѣтописей.

А тамъ ?

А тамъ настанетъ весна, молодая жизнь закипитъ на ихъ гробовой доскѣ, варварство младенчества, полное неустроенныхъ, но здоровыхъ силъ, замѣнитъ старческое варварство; дикая, свѣжая мощь распахнется въ молодой груди юныхъ народовъ и начнется новый кругъ событій и третій томъ всеобщей исторіи.

Основной тонъ его мы можемъ понять теперь. Онъ будетъ принадлежать социальнымъ идеямъ. Соціализмъ разовьется во всѣхъ фазахъ своихъ до крайнихъ послѣдствій, до нелѣпостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди революціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смертная борьба, въ которой социализмъ займетъ мѣсто нынѣшняго консерватизма и будетъ побѣжденъ грядущею, неизвѣстною намъ революціей.....

Вѣчная игра жизни, безжалостная какъ смерть, неотразимая какъ рожденіе, *corsi e ricorsi* исторіи, *regre-
ssu in mobile* маятника !

Къ концу XVIII вѣка европейскій Сизифъ докатилъ тяжелый камень свой, составленный изъ развалинъ и осколковъ трехъ разнородныхъ міровъ, до вершины, камень качнулся въ сторону, въ другую, казалось хотѣлъ установиться — не тутъ-то было, онъ перекатился, и сталъ тихо, незамѣтно склоняться — быть можетъ, онъ запнулся бы за что-нибудь, остановился бы съ помощію такихъ тормазовъ и пороговъ, какъ представительное правленіе, конституціонная монархія, потомъ вывѣтри-

вался бы вѣка цѣлме, принимая всякую перемѣну за совершенствованіе и всякую перестановку за развитіе— такъ какъ этотъ европейскій Китай, называемый Англіей, такъ какъ это допотопное государство, стоящее между допотопныхъ горъ, называемое Швейцаріей. Но для этого надобно было, чтобъ вѣтеръ не вѣялъ, чтобъ не было ни толчка, ни потрясенія; но вѣтеръ повѣялъ и толчекъ пришелъ. Февральская буря потрясла всю наслѣдственно почву. Буря іюньскихъ дней окончательно сдвинула весь римско-феодальный наплывъ и онъ понесся подъ гору съ усиливающейся быстротою, ломая по дорогѣ все встрѣчное и ломаясь самъ въ осколки... А бѣдный Сизифъ смотритъ и не вѣритъ своимъ глазамъ, лице его осунулось, потъ устали смѣшался съ потомъ ужаса, слезы отчаянія, стыда, безсилія, досады, остановились на глазахъ; онъ такъ вѣрилъ въ совершенствованіе, въ человѣчество, онъ такъ философски, такъ умно и учено уповалъ на современнаго человѣка. И все таки обманулся.

Французская революція и германская наука,—геркуле-совскіе столбы міра европейскаго. За ними по другую сторону открывается океанъ, виднѣется новый свѣтъ, что-то другое, а не исправленное изданіе старой Европы. Они сулили міру освобожденіе отъ церковнаго насилія, отъ гражданскаго рабства, отъ нравственнаго авторитета. Но, провозгласивъ искренно свободу мысли и свободу жизни, люди переворота не сообразили всю несовмѣстность ея съ католическимъ устройствомъ Европы. Отречься отъ него они еще не могли. Чтобъ идти впередъ, имъ пришлось свернуть свое знамя, измѣнить ему, имъ пришлось дѣлать уступки.

Руссо и Гегель—христіане.

Робеспьеръ и С. Жюсть — монархисты.

Германская наука—спекулятивная религія; республика Конвента—пентархическій абсолютизмъ и вмѣстѣ съ тѣмъ церковь. Вмѣсто символа вѣры явились гражданскіе догматы. Собраніе и правительство священнодѣйствовало мистерію народнаго освобожденія. Законодатель едѣлся жрецомъ, прорицателемъ и возвѣщалъ, добродушно и безъ ироніи, неизмѣнныя, непогрѣшительныя приговоры во имя самодержавія народнаго.

Народъ, какъ разумѣется, оставался по прежнему „міряннымъ“, *управляемымъ*; для него ничего не измѣнилось и онъ присутствовалъ при политическихъ литургіяхъ, также ничего не понимая, какъ при религіозныхъ.

Но страшное имя *Свободы* замѣшалось въ мірѣ привычки, обряда и авторитета. Оно запало въ сердца; оно раздалось въ ушахъ и не могло оставаться страдательнымъ; оно бродило, развѣдало основы общественнаго зданія, лиха бѣда была привиться въ одной точкѣ, разложить одну каплю старой крови. Съ этимъ лдомъ въ жилахъ, нельзя спасти вѣтхое тѣло. Сознаніе близкой опасности сильно выразилось послѣ безумной эпохи императорства; всѣ глубокіе умы того времени ждали катаклизмъ, боялись его. Легитимистъ Шатобріанъ и Ламене, тогда еще аббатъ, указывали его. Кровавый террористъ католицизма Местръ, боясь его, подавалъ одну руку папѣ, другую палачу. Гегель подвязывалъ паруса своей философіи, такъ гордо и свободно плывшей по морю логики, боясь далеко уплыть отъ береговъ и быть захваченному шкваломъ. Нибуръ, томимый тѣмъ же пророчествомъ, умеръ, увидя 1830 г. и июльскую революцію. Цѣлая школа образовалась въ Германіи, мечтавшая остановить будущее прошедшимъ; труномъ отца припереть дверь новорожденному. — *Vanitas vanitatum!*

Два исполина пришли наконецъ торжественно заключить историческую фазу.

Старческая фигура Гёте, не дѣлящая интересовъ кипящихъ вокругъ, отчужденная отъ среды, стоитъ спокойно, замыкая два прошедшихъ у входа въ нашу эпоху. Онъ тяготеетъ надъ современниками и примиряетъ съ былымъ. Старецъ былъ еще живъ, когда явился и исчезъ единственный поэтъ XIX столѣтія. Поэтъ сомнѣнія и негодованія, духовникъ, палачъ и жертва вмѣстѣ; онъ на-скоро прочелъ скептическую отходную дряхлому міру и умеръ 37 лѣтъ въ возрождавшейся Греціи, куда бѣжалъ, чтобъ только не видѣть „береговъ своей родины.“

За нимъ замолкло все. И никто не обратилъ вниманія на бесплодность вѣка, на совершенное отсутствіе творчества. Сначала онъ еще былъ освѣщенъ заревою XVIII столѣтія, онъ блисталъ его славой, гордился его людьми. По мѣрѣ какъ эти звѣзды другого неба заходили, сумерки и мгла падали на все; повсюду безсиліе, посредственность, мелкость — и едва замѣтная полоска на востокѣ, намекающая на дальнее утро, передъ наступленіемъ котораго разразится не одна туча.

Явились пророки наконецъ, возвѣщавшіе близкое несчастіе и дальнее искупленіе. На нихъ смотрѣли какъ на юродивыхъ, ихъ новый языкъ возмущалъ, ихъ слова принимались за бредъ. Толпа не хочетъ, чтобъ ее будили, она проситъ, чтобъ ее оставили въ покоѣ съ ея жалкимъ бытомъ, съ ея пошлыми привычками; она хочетъ, какъ Фридерикъ II, умереть, не мѣняя грязнаго бѣлья. Ничто въ мірѣ не могло такъ удовлетворить этому скромному желанію, какъ мѣщанская монархія.

Но разложеніе шло своимъ чередомъ, „подземный кротъ“ работалъ неутомимо. Всѣ власти, всѣ учрежде-

нія были разѣдаемы скрытымъ ракомъ; 24 Февраля 1848 г. болѣзнь сдѣлалась острой изъ хронической. Французская республика была возвѣщена міру трубою послѣдняго суда. Немошь, хилость стараго общественнаго устройства становились очевидны, все стало распускаться, развязываться все перемѣшалось и именно держится на это путаницѣ. Революціонеры сдѣлались консерваторами, консерваторы анархистами; республика убила послѣднія свободныя учрежденія, уцѣлѣвшія при короляхъ; родина Вольтера бросилась въ ханжество. Всѣ побѣждены, все побѣждено, а побѣдителя нѣтъ...

Когда многіе надѣялись, мы говорили имъ, это не выздоровленіе, это румянецъ чахотки. Смѣлые мысля, дерзкіе на языкъ, мы не побоялись ни изслѣдовать зло ни высказать, его, а теперь висъ упадетъ холодный потъ на лбу. Я первый блѣднѣю, трушу передъ темной ночью, которая наступаетъ; дрожь пробѣгаетъ по кожѣ при мысли, что наши предсказанія сбываются — такъ скоро, что ихъ совершеніе—такъ неотразимо...

Прощай отходящій міръ, прощай Европа!

— А мы что сдѣлаемъ изъ себя?

...Послѣднія звѣнья, связующія два міра, не принадлежащія ни къ тому, ни къ другому, люди, отвязавшіеся отъ рода, разлученные съ средою, покинутые на себя; люди не нужные, потому что не можемъ дѣлить ни дряхлости однихъ, ни младенчества другихъ, намъ нѣту мѣста ни за однимъ столомъ. Люди отрицанія для прошедшаго, люди отвлеченныхъ построеній въ будущемъ, мы не имѣемъ достоянія ни въ томъ, ни въ другомъ и въ этомъ равно свидѣтельство нашей силы и ея ненужности.

Идти бы прочь..... Своею жизнью начать освобождение, протестъ, новый бытъ... Какъ будто мы въ самомъ дѣлѣ такъ свободны отъ стараго? Развѣ наши добродѣтели и наши пороки, наши страсти и главное наши привычки не принадлежатъ этому міру, съ которымъ мы развелись только въ убѣжденіяхъ.

Что-же мы слѣлаемъ въ дѣвственныхъ лѣсахъ? мы, которые не можемъ провести утра, не прочитавъ пяти журналовъ, мы, у которыхъ только и осталось поэзіи въ боѣ съ старымъ міромъ, что..... Сознаемся откровенно, мы плохіе Робинзоны.

Развѣ ушедшіе въ Америку не снесли съ собою туда старую Англію?

И развѣ вдали мы не будемъ слышать стоны, развѣ можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши — преднамѣренно не знать, упорно молчать, т. е. признаться побѣжденнымъ, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной рѣчью: пока топоръ не прошелъ между ихъ головой и туловищемъ, пока веревка имъ не стянула шею.

И такъ пусть раздается наше слово!

...А кому говорить?..... о чемъ? — я право не знаю только это сильнѣе меня...

Парижъ, 21 декабря 1849 г.

VII.

OMNIA MEA MECUM PORTO

Ce n'est pas Catilina, qui est à vos portes,—c'est la mort !

PROUDHON. (*Voix du Peuple*).

Komm her, wir setzen uns zu Tisch!
Wen sollte solche Narrheit rühren?
Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch
Wir wollen sie nicht balsamiren.

GOETHE.

Видимая, старая, официальная Европа не спитъ — она умираетъ !

Послѣдніе слабые и болѣзненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтобъ удержать на нѣсколько времени распадающіяся части тѣла, которыя стремятся къ новымъ сочетаніямъ, къ развитію новыхъ формъ.

По-видимому еще многое стоитъ прочно, дѣла идутъ своимъ чередомъ, судьи судятъ, церкви открыты, биржи кипятъ дѣятельностію, войска маневрируютъ, дворцы блестятъ огнями—но духъ жизни отлетѣлъ, на сердцѣ у всѣхъ неспокойно, смерть за плечами и въ сущности ничего не идетъ. Въ сущности нѣтъ ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда — все превратилось въ полицію. Полиція хранитъ, спасаетъ Европу, подъ ея благословеніемъ и кровомъ стоятъ троны и алтари, это гальваническая струя, которою насильственно поддерживаютъ жизнь, чтобъ выиграть настоящую минуту. Но разѣдающій огонь болѣзни не потушенъ, его вогнали толь-

ко внутрь, онъ скрытъ. Всѣ эти почернѣлыя стѣны и твердыни, которыя кажется своей старостію приобрѣли всегдашность скалъ — ненадежны; онѣ похожи на пни, долго остающіеся послѣ порубки лѣса, онѣ хранятъ видъ упорной несокрушимости до тѣхъ поръ, пока ихъ не толкнетъ кто-нибудь ногой.

Многіе не видятъ смерти только потому, что они подъ смертію воображаютъ какое-то уничтоженіе. Смерть не уничтожаетъ составныхъ частей, а развязываетъ ихъ отъ *прежнего* единства, даетъ имъ волю существовать при иныхъ условіяхъ. Разумѣется, цѣлая часть свѣта не можетъ сгнуться съ лица земли; она останется, такъ какъ Римъ остался въ среднихъ вѣкахъ; она разойдется, распустится въ грядущей Европѣ и потеряетъ свой теперешній характеръ, подчиняясь новому и съ тѣмъ вѣстѣ вліяя на него. Наслѣдство, оставленное отцомъ сыну, въ фізіологическомъ и гражданскомъ смыслѣ продолжаетъ жизнь отца за гробомъ; тѣмъ не менѣе между ними *смерть* — такъ какъ между Римомъ Юлія Цезаря и Римомъ Григорія VII*).

Смерть современныхъ формъ гражданственности скорѣе должна радовать, нежели тяготить душу. Но страшно то, что отходящій міръ оставляетъ не наслѣдника, а беременную вдову. Между смертію одного и рожденіемъ другого утечетъ много воды, пройдетъ длинная ночь хаоса и запустѣнія.

Мы не доживемъ до того, до чего дожилъ Симеонъ Богопріимецъ. Какъ ни тяжела эта истина, надобно съ

*) Съ другой стороны, между Европой Григорія VII, Мартина Лютера, Конвента, Наполеона, не смерть, а развитіе, видоизмѣненіе, ростъ; вотъ отчего всѣ попытки античныхъ реакцій (Бранкалоне, Ріензи) были невозможны, а монархическія реставраціи въ новой Европѣ такъ легки.

ней примириться, сладить, потому что измѣнить ее невозможно.

Мы довольно долго изучали хилый организм Европы, во всѣхъ слояхъ и вездѣ находили вблизи персть смерти и только изрѣдка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надѣялись, вѣрили, старались вѣрить. Предсмертная борьба такъ быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала какъ послѣднія свѣчи въ окнахъ, прежде разсвѣта. Мы были поражены, испуганы. Сложивъ руки, мы смотрѣли на страшные успѣхи смерти. Что мы видѣли съ февральской революціи?... Довольно сказать, мы были молоды два года тому назадъ и стары теперь.

Чѣмъ ближе мы подходили къ партіямъ и людямъ, тѣмъ пустыня около насъ дѣлалась больше, тѣмъ больше становились мы одни. Какъ было дѣлать безуміе однихъ, бездушіе другихъ? Тутъ лѣнь, апатія, тамъ ложь и ограниченность — силы, мощи нигдѣ; развѣ у нѣсколькихъ мучениковъ, умершихъ за людей, не принесъ имъ никакой пользы; у нѣсколькихъ страдальцевъ, распинающихся за толпу, готовыхъ отдать кровь, голову и принужденныхъ беречь то и другое — видя хоръ, которому не нужны эти жертвы.

Потерянные безъ дѣла въ этомъ мірѣ, который рушился со всѣхъ сторонъ, оглушенные бессмысленными спорами, ежедневными оскорбленіями, — мы предавались горю и отчаянію, намъ хотѣлось одного — сложить гдѣ-нибудь усталую голову, не справляясь о, томъ есть ли сновидѣніе или нѣтъ.

Но жизнь взяла свое, и вмѣсто отчаянія, вмѣсто желанія гибели, я теперь хочу жить; я не хочу больше признавать себя въ такой зависимости отъ міра, не

хочу оставаться на всю жизнь у изголовья умирающаго вѣчнымъ плакальщикомъ.

Неужели въ насъ самихъ совершенно ничего нѣтъ и мы только и были чѣмъ-нибудь — этимъ міромъ, въ немъ — такъ что теперь, когда онъ, попорченный совѣмъ иными законами, гибнетъ, намъ нѣтъ другого занятія, какъ печально сидѣть на его развалинахъ; другого значенія, какъ служить ему надгробнымъ памятникомъ?

Довольно грустить. Мы отдали міру, что ему принадлежало, мы не скупились, отдавъ ему лучшіе годы наши, полное, сердечное участіе; мы страдали больше него его страданіями. Теперь оботремъ слезы и будемъ мужественно смотрѣть на окружающее. Чтобы намъ наконецъ ни представило оно, перенести можно, *должно*. Худшее пережили, а пережитое несчастье—несчастье оконченное. Мы успѣли ознакомиться съ нашимъ положеніемъ, мы ни на что не надѣемся, ничего не ждемъ, или пожалуй ждемъ всего; это сводится на одно. Насъ можетъ многое оскорбить, сломать, убить, удивить *ничего*... или всѣ наши думы и слова были только на губахъ.

Корабль идетъ ко дну. Страшна была минута сомнѣнія, когда рядомъ съ опасностію были надежды; теперь положеніе ясно, корабль не можетъ быть спасенъ, останется гибнуть или спасать себя. Долой съ корабля, на лодки, бревна — пусть каждый пытается свое счастье, пробуетъ свои силы. Point d'honneur моряковъ намъ не идетъ.

Вонъ изъ душной комнаты, гдѣ оканчивается длинная, бурная жизнь! Выйдемъ на чистый воздухъ изъ тяжелой, заразной атмосферы; на поле изъ больницы палаты. Много найдется мастеровъ бальзамировать покойника; еще больше червей, которые поживутъ

на счетъ гнили. Оставимъ имъ трупъ. не потому что они хуже или лучше насъ, а потому что они этого хотять, а мы не хотимъ; потому что они въ этомъ живутъ, а мы страдаемъ. Отойдёмъ свободно и безкорыстно, зная, что намъ нѣтъ наслѣдства, и не нуждаясь въ немъ.

Въ стары годы этотъ гордый разрывъ съ современностію назвали бы *быствомъ*, неизлечимые романтики и теперь послѣ всего ряда событій, совершившихся передъ ихъ глазами, назовутъ его такъ.

Но свободный человѣкъ не можетъ бѣжать, потому что онъ зависить только отъ своихъ убѣжденій и больше ни отъ чего; онъ имѣетъ право оставаться или идти, вопросъ можетъ быть не о бѣгствѣ, а о томъ, свободенъ-ли человѣкъ или нѣтъ?

Сверхъ того, слово бѣгство становится невыразимо смѣшно, обращенное къ тѣмъ, которые имѣли несчастіе заглянуть дальше, уйти впередъ больше, нежели надобно другимъ, и не хотять воротиться. Они могли бы сказать людямъ à la Cagliani, не мы бѣжимъ, а вы отстаете, но то и другое нелѣпо. Мы дѣлаемъ свое, люди, окружающіе насъ, свое. Развѣтїе лица и массы дѣлается такъ, что они не могутъ взять всей отвѣтственности на себя за послѣдствія. Но извѣстная степень развѣтїа, какъ бы она ни случилась и чѣмъ бы ни была приведена — обязываетъ. Отрѣкаться отъ своего развѣтїа, значитъ отрѣкаться отъ самихъ себя.

Человѣкъ свободнѣе нежели обыкновенно думаютъ.

Онъ много зависить отъ среды, но не настолько, какъ кабалить себя ей. Большая доля нашей судьбы лежитъ въ нашихъ рукахъ, стоитъ понять ее и не выпускать изъ рукъ. Понявши, люди допускаютъ окружающій міръ насиловать ихъ, увлекать противъ воли; они отрѣка-

ются отъ своей самобытности, опираясь во всѣхъ случаяхъ не на себя, а на него, затыгивая крѣпче и крѣпче узы, связующіе съ нимъ. Они ожидаютъ отъ міра всего добра и зла въ жизни, они надѣются на себя, на послѣднихъ. При такой ребяческой покорности, роковая сила виѣшняго становится непреодолимой, вступить съ нею въ борьбу кажется человѣку безуміемъ. А между тѣмъ грозная мощь эта блѣднѣетъ съ того мгновенія, какъ въ душѣ человѣка, вмѣсто самоотверженія и отчаянія, вмѣсто страха и покорности, возникаетъ простой вопросъ: „въ самомъ-ли дѣлѣ онъ такъ скованъ на жизнь и смерть со средою, что онъ и тогда не имѣетъ возможности отъ нея освободиться, когда дѣйствительно съ нею распался, когда ему ничего не нужно отъ нея, когда онъ равнодушенъ къ ея дарамъ?“

И не говорю, чтобъ этотъ протестъ во имя независимости и самобытности лица былъ легокъ. Онъ не даромъ вырывается изъ груди человѣка, ему предшествуютъ или долгія личныя испытанія и несчастія, или тѣ тяжелыя эпохи, когда человѣкъ тѣмъ больше расходится съ міромъ, чѣмъ глубже его понимаетъ, когда всѣ узы, связующіе его съ виѣшнимъ превращаются въ цѣпи, когда онъ чувствуетъ себя правымъ въ противоположность событіямъ и массамъ, когда онъ сознаетъ себя соперникомъ, чужимъ, а не членомъ большой семьи, къ которой принадлежитъ.

Внѣ насъ все измѣняется, все зыблется, мы стоимъ на краю пропасти и видимъ, какъ онъ осыпается: сумерки наступаютъ и ни одной путеводной звѣзды не является на небѣ. Мы не сыщемъ гавани иначе, какъ въ насъ самихъ, въ сознаніи нашей безпредѣльной свободы, нашей самодержавной независимости. Спасая себя

такимъ образомъ, мы становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитіе свободной жизни въ обществѣ,—если оно вообще возможно для людей.

Когда бы люди захотѣли вмѣсто того, чтобъ спасать міръ, спасать себя, вмѣсто того, чтобъ освобождать человечество, себя освобождать — какъ много бы они сдѣлали для спасенія міра и для освобожденія человѣка.

Зависимость человѣка отъ среды, отъ эпохи, не подлежитъ никакому сомнѣнію. Она тѣмъ сильнѣе, что половина узъ укрѣпляется за спиною сознанія; тутъ есть связь фізіологическая, противъ которой рѣдко могутъ бороться воля и умъ; тутъ есть элементъ наслѣдственный, который мы приносимъ съ рожденіемъ, такъ какъ черты лица, и который составляетъ круговую поруку послѣдняго поколѣнія съ рядомъ предшественныхъ; тутъ есть элементъ моральнофізіологическій, воспитаніе прививающее человѣку исторію и современность; наконецъ элементъ сознательный. Среда, въ которой человѣкъ родился, эпоха, въ которой онъ живетъ; его тянетъ участвовать въ томъ, что дѣлается вокругъ него, продолжать начатое его отцами; ему естественно привязываться къ тому, что его окружаетъ, онъ не можетъ не отражать въ себѣ, собою своего времени, своей среды.

Но тутъ въ самомъ образѣ отраженія является его самобытность. Противудѣйствіе, возбуждаемое въ человѣкѣ окружающимъ, отвѣтъ его личности на вліяніе среды. Отвѣтъ этотъ можетъ быть полонъ сочувствія, такъ какъ полонъ противурѣчія. Нравственная независимость человѣка такая-же непреложная истина и дѣйствительность, какъ его зависимость отъ среды, съ тою

разницей, что она съ ней въ обратномъ отношеніи: чѣмъ больше сознанія, тѣмъ больше самобытности; чѣмъ меньше сознанія, тѣмъ связь съ средою тѣснѣе, тѣмъ больше среда поглощаетъ лице. Такъ инстинктъ, безъ сознанія, не достигаетъ истинной независимости, а самобытность является или какъ дикая свобода звѣря, или въ тѣхъ рѣдкихъ судорожныхъ и непослѣдовательныхъ отрицаніяхъ той или другой стороны общественныхъ условій, которыя называютъ преступленіями.

Сознаніе независимости не значитъ еще распаденіе съ средою, самобытность не есть еще вражда съ обществомъ. Среда не всегда относится одинакимъ образомъ къ міру и слѣдственно не всегда вызываетъ со стороны лица отпоръ.

Есть эпохи, когда человѣкъ свободенъ въ *общемъ дѣлѣ*. Дѣятельность, къ которой стремится всякая энергическая натура, совпадаетъ тогда съ стремленіемъ общества, въ которомъ она живетъ. Въ такія времена — тоже довольно рѣдкія — все бросается въ круговоротъ событій, живетъ въ немъ, страдаетъ, наслаждается, гибнетъ. Однѣ натуры своеобразно геніяльныя, какъ Гёте, стоятъ поодаль, и натуры пошло безцвѣтныя остаются равнодушными. Даже тѣ личности, которыя враждуютъ противъ общаго потока, также увлечены и удовлетворены въ настоящей борьбѣ. Эмигранты были столько же поглощены революціей, какъ Якобинцы. Въ такое время нѣтъ нужды толковать о самопожертвованіи и преданности, — все это дѣлается само собою и чрезвычайно легко. Никто не отступаетъ, потому что всѣ вѣрятъ. Жертвъ собственно нѣтъ, жертвами кажутся зрителямъ такіа дѣйствія, которыя составляютъ простое исполненіе воли, естественный образъ поведенія.

Есть другія времена — и они всего обыкновеннѣе — времена мирныя, сонныя даже, въ которыхъ отношенія личности къ средѣ *продолжаются*, какъ они были поставлены послѣднимъ переворотомъ. Они не настолько натянуты, чтобъ лопнуть, не настолько тяжелы, чтобъ нельзя было вынести, и наконецъ не настолько исключительны и настойчивы, чтобъ жизнь не могла восполнить главные недостатки и сгладить главные шереховатости. Въ такія эпохи вопросъ о связи общества съ человѣкомъ не такъ занимаетъ. Являются частныя столкновенія; трагическія катастрофы, вовлекающія въ гибель нѣсколько лицъ; раздаются титаническіе стоны скованнаго человѣка; но все это теряется безслѣдно въ учрежденномъ порядкѣ, признанныя отношенія остаются неизмѣненными, покоятся на привычкѣ, на человѣческомъ бозпечьи, на лѣни, на недостаткѣ демоническаго начала критики и ироніи. Люди живутъ въ частныхъ интересахъ, въ семейной жизни, въ ученой, индустріальной дѣятельности, судятъ и рядятъ, воображая, что дѣлаютъ дѣло, усердно работаютъ, чтобъ устроить судьбу дѣтей; дѣти съ своей стороны устрояютъ судьбу своихъ дѣтей, такъ что существующія личности и настоящее какъ будто стираются и признаютъ себя чѣмъ-то переходнымъ. Подобное время продолжается до сихъ поръ въ Англіи.

Но есть еще и третьяго рода эпохи, очень рѣдкія и самыя скорбныя.

Эпохи, въ которыхъ общественныя формы, переживши себя, медленно и тяжело гибнутъ; исключительная цивилизація достигаетъ не только высшаго предѣла, но даже выходить изъ круга возможностей, данныхъ историческимъ бытомъ, такъ, что повидимому она принадлежитъ будущему, а въ сущности равно отрѣшена отъ

прошедшаго, которое она презираетъ и отъ будущаго, развивающагося по инымъ законамъ. Вотъ тутъ-то и сталкивается лицо съ обществомъ. Прошедшее является какъ безумный отпоръ. Насиліе, ложь, свирѣпость, корыстное раболѣпство, ограниченность, потеря всякаго чувства человѣческаго достоинства, становятся общимъ правиломъ большинства. Все доблестное было уже исчезло, дряхлый міръ самъ не вѣрить въ себя и отчаянно защищается, потому что боится, изъ самосохраненія забываетъ своихъ боговъ, попираетъ ногами права, на которыхъ держался, отрекается отъ образованія и чести, становится звѣремъ, преслѣдуетъ, казнитъ, и между тѣмъ сила остается въ его рукахъ; ему повинуются не изъ одной трусости, но изъ того, что съ другой стороны все шатко, ничего не рѣшено, не готово — и главное, что люди не готовы. Съ другой стороны, не знакомое будущее восходитъ на горизонтѣ, покрытомъ тучами, будущее смущающее всякую человѣческую логику. Вопросъ римскаго міра разрѣшается Христіанствомъ, религіей, съ которой свободный человѣкъ гнѣбнущаго Рима также мало имѣлъ связи, какъ съ политизмомъ. Человѣчество, для того, чтобъ двинуться впередъ изъ узкихъ формъ римскаго права, отступаетъ въ германское варварство.

Тѣ изъ римлянъ, которые отъ тягости жизни, гонимые тоской, страхомъ, бросились въ Христіанство, спаслись; но развѣ тѣ, которые не меньше страдали, но были тверже характеромъ и умомъ и не хотѣли спасаться отъ одной нелѣпости, принимая другую, достойны порицанія? Могли-ли они съ Юліаномъ Отступникомъ стать за старыхъ боговъ или съ Константиномъ за новыхъ? Могли-ли они участвовать въ современномъ дѣлѣ, видя куда идетъ духъ времени? Въ такіа

эпохи свободному человѣку легче одичать въ отчужденіи отъ людей, нежели идти съ ними по одной дорогѣ, ему легче лишиться себя жизни нежели пожертвовать ее.

Неужели человѣкъ менѣе правъ оттого, что съ нимъ никто не согласенъ? да развѣ умъ нуждается другой повѣрки какъ умомъ? И съ чего-же всеобщее безуміе можетъ опровергнуть личное убѣжденіе?

Мудрѣйшіе изъ римлянъ сошли совсѣмъ со сцены и превосходно сдѣлали. Они разсѣялись по берегамъ Средиземнаго моря, пропали для другихъ въ безмолвномъ величіи скорби, но не пропали для себя — и черезъ пятнадцать столѣтій мы должны сознаться, что собственно они были побѣдители, они единственные, свободные и мощные представители независимой личности человѣка, его достоинства. Они были *люди*, ихъ нельзя было считать по головно, они не принадлежали къ стаду и не хотѣли лгать, а не имѣя съ нимъ ничего общаго — отошли.

А что у насъ общаго съ міромъ насъ окружающимъ? Нѣсколько лицъ связанныхъ съ нами одними убѣжденіями, три добродѣтельные человѣка Содома и Гоморы, они въ томъ-же положеніи какъ мы, они составляютъ протестующее меньшинство, сильное мыслию, слабое дѣйствіемъ. Кромѣ ихъ у насъ съ современнымъ міромъ не больше дѣйтельной связи какъ съ Китаемъ (я на сію минуту опускаю фізіологическую связь и привычку). Это до того справедливо, что даже въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда люди произносятъ одни и тѣ же слова съ нами, они ихъ понимаютъ розно. Хотите ли вы *свободы* монтаньяровъ, *порядка* законодательнаго собранія, египетскаго устройства работъ коммунистовъ?

Теперь всѣ играютъ съ раскрытыми картами и самая игра чрезвычайно упростилась, ошибаться нельзя, на

каждомъ клочкѣ Европы та же борьба, тѣ же два станна. Вы ясно, вполне чувствуете противъ котораго вы; но чувствуете - ли вы также ясно связь вашу съ другимъ станомъ — какъ отвращеніе и ненависть къ первому?...

Время откровенности пришло, свободные люди не обманываютъ ни себя, ни другихъ, всякая пощада ведетъ къ чему-то ложному, косому.

Прошедшій годъ, чтобъ достойно окончиться и исполнить мѣру всѣхъ нравственныхъ оскорбленій и пытокъ, представилъ намъ страшное зрѣлище: борьбу *свободнаго человека съ освободителями человечества*. Смѣлая рѣчь, ѣдкій скептицизмъ, беспощадное отрицаніе, немолимая иронія Прудона возмутила записныхъ революціонеровъ не меньше консерваторовъ, они напали на него съ ожесточеніемъ, они стали за свои преданія съ неподвижностію легитимистовъ, они испугались его атеизма и его анархіи, они не могли понять, какъ можно быть свободнымъ безъ государства, безъ демократическаго правленія; они съ удивленіемъ слушали безнравственную рѣчь, что республика для людей, а не лица для республики. И когда у нихъ не достало ни логики, ни краснорѣчія, они объявили Прудона подозрительнымъ, они его предали революціонной анаѳемѣ, отлучая отъ православнаго единства своего. Талантъ Прудона и звѣрство полиціи спасли его отъ клеветы. Уже гнусное обвиненіе въ предательствѣ ходило изъ устъ въ уста демократической черни, когда онъ бросилъ свои знаменитыя статьи въ Президента, который не нашелъ лучшаго отвѣта, оглушенный ударомъ, какъ тѣснить колодника, запертаго за мысль и слово. Видя это, толпа примирилась.

И вотъ вамъ крестовые рыцари свободы, привилле-

гированные освободители человечества! Они боятся свободы; имъ надобенъ господинъ для того, чтобъ не избаловаться, имъ нужна власть, потому что они не до-вѣряютъ себѣ. Мудрено ли послѣ того, что горсть лю-дей, переселенная съ Кабэ въ Америку, едва устрои-лась во временныхъ шалашахъ, какъ всѣ неудобства европейской государственной жизни обличились въ ихъ средѣ.

При всемъ этомъ, *они* современнѣ насъ, полезнѣ насъ, потому что ближе къ дѣлу, они найдутъ больше сочувствія въ массахъ, они нужнѣ. Массы хотятъ остано-вить руку, нагло вырывающую у нихъ кусокъ хлѣба, заработанный ими — это ихъ главная потребность. Къ личной свободѣ, къ независимости слова, онѣ равно-душны; массы любятъ авторитетъ, ихъ еще ослѣпляетъ оскорбительный блескъ власти, ихъ еще оскорбляетъ человѣкъ, стоящій независимо; онѣ подъ равенствомъ понимаютъ равномерный гнетъ, боясь монополей и при-вилегій, онѣ косо смотрятъ на талантъ и не позволя-ютъ, чтобъ человѣкъ не дѣлалъ того же что они дѣ-лаютъ. Массы желаютъ социальнаго правительства, ко-торое бы управляло ими для нихъ, а не противъ нихъ, какъ теперешнее. Управляться самимъ — имъ и въ го-лову не приходитъ. Вотъ отчего *освободители* гораздо ближе къ современнымъ переворотамъ, нежели всякій *свободный человекъ*. Свободный человѣкъ можетъ быть вовсе ненужный человѣкъ; но изъ этого не слѣдуетъ, что онъ долженъ поступать противъ своихъ убѣждений.

Но, скажете вы, надобно себя умѣрить. Сомнѣваюсь чтобъ изъ этого вышло что нибудь; когда человѣкъ и весь отдается дѣлу, онъ не много производитъ, что же онъ сдѣлаетъ, когда намѣренно отниметъ половину сво-ихъ силъ и органовъ. Посадите Прудона министромъ

финансовъ, президентомъ, онъ будетъ Бонапартомъ въ другую сторону. Этотъ находится въ безпрестанномъ колебаніи, нерѣшительности, оттого, что онъ помѣшанъ на императорствѣ. Прудонъ будетъ также въ постоянномъ недоумѣніи, потому что существующая республика ему столько же противна какъ Бонапарту, а республика социальная теперь гораздо менѣе возможна нежели имперія.

Впрочемъ тотъ, кто чувствуетъ внутреннее несогласіе хочеть или можетъ откровенно участвовать въ бою партій; у кого нѣтъ потребности идти своей дорогой, видя что дорога другихъ идетъ не туда; кто не думаетъ, что лучше заблудиться, совсѣмъ пропасть, нежели уступить свою истину, — тотъ пусть дѣйствуетъ съ другими. Онъ даже сдѣлаетъ очень хорошо, потому что нѣтъ чего другого, а освободители рода человѣческаго стащутъ вмѣстѣ съ собою въ пропасть старыя формы монархической Европы; я признаю право столько же желающему дѣйствовать, сколько и желающему отстраниться; на то будетъ его воля, и объ этомъ у насъ не идетъ рѣчи.

Я очень радъ, что коснулся этого смутнаго вопроса, этой самой прочной цѣпи изъ всѣхъ, которыми человѣкъ скованъ; самой прочной потому, что онъ или не чувствуетъ ея насилія, или, еще хуже, признаетъ ее безусловно справедливой. Посмотримъ, не перержавѣла ли она?

Подчиненіе личности обществу, народу, человѣчеству, идеѣ—продолженіе человѣческихъ жертво-приношеній, закланіе агнца для примиренія Бога, распятіе невиннаго за виновныхъ. Всѣ религіи основывали нравственность на покорности т. е. на добровольномъ рабствѣ, потому онѣ и были всегда вреднѣе политическаго

устройства. Тамъ было насиліе, здѣсь развратъ воли. Покорность значить съ тѣмъ вмѣстѣ перенесеніе всей самобытности лица на всеобщія, безличныя сферы, независимыя отъ него, Христіанство, религія противорѣчій, признавало съ одной стороны безконечное достоинство лица, какъ будто для того, чтобъ еще торжественнѣе погубить его передъ искупленіемъ, церковью, отцомъ небеснымъ. Его воззрѣніе проникло въ нравы, оно выработалось въ цѣлую систему нравственной неволи, въ цѣлую искаженную діалектику, чрезвычайно послѣдовательную себѣ. Міръ, становясь болѣе свѣтскимъ или, лучше сказать, примѣтивъ наконецъ, что онъ въ сущности такой-же свѣтскій какъ и былъ, примѣшалъ свои элементы въ христіанское правоученіе, но основы остались тѣ-же. Лицо, истинная, дѣйствительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятію, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Для кого работали, кому жертвовали, кто пользовался, кого освобождали, уступая свободу лица, объ этомъ никто не спрашивалъ. Всѣ жертвовали (по-крайней-мѣрѣ на словахъ) самихъ себя и другъ друга.

Не мѣсто здѣсь разбирать на сколько неразвитость народовъ оправдывала такія мѣры воспитанія. Вѣроятно онѣ были естественны и необходимы, мы ихъ встрѣчаемъ вездѣ, но мы можемъ смѣло сказать, что если онѣ и привели къ великимъ результатамъ, то навѣрное на столько-же замедлили ходъ развитія, искажая умъ ложнымъ представленіемъ. Я вообще мало вѣрю въ пользу лжи, особенно когда въ нее не вѣрятъ больше: весь этотъ махіявеллизмъ, вся риторика мнѣ кажется больше аристократическою потѣхою для проповѣдниковъ и правоучителей.

Общая основа воззрѣнія, на которомъ такъ прочно держится нравственная неволя человѣка и „приниженіе“ его личности, почти вся въ дуализмѣ, которымъ проникнуты всѣ наши сужденія.

Дуализмъ, это христіанство, возведенное въ логику, христіанство, освобожденное отъ преданія, отъ мистицизма. Главный приѣмъ его состоитъ въ томъ, чтобъ раздѣлять на мнимыя противоположности то, что дѣйствительно нераздѣльно, на пр. тѣло и духъ; враждебно противопоставлять эти отвлеченія и неестественно мирить то, что соединено неразрывнымъ единствомъ. Это евангельскій миѳъ Бога и человѣка примиряемыхъ Христомъ, переведенный на философскій языкъ.

Такъ какъ Христосъ, искупая родъ человѣческій, попираетъ плоть, такъ въ дуализмѣ, идеализмъ беретъ сторону одной тѣни противъ другой, отдавая монополъ духу надъ веществомъ, роду надъ недѣлимымъ, жертвуя такимъ образомъ человѣка государству, государство человечеству.

Вообразите теперь весь хаосъ вносимый въ совѣсть и умъ людей, которые съ дѣтскихъ лѣтъ ничего другого не слыхали. Дуализмъ до того исказилъ всѣ простѣйшія понятія, что имъ надобно дѣлать большія усилія, чтобъ усвоить истины ясныя какъ день. Нашъ языкъ — языкъ дуализма, наше воображеніе не имѣетъ другихъ образовъ, другихъ метафоръ. Полторы-тысячи лѣтъ все учившее, проповѣдывавшее, писавшее, дѣйствовавшее было пропитано дуализмомъ и едва нѣсколько человѣкъ въ концѣ XVIII вѣка стали въ немъ сомнѣваться, но и сомнѣваясь продолжали изъ приличія, а долею и отъ страха говорить его языкомъ.

Само собою разумѣется, что вся наша нравственность вышла изъ того же начала. Нравственность эта требо-

вала постоянной жертвы, непрерывнаго подвига, непрерывнаго самоотверженія. Оттого по большей части правила ея и не исполнялись никогда. Жизнь несравненно упорнѣе теорій, она идетъ независимо отъ нихъ и молча побѣждаетъ ихъ. Поляѣ возраженія на принятую мораль не можетъ быть, какъ такое практическое отрицаніе; но люди спокойно живутъ въ этомъ противурѣчїи, они привыкли къ нему вѣками. Христіанство, раздвоая человѣка на какой-то идеаль и на какого-то скота, сбilo его понятія; не находя выхода изъ борьбы совѣсти съ желаніями, онъ такъ привыкъ къ лицемерію, часто откровенному, что противоположность слова съ дѣломъ его не возмущаетъ. Онъ ссылаясь на свою слабую, злодѣйскую натуру, и церковь торопилась индульгенціями и отпущеніемъ грѣховъ давать легкое средство сводить счеты съ испуганной совѣстью, боясь, чтобъ отчаяніе не привело къ другому порядку мыслей, которыхъ не такъ легко уложить исповѣдью и прощеніемъ. Эти шалости такъ укоренились, что пережили самую власть церкви. Натянутыя цивическія добродѣтели замѣнили натянутое ханжество; отсюда — театральное одушевленіе на римскій ладъ и на манеръ христіанскихъ мучениковъ и феодальныхъ рыцарей.

Практическая жизнь и тутъ идетъ своимъ чередомъ, нисколько не занимаясь геронческой моралью.

Но напасть на нее никто не смѣетъ, и она держится съ одной стороны на какомъ-то тайномъ соглашеніи пощады и уваженія, какъ республика Сан-Марино; съ другой стороны на нашей трусости, безхарактерности, на ложномъ стыдѣ и на нравственной неволѣ нашей. Мы боимся обвиненія въ безнравственности и это насъ держать въ уздѣ. Мы повторяемъ моральные бредни,

слышанныя нами, не придавая имъ никакого смысла, но и не возражая противъ нихъ;—такъ какъ натуралисты изъ *приличія* говорятъ въ предисловіи о творцѣ и удивляются его премудрости. Уваженіе, втѣсняемое намъ страхомъ дикихъ криковъ толпы, превращается до того въ привычку, что мы съ удивленіемъ, съ негодованіемъ смотримъ на дерзость откровеннаго и свободнаго чело-вѣка, который смѣетъ сомнѣваться въ истинѣ этой риторики; это сомнѣніе насъ оскорбляетъ, такъ какъ бывало непочтительный отзывъ о королѣ оскорблялъ подданнаго — это гордость ливреи, надменность рабовъ.

Такимъ образомъ составила условная нравственность, условный языкъ; имъ мы передаемъ вѣру въ ложныхъ боговъ нашимъ дѣтямъ, обманываемъ ихъ, такъ какъ насъ обманывали родители, и такъ какъ наши дѣти будутъ обманывать своихъ до тѣхъ поръ, пока переворотъ не покончитъ со всѣмъ этимъ міромъ лжи и притворства.

Я наконецъ не могу выносить равнодушно эту вѣчную риторику патріотическихъ и филантропическихъ разглагольствованій, не имѣющихъ никакого вліянія на жизнь. Много-ли найдется людей, готовыхъ пожертвовать жизнью за чтобъ-то ни было? Конечно не много, но все-же больше нежели тѣхъ, которые имѣютъ мужество сказать, что «*Mourir pour la patrie*», не есть въ самомъ дѣлѣ верхъ человѣческаго счастья и что гораздо лучше если и отечество и самъ чело-вѣкъ останутся цѣлы.

Какіе мы дѣти, какіе мы еще рабы, и какъ весь центръ тяжести, точка опоры нашей воли, нашей нравственности—внѣ насъ!

Ложь эта не только вредна, но унижительно, она оскорбляетъ чувство собственного достоинства, развра-

щаетъ поведеніе; надобно имѣть силу характера говорить и дѣлать одно и то-же; и вотъ почему люди должны признаваться на словахъ въ томъ, въ чемъ признаются ежедневно жизнию. Можетъ эта чувствительная болтовня и была сколько-нибудь полезна во времена больше дикія, такъ какъ внѣшняя учтивость, но теперь она обезсиливаетъ, усыпляетъ, сбиваетъ столку. Довольно времени позволяли мы безнаказанно декламировать всѣ эти риторическія упражненія, составленныя изъ подогрѣтаго христіанства, разбавленнаго мутной водой рационализма и паточнымъ растворомъ филантропіи. Пора наконецъ разобрать эти Сивилинскія Книги, пора потребовать отчета у нашихъ учителей.

Какой смыслъ всѣхъ разглагольствованій противъ эгоизма, индивидуализма? — Что такое эгоизмъ? — Что такое *братство* — Что такое индивидуализмъ? — И что любовь къ человѣчеству?

Разумѣется, люди эгоисты, потому что они лица; какъ-же быть самимъ собою, не имѣя рѣзкаго сознанія своей личности. Лишить человѣка этого сознанія значитъ распутить его, сдѣлать существомъ прѣснымъ, стертымъ, безхарактернымъ. Мы эгоисты и потому добиваемся независимости, благосостоянія, признанія нашихъ правъ, потому жаждемъ любви, ищемъ дѣятельности... и не можемъ отказывать безъ явнаго противурѣчія въ тѣхъ-же правахъ другимъ.

Проповѣдь индивидуализма разбудила, вѣкъ тому назадъ, людей отъ тяжелаго сна, въ который они были погружены подъ вліяніемъ католическаго мака. Она вела къ свободѣ, такъ какъ смиреніе ведетъ къ покорности. Писанія эгоиста Вольтера больше сдѣлали для освобожденія, нежели писанія любящаго Руссо для братства.

Моралисты говорятъ объ эгоизмѣ, какъ о дурной

привычекъ, не спрашивая, можетъ-ли человекъ быть человекомъ, утративъ живое чувство личности, и не говоря, что за замѣна ему будетъ въ „братствѣ“ и въ „любви къ человечеству“, не объясняя даже, почему слѣдуетъ брататься со всѣми и что за долгъ любить всѣхъ на свѣтѣ? Мы равно не видимъ причины ни любить, ни ненавидѣть что-нибудь только потому, что оно существуетъ. Оставьте человека свободнымъ въ своихъ сочувствіяхъ, онъ найдетъ кого любить и съ кѣмъ быть братомъ, на это ему не нужно ни заповѣди, ни приказа; если-же онъ не найдетъ, это его дѣло и его несчастіе.

Христіанство по крайней мѣрѣ не останавливалось на такихъ бездѣлицахъ, а смѣло приказывало любить не только всѣхъ но преимущественно своихъ враговъ. Восемнадцатъ столѣтій люди умилялись передъ этимъ; пора наконецъ сознаться, что правило это пустое.....За что-же любить враговъ? или если они такъ любезны, за что-же быть съ ними во враждѣ?

Дѣло просто въ томъ, что эгоизмъ и общественность не добродѣтели и не пороки; это основныя стихіи жизни человѣческой, безъ которыхъ не было бы ни исторіи, ни развитія, а была бы или разсыпчатая жизнь дикихъ звѣрей или стада ручныхъ троплодитовъ. Уничтожьте въ человекѣ общественность и вы получите свирѣпаго Орангъ-Утанга; уничтожьте въ немъ эгоизмъ, и изъ него выйдетъ смиренное Жюко. Всего меньше эгоизма у рабовъ. Самое слово „эгоизмъ“ не имѣетъ въ себѣ полнаго содержанія. Есть эгоизмъ узкій, животный, грязный, такъ какъ есть любовь грязная, животная, узкая. Дѣйствительный интересъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы убивать на словахъ эгоизмъ и подхваливать братство, оно его не пересилить а въ томъ, чтобы сочетать гар-

монически, свободно эти два неотъемлемыя начала жизни человѣческой.

Какъ существо общежительное, человѣкъ стремится любить, и на это ему вовсе не нужно приказа. Ненавидѣть себя совсѣмъ не нужно. Моралисты считаютъ всякое нравственное дѣйствіе до того противнымъ натурѣ человѣческой, что ставятъ въ великое достоинство всякій добрый поступокъ, и потому-то они братство вмѣняютъ въ обязанность, какъ соблюденіе постовъ, какъ умерщвленіе плоти. Послѣдняя форма религій рабства основана на раздвоеніи общества и человѣка, на мнимой враждѣ ихъ. До тѣхъ поръ, пока съ одной стороны будетъ Архангелъ-Братство, а съ другой Люциферъ-Эгоизмъ—будетъ правительство, чтобъ ихъ мирить и держать въ уздѣ; будутъ судьи, чтобъ карать, палачи, чтобъ казнить, церковь, чтобъ молить Бога о прощеніи, Богъ, чтобъ наводить страхъ и комисаръ полиціи, чтобъ сажать въ тюрьму.

Гармонія между лицомъ и обществомъ не дѣлается разъ на всегда, она *становится* каждымъ періодомъ почти каждой страной и измѣняется съ обстоятельствами, какъ все живое. Общей нормы, общаго рѣшенія тутъ не можетъ быть. Мы видѣли, какъ въ инныя эпохи человѣку легко отдаваться средѣ и какъ въ другія только и можно *сохранить* связь разлукой, отходя, *унося все свое съ собою*. Не въ нашей волѣ измѣнять историческое отношеніе лица къ обществу, да по-несчастью и не въ волѣ самаго общества; но отъ насъ зависитъ быть современными, сообразными нашему развитію, словомъ, *творить* наше поведеніе въ отвѣтъ обстоятельствамъ.

Дѣйствительно, свободный человѣкъ *создаетъ* свою нравственность. Это-то Стопки и хотѣли сказать, говоря,

„что для мудраго нѣтъ закона.“ Превосходное поведение вчера можетъ быть прескверно сегодня. Незыблемой, вѣчной нравственности такъ-же нѣтъ, какъ вѣчныхъ наградъ и наказаній. То, что дѣйствительно незыблемо въ нравственности, сводится на такія всеобщности, что въ нихъ теряется почти все частное, какъ напр., что всякое дѣйствіе, противное нашимъ убѣжденіямъ, преступно или, какъ сказалъ Кантъ, что то дѣйствіе безнравственно, которое человѣкъ не можетъ обобщить, возвести въ правило.

Мы въ началѣ статьи совѣтовали не входить въ противурѣчіе съ собою, какъ бы дорого это ни стоило и перервать сношенія неистинныя, поддерживаемыя (какъ въ „Альфредѣ“ Бенжаменъ Констана) ложнымъ стыдомъ, ненужнымъ самоотверженіемъ.

Таковы-ли современные обстоятельства, какъ я ихъ представилъ или нѣтъ, это подлежитъ спору, и если вы мнѣ докажете противное, я съ благодарностію пожму вашу руку, вы будете мой благодѣтель. Быть можетъ, я увлекся и, мучительно изучая ужасы, дѣлающіеся вокругъ, потерялъ способность видѣть свѣтлое. Я готовъ слушать, я хочу согласиться. Но если обстоятельства таковы, то нѣтъ мѣста спору.

„И такъ, скажете вы, отдаться негодующему бездѣйствію, сдѣлаться чуждымъ всему, бесплодно роптать и сердиться, какъ сердятся старики, удалиться со сцены, гдѣ кипитъ и несется жизнь, и доживать свой вѣкъ бесполезнымъ для другихъ и въ тягость себѣ.“

— Я не совѣтую браниться съ міромъ, а начать независимую, самобытную жизнь, которая могла бы найти въ себѣ самой спасеніе, даже тогда, когда весь міръ насъ окружающій, погибъ бы. Я совѣтую взглянуть, идетъ-ли въ самомъ дѣлѣ масса туда, куда мы думаемъ,

что она идетъ, и идти съ нею, или отъ нея, но зная ея путь; я совѣтую бросить книжныя мнѣнія, которыя намъ привили съ ребячества, представляя людей совсѣмъ иными, нежели они есть. Я хочу прекратить „безплодный ропотъ и капризное неудовольствіе,“ хочу примирить съ людьми, убѣдивши, что они не могутъ быть лучше, что вовсе не ихъ вина, что они такіе.

Будетъ-ли притомъ такая или другая виѣшняя дѣятельность или никакой не будетъ, я не знаю. Да въ сущности это и неважно. Если вы сильны, если въ васъ есть не только что нибудь годное, но что нибудь глубоко шевелящее другихъ, оно не пропадетъ, — такова экономія природы. Сила ваша какъ капля дрозжей непременно взволнуетъ, заставитъ бродить все, подвергнувшееся ея вліянію; ваши слова, дѣла, мысли займутъ свое мѣсто, безъ особенныхъ хлопотъ. Если-же у васъ нѣтъ такой силы или есть силы, не дѣйствующія на современнаго человѣка, и въ этомъ нѣтъ большой бѣды ни для васъ, ни для другихъ. Что мы за вѣчные комедіанты, за публичные мужчины! мы живемъ не для того, чтобъ занимать другихъ, мы живемъ для себя. Большинство людей, всегда практическое, вовсе не печется о недостаткѣ *исторической* дѣятельности.

Вмѣсто того, чтобъ увѣрять народы, что они страстно хотятъ того, что мы хотимъ, лучше было бы подумать, хотятъ-ли они на сію минуту чего-нибудь, и если хотятъ совсѣмъ другое, сосредоточиться, сойти съ рынка, отойти съ миромъ, не насилуя другихъ и не тратя себя.

Можетъ это отрицательное дѣйствіе будетъ началомъ новой жизни. Во всякомъ случаѣ это будетъ добросовѣстный поступокъ.

Паражъ, Hôtel Mirabeau, 3 Апрѣля 1850 г.

VIII.

ДОНОЗО КОРТЕСЪ, МАРКИЗЪ ВАЛЬДЕГАМАСЪ

и

ЮЛІАНЪ ИМПЕРАТОРЪ РИМСКИЙ

У консерваторовъ есть глаза, только они не видятъ. Больше скептики нежели Апостолъ Пётръ, они трогаютъ пальцемъ рану и не вѣрятъ ей.

„Вотъ, говорятъ они сами, страшные успѣхи общественной гангрены, вотъ духъ отрицанія вѣющей разложеніемъ, вотъ демонъ революціи потрясающій послѣднія основы вѣковаго зданія государственнаго... вы видите міръ нашъ разрушается, гибнетъ, увлекая съ собой образованіе, учрежденія все выработанное имъ..... смотрите одна нога его уже въ могилѣ.“

И заключаютъ потомъ: „удвоимте же силу правительства войскомъ, возвратимте людей къ вѣрованіямъ, которыхъ у нихъ нѣтъ, дѣло идетъ о опасеніи цѣлаго міра.“

Спасать міръ—воспоминаніями, насиліемъ! Міръ спасается „благою вѣстью“, а не подогрѣтой религіей; онъ спасается *словомъ* носящимъ въ себѣ зародышъ новаго міра, а не воскресеніемъ изъ мертвыхъ стараго.

Упрямство что ли это съ ихъ стороны, недостатокъ пониманія, или страхъ передъ мрачнымъ будущимъ смущаетъ ихъ до того, что они видятъ только то, что гибнетъ, привязаны только къ прошедшему, опираются только на развалины, или на стѣны готовыя рухнуть?

Какой хаосъ, какой недостатокъ послѣдовательности въ понятіяхъ современнаго человѣка!

По крайней мѣрѣ въ прошедшемъ было какое нибудь единство, безуміе было эпидемическое и его мало замѣчали, весь свѣтъ былъ въ заблужденіи, были общія данныя большей частію нелѣпыя, но принятыя всѣми. Въ наше время совсѣмъ не такъ; предразсудки римскаго міра рядомъ съ предразсудками среднихъ вѣковъ, Евангеліе и политическая экономія, Лойола и Вольтеръ, идеализмъ на словахъ, матеріализмъ на дѣлѣ; отвлеченная, риторическая нравственность и поведеніе прямо противоположное ей. Эта разнородная масса понятій обживаетъ въ нашемъ умѣ безъ порядка. Достигнувъ совершеннѣйшаго мы слишкомъ заняты, слишкомъ лѣнивы, а можетъ и слишкомъ трусы, чтобъ подвергнуть строгому суду наши нравственные заповѣди, такъ дѣло и остается въ сумеркахъ.

Это смѣшеніе понятій нигдѣ не идетъ дальше какъ во Франціи. Французы вообще лишены философскаго воспитанія; они съ большою проницательностію овладѣваютъ выводами, но овладѣваютъ ими односторонно, ихъ выводы остаются разобщенными, безъ единства ихъ связывающаго, даже безъ приведенія ихъ къ одному уровню. Отсюда противурѣчія на каждомъ шагѣ. Отсюда необходимость, говоря съ ними, возвращаться къ давнымъ давно извѣстнымъ началамъ и повторять за новостію истины, сказанныя Спинозой или Бэкономъ.

Такъ какъ выводы берутся ими безъ корня, то и нѣтъ ничего положительно пріобрѣтеннаго у нихъ, оконченнаго... ни въ наукѣ, ни въ жизни... оконченнаго въ томъ смыслѣ, въ которомъ окончены четыре правила ариметики, нѣкоторыя наукообразныя начала въ Германіи, нѣкоторыя основанія права въ Англіи. Тутъ от-

части причина той легости перемѣнъ и перехода изъ одной крайности въ другую, которая такъ удивляетъ насъ. Поколѣніе революціонеровъ—дѣлается абсолютистами; послѣ ряда революцій снова спрашивается, слѣдуетъ ли признать права человѣка, можно-ли судить виѣ законныхъ формъ, должно-ли терпѣть свободу книгопечатанія?... Изъ этихъ вопросовъ, возвращающихся послѣ каждого потрясенія, очевидно, что ничего не обсуждено, не принято въ самомъ дѣлѣ.

Этой путаницѣ въ наукѣ Кузенъ далъ систематическую организацію, подъ именемъ эклектизма (т. е. хорошаго по немножку). Въ жизни она равно дома у радикаловъ и у легитимистовъ, особенно у *умѣренныхъ*, т. е. у людей, не знающихъ ни чего *они хотятъ*, ни чего *не хотятъ*.

Всѣ роялистскія и католическія газеты въ одинъ голосъ не перестаютъ восторгаться рѣчью Довоза Кортеса, произнесенной въ Мадридѣ, въ засѣданіи кортесовъ. Рѣчь эта дѣйствительно замѣчательна въ многихъ отношеніяхъ. Довозо Кортесъ необычайно вѣрно оцѣнилъ страшное положеніе настоящихъ европейскихъ государствъ, онъ понялъ, что они находятся 'на краю пропасти, на канунѣ неминуемаго, роковаго катаклизма. Картина, начерченная имъ, страшна своей правдой. Онъ представляетъ Европу, сбившуюся съ толку, безсильную, быстро увлекаемую въ гибель, умирающую отъ неустройства, и съ другой стороны славянскій міръ, готовый хлынуть на міръ германо-романскій. Онъ говоритъ: „Не думайте, что катастрофа тѣмъ и кончится, славянскія племена въ отношеніи къ западу не то, что были германцы въ отношеніи римлянъ... Славяне давно уже въ соприкосновеніи съ революціей... Россія, среди покоренной и валяющейся въ прахѣ Европы, всосетъ

всѣмъ порамъ идѣ, которымъ она уже упивалась и который ее убьетъ; она разложится тѣмъ-же гніеніемъ. Я не знаю какія врачеванія приготовлены у Бога противъ этого всеобщаго разложенія^а.

Въ ожиданіи этого божественнаго снадобья, знаете ли, что предлагаетъ нашъ мрачный пророкъ, такъ страшно и мѣтко начертавшій образъ грядущей смерти? Намъ совѣстно повторять. Онъ думаетъ, что еслибъ Англія возвратилась къ католицизму, то вся Европа могла бы быть спасена папой, монархической властью и войскомъ. Онъ хочетъ отвести грозное будущее, отступая въ невозможное прошедшее.

Намъ-что-то подозрительна патологія маркиза Вальдегамасъ. Или опасность не такъ велика, или средство слабо. Монархическое начало вездѣ возстановлено, войска вездѣ имѣютъ верхъ; церковь, по собственнымъ словамъ Довозо Кортеса и его друга Монталамбера — торжествуетъ, Тьеръ сдѣлался католикомъ, словомъ трудно желать больше притѣсненій, гоненій, реакцій; а спасеніе не приходитъ. Неужели оттого, что Англія находится въ грѣховномъ отщепеніи?

Всякій день обвиняютъ социалистовъ, что они сильны только въ критикѣ, въ обличеніи зла, въ отрицаніи. Что скажете теперь объ анти-соціальныхъ врагахъ нашихъ?

...Въ довершеніе нелѣпости, редакція одного журнала, чрезвычайно *благое*, помѣстила въ томъ же номерѣ съ преувеличенными похвалами рѣчи Довозо Кортеса и отрывки изъ небольшой исторической компиляціи, довольно посредственно сдѣланной, въ которой говорится о первыхъ вѣкахъ Христіанства, объ Юліанѣ отступникѣ, и которая торжественно разрушаетъ разсужденіе нашего маркиза.

Донозо Кортесъ становится совершенно на ту-же почву, на которой стояли тогда римскіе консерваторы. Онъ видѣлъ, какъ тѣ видѣли, разложеніе того общественнаго порядка, который его окружаетъ; его обвиняетъ ужасъ, и это очень естественно—есть чего испугаться; онъ хочетъ, какъ они хотѣли, во что бы ни стало спасти его, и не находитъ другаго средства, какъ останавливая грядущее, отводя его — какъ будто оно не естественное послѣдствіе уже существующаго.

Онъ отправляется, какъ римляне, отъ общей данной совершенно ошибочной, отъ неоправданнаго предположенія, отъ произвольнаго мнѣнія. Онъ увѣренъ, что настоящія формы общественной жизни, такъ какъ они выработались подъ вліяніемъ римскаго, германскаго, христіанскаго начала, единственно возможныя. Какъ будто древній міръ и современный востокъ не представляютъ уже съ своей стороны жизнь общественную, основанную совсѣмъ на другихъ началахъ — можетъ низшихъ, но необычайно прочныхъ.

Донозо Кортесъ предполагаетъ далѣе, что *образованіе* не можетъ развиваться иначе, какъ въ современныхъ европейскихъ формахъ. Легко сказать съ Донозо Кортесомъ, что древній міръ имѣлъ *культуру*, а не *цивилизацию*. (Le monde ancien a été cultivé et non civilisé.) подобныя тонкости имѣютъ только успѣхъ въ богословскихъ преніяхъ. Римъ и Греція были очень *образованы*, ихъ образованіе было, также какъ европейское, образованіе меньшинства, арифметическое различіе тутъ ничего незначить, а между тѣмъ въ ихъ жизни недоставало главнѣйшаго элемента — католицизма!

Донозо Кортесъ, вѣчно обращенный спиною къ будущему, видитъ одно разложеніе, гніеніе, и потомъ нашествіе русскихъ, и потомъ варварство. Пораженный

этой страшной судьбой, онъ ищетъ средствъ спасенія, точку опоры, что-нибудь твердое, здоровое въ этомъ мірѣ агоніи, и ничего не находитъ. Онъ обращается за помощію къ нравственной смерти и къ физической—къ попу и къ солдату.

Что-же это за общественное устройство, которое надобно спасать такими средствами—и какое бы оно ни было, стоитъ-ли оно выкупа этой цѣной?

Мы согласны съ Донозо Кортесомъ, что Европа въ той формѣ, въ которой она находится теперь, разрушается. Соціалисты съ самаго перваго появленія своего постоянно говорили это; въ этомъ согласны всѣ они. Главнo различіе между ними и политическими революціонерами состоитъ въ томъ, что послѣдніе хотятъ переправлять и улучшать существующее, оставаясь на прежней почвѣ; въ то время какъ соціализмъ отрицаетъ полнѣйшимъ образомъ весь старый порядокъ вещей съ его правомъ и представительствомъ, съ его церковью и судомъ, съ его гражданскимъ и уголовнымъ кодексомъ — вполне отрицаетъ, такъ какъ христіане первыхъ вѣковъ отрицали міръ римскій.

Такое отрицаніе не капризъ больного воображенія, не личный вопль человѣка, оскорбленнаго обществомъ — а смертный приговоръ ему, предчувствіе конца, сознаніе болѣзни, влекущей дряхлый міръ къ гибели и къ возрожденію въ иныхъ формахъ. Современное государственное устройство падетъ подъ протестомъ соціализма; силы его истощены; что оно могло дать, оно дало; теперь оно поддерживается на счетъ собственной крови и плоти, оно не въ состояніи ни дальше развиваться, ни остановить развитіе; ему нечего ни сказать, ни дѣлать, и оно свело всю дѣятельность на консерватизмъ, на отстаиваніе своего мѣста.

Остановить исполненіе судебъ до нѣкоторой степени возможно; исторія не имѣетъ того строгаго, неизмѣннаго предназначенія, о которомъ учатъ католики и проповѣдуютъ философы, въ формулу ея развитія входитъ много измѣняемыхъ началъ — во-первыхъ, личная *воля* и *мощь*.

Можно сбить съ пути цѣлое поколѣніе, ослѣпить его, свести съ ума, направить къ ложной цѣли,—Наполеонъ доказалъ это.

Реакція даже и этихъ средствъ не имѣетъ; Донозо Кортесъ ничего не нашелъ кромѣ католической церкви и монархической казармы. Такъ какъ *открыть или не открыть* не зависитъ отъ произвола...остается насиліе, страхъ, гоненіе, казни.

...Многое прощается развитію, прогрессу; но тѣмъ не менѣе, когда терроръ дѣлается во имя успѣха и свободы — онъ по справедливости возмущилъ всѣ сердца. И этимъ-то средствомъ хочетъ воспользоваться реакція для того, чтобъ поддержать тотъ существующій порядокъ, котораго дряхлость и разложеніе засвидѣтельствованы съ такой энергіей нашимъ ораторомъ. Накликаютъ терроръ не для того, чтобъ идти впередъ, а для того, чтобъ идти назадъ, хотять убить ребенка, чтобъ прокормить отходящаго старика, чтобъ возвратить ему на минуту утраченныя силы.

Сколько надобно пролить крови, чтобъ возвратиться къ счастливымъ временамъ нантскаго эдикта и испанской инквизиціи. Мы не думаемъ, чтобъ задержать ходъ человечества на минуту было невозможно, но оно невозможно безъ вареоломеевскихъ ночей. Надобно уничтожить, избить, сослать, бросить въ тюрьму все энергическое нашего поколѣнія, все мыслящее, дѣятельное, надобно народъ еще глубже отодвинуть въ невѣжество;

взять все сильное въ немъ въ рекруты, надобно пройти нравственнымъ дѣтубійствомъ цѣлаго поколѣнія — и все это для того, чтобъ спасти истощенную общественную форму, которая не удовлетворяетъ *ни васъ, ни насъ*.

Но въ чемъ-же состоитъ въ такомъ случаѣ разница между русскимъ варварствомъ и католической цивилизаціей?

Пожертвовать тысячи людей, развитіе цѣлой эпохи — какому-то Молоху — государственнаго устройства, какъ будто оно и вся цѣль нашей жизни... Думали-ли вы объ этомъ, человѣколюбивые христіане? Жертвовать другими, имѣть за нихъ самоотверженіе слишкомъ легко, чтобъ быть добродѣтелью. Случается, что среди бурь народныхъ разнуздываются долго сгнетенныя страсти, кровавыя и беспощадныя, мстящія и неукротимыя — мы понимаемъ ихъ, склоняя голову и ужасаясь... но не возводимъ ихъ въ общее правило, не указываемъ на нихъ какъ на средство!

А развѣ не это значитъ панегирикъ Донозо Кортеса покорному и неразсуждающему солдату, на ружье котораго онъ опираетъ половину своихъ надеждъ?

Онъ говоритъ, „что священникъ и солдатъ гораздо ближе другъ къ другу, нежели думаютъ.“ Онъ сравниваетъ съ монахомъ, съ живымъ мертвецомъ — этого невиннаго убійцу, обреченнаго на злодѣяніе обществомъ. Страшное признаніе! Двѣ крайности погибающаго міра подають другъ другу руку, встрѣтившись какъ два врага въ „Тьмѣ“ Байрона. На развалинахъ гибнущаго свѣта для его спасенія послѣдній представитель умственной неволи соединяется съ послѣднимъ представителемъ неволи физической.

Церковь примирилась съ солдатомъ, какъ только она

сдѣлалась церковью государственной; но она никогда не осмѣлилась признаваться въ этой измѣнѣ, она понимала, сколько ложнаго было въ этомъ союзѣ, сколько лицемернаго; это была одна изъ тысячи уступокъ, которыя она дѣлала презираемому ею *временному* міру. Мы не будемъ ее обвинять за это, она была въ необходимости многое принимать вопреки своему ученію. Христіанская нравственность была всегда одной благородной мечтой, никогда не осуществлявшейся.

Но маркизь Вальдегамасъ отважно поставилъ солдата возлѣ попа, кордегардію рядомъ съ алтаремъ, евангеліе, отпущающее грѣхи, рядомъ съ военнымъ артикуломъ, разсгрѣливающимъ за проступки.

Пришло наше время пѣть „вѣчную память,“ или если хотите, „молебенъ.“ Конецъ церкви и конецъ войску!

Наконецъ маски упали. Наряженные узнали другъ друга. Разумѣется, что священникъ и солдатъ братья, они оба несчастныя дѣти нравственной тьмы, безумнаго дуализма, въ которомъ бьется и выбивается изъ силъ человѣчество — и тотъ, который говоритъ: „Люби твоего ближняго и повилуйся власти,“ въ сущности говоритъ тоже, что „повинуйся властямъ и стрѣлай въ твоего ближняго.“

Христіанское плотоумерщвление столько-же противно природѣ, какъ умерщвление другихъ по приказу; надобно было глубоко развратить, сбить съ толку всѣ простѣйшія понятія, все то, что называется совѣстью, чтобъ увѣрить людей, что убійство можетъ быть священной обязанностію — безъ вражды, безъ сознанія причины, противъ своего убѣжденія. Все это держится на одной и той-же основѣ, на той-же краеугольной ошибкѣ, которая стоила людямъ столько слезъ и столь-

ко крови — все это идетъ отъ презрѣнія земли и временнаго, отъ поклоненія небу и вѣчному, отъ неуваженія лицъ и поклоненія государству, отъ всѣхъ этихъ сентенцій въ родѣ *Salus populi suprema lex, pereat mundus et fiat justitia*, отъ которыхъ страшно пахнетъ жженымъ тѣломъ, кровью, инквизиціей, пыткой и вообще торжествомъ порядка.

Но за чѣмъ-же Донозо Кортесъ забылъ третьяго брата, третьяго ангела хранителя падающихъ государствъ — *Палача*? Не оттого-ли что палачъ все больше и больше смѣшивается съ солдатомъ, благодаря роли, которую его заставляютъ играть?

Всѣ добродѣтели уважаемыя Донозо Кортесомъ, скромно соединены въ палачѣ и притомъ въ высшей степени: покорность власти, слѣпое исполненіе и самоотверженіе безъ предѣловъ. Ему не нужно ни вѣры священника, ни одушевленія воина. Онъ убиваетъ хладнокровно, рассчитанно, безопасно, какъ законъ—во имя общества, во имя порядка. Онъ вступаетъ въ соревнованіе съ каждымъ злодѣемъ и постоянно выходитъ побѣдителемъ, потому что рука его опирается на все государство. Онъ не имѣетъ гордости священника, честолюбія солдата, онъ не ждетъ награды ни отъ Бога, ни отъ людей; ему нѣтъ ни славы, ни почета на землѣ, рай ему не обѣщанъ въ небѣ; онъ жертвуетъ всѣмъ, именемъ, честью, своимъ достоинствомъ, онъ прячется отъ глазъ людскихъ, и все это для торжественнаго наказанія враговъ общества.

Отдадимъ справедливость человѣку общественной мести, и скажемъ, подражая нашему оратору, „палачъ гораздо ближе къ священнику нежели, думаютъ.“

Палачъ играетъ великую роль всякій разъ, когда надобно распинать „новаго человѣка“ или обезглавить

старый коронованный призракъ... Мэстръ не забылъ объ немъ, говоря о Папѣ.

...И вотъ съ Голговой вспомнился мнѣ отрывокъ о гоненіяхъ первыхъ христіанъ. Прочтите его или, еще лучше, возьмите писанія первыхъ отцовъ, Тертуліана, и кого-нибудь изъ римскихъ консерваторовъ. Какое сходство съ современной борьбой — тѣ-же страсти, та-же сила съ одной стороны и тотъ-же отпоръ съ другой, даже выраженія тѣ-же.

Читая обвиненія христіанъ Цельса или Юліана въ безнравственности, въ безумныхъ утопіяхъ, въ томъ, что они убиваютъ дѣтей и развращаютъ большихъ, что они разрушаютъ государство, религію и семью, такъ и кажется, что это *premier-Paris Constitutionnel* или *Assemblée nationale*, только умнѣе написанный.

Если друзья порядка въ Римѣ не проповѣдывали избіеніе и рѣзню „Назареевъ“, то это только оттого, что языческій міръ былъ болѣе человѣчественъ, не такъ духовенъ, менѣе нетерпимъ, нежели католическое мѣщанство. Древній Римъ не зналъ сильныхъ средствъ, изобрѣтенныхъ западной церковью, такъ успѣшно употребленныхъ въ избіеніи Альбигойцевъ, въ варооломевскую ночь, во славу которой до сихъ поръ оставлены фрески въ Ватиканѣ, представляющіе богобоязненное очищеніе парижскихъ улицъ отъ Гугенотовъ; тѣхъ самыхъ улицъ, которыя мѣщане годъ тому назадъ такъ усердно очищали отъ социалистовъ. Какъ бы то ни было, духъ одинъ и разница часто зависитъ отъ обстоятельствъ и личностей. Впрочемъ, эта разница въ нашу пользу; сравнивая донесенія Бошара съ донесеніемъ Плинія младшаго, великодушіе цезаря Траяна, имѣвшаго отвращеніе отъ доносовъ на христіанъ, и неумѣтность цезаря Каваньяка, который не раздѣлялъ это-

го предразсудка относительно социалистовъ, мы видимъ, что умирающій порядокъ дѣлать до того уже плохъ, что онъ не можетъ найти себѣ такихъ защитниковъ, какъ Траянъ, ни такихъ секретарей слѣдственной комиссiи, какъ Плиній.

Общiя полицейскiя мѣры были тоже сходны. Христiанскiе клубы закрывались солдатами, какъ только доходили до свѣдѣнiя властей; христiанъ осуждали, не слушая ихъ оправданiй, придирались къ нимъ за мелочи, за наружные знаки, отказывая въ правѣ изложить свое ученiе. Это возмущало Тертуліана, какъ теперь всѣхъ насъ, и вотъ причина его апологетическихъ писемъ къ римскому Сенату. Христiанъ отдають на съѣденiе дикимъ звѣрямъ, замѣнявшимъ въ Римѣ полицейскихъ солдатъ. Пропаганда усиливается; унижительныя наказанiя не унижаютъ, напротивъ, осужденные становятся героями — какъ Буржскіе „каторжные“.*)

Вида безуспѣшность всѣхъ мѣръ — величайшій защитникъ порядка, религiи и государства, Діоклеціанъ рѣшился нанести страшный ударъ мятежному ученiю онъ мечемъ и огнемъ пошелъ на христiанъ.

Чѣмъ-же все это кончилось? Что сдѣлали консерваторы съ своей цивилизаціей (или культурой?), съ своими легионами, съ своимъ законодательствомъ, ликторами, палачами, дикими звѣрями, убійствами и прочими ужасами?

Они только дали доказательство, до какой степени можетъ дойти свирѣпость и звѣрство консерватизма, что за страшное орудіе солдатъ, слѣпо повинующiйся судѣбъ, который изъ него дѣлаетъ палача и съ тѣмъ вмѣстѣ доказали еще яснѣе всю несостоятельность этихъ средствъ противъ *слова*, когда пришло его время.

*) Бланки, Распаль, Барбесъ и пр. Процессъ 15 Мая 1848.

Замѣтимъ даже, что иной разъ древній міръ былъ правъ противъ христіанства, которое подрывало его во имя ученія утопическаго и невозможнаго. Можетъ и наши консерваторы иногда правы въ своихъ нападкахъ на отдѣльные соціальныя ученія... но къ чему имъ послужила ихъ правота? Время Рима проходило, время Евангелія наступало!

И всѣ эти ужасы, кровопролитія, мясничества, гоненія привели къ извѣстному крику отчаянія — умѣйшаго изъ реакціонеровъ, Юліана отступника, къ крику: *Ты побѣдилъ Галилеянина!*

(Voix du Peuple 15 Mars 1850.)*

*) Рѣчь Доноза Кортеса, испанскаго посланника сначала въ Берлинъ, потомъ въ Парижъ, — была напечатана въ безчисленномъ количествѣ экземпляровъ, на счетъ знаменитаго своей ничтожностію и истраченными на вздоръ суммами общества улицы Пуатье. Я тогда былъ на время въ Парижъ и въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ журналомъ Прудона. Редакторы предложили мнѣ написать отвѣтъ; Прудонъ былъ доволенъ имъ; за то Patrie разгнѣвалась и вечеромъ, повторивъ сказанное „о третьемъ защитникѣ общества,“ спрашивала Прокурора Республики, будетъ-ли онъ преслѣдовать статью, въ которой ѣ ставятъ солдатъ на одну доску съ палачемъ; а палача называютъ *палачемъ* (bourreau), а не исполнителемъ верховныхъ судебъ (exécuteur des hautes œuvres) и пр. Доносъ полицейскаго журнала имѣлъ свое дѣйствіе: черезъ день не оставалось въ редакціи ни одного нумера отъ сорока тысячъ — обыкновеннаго тиража Voix du Peuple.

РУССКОИ НАРОДЪ

И

СОЦІАЛИЗМЪ

ПИСЬМО КЪ И. МИШЛЕ



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ

Письмо это напечатанное въ первый разъ въ Ниццѣ въ 1851 г. было только извѣстно въ Піэмонтѣ и въ Швейцаріи. Въ Марселѣ французская полиція захватила почти все изданіе и по странной разсѣянности забыла отослать его назадъ — не смотря на требованія.

З. Свентославскій издалъ его вторымъ тисненіемъ въ Жерсеѣ въ 1854.

Желая послѣдовательно издать всѣ сочиненія Г. Герцена, писанные на другихъ языкахъ, въ русскомъ переводѣ, я издаю это письмо въ слѣдъ за Письмами къ В. Линтону (*Старый міръ и Россія*).

Переводъ, по моей просьбѣ, былъ пересмотрѣнъ авторомъ.

Н. ТРЮБНЕРЪ.

20 Марта 1858.

Милостивый государь.

Вы стоите слишком высоко въ мнѣніи всѣхъ мыслящихъ людей, каждое слово, вытекающее изъ вашего благороднаго пера, принимается европейскою демократіею съ слишкомъ полнымъ и заслуженнымъ довѣріемъ, чтобы въ дѣлѣ, касающемся самыхъ глубочайшихъ моихъ убѣжденій, мнѣ было возможно молчать, и оставить безъ отвѣта характеристику русскаго народа, помещенную Вами въ вашей легендѣ о Костюшкѣ.*)

Этотъ отвѣтъ необходимъ и по другой причинѣ. Пора показать Европѣ, что говоря о Россіи, говорятъ не объ отсутствующемъ, не о безотвѣтномъ, не о глухонѣмомъ.

Мы, оставившіе Россію только для того, чтобы свободное русское слово раздалось наконецъ въ Европѣ,—мы тутъ на лицо, и считаемъ долгомъ подать свой голосъ, когда человѣкъ вооруженный огромнымъ и заслуженнымъ авторитетомъ утверждаетъ, „что Россія не существуетъ, что русскіе не люди, что они лишены нравственнаго смысла.“

Если вы разумѣете Россію официальную, царство фасадъ, византійско-нѣмецкое правительство, то вамъ

*) Въ фельетонѣ журнала l'Événement, отъ 18 Августа до 17 Сентября 1851.—Послѣ этаго легенда о Костюшкѣ вошла въ особо изданный томъ сочиненій Мишле подъ заглавіемъ „Демократическихъ легендъ.“

и книги въ руки. Мы соглашаемся впередъ совѣмъ, что вы намъ скажете. Не намъ тутъ играть роль заступника. У русскаго правительства такъ много агентовъ въ прессѣ, что въ краснорѣчивыхъ апологіяхъ его дѣйствій никогда не будетъ недостатка.

Но не объ одномъ официальномъ обществѣ идетъ рѣчь въ вашемъ трудѣ; вы затрогиваете вопросъ болѣе глубокой; вы говорите о самомъ народѣ.

Бѣдный русскій народъ! Некому возвысить голосъ въ его защиту! Посудите сами, могу ли я, по совѣсти, молчать.

Русскій народъ, милостивый государь, живъ, здоровъ и даже не старъ, напротивъ того очень молодъ. Умираютъ люди и въ молодости, это бываетъ, но это не нормально.

Прошлое русскаго народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее. Онъ не *отрину*тъ въ свое настоящее положеніе, онъ имѣетъ дерзость тѣмъ болѣе ожидать отъ времени, чѣмъ менѣе оно дало ему до сихъ поръ.

Самый трудный для русскаго народа періодъ приближается къ концу. Его ожидаетъ страшная борьба; къ ней готовятся его враги.

Великій вопросъ, *to be, or not to be*, скоро будетъ рѣшенъ для Россіи. Но грѣшно передъ борьбою отчаяваться въ успѣхѣ.

Русскій вопросъ принимаетъ огромные, страшные размѣры; онъ сильно озабочиваетъ всѣ партіи; но мнѣ кажется, что слишкомъ, много занимаются Россіею императорскою, Россіею официальной, и слишкомъ мало Россіею народной, Россіею безгласной.

Даже смотря на Россію только съ правительственной точки зрѣнія, не думайте-ли вы, что не мѣшало бы по-

знакомиться по-ближе съ этимъ неудобнымъ сосѣдомъ, который даетъ чувствовать себя во всей Европѣ, тутъ штыками, тамъ шпионами? Русское правительство простирается до Средиземнаго моря своимъ покровительствомъ Оттоманской Портѣ, до Рейна своимъ покровительствомъ нѣмецкимъ своякамъ и дядямъ; до Атлантическаго океана своимъ покровительствомъ *порядку* во Франціи.

Не мѣшало бы, говорю я, одѣнить по достоинству этого всемірнаго покровителя, изслѣдовать, не имѣетъ ли это странное государство другаго призванія кромѣ отвратительной роли, принятой Петербургскимъ правительствомъ, роли преграды, безпрестанно вырастающей на пути человѣчества.

Европа приближается къ страшному катаклизму. Средневѣковый міръ рушится. Міръ феодальный кончается. Политическія и религіозныя революціи изнемогаютъ подъ бременемъ своего безсилія; онѣ совершили великія дѣла, но не исполнили своей задачи. Онѣ разрушили вѣру въ престолъ и алтарь, но не осуществили свободу; онѣ зажгли въ сердцахъ желанія, которыхъ онѣ не въ силахъ исполнить. Парламентаризмъ, протестантизмъ, все это были лишь отсрочки, временное спасеніе, безсильные оплоты противъ смерти и возрожденія. Ихъ время минуло. Съ 1849 г. стали понимать, что ни окостенѣлое римское право, ни хитрая казуистика, ни тощая деистическая философія, ни безплодный религіозный раціонализмъ не въ силахъ отодвинуть совершеніе судебъ общества.

Гроза приближается, этого отвергать невозможно. Въ этомъ соглашаются люди революціи и люди реакціи. У всѣхъ закружилась голова; тяжелый, жизненный вопросъ лежитъ у всѣхъ на сердцѣ и сдавливаетъ дыха-

ніе. Съ возрастающимъ безпокойствіемъ всё задають себѣ вопросъ, достанетъ-ли силы на возрожденіе старой Европѣ, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму. Со страхомъ ждутъ отвѣта, и это ожиданіе ужасно.

Дѣйствительно, вопросъ страшный!

Сможетъ-ли старая Европа обновить свою остывающую кровь и бросится стремглавъ въ это необозримое будущее, куда увлекаетъ ее необоримая сила, къ которому она несется безъ оглядки, къ которому путь идетъ, можетъ быть, черезъ развалины отцовскаго дома, черезъ обломки минувшихъ цивилизацій, черезъ погранныя богатства новѣйшаго образованія.

Съ обѣихъ сторонъ вѣрно повѣли всю важность настоящей минуты. Европа погружена въ глухой, душный мракъ на канунѣ рѣшительной битвы. Это не жизнь, а тяжелое, тревожное томленіе. Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы; вездѣ неограниченное господство свѣтской инквизиціи; вмѣсто законнаго порядка — осадное положеніе. Одинъ нравственный двигатель управляетъ всѣмъ; страхъ, и его достаточно. Всѣ вопросы отступаютъ на второй планъ передъ всепоглащающимъ интересомъ реакціи. Правительства повидимому самыя враждебныя сливаются въ единую, вселенскую полицію. Русскій Императоръ, не скрывая своей ненависти къ французамъ, награждаетъ парижскаго префекта полиціи; король Неаполитанскій жалуетъ орденъ президенту Республики. Берлинскій король, надѣвъ русскій мундиръ, спѣшитъ въ Варшаву обнимать своего врага, императора Австрійскаго, въ благодатномъ присутствіи Николая, въ то время какъ онъ, отщепенецъ отъ единой спасающей церкви, предлагаетъ свою помощь Римскому владыкѣ. Среди этихъ сатурналій, среди

этого шабаша реакціи, ничто не охраняетъ болѣе личности отъ произвола. Даже тѣ гарантіи, которыя существуютъ въ неразвитыхъ обществахъ, въ Китаѣ, въ Персіи, не уважаются болѣе въ столицахъ такъ называемаго образованнаго міра.

Едва вѣришь глазамъ. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?

Право, если-бы не было свободной и гордой Англіи, „этого алмаза, оправленнаго въ серебро морей,“ какъ называется его Шэкспиръ, если-бы Швейцарія, какъ Петръ, убоявшись Кесаря, отеклась отъ своего начала, если-бы Піэмонтъ, эта уцѣлѣвшая вѣтка Италіи, это послѣднее убѣжище свободы, загнанной за Альпы и не перешедшей Аппенины, если-бы и они увлеклись примѣромъ сосѣдей, если-бы и эти три страны заразились мертвящимъ духомъ, вѣющимъ изъ Парижа и Вѣны, можно было бы подумать, что консерваторамъ уже удалось довести старый міръ до конечнаго разложенія, что во Франціи и Германіи уже наступили времена варварства.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертнаго томленія и мучительнаго возрожденія, среди этого міра, распадающагося въ прахъ вокругъ колыбели, взоры невольно обращаются къ востоку.

Тамъ, какъ темная гора, вырѣзывающаяся изъ за тумана, видѣется враждебное, грозное царство; порою кажется, оно идетъ какъ лавина на Европу, что оно, какъ нетерпѣливый наслѣдникъ, готово ускорить ея медленную смерть.

Это царство, совершенно неизвѣстное двѣсти лѣтъ тому назадъ, явилось вдругъ, безъ всякихъ правъ, безъ всякаго приглашенія, грубо и громко заговорило въ

совѣтъ европейскихъ державъ, и потребовало себѣ доли въ добычѣ, собранной безъ его содѣйствія.

Никто не посмѣлъ возстать противъ его притязаній на вмѣшательство во всѣ дѣла Европы.

Карлъ XII попытался, но его до тѣхъ поръ непобѣдимый мечъ сломился; Фридрихъ II захотѣлъ воспротивиться посягательствамъ петербургскаго двора; Кёнигсбергъ и Берлинъ сдѣлались добычею сѣвернаго врага. Наполеонъ проникъ съ полумилліономъ войска въ самое сердце исполина и уѣхалъ одинъ украдкою, въ первыхъ попавшихся пошевняхъ. Европа съ удивленіемъ смотрѣла на бѣгство Наполеона, на несущіяся за нимъ въ погоню тучи казаковъ, на русскія войска, идущія въ Парижъ и подающіе по дорогѣ нѣмцамъ милостыню — ихъ національной независимости. Съ тѣхъ поръ Россія налегла какъ Вампиръ на судьбы Европы и стережетъ ошибки царей и народовъ. Вчера она чуть не раздавила Австрію, помогая ей противъ Венгріи, завтра она провозгласитъ Бранденбургъ русскою губерніею, чтобы успокоить берлинскаго короля.

Вѣроятно ли, что на канунѣ борьбы, объ этомъ бойцѣ ничего не знаютъ? А между тѣмъ онъ уже стоитъ, грозный, въ полномъ вооруженіи, готовый переступить границу по первому зову реакціи. И при всемъ томъ, едва знаютъ его оружіе, цвѣтъ его знамени, и довольствуются его официальными рѣчами и неопредѣленными разногласными разсказами о немъ.

Иные говорятъ только о всемогуществѣ царя, о правительственномъ произволѣ, о рабскомъ духѣ подданныхъ; другіе утверждаютъ напротивъ, что петербургскій имперіализмъ не народенъ, что народъ, раздавленный двойнымъ деспотизмомъ правительства и помѣщиковъ, несетъ ярмо, но не мирится съ нимъ, что онъ не

уничтоженъ, а только несчастенъ и въ то же время говорятъ, что этотъ самый народъ придаетъ единство и силу колоссальному царству, которое давить его. Иные прибавляютъ, что русскій народъ *презрѣнный сбродъ* пьяницъ и плутовъ; другіе-же увѣряютъ, что Россія населена способною и богато одаренною порою людей.

Мнѣ кажется, есть что-то трагическое въ старческой разсѣянности, съ которою старый міръ спутываетъ всѣ свѣдѣнія объ своемъ противникѣ.

Въ этомъ сбродѣ противурѣчащихъ мнѣній проглядываетъ столько безмысленныхъ повтореній, такая печальная поверхностность, такая закоснѣлость въ предразсудкахъ, что мы поневолѣ обращаемся за сравненіемъ къ временамъ паденія Рима.

Тогда, также наканунѣ переворота, наканунѣ побѣды варваровъ, провозглашали вѣчность Рима, безсильное безуміе Назареевъ и ничтожность движенія, начинавшагося въ варварскомъ мірѣ.

Вамъ принадлежитъ великая заслуга: вы первый во Франціи заговорили о русскомъ народѣ, вы невзначай коснулись самага сердца, самага источника жизни. Истина сейчасъ бы обнаружилась вашему взору, еслибъ въ минуту гнѣва вы не отдернули протянутой руки, еслибъ вы не отвернулись отъ источника, потому что онъ показался мутнымъ.

Я съ глубокимъ прискорбіемъ прочелъ ваши озлобленныя слова. Печальный, съ тоскою въ сердцѣ, я признаюсь напрасно искалъ въ нихъ историка, философа, и прежде всего любящаго человѣка, котораго мы всѣ знаемъ и любимъ. Спѣшу оговориться; я вполне понялъ причину вашего негодованія; въ васъ заговорила симпатія къ несчастной Польшѣ. Мы также глубоко испытываемъ это чувство къ нашимъ братьямъ поля-

камъ, и у насъ это чувство не только жалость, а также стыдъ и угрызение совѣсти. Любовь къ Польшѣ! Мы всѣ ее любимъ, но развѣ съ этимъ чувствомъ необходимо сопрягать ненависть къ другому народу, столь же несчастному, народу, который принужденъ былъ своими связанными руками помогать злодѣйствамъ свирѣпаго правительства? Будемъ великодушны, не забудемъ, что на нашихъ глазахъ народъ, вооруженный всѣми трофеями недавней революціи, согласился на восстановление варшавскаго порядка въ Римѣ; а сегодня....взгляните сами, что происходитъ вокругъ васъ....а вѣдь мы не говоримъ еще, чтобы французы *перестали быть людьми*.

Пора забыть эту несчастную борьбу между братьями. Между нами нѣтъ побѣдителя. Польша и Россія подавлены общимъ врагомъ. Жертвы, мученики и тѣ отворачиваются отъ прошлаго, равно печальнаго для нихъ и для насъ. Ссылаюсь, какъ вы, на вашего друга, на великаго поэта Мицкевича.

Не говорите о мифіяхъ польскаго пѣвца, что „это милосердіе, святое заблужденіе.“ Нѣтъ, это плоды долгой и добросовѣстной думы, глубокаго пониманія судебъ славянскаго міра. Прощеніе враговъ—прекрасный подвигъ; но есть подвигъ еще болѣе прекрасный, еще больше человѣческій; это пониманіе враговъ, потому что пониманіе разомъ прощеніе, оправданіе, примиреніе!

Славянскій міръ стремится къ единству; это стремленіе обнаружилось тотчасъ послѣ Наполеоновскаго періода. Мысль о славянской федераціи уже зарождалась въ революціонныхъ планахъ Пестеля и Муравьева. Многіе поляки участвовали въ тогдашнемъ русскомъ заговорѣ.

Когда вспыхнула въ Варшавѣ революція 1830 года, русскій народъ не обнаружилъ ни малѣйшей вражды

противъ ослушниковъ воли царской. Молодежь всѣмъ сердцемъ сочувствовала полякамъ. Я помню, съ какимъ нетерпѣніемъ ждали мы извѣстія изъ Варшавы; мы плакали какъ дѣти при вѣсти о поминкахъ, справленныхъ въ столицѣ Польши по нашимъ петербургскимъ мученикамъ. Сочувствіе къ полякамъ подвергало насъ жестокимъ наказаніямъ; поневолѣ надобно было скрывать его въ сердцахъ и молчать.

Очень можетъ быть, что во время войны 1830 года, въ Польшѣ преобладало чувство исключительной національности и весьма понятной вражды. Но съ тѣхъ поръ, дѣятельность Мицкевича, историческіе и филологическіе труды многихъ славянъ, болѣе глубокое знаніе европейскихъ народовъ, купленное тяжелою цѣною изгнанія, дали мыслямъ совсѣмъ другое направленіе. Поляки почувствовали, что борьба идетъ не между русскимъ народомъ и ими, они поняли, что имъ впредь можно сражаться не иначе, какъ *за ихъ и нашу свободу*, какъ было написано на ихъ революціонномъ знамени.

Конарскій, измученный и застрѣленный Николаемъ въ Вильнѣ, призывалъ къ возстанію русскихъ и поляковъ, безъ различія племени. Россія отблагодарила его одною изъ тѣхъ едва извѣстныхъ трагедій, которыми оканчивается у насъ всякое героическое проявленіе воли подъ давленіемъ нѣмецкихъ ботфортовъ.

Армейскій офицеръ Короваевъ рѣшился спасти Конарскаго. День его дежурства приближался; все было приготовлено для бѣгства, когда предательство одного изъ товарищей польскаго мученика разрушило его планы. Молодаго человѣка арестовали, отправили въ Сибирь, и съ тѣхъ поръ объ немъ не было никогда слуховъ.

Я провелъ пять лѣтъ въ ссылкѣ, въ отдаленныхъ

губерніяхъ Имперіи; много встрѣчалъ я тамъ ссыльныхъ поляковъ. Почти въ каждомъ уѣздномъ городѣ живетъ либо цѣлое семейство, либо одинъ изъ несчастныхъ воиновъ независимости. Я охотно сослался бы на ихъ свидѣтельство; конечно они не могутъ пожаловаться на недостатокъ симпатіи со стороны мѣстныхъ жителей. Разумѣется, тутъ рѣчь идетъ не о полиціи и не о высшей военной іерархіи. Онѣ нигдѣ не отличаются любовью къ свободѣ, тѣмъ паче въ Россіи. Я могъ бы сослаться также на польскихъ студентовъ, посылаемыхъ ежегодно въ русскіе университеты, для удаленія отъ родныхъ вліяній; пусть они расскажутъ, какъ принимали ихъ русскіе товарищи. Они разставались съ нами со слезами на глазахъ.

Вы помните, что въ 1847 году, въ Парижѣ, когда польскіе эмигранты праздновали годовщину своей революціи, на трибунѣ явился русскій, чтобы просить о дружбѣ и о забвеніи прошлаго. Это былъ нашъ несчастный другъ Бакунинъ..... Впрочемъ, чтобъ не ссылаться на соотечественниковъ, выбираю между тѣми, которыхъ считаютъ нашими врагами, человека, котораго вы сами называли въ вашей легендѣ о Костюшкѣ. Обратитесь за свѣдѣніями объ этомъ предметѣ къ одному изъ старѣйшинъ польской демократіи, къ Бернацкому, одному изъ министровъ революціонной Польши, я смѣло ссылаюсь на него, долгое горе конечно могло бы ожесточить его противъ всего русскаго. Я убѣжденъ, что онъ подтвердитъ все сказанное мною.

Солидарность, связывающая Россію и Польшу между собою и со всѣмъ славянскимъ міромъ, не можетъ быть отвергнута; она очевидна. Еще болѣе: виѣ Россіи. нѣтъ будущности для Славянскаго міра; безъ Россіи, онъ не разовьется, онъ расплывается и будетъ поглощенъ гер-

манскимъ элементомъ; онъ сдѣляется австрійскимъ и теряетъ свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнѣнію, его судьба, его назначеніе.

Слѣдуя за постепеннымъ развитіемъ вашей мысли, я долженъ вамъ признаться, что мнѣ невозможно согласиться съ вашимъ взглядомъ, по которому вся Европа представляетъ одну личность, въ которой каждая народность играетъ роль необходимаго органа.

Мнѣ кажется, что всѣ германо-романскія народности необходимы въ европейскомъ мірѣ, потому что онѣ существуютъ въ немъ вслѣдствіе какой-нибудь необходимости. Уже Аристотель отличалъ предсуществующую необходимость отъ необходимости вносимой въ послѣдствіи фактовъ. Природа покоряется необходимости совершившихся событій, но колебаніе между разнообразными возможностями очень велико. На томъ же основаніи славянскій міръ можетъ предъявлять свои права на единство, тѣмъ болѣе, что онъ состоитъ изъ единого племени.

Централизація противна славянскому духу; федерализація гораздо свойственнѣе его характеру. Только сгруппировавшись въ союзъ свободныхъ и самобытныхъ народовъ, славянскій міръ вступить наконецъ въ истинно-историческое существованіе. На его прошлое можно смотрѣть только какъ на ростъ, на приготовленіе, на очищеніе. Историческія государственныя формы, въ которыхъ жили Славяне, не соотвѣтствовали внутренней національной потребности ихъ, потребности неопредѣленной, инстинктивной, если хотите, но тѣмъ самымъ заявляющей необыкновенную жизненность и много обѣщающей въ будущемъ. Славяне до сихъ поръ во всѣхъ фазахъ своей исторіи обнаруживали странное полу вниманіе — даже удивительную симпатію. Такъ Россія

перепла изъ язычества въ христiанство безъ потрясенiй, безъ возмущенiй, единственно изъ покорности великому князю Владимiру, изъ подражанiя Киеву. Старыхъ идоловъ безъ сожалѣнiя бросили въ Волховъ и покорились новому богу, какъ новому идолу.

Восемь сотъ лѣтъ спусти, часть Россiи точно также покорилась выписной изъ за границы цивилизацiи.

Славянскiй мiръ похожъ на женщину, никогда не любившую и по этому самому по видимому не принимающую никакого участiя во всемъ происходящемъ вокругъ нея. Она вездѣ ненужна, всѣмъ чужая. Но за будущее отвѣчать нельзя; она еще молода, и уже странное томленiе овладѣло ея сердцемъ и заставляетъ его биться скорѣе.

Что касается до богатства народнаго духа, то намъ достаточно указать на поляковъ, единственный славянскiй народъ, который бывалъ разомъ и силенъ и свободенъ.

Славянскiй мiръ въ сущности не такъ разнороденъ, какъ кажется. Подъ виѣшнимъ слоемъ рыцарской, либеральной и католической Польши, императорской, порабощенной, византiйской Россiи, подъ демократическимъ правленiемъ сербскаго воеводы, подъ бюрократическимъ ярмомъ, которымъ Австрiя подавляетъ Иллирiю, Далмацiю и Банатъ, подъ патрiархальною властiю Османлисовъ и подъ благословенiемъ черногорскаго Владыки, живетъ народъ физiологически и этнографически тождественный.

Большая часть этихъ славянскихъ племенъ почти никогда не подвергалась порабощенiю вслѣдствiе завоеванiя. Зависимость, въ которой такъ часто находились они, большею частiю выражалась только въ признанiи чужаго владычества и во вносѣ дани. Таковъ напри-

миръ былъ характеръ монгольскаго владычества въ Россіи. Такимъ образомъ Славяне сквозь длинный рядъ столѣтій сохранили свою національность, свои права, свой языкъ.

По всему вышесказанному, не имѣемъ-ли мы право считать Россію зерномъ кристаллизаціи, тѣмъ центромъ, къ которому тяготѣтъ стремящійся къ единству Славянскій міръ, и это тѣмъ болѣе, что Россія покуда единственная часть великаго племени, сложившаяся въ сильное и независимое государство?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ бы совершенно ясенъ, если бы петербургское правительство сколько нибудь догадывалось бы о своемъ національномъ призваніи, еслибы этотъ тупой и мертвящій деспотизмъ могъ ужиться съ какою нибудь человѣческою мыслию. Но при настоящемъ положеніи дѣлъ, какой добросовѣстный человѣкъ рѣшится предложить западнымъ Славянамъ соединеніе съ имперією, находящеюся постоянно въ осадномъ положеніи, имперією, гдѣ скипетръ превратился въ заколачивающую на смерть палку?

Императорскій панславизмъ, восхваляемый отъ времени до времени людьми купленными или заблуждающимися, разумѣется, не имѣетъ ничего общаго съ союзомъ, основанномъ на началахъ свободы.

Здѣсь логика необходимо приводитъ насъ къ вопросу первостепенной важности.

Предположивъ, что славянскій міръ можетъ надѣяться въ будущемъ на болѣе полное развитіе, нельзя не спросить, который изъ элементовъ, выразившихся въ его зародышномъ состояніи, даетъ ему право на такую надежду? Если Славяне считаютъ, что ихъ время пришло, то этотъ элементъ долженъ соответствовать революціонной идеѣ въ Европѣ.

Вы указали на этот элементъ, вы коснулись его, но онъ ускользнулъ отъ васъ, потому что благородное страданіе къ Польшѣ отвлекло ваше вниманіе.

Вы говорите, что „основаніе жизни русскаго народа есть коммунизмъ,“ вы утверждаете, что „его сила лежить въ аграрномъ законѣ, въ постоянномъ дѣленіи земли.“

Какое страшное *Мане-Өекель* вылетѣло изъ Вашихъ устъ!.... Коммунизмъ въ основаніи! Сила, основанная на раздѣлѣ земель! И вы не испугались вашихъ собственныхъ словъ?

Не слѣдовало-ли тутъ остановиться, подумать, углубиться въ вопросъ, оставить его не прежде, чѣмъ убѣдившись, мечта это или истина?

Развѣ въ XIX столѣтіи есть какой нибудь серьезный интересъ, лежащій внѣ вопроса о коммунизмѣ, внѣ вопроса о раздѣлѣ земель?

Увлеченный вашимъ негодованіемъ, вы продолжаете: „У нихъ (у русскихъ) недостаетъ существеннаго признака человѣчности, нравственнаго чутія, чувства добра и зла. Истина и правда не имѣютъ для нихъ смысла; заговорите о нихъ, — они молчатъ, улыбаются и не знаютъ, что значать эти слова.“ Кто-же тѣ русскіе, съ которыми вы говорили? Какія понятія о правдѣ и истинѣ оказались для нихъ недоступными? Этотъ вопросъ не лишній. Въ наше глубоко-революціонное время слова *правда* и *истина* утратили свое абсолютное, тождественное для всѣхъ значеніе.

Истина и *правда* старой Европы, въ глазахъ Европы рождающейся—*неправда* и *ложь*.

Народы, произведенія природы; исторія — прогрессивное продолженіе животнаго развитія. Прилагая нашъ нравственный масштабъ къ природѣ, мы далеко не уй-

демъ. Ей дѣла нѣтъ ни до нашей хулы, ни до нашего одобренія. Для нея не существуютъ приговоры и Монтионовскія преміи. Она не подпадаетъ подъ этическихъ категоріи, созданныя нашимъ личнымъ произволомъ. Мнѣ кажется, что народъ нельзя назвать ни дурнымъ, ни хорошимъ. Въ народѣ всегда выражается истина. Жизнь народа не можетъ быть ложью. Природа производитъ лишь то, что осуществимо при данныхъ условіяхъ: она увлекаетъ впередъ все существующее своимъ творческимъ броженіемъ, своею неутомимой жаждой осуществленія, этою жаждой, общей всему живущему.

Есть народы, жившіе жизнью до-исторической; другіе, живущіе жизнью внѣ-историческою; но разъ вступивши въ широкій потокъ единой и нераздѣльной исторіи, они принадлежать *человѣчеству*, и съ другой стороны имъ принадлежитъ все прошлое *человѣчества*. Въ исторіи т. е. въ дѣятельной и прогрессивной части *человѣчества*, мало по малу сглаживается аристократія лица, ваго угла, цвѣта кожи и другихъ различій. То, что не очеловѣчилось, не можетъ вступить въ исторію; поэтому нѣтъ народа, взошедшаго въ исторію, котораго можно было бы считать стадомъ животныхъ, какъ нѣтъ народа, заслуживающаго именоваться сонмомъ избранныхъ.

Нѣтъ *человѣка* довольно смѣлаго или довольно неблагодарнаго, что бы отвергать огромное значеніе Франціи въ судьбахъ европейскаго міра; но позвольте мнѣ откровенно признаться, что я не могу согласиться съ вашимъ мнѣніемъ, по которому участіе Франціи — условіе *sine qua non* дальнѣйшаго хода исторіи.

Природа никогда не кладетъ весь свой капиталъ на одну карту. Римъ вѣчный городъ, имѣвшій не меньше правъ на всемірную гегемонію, пошатнулся, разрушился,

исчезъ, и безжалостное человѣчество шагнуло впередъ черезъ его могилу.

Съ другой стороны, трудно было бы, не считая природу за осуществленное безуміе, видѣть лишь отверженное племя, лишь громадную ложь, лишь случайный сборъ существъ человѣческихъ только по порокамъ — въ народѣ, разроставшемся въ теченіи десяти столѣтій, упорно хранившемъ свою національность, сплотившемся въ огромное государство, вмѣшивающемся въ исторію, гораздо болѣе, можетъ быть, чѣмъ бы слѣдовало.

И все это тѣмъ труднѣе принять, что занимающій насъ народъ, даже по словамъ его враговъ, нисколько не находится въ застоѣ. Это вовсе не племя, дошедшее до общественныхъ формъ, приблизительно соответствующихъ его желаніямъ и уснувшее въ нихъ, какъ китайцы—еще менѣе народъ пережившій себя и угасающій въ старческой немощи, какъ индусы. Напротивъ того, Россія государство совершенно новое — неконченное зданіе, гдѣ все еще пахнетъ свѣжей известью, гдѣ все работаетъ и вырабатывается, гдѣ ничто еще не достигло цѣли, гдѣ все измѣняется, часто къ худшему, но все таки измѣняется. Однимъ словомъ, это народъ, по вашему мнѣнію, имѣющій основнымъ началомъ коммунизмъ, сильный раздѣломъ земель....

Въ чемъ, наконецъ, упрекаете вы русскій народъ? Въ чемъ состоитъ сущность вашего обвиненія?

„Русскій, говорите вы, лжетъ и крадетъ; постоянно крадетъ, постоянно лжетъ, и это совершенно невинно; это въ его природѣ.“

Я не останавливаюсь на чрезмѣрномъ обобщеніи вашего приговора, но обращаюсь къ вамъ съ простымъ вопросомъ: Кого обманываетъ, кого обкрадываетъ русскій человѣкъ? Кого, какъ не помѣщика, не чиновника,

не управляющаго, не полицейскаго. однимъ словомъ, заклятыхъ враговъ крестьянина, которыхъ онъ считаетъ за басурмановъ, за отступниковъ, за полу-нѣмцевъ? Лишенный всякой возможности защиты, онъ хитритъ съ своими мучителями, онъ ихъ обманываетъ, и въ этомъ совершенно правъ. Хитрость, М. Г., по словамъ великаго мыслителя,^{*)} пронія грубой власти.

Русскій крестьянинъ, при своемъ отвращеніи отъ личной поземельной собственности, такъ вѣрно подмѣченномъ вами, при своей беззаботной и лѣнливой природѣ, мало по малу и незамѣтно запутался въ сѣти нѣмецкой бюрократіи и помѣщичьей власти. Онъ подвергся этому унижающему злу, съ страдательною покорностію, но онъ не повѣрилъ ни правамъ помѣщика, ни правдѣ судовъ, ни законности исполнительной власти. Вотъ уже почти двѣсти лѣтъ, какъ все его существованіе стало глухою, отрицательною оппозиціею противъ существующаго порядка вещей. Онъ покоряется притѣсненію, онъ терпитъ, но не причастенъ ничему, что происходитъ внѣ сельской общины.

Имя царя еще возбуждаетъ въ народѣ суевѣрное сочувствіе; не передъ царемъ Николаемъ благоговѣтъ народъ, но передъ отвлеченной идеею, передъ мѣломъ; въ народномъ воображеніи царь представляется грознымъ мстителемъ, осуществленіемъ правды, земнымъ провидѣніемъ.

Послѣ царя, одно духовенство могло бы имѣть вліяніе на православную Россію. Оно одно представляетъ въ правительственныхъ сферахъ старую Русь; духовенство не брѣетъ бороды, и тѣмъ самымъ осталось на сторонѣ народа. Народъ съ довѣріемъ слушаетъ монаховъ. Но монахи и высшее духовенство, исключительно занятые

^{*)} Гегель, въ посмертныхъ сочиненіяхъ.

жизнию загробной, ни мало не заботятся объ народѣ. Попы же утратили всякое вліяніе вслѣдствіе жадности, пьянства и близкихъ сношеній съ полиціей. И здѣсь народъ уважаетъ идею, но не личности.

Что до раскольниковъ, то они ненавидятъ и лице и идею, и попа и царя.

Кромѣ царя и духовенства, всѣ элементы правительства и общества совершенно чужды, существенно враждебны народу. Крестьянинъ находится, въ буквальномъ смыслѣ слова, внѣ закона. Судъ ему не заступникъ, и все его участіе въ существующемъ порядкѣ дѣлъ ограничивается двойнымъ налогомъ, тяготѣющимъ на немъ, и который онъ вноситъ трудомъ и кровью. Отверженный всѣми, онъ понялъ инстинктивно, что все управление устроено не въ его пользу, а ему въ ущербъ, и что задача правительства и помѣщиковъ состоитъ въ томъ, какъ бы вымучить изъ него побольше труда, побольше рекрутъ, побольше денегъ. Понявши это, и одаренный смѣтливимъ и гибкимъ умомъ, онъ обманываетъ ихъ вездѣ и во всемъ. Иначе и быть не можетъ; еслибъ онъ говорилъ правду, онъ тѣмъ самымъ признавалъ бы надъ собою ихъ власть; еслибъ онъ ихъ не обкрадывалъ (замѣтите, что со стороны крестьянина считаютъ покражею утайку части произведеній собственнаго труда) онъ тѣмъ самымъ признавалъ бы законность ихъ требованій, права помѣщиковъ и справедливость судей.

Надобно видѣть русскаго крестьянина передъ судомъ, что бы вполне понять его положеніе; надобно видѣть его убитое лице, его пугливый, испытующій взоръ, что бы понять, что это военно-плѣнный передъ военнымъ совѣтомъ, путникъ передъ шайкою разбойниковъ. Съ перваго взгляда замѣтно, что жертва не имѣетъ ни малѣйшаго довѣрія къ этимъ враждебнымъ, безжало-

стнымъ, ненасытнымъ грабителямъ, которые допрашиваютъ, терзаютъ и обираютъ его. Онъ знаетъ, что если у него есть деньги, то онъ будетъ правъ, если нѣтъ—виновать.

Русскій народъ говоритъ своимъ старымъ языкомъ; судьи и подьячіе пишутъ новымъ бюрократическимъ языкомъ, уродливымъ и едва понятнымъ, — они наполняютъ цѣлѣ in-folio грамматическими несообразностями и скороговоркой отчитываютъ крестьянину эту чепуху. Понимай, какъ знаешь, и выпутывайся, какъ умѣешь. Крестьянинъ видитъ, къ чему это клонится и держитъ себя осторожно. Онъ не скажетъ лишняго слова, онъ скрываетъ свою тревогу и стоитъ молча, прикидываясь дуракомъ.

Крестьянинъ, оправданный судомъ, плетется домой такой-же печальный какъ послѣ приговора. Въ обоихъ случаяхъ, рѣшеніе кажется ему дѣломъ произвола или случайности.

Такимъ образомъ, когда его призываютъ въ свидѣтели, онъ упорно отзывается невѣденіемъ, даже противъ самой неопровержимой очевидности. Приговоръ суда не мараетъ человѣка въ глазахъ русскаго народа. Ссылные, каторжные слывать у него *несчастными*.

Жизнь русскаго народа до сихъ поръ ограничивалась общиною; только въ отношеніи къ общинѣ и ея членамъ признаетъ онъ за собою права и обязанности. Въ общины все ему кажется основанномъ на насиліи. Роковая сторона его характера состоитъ въ томъ, что онъ покоряется этому насилію, а не въ томъ, что онъ отрицаетъ его по своему и старается оградить себя хитростію. Ложь передъ судьей, поставленнымъ незаконною властію, гораздо откровеннѣе чѣмъ лицемерное уваженіе къ присланнымъ купленнымъ

префектомъ. Народъ уважаетъ только тѣ установленія, въ которыхъ отразились присущія ему понятія о законѣ и правѣ.

Есть фактъ, несомнѣнный для всякаго, кто близко познакомится съ русскимъ народомъ. Крестьяне рѣдко обманываютъ другъ друга; между ними господствуетъ почти неограниченное довѣріе, они не знаютъ контрактовъ и письменныхъ условій.

Вопросы о размежеваніи полосъ по необходимости бывають очень сложны при безпрестанныхъ раздѣлахъ земель по числу тяголъ; между тѣмъ дѣло обходится безъ жалобъ и процессовъ. Помѣщики и правительство жадно ищутъ случая для вмѣшательства; но этотъ случай не представляется. Мелкія несогласія повергаются на судъ старикамъ или міру, и ихъ рѣшеніе безпрекословно принимается всѣми. Точно также въ артеляхъ. Артели составляются часто изъ нѣскольکو сотенъ работниковъ, соединяющихся на опредѣленное время, напримѣръ на годъ. По прошествіи года, работники дѣлятъ между собою заработки по трудамъ cadaго и по общему соглашенію. Полиція никогда не имѣетъ удовольствія вмѣшиваться въ ихъ счеты. Почти всегда артель отвѣчаетъ за cadaго изъ артельщиковъ.

Еще тѣснѣе становится связь между крестьянами одной общины, когда они не православные, а раскольники. Отъ времени до времени правительство устраиваетъ дикій набѣгъ на какую нибудь раскольникую деревню. Крестьянъ сажаютъ въ тюрьму, ссылають, все это безъ всякаго плана, безъ послѣдовательности, безъ всякаго повода и нужды, единственно для того, чтобы удовлетворить требованіямъ духовенства и дать занятіе полиціи. При этихъ-то охотахъ по раскольникамъ обнаруживается вновь характеръ русскихъ крестьянъ, со-

лидарность, связывающая ихъ между собою. Тогда-то надобно видѣть, какъ они успѣваютъ обманывать полицію. спасать своихъ братьевъ, скрывать священныя книги и сосуды, какъ они претерпѣваютъ, не проговариваясь, самыя ужасныя муки. Пусть укажутъ мнѣ хоть одинъ случай, въ которомъ бы раскольничья община была выдана крестьянному, хотя-бы и православному.

Это свойство русскаго характера дѣлаетъ полицейскія слѣдствія чрезвычайно затруднительными. Нельзя этому не порадоваться отъ души. У русскаго крестьянина нѣтъ нравственности кромѣ вытекающей инстинктивно, естественно изъ его коммунизма; эта нравственность глубоко-народная; немногое, что извѣстно ему изъ Евангелія, поддерживаетъ ее; явная несправедливость помѣщиковъ привязываетъ его еще болѣе къ его правамъ и къ общинному устройству.*)

*) Крестьянская община, принадлежавшая Кн. Козловскому откупилась на волю. Землю раздѣлили между крестьянами сообразно суммамъ, внесеннымъ каждымъ изъ нихъ въ складчину для выкупа. Это распоряженіе по видимому было самое естественное и справедливое. Однакожъ крестьяне нашли его столь неудобнымъ и несогласнымъ съ ихъ обычаями, что они рѣшились распределить между собою всю сумму выкупа, какъ-бы долгъ лежащій на общинѣ, и раздѣлить земли по принятому обыкновению. Этотъ фактъ приводится *Г. Гакстаузенемъ*. Авторъ самъ посѣщалъ упомянутую деревню.

— *Г. Тениоборскій* говорить въ книгѣ, недавно вышедшей въ Парижѣ и посвященной императору Николаю, что эта система раздѣла земель кажется ему неблагоприятною для земледѣлія (какъ будто ея дѣлъ успѣхи земледѣлія!) но, впрочемъ, прибавляетъ: „Трудно устранить эти неудобства потому, что эта система дѣлений связана съ устройствомъ нашихъ общинъ, до котораго коснуться было бы опасно: оно построено на ея основной мысли объ единствѣ общины и о правѣ cadaqua члена на часть общиннаго владѣнія, сообразную его силамъ, поэтому оно поддерживаетъ общинный духъ, этотъ надежный оплотъ общественнаго порядка. Оно въ то-же время самая лучшая защита противъ распространенія пролетаріата и коммунистическихъ идей. (Понятно, что для народа, обладающаго на

Община спасла русскій народъ отъ монгольскаго варварства и отъ императорской цивилизаціи. отъ выкрашенныхъ по европейски помѣщиковъ и отъ нѣмецкой бюрократіи. Общинная организація, хоть и сильно потрясенная, устояла противъ вмѣшательствъ власти; она благополучно дожила до развитія социализма въ Европѣ.

Это обстоятельство безконечно важно для Россіи.

Русское самодержавіе вступаетъ въ новый фазисъ. Выросшее изъ анти-національной революціи, оно исполнило свое назначеніе; оно осуществило громадную имперію, грозное войско, правительственную централизацию. Лишенное дѣйствительныхъ корней, лишенное преданій, оно обречено на бездѣйствіе; правда, оно возложило было на себя новую задачу — внести въ Россію западную цивилизацию; и оно до нѣкоторой степени успѣвало въ этомъ, пока еще играло роль просвѣщеннаго правительства.

дѣлѣ владѣніемъ сообща, коммунистическія идеи не представляютъ никакой опасности.) „Въ высшей степени замѣчательнъ здравый смыслъ, съ которымъ крестьяне устраняютъ, гдѣ это нужно, неудобства своей системы; легкость, съ которою они соглашаются между собою въ вознагражденіи неравностей, лежащихъ въ достоинствахъ почвы, и довѣріе, съ которымъ каждый покоряется опредѣленіямъ старшинъ общины. — Можно было-бы подумать, что безпрестанное дѣлежи подаютъ поводъ къ безирестаннымъ спорамъ, а между тѣмъ вмѣшательство властей становится нужнымъ лишь въ въ очень рѣдкихъ случаяхъ. Этотъ фактъ, весьма странный самъ по себѣ, объясняется только тѣмъ, что эта система при всѣхъ своихъ неудобствахъ такъ срослась съ нравами и понятіями народа, что эти неудобства переносятся безропотно.“

„На столько, говорить тотъ же авторъ, идея общины природна русскому народу и осуществляется во всѣхъ проявленіяхъ его жизни, настолько противенъ его нравамъ, корпораціонный муниципальный духъ, воплотившійся въ западномъ мѣщанствѣ. (Темоборскій, о производительныхъ силахъ Россіи Т. I.)

Эта роль теперь оставлена имъ.

Правительство, распавшееся съ народомъ во имя цивилизаціи, не замедлило отрѣчься отъ образованія во имя самодержавія.

Оно отреклось отъ цивилизаціи, какъ скоро сквозь нея стремленія стали проглядывать трехцвѣтный призракъ либерализма; оно попыталось вернуться къ національности, къ народу. Это было невозможно. Народъ и правительство не имѣли ничего общаго между собою; первый отвыкъ отъ послѣдняго, а правительству чудился въ глубинѣ массъ новый призракъ, еще болѣе страшный призракъ — *краснаго пѣтуха*. Конечно, либерализмъ былъ менѣе опасенъ, чѣмъ новая Пугачевщина, но страхъ и отвращеніе отъ либеральныхъ идей стали такъ сильны, что правительство не могло болѣе примириться съ цивилизаціею.

Съ тѣхъ поръ единственной цѣлью царизма остался царизмъ. Онъ властвуетъ, чтобъ властвовать. Громадныя силы употребляются на взаимное уничтоженіе, на сохраненіе искусственнаго покоя.

Но самодержавіе для самодержавія напослѣдокъ становится невозможнымъ; это слишкомъ нелѣпо, слишкомъ бесплодно.

Оно почувствовало это, и стало искать занятія въ Европѣ. Дѣятельность русской дипломатіи неутомима; повсюду сыплются ноты, совѣты, угрозы, обѣщанія, снуютъ агенты и шпионы.

Императоръ считаетъ себя естественнымъ покровителемъ нѣмецкихъ принцевъ; онъ вмѣшивается во всѣ мелкія интриги мелкихъ германскихъ дворовъ; онъ рѣшаетъ всѣ споры; то побранить одного, то наградить другого великой княжной. Но этого не достаточно для его дѣятельности. Онъ принимаетъ на себя обязан-

ность первого жандарма вселенной; онъ опора всѣхъ реакцій, всѣхъ гоненій. Онъ играетъ роль представителя монархическаго начала въ Европѣ, позволяетъ себѣ аристократическія замашки, словно онъ Бурбонъ или Плантагенетъ, словно его царедворцы Глостеры или Монморанси.

Къ сожалѣнію, нѣтъ ничего общаго между феодальнымъ монархизмомъ съ его опредѣленнымъ началомъ, съ его прошлымъ, съ его соціальной и религіозной идеею, и наполеоновскимъ деспотизмомъ петербургскаго царя, имѣющимъ за себя лишь печальную историческую необходимость, преходящую пользу, не опирающемся ни на какомъ нравственномъ началѣ.

И зимній дворецъ, какъ вершина горы подъ конецъ осени, покрывается все болѣе и болѣе снѣгомъ и льдомъ. Жизненные соки, искусственно поднятые до этихъ правительственныхъ вершинъ, мало по малу застываютъ; остается одна матеріальная сила и твердость скалы, еще выдерживающей напоръ революціонныхъ волнъ.

Николай, окруженный генералами, министрами, бюрократами, старается забыть свое одиночество, но становится чуждъ отъ часу мрачнѣе, печальнѣе, тревожнѣе. Онъ видитъ, что его не любятъ; онъ замѣчаетъ мертвое молчаніе, царствующее вокругъ него, по явственно доходящему гулу далекой бури, которая какъ будто къ нему приближается. Царь хочетъ забыться. Онъ громко провозгласилъ, что его цѣль — увеличеніе императорской власти.

Это признаніе не новость; вотъ уже двадцать лѣтъ, какъ онъ безъ усталости, безъ отдыха, трудится для этой единственной цѣли, для нея онъ не пожалѣлъ ни слезъ, ни крови своихъ подданныхъ.

Все ему удалось; онъ раздавилъ польскую народность. Въ Россіи онъ подавилъ либерализмъ.

Чего, въ самомъ дѣлѣ, еще хочется ему? отчего онъ такъ мраченъ?

Императоръ чувствуетъ, что Польша еще не умерла. На мѣсто либерализма, который онъ гналъ съ ожесточеніемъ, совершенно напраснымъ, потому что этотъ экзотическій цвѣтокъ не можетъ укорениться на русской почвѣ, встаетъ другой вопросъ, грозный какъ громовая туча.

Народъ начинаетъ роптать подъ игомъ помѣщиковъ; безпрестанно вспыхиваютъ мѣстные возстанія; вы сами приводите тому страшный примѣръ.

Партія движенія, прогресса требуетъ освобожденія крестьянъ; она готова принести въ жертву свои права. Царь колеблется и мѣшаетъ; онъ хочетъ освобожденія и препятствуетъ ему.

Онъ понялъ, что освобожденіе крестьянъ сопряжено съ освобожденіемъ земли; что освобожденіе земли въ свою очередь начало соціальной революціи, провозглашеніе сельскаго коммунизма. Обойти вопросъ объ освобожденіи невозможно, отодвинуть его рѣшеніе до слѣдующаго царствованія конечно легче, но это мало-душно, и въ сущности это только нѣсколько часовъ, потерянныхъ на скверной почтовой станціи безъ лошадей.....

Изъ всего этого вы видите, какое счастье для Россіи, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русскаго народа, что онъ остался внѣ всѣхъ политическихъ движеній, внѣ европейской цивилизаціи, которая, безъ сомнѣнія, подкопала-бы общину

и которая нынѣ сама дошла въ социализмѣ до самоотрицанія.

Европа, я это сказала въ другомъ мѣстѣ, не разрѣшила антиноміи между личностью и государствомъ, но она поставила себѣ задачею это разрѣшеніе. Россія также не нашла этого рѣшенія. Передъ этимъ вопросомъ начинается наше равенство.

Европа, на первомъ шагу къ соціальной революціи, встрѣчается съ этимъ народомъ, который представляетъ ему осуществленіе, полудикое, неустроенное, — но все таки осуществленіе постоянного дѣлежа земель между земледѣльцами. И замѣьте, что этотъ великій примѣръ даетъ намъ не образованная Россія, но самъ народъ, его жизненный процессъ. Мы, русскіе, прошедшіе черезъ западную цивилизацію, мы не больше, какъ средство, какъ закваска, какъ посредники между русскимъ народомъ и революціонной Европою. Человѣкъ будущаго въ Россіи — *мужикъ*, точно также какъ во Франціи работникъ.

Но если такъ, не имѣетъ-ли русскій народъ нѣкоторое право на снисхожденіе съ вашей стороны, М. Г?

Бѣдный крестьянинъ! На него обрушиваются всевозможныя несправедливости. Императоръ преслѣдуетъ его рекрутскими наборами, помѣщикъ крадетъ у него трудъ, чиновникъ послѣдній рубль. Крестьянинъ молчитъ, терпитъ, но не отчаивается, у него остается община. Вырвутъ-ли изъ нея членъ, община сдвигается еще тѣснѣе; кажется эта участь достойна сожалѣнія; а между тѣмъ она никого не трогаетъ. Вмѣсто того, чтобы заступаться за крестьянина, его обвиняютъ.

Вы не оставляете ему даже послѣдняго убожища, гдѣ онъ еще чувствуетъ себя человѣкомъ, гдѣ онъ любитъ и не боится; вы говорите: „его община не общи-

на, его семейство не семейство, его жена не жена; прежде чѣмъ ему, она принадлежит помѣщику; его дѣти не его дѣти; кто знаетъ, кто ихъ отецъ?"

Такъ вы подвергаете этотъ несчастный народъ не научному разбору, но презрѣнію другихъ народовъ, которые съ довѣріемъ внимаютъ вашимъ легендамъ.

Я считаю долгомъ сказать нѣсколько словъ по этому поводу.

Семейный бытъ у всѣхъ Славянъ чрезвычайно сильно развитъ: это можетъ быть единственный консервативный элементъ ихъ характера, предѣлъ ихъ отрицанья.

Сельская семья неохотно дробится; нерѣдко три, четыре поколѣнія проживаютъ подъ однимъ кровомъ, вокругъ патріархально властвующаго дѣда. Женщина, обыкновенно угнетенная, какъ это бываетъ вездѣ въ земледѣльческомъ сословіи, пользуется уваженіемъ и почетомъ, когда она вдова старшаго въ родѣ.

Нерѣдко вся семья управляется сѣдою бабушкой.... Можно-ли же сказать, что семья въ Россіи не существуетъ?

Перейдемъ къ отношеніямъ помѣщика къ крѣпостному семейству.

Но для большей ясности, отличимъ норму отъ злоупотребленій, права отъ преступленій.

Jus primæ noctis никогда не существовало въ Россіи.

Помѣщикъ не можетъ законно требовать нарушенія супружеской вѣрности. Еслибъ законъ исполнялся въ Россіи, изнасилованіе крѣпостной женщины наказывалось бы точно также, какъ если-бы она была вольная, т. е. каторжною работою или ссылкой въ Сибирь, съ лишеніемъ всѣхъ правъ. Таковъ законъ, обратимся къ фактамъ.

Я не думаю отвергать, что при власти данной правительством помѣщикамъ, имъ очень легко насиловать дочерей и женъ своихъ крѣпостныхъ. Притѣсненіями и наказаніями помѣщикъ всегда добьется того, что найдутся отцы и мужья, которые будутъ предоставлять ему дочерей и женъ, точно также какъ тотъ достойный французскій дворянинъ въ „Запискахъ Пѣшо,“ который въ XVIII столѣтіи, просилъ, какъ объ особенной милости о помѣщеніи своей дочери въ *Parc-aux-cerfs*.

Не удивительно также, что честные отцы и мужья не находятъ суда на помѣщика, благодаря прекрасному судебному устройству въ Россіи; они большею частію находятся въ положеніи того господина Тьерселентъ, у которого Берье укралъ, по порученію Людовика XV, одинадцатилѣтнюю дочь. Всѣ эти грязныя гадости возможны; стоитъ только вспомнить грубые и развращенные нравы части русскаго дворянства, чтобы въ этомъ убѣдиться. Но что касается до крестьянъ, то они далеко неравнодушно переносятъ развратъ своихъ господъ.

Позвольте мнѣ привести этому доказательство:

Половина изъ помѣщиковъ, убиваемыхъ своими крѣпостными (по статистическимъ даннымъ ихъ число простирается отъ шестидесяти до семидесяти въ годъ), погибаетъ вслѣдствіе своихъ эротическихъ подвиговъ. Процессы по такимъ поводамъ рѣдки; крестьянинъ знаетъ, что суды не уважатъ его жалобъ; но у него есть топоръ; онъ имъ владѣетъ мастерски и знаетъ это тоже.

Ограничиваюсь этими намеками о крестьянахъ и прошу Васъ выслушать еще нѣсколько словъ о Россіи образованной.

Вы смотрите, также не снисходительно на умствен-

ное движеніе Россіи, какъ и на народный характеръ; однимъ почеркомъ пера вы вычеркиваете всѣ труды, совершенные до сихъ поръ нашими скованными руками!

Одно изъ лицъ Шекспира, не зная чѣмъ унизить презрѣннаго противника, говоритъ ему: „я сомнѣваюсь даже въ твоёмъ существованіи!“ Вы пошли далѣе, для васъ несомнѣнно, что русская литература не существуетъ.

Привожу ваши собственныя слова:

„Мы не станемъ придавать важности опытамъ тѣхъ не многихъ умныхъ людей, которые вздумали упражняться въ русскомъ языкѣ и обманывать Европу блѣднымъ призракомъ будто-бы русской литературы. Еслибъ не мое глубокое уваженіе къ Мицкевичу, и къ его заблужденіямъ святаго, я бы право обвинилъ его за снисхожденіе (можно даже сказать) за милость, съ которою онъ говоритъ объ этой шуткѣ.“

Я напрасно доискиваюсь, М. Г., причинъ этого презрѣнія, съ которымъ вы встрѣчаете первый болѣзненный крикъ народа, проснувагося въ тюрьмѣ, этотъ стонъ, сдвленный рукою тюремщика.

Отчего не захотѣли вы прислушаться къ потрясающимъ звукамъ нашей грустной поэзіи, къ нашимъ напѣвамъ, въ которыхъ слышится рыданіе? Что скрыло отъ вашего взора нашъ судорожный смѣхъ, эту безпрестанную иронию, подъ которой скрывается глубоко измученное сердце, которая въ сущности лишь роковое признаніе нашего безсилія?

О какъ я хотѣлъ-бы достойнымъ образомъ перевести вамъ нѣсколько стихотвореній Пушкина и Лермонтова, нѣсколько пѣсень Кольцова! Вы бы тогда намъ тотчасъ протянули дружескую руку, вы-бы первый попросили насъ забыть сказанное вами!

Послѣ крестьянскаго коммунизма ничего такъ глубоко не характеризуетъ Россію, ничто не предвѣщаетъ ей столь великой будущности, какъ ея литературное движеніе.

Между крестьяниномъ и литературою подымается чудовище официальной Россіи. „Россія — ложь, Россія — холера,“ какъ вы ее называли.

Эта Россія начинается съ императора и идетъ отъ жандарма до жандарма, отъ чиновника до чиновника, до послѣдняго полицейскаго въ самомъ отдаленномъ закоулкѣ имперіи. Каждая ступень этой лѣстницы пріобрѣтаетъ, какъ въ Дантовскихъ *Volgi* новую силу зла, новую степень разврата и жестокости. Это живая пирамида изъ преступленій, злоупотребленій, подкуповъ, полицейскихъ, негодяевъ, нѣмецкихъ бездушныхъ администраторовъ вѣчно голодныхъ, невѣжь-судей вѣчно пьяныхъ, аристократовъ вѣчно-подлыхъ: все это связано сообществомъ грабительства и добычи, и опирается на шесть сотъ тысячъ органическихъ машинъ съ штыками.

Крестьянинъ никогда не марается объ этотъ міръ правительственнаго цинизма; онъ терпитъ его существованіе—въ этомъ его единственная вина.

Станъ враждебный Россіи официальной состоитъ изъ горсти людей на все готовыхъ, протестующихъ противъ нея, борющихся съ нею, обличающихъ, подкапывающихъ ее. Этихъ одинокихъ бойцовъ, отъ времени до времени, запираютъ въ казематы, терзаютъ, ссылаютъ въ Сибирь, но ихъ мѣсто не долго остается пустымъ; новые борцы выступаютъ впередъ; это наше преданіе, нашъ маіоратъ.

Страшныя послѣдствія человѣческой рѣчи въ Россіи по необходимости придаютъ ей особенную силу. Съ лю-

бовью и благоговѣніемъ прислушиваются къ вольному слову, потому что у насъ его произносятъ только тѣ, у которыхъ есть что сказать. Не вдругъ рѣшаешься передавать свои мысли печати, когда въ концѣ каждой страницы мерещится жандармъ, тройка, кибитка, и въ перспективѣ Тобольскъ или Иркутскъ,

Въ послѣдней моей брошюрѣ*) я достаточно говорилъ объ русской литературѣ; ограничусь здѣсь нѣкоторыми общими замѣчаніями.

Грусть, скептицизмъ, провія, вотъ три главные струны русской лиры.

Когда Пушкинъ начинаетъ одно изъ своихъ лучшихъ твореній этими страшными словами:

Всѣ говорить — нѣтъ правды на землѣ...

Но правды нѣтъ — и выше!

Мыѣ это ясно, какъ простая гамма.....

не сжимается-ли у васъ сердце, не угадываете-ли вы, сквозь это видимое спокойствіе, разбитое существованіе чело-вѣка, уже привыкшаго къ страданію.

Лермонтовъ, въ своемъ глубокомъ отвращеніи къ окружавшему его обществу, обращается на тридцатомъ году къ своимъ современникамъ, съ своимъ страшнымъ

Печально я гляжу на наше поколѣніе,

Его грядущее иль пусто, иль темно.

Я знаю только одного современнаго поэта, съ такою же мощью затрогивающаго мрачныя струны души чело-вѣческой. Это также поэтъ, родившійся въ рабствѣ и умершій прежде возрожденія отечества. Это пѣвецъ смерти, Леопарди, которому міръ казался громаднымъ союзомъ преступниковъ, безжалостно преслѣдующихъ горсть праведныхъ безумцевъ.

*) Du développement des Idées révolutionnaires en Russie.

Россія имѣетъ только одного живописца, приобрѣтшаго общую извѣстность, Брюлова. Что-же изображаетъ его лучшее произведеніе, доставившее ему славу въ Италіи?

Взгляните на это странное произведеніе.

На огромномъ полотнѣ тѣснятся въ безпорядкѣ испуганныя группы; онѣ напрасно ищутъ спасенія. Онѣ погибнуть отъ землетрясенія, вулканическаго изверженія, среди цѣлой бури катаклизмовъ. Ихъ уничтожаетъ дикая, бессмысленная, безпощадная сила, противъ которой всякое сопротивленіе невозможно. Это вдохновенія, навѣянные Петербургскою атмосферою.

Русскій романъ обращается исключительно въ области патологической анатоміи; въ немъ постоянное указаніе на грызущее насъ зло, постоянное, безжалостное, самобытное. Здѣсь не услышите голоса съ неба, возвѣщающаго Фаусту прощеніе юной грѣшницѣ — здѣсь возвышаютъ голосъ только сомнѣніе и проклятіе. А между тѣмъ, если для Россіи есть спасеніе, она будетъ спасена именно этимъ глубокимъ сознаніемъ нашего положенія, правдивостью, съ которою она обнаруживаетъ это положеніе передъ всѣми.

Тотъ, кто смѣло признается въ своихъ недостаткахъ, чувствуетъ, что въ немъ есть нѣчто сохранившееся среди отступленій и паденій; онъ знаетъ, что можетъ искупить свое прошлое, и не только поднять голову, но сдѣлаться изъ „Сарданапала-гуляки — Сарданапаломъ героемъ.“

Русскій народъ не читаетъ. Вы знаете, что также Вольтера и Данте читали не поселяне, а дворяне и часть средняго сословія. Въ Россіи образованная часть средняго сословія примыкаетъ къ дворянству, которое состоитъ изъ всего того, что перестало быть народомъ.

Существуетъ даже дворянскій пролетаріатъ, сливающійся съ народомъ и пролетаріатъ вольноотпущенный, поднимающійся къ дворянству. Эта флуктуация, это безпрестанное обновленіе придаетъ русскому дворянству характеръ, котораго вы не найдете въ привилегированныхъ классахъ отсталой Европы. Однимъ словомъ, вся исторія Россіи, со временъ Петра I, есть только исторія дворянства, и вліяній просвѣщенія на него. Прибавлю, что русское дворянство числомъ равняется избирателямъ во Франціи, по закону 31 Мая.

Впродолженіе XVIII вѣка ново-русская литература вырабатывала тотъ звучный, богатый языкъ, которымъ мы обладаемъ теперь; языкъ гибкій и могучій, способный выражать и самыя отвлеченныя идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французскаго остроумія. Эта литература, возникшая по гениальному мановенію Петра I, имѣла, это правда, характеръ правительственный — но тогда знамя правительства былъ прогрессъ, почти революція.

До 1789 года, императорскій тронъ самодовольно драпировался въ величественныя складки просвѣщенія и философіи. Екатерина II заслуживала, чтобы ее обманивали картонными деревьями и дворцами изъ раскрашенныхъ досокъ... Никто, какъ она, не умѣлъ ослѣплять зрителей величественной обстановкой. Въ Эрмитажѣ только и слышно было, что о Вольтерѣ, о Монтескьѣ, о Беккариі. Вамъ извѣстенъ, М. Г., оборотъ медали.

Однакожь среди тріумфальнаго хора придворныхъ пѣснопѣній, уже звучала одна странная, неожиданная нота. Это былъ звукъ той скептической, грозно насмѣшливой струны, передъ которымъ должны были скоро умолкнуть всѣ прочіе, искусственные напѣвы.

Настоящій характеръ русской мысли, поэтической и спекулятивной, развивается въ полной силѣ по восшествіи на престолъ Николая. Отличительная черта этого направленія—трагическое освобожденіе совѣсти, безжалостное отрицаніе, горькая пронія, мучительное углубленіе въ самого себя. Иногда все это разражается безумнымъ смѣхомъ, но въ этомъ смѣхѣ нѣтъ ничего веселаго.

Брошенный въ гнетущую среду, вооруженный яснымъ взглядомъ и неподкупной логикой, русскій быстро освобождается отъ вѣры и отъ нравовъ своихъ отцовъ.

Мыслящій русскій самый независимый человѣкъ въ свѣтѣ. Что можетъ его остановить? Уваженіе къ прошлому?..... Но что служить исходной точкой новой исторіи Россіи, если не отрицаніе народности и преданія?

Или можетъ быть преданіе Петербургскаго періода? это преданіе не обязываетъ насъ ни къ чему, этотъ „питый актъ кровавой драмы, происходящій въ публичномъ домѣ,“*) напротивъ развязываетъ насъ окончательно.

Съ другой стороны, прошлое западныхъ народовъ служить намъ наученіемъ, и только; мы нисколько не считаемъ себя душеприкащиками ихъ историческихъ завѣщаній.

Мы раздѣляемъ ваши сомнѣнія, но ваша вѣра не согрѣваетъ насъ. Мы раздѣляемъ вашу ненависть, но не понимаемъ вашей привязанности къ завѣщанному предками; мы слишкомъ угнетены, слишкомъ несчастны, чтобы довольствоваться полу-свободой. Васъ связыва-

*) По прекрасному выраженію одного изъ сотрудниковъ журнала II Progresso въ номерѣ отъ 1 августа 1851 года, въ статьѣ о Россіи.

ють скрупулы, васъ удерживаютъ заднія мысли. У насъ нѣтъ ни заднихъ мыслей, ни скрупуловъ; у насъ только недостаетъ силы...

Вотъ откуда въ насъ эта иронія, эта тоска, которая насъ точитъ, доводитъ насъ до бѣшенства, толкаетъ насъ впередъ, пока добьемся мы Сибири, истязанія, ссылки, преждевременной смерти. Мы жертвуемъ собою безъ всякой надежды; отъ желчи, отъ скуки... Въ нашей жизни въ самомъ дѣлѣ есть что-то безумное, но нѣтъ ничего пошлаго, ничего коснаго, ничего мѣщанскаго.

Не обвиняйте насъ въ безнравственности, потому что мы не уважаемъ того, что вы уважаете. Можно ли упрекать найденнша за то, что онъ не уважаетъ своихъ родителей? Мы независимы, потому что начинаемъ жизнь съизнова. У насъ нѣтъ ничего законнаго, кромѣ нашего организма, нашей народности; это наша сущность, наша плоть и кровь, но отнюдь не связывающій авторитетъ. Мы независимы, потому что ничего не имѣемъ. Намъ почти нечего любить. Всѣ наши воспоминанія исполнены горечи и злобы. Образованіе, науку подали намъ на концѣ кнута.

Какое-же намъ дѣло до вашихъ завѣтныхъ обязанностей, намъ, младшимъ братьямъ, лишеннымъ наслѣдства? И можемъ-ли мы по совѣсти довольствоваться вашею изношенной нравственностію, нехристіанскою и нечеловѣческою, существующею только въ риторическихъ упражненіяхъ и въ прокурорскихъ докладахъ? Какое уваженіе можетъ внушать намъ ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее зданіе безъ свѣта и воздуха, подновленное въ среднія вѣка, подбѣленное вольноотпущеннымъ мѣщанствомъ? Согласенъ, что дневной разбой въ русскихъ судахъ еще ху-

же, но изъ этого не слѣдуетъ, что у васъ есть справедливость въ законахъ и судахъ.

Различіе между вашими законами и вашими указами заключается только въ заглавной формулѣ. Указы начинаются подавляющей истиною: царь соизволилъ повелѣть; ваши законы начинаются возмутительною ложью —проническимъ злоупотребленіемъ имени французскаго народа и словами—свобода, братство и равенство. Николаевскій сводъ расчитанъ противъ подданныхъ и въ пользу самодержавія. Наполеоновскій сводъ имѣетъ рѣшительно тотъ-же характеръ. На насъ лежитъ слишкомъ много цѣпей, чтобы мы добровольно надѣли на себя еще новыя. Въ этомъ отношеніи мы стоимъ совершенно на ряду съ нашими крестьянами. Мы покоряемся грубой силѣ. Мы рабы потому что не имѣемъ возможности освободиться; но мы не принимаемъ ничего отъ нашихъ враговъ.

Россія никогда не будетъ протестантскою.

Россія никогда не будетъ *juste-milieu*.

Россія никогда не сдѣлаетъ революціи съ цѣлю отдѣлаться отъ царя Николая и замѣнить его царями-представителями, царями-судьями, царями полицейскими.

Мы, можемъ быть, требуемъ слишкомъ много, и ничего не достигнемъ. Можетъ быть такъ, но мы все таки не отчаиваемся; прежде 1848 года Россіи не должно, не возможно было вступать въ революціонное поприще, ей слѣдовало доучиться и теперь она доучилась. Самъ царь это замѣчаетъ и свирѣпствуетъ противъ университетовъ, противъ идей, противъ науки; онъ старается отрѣзать Россію отъ Европы, убить просвѣщеніе. Онъ дѣлаетъ свое дѣло.

Успѣетъ-ли онъ въ немъ?

Я уже сказалъ это прежде: Не слѣдуетъ слѣпо вѣрить въ будущее; каждый зародышъ имѣетъ право на развитіе, но не каждый развивается. Будущее Россіи зависитъ не отъ нея одной. Оно связано съ будущимъ Европы. Кто можетъ предсказать судьбу славянскаго міра въ случаѣ, если реакція и абсолютизмъ окончательно побѣдятъ революцію въ Европѣ?

Быть можетъ онъ погибнетъ?

Но въ такомъ случаѣ погибнетъ и Европа...

И исторія перенесется въ Америку...

Написавши предъидущее, я получилъ послѣдніе два фельетона вашей легенды. Прочитавши ихъ, первымъ моимъ движеніемъ было бросить въ огонь написанное мною. Ваше теплое, благородное сердце не дождалось, чтобы кто нибудь другой поднялъ голосъ въ пользу непризнаннаго русскаго народа. Ваша любящая душа взяла верхъ надъ принятою вами ролей *неумолимаго* судьи, мстителя за измученный польскій народъ. Вы впали въ противорѣчіе, но такіа противорѣчія благородны.

Перечитывая мое письмо, я однако подумалъ, что вы можете найти въ немъ новыя взгляды на Россію и на славянскій міръ, и я рѣшился послать его вамъ. Я вполнѣ надѣюсь, что вы простите тѣ мѣста, гдѣ я увлекся своею скинскою горячіестью. Кровь варваровъ не даромъ течетъ въ моихъ жилахъ. Мнѣ такъ хотѣлось измѣнить ваше мнѣніе о русскомъ народѣ; мнѣ было такъ грустно, такъ тяжело видѣть, что вы противъ насъ, что не могъ скрыть своей горести, своего волненія, и далъ волю перу. Но теперь я вижу, что

вы въ насъ не отчаяваетесь, что подъ грубымъ армякомъ русскаго крестьянина вы узнали человѣка, я это вижу и въ свою очередь признаюсь вамъ, что вполне понимаю то впечатлѣнiе, которое должно производить одно имя Россiи на всякаго свободнаго человѣка. Мы часто сами проклинали наше несчастное отечество. Вы это знаете, вы сами говорите: что все что вы сказали о нравственномъ ничтожествѣ Россiи, слабо въ сравненiи съ тѣмъ, что говорятъ сами русскiе.

Но и для насъ проходитъ время надгробныхъ рѣчей по Россiи и мы говоримъ съ вами „въ этой мысли таится искра жизни.“ Вы угадали ее, эту искру, силою вашей любви; но мы, мы ее видимъ, мы ее чувствуемъ. Эту искру не потушатъ ни потоки крови, ни сибирскiе льды, ни духота рудниковъ и тюремъ. Пусть разгарается она подъ золою! Холодное, мертвящее дуновенiе, которымъ вѣетъ отъ Европы, можетъ ее погасить.

Для насъ часъ дѣйствiя еще не насталъ; Францiя еще по справедливости гордится своимъ передовымъ положенiемъ. Ей до 1852 года принадлежитъ трудное право. Европа безъ сомнѣнiя прежде насъ достигнетъ гроба или новой жизни. День дѣйствiя, можетъ быть, еще далеко для насъ; день сознанiя мысли, слова уже пришелъ. Довольно жили мы въ снѣ и молчанiи; пора намъ рассказывать, что намъ случилось, до чего мы додумались.

И въ самомъ дѣлѣ кто виноватъ въ томъ, что надобно было дожить до 1847 года, чтобы „нѣмецъ (Гакстаузенъ) открылъ, какъ вы выражаетесь, народную Россiю, столь же неизвѣстную до него, какъ Америка до Колумба?“

Виноваты конечно мы, мы бѣдные, нѣмые, съ нашимъ

малодушіемъ, съ нашею боязливою рѣчью, съ нашимъ запуганнымъ воображеніемъ. Мы, даже за границею боимся признаваться въ ненависти, съ которою мы смотримъ на наши оковы. Каторжники отъ рожденія, обреченные влечь до смерти ядро, прикованное къ нашимъ ногамъ, мы обижаемся, когда объ насъ говорятъ, какъ о добровольныхъ рабахъ,* какъ о мерзлыхъ неграхъ, а между тѣмъ мы не протестуемъ открыто.

Слѣдуетъ-ли смиренно покориться этимъ нареканіямъ, или рѣшиться остановить ихъ, возвысивъ голосъ для свободной русской рѣчи. Лучше погибнуть подозрѣваемыми въ человѣческомъ достоинствѣ, чѣмъ жить съ позорнымъ знакомъ рабства на лбу, чѣмъ слушать, какъ насъ обвиняютъ въ добровольномъ порабощеніи.

Къ несчастію, въ Россіи свободная рѣчь удивляетъ, пугаетъ. Я попытался приподнять только край тяжелой завѣсы, скрывающей насъ отъ Европы, я указалъ только на теоретическія стремленія, на отдаленныя надежды, на органическіе элементы будущаго развитія; а между тѣмъ моя книга, о которой выразились такъ лестно, произвела въ Россіи неблагопріятное впечатлѣніе. Дружескіе голоса, уважаемые мною, порицаютъ ее. Въ ней видятъ обвиненіе на Россію. Обвиненіе!..... въ чемъ-же? Въ нашихъ страданіяхъ, въ нашихъ бѣдствіяхъ, въ нашемъ желаніи вырваться изъ этого ненавистнаго состоянія... Бѣдные, дорогіе друзья простите мнѣ это преступленіе; я снова впадаю въ него.

Тяжко, ужасно ярмо долгаго рабства, безъ борьбы, безъ близкой надежды! Оно напоследокъ подавляетъ самое благородное, самое сильное сердце. Гдѣ герой, котораго наконецъ не сломала-бы усталъ, который не предпочелъ-бы на старости лѣтъ покой, вѣчной тревогѣ безплодныхъ усилій?

Нѣтъ, я не умолкну! Мое слово отомстить за эти несчастныя существованія, разбитыя русскимъ самовластьемъ, доводящимъ людей до нравственнаго уничтоженія, до духовной смерти.

Мы обязаны говорить; безъ этого никто не узнаетъ, сколько прекраснаго и высокаго эти страдальцы навсегда замыкаютъ въ груди своей, и оно гибнетъ съ ними въ снѣгахъ Сибири, гдѣ даже на ихъ могилѣ не начертится ихъ *преступное* имя, которое ихъ друзья будутъ хранить въ сердцѣ своемъ, не смѣя произносить его.

Едва мы открыли ротъ, едва пролепетали два-три слова о нашихъ желаніяхъ, о нашихъ надеждахъ, и уже хотятъ его зажать, хотятъ заглушить въ колыбели наше свободное слово! Это невозможно.

Для мысли настаетъ время зрѣлости, въ которое ее не могутъ болѣе сковать ни цензурныя мѣры, ни осторожность. Тутъ пропаганда дѣлается страстью; можно ли довольствоваться шептаніемъ на ухо, когда сонъ такъ глубокъ, что его едва ли разсѣешь набатомъ?

Отъ возстанія стрѣльцовъ до заговора 14 декабря, въ Россіи не было серьезнаго политическаго движенія. Причина тому понятна; въ народѣ не было ясно опредѣлившихся стремленій къ независимости. Во многомъ онъ соглашался съ правительствомъ, во многомъ правительство опережало народъ. Одни крестьяне, непричастные къ выгодамъ императорскимъ, болѣе чѣмъ когда нибудь угнетенные, попытались возстать. Россія, отъ Урала до Пензы и Казани на три мѣсяца подпала власти Пугачева. Императорское войско было отражено, разбито казаками, и генераль Бибииковъ, посланный изъ Петербурга, чтобы принять команду войска, писалъ, если я не ошибаюсь, изъ Нижняго: „дѣла идутъ очень

плохо; болѣе всего надобно бояться не вооруженныхъ полчищъ бунтовщиковъ, а духа народнаго, который опасенъ, очень опасенъ.”

Послѣ неслыханныхъ усилій, возстаніе наконецъ было подавлено. Народъ впалъ въ оцѣпенѣніе, умолкъ и покорился.....

Между тѣмъ, дворянство развивалось, образованіе начинало оплодотворять умы, и какъ живое доказательство этой политической зрѣлости нравственнаго развитія, необходимо выражающейся въ дѣятельности, явились эти дивныя личности, эти герои, какъ вы справедливо называете ихъ, которые „одни, въ самой пасти дракона, отважились на смѣлый ударъ 14 декабря.“

Ихъ пораженіе, терроръ нынѣшняго царствованія, подавили всякую мысль объ успѣхѣ, всякую преждевременную попытку. Возникли другіе вопросы; никто не хотѣлъ болѣе рисковать жизнію въ надеждѣ на конституцію; было слишкомъ ясно, что партія завоеванная въ Петербургѣ разбилась бы о вѣроломство царя; участь польской конституціи была передъ глазами.

Впродолженіи десяти лѣтъ, умственная дѣятельность не могла обнаружиться ни однимъ словомъ, и томительная тоска дошла до того, что „отдавали жизнь за счастье быть свободнымъ одно мгновеніе“ и высказать вслухъ хоть часть своей мысли.

Иные отказались отъ своихъ богатствъ съ тою вѣтренною беззаботностію, которая встрѣчается лишь у насъ, да у поляковъ, и отправились на чужбину искать себѣ разсѣянія; другіе, неспособные переносить духоту петербургскаго воздуха, закопали себя въ деревняхъ. Молодежь вдалась, кто въ панславизмъ, кто въ нѣмецкую философію, кто въ исторію или въ политическую экономію; однимъ словомъ, никто изъ тѣхъ русскихъ

которые были призваны къ умственной дѣятельности, не могъ, не захотѣлъ покориться застою.

Исторія Петрашевскаго, приговореннаго къ вѣчной каторгѣ, и его друзей, сосланныхъ въ 1849 году за то, что они въ двухъ шагахъ отъ зимняго дворца образовали нѣсколько политическихъ обществъ, не доказываетъ ли достаточно, по безумной неосторожности, по очевидной невозможности успѣха, что время размышленій прошло, что волненія въ душѣ не сдержинишь, что вѣрная гибель стала казаться легче, чѣмъ нѣмая страдательная покорность Петербургскому порядку?

Очень распространенная въ Россіи сказка гласитъ, что царь, подозрѣвая жену въ невѣрности, заперъ ее съ сыномъ въ бочку, потомъ велѣлъ засмолить бочку и бросить въ море.

Много лѣтъ плавала бочка по морю.

Между тѣмъ царевичъ росъ не по днямъ а по часамъ и уже сталъ упираться ногами и головой въ донья бочки. Съ каждымъ днемъ становилось ему тѣснѣе да тѣснѣе. Однажды сказалъ онъ матери:

— Государыня-матушка, позволь протянуться въ волюшку.

— Свѣтликъ мой царевичъ, отвѣчала мать, не протягивайся. Бочка лопнетъ, и ты утонешь въ соленой водѣ.

Царевичъ смолкъ и подумавши сказалъ:

— Протянусь матушка; лучше разъ протянуться въ волюшку, да умереть.

Въ этой сказкѣ, М. Г. вся наша исторія.

Горе Россіи, если въ ней переведутся смѣлые люди, рискующіе всѣмъ, чтобы хоть разъ протянуться въ волюшку.

Но этого бояться нечего....

Невольно приходитъ мнѣ при этихъ словахъ на мысль

М. Бакунинъ. Бакунинъ далъ Европѣ образецъ вольнаго русскаго человѣка.

Я былъ глубоко тронутъ прекрасными словами, съ которыми вы обращаетесь къ нему. Къ несчастію эти слова до него не дойдутъ.

Международное преступленіе совершилось, Саксонія выдала свою жертву Австріи, Австрія Николаю. Онъ въ Шлиссельбургѣ, въ этой крѣпости зловѣщей памяти гдѣ нѣкогда держался въ заперти, какъ дикій звѣрь, Иванъ Антоновичъ, внукъ царя Алексѣя, убитый Екатериною II, этою женщиною, которая, еще покрытая кровью мужа, приказала сперва заколоть узника, а потомъ казнить несчастнаго офицера, исполнившаго это приказаніе.

Въ сыромъ казематѣ, у ледяныхъ водъ ладожскаго озера, нѣтъ мѣста ни для мечтаній, ни для надежды!

Пусть-же онъ спокойно заснетъ послѣднимъ сномъ, мученикъ, преданный двумя правительствами, у которыхъ на пальцахъ осталась его кровь.....

Слава имени его, и мщеніе!.... Но гдѣ-же мститель?..... И мы также погибнемъ на полѣ пути какъ онъ; но тогда, вашимъ строгимъ и величавымъ голосомъ, скажите еще разъ нашимъ дѣтямъ, что за ними остается долгъ.....

Останавливаясь на воспоминаніи объ Бакунинѣ и жму вамъ крѣпко руку, и за него и за себя.

Ницца, 22 Сентября 1851 г.



КРЕЩЕНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

„Я не воронъ а вороненокъ; настоящий воронъ еще летаетъ въ поднебесьи“.

Пророчество Пугачева.

Въ концѣ прошедшаго года началъ я странный трудъ. Не знаю, слажу ли съ нимъ, думаю что да. Впрочемъ трудъ этотъ можетъ на всемъ остановиться, какъ наша жизнь, вездѣ будетъ довольно и вездѣ можно его продолжать. Надгробный памятникъ и исповѣдь, *былое и думы*, біографія и умозрѣніе, событія и мысли, слышанное и видѣнное, наболѣвшее и выстраданное, воспоминанія и... еще воспоминанія!

Изъ первой части этихъ *rapping spirits*, этого повторенія жизни, блѣдно воскрешаемой словомъ и памятью, хочу я передать нѣсколько отрывковъ.

Первый передъ вами.

Тонбриджъ (Кентъ) 22 Іюля 1853 года.

Предисловіе ко второму изданію.

Три года тому назадъ, дѣлая первые опыты русскихъ изданій въ Лондонѣ, я напечаталъ небольшой отрывокъ о крѣпостномъ состояніи подъ заглавіемъ „Крещеная Собственность.“ Я не придаю никакой важности этой брошюрѣ, напротивъ, нахожу ее весьма недостаточной, но изданіе разошлось. Г. С. Тхоржевскій изъявилъ мнѣ свое желаніе сдѣлать новое — я не счелъ нужнымъ не предоставить ему этого права.

Много событій совершилось въ Россіи въ эти три года, но *крѣпостное состояніе* осталось, какъ было — язвой, пятномъ, тѣмъ безобразіемъ русскаго быта, которое смиряетъ насъ и заставляетъ краснѣть и съ по-

ныкнувшей головой признаться, что мы ниже всѣхъ народовъ въ Европѣ.

Съ какимъ теплымъ упованіемъ, съ какимъ сердечнымъ трепетомъ ждали мы послѣ смерти Николая тѣхъ возможныхъ, общечеловѣческихъ перемѣнъ, которыя можно было совершить безъ потрясающихъ переворотовъ, однимъ уразумѣніемъ своего смысла и своего призванія—со стороны правительства. Изъ дали нашего изгнанія мы смотрѣли съ надеждой и безъ малѣйшей желчи. Сначала мѣшала война..... Прошла война — ничего! Все отложено до коронаціи... прошла и коронація—все ничего! И новое царствованіе вступило въ свой ежедневный обиходъ. Всѣ реформы до сихъ поръ ограничиваются фразами, и далѣе риторики не идутъ.

А вѣдь какъ было легко сдѣлать чудеса — вотъ что непростительно, вотъ чего мы не можемъ вынести. У насъ сердце обливается кровью и досада кипитъ въ груди, когда мы думаемъ—чѣмъ могла бы быть Россія при выходѣ изъ мрачнаго царствованія Николая, разбуженная войной, призванная къ сознанію, безъ ошейника рабства на шеѣ; какъ быстро, какъ самобытно и мощно могла она двинуться впередъ.

Нѣтъ даже начала освобожденія крестьянъ — этой первой азбуки гражданскаго развитія. Зачѣмъ подымались ополченцы, зачѣмъ мужикъ несъ свой трудъ—свою копѣйку, свою кровь въ защиту бездушному престолу, который, съ лепетомъ о своей благодарности, возвратилъ его розгамъ господина и каторжной работѣ на барщинѣ.

Говорять, что теперешній царь — добръ. Можетъ быть, того свирѣпаго гоненія, которое составляетъ характеръ прошлаго царствованія нѣтъ, и мы первые душевно рады повторять это.

Но вѣдь этого мало, вѣдь это еще отрицательное достоинство. Недостаточно еще не дѣлать зла, имѣя такія средства дѣлать добро, которыхъ уже нѣтъ ни у

одной монархической власти въ Европѣ. Да онъ не знаетъ какъ праняться, что дѣлать.

А сказать некому. Вотъ оно результатъ насильственного молчанія, вотъ что значитъ вырвать языкъ у народа и повѣсить замокъ на его губы. Зимній дворецъ окруженъ царствомъ тѣмоты, а въ немъ говорятъ одни николаевскіе генералъ-адъютанты. Конечно не они расскажутъ о вѣяніи современнаго духа, и не черезъ нихъ услышитъ Александръ II стонъ русскаго народа.

Чтобы слышать его, чтобы знать зло и средства его искоренить, теперь не нужно ходить какъ Гарунъ-аль-Рашидъ подъ окнами своихъ подданныхъ. Для этого стоитъ снять позорную цѣпь цензуры, пятнающую слово, *прежде*, нежели оно сказано. И тотъ же Смирдинъ или Глазуновъ, который доставляетъ прочимъ смертнымъ книги, доведетъ до царя голосъ его народа.

Но этого-то и не хотятъ — закоренѣлые въ рабствѣ слуги Николая

Они погубятъ Александра — и какъ жаль его! Жаль за его доброе сердце, за вѣру, которую мы въ него имѣли, за слезы, которыя онъ нѣсколько разъ проливалъ...

Люди эти его втянутъ въ старую рутину, усыпятъ ложью, испугаютъ невозможностью, вовлекутъ снова во вѣшнія дѣла, чтобъ отвести отъ внутреннихъ. Все это дѣлается уже теперь.

Съ какой стати соваться въ неаполитанскій вопросъ? Есть дѣла, въ которыя честные люди не мѣшаются; есть союзы, которые пятнають, которые шли Николаю и отвратительны для Александра. Пора разстаться съ несчастной мыслью, что призваніе Россіи служить опорой всякому насилию, всякому тиранству.

Только было другіе народы начали меньше враждебно смотрѣть на Россію, — какъ на смѣхъ имъ старая дипломатія привязала русскаго императора къ одному позорному столбу съ коронованнымъ Лаццарони. Какая

неосторожность, какое отсутствіе такта, какое отсутствіе любви къ Россіи и къ нему!

А дома еще разъ обманутый крестьянинъ тащится на господское поле, посылаетъ сына во дворъ, — это ужасно! Правительство знаетъ, что обойти задачу освобожденія крестьянъ съ землею невозможно. Совѣсть, нравственное сознаніе Россіи требуютъ рѣшить ее. Что же выигрываетъ оно, оттягивая вопросъ, откладываемая его на завтра...?

Когда мы говорили, что эта трусость передъ необходимостью, что эта безхарактерная медлительность дойдетъ до того, что вопросъ разрѣшится топоромъ крестьянина и умолили правительство спасти его отъ будущихъ преступленій, добрые люди подняли крикъ ужаса и обвинили насъ же въ любви къ кровавымъ мѣрамъ.

Это ложь, что намѣренное непоминанье. Когда врачъ предостерегаетъ больного въ страшныхъ послѣдствіяхъ болѣзни, развѣ это значитъ, что онъ ихъ любитъ, что онъ ихъ вызываетъ? — Что за дѣтское воззрѣніе.

Нѣтъ, мы слишкомъ много видѣли и слишкомъ близко, какъ ужасны кровавые перевороты — и какъ плоды ихъ бываютъ искажены, чтобъ съ свирѣпой радостію накликавать ихъ.

Мы просто указывали, куда эти господа идутъ и куда ведутъ. Пусть они знаютъ, что если ни правительство, ни помѣщики ничего не сдѣлаютъ — сдѣлаетъ топоръ. Пусть и государь знаетъ, что отъ него зависитъ, чтобъ русскій крестьянинъ не вынималъ его изъ за своего кушака!

Но вѣдь для этого надобно что нибудь дѣлать, а не отдавать вопроса и не отворачиваться отъ его послѣдствій.

25 Октября 1856, Путней.

Съ дѣтскихъ лѣтъ я безконечно любилъ наши села и деревни, я готовъ былъ цѣлые часы, лежа гдѣ нибудь подъ березой или липой смотрѣть на почернѣлый рядъ скромныхъ, бревенчатыхъ избъ, тѣсно прислоненныхъ другъ къ другу, лучше готовыхъ вмѣстѣ сгорѣть, нежели распасться; слушать заунывные пѣсни, раздающіяся во всякое время дня, вблизи, вдали... съ полей несеть сытнымъ дымомъ овиновъ, свѣжимъ сѣномъ, изъ лѣсу вѣть смолистой хвоей и скрипитъ запрещенный колодезь, опускаемая бадью, и гремитъ по мосту порожняя телѣга, подгоняемая молодецкимъ окрикомъ.....

Въ нашей бѣдной, сѣверной, долинной природѣ есть трогательная прелесть особенно близкая нашему сердцу. Сельскіе виды наши не задвинулись въ моей памяти ни видомъ Соренто, ни Римской кампаніей, ни насушившимися Альпами, ни богато воздѣланными фермами Англіи. Наши безконечные луга, покрытые ровной зеленью успокоительно хороши, въ нашей стелящейся природѣ что то мирное, довѣрчивое, раскрытое, беззащитное и кротко грустное. Что то такое что поется въ русской пѣсни, что кровно отзывается въ русскомъ сердцѣ.

И какой славной народъ живетъ въ этихъ селахъ. Мнѣ не случалось еще встрѣчать такихъ крестьянъ какъ наши великоруссы и украинцы.

Оно и не мудрено. Жизнь европейская пренебрегала деревней, она бойко шла въ замкѣ, потомъ въ городѣ, деревня служила пастбищемъ, кормомъ. Западный крестьянинъ, выродившійся Кельтъ, побѣжденный Галлъ, Германецъ побитый другимъ Германцемъ. По городамъ

побѣдители мѣшались съ побѣжденными; съ земледѣльцами никто не мѣшался, пока они оставались земледѣльцами. Тамъ гдѣ побѣда пронеслась надъ головою прежняго населенія, не осѣла на немъ или не могла до него добраться, тамъ крестьяне и не таковы, напр. въ Романьи, въ Калабріи, въ Испаніи, въ горахъ Шотландіи Швейцаріи, Норвегіи.

Крестьянинъ на западѣ вообще одноворецъ, если онъ богатѣетъ, то онъ дѣлается полевымъ мѣщаниномъ; такъ какъ на оборотъ въ прежнее время русскіе купцы, приобрѣтая милліоны оставались по нравамъ и обычаямъ тѣми же крестьянами.

Деревенскіе мѣщане собственники составляютъ на западѣ слой народонаселенія, который тяжело налегъ на сельскій пролетаріатъ и душитъ его, по мелочи и на чистомъ воздухѣ, такъ какъ фабриканты душатъ работниковъ гуртомъ въ чаду и смрадѣ своихъ рабочихъ домовъ.

Сословіе сельскихъ собственниковъ почти вездѣ отличается изувѣрствомъ, несообщительностью и скупостью; оно сидитъ на заперти въ своихъ каменныхъ избахъ далеко разбрасанныхъ и окруженныхъ полями, отгороженными отъ сосѣдей. Поля эти имѣютъ видъ заплаты, положенныхъ на землѣ. На нихъ работаетъ батракъ, бобыль, словомъ сельскій пролетарій, составляющій огромное большинство всего полевого населенія.

Мы, совсѣмъ напротивъ, государство сельское, наши города большія деревни, тотъ же народъ живетъ въ селахъ и городахъ; разница между мѣщанами и крестьянами выдуманна петербургскими нѣмцами. У насъ нѣтъ потомства побѣдителей, завоевавшихъ насъ, ни раздробленія полей въ частную собственность, ни сельскаго пролетаріата; крестьянинъ нашъ не дичаетъ въ одно-

чествѣ, онъ вѣчно на міру и съ міромъ, коммунизмъ его общиннаго устройства, его деревенское самоуправленіе дѣлають его сообщительнымъ и развязнымъ.

При всемъ томъ, половина нашего сельскаго населенія гораздо несчастнѣе западнаго, мы встрѣчаемъ въ деревняхъ людей сумрачныхъ, печальныхъ, людей, которые тяжело и невесело пьютъ зеленое вино, у которыхъ подавленъ разгульный славянскій нравъ, на ихъ сердцахъ лежитъ очевидно тяжкое горе.

Это горе, это несчастіе — крѣпостное состояніе.

Сельской пролетарій и крѣпостной мужикъ два страшные обличителя двухъ страшныхъ неправдъ нашего времени

Видѣли ли вы литографію, изданную А. Мицкевичемъ и представляющую „Славянскаго невольника?“

Ненависть, смѣшанная съ злобой и стыдомъ, наполняетъ мое сердце, когда я гляжу на этотъ жесткій упрекъ, на это „къ топорамъ братцы,“ представленное съ поразительной вѣрностью.

Бѣлорусскій мужикъ, безъ шапки, обезумѣвшій отъ страха, нужды и тяжелой работы, руки на поясѣ, стоитъ середь поля и какъ-то косо и безнадежно смотритъ внизъ. Десять поколѣній замученныхъ на барщинѣ образовали такого парію, его черепъ сдузился, его ростъ измельчалъ, его лице съ дѣтства покрылось морщинами, его ротъ судорожно скривленъ, онъ отвыкъ отъ слова. Звѣриный взглядъ и запуганное выраженіе показываютъ на сколько шаговъ онъ пошелъ вспять отъ человѣка къ животнымъ.

За это преступленіе, за этого Бѣлоруса его паны не свободны, за него ихъ геройство, ихъ мученичество, ихъ страданія не были приняты.

По другую сторону Европы стоитъ своего рода бѣлорускій пахарь, его надобно самому видѣть, слово человеческое не беретъ такого ужаса и не можетъ выразить. Какъ рассказать пепельный, тусклый, матовый цвѣтъ лица, тряпья волосъ, ирландскаго пролетарія, выгнаннаго или *вызуженнаго* помѣщикомъ изъ своей деревни за недоимку и не успѣваго еще умереть съ голоду. Надобно видѣть своими глазами лихорадочный, полусумашедшій и притомъ боязливо кроткій взглядъ, лице, двадцати двухъ, трехъ лѣтней завялой старухи, которая проситъ глазами милостыню, показывая умирающаго ребенка съ посинѣлыми губами, которые уже не сосутъ изсохшую, черствую грудь ее. И все это также подернуто землею, стерто, пепельно, безцвѣтно, сѣро, и женщина, и окоченѣвшій ребенокъ, и полюбленная грудь и босая нога.

Между этими двумя крайними типами, которые вполне представляютъ геркулесовы столбы нашей цивилизаціи, стоятъ сельскіе пролетаріи другихъ странъ Европы и крѣпостные мужики другихъ краевъ Россіи.

Пролетаріи другихъ земель, ирландцы, имѣющіе немного насущнаго хлѣба, ирландки, которыя еще могутъ кормить грудью дѣтей, наши бѣлорусы отпущенные на волю безъ земли и не боящіеся розогъ — не болѣе.

Помѣщичьи крестьяне другихъ частей Россіи опять тѣ же бѣлорусы, но не успѣвшіе одичать, не отданные на копые жиду-арендатору, не ненавидимые своимъ католическимъ помѣщикомъ, а единоплеменные и единовѣрные съ нимъ.

И именно поэтому наше крѣпостное состояніе еще отвратительнѣе.

Я ничего не знаю нелѣпнѣе, безобразнѣе дикаго отношенія рабства между равными: по крайней мѣрѣ

негръ черенъ и курчавъ, а его помѣщикъ рыжъ и налить лимфой.

Зачѣмъ нашъ народъ попалъ въ крѣпость, какъ онъ сдѣлался рабомъ? Это не легко растолковать.

Все было до того недѣло, безумно — что за границей, особенно въ Англіи, никто не понимаетъ.

Какъ въ самомъ дѣлѣ увѣрить людей, что половина огромнаго народонаселенія, сильнаго мышцами и умомъ, была отдана правительствомъ въ рабство безъ войны, безъ переворота, рядомъ полицейскихъ мѣръ, рядомъ тайныхъ соглашеній, никогда не высказанныхъ прямо и не оглашенныхъ какъ законъ.

А вѣдь дѣло было такъ и не богъ знаетъ когда, а два вѣка ому назадъ.

Крестьянинъ былъ обманутъ, взятъ въ расплохъ, загнанъ правительственнымъ кнутомъ въ капканы, приготовленные помѣщиками, загнанъ мало по малу, по частямъ, въ сѣти, раставленные приказными; прежде нежели онъ хорошенько понялъ и пришелъ въ себя — онъ былъ крѣпостнымъ.

Мы сами понимаемъ такіе чудеса только по привычкѣ къ непослѣдовательности и безпорядку, къ неустоявшемуся колебанію русской жизни. У насъ вездѣ, во всемъ неопредѣленность и противорѣчіе, обычаи, не взшедшіе въ законъ, но исполняемые, законы, взшедшіе въ сводъ, но оставаемые безъ дѣйствія, деспотизмъ и избирательные судьи, централизація и выборная земская полиція. Жизнь въ Россіи возможна, благодаря этому хаосу, въ основѣ котораго коммунизмъ деревень, а въ главѣ всепоглощающее самовластье, между которыми бродитъ безсвязно и на просторѣ европейское образованіе, дворянское право, греческая церковь, военный артикулъ и нѣмецкое управленіе.

Крестьяне съ незапамятныхъ временъ селились на частныхъ земляхъ. Отношеніе ихъ къ помѣщикамъ было патріархальное, основанное на обычаяхъ, на взаимномъ довѣріи. Писанныхъ условій не было, между прочимъ и потому, что ни крестьяне, ни владѣльцы не знали грамоты. Народъ русской и теперь не любитъ бумажныхъ сдѣлокъ, между равными; по рукамъ и чарка водки, тѣмъ дѣло и кончено. Ямщики возятъ дорогіа клади съ Кяхты до Нижняго и Москвы, едва дѣлая накладную, и то безъ всякой скрѣпы.

Московское правительство долго не могло добраться до крестьянъ, дурно устроенное, занятое уничтоженіемъ удѣловъ сначала, оно собственно сложилось въ мощную государственную силу при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ. Крестьяне жили покойно въ своихъ общинахъ и вовсе не занимались тѣмъ, что дѣлалось въ Москвѣ.

Ихъ спасала отъ власти хартія, данная самой природой, непроходимыя дороги, страшная даль, болота и грязь. Пока они жили беззаботно и спусти рукава, въ Москвѣ ковали имъ цѣпи.

Исторія мѣръ взятыхъ Годуновымъ извѣстна. Царь Борисъ былъ большой просвѣтитель и прикрѣпленіе мужиковъ онъ не выдумалъ, а взялъ у балтійскихъ нѣмцевъ.

Подъ предлогомъ голода, перехода въ плодородныя страны государства, перехода отъ мелкопомѣстныхъ господъ къ богатымъ, онъ ограничилъ право покидать землю, не отдавая впрочемъ крестьянина въ неволю. Подъ тѣмъ же предлогомъ голода и побѣговъ къ казамъ онъ прикрѣпилъ дворовыхъ людей къ ихъ господамъ. Мало по малу исчезли послѣднія права перехода, не произнося слово рабство, на самомъ дѣлѣ

правительство лишило всѣхъ правъ крестьянъ, жившихъ въ частныхъ владѣніяхъ. Цѣпь коварно положенная около сельской общины затягивалась болѣе и болѣе, до тѣхъ поръ, пока великій мастеръ Петръ I заперъ ее замкомъ нѣмецкой работы.

Едва обрѣтые чиновники, въ шутовскихъ костюмахъ, съ разными мудреными названіями Ландратовъ, Ландрихтеровъ, Ландфискаловъ и не знаю какіе еще шведскіе и нѣмецкіе чины были тогда въ ходу, объѣзжали деревни и читали какой-то указъ, писанный темнымъ, ломанымъ и безобразнымъ языкомъ петровскаго времени.

Они дѣлали переносъ и объявляли, что кого гдѣ ревизія захватила, тотъ тамъ будетъ крѣпокъ помѣщику.

Крестьяне были рады, видя, что чиновники уѣзжали, не сдѣлавъ больше вреда и въ сущности ничего не понимали.

Удивляться этому не надобно, потому что и правительство не понимало и до сихъ поръ не понимаетъ, что оно сдѣлало. Ни Петръ I, ни всѣ его Гольштейнскіе, Брауншвейгскіе и Ангальтъ-Цербскіе наслѣдники рѣшительно сами не знали, что такое быть „крѣпкимъ.“ Никакой законъ этого не опредѣлилъ, не истолковалъ.

Петръ I въ одномъ указѣ данномъ Сенату, говоритъ, что къ великому стыду въ Россіи продаютъ людей „какъ скотъ“ и приказываетъ приготовить законъ, воспреещающій „буде возможно“ продажу людей вообще или по крайней мѣрѣ продажу безъ земли. Сенатъ раболѣпный во всемъ послушался и никакого закона не представилъ.

Изъ этого вы видите, что Петръ I подъ словомъ быть крѣпкимъ не разумѣлъ быть товаромъ, вещью.

„Я увѣренъ, писалъ собственноручно императоръ

Александръ, что продажа крѣпостныхъ, безъ земли, давно запрещена закономъ“ и спрашивалъ у Государственнаго Совѣта въ силу какихъ постановленій допускается такая продажа. Государственный Совѣтъ, не зная ни одного такого закона, отнесся къ Сенату. Сколько не рылись въ сенатскомъ архивѣ, ничего не нашли. Какъ ни просты наши сенаторы, но въ этомъ случаѣ они не потеряли головы и представили тарифъ пошлинъ, вышедшій въ царствованіе Анны Іоанновны. Въ этомъ тарифѣ значилось, сколько слѣдовало взимать пошрины за совершеніе купчей на продажу крѣпостныхъ людей; слѣдственно, заключалъ сенатъ, продажа людей была закономъ допущена. Но гдѣ этотъ законъ? Объ этомъ сенатъ молчалъ. Приказная уловка правительствующаго сената была до того груба, что Государственный совѣтъ понялъ, что продажа людей дѣлается безъ всякаго права и приготовивъ проектъ закона, воспрещающаго торгъ крещеной живностью, отослалъ его къ министру внутреннихъ дѣлъ.

Ни совѣтъ, ни министръ, ни государь не возвращались болѣе на этотъ предметъ.

Этотъ замѣчательный анекдотъ разсказанъ Н. Тургеневымъ въ его книгѣ объ Россіи. Авторъ былъ тогда статсъ-секретаремъ и самъ принималъ дѣятельное участіе въ составленіи новаго проекта. Онъ оканчиваетъ свой разсказъ чертой глубоко печальной и удручающей. Предсѣдатель совѣта, графъ Кочубей, человекъ умный, но давно потерявшій вѣру, подошелъ къ Тургеневу послѣ засѣданія и сказалъ ему съ горькой и насмѣшливой улыбкой: „А вѣдь государь-то двадцать лѣтъ былъ увѣренъ, что людей не продаютъ по одиночкѣ.“

Этотъ анекдотъ сжимаетъ сердце и заставляетъ содрогаться отъ негодованія.

Николай хотѣлъ ограничить продажу людей, но, желая сдѣлать добро, сдѣлалъ вредъ; такова обычная судьба полумѣръ и самовластныхъ распоряженій. Запрещая дворянамъ, не имѣющимъ земли, покупать крестьянъ, запрещая до извѣстной степени раздробленіе семействъ, онъ призналъ право продажи въ другихъ случаяхъ и далъ законную основу терпимому безпорядку.

Императоръ Николай замѣчательно несчастенъ, ему не удастся ничего хорошаго и это между прочимъ оттого, что онъ вовсе не поминаетъ ничего русскаго и ничего гражданскаго. Ему бросается въ глаза безпорядокъ, чтобъ остановить его, онъ бьетъ камнемъ по лбу, и искажаетъ, портитъ послѣдніе уцѣлѣвшіе остатки русскаго права.

Такимъ образомъ онъ исказилъ основу Петровскаго дворянства, легко возобновляемаго изъ народа, сопрягая дворянскія права съ маіорскимъ чиномъ въ военной службѣ и съ чиномъ статскаго совѣтника въ гражданской.

Такимъ образомъ онъ исказилъ Екатерининское устройство дворянскихъ выборовъ, вводя избирательный ценсъ, котораго не было и лишая голоса всѣхъ дворянъ, имѣющихъ менѣе ста душъ.

Въ первомъ случаѣ онъ былъ руководимъ желаніемъ устранить мелкихъ чиновниковъ отъ быстрого пріобрѣтенія помѣщичьихъ правъ.

Въ другомъ онъ хотѣлъ предупредить вліяніе богатыхъ владѣльцевъ на выборы.

Въ обоихъ онъ временному вреду, безпорядку, пожертвовалъ нормой.

Не затруднять слѣдуетъ помѣщичьи права, ихъ слѣдуетъ уничтожить, ликвидировать. Всѣ маленькія мѣры

будутъ недостаточны, изворотливость исполнителей и хитрость помѣщиковъ найдутъ средства обойти законъ.

У меня нѣтъ ни земли, ни крестьянъ, я покупаю дворовыхъ людей на имя моего сосѣда, а съ него беру заемное письмо. И потомъ имѣя двѣ души и двѣ десятины, я могу покупать безъ всякаго ограниченія цѣлыя семьи живописцевъ, музыкантовъ, портныхъ, офиціантовъ..... и обкладывать ихъ произвольнымъ оброкомъ, черезъ годъ продавать въ рекруты. Торговля людьми идетъ не хуже какъ въ Кубѣ или въ малой Азіи. Правда стыдливое и цѣломудренное правительство запретило объявлять о продажѣ людей. Въ газетахъ скромно и бессмысленно печатаютъ „отпускается въ услуженіе кучеръ 35 лѣтъ, здороваго сложенія, съ обкладистой бородой и честнаго поведенія или дѣвка 18 лѣтъ, прекраснаго поведенія и годная на всякую службу.“

Это лицемѣріе, этотъ полустыдъ, эта неловкая ложъ пойманнаго на дѣлѣ злодѣя въ устахъ самодержавія, имѣеть въ себѣ нѣчто безгранично подлое.

Самое существованіе всего несчастнаго сословія дворовыхъ людей ниѣ законное, ниѣмъ неопредѣленное и зависящее вполне отъ помѣщика. Сколько крестьянъ можетъ взять помѣщикъ во дворъ изъ деревни, сколько рукъ отнять у семьи? Онъ можетъ взять жену у мужа и сдѣлать ее прачкой у себя въ домѣ, онъ можетъ взять послѣдняго сына у старика отца и сдѣлать изъ него лакея; пока помѣщикъ не уморилъ съ голоду или не убилъ физически своего крѣпостнаго человѣка, онъ правъ передъ закономъ и ограниченъ только однимъ топоромъ мужика. Имъ вѣроятно и разрубится запутанный узелъ помѣщичьей власти.

Русское правительство соединено съ Англіей договоромъ противъ торго невольниками. Отчего же надобно

непремѣнно быть чернымъ, чтобъ быть человекомъ въ глазахъ *бѣлаго* царя. Или отчего онъ не произведетъ всѣхъ крѣпостныхъ въ негры? придворные истопники, за выслугу и отличіе состоятъ же иногда на *правахъ* Араповъ.

Меня поражаетъ удивленіемъ безнадежная неспособность нашего правительства во всѣхъ внутреннихъ вопросахъ. Александръ обдумывалъ двадцать пять лѣтъ планъ освобожденія, Николай приготавлился семнадцать лѣтъ — и что же выдумали они въ полстолѣтія? нелѣпый указъ 2 Апрѣля 1842 года объ обязанныхъ крестьянахъ.

Но скажутъ гдѣ же средства? Средства найдутся. И съ какихъ это поръ русское правительство сдѣлалось такъ разборчиво въ отношеніи къ средствамъ?

Развѣ недостало средствъ у Екатерины II, чтобъ отдать въ крѣпость Малороссію въ XVIII столѣтіи? Развѣ недостало средствъ въ XIX для водворенія военныхъ поселеній, для обращенія Уніатъ въ греко-россійское исповѣданіе и Польши въ русскія губерніи? Петербургское правительство никогда не задумывалось о средствахъ, не останавливалось ни передъ чѣмъ; въ 1845 году былъ голодъ въ псковской губерніи, чѣмъ помочь? Очень просто: Николай велѣлъ переселить поль-псковской губерніи въ *тобольскую*; зимой погнали съ одного конца Руси на другой, плачущія семьи, дѣтей, стариковъ, обнищавшихъ, голодныхъ, половина перемерла по дорогѣ, другая пришла на свое поселеніе.

По счастью для освобожденія крестьянъ вовсе не нужно всѣхъ этихъ злодѣйствъ и преступленій.

Они боятся дотронуться до этого вопроса оттого, что они трусы. Въ сущности бояться нечего; вѣдь это хорошо рассказывать иностраннымъ газетамъ объ ди-

ких *boyards moscovites*, всегда готовых на царевобійство и грозных своимъ вліяніемъ. Ихъ совсѣмъ нѣтъ.

Весь народъ очевидно былъ бы за правительство, и не одинъ народъ, а вся образованная часть дворянства.

Если закоснѣлые помѣщики и московскіе *бояры* будутъ противиться, имъ придется ограничиться ропотомъ. Отъ чего имъ и не позволить болтать о своемъ неудовольствіи? Они, впрочемъ, столько проповѣдывали намъ безусловную покорность передъ высочайшей властью, что справедливо было бы отъ нихъ потребовать примѣръ. Да и гдѣ ихъ права? Они владѣли мужиками и раззоряли ихъ по царской милости; по царской немилости они перестали бы ихъ раззорять. Люди эти не имѣютъ партіи, ихъ сила мнимая. Зимній Дворецъ полонъ выслужившимися нѣмцами, солдатами и писарями, которыхъ богатство, судьба и сила связана не съ помѣщичьимъ правомъ, а съ петербургскимъ императорствомъ.

Убійство Петра III и Павла сдѣлало удивительную репутацію русскимъ вельможамъ. Обстоятельства теперь нисколько не похожи на тогдашнія; гдѣ эти отчаянные Орловы и обиженные Зубовы, гдѣ участіе жены, сына? Всего этого нѣтъ; кто сколько нибудь знаетъ Россію, тотъ безъ смѣху не можетъ подумать объ оппозиціи „московскихъ бояръ.“

Въ рукахъ правительства рядъ социальныхъ и финансовыхъ мѣръ, которыми оно можетъ безъ сильнаго и внезапнаго потрясенія освободить крестьянъ съ землею. Оно ихъ знаетъ изъ сотни проектовъ, поданныхъ съ 1842 г. Киселеву и Перовскому.

Вмѣсто того, чтобъ воспитательные дома превращать въ рынки, на которыхъ продаютъ ревизскія души съ

молотка, правительство может переводить долгъ на деревни и брать съ нихъ въ замѣну оброка свои 5%. Оно можетъ сдѣлать внутренній заемъ для выкупа другихъ и пр.

Пусть оно только позволитъ дворянамъ прямо и открыто заняться этимъ вопросомъ, пусть разрѣшитъ всѣмъ, кто хочетъ составленія обществъ, товариществъ для выкупа крестьянъ, для помощи освобождающимся, предварительно удостовѣривъ, что ни въ какомъ случаѣ капиталъ общества не будетъ схваченъ и не будетъ употребленъ ни на постройку кадетскаго корпуса, ни на поѣздку въ Палермо, ни даже на усмиреніе *мятежниковъ* на Кавказѣ или въ Венгріи.

„Все это прекрасно — правительство должно бы, дворянство могло бы, конечно — но что же при всемъ этомъ самъ народъ, народъ гонимый на барщину, наказываемый розгами, разоряемый, продаваемый? Если онъ можетъ выносить такое положеніе, онъ заслуживаетъ его.“

Разумѣется, такъ какъ ирландецъ заслуживаетъ голодъ, итальянецъ австрійское иго. Я такъ привыкъ къ этому свирѣпому *va visis*, что всегда жду его. Что же, съ богомъ, въ походъ противъ всякаго страданія, всякаго несчастія, всякой трагической судьбы. Мало пролетарію что онъ бѣденъ, что ему ѣсть нечего, что онъ не можетъ развиваться, что ему недосугъ думать, прибавимъ къ его горькой участи горькое слово. Мало крестьянину что его обманомъ и плутовствомъ отдали въ крѣпость, въ которой его держутъ шесть сотъ тысячъ штыковъ, судьи, земекая полиція, помѣщики, розги, и самая церковь; скажемъ ему, что онъ это заслужилъ, что онъ недостоенъ лучшей судьбы, потомъ отвернемся отъ нихъ обоихъ и отъ ихъ глухаго стона.

Впрочемъ прежде нежели мы ихъ оставимъ, я совѣтую имъ сказать спасибо, за то, что голодь одного, потъ другаго, невѣжество обонхъ дали намъ средства такъ умно развиться.

Мы всякій разъ становимся не по себѣ, когда говорить о народѣ. Въ нашъ демократическій вѣкъ иѣтъ ни одного слова, которое бы такъ мало понимали и такъ употребляли во зло. Понятіе сопрягаемое съ нимъ неопредѣленно, преувеличено, поверхностно, полно риторики въ похвалахъ и порицаніяхъ, одни поднимаютъ народъ до небесъ и дѣлаютъ изъ него какого-то проприетеля законовъ, неписанной разумъ, судію, другіе тончутъ его въ грязь, называя грубой толпой. Всѣ эти разлагольствованія, умиленія, негодованія и декламации не прибавляютъ ни на волосъ къ пониманію этой гранитной основы государствъ и человѣчества, связанной цементомъ вѣковыхъ воспоминаній и кровнаго родства, на которой построены плохой балаганъ современнаго политическаго устройства полусгнившій и покачнувшійся.

Правительство и плавающий вверху слой цивилизаціи закрываютъ народъ и не допускаютъ знать его. За этими официальными и литературными декораціями, онъ живетъ по своему, рѣдко соображаясь съ ними, остается покойнымъ, когда за него горячатся и бросаютъ перчатку и возстаетъ, когда всего менѣе этого ждутъ.

Одни легкія революціи дѣлаются легко. Вѣтеръ свободно двигаетъ во всѣ стороны верхній слой общественной зыби, но глубь тиха до урагана.

За то и слѣды такихъ революцій не велики, онѣ мѣняютъ одежду и названіе, а дѣло остается по старому.

Народъ туго и не скоро возстаетъ, онъ не играетъ, не шутитъ перемѣнами, онъ такъ бѣденъ, что долго не

рискуеть послѣднимъ; его возстаніе всегда глубоко выстраданное. Если оно неудачно, преждевременно, цѣлые племена, государства гибнуть, глѣхнутъ. Германія потеряла всякій политической смыслъ и превратилась въ школу, усмиривъ крестьянъ.

Но возвратимся къ народу русскому. Онъ уступилъ не безъ боя. Вспомните, что было послѣ Бориса, во время самозванцевъ и междуцарствія, казалось, все государство было понято огнемъ и распадалось, все бродило въ болѣзненномъ волненіи, бралось за оружіе; откуда эта возбужденность, эта готовность къ бою, откуда эти полчища тушинскаго вора и другихъ кондотьеровъ? Едва Романовы усѣлись, Сѣверовостокъ Руси покрылся разбойниками, съ ними воюють какъ съ непріятелями, противъ нихъ посылають войска и пушки, ихъ вѣшаютъ *сотнями* при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. У Стеньки Разина было цѣлое войско. Столѣтье спустя цѣлое войско собралось вокругъ Пугачева.

Именемъ Петра III, котораго народъ не зналъ, мудро было бы поднять цѣлія губерніи. Имя его придавало призрачную законность и фирму возстанію. Въ сущности народъ бунтовалъ противъ крѣпостнаго состоянія и ненаціональнаго правительства. Перечень казней въ приложеніяхъ къ пушкинской исторіи пугачевского бунта ясно показываетъ, противъ кого и чего дрался народъ.

Съ тѣхъ поръ ни мужики, ни дворовые не встають массами. Сила сломила ихъ, средства усмиренія удеслятерились, тронъ Екатерины, качавшійся сначала, вросъ въ землю въ концѣ ея царствованія. Когда крестьянамъ становится не въ терпежъ, они бѣгутъ, дѣлають поджоги или рѣжутъ господъ. Рѣдко сговариваются они съ другими деревнями, хотя и были примѣры лѣтъ де-

сать тому назадъ, въ Тамбовѣ и въ Симбирскѣ, что нѣсколько деревень дѣйствовали за одно. Бунты ихъ дѣлаются изъ мести и съ отчаянія безъ всякой надежды поправить свое положеніе.

Народу разсѣянному по необозримымъ долинамъ и живущему въ деревняхъ открытыхъ со всѣхъ сторонъ, ничѣмъ не защищенныхъ кромѣ лѣсовъ, трудно дѣлать возстанія.

Сверхъ того вопросъ объ уничтоженіи крѣпостнаго состоянія не былъ до нашего времени понимаемъ одинакимъ, образомъ крестьянами и аболіціонистами. Съ точки зрѣнія либерализма и религіи собственности вопросъ разрѣшался прямо противъ народнаго смысла.

Послѣ наполеоновской войны Александръ освободилъ Эстовъ, принадлежавшихъ остзейскому дворянству, онъ имъ далъ личную свободу *безъ земли*. Весьма вѣроятно, еслибъ русскіе крестьяне, такъ мужественно дравшіеся противъ непріятеля, съ нѣкоторой настойчивостью потребовали освобожденія, императоръ при тогдашнемъ его настроеніи уступилъ бы имъ. Часть дворянъ лучше не просить какъ освободить мужиковъ, оставя за собой землю. Что же было бы изъ такого освобожденія?

Представьте себѣ европейское сельское устройство съ петербургскимъ самовластіемъ, съ нашими чиновниками, съ нашей земской полиціей. Представьте себѣ двадцать милліоновъ пролетаріевъ, ищущихъ работы на господскихъ земляхъ, въ странѣ, гдѣ нѣтъ никакой законности, гдѣ все управленіе подкупное и дворянское, гдѣ личность ничего, а вліяніе все.

Помѣщики заключили бы между собой оборонительный союзъ, установили бы свои цѣны противъ крестьянъ, такъ какъ это было въ остзейскихъ провинціяхъ. Полиція была бы съ ихъ стороны. Общинное начало

было бы поражено на смерть у вновь освобожденныхъ, деревня потеряла бы свое коммунистическое единство и въ полстолѣтія мы перегнали бы Ирландію.

Есть люди, до сихъ поръ поддерживающіе пользу освобожденія безъ земли, освобожденія въ голодъ и безпріютность, воображая, что въ этомъ новомъ пролетаріатѣ непремѣнно разовьется революціонное начало.

Быть голоднымъ и пролетаріемъ вовсе не достаточно для того, чтобъ сдѣлаться революціонеромъ. Вывода полисменовъ достаточно, чтобъ держать ирландцевъ въ повиновеніи законамъ, лишаящимъ ихъ куска хлѣба.

Вообще пролетарій полей очень миренъ, кругъ его понятій тѣсенъ, онъ слишкомъ подавленъ и сгнетенъ къ землѣ, чтобъ быть болѣе нежели недовольнымъ. Его не надобно смѣшивать съ работникомъ большихъ торговыхъ и политическихъ центровъ. Въ этихъ колоссальныхъ ульяхъ, гдѣ миллионы людей трутся ежедневно другъ о друга, гдѣ на всякомъ шагѣ попадаются макабрскія встрѣчи пляшущихъ съ умирающими, пересыщенныхъ съ голодными, Ротшильда съ ирландцемъ, откупщика съ поденщикомъ, тамъ разумѣется въ душѣ работника бродятъ мысли о ниспроверженіи этого міра монополи, цѣха, капитала, дохода, но въ маленькихъ городахъ и еще болѣе въ поляхъ пролетарій не таковъ. Онъ принимаетъ свое положеніе за судьбу, онъ страдаетъ, не знаетъ выхода, покоряется.

Русскіе, говорящіе такъ легко о разрушеніи сельской общины, никогда не думали, что же останется, что будетъ, когда этотъ послѣдній узелъ народной жизни, насильственно развязанный, распустится.

Народъ русской все вынесъ, но спасъ общину, община спасла народъ русской; уничтожая ее, вы отдадете его, связаннаго по рукамъ и ногамъ, помѣщику и по-

лиціи. И коснуться до нее въ то время, когда Европа оплакиваетъ свое раздробленіе полей и всѣми силами стремится къ какому нибудь общинному устройству.

Говорятъ, что община поглощаетъ личность и что она несовмѣстна съ ее развитіемъ. Въ этомъ мнѣніи есть доля правды. Всякой неразвитой коммунизмъ подавляетъ отдѣльное лицо. Но не надобно забывать, что русская жизнь находила сама въ себѣ средства отчасти восполнить этотъ недостатокъ. Сельская жизнь образовала рядомъ съ неподвижной, мирной, хлѣбопашенной деревней, подвижную общину работниковъ, артель и военную общину казаковъ.

Артель лучшее доказательство того естественнаго, безотчетнаго сочувствія Славянъ съ социализмомъ, о которомъ мы столько разъ говорили. Артель вовсе не похожа на германскій цѣхъ, она не ищетъ ни монополи, ни исключительныхъ правъ, она не для того собирается, чтобъ мѣшать другимъ, она устроена для себя, а не *противъ* кого либо. Артель соединеніе вольныхъ людей одного мастерства на общій прибытокъ общими силами.

Казачество была отворенная дверь людямъ, не любящимъ покоя, ищущимъ движенія, опасности, независимости. Оно соотвѣтствовало тому буйному началу молодчества и удала, которое рядомъ съ мирнымъ и добродушнымъ правомъ Славянъ составляетъ ихъ характеристику.

Общинный дружинникъ, казакъ, становился безсмѣнной стражей на крайнихъ предѣлахъ отечества, и берегъ его; онъ не хотѣлъ знать никакого правительства, кромѣ своего выборнаго; лучше становился разбойникомъ нежели подданнымъ, но родинѣ служилъ вѣрой и правдой и не жалѣя лилъ за нее свою кровь.

Запорожцы были славянскіе витязи, витязи мужики, странствующие рыцари чернаго народа.

Привычныя къ войнѣ и дорогѣ, казаки имѣли тѣ неопредѣленныя влеченія, то политическое чутье, тѣ пророческія догадки, которыми отличались норманны. Горсть казаковъ завоевала Сибирь. Ермакъ не остановился на Тобольскѣ, онъ добрался до Иркутска и тамъ сложила свою буйную голову. Другой казакъ послѣ него, съ своей небольшою дружиною пробился сквозь льды и степи до морскаго берега, какъ будто что-то непреодолимое тянуло ихъ къ Тихому океану, къ этому Средиземному морю будущаго; какъ будто они провидѣли всю важность поставить Русь лицомъ къ лицу съ Сѣверо-Американскими Штатами.

Надобно было имѣть все жалкое непониманіе нѣмецкаго правительства, чтобъ не оцѣнить такого учрежденія какъ казачество. Не даромъ казаки возражали Богдану Хмѣльницкому, что вольнымъ людямъ нельзя вступать въ подданство Москвѣ. Петръ первый обрадовался измѣнѣ Мазепы и принялся притѣснять Малороссію вопреки всѣхъ договоровъ. Елизавета сдѣлала своего любовника гетманомъ. У Екатерины II ихъ было слишкомъ много, чтобъ никого не обидѣть, она раздѣлила между ними Малороссію и отдала имъ въ крѣпость вѣчно свободныхъ людей. Она казаками платила за свои египетскія ночи.

Не смотря на то, казаки явились въ 1812 году тѣмъ же отважнымъ, лихимъ войскомъ, какимъ были прежде. Они вносили въ регулярную армію поэтической и народный элементъ. Безъ строя и выправки съ, * пикой и бородой, на маленькихъ лошадакахъ съ длинной гривой, они разсыпались, исчезали, нападали съ страшной дерзостью и ускользали съ восточной уклончи-

востью. Они всего больше остались въ памяти непріятеля.

Николай, вѣрный своей мертвящей мысли однообразія, безличія, сближаетъ ихъ болѣе и болѣе съ военными поселеніями. Онъ разрушилъ ихъ демократическое устройство, „облагородивая“ ихъ есауловъ, прежде возвращавшихся снова въ ряды простыхъ казаковъ. Онъ даже отнялъ у нихъ ихъ пѣсни, подвергнувъ ихъ какой-то цензурѣ.

Само собою разумѣется, что ни въ коммунизмѣ деревень, ни въ казацкихъ республикахъ мы не могли бы найти удовлетворенія нашимъ стремленіямъ. Все это было слишкомъ дико, молодо, неразвито, но изъ этого не слѣдуетъ, что намъ должно ломать эти незрѣлыя начинанія, напротивъ ихъ надобно продолжать, развивать, образовывать. Тутъ нѣтъ большаго достоинства: что мы неподвижно сохранили нашу общину въ то время, какъ германскіе народы ее утратили, но это большое счастье и его не надобно выпускать изъ рукъ. Мы долго ждали, долго временили, воспользуемся опытностью нашихъ сосѣдей, она имъ страшно дорого стоитъ.

Міръ западный утратилъ свое общинное устройство; хлѣбопашцы и несобственники были принесены на жертву развитію меньшинства; за то развитіе дворянства и горожанъ было велико и богато. Оно имѣло рыцарство съ его высокимъ понятіемъ независимой личности и среднее состояніе съ его непреклонной идеей права, оно имѣло искусство и литературу, науку и промышленность, наконецъ Реформацію и Революцію, которыя грозно и торжественно низвергнули половину церкви и половину трона.

Одна Россія, эта падчерица, эта Сандрильона между народами европейскими не имѣла никакой доли въ прио-

брътвеніяхъ и побѣдахъ своихъ сосѣдей. Народъ русской такъ же мало былъ способенъ къ торжественному западному развитію трехъ послѣднихъ вѣковъ, какъ къ крестовымъ походамъ, какъ къ схоластикѣ и теологическимъ спорамъ, какъ къ римскому праву и германскому феодализму. Народъ русской ничего не приобрѣлъ со временъ Владиміра и кіевскаго періода; подъ монгольскимъ гнетомъ хановъ, подъ византійскимъ царей, подъ нѣмецкимъ императоровъ, подъ суринамскимъ помѣщикамъ, онъ сохранилъ только свою незамѣтную, скромную общину т. е. владѣніе сообща землею, равенство всѣхъ безъ исключенія членовъ общины, братской раздѣлъ полей по числу работниковъ и собственное мірское управленіе своими дѣлами. Вотъ и все приданное Сандрильоны, зачѣмъ же отнимать послѣднѣе.... „Затѣмъ, что при всемъ этомъ на Руси жить тяжело, ни уму, ни сердцу нѣтъ простора.“ Тяжко, дурно жить въ Россіи, это правда, и тѣмъ тяжеле было для насъ, что мы думали что въ другихъ странахъ легко и хорошо жить.

Теперь мы знаемъ, что и тамъ тяжело. Отъ того, что и тамъ не разрѣшенъ вопросъ, около котораго сосредоточилась теперь вся человѣческая дѣятельность, вопросъ объ отношеніи лица къ обществу и общества къ лицу. Крайнія, одностороннія развитія привели къ двумъ нелѣпостямъ—къ гордому своимъ правами независимому англичанину, котораго свобода основана на вѣжливой антропофагіи и къ бѣдному русскому мужику безлично потерянному въ общинѣ, безправно отданному въ крѣпость и въ силу того служащему съѣстнымъ припасомъ барину.

Гдѣ ихъ примиреніе, какъ снять ихъ противурѣчіе, какъ сохранить независимость британца безъ людоѣд-

ства, какъ развить личность крестьянина безъ утраты общиннаго начала? Въ этомъ-то вся мучительная задача нашего вѣка, въ этомъ то и состоитъ весь социализмъ.

Безумно было бы начать переворотъ съ уничтоженія свободныхъ учреждений, потому что они на дѣлѣ доступны только меньшинству; еще безумнѣе уничтожить общинное начало, къ которому стремится современный человѣкъ, за то, что оно не развило еще свободной личности въ Россіи.

Наша деревня довольно наказана рабствомъ за ея односторонность, за ея слишкомъ патріархальныя нравы; неужели и самое освобожденіе должно ей служить наказаніемъ.

Помѣщичья власть, какъ нѣчто совершенно внѣшнее, поддерживаемое однимъ насилиемъ, легко снимется съ сельской жизни.

Гакстаузенъ старается доказать въ своей книгѣ, что помѣщики представляютъ патріархальную главу общины, нѣчто въ родѣ старинныхъ шотландскихъ клановъ или арабійскихъ эмировъ. Миѣніе это, нѣкогда поддерживаемое плантаторами изъ московскихъ панславистовъ, совершенно ложно.

Патріархальный глава общины—староста, выбранный міромъ, взятый изъ самой общины, равный всѣмъ. Онъ замѣняетъ отца и есть дѣйствительный опекунъ, ходатай, представитель деревни. Гдѣ же начинается необходимость другой главы, вотчина, посторонняго, опирающагося на внѣшнюю власть, не принимающаго никакого участія въ дѣлахъ общины, не несущаго ея тяги и обладывающаго ее оброкомъ и барщиной?

Еслибъ помѣщикъ былъ только собственникъ земли, его права ограничивались бы кортомными деньгами за

нее, соотвѣтственной работой или половничествомъ. Но оно все не такъ. Онъ владѣетъ гораздо больше чело-вѣкомъ нежели землею, онъ беретъ окупъ не съ де-сятины, а съ мышцъ, съ дыханія, онъ заставляетъ пла-тить за право работы, движенія, существованія. Оброкъ дворовыхъ, ходящихъ по паспорту, основанъ по превос-ходному выраженію, невзначай сорвавшемуся у Гакст-гаузена, на *обратномъ* Сень-симонизмѣ, чѣмъ больше способности, тѣмъ больше требуетъ баринъ. Очевидная нелѣпость.

За общиной логически ничего нѣтъ другого какъ со-единеніе общинъ въ большія группы и соединеніе группъ въ общемъ, народномъ, земскомъ дѣлѣ (*res publica*). Казенныя деревни дѣйствительно соединяются въ во-лости, они избираютъ сверхъ старостъ, тысяцкихъ, сот-скихъ, десятскихъ, голову, и при немъ двухъ стариковъ въ судьи. Все это совершенно послѣдовательно идетъ изъ народнаго понятія о правѣ, неписаннаго, но живаго во всякой славянской груди. Но тутъ разомъ обрыва-ется всякой смыслъ, мы встрѣчаемся съ становымъ приставомъ, съ канцелярскимъ правительствомъ и съ помѣщичьей властью.

Прерывъ всякой связи между народомъ и дворян-ствомъ, между народомъ и чиновничествомъ очевиденъ, и никогда не былъ онъ рѣзче обозначенъ какъ теперь. Дѣтъ сто тому назадъ богатые помѣщики изъ аристо-кратизма щадили своихъ крестьянъ; бѣдные жили ме-жду ними и мало отличались отъ нихъ нравами и об-разованіемъ. Все это измѣнилось. Образованіе разъеди-нило совершенно помѣщиковъ съ крестьянами и они не могли болѣе ни брать участія, ни любить крестьянъ, ни жалѣть ихъ, все чуждое для насъ безразлично; но они могли и хотѣли пользоваться ими и пользовались.

Крестьянинъ перешелъ въ разрабатываемую собственность. Развитие промышленности фабрикъ, и самое распространение политической экономіи, *переложенной на російскіе* права, дали тысячу новыхъ средствъ употреблять крестьянъ на пользу. Помѣщикъ, „патріархальная глава общины,“ сдѣлался мало по малу изъ вельможи фабрикантомъ, плантаторомъ, торговцемъ бѣлыхъ негровъ.

Этого разрыва, бросающагося въ глаза, не хочетъ видѣть Гакстгаузенъ, увлеченный своей монархической демагогіей, своей страстной любовью рабства. Принявъ власть помѣщика за патріархальную, онъ естественно принимаетъ за такую же народную отеческую власть петербургское императорство. Оно въ его глазахъ продолженіе кievскаго великокняжества; императоръ Николай тотъ же равноапостольной Владиміръ, котораго народъ называлъ своимъ краснымъ солнцемъ. Тамъ, гдѣ онъ не находитъ другой возможности объяснить дикій петербургскій деспотизмъ, тамъ онъ благоговѣетъ передъ „высотой повиновенія“ народа русскаго; эту безпредѣльную покорность королевско-прусскій якобинецъ называетъ нашей высокой добродѣтелью.

Здѣсь не мѣсто вступать въ разборъ историческаго значенія петровскаго переворота, петровской Руси; мы считаемъ переворотъ этотъ необходимымъ, онъ разбудилъ Россію, онъ ее повелъ впередъ, когда она сама еще не могла идти, онъ былъ полонъ вѣрою въ ея великія судьбы, въ ея великія силы, но онъ былъ свирѣпъ и жестокъ какъ большая часть революцій, какъ царство ужаса въ 93 году и именно потому разорвалъ единство жизни русской.

Двѣ Россіи сначала XVIII столѣтія стали враждебно другъ противъ друга. Съ одной стороны была Россія

правительственная, императорская, петербургская, дворянская, богатая деньгами, вооруженная не только штыками, но всѣми приказными и полицейскими уловками, взятыми изъ Германіи.

Съ другой, Русь чернаго народа, бѣдная, хлѣбопашенная, общинная, демократическая, безоружная, взятая въ расплохъ, побѣжденная собственно безъ боя. Что же тутъ удивительнаго, что императоры отдали на раздробленіе *своей* Россіи, придворной, военной, одѣтой по нѣмецки, образованной снаружи — Русь мужицкую, бородатую, неспособную оцѣнить привозное образованіе и заморскіе нравы, къ которымъ она питала глубокое отвращеніе.

Чего имъ было ее жалѣть?

— Что чы ходишь, повѣся носъ, спросилъ однажды графъ Завадовскій или Зоричъ, словомъ одинъ изъ наложниковъ императрицы Екатерины II почтеннаго дворянина, состоявшаго при немъ въ качествѣ шута.

Собесѣдникъ, къ которому относился вопросъ, былъ человекъ необыкновенно толстый и прожорливый, всегда обѣдавшій у графа. Когда графъ бывалъ особенно веселъ, онъ давалъ знакъ рукою, лакей надѣвалъ на голоднаго шута хомутъ и, затянувъ шею, пускалъ его на ѣду.

Дворянинъ бился въ хомутъ какъ звѣрь, бросался нарочно на блюда, давился, былъ очень гадокъ, словомъ усердно тѣшилъ своего покровителя, хохотавшаго до слезъ.

— По неволѣ повѣсишь носъ, отвѣчалъ упряжный дворянинъ, ваше сіятельство изволите всѣхъ щедротами своими награждать, одинъ я, несчастный, забытъ вами.

— Какъ такъ? спросилъ графъ.

— Ваше сіятельство всѣмъ пожаловали отчины въ Малороссіи, а мнѣ хоть бы какую пибудь сотню дрянныхъ казаковъ.

— Каковъ малый, отвѣчалъ сквозь хохотъ графъ, губа-то не дура. Такъ и тебѣ казаковъ захотѣлось — ха, ха, ха. Чѣмъ же ты заслужилъ казаковъ?

— Да помилуйте ваше сіятельство, отвѣчалъ шутъ, вѣдь я и не богъ знаетъ чего прошу, чего вамъ графъ стоятъ казаки, а мнѣ милость была бы дорога и я до гроба молился бы объ вашемъ здравіи.

— Еще лучше, замѣтилъ веселый графъ, да онъ совсѣмъ не такъ глупъ, какъ кажется, въ самомъ дѣлѣ чего жалѣть казаковъ. Ну такъ и быть, дамъ тебѣ казаковъ.

— Ваше сіятельство, ваше сіятельство! говорилъ тронутый шутъ и ползъ на колѣняхъ приложиться къ графской ручкѣ, неужели и въ правду.

— Ну полно, полно, отвѣчалъ графъ, милостиво протягивая руку, говорю тебѣ, будутъ у тебя казаки.

Это было въ самое то время, когда Екатерина II вводила крѣпостное состояніе въ Малороссію. Одержимая ненасытимой нимфоманіей, запятнанная всѣми преступленіями, эта „мать отечества“ дала однимъ своимъ любовникамъ болѣе трехъ сотъ тысячъ душъ мужескаго пола.*)

Графъ сдержалъ слово и отложенный шутъ поѣхалъ управлять своими казаками.

— Въ прошедшемъ году, переѣзжая С. Готаръ, я взялъ въ одной гостинницѣ трактирную книгу, въ ней большими буквами стояла русская фамилія. Подъ нею

*) У Кастеры приложенъ счетъ.

другой путешественникъ написалъ мелкимъ шрифтомъ по французски: „тотъ самый, котораго дворовые люди высѣкли.“

Эта непріятность случилась съ однимъ камергеромъ, извѣстнымъ богачемъ и негодеемъ. Въ 1850 году онъ жилъ въ своемъ малороссійскомъ имѣніи. Крестьяне и дворовые, выведенные изъ терпѣнія рѣшились, проучить его. Они его высѣкли и взяли письменную росписку, что онъ будетъ молчать. Прошло нѣсколько времени, испуганный камергеръ казалось присмирѣлъ, но вдругъ поставилъ въ рекруты молодаго малаго, оказавшагося особенно усерднымъ во время наказанія. Когда рекруту забрили лобъ, онъ сказалъ предсѣдателью, что баринъ его отдалъ въ солдаты за то, что онъ его больно сѣкъ. Въ удостовѣреніе чего рекрутъ вытащилъ изъ за пазухи камергерскую росписку.

Документъ этотъ до того поразилъ присутствующихъ, что они не догадались ни уничтожить его, ни уничтожить рекрута, ни даже продать росписку камергеру. Они сгоряча представили „казусъ сей“ на усмотрѣніе министру внутреннихъ дѣлъ. Но и тотъ призадумался, случай о сѣченыхъ камергерахъ рѣшительно не былъ предвидимъ сводомъ законовъ. Министръ доложилъ Государю. Государь терпѣвшій камергера, пока онъ сѣкъ, выгналъ его изъ службы за то, что его сѣкли. Москвичи, ѣздившіе толпами къ нему на балы, зная его гнусное поведеніе, оставили его, узнавъ объ исправительной мѣрѣ, употребленной дворовыми. Камергеръ обидѣлся, сталъ жаловаться, чуть не сдѣлался недовольнымъ. Государь велѣлъ ему ѣхать за границу и не возвращаться безъ особаго приказа.

Несчастно гонимый и интересный камергеръ этотъ никто иное какъ благополучный наслѣдникъ упряжнаго

шута, а люди его наказывавшіе—дѣти казаковъ пожалованныхъ Екатериной.

Это рѣзко характеризуетъ грязное начало и безсмысленныя послѣдствія русскаго помѣщичьяго права.

Что тутъ прибавлять къ графу *съ случать*, согласному что казаковъ жалѣть нечего, къ шуту въ хомутѣ, который вдругъ изъ грязныхъ нахлѣбниковъ дѣлается законнымъ господиномъ свободныхъ казаковъ, къ камергеру благоразумно предпочитающему розги смерти, къ премудрому царю, который туда же дѣлаетъ пропаганду, посылая избитаго камергера съ своей зебровой спиной таскаться по всѣмъ столицамъ Европы, по морямъ, сушамъ и альпійскимъ вершинамъ.....



СТАРЫЙ МІРЪ И РОССІЯ

Письма къ редактору „The English Republic,“ В. Линтону.

(1854 г.)

Н. Трюбнеръ прислалъ мнѣ прилагаемый переводъ, спрашивая моего согласія на изданіе его. Политическія статьи быстро вынуть и я, перечитавъ эти письма къ В. Линтону — писанныя передъ крымской войной, во время царствованія въ бозѣ почивающаго и „незабвеннаго“ Николая — задумался было о томъ, печатать ихъ или нѣтъ. Но сказанное слово тоже фактъ и отпираться отъ него стыдно; я не напрашивался на переводъ — но не хочу и мѣшать ему, тѣмъ болѣе, что онъ уже сдѣланъ.

Письма эти навлекли на меня сильныя гоненія отъ англійскихъ и особенно отъ нѣмецкихъ журналистовъ. Трудно себѣ представить въ какомъ безвыходномъ, запаенномъ на-глухо кругѣ понятій бьется современный европейскій человѣкъ и какъ ему трудно достается, какъ его сбиваетъ съ толку, какъ ему становится ребромъ, всякая мысль, неподходящая подъ заученныя имъ правила, подъ заготовленные имъ рубрики. Рядо-

вые литераторы и журнальные поденщики стоятъ на первомъ планѣ. У нихъ для ежедневнаго обихода есть запасъ мыслей, знаній, сужденій, негодованій, восторговъ и главное прилагательныхъ словъ, которые у нихъ идутъ на все; ихъ по мѣрѣ надобности сокращаютъ, растягиваютъ, подкрашиваютъ въ ту или другую краску. Эта трафаретная работа необычайно облегчаетъ трудъ; ее можно продолжать во всякомъ расположеніи, съ головою болью, думая о своихъ дѣлахъ, такъ какъ старухи вяжутъ чулокъ. Но все это идетъ, пока дѣло вертится около знакомыхъ предметовъ. Новое событіе, неизвѣстный фактъ принимается, напротивъ, съ скрытой злобой — какъ незваный гость, его стараются сначала не замѣчать, потомъ выпроводить за дверь, а если нельзя иначе, оклеветать.

Письма эти имѣли въ себѣ многое, чтобъ возбудить гнѣвъ и въ обыкновенное время — а они явились во время повальной ненависти къ Россіи и ничѣмъ неупрочимаго воинскаго героизма союзниковъ вообще, и въ особенности нѣмцевъ.

Чтобъ дать понятіе что такое были нападки, я упомяну о трехъ самыхъ забавныхъ: одинъ господинъ говоритъ, что въ этихъ письмахъ я ставлю въ образецъ и идеалъ — *крѣпостное состояніе*; другой — что я совѣтую не только завоеваніе Константинополя, но и Вѣны. Третій — что все сказанное мною объ сельской общинѣ ложно и выдуманно: „онъ дошелъ до того, что даже въ устройствѣ Украинскихъ казаковъ старается показать начала демократическія, почти республиканскія!“

Почти еще забавнѣе были два изустныя замѣчанія. Редакторъ одного *недѣльнаго* листа замѣтилъ мнѣ, что анти-религіозный характеръ моихъ писемъ оскорби-

теленъ для англичанъ, для народа по преимуществу христіанскаго. „Вотъ, говоритъ онъ, вамъ примѣръ, человѣкъ необычайной энергіи и силы мысли, отецъ социализма, старый Робертъ Оуенъ, отчего не имѣлъ успѣха, отчего не основалъ школы—оттого что онъ прямо отвергаетъ христіанство.“

Нѣсколько дней послѣ встрѣтилъ я другаго редактора другаго тоже *недѣльнаго* листа. Онъ мнѣ сказалъ, что хотѣлъ напечатать отрывки изъ моихъ писемъ но нашелъ, что въ нихъ все такъ пропитано социализмомъ, который антипатиченъ англо-саксонской расѣ — что онъ не рѣшился этого сдѣлать.

— Робертъ Оуенъ оттого не имѣлъ успѣха, сказалъ я, оттого не основалъ школы — что онъ социалистъ.

— Безъ малѣйшаго сомнѣнія! отвѣчалъ утвердительно редакторъ.

Что же бы осталось отъ Оуена, еслибъ изъ его сочиненій взять все социальное и все анти-христіанское?

Ошибокъ въ этихъ письмахъ много. Кто могъ предвидѣть что первою жертвой Крымской войны падетъ Николай — я всегда думалъ, что онъ проживетъ какъ царь Иванъ Васильевичъ до Аредовыхъ лѣтъ.

Но въ чемъ я не ошибся и что составляетъ сущность этихъ писемъ, это въ моемъ предсказаніи, что Россія должна вступить въ новую эру развитія, что узкій деспотизмъ Николая становится тѣсень для ея роста.

Да не ошибся я и въ томъ, что Англія сдѣлается больше и больше отчужденнымъ островомъ, хранящимъ въ своихъ свободныхъ учрежденіяхъ прежній идеалъ общественнаго устройства, къ которому стремился весь европейскій міръ — да середь дороги ослабѣлъ, одряхлѣлъ и подпалъ двумъ величайшимъ врагамъ развитія

и свободы — подогрѣтому католицизму и вновь воскресшему абсолютизму.

Нашихъ соотечественниковъ прошу я не забывать, что эти письма писаны не для русскихъ, и не тѣмъ языкомъ, которымъ мы говоримъ.

1 Января 1858 года.

Путней (близъ Лондона.)



ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Любезный Линтонъ!

„Какая, по мнѣнію вашему, будущность Россіи?“ спрашиваете вы.

Всякій разъ, когда мнѣ приходится отвѣчать на подобный вопросъ, я отвѣчаю, тоже спрашивая: способна Европа къ общественному возрожденію или нѣтъ? Вопросъ этотъ очень важенъ. Ежели народу русскому предстоить только одна будущность, то судьбамъ имперіи російской предстоить двѣ будущности. Отъ Европы будетъ зависѣть—которая изъ двухъ совершится.

Мнѣ кажется, что роль *теперешней* Европы совершенно окончена; съ 1848 года, разложеніе ея растетъ съ каждымъ шагомъ.

Слова эти ужасають, и всѣ безотчетно оспаривають ихъ. Разумѣется, не народы погибнуть,—погибнуть государства, погибнуть учрежденія: римскія, христіанскія, феодальныя, парламентскія, монархическія или республиканскія,—все равно.

Европа должна преобразоваться, разложиться, чтобъ войти въ новыя сочетанія. Подобнымъ образомъ имперія римская преобразовалась въ Европу христіанскую. Она потеряла свою самобытность и вступила въ новый міръ, взошла въ него одною изъ дѣятельнѣйшихъ стихій.

До сихъ поръ въ Европѣ были только внѣшнія пре-

образованія; основанія же новаго порядка государствъ оставались неосуществленными; старое зданіе только поправляли. Такова была Реформа Лютера, такова была Революція 1789 года.

Мы дошли наконецъ до крайнихъ границъ передѣлокъ и зачекатуриваній; вѣтхія формы слишкомъ тѣсны; въ нихъ нельзя повернуться, опасаясь, что онѣ распадутся. Революціонная мысль сверхъ того несовмѣстна съ существующимъ порядкомъ вещей.

Государство съ римскими понятіями, основанными на поглощеніи личности—обществомъ, на религіи случайной собственности, на привилегіяхъ и монополахъ, на нравственномъ дуализмѣ (даже въ революціонной формулѣ: „Богъ и Народъ“) —такое государство не можетъ ничего оставить потомству, кромѣ своего тупа, т. е. свой химическіе элементы—освобожденные смертью.

Соціализмъ отрицаетъ все то, что политическая республика сохранила отъ стараго общества. Соціализмъ —религія человѣка, религія земная, безнебесная, — общество безъ правленія, воплощеніе христіанства, одѣйствотвореніе Революціи.

Христіанство преобразовало раба въ сына человѣческаго; Революція преобразовала отпущенника въ гражданина; Соціализмъ хочетъ изъ него сдѣлать *человѣка* (ибо городъ долженъ зависѣть отъ человѣка, а не человѣкъ отъ города). Христіанство указываетъ людямъ на сына Божія, какъ на идеаль — Соціализмомъ сынъ объявляется *совершеннолѣтнимъ*, человѣкъ хочетъ быть болѣе чѣмъ сыномъ Божиимъ,—онъ хочетъ быть *самимъ собою*.

Всѣ отношенія общества къ частнымъ лицамъ и частныхъ лицъ между собой должны быть совершенно измѣнены. И тутъ является вопросъ: будутъ ли имѣть

народы германо-романскіе достаточно силь, чтобъ подвергнуться этому переселенію душъ, и въ состояніи ли они подвергнуться ему теперь?

Мысль соціальной революціи—мысль европейская; но изъ этого не слѣдуетъ, что западные народы одни призваны осуществить ее.

Христіанство было только *распято* въ Іерусалимѣ.

Мысль соціальная равно можетъ быть духовнымъ за-вѣщаніемъ, предсмертной волей, предѣломъ западнаго міра, какъ и торжественнымъ входомъ въ новое существованіе, пріобрѣтеніемъ совершеннолѣтней тоги.

Европа слишкомъ богата, чтобъ рисковать всѣмъ имуществомъ на одной картѣ; она желаетъ сохранить многое; ея нисшіе классы слишкомъ отдалены отъ цивилизаціи, чтобы она зря могла броситься всѣмъ тѣломъ въ такой коренной переворотъ.

Республиканцы и монархисты, деисты и іезуиты, горожане и крестьяне — все это консерваторы. Развѣ — придется исключить однихъ только работниковъ.

Работникъ можетъ отвратить отъ стараго свѣта большой позоръ и большія несчастія. Но спасенный имъ онъ не переживетъ одного дня; потому что съ нимъ водворится социализмъ — и вопросъ будетъ положительно рѣшенъ.

Но и работникъ можетъ быть побѣжденъ — какъ это было въ іюньскіе дни. Противудѣйствія будутъ еще свирѣпѣе, еще страшнѣе. Тогда разложеніе стараго міра придетъ инымъ путемъ, и социализмъ осуществится въ другихъ странахъ.

Взгляните напримѣръ на эти двѣ огромныя равнины, сходящіяся затылками, обогнувъ Европу. Зачѣмъ онѣ такъ пространны, къ чему онѣ готовятся, что означаетъ пожирающая ихъ страсть къ дѣятельности и рас-

ширенію? Эти два міра, противоположные одинъ другому, и между которыми есть своего рода сходство — Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты и Россія.

Никто не сомнѣвается, что Америка продолженіе европейскаго развитія — и *ничего болѣе* какъ его продолженіе. Лишенная всякой инициативы, всякаго изобрѣтенія, Америка готова принять бѣгущую отъ реакціи Европу, осуществить своего рода социализмъ, но она не пойдетъ низвергать древнее зданіе за Атлантическій океанъ и не покинетъ для этого своихъ богатыхъ полей.

Можно ли сказать тоже о славянскомъ мірѣ? Чего домогается этотъ *нѣмой міръ*, прожившій въ постоянномъ a parte не разкрывая рта, цѣлый рядъ столѣтій, со времени переселенія народовъ до нашихъ временъ?

Міръ странный, не имѣющій почти ничего общаго ни съ Европой, ни съ Азіей.

Европа занята крестовыми походами — славяне сидятъ спокойно дома.

Европа развиваетъ феодальную систему, строитъ большіе города, составляетъ законодательства основанныя на римскомъ правѣ и на германскихъ обычаяхъ; Европа становится послѣдовательно протестантской, либеральной, парламентской, революціонной. Славяне не имѣютъ ни большихъ городовъ, ни аристократическаго дворянства; они не понимаютъ римскаго права, не знаютъ различія между крестьяниномъ и горожаниномъ; они предпочитаютъ жизнь сельскую и сохраняютъ свои патріархальныя и демократическія установленія — свою сельскую общину и вѣче.

Часть этихъ народовъ еще не пробилъ, они всѣ въ ожиданіи чего-то, ихъ теперешнее *statu quo* какое-то предварительное состояніе — такъ по крайней мѣрѣ кажется.

Нѣсколько разъ славянскіе народы пытались сложиться въ сильныя государства. Опыты ихъ повидимому удавались (какъ на примѣръ Сербіи при Душанѣ) и потому эти государства глохнутъ, останавливаются безъ всякой причины.

Распространенные отъ береговъ Волги до береговъ Эльбы, до Адриатическаго Моря и Архипелага, славяне никогда не соединялись въ одно, для общей защиты. Часть ихъ изнемогаетъ подъ нѣмецкимъ игомъ, другая терпѣть владычество турокъ, третья — была поработана варварскими ордами, напавшими на Паннонію. Большая часть Россіи, долгое время, страдала подъ игомъ монгольскимъ.

Одна лишь Польша оставалась независима и сильна... но это потому, что она была меньше славянскою чѣмъ прочія племена; она была *католическою*. А католицизмъ совершенно противенъ славянскому генію. Славяне первые, вступили въ вражду съ Папизмомъ, ихъ борьба съ тѣмъ вмѣстѣ имѣла въ себѣ характеръ глубоко-соціальный. (Табориты.)

Завоеванная и покоренная католицизмомъ Богемія сломилась.

И такъ Польша сорганила свою независимость нарушеніемъ соплеменнаго единства и сближеніемъ своимъ съ западными государствами.

Остальные славяне, хотя и оставались независимы, но не занимались своимъ государственнымъ устройствомъ; общественная жизнь ихъ была нѣчто въ родѣ колеблющагося, неопредѣленнаго, неустояващагося *анархизма* (какъ бы выразились здѣшніе *друзья порядка*). Въ мірѣ можетъ быть нѣтъ положенія болѣе сообразнаго съ славянскимъ характеромъ, какъ положеніе Украины или Малороссіи, со временъ Кіевского періода до Петра I.

Это была казачья и земледѣльская республика, управляемая военною дисциплиной, но на основаніяхъ демократическаго коммунизма. Безъ средоточія, безъ правленія, повинная лишь древнимъ обычаямъ, не подчиняясь ни царю московскому, ни королю польскому. Аристократіи не было, всякій совершеннолѣтній человѣкъ былъ дѣйтельнымъ гражданиномъ; всѣ должности, начиная отъ десятника до гетмана, были избирательныя. Республика эта существовала отъ XIII вѣка до XVIII, не смотря на безпрестанныя вражды ея съ Великоросіей, съ поляками, литовцами, турками и крымскими татарами. Въ Украинѣ, въ Черногоріи и даже у сербовъ, иллірійцовъ и далматовъ — повсюду гений славянскій заявилъ себя, свои стремленія, но не развилъ крѣпкой политической формы.

Однако надо было наконецъ пройти *дрессировкой* сильнаго государства, надо было соединиться, сосредоточиться, покинуть вольную, казачью и коммунальную жизнь, жизнь спустя рукава; однимъ словомъ проснуться отъ продолжительнаго общественнаго сна.

Около XIV столѣтія въ Россіи образуется средоточіе, около котораго тяготѣютъ и кристаллизуются всѣ разнородныя части государства — это средоточіе Москва. Со времени ея появленія какъ центра, она становится столицей всего славянскаго Православья.

Въ Москвѣ образовалось византійское и восточное самовластѣе царей. Москва уничтожила все независимое старой Руси, всѣ вольности народныя. Все было принесено на жертву идее *государства*; все приводится къ его одному знаменателю и — все склоняется. Народъ, низвергнувъ его монгольское, продолжая кровавую вражду съ ливонцами, и видя вооруженіе Польши, — какъ будто чувствовалъ, что для спасенія своей народ-

ности и своей сущности слѣдовало отречься отъ всѣхъ правъ человѣческихъ.

Новгородъ — великая и вольная весь — былъ живымъ упрекомъ едва родившейся столицѣ царей. Москва, съ кровавой жестокостью и безъ малѣйшаго угрызенія совѣсти, задушила своего противника.

Когда вся Россія была у ея ногъ, Москва столкнулась лицомъ къ лицу съ Варшавой.

Борьба двухъ новыхъ соперницъ была продолжительна, она окончилась въ другую эпоху. Нѣкоторое время Польша имѣла верхъ, Москва склонилась передъ ней, Владиславъ, сынъ Сигизмунда, царя польскаго, былъ провозглашенъ царемъ всея Россіи. Домъ Рюрика и Владиміра Мономаха угасъ, — не было никакого управленія, польскіе военачальники и гетманы казаковъ царили въ Москвѣ.

Тогда народъ, повинувшись воззванію Минина — возсталъ и принудилъ Польшу покинуть Москву и русскую землю.

Москва, окончивши свое дѣло — *спаванія* частей государства — пріостанавливается, не знаетъ куда употребить ея собранныя и оставшіяся въ бездѣйствіи силы. Выходъ нашелся имъ скоро. Тамъ гдѣ много силъ — тамъ выходъ всегда есть.

Явился Петръ I и сдѣлалъ изъ *Государства Русскаго* — *Государство Европейское*.

Скорость, съ которою часть народонаселенія покорилась европейскимъ обычаямъ, отрекшись отъ своихъ старыхъ привычекъ, ясное доказательство того, что московское государство никогда не было полнымъ выраженіемъ жизни народной, и что существованіе его было только временное. Одни крестьяне противудѣйствовали, когда перемѣны касались основъ ихъ быта и,

страдательно уклоняясь, не приняли преобразованій Петра I. Они остались вѣрнымъ хранителемъ народности, основанной (по выраженію Мишле) на коммунизмѣ, т. е. на постоянномъ раздѣлѣ полей по числу работающихъ и на отсутствіи личнаго обладанія землею.

Какъ сѣверная Америка представляетъ собою послѣдній выводъ республиканскихъ и философскихъ идей Европы XVIII вѣка; такъ С.-Петербургская Имперія развила до чудовищной крайности начала Монархизма и европейской бюрократіи. Послѣднее слово консервативной Европы произнесено Петербургомъ; и вотъ почему всѣ реакціонеры обращаютъ взоры свои къ этому Риму самодержавія.

Какими огромными силами располагало петербургское правительство — показываетъ гигантское пространство этого государства. Средства его были такъ велики, что, не смотря даже на время смутъ и сквернаго управленія отъ Петра I до Екатерины II, Россія матеріально расширилась съ неимовѣрной быстротой.

Овладевъ и поглотивъ все что встрѣчалось на пути, Остзейскія провинціи и Крымъ, Бессарабію и Финляндію, Арменію и Грузію; раздѣливъ Польшу, овладевъ одной турецкой провинціей за другой — Имперія російская наконецъ нашла себѣ мощнаго соперника въ французской Революціи — поставленной къ верхъ ногамъ, преобразованной изъ борьбы за свободу въ военный деспотизмъ — очень похожій на петербургское самовластье. Россія вступила въ бой съ Наполеономъ, и побѣдила его.

Съ той минуты какъ Европа, въ Парижѣ, въ Вѣнѣ, въ Аахенѣ и въ Веронѣ признала, *volens nolens*, игемонію императора російскаго — съ той минуты трудъ Петра былъ завершенъ, и императорская власть снова

появилась въ такомъ же положеніи, въ которомъ были цари московскіе до Петра I. Александръ I понималъ это.

Императорская власть можетъ еще продержаться, страдая и заставляя себя уважать всѣми страстями, которыя находятся въ рукахъ самовластья; но она не можетъ ничего создать, ввести чего либо новаго, опасаясь встрѣтить на каждомъ шагу тотъ духъ, котораго она боится вызвать.

Такой власти ничего не остается дѣлать, какъ вести *войну вынужденную*.

Николай однакожъ постоянно воздерживался отъ войны.

Какъ же это случилось, что, спустя двадцать пять лѣтъ стертаго царствованія, имъ вдругъ овладѣваетъ безразсудная отвага, и онъ бросаетъ свою рукавицу въ лицо Франціи и Китая, Англіи и Японіи, Швеціи и пожалуй Австріи.... не говоря уже о Турціи....

Говорятъ, что онъ сошелъ съ ума?

— Я думаю, что онъ напротивъ возшелъ въ разумъ.

Чтобъ начать войну, онъ долженъ былъ быть совершенно увѣренъ въ жалкомъ состояніи европейскихъ государствъ, онъ долженъ былъ питать къ нимъ безпредѣльное презрѣніе..... Николай, до 1848 года, дулся только на западныя державы — но онъ не презиралъ ихъ. Онъ трепеталъ, узнавши о революціи 1848 года, и успокоился лишь только по полученіи извѣстія о кровавой диктатурѣ Каваньяка. Но послѣ помощи, оказанной имъ Австріи вмѣшательствомъ въ венгерскія дѣла, вмѣшательствомъ также спокойно терпимымъ Англіею, какъ и вступленіе французовъ въ Римъ, — онъ лучше понималъ положеніе своихъ *друзей-противниковъ*. Медленно и постепенно онъ вымѣривалъ глубину ихъ

малодушія, ихъ *невѣжества* — и тогда уже началъ войну. Хотите биться объ закладъ, что онъ выйдетъ побѣдителемъ, ежели не вмѣшется въ нее неожиданное третье лицо? — общій врагъ ихъ всѣхъ, т. е. Революція.

„Въ такомъ случаѣ намъ не до войны! лучше объявить себя напередъ побѣжденными, пожертвовать Турціей, уступить Константинополь, чѣмъ вступить въ борьбу съ царемъ.“

Такъ разсуждаютъ дипломаты, банкиры и всѣ, думающіе что консерватизмъ состоитъ въ томъ, чтобъ не потерять пятифранковой монеты, находящейся въ ихъ рукахъ и закрывающіе глаза, чтобъ не видать предстоящихъ имъ завтра опасности.....

Хорошо, уступайте; не дѣлайте войны, — но знайте также что мѣсто того, чтобъ имѣть или Революцію или Николая..... вы наклчите и Николая и Революцію!

Объ этомъ мы поговоримъ въ слѣдующемъ письмѣ.

Лондонъ, 2 Января 1854 года.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Любезный Линтонъ.

Формула европейской жизни сложнѣе формулы жизни древняго міра.

Когда образованность Греціи вышла изъ тѣсныхъ границъ муниципальных республикъ, ея политическія формы быстро истощились — Греція обратилась въ Римскую провинцію.

Когда Римъ истратилъ основы своего устройства и перешелъ свои политическія учрежденія, то, не находя болѣе средствъ для перерожденія, онъ распался и возшелъ въ различныя сочетанія съ варварскими народами.

Древнія государства были не зимующія, а однолѣтнія.

Въ XV столѣтіи Европа пережила такой кризисъ, который для древнихъ республикъ былъ бы предвѣстникомъ неминуемой смерти. Совѣсть и разумъ возстали противъ основъ общественнаго зданія. Католицизмъ и феодальная система покачнулись. Борьба продолжалась два столѣтія. мало по малу подкапывая церковь и престолъ.

Европа была такъ близка къ смерти, что уже у границы ея стали показываться варвары — эти вороны чующіе смерть народовъ.

Византію они уже заклевали, и готовились напасть на Вѣну; восходящая луна Магомета, за которой они неслись, остановилась на берегахъ Адриатическаго моря.

На Сѣверѣ, шевелился другой варварскій народъ, народъ, одѣтый въ баряны шкуры и съ „глазами ящерицы.“ Стени Волги и Урала, во всѣ времена, служили кочевьемъ бродящимъ народамъ; это было нѣчто въ родѣ мѣстъ сборища и ожиданія, *officina gentium*, гдѣ, молча, судьба собирала толпы дикарей, чтобъ въ свое время понять ими вѣтшающія страны, и покончить колеблющіися цивилизаціи.

Тѣмъ не менѣе луна Ислама не шла далѣе развалинъ Акрополиса. А волжскіе варвары вмѣсто набѣговъ въ лицѣ одного изъ царей своихъ обращаются къ Европѣ, прося у нихъ науку и государственнаго строя.

И такъ первая громовая туча пронеслась надъ головами.

Что же случилось?

Вѣчное переселеніе народовъ къ Западу, остановленное на время у Атлантическаго океана, продолжилось; человѣчество нашло себѣ кормчаго—Христофоръ Колумбъ показалъ дорогу.

Америка спасла Европу.

Европа вступила въ новый фазисъ существованія, фазисъ недостававшій древнимъ народамъ; фазисъ разложенія по сю сторону и развитія по ту сторону Океана.

Реформація и революція, измѣняя многое, оставались въ стѣнахъ церквей и монархическихъ палатъ. Онѣ не могли совершенно разрушить древнее зданіе, онѣ его поправляли; куполъ готическаго собора правда осѣлъ, тронъ пошатнулся, но полуразрушенныя они все таки существуютъ. И ни реформація, ни революція, не имѣютъ болѣе надъ ними никакой власти.

Будетъ ли человѣкъ называться реформаторомъ, лютераниномъ, протестантомъ, квакеромъ — церковь все таки существуетъ, т. е. свобода совѣсти все таки не существуетъ — или будетъ являться личнымъ протестомъ, дѣломъ *индивидуальнаго* возмущенія. Будетъ ли правленіе парламентское, конституціонное, съ двумя палатами или съ одной, съ ограниченнымъ числомъ избирательныхъ голосовъ или съ всеобщимъ, — ослабленный тронъ все таки существуетъ; и хотя цари безпрестанно низвергаются, — но все таки за падшими являются другіе. За неимѣніемъ царя въ Республикѣ,—его замѣняютъ *соломеннымъ* королемъ, котораго предполагаютъ на тронѣ и для котораго сохраняются и дворцы, и увеселительныя замки — Тюльри и Сен-Клу.

Раціональный христіанизмъ, съ своей стороны, борется съ церковью, не обращая вниманія на то, что

онъ первый будетъ задавленъ ея сводами. Монархическій республиканизмъ борется съ престоломъ, ломаетъ тронъ, а самъ хочетъ сѣсть на него по царски.

Духъ будущаго не тутъ, — потокъ перемѣнилъ направленіе; оставивъ на второмъ планѣ всѣхъ старыхъ Монтекки и Капулетти продолжать ихъ наслѣдственную вражду. Борьба поднимается уже не противъ священника, не противъ короля, не противъ дворянина, а противъ ихъ наслѣдника — противъ *хозяина*, противъ патентованнаго владѣльца, захватившаго въ свои руки орудія работы. Оттого революціонеромъ является уже не гугенотъ, не протестантъ, не либераль — а *работникъ*.

И вотъ помолодѣвшая Европа еще разъ останавливается у третьяго порога, не смѣя перешагнуть оный. Она трепещетъ передъ словомъ социализмъ, написаннымъ на дверяхъ входа. Она думаетъ, что дверь эта должна быть отворена Катилиною, и это правда. Дверь сама собой отвориться не можетъ, она будетъ отворена Катилиною..... и Катилиною, у котораго столько друзей что невозможно ихъ всѣхъ передуть въ темницѣ. Цицеронъ, этотъ совѣстливый и *учтивый* убійца съ своими *vixerunt*, былъ счастливѣе своего подражателя Каваньяка!

Эту черту перейти гораздо труднѣе чѣмъ прочія. Всѣ реформы пощадили половину стараго, покрыли его развалины новыми ризами; сердце не совсѣмъ разрывалось, пріобрѣтенное не терялось съ разу; часть того, что мы любили, что было намъ дорого и свято съ самаго дѣтства, что мы привыкли уважать, и что перешло намъ преданіемъ — оставалось на утѣшеніе слабыхъ. Но тутъ отдать пришлось и остальное! Прощайте пѣсни кормилицы, продайте воспоминанія отцовскаго

крова, прощай привычка, власть которой сильнѣе власти генія, сказалъ Баконъ!

..... Во время разгрома ничто не перейдетъ тамо-
жни; а будетъ ли достаточно терпѣнія у людей, чтобы
дождаться, когда тучи разсѣются?

Мало по малу всѣ интересы, предубѣжденія, запу-
танности, занимавшіе въ продолженіи цѣлаго вѣка умы
европейскіе начинаютъ блѣднѣть, становятся равно-
душными, переходятъ въ вопросы партій. Гдѣ великія
слова, потрясавшія сердца и наполнявшія слезами гла-
за? Гдѣ святыя знамена, которымъ Іоаннъ Гуссъ за-
ставилъ поклониться въ одномъ станѣ, а 89 годъ — въ
другомъ? Съ тѣхъ поръ какъ туманъ, покрывавшій
февральскую революцію, разсѣлся, рѣзкая простота
замѣнила путаницу, осталось только два интересныхъ
вопроса:

Вопросъ соціальный,

Вопросъ русскій.

Въ сущности, эти два вопроса составляютъ одинъ и
тотъ же.

Вопросъ русскій,—случайная сторона, отрицательный
оттискъ, новое безпокойство варваровъ, чужащихъ пред-
смертіе стараго свѣта, его „memento mori“ и—они его
пожалуй убьютъ, ежели онъ не имѣетъ силы самъ пре-
образиться.

Дѣйствительно, ежели социализмъ не въ состояніи
будетъ пересоздать распадающееся общество и довер-
шить его судьбы—Россія довершитъ ихъ.

Я не говорю, что это *необходимо*—но это *возможно*.

Ничего нѣтъ необходимо — нужнаго. Будущность не
бываетъ неизмѣнимо рѣшена впередъ; неминуемаго
предназначенія нѣтъ. Будущность въ нашемъ смыслѣ
можетъ вовсе не существовать. Геологическій кризисъ

можетъ совершенно уничтожить не только восточный, но и всѣ прочіе вопросы, за недостаткомъ спрашивающихъ. Будущность творится развитіемъ того, что у ней подъ рукой, и смотря по окружающимъ условіямъ; общія влеченія мѣняются по обстоятельствамъ. Они рѣшаютъ, какъ что будетъ, и колеблющаяся возможность становится дѣломъ рѣшеннымъ.

Россія точно также можетъ овладѣть Европою до Атлантическаго Океана, какъ и быть съ своей стороны побѣжденной до Урала.

Въ первомъ случаѣ, Европа должна быть разрозненной.

Во второмъ, Европа должна быть плотно соединена въ одно цѣлое.

Въ которомъ изъ этихъ положеній она находится?

Царизмъ идетъ впередъ движимый чувствомъ самосохраненія и тѣмъ инстинктомъ, который служитъ путеводителемъ перелетнымъ птицамъ въ ихъ полетѣ къ Черному или Средиземному морю.

На пути своемъ ему не возможно не придти въ столкновеніе съ Европой.

Безумно было бы воображать, что императоръ Николай можетъ сопротивляться цѣлой Европѣ; это только въ томъ случаѣ возможно, ежели бы Европа сама стала въ рядахъ его авангарда и подняла бы оружіе противъ самой себя: но оно такъ и есть.

Въ борьбѣ Европы съ Россіей старый и боязливый консерватизмъ ослабитъ, заморитъ народное одушевленіе.

Европа раздѣлена на двѣ совершенно противоположныя партіи, ихъ взаимная ненависть гораздо сильнѣе ненависти русскихъ и турокъ между собой, и этотъ *манихеизмъ* общественный существуетъ во всякомъ го-

сударствѣ, во всякомъ городѣ, во всякомъ селѣ. Какого же можно ожидать единства въ дѣйствіяхъ — до окончательной побѣды одного изъ спорящихъ? Войска героически сражаются за границы, когда они увѣрены, что дома есть недремлящій „Комитетъ общественнаго спасенія.“ Онѣ вселилъ войскамъ революціи ту удивительную энергію, которая существовала еще двадцать лѣтъ послѣ его смерти.

Ничего въ мірѣ не можетъ болѣе ослабить духъ армій, какъ пагубная идея, что за ними остается измѣна. А кто же имѣетъ довѣріе къ правительствамъ нынѣ существующимъ? Въ своемъ собственномъ стану люди *порядка* подозреваютъ другъ друга. Мы найдемъ вездѣ, внизу и вверху, измѣнниковъ, продающихъ свою родину Николаю. Николаю служатъ не только банкиры и журналисты, но генералы и первые министры, братья и вся родня царей. У него запасъ великихъ князей, онѣ ихъ даритъ нѣмецкимъ князькамъ съ тѣмъ, чтобы онѣ изъ мужей своихъ дѣлали ему слугъ; а когда эти великія княжны хвораютъ, Николай посылаетъ ихъ пользоваться „лондонскими туманами,“ которыхъ цѣлебныя средства открыты имъ однимъ! *)

La fusion совершенно русская „L'Assemblée Nationale,“ кажется, печатается въ Казани или въ Пензѣ. Но ежели императоръ Николай предоставилъ бы всѣхъ этихъ Шамборъ-Немуровъ сладостямъ семейныхъ примиреній, удовольствіямъ охоты во Фрошдорфѣ и собственнымъ силамъ, давно бы бонапартизмъ сдѣлался не только русскимъ, но — татарскимъ.

*) Передъ войной *ci-devant* великая княгиня Марія Николаевна нынѣ Mme Stroganoff пріѣзжала въ Лондонъ подъ предлогомъ какого-то нездоровья!

Король Белговъ имѣеть въ Брюсселѣ русское агентство; король Даніи—маленькую контору въ Копенгагенѣ; Адмиралтейство — гордое Адмиралтейство Великобританіи смиренно служить полиціею царя въ Портсмутѣ, и какой нибудь самоѣдскій офицеръ презрительно топчетъ ногами актъ *habeas corpus* на палубѣ англійскаго судна. Король неаполитанскій—самъ корчитъ Николая, а императоръ австрійскій его Антиной,—его страстный обожатель.

Много толкуютъ о русскихъ агентахъ какъ о какихъ нибудь презрительныхъ шпионахъ, которымъ дорого плотить за *сплетни*, но настоящіе Шеню и Далагодды русскаго царя, — помазанники Божіи ихъ *agnats* и *cognats*, вся родня ихъ въ восходящихъ и нисходящихъ линіяхъ. Самый вѣрный регистръ русскихъ шпионовъ—это Готскій Календарь.

Вы видите, что дѣйствительной вражды съ Россіей быть не можетъ, покажеть чисто на чисто не выметутъ у васъ дома.

Несчастная необходимость соединяетъ Европу реакціонную съ царизмомъ; и ежели она погибнетъ черезъ него, то это будетъ верхъ пронія.

Николай, объявивъ войну Турціи, сдѣлалъ самую умную шалость XIX столѣтія.

Теперь всѣ блюстители порядка, всѣ друзья, всѣ кліенты Николая, во всеуслышаніе кричатъ противъ него. Они принимали царя за полицейскаго солдата, и рады были стращать своихъ революціонеровъ 400,000 русскихъ штыковъ; они думали, что онъ удовлетворится одною пассивною ролей страшилища; они позабыли, что даже и какой нибудь Людвигъ Бонапартъ не хотѣлъ довольствоваться должностію „пожарнаго сапера.....“

А вѣдь какъ все было хорошо, ясные дни снова наставали; снова всѣ были покойны и довольны; массы, раздавленные войсками, съ христіанскою кротостью, умирали съ голода. Не было уже ни свободы слова, ни трибунъ, ни..... Франція! Папа, сопровождаемый арміею, вышедшей изъ французской префектуры, снова раздавалъ на право и на лѣво свое апостольское благословеніе. Дѣла, по окончаніи февральской драмы, шли своимъ порядкомъ. Настала всеобщая эра „любви и бракосочетаній.“ Бельгія соединилась съ Австріей въ лицѣ австрійской Эрцгерцогини; молодой императоръ вѣнскій вздыхалъ у ногъ своей невѣсты; Наполеонъ III, 45 лѣтній „Вертеръ,“ соединился по любовному капризу съ своей „Шарлотой“ Теба.

Вдругъ, среди всеобщаго спокойствія, всемірнаго благосостоянія, императоръ Николай бьетъ тревогу, начинаетъ религіозную войну, которая легко можетъ перенестись съ береговъ Чернаго моря на берега Рейна, и которая во всякомъ случаѣ повлечетъ за собой все то, чего такъ боялись отъ революцій, — гибель собственности, контрибуціи, насилія, и сверхъ того занятіе странъ непріателемъ, военныя судилища, разстрѣливанье и военныя контрибуціи.

Донозо Кортесъ, въ замѣчательной рѣчи своей, произнесенной въ Мадритѣ 1849 года, предсказывалъ вторженіе русскихъ въ Европу, и не находилъ для цивилизаціи другаго якоря спасенія, какъ только въ *единствѣ* власти, т. е. въ неограниченномъ монархизмѣ, подчиненномъ Католицизму. Первымъ условіемъ къ достиженію этой цѣли было — по словамъ его — введеніе Католицизма въ Англію.

Можетъ быть *подобное единство* чрезвычайно усилило бы Европу; да по несчастію оно невозможно; невоз-

можно какъ и всѣ прочія, исключая только *единства революціоннаго*.

Ежели бы не боялись Революціи болѣе нежели русскихъ, чего проще какъ идти на Севастополь, овладѣть Одессой; магометанское народонаселеніе Крыма не было бы враждебно туркамъ. Занявши эту позицію — сдѣлать воззваніе Польшѣ; дать свободу малороссійскимъ крестьянамъ — ненавидящимъ рабство. Чтобы тогда сдѣлалъ Николай съ своимъ православнымъ богомъ?

Но вѣдь и Галиція Польша — скажетъ Австрія.

Но вѣдь и Познань Польша — скажетъ Пруссія.

А если Польша освободится, чѣмъ удержатъ Венгрію и Ломбардію? — скажутъ они вмѣстѣ.

Ну такъ не ходить на Севастополь — или развѣ объявить войну только для виду, войну, которая окончится въ пользу Николая или Людвигъ Бонапарта, т. е. въ обоихъ случаяхъ въ пользу деспотизма и даже противъ *консерватизма*. Деспотизмъ вовсе не консервативенъ, даже и въ Россіи. Напротивъ, онъ все раздѣдаетъ и не создаетъ ничего прочнаго. Случается иногда, что народы въ дѣтствѣ, для скорѣйшаго роста и устройства, покоряются деспотизму и терпятъ его до совершеннолѣтія; но чаще ему подпадаютъ народы дряхлые.

Ежели военный деспотизмъ алжирскій или кавказскій, бонапартовскій или казачій, окончательно овладѣетъ Европой, то онъ невольно будетъ вовлеченъ въ жестокую борьбу съ старымъ обществомъ, потому что съ владычествомъ его не совмѣстны ни полу-свободныя учрежденія, ни образованность, пріобыкшая къ полу-вольной рѣчи, ни наука, основанная на разумѣ, ни даже промышленность, становящаяся могуществомъ.

Деспотизмъ такъ какъ варварство — гробъ дряхлой

цивилизациі, который иногда служитъ яслями новорожденнаго спасителя.

Міръ европейскій въ той формѣ, въ которой онъ теперь существуетъ, окончилъ свою карьеру; но намъ кажется, что ему слѣдовало бы окончить ее торжественнѣе; ежели не безъ страданій и боли, то по крайней мѣрѣ безъ стыда и униженія. Консерваторы, какъ вообще старыя скупцы, боятся только наслѣдника, и отдаляются отъ него. Ихъ въ ночное время задущать и ограбятъ воры и разбойники.

Послѣ бомбардированія Парижа, послѣ заточенія, ссылки и казни безъ суда возставшихъ работниковъ, полагали, что опасность миновала.

Но смерть — Протей. Ее вытолкали какъ ангела будущей жизни, она возвратилась скелетомъ прошедшаго; ее оттолкнули какъ Республику демократическую и социальную, она возвращается Николаемъ, царемъ русскимъ, или Наполеономъ, царемъ французскимъ.

Тотъ или другой, или оба вмѣстѣ, окончатъ борьбу. Но для того, чтобы бороться, надобно имѣть противника, съ которымъ стоитъ вступать въ бой. Гдѣ же та приготовленная арена, то послѣднее укрѣпленіе, за которымъ бы цивилизациія могла вступить въ бой, и защищаться противъ притязаній деспотизма?

Въ Парижѣ? — Нѣтъ.

Какъ Карлъ V, Парижъ, еще при жизни, отрекся отъ своей міродержавной короны; немного военной славы и очень много полиціи достаточны для сохраненія порядка въ Парижѣ.

Мѣсто для турнира, *champ clos*—въ Лондонѣ.

Пока свободная и гордая своими правами Англія существуетъ какъ теперь, до тѣхъ поръ ничего окончательнаго не сдѣлано въ пользу варварства и самовластья...

Россія и Австрія перестали ненавидѣть Парижъ съ 10 декабря 1848 года. Парижъ потерялъ свой prestige для королей; они его уже не боятся. Вся ихъ ненависть обратилась на Англію. Они ее трусятъ, они ее ненавидятъ и желали бы разграбить ее.

Въ Европѣ существуютъ государства реакціонныя, но не консервативныя. Англія одна — консервативна, потому что ей есть что хранить — *личную свободу*.

Это одно слово соединяетъ въ себѣ все то, что преслѣдуютъ и ненавидятъ Бонапарты и Николай. И вы думаете, что они, будучи побѣдителями и въ главѣ армій, оставятъ въ покоѣ, въ столь близкомъ разстояніи отъ *Парижа поработеннаго* — *Лондонъ свободный*? Лондонъ, гнѣздо пропаганды, гавань открытая всѣмъ спасающимся; Лондонъ, въ который побѣгутъ толпами люди изъ опустошенныхъ и превращенныхъ въ пепелъ городовъ материка — унося съ собою науки и художества, промышленность и образованность.

Этого достаточно для войны.

Тогда-то осуществится желаніе Наполеона I — первого варвара новѣйшихъ временъ! Какое большее несчастіе революціонная Европа можетъ обрушить на Англію — какъ эта война деспотизма. У свободныхъ народовъ слишкомъ много дѣла дома, чтобъ думать о вѣншей войнѣ.

Англичане слѣпы; и слѣпота ихъ происходитъ не отъ эгоизма, не отъ жадности къ деньгамъ, а просто отъ невѣжества, отъ привычки ходить по торной дорогѣ; рутина дѣлаетъ ихъ неспособными понимать, что человѣку надобно иногда пролагать новый путь, а не все слѣдовать по истоптанному старому шоссе.

Тѣ, которые, имѣя глаза, не хотятъ смотрѣть — тѣ посвящены богамъ ада. Какъ ихъ спасти?

Глубокая и черная ночь покроетъ своею пеленою трудъ разложенія.....

А послѣ?..... Послѣ ночи обыкновенно наступаетъ день!

Прольемъ слезу надъ старцемъ, но оставимъ мертвымъ хоронить своихъ мертвыхъ—и съ чувствомъ сожалѣнія и уваженія, накрывъ гробовымъ саваномъ отходящее къ смерти, съ твердостью произнесемъ старое восклицаніе:

Король умеръ!—Да здравствуетъ Король!....

Лондонъ, 17 февраля 1854 г.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Любезный Линтонъ,

Славянскій міръ гораздо моложе европейскаго.

Онъ моложе политически, точно такъ, какъ Австралія моложе его — геологически. Онъ сложился гораздо позже; онъ еще не развился, онъ еще міръ недавній, и едва только вступающій въ историческій потокъ.

Долгое, вѣковое существованіе ничего не значить. Дѣтство народовъ можетъ продолжаться нѣсколько тысячелѣтій, равно какъ и ихъ старость. Славянскіе народы служатъ примѣромъ первому, азіатскіе — второму.

Но на чемъ можно основывать идею, что теперешнее состояніе славянъ есть ихъ дѣтство, а не дряхлость,

что это ихъ начало, а не неспособность къ развитію вообще? Не имѣемъ ли мы передъ глазами примѣръ тому, что народы исчезаютъ, не оставляя по себѣ исторіи, да еще и такіе, которые въ свое время доказали, что они не совсѣмъ лишены способностей (Финны).

Не много надобно вниманія къ судьбамъ Россіи, чтобъ понять въ такомъ ли она положеніи. Страшное тяготѣніе ее на Европу — не признакъ маразма или неспособности, напротивъ — признакъ ея полудикой силы, ея дурно направленной, но бодрой юности.

Съ такимъ характеромъ является она при первомъ появленіи своемъ на порогѣ міра образованнаго.

Въ Парижѣ господствовало рсгенство, въ Германіи — нѣчто еще худшее; повсюду растлѣніе, изнѣженность, ослабляющій и унижающій развратъ — грубый въ Германіи, утонченный въ Парижѣ.

Въ этой вредной атмосферѣ, заразительныя испаренія, которыя едва были заглушаемы косметическими благоуханіями, въ этомъ мірѣ наложницъ, не-законнорожденныхъ дочерей, любовниковъ, управляющихъ государствами, середь разслабленныхъ нервъ, глупорожденныхъ принцовъ и министровъ плутовъ — какъ-то становится свѣжѣе при видѣ Петра I, этого рослаго варвара въ простомъ мундирѣ изъ толстаго сукна, этого сѣвернаго человѣка, дюжаго, мускулистаго, полнаго простоты, энергіи и силы. Таковъ былъ первый русскій занявшій свое мѣсто между европейскими властелинами. Онъ явился за наукой, и узналъ многое, чего не ожидалъ. Онъ понялъ дряхлость западныхъ государствъ и испорченность ихъ правителей.

Тогда еще не предвидѣлась революція, долженствовавшая спасти міръ; а гибель была передъ глазами. Такъ Петръ I понялъ будущее значеніе Россіи въ

отношеніи Европы и роль ея въ Азіи. Справедливо ли, или несправедливо его завѣщаніе, но оно конечно содержитъ въ себѣ его *мысли*, которыя онъ нерѣдко повторялъ въ своихъ замѣчаніяхъ и запискахъ. Русское правительство, до Николая, оставалось вѣрнымъ традиціи Петра I, даже и самъ Николай слѣдовалъ ей въ внѣшней политикѣ.

Россію можно ненавидѣть, можно проклинать, — но можно ли утверждать, что она стара, остановилась, одряхлѣла?

Говорятъ что русскій народъ неподвижно сидитъ въ своемъ углу въ то время, какъ почти иностранное для него правительство дѣлаетъ въ Петербургѣ, что хочетъ. Нѣмецкіе писатели выводятъ изъ этого, что народъ русскій косный, азіатскій, не имѣетъ ничего общаго съ правительственной дѣятельностью; что это полудикое племя *дипломатически* завоевано нѣмцами, которые ведутъ его, куда хотятъ. Надобно отдать справедливость нѣмецкимъ побѣдамъ; это самыя величайшія и самыя безкровныя въ мірѣ. Нѣмцы не довольствуются своимъ материнскимъ правомъ на Англію и Сѣверную Америку (*Stamverwand!*), они сверхъ того завоевали всю Россію, *рыцарями* Остзейскихъ губерній, Гольштейн-Готторпской фамиліей, тучами генераловъ, дипломатовъ, шпионовъ и другихъ сановниковъ нѣмецкаго происхожденія.

Дѣйствительно, правленіе петербургское не національно. Но и цѣль реформы Петра I была *денационализація* московской Руси. Пассивная оппозиція и своего рода неподвижность народа тоже факты неоспоримые. Но съ другой стороны, русскій народъ невольно составляетъ живую и сильную основу правительству. Онъ образуетъ огромный хоръ, который въ свою очередь от-

печатлѣваетъ свой духъ на нѣмецкомъ (если такъ хотѣть) деспотизмѣ петербургскаго правительства. Не любя его, народъ все таки смотритъ на него какъ на представителя своего національнаго единства, своей силы.

Ничто въ Россіи не имѣетъ того характера застоя или смерти, который постоянно и утомительно встрѣчается въ неизмѣняемыхъ повтореніяхъ одного и того же, изъ рода въ родъ, у старыхъ народовъ Запада.

По неспособности народа къ какой либо переходной формѣ, справедливо ли заключать о всеобщей неспособности его къ развитію?

Славянскіе народы собственно не любятъ ни государства, ни централизаціи. Они любятъ жить въ разбросанныхъ общинахъ, удаляясь какъ можно больше отъ всякаго вмѣшательства со стороны правительства. Они ненавидятъ военный строй, они ненавидятъ полицію. Федерация была бы самая народная форма для славянскихъ народовъ. Петербургскій періодъ тяжкій искусъ, трудное воспитаніе въ государственную жизнь. Онъ насильно сдѣлалъ большую пользу Россіи, соединивъ части ея и спаявъ ихъ въ одно цѣлое — но онъ долженъ миновать.

Народъ русскій — народъ земледѣльческій. Улучшеніе быта собственниковъ въ Европѣ принесло почти исключительно пользу однимъ горожанамъ; для крестьянъ Революція только окончательно уничтожила крѣпостное состояніе и раздробила поземельную собственность. Раздѣлъ земли въ Россіи былъ бы смертельнымъ ударомъ ея общинному устройству.

Въ Россіи нѣтъ ничего оконченнаго, окаменѣлаго; все въ ней находится еще въ состояніи раствора, приготовления. Гакстгаузенъ справедливо выразился, что

въ Россіи всюду видно „недоконченность, ростъ, начало.“ Да, всюду чувствуешь извѣсть, слышишь пилу и топоръ и при всемъ этомъ мы остаемся покорными и терпимъ дикое самодержавіе?

. Но должна ли Россія пройти всѣми фазами европейскаго развитія, или ея жизнь пойдетъ по инымъ законамъ? Я совершенно отрицаю необходимость этихъ повтореній. Мы пожалуй должны пройти трудными и скорбными испытаніями историческаго развитія нашихъ предшественниковъ; но такъ, какъ зародышъ проходить до рожденія всѣ высшія ступени зоологическаго существованія. Оконченный трудъ и добытый результатъ входятъ въ общее достояніе всѣхъ понимающихъ — это круговая порука прогресса, майоратъ человѣчества. Я знаю, что результатъ самъ по себѣ не передается, по крайней мѣрѣ бесполезенъ, — результатъ дѣйствителенъ, какъ послѣдствіе цѣлаго логическаго развитія.

Всякій школьникъ долженъ самъ найти рѣшеніе Евклидовыхъ предложеній — но какая огромная разннца между трудомъ Евклида, открывшаго ихъ, и трудомъ ученика нашего времени!

Россія продѣлала свою революціонную эмбриогенію въ „европейскомъ классѣ.“ Дворянство съ правительствомъ представляютъ у насъ европейское государство въ славянскомъ. Мы прошли всѣ фазисы политическаго воспитанія, начиная отъ нѣмецкаго конституціонализма отъ англійскаго канцелярскаго монархизма, до поклопенія 93 году. Подражаніе наше было похоже на абберрацію звѣздъ, которая въ маломъ видѣ передаетъ намъ путь, проходимый земнымъ шаромъ по своей орбитѣ.

Народу русскому не нужно начинать снова этотъ

тяжкій трудъ. Зачѣмъ ему проливать кровь свою для достиженія тѣхъ полу-рѣшеній, до которыхъ мы дошли и которыхъ вся важность состоитъ только въ томъ, что мы черезъ нихъ дошли до иныхъ вопросовъ, до новыхъ стремленій.

Мы за народъ отбыли эту тягостную работу, мы заплатились за нее висѣлицами, каторжною работою, казематами, ссылкой, раззорѣніемъ и нестерпимою жизнію, въ которой живемъ!

Въ Европѣ не подозрѣваютъ о страшныхъ мученіяхъ, въ которыхъ сломились, изныли два послѣднія поколѣнія. Гнетъ становится день ото дня сильнѣе, тягостнѣе, обиднѣе; надо прятать свою мысль, удерживать бѣненіе сердца и среди этой мертвой тишины, вмѣсто утѣшенія, опоры, мы увидѣли бѣдность революціонной идеи и равнодушіе къ ней народа.

Вотъ источникъ той мрачной тоски, того разлагающаго скептицизма, той тягостной прони, которые составляютъ характеръ русской поэзіи. Кто молодежь, кто имѣетъ теплое сердце, тотъ ищетъ какъ нибудь забыться, усыпить себя чѣмъ нибудь — люди талантливые умираютъ на полѣ-дорогѣ, сосланные или сами добровольно удаляющіеся отъ всякаго участія въ страшныхъ дѣлахъ. Объ нихъ и объ ихъ ужасной кончинѣ говорятъ, потому что многіе слышали, какъ билась ихъ голова объ мѣдный сводъ, душившій ихъ, потому что имъ удалось по крайней мѣрѣ заявить свою силу..... но сотни другихъ, которые съ отчаяніемъ сложили руки, морально убили себя, отправили на Кавказъ, заперлись въ своихъ имѣніяхъ, не выходятъ изъ игорныхъ или публичныхъ домовъ—всѣ эти *мысли*, о которыхъ никто не пожалѣлъ, никто не свѣдалъ, — страдали не меньше ихъ!

Для дворянства наступаетъ конецъ этого искуса. Образованная Россія должна возвратиться къ народу. Русскій народъ собственно стали узнавать только послѣ революціи 1830 года. Съ удивленіемъ увидѣли, что русскій человѣкъ, равнодушный, неспособный ко всѣмъ политическимъ вопросамъ — бытомъ своимъ ближе всѣхъ европейскихъ народовъ подходитъ къ новому социальному устройству. Можетъ вы скажете на это, что въ этомъ русскій походитъ на нѣкоторые азіатскіе народы, и укажете на сельскія общины у индусовъ, довольно схожія съ нашими. Я и не отвергаю, чтобы у азіатскихъ народовъ не было социальныхъ элементовъ, и даже можетъ больше нежели у западныхъ народовъ. Не общинное устройство держитъ азіатскіе народы въ неподвижности, а ихъ исключительная народность, ихъ невозможность выйти изъ патріархализма, освободиться отъ рода; — мы не въ томъ положеніи.

Славянскіе народы, напротивъ, имѣютъ большую удобовпечатляемость; они легко усваиваютъ себѣ языки, обычаи, искусства и технику другихъ народовъ. Они равно обживаются у Ледянаго океана и на берегахъ Чернаго моря.

Въ образованной Россіи (какъ она ни оторвана отъ народа, но все таки въ ней есть черты его характера) вы не найдете той капризной упорности [старой женщины того упрямаго непониманія, которыя на каждомъ шагѣ встрѣчаются въ старомъ свѣтѣ].

Съ изумленіемъ останавливаемся мы передъ китайскими стѣнами, которыя межуютъ Европу. Англія и Франція едва имѣютъ понятіе объ умственномъ движеніи Германіи. Еще больше, эти два европейскіе Китай, отдаленные только на нѣсколько часовъ ѣзды, связанные между собой непрерывною торговлею, плохо зна-

ють другъ друга — Парижъ и Лондонъ дальше другъ отъ друга нежели Лондонъ и Нью-Йоркъ. Англичанинъ, простолюдинъ, смотритъ на француза съ дикой ненавистью и съ видомъ тупаго превосходства; французъ отвѣчаетъ ему жалкимъ презрѣніемъ.

Англійскій буржуа надобѣдаетъ вопросами, открывающими такое глубокое незнаніе сосѣдняго края, что стыдно отвѣчать. Французъ, проживши пять лѣтъ въ Лейстеръ Скверъ или въ Соо, ничего не понимаетъ что дѣлается вокругъ него. И въ то же время германская наука, которая не въ состояніи перейти за Рейнъ, очень хорошо доходитъ до береговъ Волги и за нихъ; поэзія Шекспира и Байрона, не выносящая перѣзда черезъ Ла-Маншъ, доплываетъ живо и невредимо до береговъ Балтійскихъ. И все это дѣлается, не забудьте еще, подъ гнетомъ отталкивающего и ревниваго правительства, употребляющаго всѣ средства чтобъ отдалить насъ отъ Европы.

Наше домашнее и общественное воспитаніе имѣетъ въ себѣ тотъ же универсальный характеръ; нѣтъ воспитанія *менѣе* религіознаго, чѣмъ наше и *болѣе* полнотнаго. Реформа Петра I, въ высшей степени реалистическая, свѣтская и вообще европейская, дала ему этотъ характеръ. Каѳедры теологіи учреждены были въ нашихъ университетахъ, только со временъ Александра I, и то въ послѣдніе годы его царствованія. Съ Николая начинается открытое гоненіе противъ всякаго обращенія въ другую вѣру, — но я не думаю, чтобы его полицейское православіе пустило глубокіе корни; что же касается до изученія новыхъ языковъ, то это такъ возшло въ нравы, что невозможно искоренить. Даже правительство многоязычно: офиціальныя газеты печатаются по русски, по французски и по нѣмецки.

Наше воспитаніе не имѣетъ ничего общаго съ тою средою, для которой человѣкъ назначенъ — и это превосходно. Образование у насъ отдаляетъ молодаго человека отъ безнравственной почвы, оно его гуманизируетъ, и необходимо ставитъ его въ оппозицію съ официальной Россіей. Онъ отъ этого много страдаетъ — и этими страданіями заглаживаетъ ошибки и преступленія отцовъ своихъ — и въ нихъ же находятся зародыши переворота. Но самыя тяжкія времена распадёнія проходятъ: развитое меньшинство встрѣчается съ народомъ тогда, когда оно вовсе того не ожидало.

Съ удивленіемъ слушали у васъ наши рассказы о русской общинѣ, раздѣлѣ полей, мировыхъ сходахъ, объ рабочихъ артеляхъ, объ избранныхъ старостахъ. Многіе думали, что все это мечты, социалистическій бредъ.

Но является человѣкъ вовсе не революціонерный, и издаетъ три тома о сельской общинѣ въ Россіи. Гакстгаузенъ, католикъ, прусскій баронъ, агрономъ, и до такой степени *радикальный* монархистъ, что по словамъ его, прусскій король слишкомъ либераленъ, императоръ Николай слишкомъ челоуѣколюбивъ.

Факты, нами указанные, описаны имъ in extenso. Я не намѣренъ повторять здѣсь того, что что я уже говорилъ о начальной организаціи этого self-government общины, гдѣ все избирательно, гдѣ всѣ владѣльцы, а земля не принадлежитъ никому, гдѣ пролетаріатъ — исключеніе.

Теперь вы легко увидите, что русскій народъ, подавленный рабствомъ и правительствомъ не можетъ идти по колеѣ европейскихъ народовъ, повторяя ихъ прошлыя революціи, исключительно городскія, и которые тотчасъ пошатнули бы основанія его общинной органи-

зацін. Напротивъ того, грядущая революція находится на болѣ родной почвѣ — и мы увидимъ, какой будетъ результатъ отъ этой встрѣчи.

Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное self-government по городамъ и всему государству, сохраняя народное единство, — вотъ въ чемъ состоитъ вопросъ о будущемъ Россіи, т. е. вопросъ той же соціальной антиноміи, которой рѣшеніе занимаетъ и волнуетъ умы Запада.

Государство и отдѣльная личность — власть и свобода — коммунизмъ и эгоизмъ (въ обширномъ смыслѣ слова), вотъ геркулесовы столбы великой борьбы, великой революціонной эпопеи.

Европа даетъ рѣшеніе изуродованное и отвлеченное.

Россія — изуродованное и дикое.

Революція соединитъ ихъ.

Будущее никогда не формируется вполнѣ прежде своего осуществленія.

Народы англо-саксонскіе освободили лице на счетъ общественной круговой поруки, обособляя человѣка. Русскій народъ сохранилъ общинное устройство, отрицая личность, поглощая человѣка.

Развитіе личнаго права—закваска, долженствующая привести въ броженіе массу силъ, дремлющихъ въ бездѣйствіи общинно-патріархальнаго порядка. Личное начало входитъ въ русскую жизнь инымъ путемъ, оно осуществилось въ лицѣ революціоннаго царя, отрицающаго традиціи и національность, разрушающаго единство народное внутреннимъ расщепленіемъ.

Русская имперія твореніе XVIII вѣка; все, что было начато въ это время, носитъ въ себѣ зародышъ революціонный.

Холостой дворець Фридриха II и смиренный домъ, служившій дворцемъ отцу его, вовсе не были такъ монархически, какъ Ескуріаль и Тюльри. Въ новыхъ государствахъ воздухъ вѣялъ рѣзкій, утренній; въ нихъ вообще все сухо, просто, положительно, рационально; а это именно убиваетъ религіозный и монархическій духъ. Тоже самое и въ Россіи.

Петръ I круто отбросилъ традиціи византино-московскія. Онъ предпочиталъ власть престолу; онъ дѣйствовалъ болѣе страхомъ нежели величіемъ и ненавидѣлъ *mise en scène*, необходимую для монархіи.

Организація русской имперіи чрезвычайно проста. Это — правленіе доктора Франсіа въ Парагваѣ, приложенное къ странѣ съ шестидесятью милліонами жителей. Это — осуществленіе бонапартовскаго идеала: нѣмой народъ, безъ правъ, задавленный войскомъ и надъ нимъ дворянство, покровительствуемое правительствомъ.

Россія управляется адъютантами, ординарцами, писарями и эстафетами. Сенатъ, Государственный совѣтъ и министерства просто канцеляріи, въ которыхъ дѣла не разбираются, а только переписываются.

Вся администрація представляетъ собою телеграфическіе знаки, которыми одно лице заявляетъ изъ Зимняго дворца свою волю.

Такую исполнительную и автоматическую организацію легче потрясти однимъ ударомъ на вершинѣ, нежели измѣнить въ основаніи.

Въ монархіи если государь убитъ, монархія остается.

У насъ — остается деспотическая машина, бюрократическій порядокъ; лишь бы телеграфъ дѣйствовалъ кто бы имъ ни управлялъ, повиноваться будутъ.

Можно завтра же посадить на мѣсто Николая — Орлова или кого нибудь другого, это не произведетъ никакого волненія; дѣла будутъ исполняться съ тою же точностью, машина будетъ продолжать свою игру, не переписывать, отписывать, сообщать, отвѣчать, машинисты будутъ браться, и показывать свое вѣрнопопдаиическое рвеніе.

Императрицу Екатерину II пугали пѣмота и всемогущество, безпредѣльная покорность исполнителей и рабовъ, до того бессмысленно повинующихся, что ихъ покорность переживаетъ приказывающаго. Она старалась внушить дворянству болѣе независимыя понятія, желая окружить ихъ людьми, добровольно преданными ей, на которыхъ она могла бы надѣяться. Молчаніе писарей и исполнителей страшило супругу Петра III. Она помнила, какъ усердный Алексѣй Орловъ молча задушилъ своего господина, какъ писаря писали „Е. В. изволило скончаться,“ и никто не смѣлъ боясь казни, не признать ее императрицей и спросить, какъ умеръ Петръ III.

Поштыки ея новыхъ учреждений дѣйствительно были замѣчательны. Никто серьезно не вглядывался въ ихъ эксцентрическій характеръ, въ нихъ было странное соединеніе демократизма и аристократизма, деспотизма и представительства, Іоанна Грознаго и Монтескьё.

Всѣ эти учрежденія носятъ двойную печать — петровскаго періода и несложившихся національных стремленій, усовершенствованныхъ развивающейся идеей западной гражданственности.

Судьи *выбираются*, и выбираются на нѣсколько лѣтъ; они принадлежать дворянству, мѣщанству и крестьянамъ; *судебнаго сословія* вовсе нѣтъ. Имѣющій право участвовать въ выборахъ, можетъ быть выбранъ въ

судьи. Отсутствие судебного сословія — фактъ замѣчательный. Однимъ врагомъ у насъ меньше — да еще какимъ врагомъ! Другаго чернаго человѣка, свѣтскаго священника, тайнаго жреца Закона *человѣческаго*, имѣющаго монополію судить, приговаривать, понимать *ratio scripta* — у насъ нѣтъ. Конечно смѣшно видѣть оставшаго кавалерійскаго офицера выбраннымъ въ судьи, не понимающаго ни законовъ, ни процедуры; но съ другой стороны печально предполагать всѣхъ людей неспособными разобрать дѣло, исключая касты *знатоковъ* по обязанности воспитанныхъ *ad hoc*. Ежели выбранные судьи не хороши, тѣмъ хуже для избирателей — они должны знать, что дѣлаютъ. Но, скажутъ намъ, юристомъ не сдѣлаешься безъ ученія; законы такъ сложны, что надобно много, большихъ занятій, чтобъ не заблудиться въ этомъ лабиринтѣ.... Это справедливо, — но изъ этого не слѣдуетъ, что съ самаго дѣтства нужно приготавливать спеціальный классъ для пониманія законовъ; а напротивъ, то, что слѣдуетъ бросить всѣ эти запутанные законы въ огонь. Отношенія людей просты, формальность, судейскіе обычаи, вся эта поэзія адвокатовъ, всѣ *figurali* юриспруденціи только запутываютъ вопросы.

Въ Россіи, судъ первыхъ инстанцій составленъ изъ члена выбраннаго дворянствомъ, другаго выбраннаго мѣщанами и третьяго вольными крестьянами. Два кандидата выбираются дворянствомъ для должности предсѣдателя уголовной палаты. Правительство назначаетъ одного изъ нихъ, и съ своей стороны, посылаетъ прокурора, имѣющаго право останавливать всякое рѣшеніе и пересылать его въ Сенатъ.

Ежели вы вспомните, что прокуроръ принадлежитъ также дворянству, то вы ясно увидите, что дѣйствіа

мѣщанскаго члена и члена изъ крестьянъ подавлены во всѣхъ случаяхъ разногласія. Они имѣютъ полное право протестовать и внести дѣло на разсмотрѣніе въ Сенатъ. Но это случается очень рѣдко, по очевидной причинѣ: Сенатъ, не имѣющій никакого элемента, ни народнаго, ни избирательнаго, всегда за одно съ дворянами или съ правительствомъ, это такъ, но мы говоримъ о нормѣ, а не о злоупотребленіяхъ, и я обращаю ваше вниманіе на возможное развитіе ее въ будущемъ, а не на современное положеніе.

* Десять лѣтъ тому назадъ въ московскія головы былъ избранъ человекъ безкорыстный и строгій. Обязанность городского главы состоитъ въ надзорѣ за городскими суммами; онъ распоряжается городскими приходами и расходами. Обыкновенно на эти мѣста выбираютъ какого нибудь миллионера, любящаго выказываться въ официальныхъ празднествахъ, давать чудовищные обѣды и балы, подписывающаго все что угодно правительству и чего хочетъ начальство. Московскій городской глава Шестовъ иначе понялъ обязанность, на него возложенную: онъ подрѣзалъ крылья официальныхъ воровъ, оберъ-полицмейстеръ объявилъ ему отчаянную войну. Глава принялъ вызовъ и битва кончилась паденіемъ оберъ-полицмейстера.

Но не одни судьи избирательные — земская полиція тоже избирательная. Исправникъ и засѣдатели или становые выбираются дворянствомъ.

Уѣздная полиція оканчивается внизъ сельской общиной — съ своимъ *a parte*, съ избраннымъ старостой, съ своей избранной полиціей, съ своимъ поглощеніемъ личности во имя традиціоннаго и національнаго коммунизма. За губернскими выборными мѣстами вверхъ начинается правительственная централизація; въ ней

теряется всякой слѣдъ самобытнаго права, все поглощено и уничтожено петербургской диктатурой, во имя самодержавнаго и вовсе не славянскаго деспотизма.

И такъ идеи личнаго права и идеи независимости могутъ проявиться у насъ только въ дворянствѣ или въ среднемъ сословіи.

Вліяніе мѣщанства не имѣетъ того значенія въ Россіи, какъ въ Европѣ, не только оттого, что развитіе промышленности до сей поры не значительное, но и потому, что высшее мѣщанство или купечество легко получало личное дворянство.

Мало знаемъ мы нравственныя силы мѣщанства. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можно было ихъ видѣть, оно показывало себя отсталымъ, точно консервативнымъ, православнымъ, раболѣпнымъ и тяжело патріотическимъ. Угнетенное, всего боящееся, оно скрывало свои богатства, пряталось само, молчало, жило на заперти, строило церкви, раздавало милостыню бѣднымъ и заточеннымъ, давало взятки чиновникамъ и копило милліоны.

Новое поколѣніе, получившее образованіе, можетъ быть, пойдетъ по другой дорогѣ и приметъ инныя идеи.

У насъ дворянство больше администрація чѣмъ аристократія. Родъ, графскій и княжескій титулъ, древность имени и величина владѣній не даютъ никакихъ особенныхъ привилегій, связанныхъ исключительно съ чинами. Есть повѣрье, что ежели два поколѣнія дворянъ не служили, то правительство можетъ лишитъ ихъ дворянства.

Эта всеобщность службы даетъ ей самой иное значеніе. Служить въ Россіи не значитъ, какъ во Франціи—быть агентомъ, аме дампѣе власти. Всѣ заговорщики 14 декабря служили. Общественное мнѣніе не смѣшиваетъ дѣйствительно преданныхъ чиновниковъ,

полныхъ рвенія, служащихъ *по вкусу*, съ чиновниками, не имѣющими этихъ качествъ. Первыхъ иногда боятся, но никогда не уважаютъ. Другіе же составляютъ все независимое общество въ столицахъ и губерніяхъ. Классъ этотъ довольно обширенъ, ежели причислить къ нему — военныхъ, вообще меньше раболѣпныхъ нежели гражданскіе чиновники, людей вышедшихъ въ отставку 25 или 26 лѣтъ и живущихъ въ своихъ имѣніяхъ и служащихъ только по выборамъ.

Вотъ въ этой-то средѣ, наше общее и полиглотное воспитаніе образовало можетъ быть самыхъ независимыхъ людей въ Европѣ. Подавляющій деспотизмъ, отсутствіе свободы слова, необходимость быть ежеминутно на сторожѣ, приучили ее къ внутренней, смѣлой и безжалостной работѣ. Новая литература иногда высказывала долю затаенныхъ страстей, наполняющихъ грудь русскаго человѣка. Безъ страха и жалости дошли передовые люди до социальныхъ идей въ политикѣ, до реализма въ наукѣ, до отрицанія и скептицизма въ философій.

Соціализмъ — революціонная идея можетъ у насъ сдѣлаться народною. Въ то время какъ въ Европѣ соціализмъ принимается за знамя безпорядка и ужасовъ, у насъ, напротивъ, онъ является радугой пророчащей будущее народное развитіе.

Теперь, ознакомившись съ элементами русской жизни, вы поймете, что Россіи невозможно сдѣлать шага впередъ, не вступая въ какой нибудь внутренній переворотъ или въ европейскую войну.

Освобожденіе крестьянъ, дѣло столь простое въ прочихъ государствахъ, невозможно у насъ *безъ уступки крестьянамъ земли*; а освобожденіе съ землей — лишеніе значительной собственности дворянства. Условія дво-

рянскаго быта должны переѣниться съ освобожденіемъ, а съ ними и его отношенія къ правительству; не забудьте, что судъ и полиція внѣ городовъ принадлежатъ дворянству, и дворянство всякой губерніи организовано въ совѣщательныя собранія и привыкло правильно собираться въ назначенные сроки.

Ежели бы на русскомъ престолѣ былъ дѣйствительно энергическій человѣкъ, то онъ былъ бы главнымъ двигателемъ освобожденія крестьянъ; онъ покрылъ бы величайшею славою конецъ петербургскаго періода, онъ самъ бы далъ направленіе неминуемому событію. Но для этого нуженъ Петръ I, а не Николай.

Позвольте мнѣ объяснить эту мысль. Не одинъ абсолютизмъ препятствуетъ прогрессу въ Россіи. Петербургскій деспотизмъ сохранилъ, какъ я вамъ уже сказалъ, свою диктаторскую форму, форму революціонную, лишенную традицій и началъ; это орудіе, могущее служить всякимъ цѣлямъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ русское правительство съ 26 декабря 1825 года приняло свой настоящій характеръ, оно сдѣлалось неспособно къ чему либо полезному. Николай пошелъ вспять и сдѣлалъ это съ чрезвычайной неловкостью. Онъ хотѣлъ больше быть царемъ, чѣмъ императоромъ; но, не понявъ славянскій духъ, онъ не достигъ цѣли и ограничился преслѣдованіемъ всякаго стремленія къ свободѣ, угнетеніемъ всякой идеи прогресса и остановкою всякаго необходимаго развитія. Онъ хотѣлъ изъ своей имперіи создать военную Византію, отсюда его народность и православіе, холодныя и ледяныя какъ петербургскій климатъ. Николай постигъ только китайскую сторону вопроса. Въ его системѣ не было ничего движущаго, даже ничего національнаго, — не сдѣлавшись русскимъ, онъ пересталъ быть европейскимъ.

Въ свое долгое царствованіе онъ послѣдовательно коснулся почти всѣхъ учреждений, вводя всюду элементъ паралича, смерти.

Дворянство не могло оставаться замкнутой кастой, по легкости, съ которой получались дворянскія грамоты. Николай поставилъ препятствія, соединяя достоинство потомственного дворянина съ чиномъ майора въ военной службѣ и статскаго совѣтника — въ гражданской.

До Николая всякій дворянинъ былъ избирателемъ; онъ учредилъ избирательный ценсъ.

Онъ сталъ назначать становыхъ отъ правительства, подъ начальствомъ исправника, выбраннаго дворянствомъ.

Онъ ввелъ смертную казнь за преступленія политическія и отцеубійство.

Уголовные законы не признавали *нелѣпнаго наказанія* тюрьмой — Николай ввелъ его.

Терпимость вѣроисповѣданій составляла одно изъ основаній имперіи, созданной Петромъ I; Николай издалъ свирѣпыя законы *противъ лицъ, перемѣнившихъ религію*.

Дворянская грамота предоставляла право дворянамъ жить, гдѣ они хотѣли и вступать въ службу иностранныхъ государствъ. Николай ограничилъ право перемѣны мѣста и время путешествій. Онъ учредилъ конфискацію, не употреблявшуюся его предшественниками.

Петръ III уничтожилъ тайную канцелярію, родъ свѣтской инквизиціи; Николай возстановилъ ее, учреждая цѣлый корпусъ вооруженныхъ и невооруженныхъ шпионовъ, которыхъ далъ на выучку Бенкендорфу а впоследствии поручилъ другу своему Орлову.

Всѣми этими средствами Николай затормозилъ дви-

женіе, подкладывая каменья подо всѣ колеса, и теперь негодуешь на то, что ничего не идетъ. Онъ во что бы ни стало хочетъ что нибудь сдѣлать, старается изо всѣхъ силъ.....можетъ колеса рассыпятся и кучеръ свернетъ себѣ шею.

Но *можетъ еще онъ будетъ имѣть верхъ въ борьбѣ* съ старымъ свѣтомъ, усталымъ, разъединеннымъ, задавленнымъ.

Я вамъ сказалъ, любезный Линтонъ, въ первомъ письмѣ моемъ, что, ежели народу русскому предстоятъ одна только будущность — то судьбамъ російской имперіи предстоятъ двѣ.

Я вполне, убѣжденъ что русскій имперіализмъ ослабнулъ бы и разложился въ короткое время передъ Европой свободной и соединенной (на сколько то позволяютъ ея національныя различія). Петербургское самодержавіе не догматъ, не начало, — а только сила; для него необходимо всегда что нибудь дѣлать. Полиція и сгнетеніе всякой мысли не могутъ замѣнить всего, другихъ дѣятельностей у него нѣтъ или онѣ пугаютъ его.

Для него были бы только два исхода при свободной Европѣ: передѣлаться въ демократическое и социальное самовластѣе, что можетъ не совершенно невозможно, но что совершенно измѣнить его характеръ, — или замереть, заглохнуть и окаменѣть въ Петербургѣ, — теряя ежедневно свое вліяніе, силу, prestige, и наконецъ—сдѣлаться жертвою возмущенія крестьянъ или бунта солдатъ.

Когда къ двѣнадцати милліонамъ рабовъ присоединятся казаки, глубоко обиженные потерей своихъ правъ и вольности; раскольники, которыхъ число и моральная сила очень значительны и ненависть къ правительству непримирима; — да сверхъ того часть дво-

рянства..... будетъ о чемъ подумать тогда жителямъ Зимняго дворца.

Не былъ ли Пугачевъ полнымъ властителемъ четырехъ губерній въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ? Правда и то, что теперь уже не такія приняты военныя мѣры, какъ въ 1770 году.

Однако я очень хорошо помню возстаніе военныхъ поселеній въ Старой Русѣ въ 1831 году, въ 150 верстахъ отъ Петербурга и въ 450 отъ Москвы, въ томъ мѣстѣ, гдѣ всегда столько расположено войскъ. Инсургенты прервали всякое сообщеніе между столицами, имѣли время казнить всѣхъ офицеровъ, учредивъ какое-то правленіе, составленное изъ полковыхъ писарей.

Русскій солдатъ не привыкъ убивать русскихъ. (*) Какъ-то, во время случившагося бунта крестьянъ, при введеніи новаго министерства государственныхъ имуществъ, былъ посланъ туда полкъ, чтобъ разогнать народъ. Народъ не расходился, и продолжалъ просить чего-то. Генераль, видя что увѣщанія его не дѣйствуютъ, приказалъ солдатамъ зарядить ружья и приложиться — народъ не двинулся съ мѣста; тогда генераль далъ знакъ открыть пальбу; полковникъ скомадовалъ „Пли!“..... не раздалось ни одного выстрѣла. Генераль, удивленный, ошеломленный, грозно повторилъ команду. Солдаты опустили ружья къ ногамъ, и стояли неподвижно. Генераль, блѣдный какъ смерть, просилъ полковника и офицеровъ хранить это втайнѣ. Подобное можетъ повториться..... къ тому же въ революціонномъ воздухѣ есть какое-то электричество, обезсиливаетъ старыя власти; такъ какъ атмо-

*) Подобный случай былъ въ Петербургѣ во время холернаго мятежа. Корфъ въ своей книгѣ говоритъ объ артиллеристѣ, который 14-го Декабря не хотѣлъ стрѣлять.

сфера европейской реакціи укрѣпляетъ и дѣлаетъ долголѣтнюю царскую власть.

Монархическая и не слишкомъ военная Европа не хочетъ и не должна имѣть серьезной войны съ царемъ. Царь, съ своей стороны, не можетъ воздержаться отъ войны съ Европой, развѣ она ему подаритъ Константинополь.

Константинополь? — Да! Константинополь. Онъ ему необходимъ для того, чтобы отвести глаза русскаго народа на Востокъ; онъ ему необходимъ чтобы усилить усердіе православной церкви; наконецъ онъ ему необходимъ *инстинктивно*, потому что, не смотря на все, Николай орудіе судьбы. Онъ безсознательно приводитъ въ исполненіе внутренніе виды исторіи, и скорымъ шагомъ, съ закрытыми глазами, не видя пропасти идетъ, на ихъ совершеніе.

Время славянскаго міра настало. *Таборитъ*, общинный человѣкъ, тревожно раскрываетъ глаза, социализмъ что ли его пробудилъ?... Гдѣ водрузить онъ свое знамя? Около какого центра соберется онъ?

Это средоточіе не Вѣна, городъ рококо-нѣмецкій, ни Петербургъ, городъ ново-нѣмецкій, ни Варшава, городъ католическій, ни Москва, городъ исключительно русскій. Настоящая столица Соединенныхъ Славянъ—Константинополь; Римъ Восточной Церкви, центръ тяжести всѣхъ Славяно-Грековъ — Византія, окруженная Славяно-Эллинскимъ населеніемъ.

Германо-Латинскія племена продолжаютъ Имперію Западную; не знаю, суждено ли Славянамъ продолжать Имперію Восточную — но во всякомъ случаѣ не Петербургъ завоюетъ Константинополь, а скорѣе Константинополь замѣнитъ Петербургъ.

Петербургъ былъ бы такою же нелѣпостью въ Им-

періи, владѣющей Константинополемъ, какъ какой нибудь Гольштейнъ-Готорпъ, прикинувшійся Порфирогенетомъ или Палеологомъ.

Добрымъ нѣмецкимъ выходцамъ этимъ, много дѣла на старой родинѣ.

Развѣ вы не слышите, какъ за вашей дверью казакъ перешептывается съ двумя нѣмецкими пріятелями, которые вамъ измѣняютъ и готовы служить ему проводниками въ Европу?

Послѣ 1849 года, мы предсказывали, что *Домъ абсбургскій и огицолернскій приведутъ еще русскихъ въ сердце западнаго міра.*

Для царя, война, это выступленіе изъ береговъ отъ избытка гложущихъ силъ, послужить средствомъ отдалить на время всѣ внутренніе вопросы, и утолить дикую жажду битвъ и увеличенія.

Для Европы, всякая война — несчастье. Европа уже не въ тѣхъ лѣтахъ, чтобъ вести войну поэтическую. Ей предстоитъ рѣшеніе другихъ вопросовъ, поддержаніе другой борьбы, но она сама накупается на нее.

Завоевательная война — не совмѣстна съ цивилизаціей и промышленнымъ развитіемъ Европы, солдатскій абсолютизмъ нелѣпъ въ ней; а однако весь материкъ предпочелъ цезаризмъ — свободѣ!

Самовластье, цезаризмъ по сущности своей правленіе военное, правленіе матеріальной силы, апотеоза штыка. Статскихъ бонапартовъ нѣтъ, даже сынъ Жерома — генералъ-лейтенантъ.

Можетъ быть среди крови, битвы, пожара, опустошенія — народы проснутся, и увидятъ, протирая глаза, что всѣ эти сновидѣнія страшныя, уродливыя были ни что иное, какъ сновидѣнія, какъ бредъ горячки..... Бонапартъ, Николай; мантия съ плечами, мантия облитая

польской кровью; императоръ висѣлицъ, императоръ-шулерства — все это не существуетъ, призракъ; и народы, увидя какъ солнце высоко, удивятся своему долгому сну. Можетъ быть.....

И во всякомъ случаѣ война эта — *Introduzione massicosa e marziale* міра славянскаго въ всеобщую исторію и съ тѣмъ виѣстѣ *una marcia funebre* стараго свѣта.

Прощайте. Дружески кланяюсь вамъ.

Лондонъ, 20 Февраля 1854 года.



ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ КНИГОПЕЧАТАНІЕ *)

ВЪ ЛОНДОНѢ.

I.

БРАТЬЯМЪ НА РУСИ.

Отчего мы молчимъ?

Неужели намъ нечего сказать?

Или неужели мы молчимъ оттого, что мы не смѣемъ говорить?

Дома нѣтъ мѣста свободной русской рѣчи, она можетъ раздаваться нѣдѣ, если только ей время пришло.

Я знаю какъ вамъ тягостно молчать, чего вамъ стоитъ скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякой порывъ.

Открытая, вольная рѣчь — великое дѣло; безъ вольной рѣчи — нѣтъ вольнаго человѣка. Не даромъ за нее люди даютъ жизнь, оставляютъ отечество, бросаютъ достоинствѣ. Скрывается только слабое, боищееся, незрѣлое. „Молчаніе знакъ согласія,“ — оно явно выражаетъ отрѣченіе, безнадежность, склоненіе головы, сознанныю безвыходность.

Открытое слово — торжественное признаніе, переходъ въ дѣйствіе.

*) Эти статьи были напечатаны въ особомъ сборникѣ подъ заглавіемъ: „Десятилѣтіе вольной русской типографіи въ Лондонѣ.“

Время печатать по русски въ Россіи, кажется намъ, пришло. Ошибаемся мы или нѣтъ, это покажете вы.

Я первый снимаю съ себя вериги чужаго языка и снова принимаюсь за родную рѣчь.

Охота говорить съ чужими проходить. Мы имъ рассказали, какъ могли, о Руси и мірѣ славянскомъ; что можно было сдѣлать — сдѣлано.

Но для кого печатать по русски за границею, какъ могутъ расходиться въ Россіи запрещенныя книги?

Если мы все будемъ сидѣть, сложа руки, и довольствоваться безплоднымъ ропотомъ и благороднымъ негодованіемъ, если мы будемъ благоразумно отступать отъ всякой опасности и, встрѣтивъ препятствіе, останавливаться, не дѣлая опыта ни перешагнуть, ни обойти — тогда долго не придутъ еще для Россіи свѣтлые дни.

Ничего не дѣлается само собою, безъ усилій и воли, безъ жертвъ и труда. Воля людская, воля одного твердаго человѣка — страшно велика.

Спросите, какъ дѣлають наши польскіе братья, сгнетенные больше васъ. Въ продолженіи двадцати лѣтъ развѣ они не рассылають по Польшѣ все, что хотятъ, минуя цѣпи жандармовъ и сѣти донощиковъ.

И теперь вѣрнее своей великой хоругви, на которой было написано: *За нашу и вашу вольность* — они протягивають вамъ руку; они вамъ облегчаютъ три четверти труда, остальное можете вы сдѣлать сами.

Польское демократическое товарищество въ Лондонѣ, въ знакъ его братскаго соединенія съ вольными людьми русскими, предлагаетъ вамъ свои средства для доставленія книгъ въ Россію и рукописей отъ васъ сюда.

Ваше дѣло найти и вступить въ сношеніе.

Присылайте, что хотите, все писанное въ духѣ сво-

боды будетъ напечатано, отъ научныхъ и фактическихъ статей по части статистики и исторіи до романовъ, повѣстей и стихотвореній.

Мы готовы даже печатать безденежно.

Если у васъ нѣтъ ничего готоваго, своего, пришлите ходящія по рукамъ запрещенныя стихотворенія Пушкина, Рылѣева, Лермонтова, Полежаева, Печерина и др.

Приглашеніе наше столько-же относится къ панславистамъ, какъ ко всѣмъ свободномыслящимъ русскимъ. Отъ нихъ мы имѣемъ еще больше права ждать, потому что они исключительно занимаются Русью и славянскими народами.

Дверь вамъ открыта. Хотите-ли вы ею воспользоваться или нѣтъ? это останется на вашей совѣсти.

Если мы не получимъ ничего изъ Россіи — это будетъ не наша вина. Если вамъ покой дороже свободной рѣчи—молчите.

Но я не вѣрю этому—до сихъ поръ никто ничего не печаталъ по русски за границею, потому что не было свободной типографіи. Съ перваго Мая 1853 типографія будетъ открыта. Пока въ ожиданіи, въ надеждѣ получить отъ васъ что нибудь, я буду печатать свои рукописи.

Еще въ 1849 году я думалъ начать въ Парижѣ печатаніе русскихъ книгъ; но гонимый изъ страны въ страну, преслѣдуемый рядомъ страшныхъ бѣдствій, я не могъ исполнить моего предпріятія. Къ тому-же я былъ увлеченъ; много времени, сердца, жизни и средствъ принесъ я на жертву западному дѣлу. Теперь я себя въ немъ чувствую лишнимъ.

Быть вашимъ органомъ, вашей свободной, безцензурной рѣчью—вся моя цѣль.

Не столько новаго, своего хочу я вамъ рассказывать,

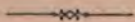
сколько воспользоваться моимъ положеніемъ для того, чтобъ вашимъ невысказаннымъ мыслямъ, вашимъ за-
таеннымъ стремленіямъ дать гласность, передать ихъ
братьямъ и друзьямъ, потеряннымъ въ нѣмой дали
русскаго царства.

Будемъ вмѣстѣ искать и средствъ и разрѣшеній, для
того, чтобъ грозныя событія, собирающіяся на Западѣ,
не застали насъ въ располхъ или спящими.

Вы любили нѣкогда мои писанія. То что я теперь
скажу не такъ юно и не такъ согрѣто тѣмъ свѣтлымъ
и радостнымъ огнемъ и той ясной вѣрою въ близкое
будущее, которые прорывались сквозь цензурную рѣ-
шетку. Цѣлая жизнь погребена между тѣмъ временемъ
и настоящимъ; но за утрату многого, искусившаяся
мысль стала зрѣлѣе, мало вѣрованій осталось, но остав-
шіяся прочны.

Встрѣтите-же меня, какъ друзья юности встрѣчаютъ
воина, возвращающагося изъ службы, состарѣвшагося,
израненаго, но который честно сохранилъ свое знамя
и въ плѣну и на чужбинѣ—и съ прежней безпредѣль-
ной любовью подаетъ вамъ руку на старый союзъ
нашъ во имя *Русской и Польской свободы*.

Лондонъ, 21 Февраля 1853.



ЮРЬЕВЪ ДЕНЬ! ЮРЬЕВЪ ДЕНЬ!

II.

РУССКОМУ ДВОРЯНСТВУ.

Первое вольное русское слово изъ за границы пусть будетъ обращено къ вамъ.

Въ вашей средѣ развилась потребность независимости, стремленіе къ свободѣ и вся умственная дѣятельность послѣдняго вѣка.

Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которымъ искупается Россія въ глазахъ другихъ народовъ и въ собственныхъ своихъ.

Изъ вашихъ рядовъ вышли Муравьевъ и Пестель, Рылѣевъ и Бестужевъ.

Изъ вашихъ рядовъ вышли Пушкинъ и Лермонтовъ.

Наконецъ и мы, оставившіе родину для того, чтобъ хоть въ чужѣ раздавалась свободная русская рѣчь, вышли изъ вашихъ рядовъ.

Къ вамъ первымъ мы и обращаемся.

Не съ словами упрека, не съ невозможнымъ на сію минуту зовомъ на бой, а съ дружескою рѣчью объ общемъ горѣ, объ общемъ стыдѣ и съ братскимъ совѣтомъ.

Горестно, стыдно быть рабами, но всего горестнѣе и больнѣе сознать, что рабство наше необходимо, что оно въ порядкѣ вещей, что оно естественное слѣдствіе.

На нашей душѣ лежитъ великій грѣхъ, мы его унаслѣдовали, и въ этомъ невиноваты, но мы удерживаемъ неправо унаслѣдованное, оно стягиваетъ насъ какъ тяжелый камень на дно и съ нимъ на шеѣ мы не всплывемъ.

Мы рабы — потому что наши праотцы продали свое человѣческое достоинство за нечеловѣческія права, а мы пользуемся ими.

Мы рабы — потому что мы господа.

Мы слуги — потому что мы помѣщики, и помѣщики безъ вѣры въ наше право.

Мы крѣпостные — потому что держимъ въ неволѣ нашихъ братій равныхъ намъ по рожденію, по крови, по языку.

Нѣтъ свободы для насъ, пока проклятіе крѣпостнаго состоянія тяготитъ надъ нами, пока у насъ будетъ существовать гнусное, позорное, ничѣмъ неоправданное рабство крестьянъ.

Съ Юрѣва дня начнется новая жизнь Россіи, съ Юрѣва дня начнется наше освобожденіе.

Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть дворовыхъ людей, купленныхъ какъ товаръ, проданныхъ какъ стадо.

Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть право сѣчь мужиковъ и посылать дворовыхъ на сѣзжую.

Нельзя даже говорить о правахъ человѣческихъ, будучи владѣльцемъ человѣческихъ душъ.

Развѣ царь не можетъ сказать: „Вы хотите быть свободными? съ какой стати? Берите оброкъ съ вашихъ крестьянъ, берите ихъ трудъ, берите ихъ дѣтей во дворъ, обмѣривайте ихъ землю, продавайте ихъ, покупайте, переселяйте, бейте, сѣките ихъ, а если устали, посылайте ихъ ко мнѣ въ полицію, я охотно буду сѣчь

за васъ. Мало вамъ этого, что ли? надобно честь знать! Предки наши уступили вамъ часть нашего самодержавія; кабала вамъ свободныхъ людей, они оторвали полу царской багряницы своей и бросили ее на бѣдность вашимъ отцамъ; вы не отказались отъ нее, вы покрываетесь ею, живете подъ нею—какая же можетъ быть между нами рѣчь о свободѣ? Оставайтесь крѣпки царю, пока православные крѣпки вамъ. Съ чего помѣщикамъ быть свободными людьми?”

И царь будетъ правъ.

Многіе изъ васъ желали освобожденія крестьянъ, Пестель и его друзья ставили освобожденіе ихъ своимъ первымъ дѣломъ. Спорили съ начала о томъ: съ землею или безъ земли дать волю? Потомъ всѣ увидѣли нелѣпность освобожденія въ голодъ, въ бродяжничество, и вопросъ шелъ только о количествѣ земли и о возможномъ возмездіи за нее.

Въ самыхъ помѣщичьихъ губерніяхъ, въ Пензѣ и Тамбовѣ, въ Ярославлѣ и Владимірѣ, въ Нижнемъ и наконецъ въ Москвѣ вопросъ объ освобожденіи находилъ сочувствіе и нигдѣ не встрѣчалъ того остервенѣнія, съ которымъ американскіе помѣщики защищаютъ свои черныя права.

Тульское дворянство подало проэктъ; въ десяти другихъ губерніяхъ совѣщались, дѣлали предположенія.

И вдругъ дворяне и правительство перепугались, и изъ ихъ дрожащихъ рукъ выпали всѣ благія начинанія.

А бояться было вовсе нечего; разливъ 1848 года былъ слишкомъ мелокъ, чтобъ поднять наши степи.

Съ тѣхъ поръ все заснуло.

Куда дѣлось меньшинство, которое шумѣло въ петербургскихъ и московскихъ гостинныхъ объ освобожденіи крестьянъ?....

Чѣмъ кончились всѣ эти комитеты, совѣщанія, проекты, планы, предположенія?...

Наше сонное бездѣйствіе, вялая невыдержка, страдательная уступчивость наводятъ грусть и отчаяніе. Съ этой распущенностью мы дошли до того, что правительство насъ не гонитъ, а только пугаетъ и еслибъ не юношеская, полная отваги и безразсудства исторія Петрашевскаго и его друзей, можно бы было подумать, что вы поладили съ Николаемъ Павловичемъ и живете съ нимъ душа въ душу.

А между тѣмъ въ деревняхъ становится не ловко. Крестьяне посматриваютъ угрюмо. Дворовые меньше слушаются. Всякія вѣсти бродятъ. Тамъ-то помѣщика съ семьей сожгли, тамъ-то убили другаго цѣпами и вилами, тамъ то прикащика задушили бабы на полѣ, тамъ то *камергера* высѣкли розгами и взяли съ него подписку молчать.

Крѣпостное состояніе явнымъ образомъ надоѣло мужикамъ, они только не умѣютъ приняться сообща за дѣло. Вы съ своей стороны знаете, что шагу впередъ нельзя сдѣлать безъ освобожденія крестьянъ. Но оно то по счастью всего больше зависитъ отъ васъ.

Зависитъ сегодня. Мы не знаемъ что будетъ завтра.

Чегожъ вы ждете въ самомъ дѣлѣ?

Разрѣшенія правительства? Оно дало вамъ какой-то лукавый и двусмысленный намекъ въ 1842 году. Вы имъ не воспользовались.

Да и какое тутъ позволеніе? Насильно заставить владѣть невозможно, это было бы тиранство совершенно новаго рода, обратная конфискація.

Вникните въ наши слова, поймите ихъ.

На сію минуту вы имѣете за себя больше нежели

право, *) фактъ владѣнія—власть. Такъ или иначе, но ключъ отъ цѣпи у васъ въ рукахъ. Намъ кажется умнѣе, *разсчитливѣе* уступить нежели ждать взрыва. Умнѣе бросить за бортъ долю груза, нежели дать утонуть всему кораблю.

Мы не предлагаемъ вамъ какъ Христосъ Никодиму раздать ваше достоинствѣ изъ самоотверженія, у насъ нѣтъ вамъ рая въ замѣну за такую жертву. Мы ненавидимъ фразы и вовсе не вѣримъ въ повальное великодушіе, ни въ безкорыстіе цѣлыхъ сословій. Французское дворянство 4-го Августа 1792 г. поступило въ десять разъ больше умно нежели самоотверженно.

Взвѣсьте что вамъ выгоднѣе, освобожденіе крестьянъ съ землею и съ вашимъ участіемъ или борьба противъ освобожденія съ участіемъ правительства? Взвѣсьте что выгоднѣе, начать собой новую, свободную Русь и полюбовно рѣшить тяжелый вопросъ съ крестьянами или начать противъ нихъ крестовый походъ съ ружьемъ въ одной рукѣ, съ розгой въ другой? Если есть только будущность Руси и міру славянскому, *крестьяне будутъ свободны...*

Или вовсе не будетъ Россіи и слѣдъ ея, отмѣченный ненужной кровью и дикими побѣдами, исчезнетъ мало по малу какъ слѣдъ татаръ, какъ второй неудачный слой сѣвернаго населенія послѣ финновъ. Государство, не умѣющее отдѣлаться отъ такого чернаго грѣха, такъ глубоко взошедшаго во внутреннее строеніе его не имѣетъ права ни на образованіе, ни на развитіе, ни на участіе въ дѣлѣ исторіи.

*) Всякое дворянство на Западѣ можетъ сослаться на какія нибудь слабыя, призрачныя права владѣнія крестьянами; у насъ и тѣхъ нѣтъ. Не кровью пріобрѣло русское дворянство рабовъ, а рядомъ полицейскихъ мѣръ, низкимъ потворствомъ царей, плутнями чиновниковъ и безстыдной алчностью своихъ праотцевъ.

Но ни вы не вѣрите такой страшной будущности, ни я.

И вы и я, мы чувствуемъ и знаемъ, что освобожденіе крестьянъ необходимо, неотразимо, неминуемо.

Если вы не съумѣете ничего сдѣлать, они все таки будутъ свободны, по царской милости или по милости пугачевщины.

Въ обоихъ случаяхъ вы погибли, а съ вами и то образованіе, до котораго вы доработались труднымъ путемъ, оскорбительными униженіями и большими неправдами.

Больно, если освобожденіе выйдетъ изъ Зимняго Дворца, власть царская оправдается имъ передъ народомъ и, раздавивши васъ, сильнѣе укрѣнитъ свое самовластіе нежели когда-либо.

Страшна и пугачевщина, но скажемъ откровенно, если освобожденіе крестьянъ не можетъ быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено. Страшныя преступленія влекутъ за собой страшныя послѣдствія.

Это будетъ одна изъ тѣхъ грозныхъ историческихъ бѣдъ, которыя предвидѣть и избѣгнуть заблаговременно можно, но отъ которыхъ спастись въ минуту разгрома трудно или совсѣмъ нельзя.

Вы читали исторію пугачевского бунта, вы слышали рассказы о старорусскомъ возстаніи.

Наше сердце обливается кровью при мысли о невинныхъ жертвахъ, мы впередъ ихъ оплакиваемъ, но склоняя голову скажемъ: пусть совершается сграшная судьба, которую предупредить не умѣли или не хотѣли.

Еслибъ мы думали, что эта чаша неотвратима, мы не обратились бы къ вамъ, наши слова были бы тогда праздны или походили бы на неумѣстную и злую насмѣшку.

Совсѣмъ напротивъ, мы увѣрены, что нѣтъ никакой роковой необходимости, чтобъ каждый шагъ впередъ для народа былъ отмѣченъ горами труповъ. Крещеніе кровью великое дѣло, но мы не раздѣляемъ свирѣпой вѣры, что всякое освобожденіе, всякой успѣхъ долженъ непремѣнно пройти черезъ него.

Неужели грозные уроки былого всегда будутъ нѣмы?

И кого можетъ лучше поучать прошедшее и настоящее, какъ не вы: вы зрители, вы смотрите, сложивъ руки, на грозную борьбу, совершающуюся въ Европѣ.

Чѣмъ дошла она, за исключеніемъ Англіи, до петербургскаго управленія, до того, что образованнѣйшіе города ея превратились въ сѣзжіе дворы, Парижъ — въ человѣческую бойню, Франція — въ католическую Сибирь, Германія — въ остзейскія провинціи? Упорнымъ нехотѣніемъ уступать тому мощному влѣянію, которое неотразимо двигаетъ родъ людской.

Западные мѣщане все потеряли — честь, покой, свободу, все такъ трудно нажитое ихъ собственною кровью, — и что же, побѣдили-ли они тотъ натискъ страстныхъ стремленій къ новому общественному чину, котораго они такъ боятся? Нѣтъ. Правда сложенные, оттолкнутые порывы отступили, но не исчезли, не уничтожились, они бродятъ и роются глубже въ тайникахъ сердца человѣческаго, дѣлаютъ горькую мысль, острую кровь и трепетнымъ огнемъ гнѣва пробѣгаютъ суставы всего тѣла.

Вмѣсто общественнаго пересозданія готовится общественное разрушеніе. Мало будетъ теперь тѣмъ, которые такъ добродушно обѣщали три мѣсяца голода, и дали пять лѣтъ мученичества, мало для нихъ теперь одного водворенія новаго, имъ надобна мѣсть. Они заслужили эту награду.

Учитесь, пока еще есть время.

Мы еще вѣримъ въ васъ, вы дали залого, наше сердце ихъ не забыло, вотъ почему мы не обращаемся прямо къ несчастнымъ братьямъ нашимъ для того, чтобъ сосчитать имъ ихъ силы, которыхъ они не знаютъ; указать имъ средства, о которыхъ они не догадываются, растолковать имъ вашу слабость, которую они не подозреваютъ; для того, чтобъ сказать имъ:

„Ну, братцы, къ топорамъ теперь. Не вѣкъ намъ быть въ крѣпости, не вѣкъ ходить на барщину, да служить во дворѣ; постоимте за святую волю, довольно натѣшились надъ нами господа, довольно осквернили дочерей нашихъ, довольно обломали палокъ объ ребра стариковъ..... Нутка, дѣтушки, соломы, соломы къ господскому дому, пусть баричи погрѣются въ послѣдній разъ!“

Вмѣсто этой рѣчи мы вамъ говоримъ: предупредите большія бѣдствія, пока это въ вашей волѣ.

Спасите себя отъ крѣпостнаго права и крестьянъ отъ той крови, которую они должны будутъ пролить.

Пожалѣйте дѣтей своихъ, пожалѣйте совѣсть бѣднаго народа русскаго.

Но торошитесь, — время страдное, ни одного часа терять нельзя.

Горячее дыханіе больной, выбившейся изъ силъ Европы, вѣетъ на Русь переворотомъ. Царь отгородилъ васъ заборомъ, но въ казенномъ заборѣ его есть щели и сквозной вѣтеръ сильнѣе вольнаго.

Наступающій переворотъ не такъ чуждъ русскому сердцу какъ прежніе. Слово *соціализмъ* неизвѣстно нашему народу, по смыслъ его близокъ душѣ русскаго человека, изживающаго вѣкъ свой въ сельской общинѣ и въ рабочей артели.

Въ социализмѣ встрѣтится Русь съ революціей.

Такихъ океаническихъ потоковъ нельзя въ самомъ дѣлѣ остановить таможенными мѣрами и розгами..... Посторонитесь, если не хотите быть потопленными или плывите по теченію.

...Можетъ тѣ изъ васъ, которые не хотятъ освобожденія, думаютъ, что царь поможетъ имъ въ разгромѣ.

Они привыкли къ свирѣлымъ военнымъ усмиреніямъ, они привыкли къ роли палача, которую правительство такъ охотно беретъ на себя по требованію помѣщика. Они привыкли къ его преступной глухотѣ къ крестьянскимъ жалобамъ и къ его позорному потворству противузаконнымъ продажамъ, чрезмѣрнымъ податямъ, насильственному употребленію крестьянъ внѣ деревни.....

Быть можетъ въ самомъ дѣлѣ царь поможетъ тѣмъ средствами, которыми его *благословенный* предшественникъ помогъ введенію военныхъ поселеній, засѣкая до смерти десятого, двадцатаго человѣка..... Можетъ...

Но если вы воспользуетесь съ ними вмѣстѣ царской защитой, тогда смотрите, ведите себя хорошо и смиренно; забудьте всякое человѣческое достоинство, и рѣчь сколько-нибудь свободную, и мечту о личной независимости, будьте тогда вѣрноподданными и только вѣрноподданными.

Не то, вспомните, если юродивый австрійскій императоръ, отрѣшенный отъ дѣлъ за неспособность, нашелъ средство унять галицкихъ помѣщиковъ съ своимъ сообщникомъ Шелой — что съ вами сдѣлають Николай Павловичъ и его дѣти?

III.

ПОЛЯКИ ПРОЩАЮТЪ НАСЪ!

Кровь и слезы, отчаянная борьба и страшная побѣда соединили Польшу съ Россіей.

По клокоту отрывала Русь живое мясо Польши, отрывала провинцію за провинціей и, какъ неотразимое бѣдствіе, какъ мрачная туча подвигалась все ближе и ближе къ ея сердцу. Гдѣ она не могла взять силой, она брала хитростью, деньгами, уступала своимъ естественнымъ врагамъ и дѣлилась съ ними добычей.

Изъ за Польши приняла Россія первый черный грѣхъ на душу. Раздѣлъ ея останется на ея совѣсти. Менѣе преступно было бы взять съ разу всю Польшу за себя, чѣмъ дѣлиться ею съ нѣмцами.

Варшава и Царьградъ были двѣ мучительныя мечты, два манящіе призрака, не дававшіе спать Зимнему Дворцу.

Александръ, послѣ 1812 года, побѣдиль всю Европу, а взялъ только Польшу. Его войска, вступая въ Парижъ, завоевали собственно одну Варшаву.

Европа, тогда же дряхлая и опустившаяся, безмысленно отдала Польшу, отдала ее въ Вѣнѣ, спасенной поляками. Европа думала, что послѣ взятія Парижа, нечего бояться. Она была обезпечена съ запада. Нико-

му въ голову не пришло, что за то дорога съ востока была протоптана казаками.

Александръ увѣрилъ Европу, что можно быть русскимъ императоромъ и вмѣстѣ съ тѣмъ королемъ польскимъ. Онъ увѣрилъ, что петербургскій самодержецъ можетъ быть конституціоннымъ государемъ въ Варшавѣ.

Это была ложь.

Лицемѣрную ложь замѣнилъ Николай свирѣпой истиной.

Чувствуя грубую руку его, Польша возстала.

Послѣ девятилѣтнихъ годовъ ничего не было ни доблести, ни поэтичности этого возстанія. Это не трехдневный бой на улицахъ, это не невзначай одержанная побѣда надъ войскомъ взятымъ върасплохъ и не расположеннымъ драться — это была отчаянная война десяти мѣсяцевъ. Война, которую вело цѣлое войско, противъ войска въ три раза сильнѣйшаго; войско, ставшее за народъ, умиравшее за народъ, а не за власть, не за палачей.

Задавленные силой, преданные западными правительствами и своими измѣнниками, поляки, сражаясь на каждомъ шагѣ, отступали. Перейдя границу, они взяли съ собой свою родину и не склоняя головы гордо и угрюмо пронесли ее по свѣту.

Европа разступилась съ уваженіемъ передъ торжественнымъ шествіемъ отважныхъ бойцевъ.

Народы выходили къ нимъ на поклонъ. Цари сторонились, чтобъ дать имъ пройти.

Европа проснулась на минуту отъ ихъ шаговъ, нашла слезы и участіе, нашла деньги и силу ихъ дать.

Благородный образъ польскаго выходца, этого крестоваго рыцаря свободы, остался въ памяти народной.

Онъ искупалъ вѣкъ малодушный и холодный, онъ примиралъ человѣка съ людьми и оживлялъ надежды давно заснувшія.

Двадцать лѣтъ на чужбинѣ, въ нуждѣ и лишеніяхъ, въ потѣ лица зарабатывая скудный кусокъ хлѣба, часто притѣсненные и гонимые изъ страны въ страну, польскіе выходцы неуспѣшно трудились съ одной завѣтной мыслию возрожденія свободной Польши. И вѣра ихъ не поблѣднѣла отъ грозныхъ событій и любовь ихъ не остыла отъ всеможныхъ оскорбленій и дѣятельность ихъ не притупилась и мышцы не ослабли отъ усталости и безуспѣшности. Совсѣмъ напротивъ, на всякой роковой перекличкѣ, въ грозные дни борьбы и опасности, они первые отвѣчали „Здѣсь!“ какъ сказалъ одинъ изъ ихъ вожатаевъ. И дѣйствительно бѣлокурыи сыны Польши являлись въ первыхъ рядахъ всѣхъ народныхъ возстаній, принимая всякой бой за вольность — боемъ за Польшу.

Но не все ихъ отечество было на чужбинѣ.

Въ то время какъ одна Польша шла на Западъ, спасая удаленіемъ родину, другая Польша въ цѣняхъ шла въ Сибирь, спасая ее мученичествомъ. Все живое, все не умолкнувшее, все надѣвшееся, юное и старое, женщины, монахи и дѣти—все шло въ снѣжныя степи.

Двадцать лѣтъ съ тою-же упорностью, съ тою-же настойчивостью, свирѣпствовалъ въ Польшѣ царь, попирая ногами все польское, все человѣческое.

Приблизъ къ землѣ послѣдніе ростки, онъ снялъ границу между Польшей и Россіей.....

Неужели во всемъ этомъ только и смысла, что кровавая борьба, изгнаніе, ссылка, позорная побѣда, неправое стяженіе?

Нѣтъ. Сквозь мрачный рядъ событій, сквозь дымя-

щуюся кровь, через висѣлицы, через головы царя и палачей просвѣчиваетъ иной день. Изъ за насильственного единства видѣется единство свободное, изъ за единства поглощающаго Польшу Россіей, единство основанное на признаніи равенства и самобытности обоихъ, изъ за царскаго соединенія соединеніе народное. Скованные по неволѣ колодники, всматриваясь болѣе и болѣе, узнали другъ въ другѣ братьевъ; таже кровь сказала и семейная вражда изсякаетъ.

Вражда! Откуда она?... Откуда взялось это непреодолимое чувство непріязни, которое влекло сначала Польшу въ Русь, потомъ Русь въ Польшу.

Намъ всегда была подозрительна эта ненависть, намъ не вѣрилось этой враждѣ. Не крылось-ли подъ ними желаніе пополнить себя, не было-ли въ сосѣдской зависти неяснаго чувства обоюдной неполноты и односторонности?

Имъ не доставало другъ друга, а онѣ терзали, уничтожали одна другую.

Русь сильная единоплеменностью, народнымъ чувствомъ своей цѣлости, своего братства, срослась въ огромное государство. Но въ этомъ печальномъ государствѣ явнымъ образомъ чего-то не доставало. Жизнь его скрылась по деревнямъ или стремилась къ окраинамъ, выступая непрерывно за свои предѣлы, какъ будто томимая тоской, она искала убѣжища отъ внутренней тѣсноты, отъ царскаго гнета, и не находила, потому что всюду несла съ собою его мертвящую власть.

Русь сохранила общину, развила государство, образовала войско, но не развила вольнаго человѣка.

Противъ нее, *равной* передъ своимъ гнетомъ стояла Польша, *неравная* въ своей свободѣ.

Личность, признанная Польшей за вольную, была облечена во все самодержавіе человѣческаго достоинства, она была вѣнцомъ славы и побѣднымъ вѣнцомъ польскаго развитія. Царственное, *не позволяю*, принадлежавшее всякому свободному человѣку, непонятное вѣрно-подданнымъ ариѳметическаго большинства голосовъ, выражаетъ чистѣйшимъ образомъ славянское начало еднородности и безпредѣльной воли лица.

Но *другія* личности въ Польшѣ не были свободны и съ этимъ противурѣчіемъ она сладить не могла.

Славяне не умѣютъ долго и умѣренно жить въ двойствѣ народной неволи и аристократической свободы. Тотъ или другой элементъ непременно выступитъ изъ всѣхъ границъ. Свободный дѣлается тираномъ; исключенный изъ правъ—рабомъ.

Можетъ всѣ славяне рабы оттого, что они не могутъ быть всѣ свободны.

Польша утратила на время нераздѣльную цѣлость, государственное значеніе, въ искупленіе своего отчужденія, своего западнаго аристократизма, своей преданности папѣ.

Ей надобно было, волей или неволей, снова сблизиться съ славянскимъ міромъ, вспомнить свое славянское начало. Польша не Венгрія, не безродная, не одна на свѣтѣ, съ правой и съ лѣвой стороны, на Югъ и на Сѣверъ, она окружена славянами.

Свою односторонность Польша много искупила отвагой въ бою, непреклонностью въ изгнаніи, мучениками непрерывно падающими подъ царскимъ гоненіемъ, подъ вражьиими пулями, подъ топоромъ палачей.

Не доставало еще одной жертвы. Она приносится *теперь*.

Поляки болѣе и болѣе сближаются съ русскими.

Мы говоримъ о Польшѣ демократической, народной, современной.

Для нея, та Польша, которая ненавидѣла Россію, о которой мечтали ея олигархи и ея полководцы, становится также чужда, какъ петербургская Русь. Съ той разницей, что одна имѣетъ за себя силу, а другая противъ себя свое безсиліе.

Мы всегда искали этой близости,—съ нашей стороны тутъ нѣтъ и достоинства, мы виноваты, мы оскорбители, насъ угрызала совѣсть, насъ мучилъ стыдъ. Ихъ Варшава пала подъ нашими ядрами и мы ничѣмъ не умѣли показать ей наше сочувствіе, кромѣ скрытыхъ слезъ, осторожнаго шопота и робкаго молчанія.

Муравьевъ, Пестель и ихъ друзья, первые протянули руку полякамъ. Народъ польскій, въ то время какъ Сеймъ произносилъ низверженіе дома Романовыхъ, служилъ въ Варшавѣ торжественную панихиду Муравьеву, Пестелю и ихъ друзьямъ.

Но между тѣмъ временемъ и нашимъ прошелъ черныи 1831 годъ: Россіи вполнѣ заслужила новую ненависть Польши...

... Послѣ долгихъ годовъ озлобленія раздался наконецъ голосъ Мицкевича, говорившій о томъ великомъ славянскомъ единствѣ, которое должно покрыть частную вражду Польши и Россіи.

Въ 1845 году польскіе демократы въ Лондонѣ обратились съ теплою рѣчью къ русскимъ, и спрашивали себя и ихъ: „Откуда эта ненависть слишкомъ ожесточенная, чтобъ быть продолжительной, слишкомъ долгая, чтобъ быть естественной. Думалъ-ли кто нибудь изъ васъ объ ней, отдали ли мы себѣ въ ней отчетъ?“

И они звали на примиреніе и на общую борьбу.

Голосъ ихъ не дошелъ до насъ; но тогда уже моло-

дежь всѣхъ русскихъ университетовъ тѣсно соединилась съ польскими юношами, присылаемыми къ намъ правительствомъ.

Наканунъ февральской революціи, нашъ Бакунинъ явился передъ собраніемъ поляковъ, праздновавшихъ годовщину варшавскаго возстанія. Онъ просилъ забвенія прошедшему и предлагалъ во имя юной Россіи союзъ и братство.

Его рѣчь была принята кликами сочувствія. Но, не смотря на все на это, скажемъ откровенно, истиннаго мира и соглашенія не было.

Трудно было полякамъ переломить вѣковой предразсудокъ и забыть свѣжее оскорбленіе. Палачей своихъ никто не любитъ, какъ бы казни ни были чужды ихъ сердцу. Надобенъ былъ длинный трудъ мысли, рядъ испытаній для того, чтобъ подвинуть поляковъ не только на забвеніе благаго, но на соединеніе съ нами.

Вотъ та новая жертва, которая требовалась отъ ихъ безграничной преданности.

Они ее приносятъ. Послѣ столькихъ потерь, столькихъ жертвъ, они жертвуютъ самой *ненавистью*.

Пока міръ тщетно ждетъ царской амнистіи полякамъ, Польша даетъ амнистію народу русскому.

Еще болѣе. Она въ лицѣ своихъ демократическихъ вожатаевъ протягиваетъ вамъ свою руку.

И это болѣе нежели соединеніе двухъ непріятелей противъ одного общаго врага.

Великій полякъ Конарскій, принесшій свою грудь палачамъ изъ за границы для того, чтобъ проповѣдывать свободу въ польско-русскихъ губерніяхъ и неизвѣстный русскій офицеръ Караваевъ, погибнувшій, желая спасти Конарскаго, осужденнаго на смерть—вотъ первообразъ того соединенія, о которомъ идетъ рѣчь.

Торопитесь взять протянутую вамъ руку, она васъ будитъ, она вамъ напоминаетъ, что вашъ часъ приближается, что пора наконецъ вамъ завоевать человѣческое достоинство или потерять на него права ваши.

Рука эта въ тоже время рука Муравьева и Пестеля.

Вы полны прекрасныхъ стремленій, но вы неопытны какъ дѣти, вы гибнете понапрасну или сидите сложа руки; увлекаетесь невозможными надеждами или отдаетесь неоправданному отчаянію. Все, что вы дѣлаете, не имѣетъ ни единства, ни опредѣленной цѣли. Отъ того всѣ ваши стремленія, усилія выдыхаются безплодно, ваша мысль объемиста и глубока, ваше сердце свѣже, вы знаете народъ, вы не свихнули свой умъ, не испортили своего инстинкта, не истощили своихъ силъ середь ложныхъ страстей, середь безсильной болтовни, завистливыхъ притязаній и застарѣлаго растлѣнія.

Но при всемъ этомъ вы праздны.

Внутренній трудъ, созерцаніе, изученіе дали вамъ много, но они не дадутъ вамъ теперь ничего больше. Мысль и такъ опередила событія. Мысль безъ дѣлъ мертва, какъ вѣра. Чѣмъ болѣе она расходится съ жизнью, тѣмъ она становится суше, холоднѣе, безстрастнѣе, ненужнѣе. Германія служить вамъ примѣромъ и угрозой.

Одно теоретическое развитіе, отвлеченное и не переводимое въ жизнь, противно славянскому характеру. Для васъ это слишкомъ мало и слишкомъ легко.

Безплодное негодованіе, ученые споры, благородныя стремленія, тоска по свободѣ и весь этотъ революціонный эпикурензмъ и лиризмъ не идетъ намъ болѣе, мы выросли изъ него; онъ слишкомъ сбивается на смиренныя упованія христіанъ, которыхъ невозможность имѣ самимъ очевидна, но которыя они поддерживаютъ для нервнаго раздраженія.

дежь всѣхъ русскихъ университетовъ тѣсно соединялась съ польскими юношами, присылаемыми къ намъ правительствомъ.

Наканунѣ февральской революціи, нашъ Бакунинъ явился передъ собраніемъ поляковъ, праздновавшихъ годовщину варшавскаго возстанія. Онъ просилъ забвенія прошедшему и предлагалъ во имя юной Россіи союзъ и братство.

Его рѣчь была принята кликами сочувствія. Но, не смотря на все на это, скажемъ откровенно, истиннаго мира и соглашенія не было.

Трудно было полякамъ переломить вѣковой предразсудокъ и забыть свѣжее оскорбленіе. Палачей своихъ никто не любитъ, какъ бы казни ни были чужды ихъ сердцу. Надобенъ былъ длинный трудъ мысли, рядъ испытаній для того, чтобъ подвинуть поляковъ не только на забвеніе былого, но на соединеніе съ нами.

Вотъ та новая жертва, которая требовалась отъ ихъ безграничной преданности.

Они ее приносятъ. Послѣ столькихъ потерь, столькихъ жертвъ, они жертвуютъ самой *ненавистью*.

Пока міръ тщетно ждетъ царской амнистіи полякамъ, Польша даетъ амнистію народу русскому.

Еще болѣе. Она въ лицѣ своихъ демократическихъ вожаковъ протягиваетъ вамъ свою руку.

И это болѣе нежели соединеніе двухъ непріятелей противъ одного общаго врага.

Великій полякъ Конарскій, принесшій свою грудь палачамъ изъ за границы для того, чтобъ проповѣдывать свободу въ польско-русскихъ губерніяхъ и неизвѣстный русскій офицеръ Караваевъ, погибнувшій, желая спасти Конарскаго, осужденнаго на смерть—вотъ пері того соединенія, о которомъ идетъ рѣчь.

Торопитесь взять протянутую вамъ руку, она васъ будитъ, она вамъ напоминаетъ, что вашъ часъ приближается, что пора наконецъ вамъ завоевать человѣческое достоинство или потерять на него права ваши.

Рука эта въ тоже время рука Муравьева и Пестеля.

Вы полны прекрасныхъ стремленій, но вы неопитны какъ дѣти, вы гибнете понапрасну или сидите сложа руки; увлекаетесь невозможными надеждами или отдаетесь неоправданному отчаянію. Все, что вы дѣлаете, не имѣетъ ни единства, ни опредѣленной цѣли. Отъ того всѣ ваши стремленія, усилія выдыхаются безплодно, ваша мысль объемиста и глубока, ваше сердце свѣже, вы знаете народъ, вы не свинули свой унъ, не испортили своего инстинкта, не истощили своихъ силъ среди ложныхъ страстей, среди безцѣльной болтовни, завистливыхъ притязаній и застарѣлаго растлѣнія.

Но при всемъ этомъ вы правы.

Внутренній трудъ, созерцаніе, изученіе дали вамъ много, но они не дадутъ вамъ теперь ничего больше. Мысль и такъ опередила событія. Мысль безъ дѣла мѣтва, какъ вѣра. Чѣмъ болѣе она расходится съ жизнью, тѣмъ она становится суше, каменѣе, безстрастнѣе, ненужнѣе. Германія служитъ вамъ примѣромъ и урокомъ.

Одно теоретическое развитіе, отвлеченное и не переводимое въ жизнь, противно славянскому характеру. Для васъ это слишкомъ мало и слишкомъ много.

Безплодное негодованіе, учены споры, благодарные стремленія, тоска по свободѣ и все это революціонный эпикуреизмъ и дурманъ не дастъ вамъ больше, что выросли изъ него; онъ слишкомъ сбивается на сарказмы упованія христіанъ, которые кажутся вамъ самими очевидными, но которые они поощряли и поощряютъ.

„Наше время, говорятъ, не настало.“ Оно никогда не настанетъ, если мы не будемъ работать. Исторія дѣлается волей человѣческой, а не сама собою. Отъ того она намъ такъ дорога.

Грядущія событія теперь покрыты громовой тучей. Откуда ударитъ громъ, кого поразитъ стрѣла, гдѣ разразится гроза, никто не знаетъ. Но если вы не будете изготавляться и эта гроза пройдетъ мимо нашихъ головъ.

Мы писали вамъ, объявляя объ учрежденіи вольнаго русскаго книгопечатанія въ Лондонѣ, „что дверь вамъ открыта—ваше дѣло ею воспользоваться.“

„Три четверти труда сдѣланы нашими польскими братьями, остальное вы можете сдѣлать сами.“

Ваше дѣло найти вамъ протянутую руку; ваше дѣло вступить въ сношеніе съ нами и съ нашими друзьями.

— Гдѣ? Какъ?—Оглянитесь... Возлѣ васъ, за вашими плечами,

— Но сношенія съ нами опасны.

— Безъ всякаго сомнѣнія.

Бѣгущему опасности, тутъ нѣтъ мѣста.

До сихъ поръ насъ никто не обвинялъ въ трусости, мнѣ кажется, что доля опасенія происходитъ не отъ трусости, а оттого, что революціонная дѣятельность вамъ необыкновенна и дика.

Половина нашей молодежи обыкновенно вступаетъ въ военную службу. Я не слыхалъ, чтобъ военные шли въ отставку при началѣ кампаніи—а вѣдь на войнѣ еще опаснѣе. Отчего-же одни и тѣ же люди отважно подставляютъ грудь шашкѣ Чеченца, пулѣ Лезгина, идутъ на стѣны Измаила, падаютъ отъ чумы и непріятеля за Балканами, и боятся въ тиши и тайнѣ начать союзъ и общій трудъ, съ великой и святой цѣлью освобожденія?

Со стороны Польши забыта обида, прощено насилье, пожертвована ненависть. Она правая, многострадальная — протягиваетъ руку. Стыдъ намъ, если мы не съумѣемъ ее взять.

Я чувствую, что это невозможно, я *чувствую*, что мы достойны союза съ нею. Вамъ слѣдуетъ это *доказать*.

Соединитесь съ поляками въ общую борьбу „за нашу и ихъ вольность“ и грѣхъ Россіи искупится и не напрасно пропадетъ наше 14 Декабря и мы съ гордостью и умиленіемъ скажемъ когда нибудь міру:

Польша не зинула бы и безъ насъ—но и мы облегчили ей тяжкую борьбу!

Лондонъ, 20 Іюля 1853 года.

IV.

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ОБЩИНА

ВЪ ЛОНДОНѢ

РУССКОМУ ВОИНСТВУ ВЪ ПОЛЬШѢ.

Братья!

И такъ царь накликалъ наконецъ войну на Русь.

Какъ ни пятились назадъ, какъ ни мирволили ему его товарищи и сообщники, боясь своихъ народовъ, больше всякаго врага, — онъ напросился на войну, додразнилъ ихъ до того, что они пошли на него.

Ему не жаль крови русской.

А еще есть добрые люди между вами, которые его называютъ отцемъ, — вотчимъ онъ безжалостный, а не отецъ.

Мы, изгнанники русскіе и польскіе на чужбинѣ, плачемъ, читая о рекрутскихъ наборахъ, о тягѣ народной, о ненужной гибели тысячъ нашихъ воиновъ...

Гибнуть за дѣло слѣдуетъ, на то въ душѣ человеческой храбрость, отвага, преданность и любовь; но горько гибнуть безъ пользы для своихъ, изъ за царскаго упрямства. Весь свѣтъ жалѣетъ турковъ не потому, чтобъ они были кому-либо близки. Ихъ жалѣютъ отъ того, что они стоятъ за свою землю, на нихъ напали, надобно-же имъ защищаться.

А наши бѣдные братья льютъ кровь, дерутся хра-

бро, поля уѣиваютъ тѣлами, и никто кромѣ насъ не кручинится объ нихъ и никто не цѣнитъ ихъ мужества, потому что дѣло ихъ несправое.

Царь говоритъ, что защищаетъ православную церковь. Никто на нее не нападаетъ; а если въ самомъ дѣлѣ султанъ тѣснитъ церковь, какъ же царь съ 1828 года молчалъ на это?

„Православные христіане держутся турками въ черномъ тѣлѣ,“ прибавляетъ царь. Мы не слыхали, чтобъ они были больше притѣснены, нежели крестьяне у насъ, особенно закабаленные царемъ въ крѣпость. Не лучше-ли было бы начать съ освобожденія своихъ невольниковъ, вѣдь они тоже православные и единовѣрцы, да къ тому же еще русскіе.

Царь ничего не защищаетъ и никакого добра никому не хочетъ; его ведетъ гордость и для нея онъ жертвуетъ вашей кровью; свою онъ держитъ. Видали ли вы его передъ вашими рядами, не во время ученій и разводовъ, а во время сраженій?

Онъ началъ войну, пусть-же она падетъ на одну его голову. Пусть она окончитъ печальный застой нашъ...

За 1812 годомъ шло 14 Декабря...

Что то придетъ за 1854?...

Неужели мы пропустимъ случай, какого долго—долго не представится? Неужели не съумѣемъ воспользоваться бурей, вызванной самимъ царемъ на себя?

Мы надѣемся, мы уповаемъ.

Посмотрите на Польшу. Едва вѣсть о войнѣ дошла до нея, она приподняла голову и ждетъ случая снова возстать за права свои, за свою волю...

Что будете вы дѣлать, когда польскій народъ приметъ оружіе?

Ваша участь всѣхъ хуже. Товарищи ваши въ Турціи

—солдаты, вы въ Польшѣ будете палачами. Ваши побѣды покроютъ васъ позоромъ, вамъ придется краснѣть вашей храбрости. Родная кровь трудно отмывается; не берите вторично грѣха на душу, не берите еще разъ на себя названіе Канна. Оно пожалуй останется на всегда при васъ.

Знаемъ мы, что вы не по доброй волѣ пойдете на поляковъ, но въ томъ то и дѣло, что пора вамъ имѣть *свою* волю. Не легко неволить десятки тысячъ людей, съ ногъ до головы вооруженныхъ, еслибъ между ними было какое нибудь единодушіе...

Разъ — не помню въ какой губерніи—когда вводили новое управленіе государственныхъ имуществъ, крестьяне взбунтовались, какъ почти во всѣхъ губерніяхъ было. Привели войска, народъ не расходился. Генераль пошумѣлъ, да и велѣлъ солдатамъ ружья зарядить; тѣ зарядили, думая что это для острастки; народъ все не шель. Тогда генераль далъ знакъ полковнику, чтобъ онъ велѣлъ стрѣлять, полковникъ скомандовалъ, солдаты приложились — и не выстрѣлили. Оторопѣлый генераль подскакалъ къ фрунту и закричалъ — „жай — или“... солдаты опустили ружья и неподвижно остались на своемъ мѣстѣ.

Что-же вы думаете было съ ними? — ровно ничего. Генераль и начальство такъ перетрусились, что дѣло замяли.

Вотъ вамъ опытъ вашей силы.

Но этого мало, вамъ слѣдуетъ больше сдѣлать. Пора вамъ стать за бѣдный народъ русскій, такъ какъ все войско Царства Польскаго въ 1831 году стало за свой народъ.

Великое время наступаетъ.

Пусть-же не будетъ сказано, что въ такую торже-

ственную и страшную минуту вы были оставлены безъ братскаго совѣта.

Мы предупреждаемъ васъ отъ бѣдъ, спасаемъ отъ преступленія. Поймите нашу рѣчь.

Нашими устами говоритъ Русь нарождающаяся, Русь вольная, юная, живая, скрывающаяся дома, но гласная въ изгнаніи.

Нашими устами говоритъ Русь мучениковъ, Русь рудниковъ, Сибири и казематовъ, Русь Пестеля и Муравьева, Рылѣева и Бестужева—Русь, о которой мы свидѣтельствуемъ міру и для гласности которой мы оторвались отъ родины.

Нами говоритъ любовь и кровная связь съ вами, страданіе ко всему что терпитъ народъ русскій, измученный крѣпостнымъ состояніемъ, рекрутствомъ, грабежомъ чиновниковъ, побоями, розгами, палками...

Нами говоритъ ненависть за все выстраданное вами, мы вашъ крикъ боли, начало вашей мести, мы обличители того, что дѣлаетъ ваше правительство въ тихомолку, мы ему упрекъ, угрызеніе совѣсти, угроза въ будущемъ. Мы его клеймимъ и позоримъ, какъ оно клеймитъ и позоритъ живыхъ людей.

Рѣчь наша полна жгучаго и горькаго яда отъ долгихъ лѣтъ нѣмага страданія; все мучившее насъ съ дѣтскихъ лѣтъ, все оскорблявшее, унижавшее насъ, вошло въ наше слово... въ немъ остался и плачъ женщинъ обезчещенныхъ своими помѣщиками и стонъ засѣченныхъ стариковъ и звукъ цѣпей, въ которыхъ шли въ Сибирь наши лучшіе пѣвцы, наши лучшіе друзья.

Мы на чужбинѣ начали открытую борьбу *словомъ* въ ожиданіи *дѣла*.

Слово по той мѣрѣ только и важно, по какой оно ведетъ къ дѣлу.

Личность, признанная Польшей за вольную, была облечена во все самодержавіе человѣческаго достоинства, она была вѣнцомъ славы и побѣднымъ вѣнцомъ польскаго развитія. Царственное „не позволяю“, принадлежавшее всякому свободному человѣку, непонятное вѣрно-подданнымъ ариеметическаго большинства голосовъ, выражаетъ чистѣйшимъ образомъ славянское начало еднородности и безпредѣльной воли лица.

Но *другія* личности въ Польшѣ не были свободны и съ этимъ противурѣчіемъ она сладить не могла.

Славяне не умѣютъ долго и умѣренно жить въ двойствѣ народной неволи и аристократической свободы. Тотъ или другой элементъ непременно выступитъ изъ всѣхъ границъ. Свободный дѣлается тираномъ; исключенный изъ правъ—рабомъ.

Можетъ всѣ славяне рабы оттого, что они не могутъ быть всѣ свободны.

Польша утратила на время нераздѣльную цѣлость, государственное значеніе, въ искупленіе своего отчужденія, своего западнаго аристократизма, своей преданности папѣ.

Ей надобно было, волей или неволей, снова сблизиться съ славянскимъ міромъ, вспомнить свое славянское начало. Польша не Венгрія, не безродная, не одна на свѣтѣ, съ правой и съ лѣвой стороны, на Югъ и на Сѣверъ, она окружена славянами.

Свою односторонность Польша много искупила отвагой въ бою, непреклонностью въ изгнаніи, мучениками непрерывно падающими подъ царскимъ гоненіемъ, подъ вражьими пулями, подъ топоромъ палачей.

Не доставало еще одной жертвы. Она приносится *теперь*.

Поляки болѣе и болѣе сближаются съ русскими.

Мы говоримъ о Польшѣ демократической, народной, современной.

Для нея, та Польша, которая ненавидѣла Россію, о которой мечтали ея олигархи и ея полководцы, становится также чужда, какъ петербургская Русь. Съ той разницей, что одна имѣетъ за себя силу, а другая противъ себя свое безсиліе.

Мы всегда искали этой близости,—съ нашей стороны тутъ нѣтъ и достоинства, мы виноваты, мы оскорбители, насъ угрызала совѣсть, насъ мучилъ стыдъ. Ихъ Варшава пала подъ нашими ядрами и мы ничѣмъ не умѣли показать ей наше сочувствіе, кромѣ скрытыхъ слезъ, осторожнаго шопота и робкаго молчанія.

Муравьевъ, Пестель и ихъ друзья, первые протянули руку полякамъ. Народъ польскій, въ то время какъ Сеймъ произносилъ низверженіе дома Романовыхъ, служилъ въ Варшавѣ торжественную панихиду Муравьеву, Пестелю и ихъ друзьямъ.

Но между тѣмъ временемъ и нашимъ прошелъ черныи 1831 годъ: Россія вполнѣ заслужила новую ненависть Польши...

... Послѣ долгихъ годовъ озлобленія раздался наконецъ голосъ Мицкевича, говорившій о томъ великомъ славянскомъ единствѣ, которое должно покрыть частную вражду Польши и Россіи.

Въ 1845 году польскіе демократы въ Лондонѣ обратились съ теплою рѣчью къ русскимъ, и спрашивали себя и ихъ: „Откуда эта ненависть слишкомъ ожесточенная, чтобъ быть продолжительной, слишкомъ долгая, чтобъ быть естественной. Думаль-ли кто нибудь изъ васъ объ ней, отдали ли мы себѣ въ ней отчетъ?“

И они звали на примиреніе и на общую борьбу.

Голосъ ихъ не дошелъ до насъ; но тогда уже моло-

дежь всѣхъ русскихъ университетовъ тѣсно соединялась съ польскими юношами, присылаемыми къ намъ правительствомъ.

Наканунѣ февральской революціи, нашъ Бакунинъ явился передъ собраніемъ поляковъ, праздновавшихъ годовщину варшавскаго возстанія. Онъ просилъ забвенія прошедшему и предлагалъ во имя юной Россіи союзъ и братство.

Его рѣчь была принята кликами сочувствія. Но, несмотря на все на это, скажемъ откровенно, истиннаго мира и соглашенія не было.

Трудно было полякамъ переломить вѣковой предрасудокъ и забыть свѣжее оскорбленіе. Палачей своихъ никто не любитъ, какъ бы казни ни были чужды ихъ сердцу. Надобенъ былъ длинный трудъ мысли, рядъ испытаній для того, чтобъ подвинуть поляковъ не только на забвеніе былаго, но на соединеніе съ нами.

Вотъ та новая жертва, которая требовалась отъ ихъ безграничной преданности.

Они ее приносятъ. Послѣ столькихъ потерь, столькихъ жертвъ, они жертвуютъ самой *ненавистью*.

Пока міръ тщетно ждетъ царской амнистіи полякамъ, Польша даетъ амнистію народу русскому.

Еще болѣе. Она въ лицѣ своихъ демократическихъ вожатаевъ протягиваетъ вамъ свою руку.

И это болѣе нежели соединеніе двухъ непріятелей противъ одного общаго врага.

Великій полякъ Конарскій, принесшій свою грудь палачамъ изъ за границы для того, чтобъ проповѣдывать свободу въ польско-русскихъ губерніяхъ и неизвѣстный русскій офицеръ Караваевъ, погибнувшій, желая спасти Конарскаго, осужденнаго на смерть—вотъ первообразъ того соединенія, о которомъ идетъ рѣчь.

Торопитесь взять протянутую вамъ руку, она васъ будитъ, она вамъ напоминаетъ, что вашъ часъ приближается, что пора наконецъ вамъ завоевать человѣческое достоинство или потерять на него права ваши.

Рука эта въ тоже время рука Муравьева и Пестеля.

Вы полны прекрасныхъ стремленій, но вы неопытны какъ дѣти, вы гибнете понапрасну или сидите сложа руки; увлекаетесь невозможными надеждами или отдаетесь неоправданному отчаянію. Все, что вы дѣлаете, не имѣетъ ни единства, ни опредѣленной цѣли. Отъ того всѣ ваши стремленія, усилія выдыхаются бесплодно, ваша мысль объемиста и глубока, ваше сердце свѣже, вы знаете народъ, вы не свихнули свой умъ, не испортили своего инстинкта, не истощили своихъ силъ середъ ложныхъ страстей, середъ безсильной болтовни, завистливыхъ притязаній и застарѣлаго растлѣнія.

Но при всемъ этомъ вы праздны.

Внутренній трудъ, созерцаніе, изученіе дали вамъ много, но они не дадутъ вамъ теперь ничего больше. Мысль и такъ опередила событія. Мысль безъ дѣла мертва, какъ вѣра. Чѣмъ болѣе она расходится съ жизнью, тѣмъ она становится суше, холоднѣе, безстрастнѣе, ненужнѣе. Германія служитъ вамъ примѣромъ и угрозой.

Одно теоретическое развитіе, отвлеченное и не переводимое въ жизнь, противно славянскому характеру. Для васъ это слишкомъ мало и слишкомъ легко.

Бесплодное негодованіе, ученыя споры, благородныя стремленія, тоска по свободѣ и весь этотъ революціонный эпикурейзмъ и лиризмъ не идетъ намъ болѣе, мы выросли изъ него; онъ слишкомъ сбивается на смиренныя упованія христіанъ, которыхъ невозможность имъ самимъ очевидна, но которыя они поддерживаютъ для нервнаго раздраженія.

„Наше время, говорятъ, не настало.“ Оно никогда не настанетъ, если мы не будемъ работать. Исторія дѣлается волей человѣческой, а не сама собою. Отъ того она намъ такъ дорога.

Грядущія событія теперь покрыты громовой тучей. Откуда ударитъ громъ, кого поразитъ стрѣла, гдѣ разразится гроза, никто не знаетъ. Но если вы не будете изготавляться и эта гроза пройдетъ мимо нашихъ головъ.

Мы писали вамъ, объявляя объ учрежденіи вольнаго русскаго книгопечатанія въ Лондонѣ, „что дверь вамъ открыта—ваше дѣло ею воспользоваться.“

„Три четверти труда сдѣланы нашими польскими братьями, остальное вы можете сдѣлать самъ.“

Ваше дѣло найти вамъ протянутую руку; ваше дѣло вступить въ сношеніе съ нами и съ нашими друзьями.

— Гдѣ? Какъ?—Оглянитесь... Возлѣ васъ, за вашими плечами,

— Но сношенія съ нами опасны.

— Безъ всякаго сомнѣнія.

Бѣгущему опасности, тутъ нѣтъ мѣста.

До сихъ поръ насъ никто не обвинялъ въ трусости, мнѣ кажется, что доля опасенія происходитъ не отъ трусости, а оттого, что революціонная дѣятельность вамъ необыкновенна и дика.

Половина нашей молодежи обыкновенно вступаетъ въ военную службу. Я не слыхалъ, чтобъ военные шли въ отставку при началѣ кампаніи—а вѣдь на войнѣ еще опаснѣе. Отчего-же одни и тѣ же люди отважно подставляютъ грудь шашкѣ Чеченца, пулѣ Лезгина, идутъ на стѣны Измаила, падаютъ отъ чумы и непріатели за Балканами, и боятся въ тиши и тайнѣ начать союзъ и общій трудъ, съ великой и святой цѣлью освобожденія?

Со стороны Польши забыта обида, прощено насилье, пожертвована ненависть. Она правая, многострадальная — протягиваетъ руку. Стыдъ намъ, если мы не съумѣемъ ее взять.

Я чувствую, что это невозможно, я *чувствую*, что мы достойны союза съ нею. Вамъ слѣдуетъ это *доказать*.

Соединитесь съ поляками въ общую борьбу „за нашу и ихъ волюность“ и грѣхъ Россіи искупится и не напрасно пропадетъ наше 14 Декабря и мы съ гордостью и умиленіемъ скажемъ когда нибудь міру:

Польша не зинула бы и безъ насъ—но и мы облегчили ей тяжкую борьбу!

Лондонъ, 20 Іюля 1853 года.

IV.

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ОБЩИНА

ВЪ ЛОНДОНѢ

РУССКОМУ ВОИНСТВУ ВЪ ПОЛЬШѢ.

Братя!

И такъ царь накликалъ наконецъ войну на Русь.

Какъ ни пятились назадъ, какъ ни мирволили ему его товарищи и сообщники, боясь своихъ народовъ, больше всякаго врага, — онъ напросился на войну, додразнилъ ихъ до того, что они пошли на него.

Ему не жаль крови русской.

А еще есть добрые люди между вами, которые его называютъ отцемъ, — вотчимъ онъ безжалостный, а не отецъ.

Мы, изгнанники русскіе и польскіе на чужбинѣ, плачемъ, читая о рекрутскихъ наборахъ, о тягѣ народной, о ненужной гибели тысячъ нашихъ воиновъ...

Гибнуть за дѣло слѣдуетъ, на то въ душѣ человѣческой храбрость, отвага, преданность и любовь; но горько гибнуть безъ пользы для своихъ, изъ за царскаго упрямства. Весь свѣтъ жалѣетъ турковъ не потому, чтобъ они были кому-либо близки. Ихъ жалѣютъ отъ того, что они стоятъ за свою землю, на нихъ напали, надобно-же имъ защищаться.

А наши бѣдные братья льютъ кровь, дерутся хра-

бро, поля уѣиваютъ тѣлами, и никто кромѣ насъ не кручинится объ нихъ и никто не цѣнитъ ихъ мужества, потому что дѣло ихъ несправое.

Царь говоритъ, что защищаетъ православную церковь. Никто на нее не нападаетъ; а если въ самомъ дѣлѣ султанъ тѣснитъ церковь, какъ же царь съ 1828 года молчалъ на это?

„Православные христіане держутся турками въ черномъ тѣлѣ,“ прибавляетъ царь. Мы не слыхали, чтобъ они были больше притѣснены, нежели крестьяне у насъ, особенно закабаленные царемъ въ крѣпость. Не лучше-ли было бы начать съ освобожденія своихъ невольниковъ, вѣдь они тоже православные и единовѣрцы, да къ тому же еще русскіе.

Царь ничего не защищаетъ и никакого добра никому не хочетъ; его ведетъ гордость и для нея онъ жертвуетъ вашей кровью; свою онъ держитъ. Видали ли вы его передъ вашими рядами, не во время ученій и разводовъ, а во время сраженій?

Онъ началъ войну, пусть-же она падетъ на одну его голову. Пусть она окончитъ печальный застой нашъ...

За 1812 годомъ шло 14 Декабря...

Что то придетъ за 1854?...

Неужели мы пропустимъ случай, какого долго—долго не представится? Неужели не сѹмѣемъ воспользоваться бурей, вызванной самимъ царемъ на себя?

Мы надѣемся, мы уповаемъ.

Посмотрите на Польшу. Едва вѣсть о войнѣ дошла до нея, она приподняла голову и ждетъ случая снова возстать за права свои, за свою волю...

Что будете вы дѣлать, когда польскій народъ подниметъ оружіе?

Ваша участь всѣхъ хуже. Товарищи ваши въ Турціи

—солдаты, вы въ Польшѣ будете палачами. Ваши побѣды покроютъ васъ позоромъ, вамъ придется краснѣть вашей храбрости. Родная кровь трудно отмывается; не берите вторично грѣха на душу, не берите еще разъ на себя названіе Каина. Оно пожалуй останется на всегда при васъ.

Знаемъ мы, что вы не по доброй волѣ пойдете на поляковъ, но въ томъ то и дѣло, что пора вамъ имѣть *свою* волю. Не легко неволить десятки тысячъ людей, съ ногъ до головы вооруженныхъ, еслибъ между ними было какое нибудь единодушіе...

Разъ — не помню въ какой губерніи — когда вводили новое управленіе государственныхъ имуществъ, крестьяне взбунтовались, какъ почти во всѣхъ губерніяхъ было. Привели войска, народъ не расходился. Генераль пошумѣлъ, да и велѣлъ солдатамъ ружья зарядить; тѣ зарядили, думая что это для острастки; народъ все не шель. Тогда генераль далъ знакъ полковнику, чтобъ онъ велѣлъ стрѣлять, полковникъ скомандовалъ, солдаты приложились — и не выстрѣлили. Оторопѣлый генераль подскакалъ къ фрунту и закричалъ — „жай — пли“... солдаты опустили ружья и неподвижно остались на своемъ мѣстѣ.

Что-же вы думаете было съ ними? — ровно ничего. Генераль и начальство такъ перетрусились, что дѣло замяли.

Вотъ вамъ опытъ вашей силы.

Но этого мало, вамъ слѣдуетъ больше сдѣлать. Пора вамъ стать за бѣдный народъ русскій, такъ какъ все войско Царства Польскаго въ 1831 году стало за свой народъ.

Великое время наступаетъ.

Пусть-же не будетъ сказано, что въ такую торже-

ственную и страшную минуту вы были оставлены безъ братскаго совѣта.

Мы предупреждаемъ васъ отъ бѣды, спасаемъ отъ преступленія. Поймите нашу рѣчь.

Нашими устами говоритъ Русь нарождающаяся, Русь вольная, юная, живая, скрывающаяся дома, но гласная въ изгнаніи.

Нашими устами говоритъ Русь мучениковъ, Русь рудниковъ, Сибири и казематовъ, Русь Пестеля и Муравьева, Рылѣева и Бестужева—Русь, о которой мы свидѣтельствуемъ міру и для гласности которой мы оторвались отъ родины.

Нами говоритъ любовь и кровная связь съ вами, состраданіе ко всему что терпитъ народъ русскій, измученный крѣпостнымъ состояніемъ, рекрутствомъ, грабежомъ чиновниковъ, побоями, розгами, палками...

Нами говоритъ ненависть за все выстраданное вами, мы вашъ крикъ боли, начало вашей мести, мы обличители того, что дѣлаетъ ваше правительство въ тихомолку, мы ему упрекъ, угрызеніе совѣсти, угроза въ будущемъ. Мы его клеймимъ и позоримъ, какъ оно клеймилъ и позорилъ живыхъ людей.

Рѣчь наша полна жгучаго и горькаго яда отъ долгихъ лѣтъ нѣмага страданія; все мучившее насъ съ дѣтскихъ лѣтъ, все оскорблявшее, унижавшее насъ, вошло въ наше слово... въ немъ остался и плачъ женщинъ обезчещенныхъ своими помѣщиками и стонъ застѣченныхъ стариковъ и звукъ цѣпей, въ которыхъ шли въ Сибирь наши лучшіе пѣвцы, наши лучшіе друзья.

Мы на чужбинѣ начали открытую борьбу словомъ въ ожиданіи дѣла.

Слово по той мѣрѣ только и важно, по какой оно ведетъ къ дѣлу.

Слово наше *зовъ*—это дальній благовѣсть возвѣщающій вамъ, что заутреня народнаго воскресенія начинается и для Руси. Онъ будетъ безпрестанно раздаваться до тѣхъ поръ, пока звонъ его превратится въ набатъ или въ торжественное ликованіе побѣды.

Въ нашей дали мы близки къ вамъ, мы братья ваши, ваши единственные друзья. Мы имя народа нашего примирили съ народами Запада, смѣшивавшими насъ съ петербургскимъ правительствомъ.

Поляки намъ подали руку, *какъ русскимъ*. И таковъ былъ смыслъ рѣчей, которыя мы вели въ ихъ кругѣ и смыслъ нашего соединенія. Они оцѣнили нашу любовь къ народу русскому. Поймите-же и вы ее и вмѣстѣ съ тѣмъ любите поляковъ—за то, что они поляки.

Чего хочетъ Польша?

Польша хочетъ быть свободнымъ государствомъ, она готова быть соединенной съ Русью, но съ Русью тоже свободной. Для того, чтобъ соединиться съ Русью, ей необходима полная воля.

Поглощеніе Польши царской Россіей—нелѣпость, насилие; насилие очевидное по количеству войска, которое стоитъ въ Польшѣ съ 1831 года. Естественное-ли это дѣло, что черезъ 23 года правительство не смѣетъ вывести одного полка изъ Польши, не замѣнивъ его сейчасъ другимъ?

Всѣ эти грубыя, насильственные соединенія ведутъ не къ единству, а увѣковѣчиваютъ ненависть. Что Ломбардія и Венгрія стали австрійскими? или Финляндія русской? Однимъ балтійскимъ нѣмцамъ пришлось по вкусу гольштейнъ-татарское управленіе, такъ что они первые послали дѣтей своихъ защищать православную церковь, съ лютеранской библіей въ карманѣ.

Если русскіе не поймутъ необходимости восстановле-

нія Польши—Польша, при развитіи войны, все-таки отдѣлится, или хуже—*ее отдѣлятъ*. И она сдѣлается не независимой, а чужой.

Не нужно чужеземной помощи въ семейномъ вопросѣ. Мы должны порѣшнить его полюбовно между 'собой и безъ оружія.

Вы не русскій народъ защищаете въ Польшѣ. Русскій народъ не проситъ васъ объ этомъ, при первомъ пробужденіи своемъ онъ отрѣчется отъ васъ и проклянетъ ваши побѣды. Вы въ Польшѣ защищаете неправо царское притязаніе, вы защищаете царя, а не народъ--царя, оставляющаго поль-Руси въ крѣпостномъ состояніи, берущаго по девяти съ тысячи рекрутъ, гоняющаго сквозь строй до смерти, позволяющаго офицерамъ бить солдатъ, полицейскимъ—бить мѣщанъ и всѣмъ не-крестьянамъ—бить крестьянъ. Знайте-же, что защищая его, вы защищаете всѣ бѣдствія Россіи: сражаясь за него, вы сражаетесь за помѣщичьи права, за розги, за рабство, за открытую кражу чиновниковъ и дневной грабежъ господъ.

Довольно страдала Польша изъ-за русскихъ. Если были за ней вины—онѣ давно искуплены.

....Малолѣтныя дѣти были отняты, женщины брошены въ тюрьму, ея защитники погибли въ Сибири, ея друзья скитаются по всему свѣту, ея трофеи увезены въ Петербургъ, ея преданія искажены..... ей не оставили даже былого!

Нѣтъ — на польской землѣ не растутъ лавры для русскихъ воиновъ, она слишкомъ облита женскими слезами и мужескою кровью, пролитыми по винѣ вашихъ отцовъ—васъ самихъ можетъ быть; на берегахъ Вислы, близъ прагскаго кладбища и на кладбищѣ Воли... нѣтъ

боевой славы для васъ. Но на нихъ васъ ждетъ иная слава—слава примиренія и союза!

Что и какъ дѣлать; вы узнаете, когда придетъ время. Мы васъ не оставимъ безъ совѣта. Исполнитесь въ ожиданіи событій истиною нашихъ словъ и присягните во имя всего святаго вамъ *не поднимать оружія противъ Польши.*

Эту присягу требуетъ не царь, а совѣсть народная, народное раскаяніе и если васъ ждетъ самая гибель за это — она свята, вы падете жертвой искупленія и вашей мученической кровью запечатлѣтся неразрушимый, свободный союзъ Польши и Россіи какъ начало вольнаго соединенія всѣхъ Славянъ *въ единое и раздѣльное Земское Дѣло.*

(День Благовѣщенія) 26 Марта 1854 г.

V.

XXIII ГОДОВЩИНА ПОЛЬСКАГО ВОЗСТАНІЯ ВЪ ЛОНДОНѢ

Рѣчь произнесенная на сходѣ въ Гановерь Румѣ,

29 Ноября 1853 года.

Граждане,

Прошу васъ во-первыхъ извинить, что у меня въ рукѣ записка, я не привыкъ говорить публично, а тѣмъ больше, не на родномъ мнѣ языкѣ.

Вы знаете, что я провелъ мою жизньъ въ странѣ, гдѣ превосходно учатся — *краснорѣчиво молчать*—и гдѣ конечно нельзя было научиться свободно говорить.

Граждане,

Пять лѣтъ тому назадъ, нашъ другъ Михайло Бакунинъ, являлся въ ту-же годовщину, на трибунѣ польскаго собранія въ Парижѣ, и предлагалъ союзъ демократической Польши съ русскими революціонерами.

Эта мечта всѣхъ благородныхъ умовъ польской эмиграціи, наша мечта, съ самыхъ юныхъ лѣтъ, начинаеть осуществляться.

Польша, какъ я сказалъ въ другомъ мѣстѣ, *прощаетъ насъ*, она разрываетъ круговую поруку, естественно существующую между народомъ и его правительствомъ,

она подаетъ намъ руку, потому что она знаетъ, какая глубокая ненависть къ петербургскому управленію наполняетъ насъ; во имя этой ненависти она начинаетъ любить насъ.

Я подошелъ къ польскимъ друзьямъ моимъ, не какъ отдѣльное, разобщенное съ своими лице, отказывающееся отъ своего отечества, просящее забыть свое начало, напротивъ, я громко говорилъ о моей любви къ Россіи, о моей неизблемой вѣрѣ въ ея будущность. Они меня приняли *случайнымъ* представителемъ будущей Россіи, ненавидящей черныя дѣла своего правительства, жаждущей смыть съ себя пятна мученической крови поляковъ, помогая имъ въ дѣлѣ освобожденія Польши.

Когда поляки подаютъ намъ свою руку, покрытую рубцами, на примиреніе, можно-ли сомнѣваться въ существованіи революціонныхъ началъ въ Россіи?

Полякамъ — этимъ естественнымъ, непримиримымъ врагамъ официальной Россіи, принадлежитъ честь болѣе справедливаго пониманія русскихъ, чѣмъ мы находимъ у другихъ.

Есть люди, которые не могутъ соединить въ головѣ своей слова Россія и революція; они все еще представляютъ себѣ при словѣ Россія—царя, кнутъ, Сибирь, полудикой народъ, стоящій на колѣняхъ передъ Долой Ламой въ ботфортахъ, и торопятся произнести свой приговоръ. Толкуютъ о братствѣ народовъ, объ ихъ союзѣ, и въ то же время осуждаютъ одну изъ самыхъ большихъ странъ въ мірѣ, по одной *надписи на дверяхъ, по вытѣскѣ*.

Съ тѣхъ поръ, какъ абсолютизмъ пересталъ быть только русскимъ, и распространился по всему европейскому континенту, намъ легче объяснить наше положеніе.

Правительственная форма почти никогда не представляет полную формулу жизни народной, особенно во времена общественного перелома как наше, въ которое человечество, такъ сказать, мѣняетъ шкуру. Когда цѣлый міръ рушится, и новый міръ стучится въ двери, когда правительство ежедневно доказываетъ намъ свою неспособность, не только дать народамъ свободу, но даже держать ихъ въ рабствѣ.

И это не все. Историческое развитіе Россіи не имѣетъ почти ничего общаго съ западнымъ. Такимъ образомъ, выраженіе ея революціонныхъ стремленій и самыя стремленія не совпадаютъ съ фазами европейской революціи, т. е. въ *прошедшемъ*, но можетъ быть они имѣютъ тѣмъ большее сочувствіе къ началамъ *грядущей революціи*.

Россія страна величайшихъ противурѣчій, самыхъ крайнихъ антиномій.

Коммунизмъ внизу, *деспотизмъ* на верху, между ними колеблющаяся среда дворянства, боящагося снизу *Жаке-рий*, сверху ссылки въ каторжную работу—среда носящая въ груди своей рядомъ съ растлѣніемъ и возмутительнымъ подбострастіемъ жгучія и сосредоточенныя революціонныя страсти. Изъ нея вышли: Пестели, Муравьевы, Петрашевскіе, Бакунины.

У насъ не останавливаются на полѣ дорогѣ, у насъ или остаются неподвижными, или идутъ до конца.

Пестель, какъ мы, требовалъ соціального переворота. Соціального переворота въ 1825!

Бакунина не всегда понимали, чуждались его, боясь его радикализма.

Все, что такъ тѣсно сковываетъ западныхъ людей съ старымъ міромъ, не существуетъ для насъ. Русскіе круто отрѣшаются отъ всѣхъ связей разомъ, отъ религій, отъ

преданій, отъ авторитета; намъ нечего щадить; нечего беречь, нечего любить, но есть что ненавидѣть. Россія, въ отношеніи къ старому міру, поставлена также какъ пролетаріатъ, ей ничего не досталось, кромѣ несчастій, рабства и стыда.

Потому эти двое лишеныя наслѣдства и надѣются на общее воскресеніе въ социальномъ переворотѣ.

Мы представляемъ крошечное меньшинство въ Россіи, это правда. И тѣмъ слабѣе мы были, чѣмъ дальше держали себя отъ нашего народа и чѣмъ ближе къ западнымъ политическимъ партіямъ. Для Европы эти партіи имѣли смыслъ перехода, для насъ никакого.

Это приводитъ къ сознанію, и будущность наша приближается.

Обманывать себя нечего. Мы очень слабы. Но неужели вы вѣрите, что императоръ Николай такъ силенъ какъ это представляютъ?

Я сомнѣваюсь.

Изъ него сдѣлали какое-то пугало, Синюю Бороду, и до того накричали, наговорили, нашумѣли объ этомъ— что въ самомъ дѣлѣ испугались.

Континентъ до того понизился, что отовсюду видна приближающаяся фигура каменнаго гостя, на гранитномъ утесѣ, грозящая нотами, протоколами, народами, арміями шпионовъ, дипломатическихъ агентовъ и нѣмецкихъ принцевъ. Ему это мѣсто создала реакція. Но низость, трусость консерваторовъ не составляетъ дѣйствительной силы... Этой предполагаемой мощи нѣтъ въ сущности его власти.

Вотъ вамъ доказательство.

Наконецъ по счастью у него умъ зашелъ за разумъ, и онъ на минуту повѣрилъ, что и въ самомъ дѣлѣ судьба Европы и Азіи зависятъ отъ него.

Онъ сошелъ въ арену. Ну что-же послѣ всего шума и всѣхъ ультиматумовъ Меншиковыхъ, Горчаковыхъ, католическихъ Те Деум'овъ въ Ольмюцѣ и лютеранскихъ парадовъ въ Потсдамѣ, манифестовъ съ текстами священнаго писанія и съ параграфами Кучукъ-Кайнарджискаго мира...?

Все, что онъ сдѣлалъ для православной греческой церкви, состояло въ томъ, что Омеръ Паша его побилъ, а онъ ободралъ господаря Валахскаго. Событія могутъ перемѣниться, но лучшая роль въ дѣлѣ принадлежитъ Абдуль-Меджиду.

А вѣдь Россія сильна, но императорская власть, такъ какъ она сложилась, не можетъ вызвать этой силы. Она выродилась и негодна больше.

Петербургское императорство съ самаго начала своего было какимъ-то *предворяющимъ бонапартизмомъ*, оно не русское и не славянское, у него нѣтъ корней, это институтъ временной, это диктатура, осадное положеніе, возведенное въ основу правительства. Оно соответствовало потребностямъ извѣстнаго времени, государство ослабѣвало подъ соннымъ владычествомъ царей московскихъ, надобно было растолкать, разбудить его, направить по иному пути. Императорство можетъ быть было необходимо во время Петра I, но оно нелѣпо во время Николая. И вотъ еще причина почему это мрачное, удушающее царствованіе поражено такимъ удивительнымъ безплодіемъ и такой неспособностью.

Императорская власть достигла своей вершины во время низверженія Наполеона, въ то время, когда Александръ I дѣлалъ свое вшествіе въ Парижъ, окруженный свитой королей, которыхъ онъ удерживалъ отъ грабежа. Великое призваніе, къ которому его привело безуміе наполеоновской эпохи, подавило его. Ему такая

роль была не по плечу. Его сутуловатая фигура превосходно выражала, что ноша была слишком тяжела. Потерянный, задумчивый, онъ угасъ, одиноко и незамѣтно, въ небольшой пристани Чернаго моря.

Лишь только вѣсть о его смерти распространилась, какъ новый наслѣдникъ предъявилъ свои права. Не Константинъ, не Николай, а *возмущеніе на Исакиевской площади!*

Борьба была неминуема, неминуемо можетъ было и пораженіе. Но характеръ побѣды слишкомъ связанъ съ личностью побѣдителя, чтобъ не сказать о немъ нѣсколько словъ.

Александръ былъ воспитанъ Екатериной, учился у Лагарпа; онъ былъ свидѣтелемъ великой революціи, дѣйствующимъ лицомъ въ кровавой драмѣ первой имперіи; онъ усвоилъ себѣ до нѣкоторой степени современныя идеи, образованныя манеры и вѣжливость порядочнаго человѣка.

Не таковъ былъ человѣкъ, шедшій за Александромъ: его воспоминанія не шли далѣе конногвардейскихъ казармъ. Онъ получилъ воспитаніе въ кордегардіяхъ и на вахтпарадахъ. Онъ былъ малолѣтнимъ, когда его отецъ потерялъ разумъ и былъ убитъ. Его мать, добрая и пустая нѣмка была поглащена этикетомъ и своими образцовыми скотными дворами. Старшему брату было не до него, во время Наполеона; Константинъ могъ только развратить его. Никто не смотрѣлъ на него какъ на будущаго императора; наслѣдникъ престола былъ Константинъ. Не было ни одной сострадательной души, которая бы обратила на него вниманіе, помѣшала бы его сердцу зачерствѣть въ атмосферѣ конюшенъ и экзерциръ-гауза. Онъ взомелъ на престолъ, не зная своего времени. Онъ революцію при-

нималъ за нарушеніе дисциплины — онъ самъ вписалъ въ свой формуляръ, говоря о 14-мъ Декабрѣ, *„находился при защитѣ дворца.“*

Съ тѣмъ вмѣстѣ, казарменное отвращеніе отъ наукъ, презрѣніе офицера къ фрачнику, ненависть маіора къ отвѣту и возраженію; безумное властолюбіе, страсть къ безусловной покорности и все безъ опредѣленной цѣли, безъ всякой идеи, безъ всякой эксцентричности даже.

Нельзя сказать, чтобъ у него не достало времени, — печальное царствованіе его продолжается 27-й годъ и онъ ничего не сдѣлалъ, ничего не создалъ, *кроме самодержавія для самодержавія.*

Типъ его дѣяній, кавказская война, поглотившая цѣлыя арміи и которая черезъ 25 лѣтъ не подвинулась ни на шагъ.

Онъ мучилъ, притѣснялъ, угнеталъ всѣми средствами Польшу—и не можетъ вывести изъ нея ни одного баталліона солдатъ, боясь ея возстанія.

Онъ преслѣдовалъ въ Россіи книги и школы, профессоровъ и писателей, а въ 1849 году въ трехъ шагахъ отъ зимняго дворца открыли революціонный клубъ.

Онъ велъ въ 1828 году войну съ Турціей, и сгубилъ сотни тысячъ человѣкъ убитыхъ тифомъ и горячкой, не получивъ въ замѣну ничего существенно важнаго.

Когда онъ остается побѣдителемъ, вы можете быть увѣрены, что онъ купилъ какого нибудь Гѣргея, какого нибудь несчастнаго пашу, какого нибудь злодѣя накопецъ.

Дѣйствительно, Николай очень несчастный человѣкъ, и онъ это чувствуетъ, отъ этого онъ безпокоенъ, мраченъ. Жизнь, которая еще тридцать лѣтъ тому назадъ

кипѣла около зимняго дворца, оттолкнутая имъ, не возвращается. Ни одной великой способности, ни одного необыкновеннаго ума между его помощниками! Николай управляетъ ординарцами и писцами; это очень легко, но ничего не двигается, но казнокрадство, взятки, подкупы приводятся въ систематическій порядокъ.

Онъ посылаетъ армію, она умираетъ на полдорогѣ отъ голоду и холоду. Онъ хочетъ освободить крестьянъ — ему показываютъ окровавленный рядъ его предшественниковъ, убитыхъ помѣщиками. Онъ не хочетъ освобождать крестьянъ — ему пророчутъ Пугачевщину.

Министръ внутреннихъ дѣлъ доноситъ ему, что оберъ-полцимейстеръ воруетъ въ Петербургѣ. „Я это знаю, отвѣчаетъ Николай, но я сплю спокойно, пока онъ смотритъ за порядкомъ.“

И вы думаете, что такое правительство можетъ быть сильнымъ?

Русскій императоръ пробуетъ войну съ Турціей, зная очень хорошо, что если монархической Европѣ непріятно его видѣть въ Константинополѣ, то все-же ей непріятнѣе видѣть республику, т. е. *республику въ самомъ дѣлѣ*, въ Парижѣ. Монархическая Европа во всѣхъ своихъ отгѣнкахъ отъ дикаго и кровожаднаго короля неаполитанскаго до умѣреннаго и честнаго короля бельговъ или короля сардинскаго, не можетъ начать серьезной войны съ царемъ. Въ каждомъ изъ нихъ *слишкомъ много Николая* для этого. Никакой Бонапартъ, никакой наслѣдственный, ни благопріобрѣтенный деспотъ не нанесетъ въ самомъ дѣлѣ удара своему петербургскому товарищу — имъ всѣмъ онъ слишкомъ нуженъ.

Впрочемъ работать въ нашу пользу вовсе не царское дѣло, и не дѣло нашихъ враговъ; это дѣло наше

—намъ самимъ надобно трудиться, надобно соединить наши силы. „Когда, писалъ мнѣ нѣсколько дней тому назадъ человекъ глубоко уважаемый мною — Мишле, *когда поляки соединяются съ русскими, кака-я-же ненависть имѣетъ право продолжаться!*“

И такъ, да совершится наше соединеніе. Честь Польшѣ—великой въ своемъ неравномъ бою, несокрушаемой въ своей геройской преданности, растущей несчастьями, но съ тѣмъ вмѣстѣ честь и русскому революціонному меньшинству!

Позвольте-же мнѣ заключить мою рѣчь русскимъ крикомъ:

Да здравствуетъ независимая Польша и свободная Россія!



VI.

НАРОДНЫЙ СХОДЪ

ВЪ ПАМЯТЬ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦІИ.

Рѣчь, произнесенная 27 Февраля 1854 г.

Граждане,*)

Когда Международный Совѣтъ пригласилъ меня сказать мое слово въ этомъ собраніи, меня сначала взяло раздумье, говорить-ли мнѣ во имя небольшого числа русскихъ братьевъ нашихъ, говорить-ли мнѣ среди разгрома войны, въ разгарѣ неистовыхъ страстей, среди святой, глубокой грусти, въ которую все погружено нынѣ. Я сообщилъ это Совѣту. Онъ возобновилъ свое приглашеніе, и притомъ съ такой любовью, что мнѣ стало совѣстно за минуту сомнѣнія, за недостатокъ вѣры...

Война свирѣпствуетъ въ иномъ мірѣ. Громъ ея умираетъ у порога этой палаты, въ которой изгнанники и выходцы всѣхъ странъ соединяются съ англичанами, свободными отъ предразсудковъ своей родины, во имя воспоминанія, во имя надежды, во имя *страдающихъ*.

Такъ Христіане первыхъ вѣковъ собирались на скром-

*) Рѣчь эта переведена съ французскаго В. Энгельсономъ и была напечатана въ брошюрѣ „Народный Сходъ.“

ныя свои трапезы, въ спокойствіи и ясности духа, между тѣмъ какъ бури, вызванная кесарями и преторіанцами, потрясала древнія основы Римской имперіи.

На этомъ празднествѣ народной братовщины, русскому голосу должно быть мѣсто.

Въ Россіи сверхъ царя — есть народъ; сверхъ люда казеннаго, притѣсняющаго — есть люди страждущіе, несчастные; кромѣ Россіи Зимняго Дворца — есть Русь крѣпостная, Русь рудниковъ. Во имя этой-то Руси долженъ здѣсь быть услышанъ русскій голосъ.

Спѣшу сказать, что я не имѣю никакого уполномоченія отъ русскихъ выходцевъ. Они не составляютъ сомнутаго общества. Полномочіе мое говорить во имя Россіи — вся моя жизнь, моя привязанность къ русскому народу, моя ненависть къ царю.

Да, я имѣю смѣлость высказать это, я считаю себя представителемъ мысли возстанія въ Россіи среди васъ, я имѣю право на голосъ; это говоритъ мнѣ мое сердце, мое сознаніе, моя совѣсть.

Седьмой годъ издаю я сочиненія о Россіи. Сначала, европейская публика, озадаченная неистовымъ поведеніемъ возстановленныхъ властей послѣ 1848 года, слушала мои слова снисходительно. Теперь времена измѣнились; война возбудила удивительно боевой духъ, особенно въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ газетахъ; онѣ дошли до яростной нетерпимости. Мнѣ стали ставить въ укоръ любовь мою къ славянамъ, мою вѣру въ величіе ихъ будущности, наконецъ самую мою дѣятельность. Обвинительныя статьи два раза переплывали черезъ Океанъ — другія удостоились *чести* быть воспроизведенными „Монитеромъ.“

Доселѣ никогда еще не требовали ни отъ одного выходца или изгнанника, чтобъ онъ ненавидѣлъ свое пле-

мя, свой народъ. У васъ, отнимаютъ настоящее; насъ хотятъ лишить будущаго, хотятъ убить нашу надежду!

Еслибъ я ненавидѣлъ русскій народъ, еслибъ я не вѣрилъ въ него, меня бы не было здѣсь. Народъ свободный, республиканскій далъ мнѣ права гражданства у себя; я тамъ бы и остался, не занимаясь страной, въ которой меня преслѣдовали.

Странная сбивчивость понятій.

Царствованіе Николая начинается огромнымъ заговоромъ. Онъ идетъ короноваться въ Москву подъ триумфальными воротами пяти висѣлицъ. Сотни заговорщиковъ съ цѣпами на ногахъ отправляются въ рудники. Гурьбы молодыхъ людей слѣдуютъ за ними и исчезаютъ въ Сибири... Все это проходитъ незамѣченно, въ западной Европѣ, между тѣмъ какъ наглый образъ воплощеннаго самодержавія отбрасываетъ на насъ, гонимыхъ имъ, тѣнь заслуженной имъ ненависти.

Я знаю, что вы вѣрите въ существованіе революціонной партіи въ Россіи; иначе, появленіе мое на этой трибунѣ было бы нелѣпостью. Но большинство людей, называющихся радикалами, старается этому не вѣрить. Они довольствуются союзомъ и братствомъ между народами, внесенными въ ихъ списки, получившими отъ нихъ революціонный дипломъ.

Какъ вспомнишь, что добрый „заступникъ человѣческаго рода," Анахарсисъ Клоцъ, самъ раскрасилъ одного изъ своихъ родственниковъ, для того, чтобъ на празднествѣ французской республики не было недостатка въ представителѣ изъ Отанти, — такъ нельзя не сознаться, что съ тѣхъ поръ международное братство не далеко ушло впередъ.

Николай насъ вѣшаетъ, ссылаетъ въ Сибирь, сажаетъ въ темницы—но онъ по крайней мѣрѣ не сомнѣ-

вается въ томъ, что мы существуемъ, напротивъ того, онъ черезъ чуръ внимателенъ къ намъ. Граждане, я въ первый разъ въ моей жизни ставлю его величество въ примѣръ.

Но намъ говорить, что мы, въ свою очередь, не вѣримъ ни въ силу, ни въ нынѣшнее устройство Европы. Разумѣется, нѣтъ. А вы? развѣ вы вѣрите? — Дѣло въ томъ, что русскій, при выходѣ изъ своего острога, летитъ въ Европу полный надеждъ... и находить повсюду другія изданія царскаго самовластія, безконечныя варіаціи на тему „Николай.“

И онъ осмѣливается это высказывать... вотъ въ чемъ бѣда!

Намъ, очевидцамъ іюньскихъ дней и всего ряда злодѣйствъ совершенныхъ торжествующими правительствами въ Европѣ—злодѣйствъ, которые превзошли, все что могъ бы вообразить самый мрачный предсказатель — намъ ставятъ въ укоръ наши слезы, стонъ боли вырывающійся изъ нашей груди?... Насъ упрекаютъ въ томъ, что на нашихъ губахъ одни горькія слова, одни проклятія... когда въ груди кипитъ злоба, а въ умѣ одно сомнѣніе!

Что-же, слѣдовало—молчать, скрывать?

Зачѣмъ-же намъ льстить этому старому міру, міру битой колен и насилія, который васъ первыхъ раздавить, который громоздитъ трупы прошедшаго, чтобъ загородить дорогу будущему...

Довольно портили царей лестью и молчаніемъ. Съ какой стати развращать ими народы?

Положимъ, что наши мнѣнія преувеличены; положимъ, что они ложны; но съ чего берутъ себѣ право подозрѣвать ихъ искренность?

Нельзя покончить ошибочное мнѣніе, провозгласивъ

его ересью, панславизмомъ, марая его подлыми и нелѣпыми намеками.

Простите мнѣ эти подробности—онѣ лежали у меня на сердцѣ. Я ничего не отвѣчалъ на нападки; чувство глубокаго приличія, которое, вамъ легко понять, заставляло меня хранить молчаніе во время войны. Но мнѣ казалось невозможнымъ держать между вами рѣчь, не касаясь этого личнаго вопроса.

Теперь, отвернемся отъ междоусобицъ императоровъ и журналистовъ, и посмотримъ на то, что происходитъ въ этомъ *нѣмомъ* краѣ свѣта, который называется Русью.

Тамъ вы встрѣтите два зародыша движенія: одинъ сверху, другой снизу. Одинъ преимущественно отрицающій, разлагающій, развѣдающій — разсыпается въ малыхъ кружкахъ, но готовъ составить большой, дѣятельный заговоръ. Другой—болѣе положительный, хранящій въ себѣ почки будущаго образованія, находится въ состояніи дремоты и бездѣйствія. Я говорю о молодомъ дворянствѣ и о сельской общинѣ, которая представляетъ основную ячейку всей ткани общественной, животворящее начало славянскаго государства.

Надъ ними—подавляя однихъ, истощая другихъ — стоитъ казенная Россія! живой курганъ (какъ я уже разъ сказалъ) притѣснителей, обманщиковъ, взяточниковъ, связанныхъ между собою дѣлежомъ грабительства, завершаемыхъ царемъ и опирающихся на семьсотъ тысячъ живыхъ машинъ со штыками.

Императорство никогда не сдѣлается ручнымъ; оно всегда останется опасностью для Европы, несчастіемъ для славянъ. Оно, по естеству своему, заносчиво, хищно, ненасытно. Очень скудное смысломъ, вовсе не даровитое, во внутреннемъ устройствѣ ему удалось со-

здать одно—войско. Потому-то воевать ему необходимо, это его ремесло, его спасеніе.

Петербургское правительство не народно; оно слишкомъ держится дворянъ и слишкомъ нѣмцевъ, чтобъ быть народнымъ. Единственная живая мысль, привязывающая къ правительству, это мысль о народномъ единствѣ. Правительство знаетъ это очень хорошо, и пользуется этимъ. Вотъ одна изъ главныхъ причинъ, почему войну слѣдовало перенести въ Польшу. Объявленіе Польши независимою было бы хорошо принято не только малороссами, но и большой частію великорусовъ; оно было бы принято какъ возстаніе, а не какъ нападеніе.

Будьте увѣрены, что царь ничего столько не опасается какъ независимости Польши. Въ тотъ день, когда въ Варшавѣ будетъ восстановлена Республика, петербургскій орелъ повѣсится за одну изъ своихъ головъ.

Не стану разбирать историческую необходимость солдатскаго и чиновническаго управленія, введеннаго Петромъ I. Въ отношеніи къ прошедшему, оно, полагаю я, было понятно, даже нужно какъ наказаніе, какъ воспитаніе, нужно для того, чтобъ спаять части Россіи во-едино. Но теперь его время минуетъ, оно держится лишь искусственнымъ, насильственнымъ образомъ. Съ 1813 года императорская власть въ Россіи становится безплодною. Съ возшествія на престолъ Николая, дѣятельность правительства исключительно отрицательная—оно усмиряетъ, подавляетъ, гонитъ—и только.

Потому, что въ первый день своего вступленія на царство, Николай увидѣлъ людей, которые его утрашили, онъ ихъ никогда не могъ забыть. „Дай честное слово, что ты оставишь свои замыслы, и я тебѣ прощаю,“ сказалъ онъ Муравьеву.

— „Не нужно мнѣ помилованія, не нужно произвола, отвѣчалъ осужденный на смерть Муравьевъ, — мы хотѣли свергнуть васъ съ престола именно для того, чтобъ не быть зависимыми отъ вашихъ прихотей.“

Его повѣсили.

— „Вы торжественно поклялись надъ кинжаломъ, въ засѣданіи вашего общества, убить императора?“ спросилъ Пестеля председатель слѣдственной комиссіи. — „Не правда, отвѣчалъ Пестель, я просто сказалъ, что хочу его убить; не было ни кинжала, ни клятвъ; я никогда терпѣть не могъ мелодрамныхъ сценъ.“ И его тоже повѣсили. Вережка порвалась, трое упали на землю, Муравьевъ всталъ и сказалъ: „Проклятая страна, въ которой и повѣсить не умѣютъ!“

Знать, что такого рода люди существовали, не вдалекѣ отъ дворца, что ихъ еще и теперь найдется... не хорошо для высочайшаго сна.

Тридцать лѣтъ Николай ждетъ, чтобъ у него попросили прощенія, ждетъ и не дожидется. Смерть прощаетъ несчастныхъ ссыльныхъ. Какіе люди! какія преданія!

Другой Муравьевъ—ихъ было четверо въ заговорѣ—бывшій полковникомъ генеральнаго штаба, жилъ послѣ десяти лѣтъ, проведенныхъ имъ въ каторгѣ, поселщикомъ въ маленькой избѣ, срубленной имъ самимъ въ глуши Сибири; съ нимъ жили вмѣстѣ два другихъ каторжника, генералъ Юшневскій и полковникъ Абрамовъ. Въ 1841 г. онъ умираетъ. Два друга сколотили гробъ и понесли покойника въ ближайшую церковь—за десятки верстъ. Старикъ генералъ любилъ Муравьева, какъ мать можетъ любить своего сына. Дорогой онъ не вымолвилъ ни слова; пришедши въ церковь, онъ сталъ на колѣни возлѣ гроба и закрылъ себѣ лицо руками. Ко-

гда покойника отпѣли, дьячекъ, котораго удивила неподвижность Юшневскаго, подошелъ къ нему. Старикъ былъ мертвъ. Абрамовъ побрелъ себѣ одинъ куда-то по снѣжному морю; объ немъ не было послѣ слышно.

Сколько Николай не упорствовалъ въ жестокости, сколько онъ ни обнаруживалъ рѣдкое бездушіе противъ людей свободнаго образа мыслей — образъ-то мыслей онъ не успѣлъ подавить; напротивъ того, онъ сталъ сильнѣе, болѣе возмужалый и болѣе народный.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ вышла во Франціи замѣчательная книга о Россіи. Сочинитель [ей, г. Галэ де Кюльтюръ, только что возвратился изъ Россіи; онъ послѣ меня видѣлъ что тамъ дѣлается. Позвольте мнѣ прочесть нѣсколько строкъ изъ этого сочиненія:*)

„Царь не затѣялъ бы этой несправедливой войны изъ-за пустаго предлога заступиться за вѣру христіанъ въ Турціи. Онъ по причинѣ весьма важной вышелъ изъ бездѣйствія. Послѣ двадцати-деяти лѣтъ царствованія онъ не могъ больше управлять Россіей. Бывъ столько времени неограниченнымъ владыкою надо всѣмъ, онъ подъ конецъ увидѣлъ, что не имѣетъ власти ни надъ чѣмъ. Приближающаяся старость показывала ему не только явный упадокъ его личныхъ силъ, но и упадокъ всего порядка вводимого имъ. Мысль преобразованія, обновленія, возрастая подобно морскому приливу подъ постояннымъ и неотразимымъ вліяніемъ, подмываетъ изгнившее, старое ученіе самодержавія... Притомъ среди дворянскаго сословія, сословія опаснаго, мятежнаго, составились общества, которыя, яростно осмѣивая мѣры правительства, намѣренно держались отъ него по-одаль;

*) „Николай и Русь святая“ — (Nicolas et la sainte Russie—par Gallet de Kulture. Paris, 1854, стр. 222.)

они состояли изъ людей съ умомъ, съ сильной волей, съ сильной вѣрой и живою жаждой мести; эти общества привлекали къ себѣ все молодое поколѣніе.“

Говоря о донесеніи тайной полиціи о дѣлѣ Петрашевскаго и его товарищей, составившихъ заговоръ 1849 г., авторъ приводитъ слѣдующія слова изъ доклада Липранди Набокову:

„Воспитанники многихъ учебныхъ заведеній напитаны самыми превратными мыслями; каждое слово, каждая строка ихъ отзывается пагубными ученіями. Слѣпо предаваясь имъ, они считаютъ себя призванными преобразовать все общество, все человѣчество, и готовы стать апостолами и мучениками своихъ несчастныхъ заблужденій. Отъ такихъ людей *можно всею ожидать*. Ничто ихъ не остановитъ; ибо по ихъ убѣжденію, они трудятся не для самихъ себя, а ради всего рода человѣческаго, не для настоящаго времени, а для будущаго.“

„Нельзя—сказалъ одинъ очень замѣчательный чловекъ изъ русскихъ г. Кюльтюру—нельзя опредѣлить, когда именно въ Россіи будетъ возстаніе, но оно близко, и облечется въ новый, особый образъ, оно явится въ *русскомъ видѣ*... Весь народъ единогласно восприниметъ, чтобъ низпровергнуть порядокъ дѣлъ, издавна осужденный духомъ времени — вооруженное страшилище, покамѣстъ еще внушающее страхъ, но уже не возбуждающее ни единой струны въ сердцахъ человѣческомъ. За тѣмъ возникнутъ большія распри; поборники движенія захотятъ новаго, нѣкоторые изъ „Славянофиловъ“ пожелаютъ возвратиться къ старой Руси, къ Руси Іоанновъ — между тѣмъ народъ возмется за Робеспьеровскій топоръ и начнетъ срубать чины и головы.“

Вотъ, Граждане, что дѣлается подъ ледяной корою, подъ однообразной наружностью сѣвернаго самодержавія. Посмотримъ теперь въ глубь этого омута, взглянемъ, какія тамъ дремлютъ бури-силы, могущія взволновать народныя стихіи.

Прежде всего надобно вамъ сказать, что на Западѣ не только сомнѣваются въ существованіи революціонной партіи въ Россіи, которая по необходимости прячется, но сомнѣваются и въ томъ, что у насъ есть особый бытъ сельскій, т. е. сомнѣваются, такъ или нѣтъ, живутъ пятьдесятъ милліоновъ людей въ двухъ шагахъ отъ Германіи.

Объ этомъ Гакстаузенъ издалъ три тома; ему не повѣрили — онъ на царской сторонѣ. Объ этомъ говорилъ и я, мнѣ не повѣрили — я на сторонѣ друзей свободы!

По странному противурѣчію, наша сельская община, задавленная сверху властью, опирается на широкую и явно соціальную основу. Права ея велики. Само собою разумѣется, что здѣсь не идетъ рѣчь о правахъ государственныхъ; во всей Россіи одинъ Николай Павловичъ пользуется таковыми; здѣсь рѣчь о правѣ внутренняго управленія и собственнаго распорядка въ дѣлахъ, касающихся общины и ея земли. Не стану повторять того, что я столько разъ говорилъ объ устройствѣ русской сельской общины и ея преимуществахъ; напротивъ того, я намѣренъ указать вамъ на огромный ея недостатокъ.

Русскій крестьянинъ вѣчно остается малолѣтнимъ; онъ никогда не самостоятеленъ; во всѣхъ случаяхъ онъ опирается на общину, прячется за нее. Лицо поглащается міромъ.

Согласовать личную свободу съ міромъ, тутъ вся за-

дача социализма. Она не разрѣшена Соединенными Штатами Сѣверной Америки, еще менѣе разрѣшена славянской общиной. Славянская сельская община — безсознательный зародышъ, который будетъ вызванъ къ дѣятельной жизни лишь тогда, когда каждый человѣкъ въ общинѣ потребуетъ себѣ всѣ права, принадлежащія ему какъ особѣ, *не утрачивая* притомъ правъ, которыя онъ имѣетъ какъ членъ общины.

Вотъ этой — непокорной личности, этой закваски революціонной и недоставало семейно-образной общинѣ русской. Она бы долго еще могла ужиться съ царемъ, тѣмъ больше, что ему мало выгоды нарушать ея права. Но есть законъ судебъ, по которому сами властители вызываютъ народы къ возстаніямъ.

Крѣпостное состояніе, исподволь, лукаво введенное въ семнадцатомъ столѣтіи, приняло въ восемнадцатомъ огромные размѣры: болѣе трети всѣхъ земледѣльцевъ было отдано въ частное владѣніе.

Народъ не разъ возставалъ, болѣе ста тысячъ людей стояло на Волгѣ съ Стенькой Разинымъ. Царь Алексѣй Михайловичъ перевѣшалъ тысячи мятежниковъ. Престоль Екатерины II былъ нѣсколько мѣсяцевъ сряду потрясаемъ Пугачевымъ. Привезенный въ Москву въ кѣткѣ, Пугачевъ былъ казненъ, порядокъ восторжествовалъ, крѣпостной народъ былъ побѣжденъ.

Александръ I остановился въ изумленіи передъ чудовищемъ крѣпостной власти. Онъ понялъ зло, но не нашелъ противъ него средства; онъ не смѣлъ ни потворствовать ему, ни искоренить его. Преступленіе было совершено, царь былъ связанъ съ помѣщиками, народъ отлученъ отъ него дворянствомъ. Голосъ царя не могъ больше доходить до него... И когда Николай — этотъ всемогущій императоръ — осмѣлился въ Апрѣлѣ 1842 г.

дать дворянству *робкій советъ* полюбовно уладить дѣло съ крестьянами, министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій прибавилъ къ его совѣту такое поясненіе, что блѣдныя слова Николая потеряли всякое значеніе. Циркуляромъ министра предписывалось губернаторамъ считать митейниками тѣхъ крестьянъ, которые вздумали бы принять за *обязательный, августѣйшій советъ* императора.

Лучъ вольности промелькнулъ предъ глазами несчастнаго крѣпостнаго — и исчезъ. Смутныя слухи шопотомъ разнеслись по народу и остались у него въ памяти. Мѣстныя возстанія, убійства помѣщиковъ, которыя такъ часто случаются на Руси, умножились. Въ Симбирской губерніи крестьяне устроили-было *облаву* на помѣщиковъ. Въ Тамбовской собрались люди *разныхъ* волостей и пошли вооруженные колющими и топорами, неся съ собою солому, отъ одного господскаго дома къ другому; передъ ними шла крестьянка босая, простоволосая и пѣла похоронныя молитвы и псалмы — она пѣла, а дома горѣли и въ нихъ помѣщичьи семьи.

Я много жилъ съ нашими крестьянами — и не только глубоко люблю ихъ, но и знаю довольно хорошо. Ребенкомъ, я проводилъ каждое лѣто въ помѣстьяхъ отца моего; въ ссылкѣ я имѣлъ цѣлыхъ семь лѣтъ, чтобъ изучить крестьянина отъ Урала и Волги до Новгорода, и клятвенно увѣряю васъ, Граждане, что въ крестьянахъ внутреннихъ губерній меньше низости, меньше раболобства, чѣмъ въ петербургскомъ вельможествѣ, въ царедворцахъ и чиновникахъ.

Это замѣтили и Кюстинъ и Гакстгаузенъ, и добросовѣстный ученый Блазіусъ.

Воля Россіи начнется съ возстанія крѣпостныхъ или съ ихъ освобожденія. Русскій мужикъ слышать не хо-

четь объ увольненіи его въ состояніе бездомнаго бобыля (пролетарія). Онъ хочетъ земли—и онъ правъ въ этомъ; земля будетъ за нимъ. Дворяне были-бы рады отпустить крестьянъ на волю, оставивъ за собой всѣ земли.

Пестель говорилъ своимъ друзьямъ: „Мы можемъ отдѣлаться отъ царя, можемъ, пожалуй, провозгласить республику—и все таки мало будетъ толку. У насъ не будетъ всенароднаго возстанія, доколѣ мы не коснемся поземельной собственности дворянъ. Мужику нужна земля.“

Это было сказано передъ 1825 г. Теперь и правительство и дворянство поняли, что „*мужику нужна земля.*“ Опыты свести крестьянъ на самомалѣйшую долю земли были сдѣланы, и не удались.

Какъ раздѣлить земли,—указываетъ самое положеніе дѣлъ и духъ народа. Мужикъ хочетъ себѣ лишь мірскую землю, лишь ту, которую онъ оросилъ потомъ лица своего, которую приобрѣлъ святымъ *правомъ работы*; больше онъ не требуетъ. Мужикъ русскій не вѣритъ, чтобы мірская земля могла принадлежать иному нежелі міру. Онъ скорѣе вѣритъ, что онъ самъ принадлежитъ землѣ, нежели что землю можно отнять у міра. Это чрезвычайно важно!

Всѣ вопросы, относящіеся до собственности, подлинно—вопросы религіозные, основанные на вѣрованіяхъ, на догматахъ. *Вмѣстѣ съ вѣрой падаетъ дѣло, исчезаетъ фактъ.*

Теперь сообразите: между крестьяниномъ *вѣрящимъ*, что земля принадлежитъ міру, и молодымъ дворянствомъ *не вѣрящимъ* въ свое право владѣнія, нѣтъ ничего кромѣ грубой власти, мертвящей привычки, бессмысленнаго невѣжества, старающагося поддерживать

старое. Никакихъ преданій, никакихъ вѣковыхъ, завѣтныхъ опоръ для престола; онъ не окруженъ ни почтеніемъ въ глазахъ народа, ни спаянъ съ выгодами торговаго сословія. Духовенство греко-россійское слишкомъ смиренно, слишкомъ мало-тѣлесно, чтобъ вступаться въ дѣла міра сего; оно осталось византійскимъ и воздастъ кесарю кесарево, не много заботясь о томъ, кто таковъ кесарь.

Отличительная черта петербургскаго императорства состоитъ въ томъ, что оно не становится монархическою властью; оно неограниченная диктатура, и больше ничего. Въ какой бы видъ царь не облекся — представляй онъ изъ себя папу восточнаго, фельдфебеля прусскаго, хана татарскаго, онъ все-таки ничто иное, какъ представитель грубой силы и уже минующей исторической необходимости.

Въ Россіи впрочемъ ничто не носитъ на себѣ отпечатка косности, застоя, оконченности, которыя встрѣчаешь у народовъ, выработавшихъ себѣ долгимъ трудомъ формы быта, отчасти соотвѣтствующія ихъ образу мыслей.

Не забудьте сверхъ того, что Россія не знала почти нисколько трехъ бичей сильно останавливающихъ Западъ — католицизма, римскаго права и господства мѣщанъ. Это весьма упрощаетъ вопросъ. Мы идемъ вамъ на встрѣчу въ будущемъ переворотѣ; намъ не нужно для этого проходить чрезъ тѣ топи, по которымъ вы прошли; намъ не нужно истощать свои силы въ полумракѣ тѣхъ государственныхъ формъ, которыя можно назвать между *волкомъ и собакой* и которыя нигдѣ не произвели великаго и сильнаго, кромѣ тамъ гдѣ онѣ народны.

Намъ вовсе не нужно продѣлывать вашу длинную,

великую эпопею освобожденія, которая вамъ такъ загроздила дорогу развалинами памятниковъ, что вамъ трудно шагъ сдѣлать впередъ. Ваши усилія, ваши страданія для насъ поученія. Исторія весьма несправедлива, *поздно приходящимъ* даетъ она не оглодки, а старшинство опытности. Все развитіе человѣческаго рода есть ничто иное какъ эта хроническая неблагодарность.

Безъ воспоминаній, безъ обязанностей относительно прошедшаго, мы находимся въ томъ положеніи, въ которомъ въ Европѣ находится рабочій классъ и безсоственники. Мы и они лишены наслѣдства, намъ и имъ отъ нынѣшняго свѣта достались въ удѣлъ одни оскорбленія, одни несчастія—потому мы не принимаемъ его судьбу очень къ сердцу.

Полицейскій чиновникъ былъ правъ, говоря, „что насъ ничто не остановитъ.“ Нѣтъ у насъ ничего общаго ни съ старой Россіей, ни съ старымъ міромъ. У насъ ничего нѣтъ — да есть *отвага* надежды!

Мы ничего не сдѣлали. Тѣмъ лучше! тѣмъ больше остается дѣла для насъ. Пора рабочая для насъ настаетъ. И потому-то нужно, чтобъ вы знали славянскихъ братьевъ вашихъ. Бѣдный европейскій работникъ долженъ знать, что бѣдный русскій крестьянинъ не падшее, одичалое существо, а человѣкъ очень несчастный, имѣющій съ нимъ одинакія стремленія и удрученный одинакимъ рокомъ...

Поле общественнаго переворота расширяется..... Развѣ мы не видали Вѣну возмущившуюся?... короля прусскаго, стоявшаго съ обнаженною и повинной головою передъ народомъ? Все это миновало какъ сонъ — но бывають сны пророческіе. И эта сходка всѣхъ выходцевъ въ Лондонѣ, этотъ обмѣнъ мыслей, это взаимное

пониманіе, этотъ общій уровень, на который мы становимся, *это не сонъ*. Нѣтъ! это не сонъ, потому, что англичанинъ протягиваетъ намъ руку; а вы знаете, *когда англичанинъ даетъ руку, онъ даетъ и сердце!* — И Русскій приглашенъ участвовать въ этой поминкѣ февральскаго возстанія!... Развѣ вы не видите въ этомъ признаковъ, знаменій?

Посмотрите на эту залу—посмотрите на эти обломки всѣхъ бурь, изгнанниковъ всѣхъ странъ, старыхъ бойцовъ и молодыхъ ратниковъ противъ всѣхъ тиранствъ, сошедшихся праздновать страницу изъ лѣтописи революціи и именно тогда, когда *Она*, отчизна революціи не имѣетъ права торжественно помянуть свое прошедшее! тогда какъ Франція погружена въ дремоту, истощившись лучезарно свѣтя революціей на весь міръ.

Велика судьба Франціи!—она двигаетъ впередъ даже тогда, когда сама идетъ вспять! Такъ, поборая социализмъ, она возвысила его на степенъ грозной мощи признанной и ратующей.

Все содѣйствуетъ революціи — ибо все содѣйствуетъ Будущему!

Оставимъ-же мертвымъ хоронить мертвыхъ! Давно забытыя надежды снова возникаютъ. Борьба *изъ* между собою принесетъ намъ пользу; они не подозреваютъ, что побѣждаютъ для насъ. Царства и цари пройдутъ, но социализмъ не пройдетъ. Развѣ вы не узнаете — это юный *Наслѣдникъ* отходящаго старца!



1

2

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ VI

ŒUVRES D'ALEXANDRE HERZEN



СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА

ТОМЪ VI

ВЪСЛОВОМЪ ДУХА

1871—1888

Четвертое издание

Дружескимъ и Университетскимъ

Торжественнымъ и Свѣдѣннѣмъ

GENÈVE — BALE — LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

1878

Tous droits réservés.

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city government.

Н. П. ОГАРЕВУ.

Въ этой книгѣ всего больше говорится о двухъ личностяхъ. Одной уже нѣтъ,— ты еще остался, а потому тебѣ, другъ, по праву принадлежитъ она.

1 Юля 1860.

Eagle's Nest, Bournemouth.

Многіе изъ друзей совѣтывали мнѣ начать полное изданіе *Былоу и Думъ*, и въ этомъ затрудненія нѣтъ по крайней мѣрѣ относительно двухъ первыхъ частей. Но они говорятъ, что отрывки, помѣщенные въ *Полярной Звѣздѣ* рапсодичны, не имѣютъ единства, прерываются случайно, забѣгаютъ иногда, иногда отстаютъ. Я чувствую, что это правда, но поправить не могу. Сдѣлать дополненія, привести главы въ хронологическій порядокъ — дѣло не трудное; но все переплавить, d'un jet, я не берусь.

Былое и Думы не были писаны подѣ рядъ; между ними главами лежатъ цѣлыя годы. Оттого на всемъ остался оттѣнокъ своего времени и разныхъ настроеній — мнѣ бы не хотѣлось стереть его.

Это не столько *записки*, сколько *исповѣдь*, около которой, по поводу которой, собрались тамъ-сямъ схва-

ченныя воспоминанія изъ *Былою*, тамъ-сямъ остановленныя мысли изъ *Думъ*. Впрочемъ, въ совокупности этихъ пристроекъ, надстроекъ, флигелей *единство есть*, по крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется.

Записки эти не первый опытъ. Мнѣ было лѣтъ двадцать пять, когда я начиналъ писать что то въ родѣ воспоминаній. Случилось это такъ: переведенный изъ Витки во Владиміръ—я ужасно скучалъ. Остановка передъ Московской дразнила меня, оскорбляла; я былъ въ положеніи человѣка, сидящаго на послѣдней станціи безъ лошадей.

Въ сущности, это былъ чуть-ли не самый „чистый, самый серьезный періодъ оканчивавшейся юности.“*) И скучалъ то я тогда свѣтло и счастливо, какъ дѣти скучаютъ наканунѣ праздника или дня рожденія. Всякій день приходили письма, писанныя мелкимъ шрифтомъ; я былъ гордъ и счастливъ ими, я ими росъ. Тѣмъ не менѣе разлука мучила, и я не зналъ за что приняться, чтобъ поскорѣе протолкнуть эту *вѣчность* — какихъ нибудь *четыре*хъ мѣсяцевъ... Я послушался даннаго мнѣ совѣта и сталъ на досугѣ записывать мои воспоминанія о Крутицахъ, о Вяткѣ. Три тетрадки были написаны... потомъ прошедшее потонуло въ свѣтѣ настоящаго.

Въ 1840, Бѣлинскій прочелъ ихъ, онѣ ему понравились, и онъ напечаталъ двѣ тетрадки въ *Отечественныхъ Запискахъ* (первую и третью), остальная и теперь должна валяться рѣдѣ нибудь въ нашемъ московскомъ домѣ, если не пошла на подтопки.

Прошло *пятнадцать лѣтъ*,**) „я жилъ въ одномъ

*) См. „Тюръма и Ссылка.“

**) Введеніе къ „Тюръмѣ и Ссылкѣ“, писанное въ Маѣ 1854 г.

изъ лондонскихъ захолустій, близъ Примрозъ Гила, отдѣленный отъ всего міра далью, туманомъ и своей волей.

Въ Лондонѣ, не было ни одного близкаго мнѣ человѣка. Были люди, которыхъ я уважалъ, которые уважали меня, но близкаго никого. Всѣ, подходившіе, отходившіе, встрѣчавшіеся, занимались одними общими интересами, дѣлами всего человѣчества, по крайней мѣрѣ дѣлами цѣлаго народа; знакомства ихъ были, такъ сказать, безличныя. Мѣсяцы проходили, и ни одного слова о томъ, о чемъ хотѣлось поговорить.

... А между тѣмъ, я тогда едва начиналъ приходить въ себя, оправляться послѣ ряда страшныхъ событій, несчастій, ошибокъ. Исторія послѣднихъ годовъ моей жизни представлялась мнѣ яснѣе и яснѣе, и я съ ужасомъ видѣлъ, что ни одинъ человѣкъ, кромѣ меня, не знаетъ ее и что съ моей смертью умереть истина.

Я рѣшился писать; но одно воспоминаніе вызывало сотни другихъ; все старое, полузабытое воскресало: отроческія мечты, юношескія надежды, удалъ молодости, тюрьма и ссылка, — эти раннія несчастія, не оставившія никакой горечи на душѣ, пронесшіяся какъ вѣшнія грозы, освѣжая и укрѣпляя своими ударами молодую жизнь.

Этотъ разъ я писалъ не для того, чтобы выиграть время—торопиться было некуда.

Когда я начиналъ новый трудъ, я совершенно не помнилъ о существованіи *Записокъ одного молодого человека*, и, какъ то случайно попалъ на нихъ въ British Museum'ѣ, перебирая русскіе журналы. Я велѣлъ ихъ списать и перечиталъ. Чувство, возбужденное ими было странно: я такъ ощутительно увидѣлъ, насколько я состарѣлся въ эти пятнадцать лѣтъ, что на первое

время это потрясло меня. Я игралъ еще тогда жизнью и самимъ счастьемъ, какъ будто ему и конца не было. Тонъ *Записокъ одного молодого человека* до того былъ розенъ, что я не могъ ничего взять изъ нихъ; онѣ принадлежатъ молодому времени, онѣ должны остаться сами по себѣ. Ихъ утреннее освѣщеніе нейдетъ къ моему вечернему труду. Въ нихъ много истиннаго, но много также и шалости; сверхъ того на нихъ остался очевидный для меня слѣдъ Гейне, котораго я съ увлеченіемъ читалъ въ Вяткѣ. На *Быломъ и Думѣ* видны слѣды жизни и больше никакихъ слѣдовъ не видать.

Мой трудъ двигался медленно... много надобно времени для того, чтобы *иная* была отстоялась въ прозрачную думу — неутѣшительную, грустную, но примиряющую пониманіемъ. Безъ этого можетъ быть искренность, но не можетъ быть *истины!*

Нѣсколько опытовъ мнѣ не удалось,—я ихъ бросилъ. Наконецъ перечитывая нынѣшнимъ лѣтомъ одному изъ друзей юности мои послѣднія тетради, я самъ *узналъ знакомыя* черты, и остановился... трудъ мой былъ конченъ.

Очень можетъ быть, что я далеко перецѣнилъ его, что въ этихъ едва обозначенныхъ очеркахъ схоронено такъ много, *только для меня одного*; можетъ я гораздо больше читаю, чѣмъ написано; сказанное будить во мнѣ сны, служить іероглифомъ, къ которому у меня есть ключъ. Можетъ я одинъ слышу, какъ подъ этими строками бьются духи... можетъ, но оттого книга эта мнѣ не меньше дорога. Она долго замѣняла мнѣ и людей и утраченное. Пришло время и съ нею разстаться.

Все личное быстро осыпается, этому обнищанію надо покориться. Это не отчаяніе, не старчество, не хо-

лодь и не равнодушіе; это — сѣдая юность, одна изъ формъ выздоровленія, или лучше, самый процессъ его. Человѣчески переживать инныя раны можно только этимъ путемъ.

Въ монахѣ, какихъ бы лѣтъ онъ ни былъ, постоянно встрѣчается и старецъ и юноша. Онъ похоронами всего личнаго возвратился къ юности. Ему стало легко, широко..... иногда слишкомъ широко..... Дѣйствительно, человѣку бываетъ подѣ-часъ пусто, спротивно между безличными всеобщностями, историческими стихіями и образами будущаго, проходящими по ихъ поверхности, какъ облачныя тѣни. Но что же изъ этого? Людямъ хотѣлось бы все сохранить: и розы, и снѣгъ; имъ хотѣлось бы, чтобъ около спѣлыхъ гроздьевъ винограда вились майскіе цвѣты! Монахи спасались отъ минутъ ропота молитвой. У насъ нѣтъ молитвы: у насъ есть *трудъ*. Трудъ наша молитва. Быть можетъ, что *плодъ тою и другою* будетъ одинакій, но на сію минуту не объ этомъ рѣчь.

Да, въ жизни есть пристрастіе къ возвращающемуся ритму, къ повторенію мотива; кто не знаетъ, какъ старчество близко къ дѣтству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обѣ стороны полнаго разгара жизни, съ ея вѣнками изъ цвѣтовъ и терній, съ ея колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходныя въ главныхъ чертахъ. Чего юность *еще* не имѣла, то *уже* утрачено; о чемъ юность мечтала, безъ личныхъ видовъ, выходитъ свѣтлѣе, спокойнѣе и также безъ личныхъ видовъ изъ за тучъ и зарева.

...Когда я думаю о томъ, какъ мы двое теперь, подѣ *пятьдесятъ лѣтъ*, стоимъ за первымъ станкомъ русскаго вольнаго слова, мнѣ кажется, что наше ребячье

Грусти на Воробьевыхъ горахъ было не *тридцать три* года тому назадъ, а много три!

Жизнь... жизни, народы, революція, любимѣйшія головы возникали, мѣнялись и исчезали между Воробьевыми горами и Препрозъ-Гилемъ; слѣдъ ихъ уже почти заметенъ беспощаднымъ вихремъ событій. Все измѣнилось вокругъ : Темза течетъ вмѣсто Москвы рѣки и чужое племя около... и нѣтъ намъ больше дороги на родину... одна мечта двухъ мальчиковъ, одного 13 лѣтъ, другого 11—уцѣлѣла!

Пусть-же *Былое* и *Думы* заключать счетъ съ личною жизнью и будутъ ея оглавленіемъ. Остальныя *Думы* — на дѣло, остальныя *Сны* — на борьбу.

Таковъ остался нашъ союзъ...
Опять одни мы въ грустный путь пойдемъ,
Объ истинѣ глася неутомимо —
И пусть мечты и люди идутъ мимо!

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДѢТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТЪ.

(1812—1835)

Когда мы въ памяти своей
Проходимъ прежнюю дорогу,
Въ душѣ всѣ чувства прежнихъ дней
Вновь оживаютъ понемногу,
И грусть и радость тѣ же въ ней,
И знаетъ ту жъ она тревогу,
И такъ же вновь тѣснится грудь,
И такъ же хочется вздохнуть.

Н. ОГАРЕВЪ. (*Юморъ.*)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Моя нянюшка и La grande armée — Пожаръ Москвы — Мой отецъ
у Наполеона — Генералъ Иловайскій — Путешествіе съ французскими
пленными — Патриотизмъ К. Кало — Общее управленіе имѣньемъ —
Раздѣлъ — Сенаторъ.

...„Вѣра Артамоновна, ну расскажите мнѣ еще разокъ, какъ французы приходили въ Москву,“ говаривалъ я, потягиваясь на своей кровати, обшитой холстиной, чтобъ я не вывалился, и завертываясь въ стеганое одѣяло.

Грютли на Воробьевыхъ горахъ было не *тридцать три* года тому назадъ, а много три!

Жизнь... жизни, народы, революціи, любимѣйшія головы возникали, мѣнялись и исчезали между Воробьевыми горами и Припрозъ-Гилемъ; слѣды ихъ уже почти замеченъ безпощаднымъ вихремъ событій. Все измѣнилось вокругъ: Темза течетъ вмѣсто Москвы рѣки и чужое племя около... и нѣтъ намъ больше дороги на родину... одна мечта двухъ мальчиковъ, одного 13 лѣтъ, другого 11—уцѣляла!

Пусть-же *Былое* и *Думы* заключать счетъ съ личною жизнію и будутъ ея оглавленіемъ. Остальныя *Думы* — на дѣло, остальныя *Силы* — на борьбу.

Таковъ остался нашъ союзъ...
Опять одни мы въ грустный путь пойдемъ,
Объ истинѣ глася неутомимо —
И пусть мечты и люди идутъ мимо!

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДѢТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТЪ.

(1812—1835)

Когда мы въ памяти своей
Проходимъ прежнюю дорогу,
Въ душѣ всѣ чувства прежнихъ дней
Вновь оживаютъ понемногу,
И грусть и радость тѣ же въ ней,
И знаетъ ту жъ она тревогу,
И такъ же вновь тѣснится грудь,
И такъ же хочется вздохнуть.

Н. ОГАРЕВЪ. (*Юморъ.*)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Моя нянюшка и *La grande armée* — Пожаръ Москвы — Мой отецъ у Наполеона — Генералъ Иловайскій — Путешествіе съ французскими пѣвниками — Патріотизмъ К. Кало — Овщее управленіе имѣньемъ — Раздѣлъ — Сенаторъ.

...„Вѣра Артамоновна, ну расскажите мнѣ еще разокъ, какъ французы приходили въ Москву,“ говорилъ я, потягиваясь на своей кровати, обшитой холстиной чтобъ я не вывалился, и завертываясь въ стеганое одѣяло.

— И! что это за рассказы, ужъ столько разъ слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встанете, отвѣчала обыкновенно старушка, которой столькоже хотѣлось повторить свой любимый рассказъ, сколько мнѣ его слушать.

— Да вы немножко расскажите, ну какъ же вы узнали, ну съ чего же началось?

— Такъ и началось. Папенька-то вашъ знаете какой, все въ долгой ящикъ откладываетъ; собирался, собирался, да вотъ и собрался! Всѣ говорили пора ѣхать, чего ждать, почитай въ городѣ никого не оставалось. Нѣтъ, все съ Павломъ Ивановичемъ*) переговариваютъ какъ вмѣстѣ ѣхать, то тотъ не готовъ, то другой. Наконецъ таки мы уложились и коляска была готова; господа сѣли завтракать, вдругъ нашъ кухмистъ взомель къ столовую такой блѣдный, да и докладываетъ „непріятель въ Драгомиловскую заставу вступилъ,“ такъ у насъ у всѣхъ сердце и опустилось, сила молъ крестная съ нами! Все переполошилось; пока мы суетились, да ахали, смотримъ — а по улицѣ скачутъ драгуны въ такихъ каскахъ и съ лошадинымъ хвостомъ сзади. Заставы всѣ заперли, вотъ вашъ папенька и остался у праздника, да и вы съ нимъ; васъ кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такіе были щедушные, да слабые.

И я съ гордостью улыбался, довольный что принималъ участіе въ войнѣ.

— Сначала еще шло кое-какъ, первые дни то есть, ну такъ бывало взойдутъ два-три солдата и показываютъ нѣтъ ли выпить; поднесемъ имъ по рюмочкѣ, какъ слѣдуетъ, они и уйдутъ, да еще сдѣлаютъ подъ козы-

*) Голохвастовъ, мужъ меньшей сестры моего отца.

рекъ. А тутъ видите какъ пошли пожары, все больше да больше, сдѣлалась такая неурядица, грабежъ пошелъ и всякіе ужасы. Мы тогда жили во флигелѣ у княжны, домъ загорѣлся; вотъ Павелъ Ивановичъ говоритъ, пойдѣте ко мнѣ, мой домъ каменный, стоитъ глубоко на дворѣ, стѣны капитальныя — пошли мы, и господа и люди, всѣ вмѣстѣ, тутъ не было разбора; выходимъ на Тверской бульваръ, а ужъ и деревья начинаютъ горѣть — добрались мы наконецъ до голохвастовскаго дома, а онъ такъ и пышитъ, огонь изъ всѣхъ оконъ. Павелъ Ивановичъ остолбенѣлъ, глазамъ не вѣрить. За домомъ знаете большой садъ, мы туда, думаемъ, тамъ останемся сохранны; сѣли приторюнившись на скамѣчкахъ, вдругъ откуда ни возмись ватага солдатъ, препяныхъ, одинъ бросился съ Павла Ивановича дорожной тулупчикъ скидывать; старикъ не даетъ, солдатъ выхватилъ тесакъ да по лицу его и хватъ, такъ у нихъ до кончины шрамъ и остался, другіе принялись за насъ, одинъ солдатъ вырвалъ васъ у кормилицы развернулъ пеленки, нѣтъ ли де какихъ ассигнацій или брильянтовъ, видитъ, что ничего нѣтъ, такъ нарочно азарникъ изодралъ пеленки да и бросилъ. Только они ушли, случилась вотъ какая бѣда. Помните нашего Платона, что въ солдаты отдали, онъ сильно любилъ выпить и былъ онъ въ этотъ день очень въ куражѣ; повязалъ себѣ саблю, такъ и ходилъ. Графъ Растопчинъ всѣмъ раздавалъ въ арсеналѣ за день до вступленія непріятеля всякое оружіе, вотъ и онъ промыслилъ себѣ саблю. Подъ вечеръ видитъ онъ, что драгунъ верхомъ въѣхалъ на дворъ; возлѣ конюшни стояла лошадь, драгунъ хотѣлъ ее взять съ собой, но только Платонъ стремглавъ бросился къ нему и, уцѣпившись за поводья, сказалъ: „Лошадь наша, я тебѣ ее,

не дамъ.“ Драгунъ погрозилъ ему пистолетомъ, да видно онъ не былъ заряженъ: баринъ самъ видѣлъ и закричалъ ему, „оставь лошадь не твое дѣло.“ Куда ты! Платонъ выхватилъ саблю, да какъ хватить его по головѣ, драгунъ-то и покачнулся, а онъ его еще, да еще. Ну, думаемъ мы, теперь пришла наша смерть, какъ увидать его товарищи, тутъ намъ и конецъ. А Платонъ то, какъ драгунъ свалился, схватилъ его за ноги и стащилъ въ творило, такъ его и бросилъ бѣдняжку, а еще онъ былъ живъ; лошадь его стоитъ ни съ мѣста и бьетъ ногой землю, словно понимаетъ; наши люди заперли ее въ конюшню. [должно быть она тамъ сгорѣла. Мы всѣ скорѣй со двора долой, пожаръ-то все страшнѣе и страшнѣе, измученные, не ѣвши взошли мы въ какой-то уцѣлѣвшій домъ, и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди съ улицы кричатъ; „выходите, выходите, огонь, огонь!“ — тутъ я взяла кусокъ равендюка съ бильярда и завернула васъ отъ ночного вѣтра; добрались мы такъ до Тверской площади, тутъ французы тушили, потому что ихъ набольшой жилъ въ губернаторскомъ домѣ; сѣли мы такъ просто на улицѣ, караульные вездѣ ходятъ, другіе верховые ѣздятъ. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлѣба. Съ нами была тогда Наталья Константиновна, знаете бой-дѣвка, она увидѣла, что въ углу солдаты что-то ѣдятъ, взяла васъ и прямо къ нимъ, показываетъ маленькому молъ *манже*; они сначала посмотрѣли на нее такъ сурово да и говорятъ але, але; а она ихъ ругать, экіе молъ окайные, такіе, сикіе; солдаты ничего не поняли, а таки вспрыснули со смѣха и дали ей для васъ хлѣба моченаго съ водой и ей дали краюшку. Утромъ рано подходитъ офицеръ и всѣхъ мужчинъ забралъ и вашего паненку тоже, оста-

вилъ однѣхъ женщинъ, да раненаго Павла Ивановича и повелъ ихъ тушить окольные дома, такъ до самаго вечера пробыли мы одни; сидимъ и плачемъ, да и только. Въ сумерки приходитъ баринъ и съ нимъ какой то офицеръ...

Позвольте мнѣ смѣнить старушку и продолжать ея рассказъ. Мой отецъ, окончивъ свою бранд-маіорскую должность, встрѣтилъ у страстнаго монастыря эскадронъ итальянской конницы, онъ подошелъ къ ихъ начальнику и рассказалъ ему по итальянски въ какомъ положеніи находится семья. Итальянецъ, услышавъ *la sua dolce favella*, обѣщалъ переговорить съ герцогомъ Тревизскимъ и предварительно поставить часового въ предупрежденіе дикихъ сценъ въ родѣ той, которая была въ саду Голохвастова. Съ этимъ приказаніемъ онъ отправилъ офицера съ моимъ отцомъ. Услышавъ, что вся компанія второй день ничего не ѣла, офицеръ повелъ всѣхъ въ разбитую лавку; цвѣточный чай и леванской кофе были выброшены на полъ, вмѣстѣ съ большимъ количествомъ финиковъ, винныхъ ягодъ, миндаля; люди наши набили себѣ ими карманы; въ десертѣ недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезенъ: десять разъ ватаги солдатъ придирались къ несчастной кучкѣ женщинъ и людей, расположившихся на кочевье въ углу Тверской площади, но тотчасъ уходили по его приказу.

Мортъе вспомнилъ, что онъ зналъ моего отца въ Парижѣ, и доложилъ Наполеону; Наполеонъ велѣлъ на другое утро представить его себѣ. Въ синемъ поношенномъ полуфракѣ съ бронзовыми пуговицами, назначенномъ для охоты, безъ парика, въ сапогахъ нѣсколько дней нечищенныхъ, въ черномъ бѣльѣ и съ небритой бородой, мой отецъ— поклонникъ приличій и строжай-

шаго этикета, — явился въ тронную залу кремлевскаго дворца по зову императора французовъ.

Разговоръ ихъ, который я столько разъ слышалъ, довольно вѣрно переданъ въ исторіи Барона Фен' и въ исторіи Михайловскаго-Данилевскаго.

Послѣ обыкновенныхъ фразъ, отрывистыхъ словъ и лаконическихъ отмѣтокъ, которыми лѣтъ тридцать пять приписывали глубокой смыслъ, пока недогадались, что смыслъ ихъ очень часто былъ пошлъ, Наполеонъ разбранилъ Растончина за пожаръ, говорилъ, что это вандализмъ, увѣрялъ, какъ всегда, въ своей непреодолимой любви къ миру, толковалъ что его война въ Англіи, а не въ Россіи, хвастался тѣмъ, что поставилъ караулъ къ воспитательному дому и къ Успенскому собору, жаловался на Александра, говорилъ, что онъ дурно окруженъ, что мирныя расположенія его неизвѣстны императору.

Отецъ мой замѣтилъ, что предложить миръ скорѣе дѣло побѣдителя.

— Я сдѣлалъ, что могъ, я посылалъ къ Кутузову, онъ не вступаетъ ни въ какіе переговоры и не доводитъ до свѣдѣнія государя моихъ предложеній. Хотятъ войны, не моя вина — будетъ имъ война.

Послѣ всей этой комедіи, отецъ мой попросилъ у него пропускъ для выѣзда изъ Москвы.

— Я пропусковъ не велѣлъ никому давать, зачѣмъ вы ѣдете? чего вы бонетесь? я велѣлъ открыть рынки. Императоръ французовъ въ это время кажется забылъ, что сверхъ открытыхъ рынковъ, не мѣшаетъ имѣть покрытый домъ и что жизнь на Тверской площади средь непріятельскихъ солдатъ не изъ самыхъ пріятныхъ.

Отецъ мой замѣтилъ это ему; Наполеонъ подумалъ и вдругъ спросилъ.

— Возметесь-ли вы доставить императору письмо отъ меня? на этомъ условіи я велю вамъ [дать пропускъ со всѣми вашими.

— Я принялъ бы предложеніе в. в., замѣтилъ ему мой отецъ, но мнѣ трудно ручаться.

— Даете-ли вы честное слово, что употребите всѣ средства лично доставить письмо?

— *Je m'engage sur mon honneur, Sire.*

— Это довольно. Я пришлю за вами. Имѣете вы въ чемъ нибудь нужду?

— Въ крышѣ для моего семейства, пока я здѣсь, больше ни въ чемъ.

— Герцогъ Тревизскій сдѣлаетъ, что можетъ.

Мортъ действительно далъ комнату въ генераль-губернаторскомъ домѣ и велѣлъ насъ снабдить съѣстными припасами; его метръ д'отель прислалъ даже вина. Такъ прошло нѣсколько дней, послѣ которыхъ въ четыре часа утра, Мортъ прислалъ за моимъ отцомъ адъютанта и отправилъ его въ Кремль.

Пожаръ достигъ въ эти дни страшныхъ размѣровъ: накалившійся воздухъ, непрозрачный отъ дыма, становился невыносимъ отъ жара. Наполеонъ былъ одѣтъ и ходилъ по комнатѣ, озабоченный, сердитый, онъ начиналъ чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнутъ и что тутъ не отдѣлаешься такою шуткою какъ въ Египтѣ. Планъ войны былъ нелѣпъ, это знали всѣ, кромѣ Наполеона, Ней и Нарбонъ, Бертъ и прочие офицеры: на всѣ возраженія онъ отвѣчалъ кабалистическимъ словомъ „Москва“; въ Москвѣ догадался и онъ.

Когда мой отецъ взмошелъ, Наполеонъ взялъ запечатанное письмо, лежавшее на столѣ, подалъ ему и сказалъ, откланиваясь: „я полагаюсь на ваше честное сло-

шаго этикета, — явился въ тронную залу кремлевскаго дворца по зову императора французовъ.

Разговоръ ихъ, который я столько разъ слышалъ, довольно вѣрно переданъ въ исторіи Барона Фен' и въ исторіи Михайловскаго-Данилевскаго.

Послѣ обыкновенныхъ фразъ, отрывистыхъ словъ и лапидарно-отрывистыхъ фразъ, которыми лѣтъ тридцать пять приписывали глубокой смыслъ, пока недогадались, что смыслъ ихъ очень часто былъ пошлъ, Наполеонъ разбранилъ Растопчина за пожаръ, говорилъ, что это вандализмъ, увѣрялъ, какъ всегда, въ своей непреодолимой любви къ миру, толковалъ что его война въ Англіи, а не въ Россіи, хвастался тѣмъ, что поставилъ караулъ къ воспитательному дому и къ Успенскому собору, жаловался на Александра, говорилъ, что онъ дурно окруженъ, что мирныя расположенія его неизвѣстны императору.

Отецъ мой замѣтилъ, что предложить миръ скорѣе дѣло побѣдителя.

— Я сдѣлалъ, что могъ, я посылалъ къ Кутузову, онъ не вступаетъ ни въ какіе переговоры и не доводитъ до свѣдѣнія государя моихъ предложеній. Хотятъ войны, не моя вина — будетъ имъ война.

Послѣ всей этой комедіи, отецъ мой попросилъ у него пропускъ для выѣзда изъ Москвы.

— Я пропусковъ не велѣлъ никому давать, зачѣмъ вы ѣдете? чего вы боитесь? я велѣлъ открыть рынки. Императоръ французовъ въ это время кажется забылъ, что сверхъ открытыхъ рынковъ, не мѣшаетъ имѣть покрытый домъ и что жизнь на Тверской площади средь непріятельскихъ солдатъ не изъ самыхъ пріятныхъ.

Отецъ мой замѣтилъ это ему; Наполеонъ подумалъ и вдругъ спросилъ.

— Возметесь-ли вы доставить императору письмо отъ меня? на этомъ условіи и велю вамъ дать пропускъ со всѣми вашими.

— Я принялъ бы предложеніе в. в., замѣтилъ ему мой отецъ, но мнѣ трудно ручаться.

— Даете-ли вы честное слово, что употребите всѣ средства лично доставить письмо?

— *Je m'engage sur mon honneur, Sire.*

— Это довольно. Я пришлю за вами. Имѣете вы въ чемъ нибудь нужду?

— Въ крышѣ для моего семейства, пока я здѣсь, больше ни въ чемъ.

— Герцогъ Тревизскій сдѣлаетъ, что можетъ.

Мортъ действительно далъ комнату въ генераль-губернаторскомъ домѣ и велѣлъ насъ снабдить съѣстными припасами; его метръ дотель прислалъ даже вина. Такъ прошло нѣсколько дней, послѣ которыхъ въ четыре часа утра, Мортъ прислалъ за моимъ отцомъ адъютанта и отправилъ его въ Кремль.

Пожаръ достигъ въ эти дни страшныхъ размѣровъ: накалившійся воздухъ, непрозрачный отъ дыма, становился невыносимъ отъ жара. Наполеонъ былъ одѣтъ и ходилъ по комнатѣ, озабоченный, сердитый, онъ начиналъ чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнуть и что тутъ не отдѣлаешься такою шуткою какъ въ Египтѣ. Планъ войны былъ нелѣпъ, это знали всѣ, кромѣ Наполеона, Ней и Нарбонъ, Бертъе и простые офицеры: на всѣ возраженія онъ отвѣчалъ кабалистическимъ словомъ „Москва“; въ Москвѣ догадался и онъ.

Когда мой отецъ взошелъ, Наполеонъ взялъ запечатанное письмо, лежавшее на столѣ, подаль ему и сказалъ, откланиваясь: „я полагаюсь на ваше честное сло-

во." На конвертѣ было написано: à mon frère l'empereur Alexandre.

Пропускъ, данный моему отцу, до сихъ поръ цѣлъ; онъ подписанъ герцогомъ Тревизскимъ и внизу скрѣпленъ *московскихъ* оберъ-полицмейстеромъ Лесепсомъ. Нѣсколько постороннихъ, узнавъ о пропускѣ, присоединились къ намъ, прося моего отца взять ихъ подъ видомъ прислуги или родныхъ. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пѣшкомъ. Нѣсколько уланъ верхами провожали насъ до русскаго арьергарда, въ виду котораго они пожелали счастливаго пути и поскакали назадъ. Черезъ минуту казаки окружили странныхъ выходцевъ и повели въ главную квартиру арьергарда. Тутъ начальствовали Винценгероде и Иловайскій IV.

Винценгероде, узнавъ о письмѣ, объявилъ моему отцу, что онъ его немедленно отправить съ двумя драгунами къ государю въ Петербургъ.

— Что дѣлать съ вашими? спросилъ казацкій генералъ Иловайскій, здѣсь оставаться невозможно, они здѣсь не виѣ ружейныхъ выстрѣловъ и со дня на день можно ждать серьезнаго дѣла. Отецъ мой просилъ, если возможно доставить насъ въ его яролавское имѣніе, но замѣтилъ притомъ, что у него съ собою нѣтъ ни копѣйки денегъ. Сочтемся послѣ, сказалъ Иловайскій, и будьте покойны, я даю вамъ слово ихъ отправить. Отца моего повезли на фельдъегерскихъ по тогдашнему фашиннику. Намъ Иловайскій досталъ какую-то старую колымагу и отправилъ до ближняго города съ партіей французскихъ плѣнниковъ, подъ прикрытіемъ казаковъ; онъ снабдилъ деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сдѣлалъ все, что могъ въ суетѣ и тревогѣ военнаго времени.

Таково было мое первое путешествіе по Россіи; второе было безъ французскихъ улановъ, безъ уральскихъ казаковъ и военноплѣнныхъ, — я былъ одинъ, возлѣ меня сидѣлъ пьяный жандармъ.

Отца моего привезли прямо къ Аракчееву и у него въ домѣ задержали. Графъ спросилъ письмо, отецъ мой сказалъ о своемъ честномъ словѣ лично доставить его; графъ обѣщалъ спросить у государя и на другой день письменно сообщилъ, что государь поручилъ ему взять письмо для немедленнаго доставленія. Въ полученіи письма онъ далъ росписку (и она цѣла). Съ мѣсяцъ отецъ мой оставался арестованнымъ въ домѣ Аракчеева; къ нему никого не пускали; одинъ С. С. Шишковъ пріѣзжалъ, по приказанію государя, распросить о подробностяхъ пожара, вступленія непріятеля и о свиданіи съ Наполеономъ; онъ былъ первый очевидецъ, явившійся въ Петербургъ. Наконецъ Аракчеевъ объявилъ моему отцу, что императоръ велѣлъ его освободить, не ставя ему въ вину, что онъ взялъ пропускъ отъ непріятельскаго начальства, что извинилось крайностью, въ которой онъ находился. Освобождая его, Аракчеевъ велѣлъ немедленно ѣхать изъ Петербурга, не выдавши ни съ кѣмъ, кромѣ старшаго брата, которому разрѣшено было проститься.

Пріѣхавши въ небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отецъ мой засталъ насъ въ крестьянской избѣ (господскаго дома въ этой деревнѣ не было), и спалъ на лавкѣ подъ окномъ, окно затворялось плохо, снѣгъ, пробываясь въ щель, заносилъ часть скамьи и лежалъ не таявши на оконницѣ.

Все было въ большомъ смущеніи, особенно моя мать. За нѣсколько дней до пріѣзда моего отца, утромъ староста и нѣсколько дворовыхъ съ поспѣшностью взошли

въ избу, гдѣ она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтобъ она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по русски, она только поняла, что рѣчь шла о Павлѣ Ивановичѣ; она не знала, что думать, ей приходило въ голову, что его убили или что его хотятъ убить, и потомъ ее. Она взяла меня на руки и ни живая ни мертвая, дрожа всѣмъ тѣломъ, пошла за старостой. Голохвастовъ занималъ другую избу, они взошли туда; старикъ лежалъ дѣйствительно мертвый возлѣ стола, за которымъ хотѣлъ бриться; громовой ударъ паралича мгновенно прекратилъ его жизнь.

Можно себѣ представить положеніе моей матери (ей было тогда семнадцать лѣтъ) среди этихъ *полудикихъ* людей съ бородами, одѣтыхъ въ нагольные тулупы, говорящихъ на совершенно незнакомомъ языкѣ, въ небольшой закоптѣлой избѣ, и все это въ Ноябрьѣ мѣсяцѣ страшной зимы 1812 года. Ея единственная опора былъ Голохвастовъ; она дни, ночи плакала послѣ его смерти. А *дикие* эти жалѣли ее отъ всей души, со всѣмъ радушіемъ, со всей простотой своей, и староста посылалъ нѣсколько разъ сына въ городъ за изюмомъ, пряниками, яблоками и баранками для нея.

Лѣтъ черезъ пятнадцать, староста еще былъ живъ и иногда пріѣзжалъ въ Москву, сѣдой какъ лушь и плѣшивый; моя мать угощала его обыкновенно чаемъ и поминала съ нимъ зиму 1812 года, какъ она его боялась и какъ они, не понимая другъ друга, хлопотали о похоронахъ Павла Ивановича. Старикъ все еще называлъ мою мать, какъ тогда, Юлиза Ивановна — вмѣсто Луиза, и рассказывалъ какъ я вовсе не боялся его бороды и охотно ходилъ къ нему на руки.

Изъ ярославской губерніи мы переѣхали въ тверскую и наконецъ, черезъ годъ, перебрались въ Москву. Къ

тѣмъ порамъ воротился изъ Швеціи братъ моего отца, бывшій посланникомъ въ Вестфаліи и потомъ ѣздившій за чѣмъ-то къ Бернадоту; онъ поселился въ одномъ домѣ съ нами.

Я еще, какъ сквозь сонъ, помню слѣды пожара, остававшіеся до начала двадцатыхъ годовъ, большіе обгорѣлые дома безъ рамъ, безъ крышъ, обвалившіеся стѣны, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и трубъ на нихъ.

Разказы о пожарѣ Москвы, о Бородинскомъ сраженіи, о Березинѣ, о взятіи Парижа, были моею колыбельной пѣснью, дѣскими сказками, моею Иліадою и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отецъ и Вѣра Артамоновна безпрестанно возвращались къ грозному времени, поразившему ихъ такъ недавно, такъ близко и такъ круто. Потомъ возвратившіеся генералы и офицеры стали наѣзжать въ Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники покрытые славой едва кончившейся, кровавой борьбы, часто бывали у насъ. Они отдыхали отъ своихъ трудовъ и дѣлъ, рассказывая ихъ. Это было дѣйствительно самое блестящее время петербургскаго періода; сознаніе силы давало новую жизнь, дѣла и заботы казалось были отложены на завтра, на будни, теперь хотѣлось поппрорать на радостяхъ побѣды.

Тутъ я еще больше наслушался о войнѣ, чѣмъ отъ Вѣры Артамоновны. Я очень любилъ разказы графа Милорадовича, онъ говорилъ съ чрезвычайною живостью, съ рѣзкой мимикой, съ громкимъ смѣхомъ и я не разъ засыпалъ подъ нихъ на диванѣ за его спиной.

Разумѣется, что при такой обстановкѣ, я былъ отчаянный патріотъ и собирался въ полкъ; но исключительное чувство національности никогда до добра не

доводить; меня оно довело до слѣдующаго. Между прочими у насъ бывалъ графъ Кенсона, французскій эмигрантъ и генераль-лейтенантъ русской службы. Отчаянный роялистъ, онъ участвовалъ на знаменитомъ праздникѣ, на которомъ королевскіе опричники топтали народную кокарду, и гдѣ Марія Антуанета пала на погибель революціи. Графъ Кенсона, худой, стройный, высокій и сѣдой старикъ, былъ типъ учтивости и изящныхъ манеръ. Въ Парижѣ его ждало перство, онъ уже ѣздилъ поздравлять Людовика XVIII съ мѣстомъ и возвратился въ Россію для продажи имѣнья. Надобно было на мою бѣду, чтобъ вѣжливейшій изъ генераловъ всѣхъ русскихъ армій, сталъ при мнѣ говорить о войнѣ. „Да, вѣдь вы стало сражались противъ насъ?“ спросилъ я его пренаивно. Non, mon petit, non, j'étais dans l'armée russe. „Какъ, сказалъ я, вы французъ и были въ нашей арміи, это не можетъ быть!“ Отецъ мой строго взглянулъ на меня и замялъ разговоръ. Графъ геройски поправилъ дѣло, онъ сказалъ, обращаясь къ моему отцу, „что ему нравятся такіа *патріотическія* чувства.“ Отцу моему онѣ не понравились, и онъ мнѣ задалъ послѣ его отъѣзда страшную гонку. „Вотъ что значитъ говорить очертя голову обо всемъ, чего ты не понимаешь и не можешь понять, графъ изъ вѣрности *своему* королю, служилъ *нашему* императору.“ Дѣйствительно я этого не понималъ.

Отецъ мой провелъ лѣтъ двѣнадцать за границей, братъ его еще дольше; они хотѣли устроить какую-то жизнь на иностраннѣйшій манеръ, безъ большихъ тратъ и съ сохраненіемъ всѣхъ русскихъ удобствъ. Жизнь не устроивалась, оттого-ли что они не умѣли сладить, оттого-ли что помѣщицья натура брала верхъ надъ ино-

странными привычками? Хозяйство было общее, имѣнье нераздѣльное, огромная дворня заселяла нижній этажъ, всѣ условія безпорядка стало быть были на лицо.

За мной ходили двѣ нянюшки — одна русская и одна нѣмка; Вѣра Артамоновна и М-ме Прово были очень добрыя женщины, но мнѣ было скучно смотрѣть, какъ онѣ цѣлый день вижутъ чулокъ и пикируются между собой, а потому при всякомъ удобномъ случаѣ я убѣгалъ на половину Сенатора (бывшаго посланника), къ моему единственному пріятелю, къ его камердинеру Кало.

Добрѣе, кротче, мягче и мало встрѣчалъ людей; совершенно одинокій въ Россіи, разлученный со всѣми своими, плохо говорившій по русски, онъ имѣлъ женскую привязанность ко мнѣ. Я часы цѣлые проводилъ въ его комнатѣ, докучалъ ему, притѣснялъ его, шалилъ — онъ все выносилъ съ добродушной улыбкой, вырѣзывалъ мнѣ всякія чудеса изъ картонной бумаги, точилъ разныя бездѣлицы изъ дерева (за то вѣдь какъ же я его и любилъ). По вечерамъ онъ приносилъ ко мнѣ на верхъ изъ библіотеки книги съ картинами — путешествіе Гмелина и Паласса и еще толстую книгу „Свѣтъ въ лицахъ“, которая мнѣ до того нравилась, что я ее смотрѣлъ до тѣхъ поръ, что даже кожаной переплетъ не вынесъ; Кало часа по два показывалъ мнѣ одинъ и тѣ же изображенія, повторяя тѣ же объясненія въ тысячный разъ.

Передъ днемъ моего рожденія и моихъ именинъ, Кало запирался въ своей комнатѣ, оттуда были слышны разные звуки молотка и другихъ инструментовъ; часто быстрыми шагами проходилъ онъ по коридору, всякій разъ запирая на ключъ свою дверь, то съ каструлькой для клея, то съ какими-то завернутыми въ

бумагу вещами. Можно себя представить какъ мнѣ хотѣлось знать, что онъ готовитъ, я подсылалъ дворовыхъ мальчиковъ вывѣдать, но Кало держалъ ухо востро. Мы какъ-то открыли на лѣстницѣ небольшое отверстіе, падавшее прямо въ его комнату, но и оно намъ не помогло; видна была верхняя часть окна и портретъ Фридриха II съ огромнымъ носомъ, съ огромной звѣздой и съ видомъ исхудалаго коршуна. Дни за два шумъ переставалъ, комната была отворена—все въ ней было по старому, кой-гдѣ валялись только обрѣзки золотой и цвѣтной бумаги; я краснѣлъ снѣдаемый любопытствомъ, но Кало, съ натянуто-серьезнымъ видомъ, не касался щекотливаго предмета.

Въ мученіяхъ доживалъ я до торжественнаго дня, въ пять часовъ утра я уже просыпался и думалъ о приготовленіяхъ Кало; часовъ въ восемь являлся онъ самъ въ бѣломъ галстухѣ, въ бѣломъ жилетѣ, въ синемъ фракѣ и съ пустыми руками.—Когда-же это кончится? Не испортилъ-ли онъ? И время шло и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексѣевны Голохвастовой уже приходилъ съ завязанной въ салфеткѣ богатой игрушкой и Сенаторъ уже приносилъ какія-нибудь чудеса, но безпокойное ожиданіе сюрприза мutilо радость.

Вдругъ, какъ нибудь невзначай, послѣ обѣда или послѣ чая, нянюшка говорила мнѣ, „сойдите на минуточку внизъ, васъ спрашиваетъ одинъ человѣкъ.“ Вотъ оно, думалъ я, и опускался, скользя на рукахъ, по поручнямъ лѣстницы. Двери въ залу отворяются съ шумомъ, играетъ музыка, транспарантъ съ моимъ вензелемъ горитъ, дворовые мальчики, одѣтые турками, подаютъ мнѣ конфеты, потомъ кукольная комедія или комнатный фейерверкъ. Кало въ поту, суетится, все самъ приводитъ въ движеніе и не меньше меня въ восторгѣ.

Какіе же подарки могли стать рядомъ съ такимъ праздникомъ, — я же никогда не любилъ *вещей*, бугоръ собственности и стижанія не былъ у меня развитъ ни въ какой возрастъ, — усталъ отъ неизвѣстности, множество свѣчекъ, фольги и запахъ пороха! Недоставало можетъ одного—товарища, но я все ребячество провелъ въ одиночествѣ*) и стало не быть избалованъ съ этой стороны.

У моего отца былъ еще братъ, старшій обоихъ, съ которымъ онъ и Сенаторъ находились въ открытомъ разрывѣ; не смотря на то, они имѣли управленіи вмѣстѣ, т. е. разоряли его сообща. Безпорядокъ тройнаго управленія при ссорѣ былъ вопіющъ. Два брата дѣлали все наперекоръ старшему, онъ имъ. Старосты и крестьяне теряли голову; одинъ требуетъ подводу, другой сѣна, третій дровъ, каждый распоряжается, каждый посылаетъ своихъ повѣренныхъ. Старшій братъ назначаетъ старосту, — меньшіе смѣняютъ его черезъ мѣсяцъ, придравшись къ какому нибудь вздору и назначаютъ другого, котораго старшій братъ не признаетъ. При этомъ, какъ слѣдуетъ, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на днѣ всего бѣдные крестьяне, не находившіе ни расправы, ни защиты и которыхъ тормозили въ разныя стороны, обременяли двойной работой и неустройствомъ капризныхъ требованій.

*) Кромѣ меня у моего отца былъ другой сынъ лѣтъ десять старше меня. Я его всегда любилъ, но товарищемъ онъ мнѣ не могъ быть. Лѣтъ съ двѣнадцати и до тридцати онъ провелъ подъ ножомъ хирурговъ. Послѣ ряда истязаній, вынесенныхъ съ чрезвычайнымъ мужествомъ, превративъ цѣлое существованіе въ одну перемежающуюся операцію, доктора объявили его болѣзнь неизлѣчимою. Здоровье было разрушено; обстоятельства и нравъ способствовали окончательно сломать его жизнь. Страницы, въ которыхъ я говорю о его уединенномъ, печальномъ существованіи, выпущены мной, я ихъ не хочу печатать безъ его согласія.

Ссора между братьями имѣла первымъ слѣдствіемъ, поразившимъ ихъ,—потерю огромнаго процесса съ графами Девіеръ, въ которомъ они были правы. Имѣя одинъ интересъ, они не могли никогда согласиться въ образѣ дѣйствія; противная партія естественно воспользовалась этимъ. Сверхъ потери большаго и прекраснаго имѣнія, сенатъ приговорилъ каждого изъ братьевъ къ уплатѣ проторей и убытковъ *по тридцати тысячъ* руб. асс. Этотъ урокъ раскрылъ имъ глаза и они рѣшились раздѣлиться. Около года продолжались пріуготовительныя толки, имѣнье было разбито на три довольно равныя части, судьба должна была рѣшиться кому какая достанется. Сенаторъ и мой отецъ ѣздили къ брату, котораго не видали нѣсколько лѣтъ для переговоровъ и примиренія, потомъ разнесся слухъ, что онъ пріѣдетъ къ намъ для окончанія дѣла. Слухъ о пріѣздѣ старшаго брата распространилъ ужасъ и безпокойство въ нашемъ домѣ.

Это было одно изъ тѣхъ оригинально-уродливыхъ существъ, которыми только возможны въ оригинально уродливой русской жизни. Онъ былъ человекъ даровитый отъ природы и всю жизнь дѣлалъ нелѣпости, доходившія часто до преступленій. Онъ получилъ порядочное образованіе на французскій манеръ, былъ очень начитанъ,—и проводилъ время въ развратѣ и праздной пустотѣ до самой смерти. Онъ началъ свою службу тоже съ Измайловскаго полка, состоялъ при Потемкинѣ чѣмъ-то въ родѣ адъютанта, потомъ служилъ при какой-то миссіи и, возвратившись въ Петербургъ, былъ сдѣланъ оберъ-прокуроромъ въ Синодѣ. Ни дипломатическій кругъ, ни монашескій не могли укротить необузданный характеръ его. За ссоры съ архіереями онъ былъ отставленъ, за пощечину, которую хотѣлъ дать или далъ

на официальномъ обѣдѣ у генераль-губернатора какому-то господину, ему былъ воспрещенъ въѣздъ въ Петербургъ. Онъ уѣхалъ въ свое тамбовское имѣнье; тамъ мужики чуть не убили его за волокитство и свирѣпости; онъ былъ обязанъ своему кучеру и лошадямъ спасеніемъ жизни.

Послѣ этого онъ поселился въ Москвѣ. Покинутый всѣми родными и всѣми посторонними, онъ жилъ одинъ одиноконекъ въ своемъ большомъ домѣ на Тверскомъ бульварѣ, притѣснялъ свою дворню и раззорялъ мужиковъ. Онъ завелъ большую бібліотеку и цѣлую крепостную сераль, и то и другое держалъ на заперти. Лишенный всякихъ занятій и скрывая страшное самолюбіе, доходившее до наивности, онъ для разсѣянія скупалъ ненужныя вещи и заводилъ еще болѣе ненужныя тяжбы, которыя велъ съ ожесточеніемъ. *Тридцать* лѣтъ длился у него процессъ объ Аматиѣвской скрипкѣ и кончился тѣмъ, что онъ выигралъ ее. Онъ оттягалъ послѣ необычныхъ усилій стѣну общую двумъ домамъ, отъ обладанія которой онъ ничего не приобрѣталъ. Будучи въ отставкѣ, онъ, по газетамъ приравнивая къ себѣ повышеніе своихъ сослуживцевъ, покупалъ ордена имъ данныя и клалъ ихъ на столѣ, какъ скорбное напоминаніе: чѣмъ и чѣмъ онъ могъ бы быть изукрашенъ!

Братья и сестры его боялись и не имѣли съ нимъ никакихъ сношеній, наши люди обходили его домъ, чтобъ не встрѣтиться съ нимъ и блѣднѣли при его видѣ; женщины боялись его наглыхъ преслѣдованій, дворовые служили молебны, чтобъ не достаться ему.

И вотъ этотъ то страшный человѣкъ долженъ былъ пріѣхать къ намъ. Съ утра во всемъ домѣ было необыкновенное волненіе; я никогда прежде не видалъ

этого мистическаго „брата врага,“ хотя и родился у него въ домѣ, гдѣ жилъ мой отецъ, послѣ пріѣзда изъ чужихъ краевъ; мнѣ очень хотѣлось его посмотрѣть и въ тоже время я боялся, не знаю чего, но очень боялся.

Часа за два передъ нимъ явился старшій племянникъ моего отца, двое близкихъ знакомыхъ и одинъ добрый, толстый и сырой чиновникъ, завѣдывавшій дѣлами. Всѣ сидѣли въ молчаливомъ ожиданіи, вдругъ взошелъ офиціантъ и какимъ то не своимъ голосомъ доложилъ: „Братецъ изволили пожаловать.“ — Проси, сказалъ Сенаторъ съ примѣтнымъ волненіемъ, мой отецъ принялся нюхать табакъ, племянникъ поправилъ галстукъ, чиновникъ повернулся и откашлянулъ. Мнѣ было велѣно идти на верхъ, я остановился, дрожа всѣмъ тѣломъ, въ другой комнатѣ.

Тихо и важно подвигался „братецъ,“ Сенаторъ и мой отецъ пошли ему на встрѣчу. Онъ несъ съ собою, какъ носить на свадьбахъ и похоронахъ, обѣими руками передъ грудью — образъ, и протяжнымъ голосомъ, нѣсколько въ носъ обратился къ братьямъ съ слѣдующими словами:

— Этимъ образомъ благословилъ меня предъ своей кончиной нашъ родитель, поручая мнѣ и покойному брату Петру печься объ васъ и быть вашимъ отцомъ въ замѣну его... еслибъ покойный родитель нашъ зналъ ваше поведеніе противъ старшаго брата....

— Ну, *mon cher frère*, замѣтилъ мой отецъ своимъ изученно безстрастнымъ голосомъ, — хорошо и вы исполнили послѣднюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелыя напоминовенія для васъ, да и для насъ.

— Какъ? — что? — закричалъ набожный братецъ. Вы

меня за этимъ звали... и такъ бросилъ образъ, что серебрянная риза его задрезжалась. Тутъ и Сенаторъ закричалъ голосомъ еще страшнѣйшимъ. Я опрометью бросился на верхній этажъ и только успѣлъ видѣть, что чиновникъ и племянникъ, испуганные не меньше меня, ретировались на балконъ.

Что было и какъ было, я не умѣю сказать; испуганные люди забились въ углы, никто ничего не зналъ о происходившемъ, ни Сенаторъ, ни мой отецъ никогда при мнѣ не говорили объ этой сценѣ. Шумъ мало по малу утихъ и раздѣлъ имѣнія былъ сдѣланъ, тогда или въ другой день не помню.

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковское имѣнье въ Рузскомъ уѣздѣ. На слѣдующій годъ мы жили тамъ цѣлое лѣто; въ продолженіи этого времени Сенаторъ купилъ себѣ домъ на Арбатѣ, мы пріѣхали одни на нашу большую квартиру, опустѣвшую и мертвую. Вскорѣ потомъ и отецъ мой купилъ тоже домъ въ Старой-Конюшенной.

Съ Сенаторомъ удалялся во первыхъ Кало, а во вторыхъ все живое начало нашего дома. Онъ одинъ мѣшалъ ипохондрическому нраву моего отца взять верхъ, теперь ему была воля вольная. Новый домъ былъ печаленъ, онъ напоминалъ тюрьму или больницу; нижній этажъ былъ со сводами, толстыя стѣны придавали окнамъ видъ крѣпостныхъ амбразуръ, кругомъ дома со всѣхъ сторонъ былъ ненужной величины дворъ.

Въ сущности скорѣе надобно дивиться, какъ Сенаторъ могъ такъ долго жить подъ одной крышей съ своимъ отцомъ, чѣмъ тому, что они разлѣхались. Я рѣдко видалъ двухъ человѣкъ болѣе противоположныхъ, какъ они.

Сенаторъ былъ по характеру человѣкъ добрый и лю-

бывшій разсѣянiя; онъ провелъ всю жизнь въ мiрѣ освѣщенномъ лампами, въ мiрѣ официально-дипломатическомъ и придворно-служебномъ, не догадываясь, что есть другой мiръ посерьезнѣе—не смотря даже на то, что всѣ событiя съ 1789 до 1815 не только прошли возлѣ, но зацѣплялись за него. Графъ Воронцовъ посылалъ его къ лорду Гренвилю, чтобъ узнать о томъ, что предпринимаетъ генералъ Бонапартъ, оставившій египетскую армiю. Онъ былъ въ Парижѣ во время коронацiи Наполеона. Въ 1811 году Наполеонъ велѣлъ его остановить и задержать въ Касселѣ, гдѣ онъ былъ посломъ „при царѣ Ерѣмѣ“, какъ выражался мой отецъ въ минуты досады. Словомъ, онъ былъ на лицо при всѣхъ огромныхъ происшествiяхъ послѣдняго времени, по какъ-то странно, не такъ какъ слѣдуетъ.

Лейбъ-гвардiи капитаномъ Измайловскаго полка, онъ находился при миссiи въ Лондонѣ; Павелъ, увидя это въ спискахъ, велѣлъ ему немедленно явиться въ Петербургъ. Дипломатъ-воинъ отправился съ первымъ кораблемъ и явился на разводъ.

— Хочешь оставаться въ Лондонѣ? спросилъ сильнымъ голосомъ Павелъ

— Если в. в. угодно будетъ мнѣ позволить, отвѣчалъ капитанъ при посольствѣ.

— Ступай назадъ, не теряя времени, отвѣтилъ Павелъ сильнымъ голосомъ, и онъ отправился, не повидавшись даже съ родными, жившими въ Москвѣ.

Пока дипломатическiе вопросы разрѣшались штыками и картечью, онъ былъ посланникомъ и заключилъ свою дипломатическую карьеру во время Вѣнскаго конгресса, этого свѣтлаго праздника всѣхъ дипломатiй. Возвратившись въ Россiю, онъ былъ произведенъ въ дѣйствительные камергеры въ Москвѣ — гдѣ нѣтъ двора.

Не зная законовъ и русскаго судопроизводства, онъ попалъ въ Сенатъ, сдѣлался членомъ Опекунскаго совѣта, начальникомъ Марьинской больницы, начальникомъ Александринскаго института, и все исполнялъ съ рвеніемъ, которое, врядъ было-ли нужно, съ строптивостью, которая вредила, съ честностью, которую никто не замѣчалъ.

Онъ никогда не бывалъ дома. Онъ заѣзжалъ въ день двѣ четверки здоровыхъ лошадей, одну утромъ, одну послѣ обѣда. Сверхъ Сената, который онъ никогда не забывалъ, опекунскаго совѣта, въ которомъ бывалъ два раза въ недѣлю, сверхъ больницы и института, онъ не пропускалъ почти ни одинъ французскій спектакль и ѣздилъ раза три въ недѣлю въ англійскій клубъ. Скучать ему было нѣкогда, онъ всегда былъ занятъ, разсѣянъ, онъ все ѣхалъ куда-нибудь и жизнь его легко катилась на ресорахъ по міру обертокъ и переплетовъ.

За то онъ до семидесяти пяти лѣтъ былъ здоровъ какъ молодой человѣкъ, являлся на всѣхъ большихъ балахъ и обѣдахъ, на всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ и годовыхъ актахъ — все равно какихъ, агрономическихъ или медицинскихъ, страховаго отъ огня общества, или общества естествоиспытателей... да сверхъ того за то же можетъ сохранилъ до старости долю человѣческаго сердца и нѣкоторую теплоту.

Нельзя ничего себѣ представить больше противоположнаго вѣчнодвижущемуся, сангвиническому Сенатору, иногда заѣзжавшему домой — какъ моего отца, почти никогда не выходившаго со двора, ненавидившаго весь офиціальный міръ, вѣчно капризнаго и недовольнаго. У насъ было тоже восемь лошадей (прескверныхъ), но наша конюшня была въ родѣ богоугоднаго заведенія для клячь; мой отецъ ихъ держалъ от-

части для порядка, и отчасти для того, чтобъ два кучера и два фореитера имѣли какое нибудь занятіе, сверхъ хожденія за московскими вѣдомостями и пѣтушинныхъ боевъ, которые они завели съ успѣхомъ между каретнымъ сараемъ и сосѣднимъ дворомъ.

Отецъ мой почти совсѣмъ не служилъ; воспитанный французскимъ гувернеромъ въ домѣ набожной и благочестивой тетки, онъ лѣтъ шестнадцати поступилъ въ Измайловскій полкъ сержантомъ, послужилъ до павловскаго воцаренія и вышелъ въ отставку гвардіи капитаномъ; въ 1801 онъ уѣхалъ за границу и прожилъ скитаясь изъ страны въ страну до конца 1811 года. Онъ возвратился съ моею матерью за три мѣсяца до моего рожденія и проживши годъ въ тверскомъ имѣніи послѣ московскаго пожара, переѣхалъ на житіе въ Москву, стараясь какъ можно уединеннѣе и скучнѣе устроить жизнь. Живость брата ему мѣшала.

Послѣ переѣзда Сенатора все въ домѣ стало принимать болѣе и болѣе угрюмый видъ. Стѣны, мебель, слуги, все смотрѣло съ неудовольствіемъ, изъ-подлобья, само собою разумѣется, всѣхъ недовольнѣе былъ мой отецъ самъ. Искусственная тишина, шопотъ, осторожные шаги прислуги выражали не вниманіе, а подавленность и страхъ. Въ комнатахъ все было неподвижно, пять, шесть лѣтъ одинъ и тѣ же книги лежали на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ и въ нихъ тѣ же замѣтки. Въ спальнѣ и кабинетѣ моего отца годы цѣлыя не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уѣзжая въ деревню, онъ бралъ ключъ отъ своей комнаты въ карманъ, чтобъ безъ него не вздумали вымыть полъ или почистить стѣны.

ГЛАВА II.

Разговоръ нянюшекъ и беседа генераловъ — Ложное положеніе —
Русскіе энциклопедисты — Скука — Дѣвичья и передняя — Два нѣмца
— Ученіе и чтеніе — Катихизисъ и Евангеліе.

Лѣтъ до десяти я не замѣчалъ ничего страннаго, особеннаго въ моемъ положеніи; мнѣ казалось естественно и просто, что я живу въ домѣ моего отца что у него на половинѣ я держу себя чинно, что у моей матери другая половина гдѣ я кричу и шалю сколько душѣ угодно. Сенаторъ баловалъ меня и дарилъ игрушки, Кало носилъ на рукахъ, Вѣра Артамоновна одѣвала меня, клала спать и мыла въ корытѣ, М^{ме} Прово водила гулять и говорила со мной по нѣмецки; все шло своимъ порядкомъ, а между тѣмъ и началъ призадумываться.

Вѣглыя замѣчанія, неосторожно сказанныя слова, стали обращать мое вниманіе. Старушка Прово и вся дворня любили безъ памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашнія сцены, возникавшія иногда между ними, служили часто темой разговоровъ М^{ме} Прово съ Вѣрой Артамоновной, бравшихъ всегда сторону моей матери.

Моя мать дѣйствительно имѣла много непріятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но безъ твердой воли,

она была совершенно подавлена мопмъ отцомъ и какъ всегда бываетъ съ слабыми натурами, дѣлала отчаянную оппозицію въ мелочахъ и бездѣлицахъ. По несчастію именно въ этихъ мелочахъ отецъ мой былъ почти всегда правъ и дѣло оканчивалось его торжествомъ.

— Я право, говаривала на примѣръ М^{ме} Прово, на мѣстѣ барыни просто взяла бы да и уѣхала въ Штутгартъ; какая отрада — все капризы, да непріятности, скука смертная.

— Разумѣется, добавляла Вѣра Артамоновна, да вотъ что связало по рукамъ и ногамъ, и она указывала спичками чулка на меня, „Взять съ собой—куда? къ чему? — покинуть здѣсь одного, съ нашими порядками, это и вчуужъ жаль!“

Дѣти вообще проникательнѣе нежели думаютъ, они быстро разсѣваются, на время забываютъ, что ихъ поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются съ удивительной настойчивостью и ловкостью до истины.

Однажды настороженный, я въ нѣсколько недѣль узналъ всѣ подробности о встрѣчѣ моего отца съ моей матерью, о томъ, какъ она рѣшилась оставить родительскій домъ, какъ была спрятана въ русскомъ посылствѣ къ Касселѣ, у Сенатора, и въ мужскомъ платьѣ переѣхала границу; все это я узналъ, ни разу не сдѣлавъ никому ни одного вопроса.

Первое слѣдствіе этихъ открытій было отдаленіе отъ моего отца—за сцены, о которыхъ я говорилъ. Я ихъ видѣлъ и прежде, но мнѣ казалось, что это въ совершенномъ порядкѣ, я такъ привыкъ что все въ домѣ, не исключая Сенатора, боялось моего отца, что онъ всѣмъ дѣлалъ замѣчанія, что не находилъ этого стран-

нимъ. Теперь я сталъ иначе понимать дѣло и мысль, что доля всего выносится за меня, заволакивало иной разъ темнымъ и тяжелымъ облакомъ свѣтлую, дѣтскую фантазію.

Вторая мысль, укоренявшаяся во мнѣ съ того времени, состояла въ томъ, что я гораздо меньше завишу отъ моего отца, нежели вообще дѣти. Эта самобытность, которую я самъ себѣ выдумалъ, мнѣ нравилась.

Года черезъ два или три, разъ вечеромъ сидѣли у моего отца, два товарища по полку, П. К. Эссенъ, Оренбургскій ген.-губернаторъ и А. Н. Бахметевъ, бывшій намѣстникомъ въ Бессарабіи, генералъ, которому подъ Бородинимъ отторвало ногу. Комната моя была возлѣ залы, въ которой они усѣлись. Между прочимъ мой отецъ сказалъ имъ, что онъ говорилъ съ княземъ Юсуповымъ на счетъ опредѣленія меня на службу. „Время терять нечего, прибавилъ онъ, вы знаете, что ему надобно долго служить для того, чтобъ до чего-нибудь дослужиться.“

— Что тебѣ братецъ за охота, сказалъ добродушно Эссенъ, дѣлать изъ него писаря. Поручи мнѣ это дѣло, я его запишу въ уральскіе казаки, въ офицеры его выведемъ, это главное, потомъ своимъ чередомъ и пойдеть, какъ мы всѣ.

Мой отецъ не соглашался, говорилъ что онъ разлюбилъ все военное, что онъ надѣется помѣстить меня современемъ гдѣ-нибудь при миссіи въ тепломъ краѣ, куда и онъ бы поѣхалъ оканчивать жизнь.

Бахметевъ, мало бравшій участія въ разговорѣ, сказалъ, вставая на своихъ костыляхъ. „Мнѣ кажется, что вамъ слѣдовало бы очень подумать о совѣтѣ Петра Кириловича. Не хотите записывать въ Оренбургъ, можно и здѣсь записать. Мы съ вами старые друзья и я

привыкъ говорить съ вами откровенно, штатской службой, университетомъ вы ни *вашему молодому человеку* не сдѣлаете добра, ни пользы для общества. Онъ живымъ образомъ въ ложномъ положеніи, одна военная служба можетъ разомъ раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чѣмъ онъ дойдетъ до того, что будетъ командовать ротой, всѣ опасныя мысли улягутся. Военная дисциплина — великая школа, дальнѣйшее зависить отъ него. Вы говорите, что онъ имѣетъ способности, да развѣ въ военную службу идутъ одни дураки? А мы то съ вами, да и весь нашъ кругъ? Одно вы можете возразить, что ему дольше надобно служить до офицерскаго чина, да въ этомъ-то именно мы и поможемъ вамъ.“

Разговоръ этотъ стоялъ замѣчаній М^{ме} Прово и Вѣры Артамоновны. Мнѣ тогда уже было лѣтъ 13, такіе уроки, переворачиваемые на всѣ стороны, разбираемые педѣли, мѣсяцы въ совершенномъ одиночествѣ, приносили свой плодъ. Результатомъ этого разговора было то, что я, мечтавшій прежде какъ всѣ дѣти о военной службѣ и мундирѣ, чуть не плакавшій о томъ, что мой отецъ хотѣлъ изъ меня сдѣлать статскаго, вдругъ охладѣлъ къ военной службѣ; и хотя не разомъ, но мало по малу искоренилъ до тла любовь и нѣжность къ эполетомъ, аксельбантамъ, лампасамъ. Еще разъ впрочемъ потухающая страсть къ мундиру вспыхнула. Родственникъ нашъ, учившійся въ пансіонѣ въ Москвѣ и приходявшій иногда по праздникамъ къ намъ, поступилъ въ Ямбургскій уланскій полкъ. Въ 1825 году онъ пріѣзжалъ юнкеромъ въ Москву и остановился у насъ на нѣсколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидѣлъ со всѣми шиурками и шиурочками, съ саблей и въ четвероугольномъ киверѣ, надѣтомъ не много на

бокѣ и привязанномъ на шнуркѣ. Онъ былъ лѣтъ семнадцати и небольшого роста. Утромъ на другой день и одѣлся въ его мундиръ, надѣлъ саблю и киверъ и посмотрѣлъ въ зеркало. Боже мой, какъ я казался себѣ хорошъ, въ синемъ куцомъ мундирѣ, съ красными выпушками! А этишкеты, а помпонъ, а ледунка... что съ ними въ сравненіи была камлотовая куртка которую я носилъ дома и желтые китайчатые панталоны?

Пріѣздъ родственника потрясъ было дѣйствіе генеральской рѣчи, но вскорѣ обстоятельства снова и окончательно отклонили мой умъ отъ военного мундира.

Внутренній результатъ думъ о „ложномъ положеніи“ былъ довольно сходенъ съ тѣмъ, который я вывелъ изъ разговоровъ двухъ нянюшекъ. Я чувствовалъ себя свободнѣе отъ общества, котораго вовсе не зналъ, чувствовалъ, что въ сущности я оставленъ на собственныхъ силъ и съ нѣскольکو дѣтской заносчивостью думалъ, что покажу себя Алексѣю Николаевичу съ товарищами.

При всемъ этомъ можно себѣ представить, какъ томно и однообразно шло для меня время въ странномъ аббатствѣ родительскаго дома. Не было мнѣ ни поощреній, ни разсѣяній, отецъ мой былъ почти всегда мною недоволенъ, онъ баловалъ меня только лѣтъ до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убѣгалъ, провожая ихъ на дворъ, поиграть съ дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большимъ почернѣлымъ комнатамъ съ закрытыми окнами днемъ, едва освѣщенными вечеромъ, ничего не дѣлая или читая всякую всячину.

Передняя и дѣвичья составляли единственное живое удовольствіе, которое у меня оставалось. Тутъ мнѣ

было совершенное раздолье, я бралъ партію однихъ противъ другихъ, судилъ и рѣдилъ вмѣстѣ съ моими пріятелями ихъ дѣла, зналъ всѣ ихъ секреты и никогда не проболтался въ гостинной о тайнахъ передней.

На этомъ предметѣ нельзя не остановиться. Я впрочемъ вовсе не бѣгу отъ отступленій и эпизодовъ, такъ идетъ всякій разговоръ, такъ идетъ самая жизнь.

Дѣти вообще любятъ слугъ; родители запрещаютъ имъ сближаться съ ними, особенно въ Россіи; дѣти не слушаютъ ихъ, потому что въ гостинной скучно, а въ дѣвичьей весело. Въ этомъ случаѣ, какъ въ тысячахъ другихъ, родители не знаютъ, что дѣлаютъ. Я никакъ не могу себѣ представить, чтобъ наша передняя была вреднѣе для дѣтей чѣмъ наша „чайная“ или „диванная.“ Въ передней дѣти перенимаютъ грубыя выраженія и дурныя манеры, это правда; но въ гостинной они принимаютъ грубыя мысли и дурныя чувства.

Самый приказъ удалиться отъ людей, съ которыми дѣти въ безпрерывномъ сношеніи, безправствененъ.

Много толкуютъ у насъ о глубокомъ развратѣ слугъ, особенно крѣпостныхъ. Они дѣйствительно не отличаются примѣрной строгостью поведенія, нравственное паденіе ихъ видно уже изъ того, что они слишкомъ многое выносятъ, слишкомъ рѣдко возмущаются и даютъ отпоръ. Но не въ этомъ дѣло. Я желалъ бы знать, которое сословіе въ Россіи меньше ихъ развращено? Неужели дворянство, или чиновники? — быть можетъ духовенство?

Что-же вы смѣтаете?

Развѣ одни крестьяне найдутъ кой-какія права...

Разница между дворянами и дворовыми также мала, какъ между ихъ названіями. Я ненавижу, особенно по-

слѣ бѣдъ 1848 г. демагогическую лесть толпѣ, но аристократическую клевету на народъ ненавижу еще больше. Представляя слугъ и рабовъ распутными звѣрями, плантаторы отводятъ глаза другимъ и заглушаютъ крики совѣсти въ себѣ. Мы рѣдко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчѣе скрываемъ эгоизмъ и страсти; наши желанія не такъ грубы и не такъ явны отъ легости удовлетворенія, отъ привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытѣе и вслѣдствіе этого взыскательнѣе. Когда графъ Альмавива изчислилъ севильскому цирюльнику качества, которыя онъ требуетъ отъ слугъ, Фигаро замѣтилъ, вздыхая: „Ели слугѣ надобно имѣть всѣ эти достоинства, много-ли найдется господъ годныхъ быть лакеями?“

Развратъ въ Россіи вообще не глубокъ, онъ больше дикъ и сальнъ, шумевъ и грубъ, растрепанъ и безстыденъ, чѣмъ глубокъ. Духовенство запершись дома пьянствуетъ и обжирается съ купечествомъ. Дворянство пьянствуетъ на бѣломъ свѣтѣ, играетъ на пропалую въ карты, дерется съ слугами, развратничаетъ съ горничными, ведетъ дурно свои дѣла и еще хуже семейную жизнь. Чиновники дѣлаютъ тоже, но грязнѣе, да сверхъ того подличаютъ передъ начальниками и воруютъ по мелочи. Дворяне собственно меньше воруютъ, они открыто берутъ чужое, впрочемъ, гдѣ случится, похулы на руку не кладутъ.

Всѣ эти милыя слабости встрѣчаются въ формѣ еще грубѣйшей у чиновниковъ стоящихъ за 14 классомъ, у дворянъ принадлежащихъ не царю, а помѣщикамъ. Но чѣмъ они хуже другихъ какъ сословіе—я не знаю.

Перебирая воспоминанія мои, не только о дворовыхъ нашего дома и Сенатора, но о слугахъ двухъ, трехъ близкихъ намъ домовъ въ продолженіи двадцати пяти

лѣтъ, я не помню ничего особенно порочнаго въ ихъ поведеніи. Развѣ придется говорить о небольшихъ кражахъ... но тутъ понятія такъ сбиты положеніемъ, что трудно судить: *человѣкъ — собственность* не церемонится съ своимъ товарищемъ и поступаетъ за панибрата съ барскимъ добромъ. Справедливѣе слѣдуетъ исключить какихъ-нибудь временщиковъ, фаворитовъ и фаворитокъ, барскихъ барынь, наушниковъ; но во-первыхъ, они составляютъ исключеніе, — это Клейнмихели конюшни, Бенкендорфы отъ погреба, Перекусихины въ затрапезномъ платьѣ, Помпадуръ на босую ногу; сверхъ того они-то и ведутъ себя всѣхъ лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладываютъ въ штейннй домъ.

Простодушный развратъ прочихъ вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой бесѣды и трубки, самовольныхъ отлучекъ изъ дома, ссоръ иногда доходящихъ до дракъ, плутней съ господами, требующими отъ нихъ нечеловѣческаго и невозможнаго. Разумѣется, отсутствіе съ одной стороны — всякаго воспитанія, съ другой — крестьянской простоты при рабствѣ, внесли бездну уродливаго и искаженнаго въ ихъ нравы, но при всемъ этомъ они, какъ негры въ Америкѣ, остались полудѣтьми, бездѣлица ихъ тѣшитъ, бездѣлица огорчаетъ; желанія ихъ ограничены и скорѣе наивны и человѣчественны, чѣмъ порочны.

Вино и чай, кабакъ и трактиръ, двѣ постоянныя страсти русскаго слуги; для нихъ онъ крадетъ, для нихъ онъ бѣденъ, изъ за нихъ онъ выноситъ гоненія, наказанія и покидаетъ семью въ нищетѣ. Ничего нѣтъ легче, какъ съ высоты трезваго опьяненія Патера Метью осуждать пьянство и, сидя за чайнымъ столомъ, удивляться, для чего слуги ходятъ пить чай въ трак-

тирь, а не пьютъ его дома, не смотря на то, что дома дешевле.

Вино оглушаетъ человѣка, даетъ возможность забыться, искусственно веселить, раздражаетъ; это оглушеніе и раздраженіе тѣмъ больше нравятся, чѣмъ меньше человѣкъ развитъ и чѣмъ больше сведенъ на узкую, пустую жизнь. Какъ же не пить слугѣ, осужденному на вѣчную переднюю, на всегдашнюю бѣдность, на рабство, на продажу? Онъ пьетъ черезъ край—когда можетъ, потому что не можетъ пить всякій день; это замѣтилъ, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, Сенковский, въ *Библіотекѣ для Чтенія*. Въ Италіи и южной Франціи нѣтъ пьяницъ, оттого что много вина. Дикое пьянство англійскаго работника объясняется точно также. Эти люди сломались въ безвыходной и неровной борьбѣ съ голодомъ и нищетой; какъ они ни бились, они вездѣ встрѣчали свинцовый сводъ и суровый отпоръ, отбрасывавшій ихъ на мрачное дно общественной жизни и осуждавшій на вѣчную работу безъ цѣли, снѣдавшую умъ вмѣстѣ съ тѣломъ. Что-же тутъ удивительнаго, что, пробывъ шесть дней рычагомъ, колесомъ, пружиной, винтомъ, человѣкъ дико вырывается въ субботу вечеромъ изъ каторги мануфактурной дѣятельности и въ полчаса напивается пьянъ, тѣмъ больше, что его изнуреніе не много можетъ вынести. Лучше бы и моралисты пили себѣ Irish или Scotch Whiskey, да молчали бы, а то съ ихъ безчеловѣчной филантропіей, они накличутся на страшные отвѣты.

Пить чай въ трактирѣ имѣетъ другое значеніе для слугъ. Дома ему чай не въ чай; дома ему все напоминаетъ, что онъ слуга; дома у него грязная людская, онъ долженъ самъ поставить самоваръ, дома у него чашка съ отбитой ручкой и всякую минуту баринъ мо-

жетъ позвонить. Въ трактирѣ онъ вольный человѣкъ, онъ господинъ, для него накрытъ столъ, зажжены лампы, для него несется съ подносомъ половой, чашки блестятъ, чайникъ блеститъ, онъ приказываетъ — его слушаютъ, онъ радуется и весело требуетъ себѣ паюсной икры или растегайчикъ къ чаю.

Во всемъ этомъ больше дѣтскаго простодушія, чѣмъ безнравственности. Впечатлѣнія ими овладѣваютъ быстро, но не пускаютъ корней; умъ ихъ постоянно занятъ, или лучше, разсѣянъ случайными предметами, небольшими желаніями, пустыми пѣлями. Ребятъ вѣра во все чудесное заставляетъ трусить взрослого мужчину и та же ребятъ вѣра утѣшаетъ его въ самыя тяжелыя минуты. Я съ удивленіемъ присутствовалъ при смерти двухъ или трехъ изъ слугъ моего отца: вотъ гдѣ можно было судить о простодушномъ безпечіи, съ которымъ проходила ихъ жизнь, о томъ, что на ихъ совѣсти вовсе не было большихъ грѣховъ; а если кой-что случилось, такъ уже покончено на духу съ „ба-тюшкой.“

На этомъ сходствѣ дѣтей съ слугами и основано взаимное пристрастіе ихъ. Дѣти ненавидятъ аристократію взрослыхъ и ихъ благосклонно - снисходительное обращеніе, оттого что они умны и понимаютъ, что для нихъ они дѣти, а для слугъ — лица. Вслѣдствіе этого, они гораздо больше любятъ играть въ карты и лото съ горничными, чѣмъ съ гостями. Гости играютъ для нихъ изъ снисхожденія, уступаютъ имъ, дразнятъ ихъ и оставляютъ игру, какъ вздумается; горничныя играютъ обыкновенно столько-же для себя, сколько для дѣтей; отъ этого игра получаетъ интересъ.

Прислуга чрезвычайно привязывается къ дѣти и

это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь *слабыхъ и простыхъ*.

Встарь бывала, какъ теперь въ Турціи, патриархальная династическая любовь между помѣщиками и дворовыми. Нынче нѣтъ больше на Руси усердныхъ слугъ, преданникъ роду и племени своихъ господъ. И это понятно. Помѣщикъ не вѣрить въ свою власть, не думаетъ, что онъ будетъ отвѣчать за своихъ людей на страшномъ судилищѣ Христовомъ, а пользуется ею изъ выгоды. Слуга не вѣрить въ свою подчиненность и выносить насиліе не какъ кару божію, не какъ искусь, а просто оттого, что онъ беззащитенъ; сила солому ломить.

Я знавалъ еще въ молодости два, три образца этихъ фанатиковъ рабства, о которыхъ со вздохомъ говорятъ восьмидесятилѣтніе помѣщики, повѣствуя о ихъ неуспшной службѣ, о ихъ великомъ усердіи и забывая прибавить, чѣмъ ихъ отцы и они сами платили за такое самоотверженіе.

Въ одной изъ деревень Сенатора проживалъ на покое т. е. на хлѣбѣ дряхлый старикъ, Андрей Степановъ.

Онъ былъ камердинеромъ Сенатора и моего отца во время ихъ службы въ гвардіи, добрый, честный и трезвый человѣкъ, глядѣвшій въ глаза молодымъ господамъ и угадывавшій, по ихъ собственнымъ словамъ, ихъ волю, что думаю, было не легко. Потомъ онъ управлялъ подмосковной. Отрѣзанный сначала войной 1812 года отъ всякаго сообщенія, потомъ одинъ, безъ денегъ на пенелницѣ выгорѣлаго села, онъ продалъ какія то бревна, чтобъ не умереть съ голоду. Сенаторъ, возвратившись въ Россію, принялся приводить въ порядокъ свое имѣніе и наконецъ добрался до бревенъ. Въ наказаніе

онъ отобралъ его должность и отправилъ ого въ опалу. Старикъ, обремененный семьей, поплелся на подножный кормъ. Намъ приходилось проѣзжать и останавливаться на день, на два, въ деревнѣ, гдѣ жилъ Андрей Степановъ. Дряхлый старецъ, разбитый параличемъ, приходилъ всякій разъ, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить съ нимъ.

Преданность и кротость, съ которой онъ говорилъ, его несчастный видъ, космы желто-сѣдыхъ волосъ по обѣимъ сторонамъ голаго черепа, глубоко трогали меня. „Слышалъ я, государь мой,“ говорилъ онъ однажды, „что братецъ вашъ еще кавалерію изволилъ получить. Старъ, батюшка, становлюсь, скоро богу душу отдамъ, а вѣдь не сподобилъ меня господь видѣть братца въ кавалеріи, хотъ бы разъ передъ кончиной, лицезрѣть ихъ въ лентѣ и во всѣхъ регаліяхъ!“

Я смотрѣлъ на старика, его лицо было такъ дѣтски откровенно, сгорбленная фигура его, болѣзненно перекошенное лицо, потухшіе глаза, слабый голосъ — все внушало довѣріе; онъ не лгалъ, онъ не льстилъ, ему дѣйствительно хотѣлось видѣть прежде смерти въ „кавалеріи и регаліяхъ“ человѣка, который лѣтъ пятнадцать не могъ ему простить какихъ-то бревенъ. Что это святой, или безумный? Да, не одни ли безумные и достигаютъ святости?

Новое поколѣніе не имѣетъ этого идолопоклонства и если бываютъ случаи, что люди не хотятъ на волю, то это просто отъ лѣни и изъ матеріальнаго разсчета. Это развратнѣе, спору нѣтъ, но ближе къ концу; они навѣрно, если что нибудь и хотятъ видѣть на шеѣ господъ, то не владимірскую ленту.

Скажу здѣсь кстати о положеніи нашей прислуги вообще.

Ни Сенаторъ, ни отецъ мой не тѣснили особенно дворовыхъ, т. е. не тѣснили ихъ физически. Сенаторъ былъ вспыльчивъ, нетерпѣливъ и именно потому часто грубъ и несправедливъ; но онъ такъ мало имѣлъ съ ними соприкосновенія и такъ мало ими занимался, что они почти не знали другъ друга. Отецъ мой докучалъ имъ капризами, не пропускалъ ни взгляда, ни слова, ни движенія и безпрестанно училъ; для русскаго человека это часто хуже побоевъ и брани.

Тѣлесныя наказанія были почти неизвѣстны въ нашемъ домѣ и два-три случая, въ которые Сенаторъ и мой отецъ прибѣгали къ гнусному средству „частнаго дома,“ были до того необыкновенны, что объ нихъ вся дворня говорила цѣлые мѣсяцы; сверхъ того они были вызываемы значительными проступками.

Чаще отдавали дворовыхъ въ солдаты, наказаніе это приводило въ ужасъ всѣхъ молодыхъ людей; безъ роду, безъ племени они все же лучше хотѣли остаться крѣпостными, нежели двадцать лѣтъ тянуть лямку. На меня сильно дѣйствовали эти страшныя сцены... являлись два полицейскіе солдата по зову помѣщика, они воровски невзначай, въ распахъ брали назначеннаго человека; староста обыкновенно тутъ объявлялъ, что баринъ съ вечера приказалъ представить его въ присутствіе, и человекъ сквозь слезы куражился, женщины плакали, всѣ давали подарки и я отдавалъ все, что могъ, т. е. какой нибудь двугривенный, шейный платокъ.

Помню я еще какъ какому-то старостѣ за то, что онъ истратилъ собранный оброкъ, отецъ мой велѣлъ обрить бороду. Я ничего не понималъ въ этомъ наказаніи, но меня поразило видъ старика лѣтъ шестидесяти; онъ плакалъ на взрыдъ, кланился въ землю и

просилъ положить на него, сверхъ оброка, сто цѣлковыхъ штрафу, но помиловать отъ безчестья.

Когда Сенаторъ жилъ съ нами, общая прислуга состояла изъ тридцати мужчинъ и почти столько же женщинъ; замужнія впрочемъ не несли никакой службы, онѣ занимались своимъ хозяйствомъ; на службѣ были пять-шесть горничныхъ и прачки, не ходившія на верхъ. Къ этому слѣдуетъ прибавить *мальчишекъ и дваченокъ*, которыхъ приучали къ службѣ, т. е. къ праздности, лѣни, лганью и къ употребленію свухи.

Для характеристики тогдашней жизни въ Россіи, я не думаю, чтобъ было излишнимъ сказать нѣсколько словъ о содержаніи дворовыхъ. Сначала имъ давались 5 рублей ассиг. въ мѣсяцъ на харчи, потомъ 6. Женщинамъ рублемъ меньше, дѣтямъ лѣтъ съ десяти половина. Люди составляли между собой артели, и на недостатокъ не жаловались, что свидѣлствуетъ о чрезвычайной дешевизнѣ съѣстныхъ припасовъ. Наибольшее жалованье состояло изъ 100 руб. асс. въ годъ, другіе получали половину, нѣкоторые 30 рублей въ годъ. Мальчики лѣтъ до восемнадцати не получали жалованья. Сверхъ оклада людямъ давались платья, шинели, рубашки, простыни, одѣяла, полотенцы, матрацы изъ парусины; мальчикамъ, не получавшимъ жалованья, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, т. е. на баню и *ювные*. Взявъ все въ расчетъ, слуга обходился руб. въ 300 асс.; если къ этому прибавить дивидендъ на лекарство, лекаря и на съѣстные припасы, случайно привозимые изъ деревни и которые не знали куда дѣть, то мы и тогда не перейдемъ 350 рублей. Это составляетъ *четвертую* часть того, что слуга стоитъ въ Парижѣ или въ Лондонѣ.

Плантаторы обыкновенно вводятъ въ счетъ *страхо-*

ую премію рабства, т. е. содержаніе жены, дѣтей помѣщикомъ, и скудный кусокъ хлѣба гдѣ нибудь въ деревнѣ подѣ старость лѣтъ. Конечно это надобно взять въ расчетъ; но страховая премія сильно понижается—преміей *страха* тѣлесныхъ наказаній, невозможностью перемѣны состоянія и гораздо худшаго содержанія.

Я довольно наглядѣлся какъ страшное сознаніе крѣпостнаго состоянія убиваетъ, отравляетъ существованіе дворовыхъ, какъ оно гнететъ, одуряетъ ихъ душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуютъ личную неволю, они какъ то умѣютъ не вѣрить своему полному рабству. Но тутъ, сидя на грязномъ залавкѣ передней съ утра до ночи, или стоя съ тарелкой за столомъ — нѣтъ мѣста сомнѣнію.

Разумѣется, есть люди, которые живутъ въ передней какъ рыба въ водѣ, люди, которыхъ душа никогда не просыпалась, которые взошли во вкусъ и съ своего рода художествомъ исполняютъ свою должность.

Въ этомъ отношеніи было у насъ лицо чрезвычайно интересное, нашъ старый лакей Бакай. Человѣкъ атлетическаго сложенія и высокаго роста, съ крупными и важными чертами лица, съ видомъ величайшаго глубокомыслія, онъ дожилъ до преклонныхъ лѣтъ, воображая; что положеніе лакея одно изъ самыхъ значительныхъ.

Почтенный старецъ этотъ постоянно былъ сердитъ или выпивши, или выпивши и сердитъ вмѣстѣ. Должность свою онъ исполнялъ съ какой то высшей точки зрѣнія и придавалъ ей торжественную важность; онъ умѣлъ съ особеннымъ шумомъ и трескомъ отбросить ступеньки кареты и хлопалъ дверцами сильнѣе ружейнаго выстрѣла. Сумрачно и на вытяжкѣ стоялъ на заняткахъ, и всякой разъ, когда его подтряхивало на рытвинѣ, онъ густымъ и недовольнымъ голосомъ кри-

чалъ бучеру: „легче,“ не смотря на то, что рытвина уже была на пять шаговъ сзади.

Главное занятіе его сверхъ фзды за каретой, занятіе добровольно возложенное нмъ на себя, состояло въ обученіи мальчишекъ аристократическимъ манерамъ передней. Когда онъ былъ трезвъ, дѣло еще шло кой-какъ съ рукъ, но когда у него въ головѣ шумѣло, онъ становился педантомъ и тираномъ до невѣроятной степени. Я иногда вступался за моихъ пріятелей, но мой авторитетъ мало дѣйствовалъ на римскій характеръ Бакая; онъ отворялъ мнѣ дверь въ залу и говорилъ: „Вамъ здѣсь не мѣсто, извольте идти, а не то я и на рукахъ снесу.“ Онъ не пропускалъ ни одного движенія, ни одного слова, чтобъ не разбранить мальчишекъ; къ словамъ не рѣдко прибавлялъ онъ и тумакъ-пли „ковырялъ масло,“ т. е. щелкалъ какъ то хитро и искусно, какъ пружиной, большимъ пальцемъ и мизинцемъ по головѣ.

Когда онъ разгонялъ наконецъ мальчишекъ и оставался одинъ, его преслѣдованія обращались на единственного, друга его Макбета, большую ньюфаундленскую собаку, которую онъ кормилъ, любилъ, чесалъ и холилъ. Посидѣвъ безъ компаніи минуты двѣ-три, онъ сходилъ на дворъ и приглашалъ Макбета съ собою на залавокъ, тутъ онъ заводилъ съ нимъ разговоръ. „Что же ты дуракъ сидишь на дворѣ, на морозѣ, когда есть топленая комната? Экая скотина! Что вытаращилъ глаза — ну? Ничего не отвѣчаешь?“ За этимъ слѣдовала обыкновенно пощечина. Макбетъ иногда огрызался на своего благодѣтеля; тогда Бакай его упрекалъ, но безъ ласки и уступокъ. „Впрямь корми собаку, все собака останется, зубы скалитъ, и не подумаетъ на кого... Блохи бы заѣли безъ меня!“ И обиженный неблагодар-

ностью своего друга, онъ нюхалъ съ гнѣвомъ табакъ и бросалъ Макбету въ носъ, что оставалось на пальцахъ, послѣ чего тотъ чихалъ, ужасно неловко лапой снималъ съ глазъ табакъ попавшій въ носъ и съ полнымъ негодованіемъ оставляя салавокъ, царапалъ дверь; Бакай ему отворялъ ее со словами „марзавецъ“ — и давалъ ему ногой толчекъ. Тутъ обыкновенно возвращались мальчики и онъ принимался ковырять масло.

Прежде Макбета у насъ была лягавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взялъ на свой матрацъ и двѣ-три недѣли ухаживалъ за ней. Утромъ рано выхожу я разъ въ переднюю. Бакай хотѣлъ мнѣ что-то сказать, но голосъ у него перемѣнился и крупная слеза скатилась по щекѣ—собака умерла; вотъ еще фактъ для изученія человѣческаго сердца. Я вовсе не думаю, чтобъ онъ и мальчишекъ ненавидѣлъ, это былъ суровый нравъ, подкрѣпляемый сивухою и безсознательно втянувшійся въ поэзію передней.

Но рядомъ съ этими дилетантами рабства, какіе мрачные образы мучениковъ, безнадежныхъ страдальцевъ печально проходятъ въ моей памяти.

У Сенатора былъ поваръ, необычайнаго таланта, трудолюбивый, трезвый, онъ шелъ въ гору; самъ Сенаторъ хлопоталъ, чтобъ его приняли въ кухню государя, гдѣ тогда былъ знаменитый поваръ французъ. Поучившись тамъ, онъ опредѣлился въ англійскій клубъ, разбогатѣлъ, женился, жилъ бариномъ; но веревка крѣпостнаго состоянія не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своимъ положеніемъ.

Собравшись съ духомъ и отслуживши молебень Иверской, Алексѣй явился къ Сенатору съ просьбой отпустить его за пять тысячъ асс. Сенаторъ гордился своимъ поваромъ, точно такъ какъ гордился своимъ живо-

писцемъ, а вслѣдствіе того денегъ не взялъ и сказалъ повару, что отпустить его даромъ послѣ своей смерти.

Поваръ былъ пораженъ, какъ громомъ; погрузилъ, переѣхалъ въ лицѣ, сталъ сѣдѣть и... русскій чело-вѣкъ — принялся попивать. Дѣла свои повелъ онъ спу-сти рукава, англійскій клубъ ему отказалъ. Онъ на-нялся у княгини Трубецкой; княгиня преслѣдовала его мелкимъ скряжничествомъ. Обиженный разъ ею черезъ мѣру, Алексѣй, любившій выражаться краснорѣчиво, сказалъ ей съ своимъ важнымъ видомъ своимъ голо-сомъ въ носъ; „какая непрозрачная душа обитаетъ въ нашемъ свѣтлѣйшемъ тѣлѣ!“ Княгиня взбѣсилась, про-гнала повара и, какъ слѣдуетъ русской барынѣ, напи-сала жалобу Сенатору. Сенаторъ ничего бы не сдѣлалъ, но, какъ учтивый кавалеръ, призвалъ повара, разругалъ его и велѣлъ ему идти къ княгинѣ просить прощенья.

Поваръ къ княгинѣ не пошелъ, а пошелъ въ кабакъ. Въ годъ времени онъ все спустилъ: отъ капитала, при-готовленного для взноса, до послѣдняго фартука. Жена побилась, побилась съ нимъ, да и пошла въ няньки куда-то въ отъѣздъ. Объ немъ долго не было слуха. Потомъ какъ-то полиція привела Алексѣя, обтерхан-наго, одичалаго; его подняли на улицѣ, квартиры у него не было онъ кочевалъ изъ кабака въ кабакъ. Полиція тре-бовала, чтобъ помѣщикъ его прибралъ. Больно было Се-натору, а можетъ и совѣстно; онъ его принялъ довольно кротко и далъ комнату. Алексѣй продолжалъ пить, пьяный шумѣлъ и воображалъ, что сочиняетъ стихи; онъ дѣйствительно не былъ лишенъ какой-то безпоря-дочной фантазіи. Мы были тогда въ Васильевскомъ. Се-наторъ, не зная что дѣлать съ поваромъ, прислалъ его туда, воображая, что мой отецъ уговоритъ его. Но че-ловѣкъ былъ слишкомъ сломленъ. Я тутъ разглядѣлъ,

какая сосредоточенная ненависть и злоба противъ господъ лежать на сердцѣ у крѣпостнаго человѣка: онъ говорилъ со скрипомъ зубовъ и съ мимикой, которая особенно въ поварѣ могла быть опасна. При мнѣ онъ не боялся давать волю языку; онъ меня любилъ, и часто, фамиллярно трепля меня по плечу, говорилъ: „добрая вѣтвь испорченнаго древа.“

Послѣ смерти Сенатора, мой отецъ далъ ему тотчасъ отпускную; это было поздно, и значило сбыть его съ рукъ, онъ таеъ и пропалъ.

Рядомъ съ нимъ не могу не вспомнить другой жертвы крѣпостнаго состоянія. У Сенатора былъ, въ родѣ писмоводителя, дворовый человѣкъ лѣтъ 35. Старшій братъ моего отца, умершій въ 1813 году, имѣя въ виду устроить деревенскую больницу, отдалъ его мальчикомъ какому-то знакомому врачу для обученія фельдшерскому искусству. Докторъ выпросилъ ему позволеніе ходить на лекціи медико-хирургической Академіи; молодой человѣкъ былъ съ способностями, выучился по латынѣ, по нѣмецки и лечилъ кой-какъ. Лѣтъ двадцати пяти онъ влюбился въ дочь какого-то офицера, скрылъ отъ нея свое состояніе и женился на ней. Долго обманъ не могъ продолжаться, жена съ ужасомъ узнала послѣ смерти барина, что они крѣпостные. Сенаторъ, новый владѣлецъ его, нисколько ихъ не тѣснилъ, онъ даже любилъ молодаго Толочанова, но ссора его съ женой продолжалась; она не могла ему простить обмана и бѣжала отъ него съ другимъ. Толочановъ должно быть очень любилъ ее, онъ съ этого времени впалъ въ задумчивость близкую къ помѣшательству, прогуливалъ ночи и, не имѣя своихъ средствъ, тратилъ господскія деньги; когда онъ увидѣлъ, что нельзя свести концовъ, онъ 31 Декабря 1821 года отравился.

Сенатора не было дома; Толочановъ взоселъ при миѣ къ моему отцу и сказалъ ему, что онъ пришелъ съ нимъ проститься и просить его сказать Сенатору, что деньги, которыхъ не достаетъ, истратилъ онъ.

— Ты пьянъ, сказалъ ему мой отецъ, поди и выпись.

— Я скоро пойду спать на долго, сказалъ лекаръ, и прошу только не поминать меня зломъ.

Спокойный видъ Толочанова испугалъ моего отца, и онъ пристальнѣе посмотрѣвъ на него, спросилъ:

— Что съ тобою, ты бредишь?

— Ничего-съ, я только принялъ рюмку мышьяку.

Послали за докторомъ, за полиціей, дали ему рвотное, дали молока.....когда его начало тошнить, онъ удерживался и говорилъ. „Сиди, сиди тамъ, я не съ тѣмъ тебя проглотилъ.“ Я слышалъ потомъ, когда идъ сталъ сильнѣе дѣйствовать, его стонъ и страдальческій голосъ повторявшій: „жжетъ — жжетъ! огонь!“ Кто-то посоветовалъ ему послать за священникомъ, онъ не хотѣлъ и говорилъ Кало, что жизни за гробомъ быть не можетъ, что онъ на *столько знаетъ анатомію*. Часу въ двѣнадцатомъ вечера онъ спросилъ штабъ-лекаря, по нѣмецки, который часъ, потомъ сказавши: „вотъ и новый годъ, поздравляю васъ,“ — умеръ.

Утромъ я бросился въ небольшой флигель, служившій баней, туда свесли Толочанова; тѣло лежало на столѣ, въ томъ видѣ какъ онъ умеръ, во фракъ безъ галстука, съ раскрытой грудью, черты его были страшно искажены и уже почернѣли. Это было первое мертвое тѣло, которое я видѣлъ; близкій къ обмороку и вышелъ вонъ. И игрушки и картинки, подаренныя миѣ на новый годъ, не тѣшили меня; почернѣлый Толоча-

новъ носился передъ глазами, и я слышалъ его „жжетъ — огонь!“

Въ заключеніе этого печальнаго предмета, скажу только одно—на меня передняя не сдѣлала никакого дѣйствительно дурнаго вліянія. Напротивъ она съ раннихъ лѣтъ развила во мнѣ непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще былъ ребенкомъ, Вѣра Артамоновна, желая меня сильно обидѣть за какую нибудь шалость, говаривала мнѣ: „Дайте срокъ, вырастете, такой же баринъ будете какъ другіе.“ Меня это ужасно оскорбляло. Старушка можетъ быть довольна — *такимъ какъ другіе* по крайней мѣрѣ я не сдѣлался.

Сверхъ передней и дѣвичьей было у меня еще одно разсѣяніе, и тутъ по крайней мѣрѣ не было мнѣ помѣхи. Я любилъ чтеніе столько же, столько не любилъ учиться. Страсть къ бессистемному чтенію была вообще однимъ изъ главныхъ препятствій серьезному ученію. Я, наиримѣръ, прежде и послѣ терпѣть не могъ теоретическаго изученія языковъ, но очень скоро выучивался кой-какъ понимать и болтать съ грѣхомъ по поламъ, и на этомъ останавливался, потому что этого было достаточно для моего чтенія.

У отца моего вмѣстѣ съ Сенаторомъ была довольно большая бібліотека, составленная изъ французскихъ книгъ прошлаго столѣтія. Книги валялись горами въ сырой, нежилой комнатѣ нижняго этажа въ домѣ Сенатора. Ключъ былъ у Кало, мнѣ было позволено рыться въ этихъ литературныхъ закромахъ, сколько я хотѣлъ, и я читалъ себѣ, да читалъ. Отецъ мой видѣлъ въ этомъ двойную пользу, во-первыхъ, что я скорѣе выучусь по французски, а сверхъ того, что я занятъ, т. е. сижу смирно и притомъ у себя въ комнатѣ. Къ

тому же я не всѣ книги показывалъ или клалъ у себя на столѣ, инныя прятались въ шифоньеръ.

Что же я читалъ? Само собою разумѣется романы и комедіи. Я прочелъ томовъ пятьдесятъ французскаго репертуара и русскаго *театра*; въ каждой части было по три, по четыре пьесы. Сверхъ французскихъ романовъ, у моей матери были романы Лафонтена, комедіи Коцебу, и ихъ читалъ раза по два. Не могу сказать, чтобъ романы имѣли на меня большое вліяніе, я бросался съ жадностью на всѣ двусмысленныя или нѣсколько растрепанныя сцены, какъ всѣ мальчики, но онѣ не занимали меня особенно. Гораздо сильнѣйшее вліяніе имѣла на меня пьеса, которую я любилъ безъ ума, перечитывалъ двадцать разъ и притомъ въ русскомъ переводѣ *Театра* „Свадьба Фигаро.“ Я былъ влюбленъ въ Херубима и въ Графиню, и сверхъ того я самъ былъ Херубимъ; у меня замирало сердце при чтеніи и не давая себѣ никакого отчета, я *чувствовалъ* какое-то новое ощущеніе. Какъ упоительна казалась мнѣ сцена, гдѣ пажа одѣвають въ женское платье, мнѣ страшно хотѣлось спрятать на груди чью нибудь ленту и тайкомъ цаловать ее. На дѣлѣ я былъ далекъ отъ всякаго женскаго общества въ эти лѣта.

Помню только, какъ изрѣдка по воскресеньямъ къ намъ пріѣзжали изъ пансіона двѣ дочери Б. Меньшая лѣтъ шестнадцати была поразительной красоты. Я терялся, когда она входила въ комнату, не смѣлъ никогда обращаться къ ней съ рѣчью, а украдкой смотрѣлъ въ ея прекрасные темные глаза, на ея темные кудри. Никогда никому не заикался я объ этомъ и первое дыханіе любви прошло не свѣдѣнное никѣмъ, ни даже ею.

Годы спустя, когда я встрѣчался съ нею, сильно би-

лось сердце, и я вспоминалъ, какъ я двѣнадцати лѣтъ отъ роду молился ея красотѣ.

Я забылъ сказать, что Вертеръ меня занималъ почти столько же, какъ Свадьба Фигаро; половины романа я не понималъ и пропускалъ, торопясь скорѣе дойти до страшной развязки, тутъ я плакалъ какъ сумасшедшій. Въ 1839 году Вертеръ попался мнѣ случайно подъ руки, это было во Владимірѣ; я разсказалъ моей женѣ, какъ я мальчикомъ плакалъ, и сталъ ей читать послѣднія письма... и когда дошелъ до того же мѣста, слезы полились изъ глазъ и я долженъ былъ остановиться.

Лѣтъ до четырнадцати я не могу сказать, чтобъ мой отецъ особенно тѣснилъ меня, но просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живаго мальчика. Строптивая и ненужная заботливость о физическомъ здоровьи рядомъ съ полнымъ равнодушіемъ къ нравственному, страшно надоѣдала. Предостереженія отъ простуды, отъ вредной пищи, хлопоты при малѣйшемъ насморкѣ, кашлѣ. Зимой я по недѣлямъ сидѣлъ дома, а когда позволялось проѣхаться, то въ теплыхъ сапогахъ, шарфахъ и пр. Дома былъ постоянно нестерпимый жаръ отъ печей, все это должно было сдѣлать изъ меня хилаго и изнѣженнаго ребенка, еслибъ я не наслаждался отъ моей матери непреодолимаго здоровья. Она съ своей стороны вовсе не дѣлила этихъ предразсудковъ и на своей половинѣ позволяла мнѣ все то, что запрещалось на половинѣ моего отца.

Ученье шло плохо, безъ соревнованія, безъ поощреній и одобреній; безъ системы и безъ надзору, я занимался спустя рукава и думалъ памятью и живымъ соображеніемъ замѣнить трудъ. Разумѣется что и за учителями не было никакого присмотра; однажды услови-

вписъ въ цѣнѣ — лишь бы они приходили въ свое время и сидѣли свой часъ, — они могли продолжать годы не отдавая никакого отчета въ томъ, что дѣлали.

Однимъ изъ самыхъ странныхъ эпизодовъ моего тогдашняго ученія, было приглашеніе французскаго актера *Далеса* давать мнѣ уроки декламаціи.

„Нынче на это не обращаютъ вниманія, говорилъ мнѣ мой отецъ, а вотъ братъ Александръ, онъ шесть мѣсяцевъ съ ряду всякой вечеръ читалъ съ *Офреномъ le récit de Thèramène*, и все не могъ дойти до того совершенства, котораго хотѣлъ *Офрень*.“

Затѣмъ принялся я за декламацію.

„А что, *monsieur Dalès*, спросилъ его разъ мой отецъ, вы можете, я полагаю давать уроки танцованія.

Далесъ толстый старикъ за шестьдесятъ лѣтъ, съ чувствомъ глубокаго сознанія своихъ достоинствъ, но и съ неменьше глубокимъ чувствомъ скромности отвѣчалъ: „что онъ не можетъ судить о своихъ талантахъ, но что онъ часто *давалъ советы* въ балетныхъ танцахъ *au grand Opera*!“

— Я такъ и думалъ, замѣтилъ ему мой отецъ, подноси ему свою открытую табакерку, чего съ русскимъ или нѣмецкимъ учителемъ онъ никогда бы не сдѣлалъ. Я очень хотѣлъ бы, еслибъ вы могли *le degourdir un peu*, послѣ декламаціи, немного бы потанцовать.

— *Monsieur le comte peut disposer de moi.*

И мой отецъ, безмѣрно любившій Парижъ, началъ вспоминать о фойе оперы въ 1810, о молодости *Жоржъ*, о преклонныхъ лѣтахъ *Марсъ*, и спрашивать о кафе и театрахъ.

Теперь вообразите себѣ мою небольшую комнатку, печальный зимній вечеръ, окна замерзли и съ нихъ течетъ вода по веревочкѣ, двѣ сальныя свѣчи на столѣ

и нашъ tête à tête. Далесъ на сценѣ еще говорилъ довольно естественно, но за урокомъ считалъ своей обязанностью наиболѣе удаляться отъ природы, въ своей декламациі. Онъ читалъ Расина какъ-то на распѣвъ, и дѣлалъ тотъ проборъ, который англичане носятъ на затылкѣ, на цезурѣ каждаго стиха, такъ что онъ выходилъ похожимъ на надломленную трость.

При этомъ онъ дѣлалъ рукой движеніе челоуѣка, попавшаго въ воду и не умѣющаго плавать. Каждый стихъ онъ заставлялъ меня повторять нѣсколько разъ, и все качалъ головой — „не то, совсѣмъ не то! attention!“ Je crains Dieu, cher Abner, тутъ проборъ, онъ закрывалъ глаза, слегка качалъ головой и нѣжно отталкивая рукой волны прибавлялъ — et n'ai point d'autre crainte.

Затѣмъ старичекъ, „ничего не боявшійся кромѣ бога,“ смотрѣлъ на часы, свертывалъ романъ и бралъ стулъ: *это была моя дама.*

Послѣ этого нечему дивиться, что я никогда не танцевалъ.

Уроки эти продолжались не долго, и прекратились очень трагически, недѣли черезъ двѣ.

И былъ съ Сенаторомъ въ французскомъ театрѣ, проиграла увертюра, и разъ и два, занавѣсъ не подымалась—передніе ряды, желая показать, что они знаютъ *свой* Парижъ, начали шумѣть, какъ тамъ шумятъ *задніе*. На аванъ-сцену вышелъ какой-то режисеръ, поклонился на право, поклонился на лѣво, поклонился прямо и сказалъ: „Мы просимъ всего снисхожденія публики; насъ постигло страшное несчастье, нашъ товарищъ Далесъ, — и у режисера дѣйствительно голосъ перервался слезами — найденъ у себя въ комнатѣ мертвымъ отъ угара.“

Такимъ-то сильнымъ средствомъ избавилъ меня рус-

скій чадъ отъ декламацин, монологовъ и монотанцевъ съ моею дамою о четырехъ точеныхъ ножкахъ изъ краснаго дерева.

Лѣтъ двѣнадцати я былъ переведенъ съ женскихъ рукъ на мужскія. Около того времени мой отецъ сдѣлалъ два неудачныхъ опыта приставить за мной нѣмца.

Нѣмецъ при дѣтяхъ, и не гувернеръ и не дядька, это совсѣмъ особенная профессія. Онъ не учитъ дѣтей и не одѣваетъ, а смотритъ, чтобъ они учились и были одѣты, печется о ихъ здоровьи, ходитъ съ ними гулять и говоритъ тотъ вздоръ, который хочетъ, не иначе какъ по нѣмецки. Если есть въ домѣ гувернеръ, нѣмецъ ему покоряется; если есть дядька, онъ покоряется нѣмцу. Учителя, ходящіе по билетамъ, опаздывающіе по непредвидимымъ причинамъ и уходящіе слишкомъ рано, по обстоятельствамъ независящимъ отъ ихъ воли, строятъ нѣмцу куры и онъ при всей безграмотности начинаетъ себя считать ученымъ. Гувернанты употребляютъ нѣмца на покупки, на всѣ возможные комиссіи, но позволяютъ ухаживать за собой только въ случаѣ сильныхъ физическихъ недостатковъ и при совершенномъ отсутствіи другихъ поклонниковъ. Лѣтъ четырнадцати воспитанники ходятъ тайкомъ отъ родителей къ нѣмцу въ комнату курить табакъ, онъ это терпитъ, потому что ему необходимы сильныя вспомогательныя средства, чтобъ оставаться въ домѣ. Въ самомъ дѣлѣ, большей частію въ это время нѣмца при дѣтяхъ благодарить, дарятъ ему часы и отсылаютъ; если онъ усталъ бродить съ дѣтьми по улицамъ и получать выговоры за насморкъ и пятна на платьяхъ, то нѣмецъ *при дѣтяхъ* становится просто нѣмцемъ, заводитъ небольшую лавочку, продаетъ прежнимъ питомцамъ мунд-

штуки изъ янтара, оде-колонъ, сигарки и дѣлаеть другого рода *тайныя* услуги имъ.*)

Первый нѣмецъ, приставленный за мною, былъ родомъ изъ Шлезіи и назывался Іюкншъ; по моему этой фамиліи было за глаза довольно, чтобъ его не брать. Высокій, плѣшивый мужчина, онъ отличался чрезвычайной нечистоплотностью и хвастался своимъ знаніемъ агрономіи, я думаю, что отецъ мой именно по этому его и взялъ. Я съ отвращеніемъ смотрѣлъ на шленскаго великана и только на томъ мирился съ нимъ, что онъ мнѣ рассказывалъ, гуляя по Дѣвичьему полю и на Прѣсенскихъ прудахъ, сальные анекдоты, которые я передавалъ передней. Онъ прожилъ не больше года, напакостилъ что-то въ деревнѣ, садовникъ хотѣлъ его убить косою, отецъ мой велѣлъ ему убираться.

На его мѣсто поступилъ Брауншвейгъ - Вольфенбютельскій солдатъ (вѣроятно бѣглый) Ѳедоръ Карловичъ, отличавшійся каллиграфіей и непомѣрнымъ тупоуміемъ. Онъ уже былъ прежде въ двухъ домахъ при дѣтяхъ и имѣлъ нѣкоторый навыкъ, т. е. придавалъ себѣ видъ гувернера, къ тому же онъ говорилъ по французски на „ши“ съ обратнымъ удареніемъ.**)

Я не имѣлъ къ нему никакого уваженія и отравлялъ всѣ минуты его жизни, особенно съ тѣхъ поръ, какъ я убѣдился, что, не смотря на всѣ мои усилія, онъ не можетъ понять двухъ вещей: десятичныхъ дробей и тройнаго правила. Въ душѣ мальчиковъ вообще много безнощаднаго и даже жестокаго; я съ свирѣпостію пре-

*) Органистъ и учитель музыки, о которомъ говорится въ „запискахъ одного молодого человѣка“, И. И. Экъ давалъ только уроки музыки, не имѣвъ никакого вліянія.

**) Англичане говорятъ хуже нѣмцевъ по французски, но они только коверкають языкъ, нѣмцы *оподлинно* его.

слѣдовалъ бѣднаго вольфенбютельскаго егеря пропорціями; меня это до того занимало, что я, мало вступавшій въ подобныя разговоры съ моимъ отцомъ, торжественно сообщилъ ему о глупости Ѳедора Карловича.

Къ тому же Ѳедоръ Карловичъ мнѣ похвастался, что у него есть новый фракъ, синій, съ золотыми пуговицами, и дѣйствительно я его видѣлъ разъ, отправляющагося на какую-то свадьбу во фракъ, который ему былъ широкъ, но съ золотыми пуговицами. Мальчикъ, представленный за нимъ, донесъ мнѣ, что фракъ этотъ онъ бралъ у своего знакомаго сидѣльца въ косметическомъ магазинѣ. Безъ малѣйшаго сожалѣнія присталъ я къ бѣдняку—гдѣ синій фракъ, да и только?

— У васъ въ домѣ много моли, я его отдалъ къ знакомому портному на сохраненіе.

— Гдѣ живетъ этотъ портной?

— Вамъ на что?

— Отчего-же не сказать?

— Не надобно не въ свои дѣла мѣшаться.

— Ну, пусть такъ, а черезъ недѣлю мои именины—утѣшите меня, возьмите синій фракъ у портнаго на этотъ день.

— Нѣтъ, не возьму, вы не заслуживаете, потому что вы „импертинентъ.“

И я грозилъ ему пальцемъ.

Надобно же было для послѣдняго удара Ѳедору Карловичу, чтобъ онъ разъ при Бушо, французскомъ учителѣ, похвастался тѣмъ, что онъ былъ рекрутомъ подъ Ватерлоо, и что нѣмцы дали страшную таску французамъ. Бушо только посмотрѣлъ на него и такъ страшно понюхалъ табаку, что побѣдитель Наполеона нѣсколько сконфузился. Бушо ушелъ, сердито опираясь на свою сучковатую палку и никогда не называлъ его

иначе какъ *le soldat de Villain* — *ton*. Я тогда еще не зналъ, что каламбуръ этотъ принадлежитъ Беранже, и не могъ нарадоваться на выдумку Бушо.

Наконецъ товарищъ Блюхера разсорился съ моимъ отцомъ и оставилъ нашъ домъ; послѣ этого отецъ мой не тѣснилъ меня больше нѣмцами.

При Брауншвейгъ-вольфенбютельскомъ воинѣ я иногда похаживалъ къ какимъ-то мальчикамъ, при которыхъ жилъ его пріятель тоже въ должности „нѣмца“ и съ которыми мы дѣлали дальнія прогулки; послѣ него я снова оставался въ совершенномъ одиночествѣ — скучалъ, рвался изъ него и не находилъ выхода. Не имѣя возможности пересилить волю отца, я можетъ сломился бы въ этомъ существованіи, еслибъ вскорѣ новая умственная дѣятельность и двѣ встрѣчи, о которыхъ скажу въ слѣдующей главѣ, не спасли меня. Я увѣренъ, что моему отцу ни разу не приходило въ голову, какую жизнь онъ заставлялъ меня вести, иначе онъ не отказывалъ бы мнѣ въ самыхъ невинныхъ желаніяхъ, въ самыхъ естественныхъ просьбахъ.

Изрѣдка отпуская онъ меня съ Сенаторомъ въ французскій театръ, это было для меня высшее наслажденіе; я страстно любилъ представленія, но и это удовольствіе приносило мнѣ столько же горя сколько радости. Сенаторъ пріѣзжалъ со мною въ полъ-піэсы и, вѣчно куда нибудь званный, увозилъ меня прежде конца. Театръ былъ у Арбатскихъ воротъ въ домѣ Апраксина, мы жили въ Старой Конюшенной, т. е. очень близко; но отецъ мой строго запретилъ возвращаться безъ Сенатора.

Мнѣ было около пятнадцати лѣтъ, когда мой отецъ пригласилъ священника давать мнѣ уроки богословія, на сколько это было нужно для вступленія въ универ-

пени передразнивать нѣмецкихъ пасторовъ, ихъ декламацию и пустословіе, талантъ, который я сохранилъ до совершеннолѣтія.

Каждый годъ отецъ мой приказывалъ мнѣ говѣть. Я побаивался исповѣди, и вообще церковная *mise en scène* поражала меня и пугала; съ истиннымъ страхомъ подходилъ я къ причастію; но религіознымъ чувствомъ и этого не назову, это былъ тотъ страхъ, который наводитъ все непонятное, таинственное, особенно когда ему придаютъ серьезную торжественность; такъ дѣйствуетъ ворожба, заговариваніе. Разговѣвшись послѣ заутрени на святой недѣлѣ и обѣвшись красныхъ яицъ, пасхи и кулича, я цѣлый годъ больше не думалъ о религіи.

Но евангеліе я читалъ много и съ любовью, по славянски и въ лютеровскомъ переводѣ. Я читалъ безъ всякаго руководства, не все понималъ, но чувствовалъ искреннее и глубокое уваженіе къ читаемому. Въ первой молодости моей я часто увлекался вольтеріанизмомъ, любилъ иронію и насмѣшку, но не помню, чтобъ когда нибудь я взялъ въ руки евангеліе съ холоднымъ чувствомъ, это меня проводило черезъ всю жизнь; во всѣ возрасты, при разныхъ событіяхъ я возвращался къ чтенію евангелія, и всякой разъ его содержаніе низводило миръ и кротость на душу.

Когда священникъ началъ мнѣ давать уроки, онъ былъ удивленъ не только общимъ знаніемъ евангелія, но тѣмъ, что я приводилъ тексты буквально. „Но Господь Богъ, говорилъ онъ, раскрывъ умъ, не раскрылъ еще сердца.“ И мой теологъ, пожимая плечами, удивлялся моей „двойственности“, однако-же былъ доволенъ мною, думая что у Терновскаго сѣумѣю держать отвѣтъ.

Вскорѣ религія другого рода овладѣла моей душой.

ситеть. Катехизисъ попался мнѣ въ руки послѣ Вольтера. Нигдѣ религія не играетъ такой скромной роли въ дѣлѣ воспитанія, какъ въ Россіи и—это разумѣется величайшее счастье. Священнику за уроки закона божія платятъ всегда поль-цѣны, и даже это такъ, что тотъ же священникъ, если даетъ тоже уроки латинскаго языка, то онъ за нихъ беретъ дороже чѣмъ за катехизисъ.

Мой отецъ считалъ религію въ числѣ необходимыхъ вещей благовоспитаннаго человѣка; онъ говорилъ, что надобно вѣрить въ священное писаніе безъ разсужденій, потому что умомъ тутъ ничего не возьмешь и всѣ мудрованія затемняютъ только предметъ; что надобно исполнять обряды той религіи, въ которой родился, не вдаваясь впрочемъ въ излишнюю набожность, которая идетъ старымъ женщинамъ, а мужчинамъ не прилична. Вѣрилъ-ли онъ самъ? Я полагаю, что немного вѣрилъ по привычкѣ, изъ приличія и на всякой случай. Впрочемъ онъ самъ не исполнялъ никакихъ церковныхъ постановленій — защищалъ разстроеннымъ здоровьемъ. Онъ почти никогда не принималъ священника или просилъ его пѣть въ пустой залѣ, куда высылалъ ему синенькую бумажку. Зимой, онъ извинялся тѣмъ, что священникъ и дьяконъ вносятъ такое количество стульевъ съ собой, что онъ всякой разъ простужается. Въ деревнѣ онъ ходилъ въ церковь и принималъ священника, но это больше изъ свѣтско-правительственныхъ цѣлей, нежели изъ богобоязненныхъ.

Мать моя была лютеранка и стало быть степенью религіознѣе; она всякой мѣсяцъ разъ или два ѣздила въ воскресенье въ свою церковь, или какъ Бакай упорно называла „въ свою кирху,“ и я отъ нечего дѣлать ѣздилъ съ ней. Тамъ я выучился до артистической сте-

пени передразнивать нѣмецкихъ пасторовъ, ихъ декламацию и пустословіе, талантъ, который я сохранилъ до совершеннѣйшаго.

Каждый годъ отецъ мой приказывалъ мнѣ говѣть. Я побаивался исповѣди, и вообще церковная *mise en scène* поражала меня и пугала; съ истиннымъ страхомъ подходилъ я къ причастію; но религіознымъ чувствомъ и этого не назову, это былъ тотъ страхъ, который навѣдываетъ все непонятное, таинственное, особенно когда ему придаютъ серьезную торжественность; такъ дѣйствуетъ ворожба, заговариваніе. Разговѣвшись послѣ заутрени на святой недѣлѣ и обѣдѣвшись красныхъ яицъ, пасхи и кулича, я цѣлый годъ больше не думалъ о религіи.

Но евангеліе я читалъ много и съ любовью, по славянски и въ лютеровскомъ переводѣ. Я читалъ безъ всякаго руководства, не все понималъ, но чувствовалъ искреннее и глубокое уваженіе къ читаемому. Въ первой молодости моей я часто увлекался вольтеріанизмомъ, любилъ иронію и насмѣшку, но не помню, чтобъ когда нибудь я взялъ въ руки евангеліе съ холоднымъ чувствомъ, это меня проводило черезъ всю жизнь; во всѣ возрасты, при разныхъ событіяхъ я возвращался къ чтенію евангелія, и всякой разъ его содержаніе низводило миръ и кротость на душу.

Когда священникъ началъ мнѣ давать уроки, онъ былъ удивленъ не только общимъ знаніемъ евангелія, но тѣмъ, что я приводилъ тексты буквально. „Но Господь Богъ, говорилъ онъ, раскрывъ умъ, не раскрылъ еще сердца.“ И мой теологъ, пожимая плечами, удивлялся моей „двойственности“, однако-же былъ доволенъ мною, думая что у Терновскаго съумѣю держать отвѣтъ.

Вскорѣ религія другого рода овладѣла моей душой.

ГЛАВА III.

СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА I И 14 ДЕКАБРЯ — НРАВСТВЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
— ТЕРРОРИСТЪ ВУШО — КОРЧЕВСКАЯ КУЗИНА — Н. ОГАРЕВЪ.

Однимъ зимнимъ утромъ, какъ-то не въ свое время, прѣхалъ Сенаторъ; озабоченный, онъ скорыми шагами прошелъ въ кабинетъ моего отца и заперъ дверь, показавши мнѣ рукой, чтобъ я остался въ залѣ.

По счастью мнѣ не долго пришлось ломать голову, догадываясь въ чемъ дѣло. Дверь изъ передней немного пріотворилась и красное лицо, полузакрытое волчьимъ мѣхомъ ливрейной шубы, шопотомъ подзывало меня; это былъ лакей Сенатора, я бросился къ двери.

— Вы не слышали? спросилъ онъ.

— Чего?

— Государь померъ въ Таганрогѣ.

Новость эта поразила меня; а никогда прежде не думалъ о возможности его смерти; я выросъ въ большомъ уваженіи къ Александру и грустно вспоминалъ, какъ я его видѣлъ незадолго передъ тѣмъ въ Москвѣ. Гуляя, встрѣтили мы его за Тверской заставой; онъ тихо ѣхалъ верхомъ съ двумя-тремя генералами, возвращаясь съ Ходынки, гдѣ были маневры. Лицо его было привѣтливо, черты мягки и округлы, выраженіе лица усталое и печальное. Когда онъ поровнялся съ нами, я снялъ шляпу и поднялъ ее, онъ, улыбаясь, поклонился мнѣ. Какая разница съ Николаемъ, вѣчно представлявшимъ

остриженную и взлизистую Медузу съ усами. Онъ на улицѣ, во дворцѣ, съ своими дѣтьми и министрами, съ вѣстовыми и фрейлинами, пробовалъ безпрестанно имѣть-ли его взглядъ свойство гремучей змѣи — останавливать кровь въ жилахъ.*) Если наружная кротость Александра была личина, не лучше ли такое лицемѣріе, чѣмъ наглая откровенность самовластья.

..... Пока смутныя мысли бродили у меня въ головѣ, и въ лавкахъ продавали портреты императора Константина, пока носились повѣстки о присягѣ и добрые люди торопились поклясться, разнесся слухъ объ отреченіи цесаревича. Вслѣдъ за тѣмъ, тотъ-же лакей Сенатора, большой охотникъ до политическихъ новостей и которому было гдѣ ихъ собирать по всѣмъ переднимъ сенаторовъ и присутственныхъ мѣстъ, по которымъ онъ ѣздилъ съ утра до ночи, не имѣя выгоды лошадей, которыя мѣнялись послѣ обѣда, сообщилъ мнѣ, что въ Петербургѣ былъ бунтъ и что по галерной стрѣляли „въ пушки.“

На другой день вечеромъ былъ у насъ жандармскій генералъ, графъ Комаровскій: онъ рассказывалъ о каре на Исакиевской площади, о конно-гвардейской атакѣ, о смерти графа Милорадовича.

А тутъ пошли аресты, „того-то взяли,“ „того-то

*) Рассказываютъ, что какъ-то Николай въ своей семьѣ, т. е. въ присутствіи двухъ-трехъ начальниковъ тайной полиціи, двухъ-трехъ лейбъ-фрейлинь и лейбъ-генераловъ, попробовалъ свой взглядъ на Марьѣ Николаевнѣ. Она похожа на отца и взглядъ ея дѣйствительно напоминаетъ его страшный взглядъ. Дочь смѣло вынесла отцовской взоръ. Онъ поблѣднѣлъ, щеки задрожали у него и глаза слѣзались еще свирѣлѣе; тѣмъ-же взглядомъ отвѣчала ему дочь. Все поблѣднѣло и задрожало вокругъ; лейбъ-фрейлинь и лейбъ-генералы не смѣли дохнуть отъ этого канибальски-царскаго поединка глазами, въ родѣ описаннаго Байрономъ въ Донъ Жуанѣ. Николай всталъ; — онъ почувствовалъ, что нашла коса на камень.

схватили,“ „того-то привезли изъ деревни“; испуганные родители трепетали за дѣтей. Мрачныя тучи заволокли небо.

Въ царствованіе Александра политическія гоненія были рѣдки; онъ сослалъ правда Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что онъ, будучи конференцъ-секретаремъ въ академіи художествъ, предложилъ избрать кучера Илью Байкова въ члены академіи;*) но систематическаго преслѣдованія не было. Тайная полиція не разросталась еще въ самодержавный корпусъ жандармовъ, а состояла изъ канцеляріи подъ начальствомъ стараго волтеріанца, остряка и болтуна и юмориста въ родѣ Жуи — Де-Санглена. При Николаѣ, Де-Сангленъ попалъ самъ подъ надзоръ полиціи и считался либераломъ, оставаясь тѣмъ же чѣмъ былъ; по одному этому легко вымѣрять разницу царствованій.

Николая вовсе не знали до его воцаренія; при Александрѣ онъ ничего не значилъ и никого не занималъ. Теперь все бросилось спрашивать о немъ; одни гвардейскіе офицеры могли дать отвѣтъ; они его ненавидѣли за холодную жестокость, за мелочное педантство, за злопамятность. Одинъ изъ первыхъ анекдотовъ, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждалъ мнѣніе гвардейцевъ. Разсказывали, что какъ-то на ученіи,

*) Президентъ академіи предложилъ изъ почетные члены Аракчеева, Лабзинъ спросилъ, въ чемъ состоятъ заслуги графа въ отношеніи къ искусствамъ? Президентъ не нашелся и отвѣчалъ, что Аракчеевъ „самый близкій человѣкъ къ государю.“ — „Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова,“ замѣтилъ секретарь, „онъ не только близокъ къ государю, но сидитъ передъ нимъ.“ Лабзинъ былъ мистикъ и издатель Сіонскаго Вѣстника; самъ Александръ былъ такой-же мистикъ, но съ паденіемъ министерства Голицына отдалъ головой Аракчееву своихъ прежнихъ „братій о Христѣ и о внутреннемъ человѣкѣ.“ Лабзина сослали въ Сибирскіе

великій князь до того забылся, что хотѣлъ схватить за воротникъ офицера. Офицеръ отвѣтилъ ему: „в. в., у меня шпага въ рукѣ.“ Николай отступилъ назадъ, промолчалъ, но не забылъ отвѣта. Послѣ 14 Декабря, онъ два раза освѣдомился замѣшанъ этотъ офицеръ или нѣтъ. По счастью, онъ не былъ замѣшанъ.*)

Тонъ общества мѣнялся паглазно; быстрое нравственное паденіе служило печальнымъ доказательствомъ, какъ мало развито было между русскими аристократами чувство личнаго достоинства. Никто (кромѣ женщинъ) не смѣлъ показать участія, произнести теплаго слова о родныхъ, о друзьяхъ, которымъ еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротивъ, являлись дикіе фанатики рабства, одни изъ подлости, а другіе хуже — безкорыстно.

Однѣ женщины не участвовали въ этомъ позорномъ отрѣченіи отъ близкихъ... и у креста стояли однѣ женщины, и у кровавой гильотины является — то Люсилъ Демулен', эта Офелія революціи, бродящая возлѣ то-

*) Офицеръ, если не ошибаюсь, графъ Самойловъ, вышелъ въ отставку и спокойно жилъ въ Москвѣ. Николай узналъ его въ театрѣ; ему показалось, что онъ какъ-то изысканно-оригинально одѣтъ и онъ высочайше изъявилъ желаніе, чтобъ подобные костюмы были осмѣяны на сценѣ. Директоръ и *patriote* Загоскинъ поручилъ одному изъ актеровъ представить Самойлова въ какомъ нибудь водевилѣ. Слухъ объ этомъ разнесся по городу. Когда пьеса кончилась, настоящій Самойловъ взомель въ ложу директора и просилъ позволенія сказать нѣсколько словъ своему двойнику. Директоръ струсилъ, однако боясь скандала, позвалъ газера. „Вы прекрасно представили меня,“ сказалъ ему графъ, „но для полного сходства у васъ не доставало одного, этого брильянта, который я всегда ношу; позвольте мнѣ вручить его вамъ; вы его будете надѣвать когда вамъ опять будетъ приказано меня представить.“ Послѣ этого Самойловъ спокойно отправился на свое мѣсто. Плоская шутка такъ-же глупо пала, какъ объявленіе Чаадаева сумасшедшимъ и другія августѣйшія шалости.

пора, ожидая свой чередъ, то Ж. Сандъ, подающая на эшафотъ руку участія и дружбы фанатическому юношѣ Алибо.

Жены сосланныхъ въ каторжную работу лишились всѣхъ гражданскихъ правъ, бросали богатство, общественное положеніе, и ѣхали на цѣлую жизнь неволи, въ страшный климатъ восточной Сибири, подъ еще страшнѣйшій гнетъ тамошней полиціи. Сестры, не имѣвшія права ѣхать, удалились отъ двора, многія оставили Россію; почти всѣ хранили въ душѣ живое чувство любви къ страдальцамъ; но его не было у мужчинъ, страхъ выѣлъ его въ ихъ сердцахъ, никто не смѣлъ заикнуться о несчастныхъ.

Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтобъ не сказать нѣсколько словъ объ одной изъ этихъ героическихъ исторій, которая очень мало известна.

Въ старинномъ домѣ Ивашевыхъ жила молодая француженка гувернантой. Единственный сынъ Ивашева хотѣлъ на ней жениться. Это свело съ ума всю родню его; гвалтъ, слезы, просьбы. У француженки не было на лицо брата Чернова, убившаго на дуэли Новосильцова и убитаго имъ; ее уговорили уѣхать изъ Петербурга, его — отложить до поры до времени свое намѣреніе. Ивашевъ былъ однимъ изъ энергическихъ заговорщиковъ; его приговорили къ вѣчной каторжной работѣ. Отъ этой *mesalliance* родня не спасла его. Какъ только страшная вѣсть дошла до молодой дѣвушки въ Парижъ, она отправилась въ Петербургъ и попросила дозволенія ѣхать въ Иркутскую губернію къ своему жениху Ивашеву. Бенкендорфъ попытался отклонить ее отъ такого преступнаго намѣренія; ему не удалось и онъ доложилъ Николаю. Николай велѣлъ ей объяснить

положеніе женъ, не *измѣнившихъ* мужьямъ, сосланнымъ въ каторжную работу, присовокупляя, что онъ ее не держитъ; но что она должна знать, что если жены, идущія изъ вѣрности съ своими мужьями, заслуживаютъ нѣкотораго снисхожденія, то она не имѣетъ на это ни малѣйшаго права, сознательно вступая въ бракъ съ преступникомъ.

Она и Николай сдержали слово: она отправилась въ Сибирь — онъ ничѣмъ не облегчилъ ея судьбу.

Царь былъ строгъ, но справедливъ.

Въ крѣпости ничего не знали о позволеніи, и бѣдная дѣвушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство сойшется съ Петербургомъ, въ какомъ-то мѣстечкѣ, населенномъ всякаго рода бывшими преступниками, безъ всякаго средства узнать что нибудь объ Ивашевѣ и дать ему вѣсть о себѣ.

Мало по малу, она ознакомилась съ своими новыми товарищами. Между ними былъ сосланный разбойникъ, онъ работалъ въ крѣпости, она рассказала ему свою исторію. На другой день разбойникъ принесть ей записочку отъ Ивашева. Черезъ день онъ предложилъ ей носить отъ Ивашева вѣсти и брать ея записки. Съ утра онъ долженъ былъ работать въ крѣпости до вечера; когда наступала ночь, онъ бралъ письмо Ивашева и отправлялся, не смотря ни на бураны, ни на свою усталъ, и возвращался къ разсвѣту на свою работу.*)

*) Люди хорошо знавшіе Ивашевыхъ, говорили мнѣ впоследствии что они сомнѣваются въ исторіи разбойника. И что говоря о возвращеніи дѣтей и о участіи брата, нельзя не вспомнить благороднаго поведенія сестеръ Ивашева. Подробности дѣла я слышала отъ Языковой, которая ѣздила къ брату (Ивашеву) въ Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойникѣ, я не помню. Не смѣшали-ли Ивашеву съ кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенскому черезъ незнакомаго раскольника. Цѣли-ли письма Ивашева? Намъ кажется будто мы имѣемъ право на нихъ.

Наконецъ пришло позволеніе, ихъ обвинчали. Черезъ нѣсколько лѣтъ, каторжная работа замѣнилась поселеніемъ. Положеніе ихъ нѣсколько улучшилось, но силы были потрачены; жена первая пала подъ бременемъ всего испытаннаго. Она увяла, какъ долженъ былъ увянуть цвѣтокъ полуденныхъ странъ на сибирскомъ снѣгу. Ивашевъ не пережилъ ее, онъ умеръ ровно черезъ годъ послѣ нея, но и *тогда* онъ уже не былъ здѣсь; его письма (поразившія третье отдѣленіе) носили слѣдъ какого-то безмѣрно-грустнаго, святаго лунатизма, мрачной поэзіи; онъ собственно не жилъ послѣ нея, а тихо, торжественно умиралъ.

Это „житіе“ не оканчивается съ ихъ смертію. Отецъ Ивашева, послѣ ссылки сына, передалъ свое имѣніе незаконному сыну, прося его не забывать бѣднаго брата и помогать ему. У Ивашевыхъ осталось двое дѣтей, двое малютокъ безъ имени, двое будущихъ кантонистовъ, поселъщниковъ въ Сибири — безъ помощи, безъ правъ, безъ отца и матери. Братъ Ивашева испросилъ у Николая позволеніе взять дѣтей къ себѣ; Николай разрѣшилъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ рискнулъ другую просьбу, онъ ходатайствовалъ о возвращеніи имъ имени отца; удалось и это.

Разсказы о возмущеніи, о судѣ, ужасъ въ Москвѣ, сильно поразили меня; мнѣ открывался новый міръ, который становился больше и больше средоточіемъ всего нравственнаго существованія моего; не знаю, какъ это сдѣлалось, но, мало понимая или очень смутно, въ чемъ дѣло, я чувствовалъ, что я не съ той стороны, съ которой картечь и побѣды, тюрьмы и цѣпи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческій сонъ моей души.

Всѣ ожидали облегченія въ судьбѣ осужденныхъ, ко-

ронація была на дворѣ. Даже мой отецъ, не смотря на свою осторожность и на свой скептицизмъ, говорилъ, что смертный приговоръ не будетъ приведенъ въ дѣйствіе, что все это дѣлается для того, чтобъ поразить умы. Но онъ, какъ и всѣ другіе, плохо зналъ юнаго монарха. Николай уѣхалъ изъ Петербурга и, не вѣзжая въ Москву, остановился въ Петровскомъ дворцѣ... Жители Москвы едва вѣрили своимъ глазамъ, читая въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* страшную новость 14 Іюля.

Народъ русскій отвыкъ отъ смертныхъ казней; послѣ Мировича, казненнаго вмѣсто Екатерины II, послѣ Пугачева и его товарищей не было казней; люди умирали подъ кнутомъ, солдаты гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь *de jure* не существовала. Рассказываютъ, что при Павлѣ, на Дону было какое-то частное возмущеніе казаковъ, въ которомъ замѣшались два офицера. Павелъ велѣлъ ихъ судить военнымъ судомъ и далъ полную власть гетману или генералу. Судъ приговорилъ ихъ къ смерти, но никто не осмѣлился утвердить приговоръ; гетманъ представилъ дѣло государю. „Всѣ они бабы,“ сказалъ Павелъ, „они хотятъ свалить казнь на меня, очень благодаренъ,“ и замѣнилъ ее каторжной работой.

Николай ввелъ *смертную казнь* въ наше уголовное законодательство сначала незаконно, а потомъ привѣнчалъ ее къ своему своду.

Черезъ день, послѣ полученія страшной вѣсти, былъ молебенъ въ Кремлѣ.*) Отпраздновавши казнь, Нико-

*) „Побѣду Николая надъ нятю торжествовали въ Москвѣ молебствіемъ. Среди Кремля митрополитъ Филаретъ благодарилъ бога за убійства. Вся царская фамилія молилась, около нея Сенатъ, министры, а кругомъ, на огромномъ пространствѣ, стояли густыя массы гвардіи, коленноупреклоненныя, безъ кивера, и тоже молились; пушки гремѣли съ высотъ Кремля.“

лай сдѣлать свой торжественный вѣздъ въ Москву. И тутъ видѣлъ его въ первый разъ; онъ ѣхалъ верхомъ возлѣ кареты, въ которой сидѣли вдовствующая императрица и молодая. Онъ былъ красивъ, но красота его обдавала холодомъ; нѣтъ лица, которое бы такъ безпощадно обличало характеръ человѣка, какъ его лицо. Лобъ быстро бѣгущій назадъ, нижняя челюсть, развитая на счетъ черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное глаза, безъ всякой теплоты, безъ всякаго милосердія, зимніе глаза. Я не вѣрю, чтобъ онъ когда нибудь страстно любилъ какую нибудь женщину, какъ Павелъ Лопухину, какъ Александръ всѣхъ женщинъ, кромѣ своей жены; „онъ пребывалъ къ нимъ благосклоненъ,“ не больше.

Въ Ватиканѣ есть новая галлерей, въ которой, кажется, Пій VII собралъ огромное количество статуй, бюстовъ, статуэтокъ, вырытыхъ въ Римѣ и его окрестностяхъ. Вся исторія римскаго паденія выражена тутъ бровями, лбами, губами; отъ дочерей Августа до Помпей, матроны успѣли превратиться въ лоретокъ и типъ лоретки побѣждаетъ и остается; мужской типъ, перейди, такъ сказать, самого себя въ Антиноѣ и Гермафродитѣ, двонтея; съ одной стороны плотское и нравственное паденіе, загрязненныя черты развратомъ и об-

Никогда висяцы не имѣли такого торжества; Николай понималъ важность побѣды!

Мальчикомъ четырнадцати лѣтъ, потерпѣвшимъ въ толпѣ, я былъ на этомъ молебствіи и тутъ, передъ алтаремъ, оскверненнымъ кровавой молитвой, я клялся отомстить казненныхъ, и обрекалъ себя на борьбу съ этимъ трономъ, съ этимъ алтаремъ, съ этими пушками. Я не отомстилъ; гвардія и тронъ, алтарь и пушки — все осталось; но черезъ тридцать лѣтъ, я стою подъ тѣмъ-же знаменемъ, котораго не покидалъ ни разу.“ (*Полярная Звѣзда* на 1855).

жорствомъ, кровью и всѣмъ на свѣтѣ, безо лба, мелкія какъ у гетеры Геліобагала, или съ опущенными щеками, какъ у Галбы; послѣдній типъ чудесно воспроизвелся въ неаполитанскомъ королѣ. Но есть и другой—это типъ военачальниковъ, въ которыхъ вымерло все гражданское, все человѣческое, и осталась одна страсть — повелѣвать; умъ узокъ, сердца совсѣмъ нѣтъ — это монахи властолюбія, въ ихъ чертахъ видна сила и суровая воля. Таковы *гвардейскіе а армейскіе* императоры, которыхъ крамольные легіонеры ставили на часы къ имперіи. Въ ихъ-то числѣ я нашелъ много головъ, напоминающихъ Николая, когда онъ былъ безъ усовъ. Я понимаю необходимость этихъ угрюмыхъ и непреклонныхъ стражей возлѣ умирающаго въ бѣшенствѣ, но зачѣмъ они возникающему, юному?

Не смотря на то, что политическія мечты занимали меня день и ночь, понятія мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображалъ въ самомъ дѣлѣ, что петербургское возмущеніе имѣло между прочимъ цѣлью посадить на тронъ цесаревича, ограничивъ его власть. Отсюда цѣлый годъ поклоненія этому чудаку. Онъ былъ тогда народнѣе Николая; отъ чего, не понимаю, по массе, для которыхъ онъ никакого добра не сдѣлалъ и солдаты, для которыхъ онъ дѣлалъ одинъ вредъ, любили его. Я очень помню, какъ во время коронаціи онъ шелъ возлѣ блѣднаго Николая, съ насупившимися, свѣтло-желтаго цвѣта взъерошенными бровями, въ мундирѣ литовской гвардіи съ желтымъ воротникомъ, сгорбившись и поднимая плечи до ушей. Обвѣнчавши въ качествѣ отца посаженнаго Николая съ Россіей, онъ уѣхалъ додразнивать Варшаву. До 29 Ноября 1830 года о немъ не было слышно.

Не красивъ былъ мой герой, такого типа и въ Ватиканѣ не сыщешь. Я бы этотъ типъ назвалъ *италинскимъ*, еслибъ не видалъ сардинскаго короля.

Само собою разумѣется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежняго, мнѣ хотѣлось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, провѣрить ихъ, слышать имъ подтвержденіе; я слишкомъ гордо признавалъ себя „злоумышленникомъ“, чтобъ молчать объ этомъ или чтобъ говорить безъ разбора.

Первый выборъ палъ на русскаго учителя.

И. Е. Протопоповъ былъ полонъ того благороднаго и неопредѣленнаго либерализма, который часто проходить съ первымъ сѣдымъ волосомъ, съ женитьбой и мѣстомъ, но все-таки облагораживаетъ человѣка. Иванъ Евдокимовичъ былъ тронутъ и уходя обнялъ меня со словами: „Дай Богъ, чтобъ эти чувства созрѣли въ васъ и укрѣпились.“ Его сочувствіе было для меня великой отрадой. Онъ послѣ этого сталъ носить мнѣ мелко переписанныя и очень затертые тетрадки стиховъ Пушкина: *Ода на свободу*, *Кинжалъ*; *Думы Рыльева*, я ихъ переписывалъ тайкомъ... (*а теперь печатаю явно!*)

Разумѣется, что и чтеніе мое перемѣнилось. Политика впередъ, а главное исторія революціи, я ее зналъ только по рассказамъ М-ше Прово. Въ подвальной библіотекѣ открылъ я какую-то исторію девяностыхъ годовъ, писанную роялистомъ. Она была до того пристрастна, что даже я 14 лѣтъ ей не повѣрилъ. Слышалъ и мелькомъ отъ старика Бушо, что онъ во время революціи былъ въ Парижѣ, мнѣ очень хотѣлось спросить его; но Бушо былъ человѣкъ суровый и угрюмый, съ огромнымъ носомъ и очками; онъ никогда не пускался въ излишніе разговоры со мной, спрягалъ глаголы, дви-

товаль примѣры, бранилъ меня и уходилъ, опираясь на толстую сучковатую палку.

— Зачѣмъ, спросилъ я его середь урока, казнили Людовика XVI?

Старикъ посмотрѣлъ на меня, опуская одну сѣдую бровь и поднимая другую, поднялъ очки на лобъ какъ забрало, вынулъ огромный синій носовой платокъ и утирая имъ носъ съ важностью сказалъ.

— *Parce qu'il a été traître à la patrie.*

— Еслибъ вы были между судьями, вы подписали бы приговоръ?

— Обѣими руками.

Этотъ урокъ стоилъ всякихъ субжонктивовъ; для меня было довольно; ясное дѣло, что по дѣломъ казнили короля.

Старикъ Бушо не любилъ меня и считалъ пустымъ шалуномъ за то, что я дурно приготовлялъ уроки, онъ часто говаривалъ: „Изъ васъ ничего не выйдетъ,“ но когда замѣтилъ мою симпатію къ его идеямъ *regicides*, онъ смѣнилъ гнѣвъ на милость, прощалъ ошибки и рассказывалъ эпизоды 93 года, и какъ онъ уѣхалъ изъ Франціи, когда „развратные и плуты“ взяли верхъ. Онъ съ тою-же важностью, не улыбаясь, оканчивалъ урокъ, но уже снисходительно говорилъ. „Я право думалъ, что изъ васъ ничего не выйдетъ, но ваши благородныя чувства спасутъ васъ.“

Къ этимъ педагогическимъ поощреніямъ и симпатіямъ вскорѣ присовокупилась симпатія болѣе теплая и имѣвшая сильное вліяніе на меня.

Въ небольшомъ городкѣ тверской губеріи жила внучка старшаго брата моего отца. Я ее зналъ съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ, но видались мы рѣдко; она пріѣзжала разъ въ годъ на святки или объ масляницу погостить

въ Москву съ своей теткой. Тѣмъ не менѣе мы сближались. Она была лѣтъ пять старше меня, но такъ мала ростомъ и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбилъ за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по человѣчески, т. е. не удивлялась безпрестанно тому, что я выросъ, не спрашивала чему учусь, и хорошо-ли учусь, хочутъ-ли въ военную службу и въ какой полкъ, а говорила со мной такъ, какъ люди вообще говорятъ между собой, не оставляя впрочемъ докторальный авторитетъ, который дѣвушки любятъ сохранять надъ мальчиками нѣсколько лѣтъ моложе ихъ.

Мы переписывались и очень съ 1824 г., но письма— это опять перо и бумага, опять учебный столъ съ чернильными пятнами и иллюстраціями, вырѣзанными перочиннымъ ножомъ; мнѣ хотѣлось ее видѣть, говорить съ ней о новыхъ идеяхъ — и потому можно себя представить съ какимъ восторгомъ я услышалъ, что кузина пріѣдетъ въ февралѣ (1826) и будетъ у насъ гостить нѣсколько мѣсяцевъ. Я на своемъ столѣ нацарапалъ числа до ея пріѣзда и смарывалъ прошедшія, иногда намѣренно забывая дни три, чтобъ имѣть удовольствіе разомъ вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потомъ и срокъ прошелъ и новый былъ назначенъ, и тотъ прошелъ, какъ всегда бываетъ.

Мы сидѣли разъ вечеромъ съ Иваномъ Евдокимовичемъ въ моей учебной комнатѣ, и Иванъ Евдокимовичъ, по обыкновенію запивая кислыми щами всякое предложеніе, толковалъ о „гексаметрѣ,“ страшно рубя на стопы голосомъ и рукой каждый стихъ изъ Гнѣдичевой Иліады — вдругъ на дворѣ снѣгъ завизжалъ какъ то иначе чѣмъ отъ городскихъ саней, подвязанный колокольчикъ позванивалъ остаткомъ голоса, говоръ на

дворѣ... и вскинулъ въ лицѣ, мнѣ было не до рубленого гнѣва „Ахиллеса Пелеева сына“; я бросился стремглавъ въ переднюю, а Тверская кузина, закутанная въ шубахъ, шаляхъ, шарфахъ, въ капорѣ и въ бѣлыхъ мохнатыхъ сапогахъ, красная отъ морозу, а можетъ и отъ радости, бросилась меня цаловать.

Люди обыкновенно вспоминаютъ о первой молодости, о тогдашнихъ печаляхъ и радостяхъ немного съ улыбкой снисхожденія, какъ будто они хотятъ, жеманясь какъ Софья Павловна въ *Горѣ отъ ума*, сказать „Ребичество!“ Словно они стали лучше послѣ, сильнѣе чувствуютъ или больше. Дѣти года черезъ три стыдятся своихъ игрушекъ — пусть ихъ, имъ хочется быть большими, они такъ быстро растутъ, мѣняются, они это видятъ по курточкѣ и по страницамъ учебныхъ книгъ; а кажется совершеннолѣтнимъ можно бы было понять, что „ребичество“ съ двумя-тремя годами юности — самая полная, самая пизнцная, самая *наша* часть жизни, да и чуть-ли не самая важная, она незамѣтно опредѣляетъ все будущее.

Пока человѣкъ идетъ скромнымъ шагомъ впередъ, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришелъ къ оврагу или не сломалъ себѣ шею, онъ все полагаетъ, что его жизнь впереди, свысока смотритъ на прошедшее и не умѣетъ цѣнить настоящаго. Но когда опытъ прибавилъ весенніе цвѣты и остудилъ лѣтній румянецъ, когда онъ догадывается что жизнь — собственно прошла, а осталось ея продолженіе, тогда онъ иначе возвращается къ свѣтлымъ, къ теплымъ, къ прекраснымъ воспоминаніямъ первой молодости.

Природа съ своими вѣчными уловками и экономическими хитростями *даетъ* юность человѣку, но человѣка сложившагося *беретъ* для себя, она его втягиваетъ,

вплетается въ ткань общественныхъ и семейныхъ отношеній, въ три четверти независащихъ отъ него, онъ разумѣется даетъ своимъ дѣйствіямъ свой личный характеръ, но онъ гораздо меньше принадлежитъ себѣ, лирическій элементъ личности ослабленъ, а потому и чувства и наслажденіе — все слабѣе кромѣ ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розамъ. Матери она лишилась ребенкомъ. Отецъ былъ отчаянный игрокъ, и какъ всѣ игроки по крови — десять разъ былъ бѣденъ, десять разъ былъ богатъ, и кончилъ все таки тѣмъ, что окончательно раззорился. *Les beaux restes* своего достоянія онъ посвятилъ конскому заводу, на который обратилъ всѣ свои помыслы и страсти. Сынъ его, уланскій юнкеръ, единственный братъ кузины, очень добрый юноша, шелъ прямымъ путемъ къ гибели; девятнадцати лѣтъ онъ уже былъ болѣе страстный игрокъ, нежели отецъ.

Лѣтъ пятидесяти, безъ всякой нужды, отецъ женился на застарѣлой въ дѣвствѣ воспитанницѣ Смольнаго монастыря. Такого полного, совершеннаго типа петербургской институтки мнѣ не случалось встрѣчать. Она была одна изъ отличнѣйшихъ ученицъ, и потомъ классной дамой въ монастырѣ; худая, бѣлокурая, подслѣпая, она въ самой наружности имѣла что-то дидактическое и назидательное. Совсе не глупая, она была полна ледяной восторженности на словахъ, говорила готовыми фразами о добродѣтели и преданности, знала на память хронологію и географію, до противной степени правильно говорила по французски, и танла внутри самолюбіе доходившее до искусственной, іезуитской скромности. Сверхъ этихъ общихъ чертъ „семинаристовъ въ желтой шали,“ она имѣла чисто нескія или смольныя. Она поднимала глаза къ небу, полные слезъ, говоря о

посѣщеніяхъ ихъ общей матери (императрицы Маріи Ѳеодоровны), была влюбена въ императора Александра и, помнится, носила медальонъ или перстень съ отрывкомъ изъ письма императрицы Елизаветы — „*Il a repris son sourire de bienveillance!*“

Можно себѣ представить стройное *trio*, составленное изъ отца-игрока страстнаго охотника до лошадей, цыганъ, шума, пировъ, скачекъ и бѣговъ; дочери, воспитанной въ совершенной независимости, привыкшей дѣлать, что хотѣлось въ домѣ, и ученой дѣвы, вдругъ сдѣлавшейся изъ пожилыхъ наставницъ молодой супругой. Разумѣется, она не любила падчерицу, разумѣется, что падчерица ее не любила. Вообще между женщинами тридцати лѣтъ и дѣвушками семнадцати только тогда бываетъ большая дружба, когда первыя самоотверженно рѣшаются не имѣть пола.

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной враждѣ между падчерицами и мачихами, она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вмѣсто матери, вызываетъ со стороны дѣтей отвращеніе. Второй бракъ— вторые похороны для нихъ. Въ этомъ чувствѣ ярко выражается дѣтская любовь, она шепчетъ сиротамъ: „Жена твоего отца, вовсе не твоя мать.“ Христіанство сначала понимало, что съ тѣмъ понятіемъ о бракѣ, которое оно развивало, съ тѣмъ понятіемъ о бзсмертіи души, которое оно проповѣдывало, второй бракъ вообще нелѣпость; но дѣлая постоянно уступки міру, церковь перехитрила и встрѣтилась съ неумолимой логикой жизни — съ простымъ дѣтскимъ сердцемъ, практически возставшимъ противъ благочестивой нелѣпости считать подругу отца — своей матерью.

Съ своей стороны и женщина, встрѣчающая, выходя изъ подъ вѣнца, готовую семью, дѣтей, находится въ

неловкомъ положеніи; ей нечего съ ними дѣлать, она должна натянуть чувства, которыхъ не можетъ имѣть, она должна увѣрить себя и другихъ, что чужія дѣти ей также милы какъ свои.

Я стало быть вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за ихъ взаимную нелюбовь, но понимаю, какъ молодая дѣвушка, не привыкнущая къ дисциплинѣ, рвалась куда бы то ни было на волю изъ родительскаго дома. Отецъ, начинавшій стариться, больше и больше покорялся ученой супругѣ своей; уланъ братъ ея шалилъ хуже и хуже, словомъ дома было тяжело и она наконецъ склонила мачиху отпустить ее на нѣсколько мѣсяцевъ, а можетъ и на годъ, къ намъ.

На другой день послѣ пріѣзда, кузина ниспровергла весь порядокъ моихъ занятій, кромѣ уроковъ; самодержавно назначила часы для общаго чтенія, не совѣтывала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую исторію и Анахарсисово путешествіе. Съ стоической точки зрѣнія противодѣйствовала она сильнымъ наклонностямъ моимъ курить тайкомъ табакъ, заворачивая его въ бумажку (тогда папирсы еще не существовали); вообще она любила мнѣ читать морали, — если я ихъ не исполнялъ, то мирно выслушивалъ. По счастью у нея не было выдержки, и забывая свои распоряженія, она читала со мной повѣсти Цшоке, вмѣсто архелогическаго романа, и посылала тайкомъ мальчика покупать зимой гречневика и гороховой кисель съ постнымъ масломъ, а лѣтомъ крыжовникъ и смородину.

Я думаю, что вліяніе кузины на меня было очень хорошо; теплый элементъ взошелъ съ нею въ мое келейное отрочество, отогрѣлъ, а можетъ и сохранилъ едва развертывавшіяся чувства, которыя очень могли быть совсѣмъ подавлены ироніей моего отца. Я научился

быть внимательнымъ, огорчаться отъ одного слова, заботиться о другѣ, любить; я научился говорить о чувствахъ. Она поддержала во мнѣ мои политическія стремленія, пророчила мнѣ необыкновенную будущность, славу, — и я съ ребячьимъ самолюбіемъ вѣрилъ ей, что я будущій „Брутъ или Фабрицій.“

Мнѣ одному она довѣрила тайну любви къ одному офицеру Александрійскаго гусарскаго полка, въ черномъ ментикѣ и въ черномъ долманѣ; это была дѣйствительная тайна, потому что и самъ гусарь никогда не подозрѣвалъ, команду своимъ эскадрономъ, какой чистой огонекъ теплился для него въ груди восемнадцатилѣтней дѣвушки. Не знаю, завидовалъ-ли я его судьбѣ, вѣроятно немножко, но я былъ гордъ тѣмъ, что она избрала меня своимъ повѣреннымъ — и воображалъ (по Вертеру), что это одна изъ тѣхъ трагическихкихъ страстей, которая будетъ имѣть великую развязку, сопровождаемую самоубійствомъ, ядомъ и кинжаломъ; мнѣ даже приходило въ голову идти къ нему и все рассказать.

Кузина привезла изъ Корчевы воланы, въ одинъ изъ волановъ была воткнута булавка и она никогда не играла другимъ и всякій, разъ когда онъ попадался мнѣ или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень къ нему привыкла. Демонъ *espéglerie*, который всегда былъ моимъ злымъ искусителемъ, напустилъ меня перемѣнить булавку, т. е. воткнуть ее въ другой воланъ. Шалость вполнѣ удалась, кузина постоянно брала ту, въ которой была булавка. Недѣли черезъ двѣ я ей сказалъ: она перемѣнилась въ лицѣ, залилась слезами и ушла къ себѣ въ комнату. Я былъ испуганъ, несчастенъ и, дожидаясь съ полчаса, отправился къ ней; комната была заперта, я просилъ отпереть дверь, ку-

зина не пускала, говорила, что она больна, что я не другъ ей, а бездушный мальчикъ. Я написалъ ей записку, умолялъ простить меня; послѣ чая мы помирились, я у ней поцаловалъ руку, она обняла меня и тутъ объяснила всю важность дѣла. Годъ тому назадъ гусаръ обѣдалъ у нихъ и послѣ обѣда игралъ съ ней въ воланъ, его то воланъ и былъ отиѣченъ. Меня угрызала совѣсть, я думалъ, что я сдѣлалъ истинное святотатство.

Кузина оставалась до октября мѣсяца. Отецъ звалъ ее назадъ и обѣщалъ черезъ годъ отпустить ее къ намъ въ Васильевское. Мы съ ужасомъ ждали разлуки, и вотъ однимъ осеннимъ днемъ пріѣхала за ней бричка и горничная ея понесла класть кузовки и картонъ, наши люди уложили всякихъ дорожныхъ припасовъ на цѣлую недѣлю, толпились у подъѣзда и прощались. Крѣпко обнялись мы—она плакала и я плакалъ, бричка выѣхала на улицу, повернула въ переулокъ возлѣ того самаго мѣста, гдѣ продавали гречивики и гороховой кисель, и исчезла; я походилъ по двору — такъ что-то холодно и дурно, взшелъ въ свою комнату — и тамъ будто пусто и холодно, принялся готовить урокъ Ивану Евдокимовичу, а самъ думалъ — гдѣ то теперь кибитка, проѣхала заставу или нѣтъ?

Одно меня утѣшало — въ будущемъ іюнѣ вмѣстѣ въ Васильевскомъ!

Для меня деревня была временемъ воскресенія, я страстно любилъ деревенскую жизнь. Лѣса, поля и воля вольная — все это мнѣ было такъ ново, выросшему въ хлопкахъ, за каменными стѣнами, не смѣя выйти ни подъ какимъ предлогомъ за ворота безъ спроса и безъ сопровожденія лакея...

„Вѣдемъ мы нынѣшній годъ въ Васильевское или

нѣтъ?" Вопросъ этотъ сильно занималъ меня съ весны. Отецъ мой всякій разъ говорилъ, что въ этомъ году онъ уѣдетъ рано, что ему хочется видѣть, какъ распускается листъ и никогда не могъ собраться прежде іюля. Иной годъ онъ такъ опаздывалъ, что мы совсѣмъ не ѣздили. Въ деревню писалъ онъ всякую зиму, чтобъ домъ былъ готовъ и протопленъ, но это дѣлалось больше по глубокимъ политическимъ соображеніямъ, нежели серьезно для того, чтобъ староста и земскій, боясь близкаго пріѣзда, внимательнѣе смотрѣли за хозяйствомъ.

Кажется, что ѣдемъ. Отецъ мой говорилъ Сенатору, что очень хотѣлось бы ему отдохнуть въ деревнѣ и что хозяйство требуетъ его присмотра, но опять проходили недѣли.

Мало по малу дѣло становилось вѣроятнѣе, запасы начинали отправляться, сахаръ, чай, разная крупа, вино — тутъ снова пауза и наконецъ приказъ старостѣ, чтобъ къ такому-то дню прислать столько-то крестьянскихъ лошадей — и такъ ѣдемъ, ѣдемъ!

Я не думалъ тогда какъ была тягостна для крестьянъ въ самую рабочую пору потеря четырехъ или пяти дней, радовался отъ души и торопился укладывать тетради и книги. Лошадей приводили, я съ внутреннимъ удовольствіемъ слушалъ ихъ жеванье и фырканье на дворѣ и принималъ большое участіе въ суетѣ кучеровъ, въ спорахъ людей о томъ гдѣ кто сидеть, гдѣ кто положить свои пожитки; въ людской огонь горѣлъ до самаго утра и всѣ укладывались, таскали съ мѣста на мѣсто мѣшки и мѣшочки и одѣвались по дорожному (ѣхать всего было около восьмидесяти верстъ). Всего болѣе раздраженъ былъ камердинеръ моего отца, онъ чувствовалъ всю важность укладки, съ ожесточеніемъ выбрасывалъ все положенное другими, рвалъ себѣ во-

лосы на головѣ отъ досады и былъ неприступенъ.

Отецъ мой вовсе не раньше вставалъ на другой день, казалось даже позже обыкновеннаго, также продолжительно пилъ кофе и наконецъ часовъ въ одиннадцать приказывалъ закладывать лошадей. За четверомѣстной каретой, заложеной шестью господскими лошадьми, ѣхали три, иногда четыре повозки: коляска, бричка, фура или вмѣсто ея двѣ телѣги; все это было наполнено дворовыми и пожитками, не смотря на обозы прежде отправленные — все было биткомъ набито, такъ что никому нельзя было порядочно сидѣть.

На подорогѣ мы останавливались обѣдать и кормить лошадей въ большомъ селѣ Перхушковѣ, имя котораго попало въ наполеоновскіе бюллетени. Село это принадлежало сыну „старшаго брата,“ о которомъ мы говорили при раздѣлѣ. Запущенный барскій домъ стоялъ на большой дорогѣ, окруженной плоскими безотрадными полями; но мнѣ и эта пыльная даль очень нравилась послѣ городской тѣсноты. Въ домѣ покоробленные полы и ступени лѣсницы качались, шаги и звуки раздавались рѣзко, стѣны вторили имъ будто съ удивленіемъ. Старинная мебель изъ кунстъ-камеры прежняго владѣльца, доживала свой вѣкъ въ этой ссылкѣ; я съ любопытствомъ бродилъ изъ комнаты въ комнату, ходилъ вверхъ, ходилъ внизъ, отправлялся въ кухню. Тамъ нашъ поваръ приготовлялъ наскоро дорожный обѣдъ съ недовольнымъ и проницательнымъ видомъ. Въ кухнѣ сидѣлъ обыкновенно бурмистръ, сѣдой старикъ съ шишкой на головѣ: поваръ обращаясь къ нему, критиковалъ плиту и очагъ, бурмистръ слушалъ его и по временамъ лавонически отвѣчалъ: „И то — пожалуй что и такъ,“ и невесело посматривалъ на всю эту тревогу, думая когда нелегкая ихъ пронесетъ.

Обѣдъ подавался на особенномъ англійскомъ сервизѣ изъ жести или изъ какой-то композиціи, купленномъ *ad hoc*. Между тѣмъ лошади были заложены; въ передней и въ сѣняхъ собирались охотники до придворныхъ встрѣчъ и проводовъ: лакеи, оканчивающіе жизнь на хлѣбѣ и чистомъ воздухѣ, старухи, бывшія смазливymi горничными лѣтъ тридцать тому назадъ, вся эта саранча господскихъ домовъ, поѣдающая крестьянскій трудъ безъ собственной вины, какъ настоящая саранча. Съ ними приходили дѣти съ свѣтлопалевыми волосами; босые и запачканные, они все совались впередъ, старухи все ихъ дергали назадъ; дѣти кричали, старухи кричали на нихъ, ловили меня при всякомъ случаѣ и всякій годъ удивлялись, что я такъ выросъ. Отецъ мой говорилъ съ ними нѣсколько словъ; одни подходили къ *ручкѣ*, которую онъ никогда не давалъ, другіе кланялись и мы уѣзжали.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Вяземы князи Голицына дожидался васьлевской староста, верхомъ, на опушкѣ лѣса и провожалъ проселкомъ. Въ селѣ, у господскаго дома, къ которому вела длинная липовая аллея, встрѣчалъ священникъ, его жена, причетники, дворовые, нѣсколько крестьянъ и дуракъ Пронька, который одинъ чувствовалъ человѣческое достоинство, не снималъ засаленой шляпы, улыбался, стоя нѣсколько поодаль, и давалъ стрѣчка, какъ только кто нибудь изъ городскихъ хотѣлъ подойти къ нему.

Я мало видалъ мѣстъ изыщѣе Васильевского. Кто знаетъ Кунцово и Архангельское Юсупова, или имѣнье Лопухина противъ Савина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское лежитъ на продолженіи того же берега, верстъ тридцать отъ Савина монастыря. На отлогой сторонѣ — село, церковь и старый господскій

домъ. По другую сторону — гора и небольшая деревенька, тамъ построилъ мой отецъ новый домъ. Видъ изъ него обнималъ верстъ пятнадцать кругомъ; озера нивъ, колеблясь, стлались безъ конца; разные усадьбы и села съ бѣлѣющими церквами видны были тамъ сямъ; лѣса разныхъ цвѣтовъ дѣлали полукруглую раму и черезъ все голубая тесьма Москвы рѣки. Я открывалъ окно рано утромъ въ своей комнатѣ наверху и смотрѣлъ, и слушалъ, и дышалъ.

При всемъ томъ мнѣ было жаль старый каменный домъ, можетъ оттого, что я въ немъ встрѣтился въ первый разъ съ деревней; я такъ любилъ длинную, тѣнистую алею, которая вела къ нему и одичалый садъ возлѣ; домъ разваливался, и изъ одной трещины въ сѣняхъ росла тоненькая, стройная береза. На лѣво по рѣкѣ шла ивовая алея, за нею тростникъ и бѣлый песокъ до самой рѣки; на этомъ пескѣ и въ этомъ тростникѣ игривалъ я бывало цѣло утро — лѣтъ одиннадцати, двѣнадцати. Передъ домомъ сидивалъ почти всегда согбенный старикъ, садовникъ, троилъ мятную воду, отваривалъ ягоды и тайкомъ кормилъ меня всякой овощью. Въ саду было множество воронъ: гнѣзда ихъ покрывали макушки деревьевъ, онѣ кружились около нихъ и каркали; иногда, особенно къ вечеру, они вспархивали цѣлыми сотнями, шумя и поднимая другихъ; иногда, одна какаа нибудь перелетитъ наскоро съ дерева на дерево и все затихнетъ... А къ ночи издали гдѣ-то сова то плачетъ, какъ ребенокъ, то заливается хохотомъ... Я боялся этихъ дикихъ, плачевныхъ звуковъ, а все таки ходилъ ихъ слушать.

Каждый годъ или, по крайней мѣрѣ, черезъ годъ ѣздили мы въ Васильевское. Я, уѣзжая, мѣтилъ на стѣнѣ возлѣ балкона мой ростъ, и тотчасъ отправлялся сви-

дѣлать, сколько меня прибыло. Но я могъ дѣвнѣй мѣрить не одинъ физическій ростъ, періодическія возвращенія въ тѣмъ-же предметамъ наглядно показывали разницу внутренняго развитія. Другія книги привозились, другіе предметы занимали. Въ 1823 я еще совсѣмъ былъ ребенкомъ, со мной были дѣтскія книги, да и тѣхъ я не читалъ, а занимался всего больше зайцемъ и вѣшкой, которые жили въ чуланѣ возлѣ моей комнаты. Одно изъ главныхъ наслажденій состояло въ разрѣшеніи моего отца, каждый вечеръ разъ выстрѣлить изъ фальконета, причемъ само собою разумѣется, вся дворня была занята, и пятидесятилѣтніе люди съ просьбою также тѣшились (какъ я. Въ 1827 я привезъ съ собою Плутарха и Шиллера; рано утромъ уходилъ я въ лѣсъ, въ чащу, какъ можно дальше, тамъ ложился подъ дерево и воображая, что это Богемскія лѣса, читалъ самъ себя вслухъ; тѣмъ не меньше, еще плотина, которую я дѣлалъ на небольшомъ ручьѣ съ помощью одного двороваго мальчика, мени очень занимала и я въ день десять разъ бѣгалъ ее осматривать и поправлять. Въ 1829 и 30 годахъ я писалъ *философскую* статью о Шиллеровомъ Валленштейнѣ — и изъ прежнихъ игръ удержался въ силѣ одинъ фальконетъ.

Впрочемъ, сверхъ палбы еще другое наслажденіе осталось моей неизмѣнной страстью — сельскіе вечера, они и теперь, какъ тогда, остались для меня минутами благочестія, тишины и поэзіи. Одна изъ послѣднихъ кротко-свѣтлыхъ минутъ въ моей жизни тоже напоминаетъ мнѣ сельскій вечеръ. Солнце опускалось торжественно, ярко въ океанъ огня, распускалось въ немъ..... Вдругъ густой пурпуръ смѣнился синей темнотою; все подернулось дымчатымъ испареніемъ, въ Италіи сумерки начинаются быстро. Мы сѣли на муловъ; по до-

рогѣ изъ Фраскати въ Римъ надобно было проѣзжать небольшою деревенькой; кой-гдѣ уже горѣли огоньки, все было тихо, копыта муловъ звонко постукивали по камню, свѣжій и нѣсколько сырой вѣтеръ подувалъ съ Апенинъ. При выѣздѣ изъ деревни въ нишѣ стояла небольшая мадонна, передъ нею горѣлъ фонарь; крестьянскія дѣвушки, шедшія съ работы, покрыты своимъ бѣлымъ убрусомъ на головѣ, опустились на колѣна и заплѣли молитву, къ присоединились шедшіе мимо нишіе пиферари; я былъ глубоко потрясенъ, глубоко тронутъ. Мы посмотрѣли другъ на друга.... и тихимъ шагомъ поѣхали къ остерин, гдѣ насъ ждала коляска. Выхавши домой, я рассказывалъ о вечерахъ въ Васильевскомъ. А что рассказывать? —

Деревья сада
Стоили тихо. По холмамъ
Тянулась селѣнская ограда,
И расходилось по домамъ
Ушло медленное стадо.

(ЮМОРЪ).

... Пастухъ хлопаетъ длиннымъ бичемъ да играетъ на берестовой дудкѣ; мычаніе, блеянье, топанье по мосту возвращающагося стада, собака подгоняетъ лаемъ разсѣянную овцу и та бѣжитъ какимъ-то деревиннымъ курцъ-галопомъ; а тутъ пѣсни крестьянокъ, идущихъ съ поля, все ближе и ближе; но тропинка повернула на право, и звуки снова удаляются. Изъ домовъ, скрытыхъ воротами, выходятъ дѣти, дѣвочки — встрѣчать своихъ коровъ, барановъ; работа кончилась. Дѣти играютъ на улицѣ, у берега, и ихъ голоса раздаются пронзительно-чисто по рѣкѣ и по вечерней зарѣ; къ воздуху примѣшивается паленой запахъ овиновъ, роса начинается исподволь стлать дымомъ по полю, надъ лѣсомъ вѣтеръ какъ-то ходитъ вслухъ, словно листъ за-

кипаетъ, а тутъ зарница дрожа освѣтитъ замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вѣра Артамоновна больше ворча, нежели сердясь, говоритъ, найди меня подъ липой: „что это васъ нигдѣ не сыщешь, и чай давно поданъ и всѣ въ сборѣ, я уже искала, искала васъ, ноги устали, не подѣ лѣта мнѣ бѣгать; да и что это на сырой травѣ лежать?... вотъ будетъ завтра насморкъ, непременно будетъ.“

— Ну полноте, полноте, говорилъ я смѣясь старушкѣ, и насморку не будетъ, и чаю я не хочу, а вы мнѣ украдете сливокъ лучше съ самаго верху.

— Въ самомъ дѣлѣ ужъ какой вы, на васъ и сердиться нельзя..... лакомство какое! сливки то, я уже, и безъ вашего спроса приготовила. А вотъ зарница... хорошо! это къ хлѣбу зарить.

И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой.

Послѣ 1832 года мы не ѣздили больше въ Васильевское. Въ продолженіи моей ссылки, мой отецъ продалъ его. Въ 1843 году мы жили въ другой подмосковной, въ звенигородскомъ уѣздѣ, верстъ двадцать отъ Васильевского. Какъ-же было не съѣздить на старое пепелище. И вотъ, мы опять ѣдемъ тѣмъ же проселкомъ; открывается знакомый боръ и гора покрытая орѣшникомъ, а тутъ и бродъ черезъ рѣку, этотъ бродъ, приводившій меня двадцать лѣтъ тому назадъ въ восторгъ — вода брызжетъ, мелкіе камни хрустятъ, кучера кричатъ, лошади упираются... ну вотъ и село, и домъ священника, гдѣ онъ сиживалъ, на лавочкѣ въ буромъ подрясникѣ, простодушный, добрый, рыжеватый, вѣчно въ поту, всегда что нибудь прикусывавшій, и постоянно одержимый икотой; вотъ и канцелярія, гдѣ земскій Василій Елифановъ, никогда не бывавшій трезвымъ, пи-

салъ свои отчеты, скорчившись надъ бумагой, и держа перо у самаго конца, круто подогнувши третій палецъ подъ него. Священникъ умеръ, Василій Епифановъ пишетъ отчеты и напивается въ другой деревнѣ. Мы оставились у старости, мужъ ея былъ на полѣ.

Что то чужое прошло тутъ въ эти десять лѣтъ, вмѣсто нашего дома на горѣ стоялъ другой, около него былъ разбитъ новый садъ. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встрѣтили какое то уродливое существо, тащившееся почти на четверенькахъ; оно мнѣ показывало что-то, я подошелъ — это была горбатая и разбитая параличемъ полуюродивая старуха, жившая подаяніемъ и работавшая въ огородѣ прежняго священника; ей было тогда уже лѣтъ около семидесяти и ее то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала: „Охъ уже и ты-то какъ состарился, я по поступи тебя только узнала, а я — ужъ, я то — о, о, охъ — и не говори!“

Когда мы ѣхали назадъ, я увидѣлъ издали на полѣ старосту, того-же, который былъ при насъ; онъ сначала не узналъ меня, но когда мы проѣхали, онъ, какъ бы спохватившись, снялъ шляпу и низко кланялся. Проѣхавъ еще нѣсколько, я обернулся, староста Григорій Горскій все еще стоялъ на томъ-же мѣстѣ и смотрѣлъ намъ въ слѣдъ; его высокая, бородатая фигура, кланяющаяся середь нивы, знакомо проводила насъ изъ отчуждившагося Васильевского.

ГЛАВА IV.

Някъ и Воробьевы горы.

„Напиши тогда какъ въ этомъ мѣстѣ (на Воробьевыхъ горахъ) развилась исторія нашей жизни, т. е. моей и твоей.“

письмо 1833.

Года за три до того времени, о которомъ идетъ рѣчь, мы гуляли по берегу Москвы рѣки въ Лужникахъ, т. е. по другую сторону Воробьевыхъ горъ. У самой рѣки мы встрѣтили знакомаго намъ француза гувернера въ одной рубашкѣ, онъ былъ перепуганъ и кричалъ „тонетъ! тонетъ!“ Но прежде нежели нашъ пріятель успѣлъ снять рубашку или надѣть панталоны, уральскій казакъ сбѣжалъ съ Воробьевыхъ горъ, бросился въ воду, исчезъ и черезъ минуту явился съ щедушнымъ человѣкомъ, у котораго голова и руки болтались какъ платье вывѣшенное на вѣтеръ; онъ положилъ его на берегъ, говоря: „еще отходится, стоитъ покачать.“

Люди, бывшіе около, собрали рублей пятьдесятъ и предложили казаку. Казакъ безъ ужимокъ очень простодушно сказалъ: „грѣшно за эдакое дѣло деньги брать и труда почитай никакого не было, шшь какой словно кошка. А впрочемъ, прибавилъ онъ, мы люди бѣдные, просить не просимъ, ну, а коли дають отчего не взять, покорнѣйше благодаримъ.“ Потомъ завязавши деньги въ платокъ, онъ пошелъ пасти лошадей на гору.

Мой отецъ спросилъ его имя и написалъ на другой день о бывшемъ Эссену. Эссенъ произвелъ его въ урядники. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ явился къ намъ казакъ и съ нимъ надушенный, рябой, лысый, въ завитой бѣлокурой надкладкѣ нѣмецъ; онъ пріѣхалъ благодарить за казака, это былъ утопленникъ. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ бывать у насъ.

Карлъ Ивановичъ Зоненбергъ оканчивалъ тогда нѣмецкую часть воспитанія какихъ-то двухъ повѣсь, отъ нихъ онъ перешелъ къ одному симбирскому помѣщику, отъ него къ дальнему родственнику моего отца. Мальчикъ, котораго физическое здоровье и германское произношеніе было ему ввѣрено и котораго Зоненбергъ называлъ Никомъ, мнѣ нравился, въ немъ было что-то доброе, кроткое и задумчивое: онъ вовсе не походилъ на другихъ мальчиковъ, которыхъ мнѣ случалось видѣть, тѣмъ не менѣе сближались мы туго. Онъ былъ молчаливъ, задумчивъ; я рѣзовъ, но боялся его тормозить.

Около того времени какъ тверская кузина уѣхала въ Корчеву, умерла бабушка Ника, матери онъ лишился въ первомъ дѣтствѣ. Въ ихъ домѣ была суета, и Зоненбергъ, которому нечего было дѣлать, тоже хлопоталъ и представлялъ, что сбитъ съ ногъ; онъ привелъ Ника съ утра къ намъ и просилъ его на весь день оставить у насъ. Никъ былъ грустенъ, испуганъ; вѣроятно онъ любилъ бабушку. Онъ такъ поэтически вспоминалъ ее потомъ:

И вотъ теперь въ вечерній часъ
Заря блеститъ стезею длинной,
Я вспоминаю какъ у насъ
Давно обычай былъ старинной,
Предъ воскресеньемъ каждый разъ
Ходилъ къ намъ понъ сѣдой и чинной

И передъ образомъ святымъ
Молился съ причетомъ своимъ.

Старушка бабушка моя
На креслахъ опершись стояла,
Молитву шопотомъ твоя,
И четки все перебирала;
Въ дверяхъ знакомая семья
Дворовыхъ лицъ молебъ внимала,
И въ землю кланялись они,
Прося у Бога долги дни.

А блескъ вечерній по окнамъ
Межъ тѣмъ горѣлъ.
По залѣ изъ кадила дымъ
Носился клубомъ голубымъ.

И все такую тишиной
Кругомъ дышало, только чтенье
Дьячковъ звучало, и съ душой
Дружилося тайное стремленье,
И смутно съ дѣтскою мечтой
Ужъ грусти тихой ощущенье
Я безсознательно сближалъ,
И все чего-то такъ желалъ.

ЮМОРЪ.

..... Посидѣвши немного, я предложилъ читать Шиллера. Меня удивляло сходство нашихъ вкусовъ; онъ зналъ на память гораздо больше чѣмъ я, и зналъ именно тѣ мѣста, которыя мнѣ такъ нравились, мы сложили книгу и выпытывали такъ сказать другъ въ другъ симпатію.

Отъ Мёроса шедшаго съ кинжаломъ въ рукавѣ, „чтобъ городъ освободить отъ тирана,“ отъ Вильгельма Теля, поджидавшаго на узкой дорожкѣ въ Кюснахтѣ Фохта — переходъ къ 14 Декабря и Николаю былъ легокъ. Мысли эти и эти сближенія не были чужды Нику, напечатанные стихи Пушкина и Рылѣева были и

ему извѣстны; разни́ца съ пустыми мальчи́ками, кото́рыхъ я изрѣдка встрѣчалъ, была разительна.

Не задолго передъ тѣмъ, гуляя на Прѣсенскихъ прудахъ, я полный монмъ *бушотовскимъ* терроризмомъ, объяснялъ одному изъ моихъ ровесниковъ справедливость казни Людовика XVI—„все такъ, замѣтилъ юный князь О. — по вѣдь онъ былъ помазанникъ божій!“ Я посмотрѣлъ на него съ сожалѣнiемъ, разлюбилъ его и ни разу потомъ не просился къ нимъ.

Этихъ предѣловъ съ Никомъ не было, у него сердце также билось какъ у меня, онъ также отчалилъ отъ угрюмага консервативнаго берега, стояло дружнѣе отпихиваться, и мы, чуть ли не въ первый день, рѣшились дѣйствовать въ пользу цесаревича *Константина!*

Прежде мы имѣли мало долгихъ бесѣдъ. Карлъ Ивановичъ мѣшалъ какъ осенняя муха и портилъ всякой разговоръ своимъ присутствiемъ, во все мѣшался, ничего не понимая дѣлалъ замѣчанiя, поправлялъ воротникъ рубашки у Ника, торопился домой, словомъ, былъ очень противенъ. Черезъ мѣсяцъ мы не могли провести двухъ дней, чтобъ не увидѣться или не написать письма; я съ порывистостью моей натуры привязывался больше и больше къ Нику, онъ тихо и глубоко любилъ меня.

Дружба наша должна была съ самаго начала принять характеръ серьезный. Я не помню, чтобъ шалости занимали насъ на первомъ планѣ, особенно когда мы были одни. Мы разумѣется не сидѣли съ нимъ на одномъ мѣстѣ, лѣта брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зоненберга и стрѣляли на нашемъ дворѣ изъ лука; но основа всего была очень далека отъ пустаго товарищества; насъ связывала сверхъ равенства лѣтъ, сверхъ нашего „химическаго“ сродства наша об-

щая религія. Ничего въ свѣтѣ не очищаетъ, не облагораживаетъ такъ отроческій возрастъ, не хранитъ его, какъ сильно возбужденный общечеловѣческій интересъ. Мы уважали въ себѣ наше будущее, мы смотрѣли другъ на друга какъ на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили съ Никомъ за городъ, у насъ были любимыя мѣста — Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Онъ приходилъ за мной съ Зоненбергомъ часовъ въ шесть или семь утра, и если я спалъ бросалъ въ мое окно песокъ и маленькіе камешки. Я просыпался улыбаясь и торопился выйти къ нему.

Раннія прогулки эти завелъ неутомимый Карлъ Ивановичъ.

Зоненбергъ въ помѣщичьи-патріархальномъ воспитаніи Огарева играетъ роль — Бирона. Съ его позволеніемъ вліяніе старика дядьки было устранено; скрѣпи сердце, молчала недовольная олигархія передней, понимая что проклятаго нѣмца, кушающаго за господскимъ столомъ, не пересилишь. Круто измѣнилъ Зоненбергъ прежніе порядки, дядька даже прослезился, узнавъ что нѣмчура повелъ молодого барина *самаю* покупать въ лавки готовые сапоги. Переворотъ Зоненберга, также какъ переворотъ Петра I, отличался военнымъ характеромъ въ дѣлахъ самыхъ мирныхъ. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы худенькія плечи Карла Ивановича когда нибудь прикрывались погономъ или эполетами, — но природа такъ устроила нѣмца, что если онъ не доходитъ до неряшества и *sans gêne* филологіей или теологіей, то какой бы онъ ни былъ статскій, все таки онъ военный. Въ силу этого и Карлъ Ивановичъ любилъ и узкія платья, застегнутыя и съ перехватомъ, въ силу этого и онъ былъ строгій блюститель собственныхъ

правиль и, положивши вставать въ шесть часовъ утра, поднималъ Ника въ 59 минуту шестого и никакъ не позже одной минуты седьмого, и отправлялся съ нимъ на чистый воздухъ.

Воробьевы горы, у подножія которыхъ тонулъ Карлъ Ивановичъ, скоро сдѣлались нашими „святыми холмами.“

Разъ послѣ обѣда, отецъ мой собрался ѣхать за городъ. Огаренъ былъ у насъ, онъ пригласилъ и его съ Зоненбергомъ. Поѣздки эти были не шуточными дѣлами. Въ четверомѣстной каретѣ „работы Іохима,“ что не мѣшало ей въ пятнадцатилѣтнюю, хотя и покойную службу, состарѣться до безобразія и быть по прежнему тяжелѣе осадной мортиры; до заставы надобно было ѣхать часъ или больше. Четыре лошади разнаго роста и не одного цвѣта, облѣнившіяся въ празднои жизни, и наѣвши себѣ животы, покрывались черезъ четверть часа потомъ и мыломъ; это было *запрещено* кучеру Авдѣю, и ему оставалось ѣхать шагомъ. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жаръ ни былъ; и ко всему этому рядомъ съ равномерно-гнетущимъ надзоромъ моего отца, безпокойно суетливый, тормошащій надзоръ Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтобъ быть вмѣстѣ.

Въ Лужникахъ мы переѣхали на лодкѣ Москву рѣку, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ казакъ вытащилъ изъ воды Карла Ивановича. Отецъ мой, какъ всегда, шелъ угрюмо и сгорбившись; возлѣ него, мелкими шажками семенилъ Карлъ Ивановичъ, занимал его силетными и болтовней. Мы ушли отъ нихъ впередъ и, далеко опередивши, взбѣжали на мѣсто закладки Витбергова храма, на Воробьевыхъ горахъ.

Запыхавшись и раскраснѣвшись, стояли мы тамъ,

обтирая потъ. Садилось солнце, купола блестяли, городъ стлался на необозримое пространство подъ горой, свѣжій вѣтерокъ подувалъ на насъ, постояли мы, постояли, оперлись другъ на друга, и вдругъ обнявшись присягнули въ виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта можетъ показаться очень наткнутой, очень театральной, а между тѣмъ, черезъ двадцать шесть лѣтъ, я тронуть до слезъ вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но видно одинакая судьба поражаетъ всѣ обѣты данныя на этомъ мѣстѣ; Александръ былъ тоже искрененъ, положивши первый камень храма, который какъ Іосифъ II сказалъ и притомъ ошибочно, при закладкѣ какого-то города въ Новороссіи, — сдѣлался послѣднимъ.

Мы не знали всей силы того, съ чѣмъ вступали въ бой, но бой приняли. *Сила* сломила въ насъ многое, *но не она* насъ сокрушила, и ей мы не сдались, не смотря на всѣ ея удары. Рубцы полученные отъ нея почетны, свихнутая нога Іакова была знаменіемъ того, что онъ боролся ночью съ богомъ.

Съ этого дня Воробьевы горы сдѣлались для насъ мѣстомъ богомолья, и мы въ годъ разъ или два ходили туда, и всегда одни. Тамъ спрашивалъ меня Огаревъ: пить лѣтъ спусти, робко и застѣнчиво, вѣрю ли я въ его поэтическій талантъ, и писалъ мнѣ потомъ, (1833) изъ своей деревни: „Выѣхалъ я и мнѣ стало грустно, такъ грустно какъ никогда не бывало. А все Воробьевы горы. Долго я самъ въ себѣ таилъ восторги; застѣнчивость или что нибудь другое, чего я и самъ не знаю, мѣшало мнѣ высказать ихъ, но на Воробьевыхъ горахъ этотъ восторгъ не былъ отягченъ одиночествомъ, ты раздѣлялъ его [со мной, и эти минуты незабвенны,

онѣ какъ воспоминанія о быломъ счастьи преслѣдовали меня дорогой, а вокругъ я только видѣлъ лѣсъ; все было такъ сине, сине, а на душѣ темно, темно.

„Напиши, заключалъ онъ, какъ въ этомъ мѣстѣ (на Воробьевыхъ горахъ) развилась исторія нашей жизни, т. е. моей и твоей.“

Прошло еще пять лѣтъ, я былъ далеко отъ Воробьевыхъ горъ, но возлѣ меня угрюмо и печально стоялъ ихъ Прометей — А. Л. Витбергъ. Въ 1842, возвратившись окончательно въ Москву, я снова посѣтилъ Воробьевы горы, мы опять стояли на мѣстѣ закладки, смотрѣли на тотъ же видъ, и также вдвоемъ, — но не съ Никомъ.

Съ 1827 мы не разлучались. Въ каждомъ воспоминаніи того времени, отдѣльномъ и общемъ, вездѣ на первомъ планѣ онъ съ своими отроческими чертами, съ своей любовью ко мнѣ. Рано видѣлось въ немъ то помазаніе, которое достается немногимъ, на бѣду ли, на счастье ли, не знаю, но навѣрное на то, чтобы не быть въ толпѣ. Въ домѣ у его отца долго потомъ оставался большой писанный масляными красками портретъ Огарева того времени (1827—28 года). Впослѣдствіи часто останавливался я передъ нимъ и долго смотрѣлъ на него. Онъ представленъ съ раскинутымъ воротникомъ рубашки; живописецъ чудно схватилъ богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильныхъ чертъ и нѣсколько смуглый колоритъ; на холстѣ видѣлась задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвѣчивали изъ сѣрыхъ большихъ глазъ, намекая на будущій ростъ великаго духа; такимъ онъ и выросъ. Портретъ этотъ, подаренный мнѣ, взяла чужая женщина — можетъ ей попадутся эти строки, и она его пришлетъ мнѣ.

Я не знаю, почему даютъ какой-то монополь воспомина́нiямъ первой любви надъ воспомина́нiями молодой дружбы. Первая любовь потому такъ благоуханна, что она забываетъ различiе половъ, что она страстная дружба. Съ своей стороны дружба между юношами имѣетъ всю горячность любви и весь ея характеръ, та же застѣнчивая боязнь касаться словомъ своихъ чувствъ, тоже недоуверiе къ себѣ, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и тоже ревнивое желанiе исключительности.

Я давно любилъ и любилъ страстно Ника, но не рѣшался назвать его „другомъ“ и когда онъ жилъ лѣтомъ въ Кунцовѣ, я писалъ ему въ концѣ письма: „Другъ вашъ или нѣтъ, еще не знаю.“ Онъ первый сталъ мнѣ писать *ты* и называлъ меня своимъ Агатомъ по Карамзину, а я звалъ его моимъ Рафаиломъ по Шиллеру.*)

Улыбнитесь пожалуй, да только кротко, добродушно, такъ какъ улыбаются, думая о своемъ пятнадцатомъ годѣ. Или не лучше ли призадуматься надъ своимъ: „Таковъ ли былъ я разцвѣтаю?“ и благословить судьбу, если у васъ *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у насъ былъ тогда другъ.

Языкъ того времени намъ сдается натянутымъ, книжнымъ, мы отучились отъ его неустойчившейся восторженности, нестройнаго одушевленiя, смѣняющагося вдругъ, то томной нѣжностью, то дѣтскимъ смѣхомъ. Онъ былъ бы смѣшенъ въ тридцатилѣтнемъ человѣкѣ, какъ знаменитое *Betina will schlafen*, но въ свое время этотъ отроческiй языкъ, этотъ *jargon de la puberté*, эта перемежающаяся психическаго голоса — очень откровенны,

*) Philosophische Briefe.

даже книжный оттѣнокъ естественнаго возрасту теоретическаго знанія и практическаго невѣжества.

Шиллеръ остался нашимъ любимцемъ,*) лица его драмъ были для насъ существующія личности, мы ихъ разбирали, любили и ненавидѣли не какъ поэтическія произведенія, а какъ живыхъ людей. Сверхъ того мы въ нихъ видѣли самихъ себя. Я писалъ къ Нику, нѣсколько озабоченный тѣмъ, что онъ слишкомъ любитъ Фіэско, что за „всякимъ“ Фіэско стоитъ свой Верино. Мой идеалъ былъ Карлъ Моръ, но я вскорѣ измѣнилъ ему и перешелъ въ маркиза Позу. На сто ладовъ придумывалъ я, какъ буду говорить съ Николаемъ, какъ онъ потомъ отправитъ меня въ рудники, казнить. Странная вещь, что почти всѣ наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда торжествомъ, неужели это русской складъ фантазіи, или отраженіе Петербурга съ пятью висѣльницами и каторжной работой на юномъ поколѣніи?

Такъ то Огаревъ, рука въ руку входили мы съ тобою въ жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвѣчали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлеченію. Путь нами избранный былъ не легокъ, мы его не покидали ни разу, раненные, сломанные, мы шли и насъ никто не обгонялъ. Я дошелъ... не до цѣли, а до того мѣста, гдѣ дорога идетъ подъ гору и невольно ищу твоей руки, чтобъ вмѣстѣ выйти, чтобъ пожать ее и сказать грустно улыбаясь, „вотъ и все!“

*) Поэзія Шиллера не утратила на меня своего вліянія, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, я читалъ моему сыну Вадеништейна, это гигантское произведеніе! Тотъ, кто теряетъ вкусъ къ Шиллеру, тотъ или старъ, или педантъ, очерствѣлъ или забылъ себя. Что же сказать о тѣхъ скороспѣлыхъ *alikleuge Burshen*, которые такъ хорошо знаютъ недостатки его въ семнадцать лѣтъ?...

А покаместъ въ скучномъ досугѣ, на который меня осудили событія, не находи въ себѣ ни силъ, ни свѣжести на новый трудъ, записываю я *наши* воспоминанія. Много того, что насъ такъ тѣсно соединяло, осѣло въ этихъ листахъ, я ихъ дарю тебѣ. Для тебя они имѣютъ двойной смыслъ, смыслъ надгробныхъ памятникъ, на которыхъ мы встрѣчаемъ знакомыя имена.*)

..... А не странно-ли подумать, что умѣй Зоненбергъ плавать или утонн онъ тогда въ Москвѣ рѣкѣ, вытащи его не уральскій казакъ, а какой-нибудь ашперонской пѣхотинецъ, я бы и не встрѣтился съ Никомъ, или позже, иначе, не въ той комнаткѣ нашего стараго дома, гдѣ мы, тайкомъ кури сигарки, заступали такъ далеко другъ другу въ жизнь и черпали другъ въ другѣ силу.

Онъ не забылъ его — нашъ „старый домъ“.

Старый домъ, старый другъ! посѣтилъ я
Наконецъ въ заустѣннѣ тебя,
И бывшее опять воскресилъ я,
И печально смотрѣлъ на тебя.

Дворъ лежалъ предо мной неметенный,
Да колодезь валился гнилой,
И въ саду не шумѣлъ листъ зеленый,
Желтый глѣлъ онъ на почвѣ сырой.

Домъ стоялъ обвѣтшавшій уныло,
Штукатурка обилась кругомъ,
Туча сѣрая сверху ходила,
И все плакала, глядя на домъ.

Я вошелъ. Тѣ же комнаты были,
Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ,
Мы бесѣды его не любили,
Насъ страшилъ его черствый языкъ.

Вотъ и комнатка: съ другомъ, бывало,
Здѣсь мы жили умомъ и душой,

*) Писано въ 1853 году.

Много думъ золотыхъ возникало
Въ этой комнаткѣ прежней порой.

Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,
Въ ней остались слова на стѣнахъ:
Ихъ въ то время рука начертила,
Когда юность кипѣла въ душахъ.

Въ той комнаткѣ счастье былое,
Дружба свѣтлая выросла тамъ;
А теперь заустѣнье глухое,
Паутины висятъ по угламъ.

И мнѣ страшно вдругъ стало. Дрожалъ я,
На кладбищѣ — я будто стоялъ,
И родныхъ мертвецовъ вызывалъ я,
Но изъ мертвыхъ никто не возсталъ.

ГЛАВА V.

Подробности домашняго житія — Люди XVIII вѣка въ Россіи —
Дни у насъ въ домѣ — Гости и *habitués* — Зоненбергъ —
Камердинеръ и пр.

Невыносимая скука нашего дома росла съ каждымъ годомъ. Еслибъ не близокъ былъ университетскій курсъ, не новая дружба, не политическое увлеченіе и не живость характера, я бѣжалъ бы или погибъ.

Отецъ мой рѣдко бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, онъ постоянно былъ всѣмъ недоволенъ. Человѣкъ большого ума, большой наблюдательности, онъ бездну видѣлъ, слышалъ, помнилъ; свѣтскій человѣкъ *accompli*, онъ могъ быть чрезвычайно любезенъ и занимателенъ, но онъ не хотѣлъ этого и все болѣе и болѣе впадалъ въ капризное отчужденіе ото всѣхъ.

Трудно сказать что собственно внесло столько горячи и желчи въ его кровь. Эпохи страстей, большихъ

несчастій, ошибокъ, потерь, вовсе не было въ его жизни. Я никогда не могъ вполне понять, откуда происходила злая насмѣшка и раздраженіе, наполнявшія его душу, его недовѣрчивое удаленіе отъ людей и досада снѣдавшая его. Развѣ онъ унесъ съ собой въ могилу какое-нибудь воспоминаніе, котораго никому не довѣрилъ, или это было просто слѣдствіе встрѣчи двухъ вещей до того противоположныхъ какъ восемнадцатый вѣкъ и русская жизнь, при посредствѣ третьей ужасно способствующей капризному развитію — помѣщичьей праздности.

Прошрое столѣтіе произвело удивительный кряжъ людей на Западѣ, особенно во Франціи, со всѣми слабостями регентства, со всѣми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вмѣстѣ — отворили настежъ двери революціи и первые ринулись въ нее, поспѣшно толкая другъ друга, чтобъ выйти въ „окно“ гильотины. Нашъ вѣкъ не производитъ болѣе этихъ цѣльныхъ, сильныхъ натуръ; прошрое столѣтіе, напротивъ вызвало ихъ вездѣ, даже тамъ, гдѣ онѣ не были нужны, гдѣ онѣ не могли иначе развиться какъ въ уродство. Въ Россіи люди, подвергнувшіеся вліянію этого мощнаго западнаго вѣянія, не были историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи западными предразсудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ.

Къ этому кругу принадлежалъ въ Москвѣ на первомъ планѣ блестящій умомъ и богатствомъ русскій вельможа, европейскій *grand seigneur* и татарскій князь Н. В. Юсуповъ. Около него была цѣлая плеяда сѣдыхъ воло-

китъ и esprits forts, всѣхъ этихъ Масальскихъ, Санти и tutti quanti. Всѣ они были люди довольно развитые и образованные; оставленные безъ дѣла, они бросились на наслажденія, холили себя, любили себя, отпускали себѣ добродушно всѣ прегрѣшенія, возвышали до платонической страсти свою гастрономію и сводили любовь къ женщинамъ на какое-то обжорливое лакомство.

Старый скептикъ и эпикуреецъ Юсуповъ, пріятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касты, былъ одаренъ дѣйствительно артистическимъ вкусомъ. Чтобъ въ этомъ убѣдиться, достаточно разъ побывать въ Архангельскомъ, поглядѣть на его галереи, если ихъ еще не продалъ въ разбивку его наслѣдникъ. Онъ пышно потухалъ восьмидесяти лѣтъ, окруженный мраморной, рисованой и *живой* красотой. Въ его загородномъ домѣ бесѣдовалъ съ нимъ Пушкинъ, посвятившій ему чудное посланіе и рисовалъ Гонзага, которому Юсуповъ посвятилъ свой театръ.

Мой отецъ, по воспитанію, по гвардейской службѣ, по жизни и связямъ принадлежалъ къ этому-же кругу; но ему ни его нравъ, ни его здоровье не позволили вести до семидесяти лѣтъ вѣтренную жизнь и онъ не решелъ въ противоположную крайность. Онъ хотѣлъ себѣ устроить жизнь одинокую, въ ней его ждала смертельная скука, тѣмъ болѣе, что онъ только *для себя* хотѣлъ ее устроить. Твердая воля превращалась въ упрямые капризы, незанятія силы портили нравъ, дѣлал его тяжелымъ.

Когда онъ воспитывался, европейская цивилизація была еще такъ нова въ Россіи, что быть образованнымъ значило быть наименѣе русскимъ. Онъ до конца жизни писалъ свободнѣе и правильнѣе по французски нежели по русски, онъ à la lettre не читалъ ни одной

русской книги, ни даже библіи. Впрочемъ библіи онъ и на другихъ языкахъ не читалъ, онъ зналъ по наслышкѣ и по отрывкамъ, о чемъ идетъ рѣчь вообще въ св. писаніи и дальше не полюбобытствовалъ заглянуть. Онъ уважалъ правда Державина и Крылова: Державина за то, что написалъ оду на смерть его дяди князя Мещерскаго, Крылова за то, что вмѣстѣ съ нимъ былъ секундантомъ на дуэли Н. Н. Бахметева. Какъ-то мой отецъ принялся за Карамзина *Исторію Государства Россійскаго*, узнавши, что императоръ Александръ ее читалъ, но положилъ въ сторону, съ пренебреженіемъ говоря: „все Изяславици, да Ольговици, кому это можетъ быть интересно?“

Людей онъ презиралъ откровенно, открыто — всѣхъ. Ни въ какомъ случаѣ онъ не считалъ ни на кого и я не помню, чтобъ онъ къ кому-нибудь обращался съ значительной просьбой. Онъ и самъ ни для кого ничего не дѣлалъ. Въ сношеніяхъ съ посторонними онъ требовалъ одного — сохраненія приличій; les apparences, les convenances составляли его нравственную религію. Онъ много прощалъ или лучше пропускалъ сквозь пальцы, но нарушеніе формъ и приличій выводили его изъ себя и тутъ онъ становился безъ всякой терпимости, безъ малѣйшаго снисхожденія и состраданія. Я такъ долго возмущался противъ этой несправедливости что наконецъ понималъ ее; онъ впередъ былъ увѣренъ, что всякой человѣкъ способенъ на все дурное, и если не дѣлаетъ, то, или не имѣетъ нужды, или случай не подходитъ; въ нарушеніи-же формъ, онъ видѣлъ личную обиду, неуваженіе къ нему или „мѣщанское воспитаніе,“ которое по его мнѣнію отлучало человѣка отъ всякаго людскаго общества.

„Душа человѣческая, говаривалъ онъ, потемки и кто

знаетъ что у кого на душѣ; у меня своихъ дѣлъ слишкомъ много, чтобъ заниматься другими, да еще судить и пересуживать ихъ намѣренія; но съ человѣкомъ дурно воспитаннымъ я въ одной комнатѣ не могу быть, онъ мени оскорбляетъ, *фрустрируетъ*; а тамъ онъ можетъ быть добрейшій въ мірѣ человѣкъ, за то ему будетъ мѣсто въ раю, но мнѣ его не надобно. Въ жизни всего важнѣе *esprit de conduite* важнѣе превыспренняго ума и всякаго ученія. Вездѣ умѣть найтись, нигдѣ не соваться впередъ, со всѣми чрезвычайная вѣжливость и ни съ кѣмъ фамиллярности.“

Отецъ мой не любилъ никакого *abandon* никакой откровенности, онъ все это называлъ фамиллярностью, такъ какъ всякое чувство — сентиментальностью. Онъ постоянно представлялъ изъ себя человѣка, стоящаго выше всѣхъ этихъ мелочей; для чего, съ какой цѣлью? въ чемъ состоялъ высшій интересъ, которому жертвовалось сердце? — я не знаю. И для кого этотъ гордый старикъ, такъ искренно презиравшій людей, такъ хорошо знавшій ихъ, представлялъ свою роль безстрастнаго судьи? — для женщины, которой волю онъ сломилъ, не смотря на то, что она иногда ему противурѣчила, для больного, постоянно лежавшаго подъ ножемъ оператора; для мальчика, изъ рѣзвости котораго онъ развилъ непокорность, для дюжины лакеевъ, которыхъ онъ не считалъ людьми!

И сколько силъ терпѣнія было употреблено на это, сколько настойчивости и какъ удивительно вѣрно была доиграна роль, не смотря ни на лѣта, ни на болѣзни. Дѣйствительно, душа человѣческая потемки.

Впоследствии я видѣлъ, когда меня арестовали и потомъ, когда отправили въ ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нѣжности, нежели

и думалъ. И никогда не поблагодарилъ его за это, не зная, какъ бы онъ принялъ мою благодарность.

Разумѣется онъ не былъ счастливъ, всегда на сто-рожѣ, всѣмъ недовольный, онъ видѣлъ съ стѣсненнымъ сердцемъ непріязненные чувства, вызванныя имъ у всѣхъ домашнихъ; онъ видѣлъ, какъ улыбка пропадала съ лица, какъ останавливалась рѣчь, когда онъ входилъ; онъ говорилъ объ этомъ съ насмѣшкой, съ досадой, но не дѣлалъ ни одной уступки и шелъ съ величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмѣшка, пронія холодная, язвительная и полная презрѣнія — было орудіе, которымъ онъ владѣлъ артистически, онъ его равно употреблялъ противъ насъ и противъ слугъ. Въ первую юность многое можно скорѣе вынести нежели *инты-нянне*, и я, въ самомъ дѣлѣ до тюрьмы удалялся отъ моего отца и велъ противъ него маленькую войну, соединяясь съ слугами и служанками.

Ко всему остальному онъ увѣрилъ себя, что онъ опасно боленъ и безпрестанно лечился; сверхъ домо-ваго лекаря, къ нему ѣздили два или три доктора и онъ дѣлалъ по крайней мѣрѣ три консилиума въ годъ. Гости, видя постоянно непріязненный видъ его и слушая однѣ жалобы на здоровье, которое далеко не было такъ дурно, рѣдѣли. Онъ сердился за это, но ни одного человѣка не упрекнулъ, не пригласилъ. Страшная скука царила въ домѣ, особенно въ безконечные зимніе вечера — двѣ лампы освѣщали цѣлую анфиладу воннаты; сгорбившись и заложивъ руки на спину, въ суконныхъ или поярковыхъ сапогахъ (въ родѣ вале-нокъ), въ бархатной шапочкѣ и въ тулупѣ изъ бѣ-лыхъ мерлушекъ ходилъ старикъ взадъ и впередъ, не говоря ни слова, въ сопровожденіи двухъ-трехъ корич-невыхъ собакъ.

Выѣстъ съ меланхоліей росла у него бережливость, обращенная на ничтожные предметы. Своимъ имѣніемъ онъ управлялъ дурно для себя и дурно для крестьянъ. Старосты и его *missi dominici* грабили барина и мужиковъ; за то все находившееся на глазахъ было подвержено двойному контролю; тутъ береглись свѣчи, и тощій *vin de Graves* замѣнился кислымъ крымскимъ виномъ, въ то самое время какъ въ одной деревнѣ сводили цѣлый лѣсъ, а въ другой ему-же продавали его собственный овесъ. У него были привилегированные воры; крестьянинъ, котораго онъ сдѣлалъ сборщикомъ оброка въ Москвѣ и котораго посылалъ всякое лѣто ревизовать старосту, огородъ, лѣсъ и работы, купилъ лѣтъ черезъ десять въ Москвѣ домъ. Я съ дѣтства ненавидѣлъ этого министра безъ портфеля, онъ при мнѣ разъ на дворѣ билъ какого-то стараго крестьянина, я отъ бѣшенства вцѣпился ему въ бороду и чуть не упалъ въ обморокъ. Съ тѣхъ поръ я не могъ на него равнодушно смотрѣть до самой его смерти въ 1845 г. Я нѣсколько разъ говорилъ моему отцу, откуда-же Шкунъ взялъ деньги на покупку дома?

— Вотъ что значить трезвость, отвѣчалъ мнѣ старикъ, онъ капли вина въ ротъ не беретъ.

Всякой годъ около масляницы пензенскіе крестьяне привозили изъ подъ Керенска оброкъ *натурой*. Недѣли двѣ тащился бѣдный обозъ, нагруженный свинными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яйцами, масломъ и наконецъ холстомъ. Приѣздъ керенскихъ мужиковъ былъ праздникомъ для всей дворни, они грабили мужиковъ, общитывали на каждомъ шагѣ и притомъ безъ малѣйшаго права. Кучера съ нихъ брали *за воду* въ колодцѣ, не позволяя поить лошадей, безъ платы; бабы *за тепло* въ избѣ; аристократамъ пе-

редней они должны были кланяться кому [поросенкомъ и полотенцомъ, кому гусемъ и масломъ. Все время ихъ пребыванія на барскомъ дворѣ шель пиръ горой у прислуги, дѣлались селянки, жарились поросята и въ передней носились постоянно запахъ лука, подгорѣлаго жира и сивухи, уже выпитой. Бакай послѣдніе два дня не входилъ въ переднюю и не вполнѣ одѣвался, а сидѣлъ въ накинутаой старой ливрейной шинели, безъ жилета и куртки, въ сѣняхъ кухни. Никита Андреевичъ видимо худѣлъ и становился смуглѣе и старше. Отецъ мой выносилъ все это довольно спокойно, зная что это необходимо и отвратить этого нельзя.

Послѣ приѣма мерзлой *жизности*, отецъ мой — и тутъ самая замѣчательная черта въ томъ, что эта шутка повторялась ежегодно — призывалъ повара Спиридона и отправлялъ его въ охотный рядъ и на смоленскій рынокъ узнать цѣны. Поваръ возвращался съ баснословными цѣнами, меньше чѣмъ въ половину. Отецъ мой говорилъ, что онъ дуракъ и посылалъ за Шкуномъ или Слѣпушкинымъ. Слѣпушкинъ торговалъ фруктами у Ильинскихъ воротъ. И тотъ и другой находили цѣны повара ужасно низкими, справлялись и приносили цѣны повыше. Наконецъ Слѣпушкинъ предлагалъ взять все гуломъ и яицы и поросятъ и масло и рожь, „чтобъ вашему-то здоровью, батюшка, никакого безпокойства не было.“ Цѣну онъ давалъ само собою разумѣется нѣсколько выше поварской. Отецъ мой соглашался, Слѣпушкинъ приносилъ ему на спрыски апельсиновъ съ приниками, а повару двухсотрублевую ассигнацію.

Слѣпушкинъ, этотъ былъ въ большой милости у моего отца и часто занималъ у него деньги, онъ и тутъ былъ оригиналенъ, именно потому, что глубоко изучилъ характеръ старика.

Выпросить бывало себѣ руб. 500 мѣсяца на два и за день до срока является въ переднюю съ какимъ нибудь куличемъ на блюдѣ и съ 500 рублей на куличѣ. Отецъ мой бралъ деньги, Слѣпушкинъ кланялся въ поясъ, и просилъ ручку, которую баринъ не давалъ. Но дня черезъ три, Слѣпушкинъ снова приходилъ просить денегъ въ займы, тысячи полторы. Отецъ ему давалъ, и Слѣпушкинъ снова приносилъ въ срокъ; отецъ мой ставилъ его въ примѣръ; а тотъ черезъ недѣлю увеличивалъ кушъ, и имѣлъ такимъ образомъ для своихъ оборотовъ тысячъ пять въ годъ наличными деньгами, за небольшіе проценты, двухъ-трехъ куличей, нѣсколько фунтовъ фигъ и грецкихъ орѣховъ, да сотню апельсинъ и крымскихъ яблоковъ.

Въ заключеніе упомяну, какъ въ Новосельи пропало нѣсколько сотъ десятинъ строеваго лѣса. Въ сороковыхъ годахъ М. Ѳ. Орловъ, которому тогда помнится графиня Анна Алексѣевна давала капиталъ для покупки имѣнья его дѣти, сталъ торговать тверское имѣнье доставшееся моему отцу отъ Сенатора. Сошлись въ цѣнѣ, и дѣло казалось оконченнымъ. Орловъ поѣхалъ осмотрѣть, и осмотрѣвши написалъ моему отцу, что онъ ему показывалъ на планѣ лѣсъ, но что этого лѣса вовсе нѣтъ.

— Вѣдь вотъ умный человѣкъ, говорилъ мой отецъ, и въ конспираціи былъ, книгу писалъ *des finances*, а какъ до дѣла дошло, видно, что пустой человѣкъ. . . Неккеры! а я вотъ попрошу Григорія Ивановича сѣздить, онъ не конспираторъ, но честный человѣкъ, и дѣло знаетъ.

Поѣхалъ и Григорій Ивановичъ въ Новоселье и привезъ вѣсть, что лѣса нѣтъ, а есть только лѣсная декорация, такъ что ни изъ господскаго дома, ни съ боль-

шой дороги порубки не бросаются въ глаза. Сенаторъ послѣ раздѣла на худой конецъ былъ пять разъ въ Новоселья, и все оставалось шито и крыто.

Чтобъ дать полное понятіе о нашемъ житьи-бытьи, опишу цѣлый день съ утра; однообразность была именно одна изъ самыхъ убійственныхъ вещей, жизнь у насъ шла какъ англійскіе часы, у которыхъ убавленъ ходъ, тихо, правильно и громко напоминая каждую секунду.

Въ десятомъ часу утра камердинеръ, сидѣвшій въ комнатѣ возлѣ спальной, увѣдомлялъ Вѣру Артамонову, мою экс-нянюшку, что баринъ встаетъ. Она отправлялась готовить кофей, который онъ пилъ одинъ въ своемъ кабинетѣ. Все въ домѣ принимало иной видъ, люди начинали чистить комнаты, но крайней мѣрѣ показывали видъ, что дѣлаютъ что нибудь. Передняя, до тѣхъ поръ пустая, наполнилась, даже большая ньюфаундлендская собака Макбетъ садилась передъ печью и не мигая смотрѣла въ огонь.

За кофеемъ старикъ читалъ Московскія Вѣдомости и *Journal de St. Peterbourg*; не мѣшаетъ замѣтить, что Московскія Вѣдомости было велѣно грѣть, чтобъ не простудить рукъ отъ сырости листовъ и что политическія новости мой отецъ читалъ во французскомъ текстѣ, находя русскій неяснымъ. Одно время онъ бралъ откуда-то Гамбургскую газету, но не могъ примириться, что пѣмцы печатаютъ нѣмецкими буквами, всякой разъ показывалъ мнѣ разницу между французской печатью и нѣмецкой, и говорилъ, что отъ этихъ вычурныхъ готическихкихъ буквъ съ хвостиками слабѣетъ зрѣніе. Потомъ онъ выписывалъ *Journal de Francfort*, а впоследствии ограничивался отечественными газетами.

Окончивъ чтеніе, онъ примѣчалъ, что въ его ком-

натѣ уже находится Карлъ Ивановичъ Зоненбергъ. Когда Нику было лѣтъ пятнадцать, Карлъ Ивановичъ завелъ было лавку, но, не имѣя ни товара, ни покупателей и растративъ кой-какъ сколоченныя деньги на эту полезную торговлю, онъ ее оставилъ съ почетнымъ титуломъ „ревельскаго негоціанта.“ Ему было тогда гораздо лѣтъ за сорокъ и онъ въ этотъ пріятный возрастъ повелъ жизнь птички божіей или четырнадцатилѣтняго мальчика, т. е. не зналъ, гдѣ завтра будетъ спать и на что обѣдать. Онъ пользовался нѣкоторымъ благорасположеніемъ моего отца; мы сейчасъ увидимъ, что это значитъ.

Въ 1830 году отецъ мой купилъ возлѣ нашего дома другой, больше, лучше и съ садомъ, домъ этотъ принадлежалъ графинѣ Растопчиной, женѣ знаменитаго Федора Васильевича. Мы перешли въ него. Вслѣдъ за тѣмъ онъ купилъ третій домъ, уже совершенно не нужный, но смѣжный. Оба эти дома стояли пустыя, въ наймы они не отдавались, въ предупрежденіе пожара (дома были застрахованы) и безпокойства отъ наемщиковъ; они сверхъ того и не поправлялись, такъ что были на самой вѣрной дорогѣ къ разрушенію. Въ одномъ-то изъ нихъ дозволялось жить безпріютному Карлу Ивановичу съ условіемъ воротъ послѣ десяти часовъ вечера не отпирать, условіе легкое, потому что они никогда и не запирались; дрова покупать, а не брать изъ домашняго запаса (онъ ихъ дѣйствительно покупалъ у нашего кучера) и состоять при моемъ отцѣ въ должности чиновника особыхъ порученій, т. е. приходить по утру съ вопросомъ нѣтъ-ли какихъ приказаній, являться къ обѣду и приходить вечеромъ, когда никого не было, занимать повѣствованіями и новостями.

Какъ ни проста кажется была должность Карла Ива-

новича, но отецъ мой умѣлъ ей придать столько горечи, что мой бѣдный ревелецъ, привыкнувшій ко всѣмъ бѣдствіямъ, которыя могутъ обрушиться на голову человека безъ денегъ, безъ ума, маленькаго роста, рябаго и нѣмца, не могъ постоянно выносить ее. Года въ два, въ полтора, глубоко оскорбленный Карлъ Ивановичъ объявлялъ, что „это вовсе несносно,“ укладывался, покупалъ и мѣнялъ разныя вещички подозрительной цѣлости и сомнительнаго качества и отправлялся на Кавказъ. Неудачи его обыкновенно преслѣдовали съ ожесточеніемъ. То кляченка его — онъ ѣздилъ на своей лошади въ Тифлисъ и въ Редуть-Кале — падала не подалеку Земли Донскихъ казаковъ, то у него крали половину груза, то его двухъ-колесаея таратайка падала, при чемъ французскіе духи лились никѣмъ не оцененные у подножія Эльборуса на сломанное колесо; то онъ терялъ что-нибудь, и когда нечего было терять, терялъ свой пасьсъ. Мѣсяцевъ черезъ десять обыкновенно Карлъ Ивановичъ постарше, поизмятѣе, побѣднѣе и еще съ меньшимъ числомъ зубовъ и волосъ, смиренно являлся къ моему отцу съ запасомъ порсидскаго порошку отъ блохъ и клоповъ, ливнялой тармаламы, ржавыхъ черкесскихъ кинжаловъ, и снова поселялся въ пустомъ домѣ на тѣхъ-же условіяхъ исполнять комиссіи и печь топить своими дровами.

Примѣтивъ Карла Ивановича, отецъ мой тотчасъ начиналъ небольшія военныя дѣйствія противъ него. Карлъ Ивановичъ освѣдомлялся о здоровьи, старикъ благодарилъ поклономъ и потомъ, подумавши, спрашивалъ напр.

— Гдѣ вы покупаете помаду?

При этомъ необходимо сказать, что Карлъ Ивановичъ, пребезобразнѣйшій изъ смертныхъ, былъ страшный

волокита, считалъ себя Ловласомъ, одѣвался съ претензіей и носилъ завитую золотисто-бѣлокурую накладку. Все это разумѣется давно было взвѣшено и оцѣнено моимъ отцомъ.

— У Буйсъ, на Кузнецкой мостъ — отрывисто отвѣчалъ Карлъ Ивановичъ, нѣсколько пикированный, и ставилъ одну ногу на другую, какъ человѣкъ готовый постоять за себя.

— Какъ называется этотъ запахъ?

— Нахтъ-Фиолень, отвѣчалъ Карлъ Ивановичъ.

— Онъ васъ обманываетъ, violet это запахъ нѣжный *c'est un parfum*, а это какой-то крѣпкой, противный, тѣла балзамируютъ чѣмъ-то такимъ; куда нервы стали у меня слабы, мнѣ даже тошно сдѣлалось, велите-ка мнѣ дать оде-колонъ.

Карлъ Ивановичъ самъ бросался за стѣлянкой.

— Да нѣтъ, вы уже позовите кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете, мнѣ сдѣлается дурно, я упаду. Карлъ Ивановичъ, рассчитывавшій на дѣйствіе своей помады на дѣвичью, глубоко огорчился.

Опрыскавши комнату оде-колонью, отецъ мой придумывалъ комиссіи: купить французскаго табаку, англійской магнезіи, посмотрѣть продажную по газетамъ карету (онъ ничего не покупалъ). Карлъ Ивановичъ пріятно раскланявшись и душевно довольный что отдѣлался, уходилъ до обѣда.

Послѣ Карла Ивановича являлся поваръ; чтобъ онъ ни купилъ и чтобъ ни написалъ, отецъ мой находилъ чрезвычайно дорогимъ.

— У — у какая дороговизна! что это подвозовъ что ли нѣтъ?

— Точно такъ-съ, отвѣчалъ поваръ, дороги очень дурны.

— Ну такъ знаешь, пока ихъ починають, мы съ тобой будемъ по меньше покушать.

Послѣ этого онъ садился за свой письменный столъ, писалъ отписки и приказанія въ деревни, сводилъ сче-ты, между дѣломъ журилъ меня, принималъ доктора, а главное, ссорился съ своимъ камердинеромъ. Это былъ первый паціентъ во всемъ домѣ. Небольшаго роста, сангвиникъ, вспыльчивый и сердитый, онъ какъ нароч-по былъ созданъ для того, чтобъ дразнить моего отца и вызывать его поученія. Сцены, повторявшіяся между ними всякій день, могли бы наполнять любую комедію, а все это было совершенно серьезно. Отецъ мой очень зналъ, что человѣкъ этотъ ему необходимъ и часто сносилъ крупные отвѣты его, но не переставалъ воспитывать его, не смотря на безуспѣшныя усилія въ продолженіи тридцати пяти лѣтъ. Камердинеръ, съ своей стороны, не вынесъ бы такой жизни, еслибъ не имѣлъ своего развлечения; онъ, по большей части, къ обѣду былъ нѣсколько навеселѣ. Отецъ мой замѣчалъ это и ограничивался легкими околичнословіями, напр. совѣтомъ закусывать чернымъ хлѣбомъ съ собою, чтобъ не пахло водкой. Никита Андреевичъ имѣлъ обыкновеніе, выпивши, подавая блюда особенно расшаркиваться. Какъ только мой отецъ замѣчалъ это, онъ выдумывалъ ему порученіе, посылалъ его напр. спросить у „цирюльни-ка Автона, не перемѣнилъ ли онъ квартиры,“ прибавляя мнѣ по французски: „Я зваю, что онъ не съѣзжалъ, но онъ не трезвъ, уронить суповую чашку, разобьетъ ее, обольетъ скатерть и перепугаетъ меня; пусть онъ про-вѣтрится, le grand air помогаетъ.“

Камердинеръ обыкновенно при такихъ продѣлкахъ что-нибудь отвѣчалъ; но когда не находилъ отвѣта въ глаза, то выходя бормоталъ сквозь зубы. Тогда баринъ,

тѣмъ-же спокойнымъ голосомъ, звалъ его и спрашивалъ, что онъ ему сказалъ?

— Я не докладывалъ ни слова.

— Съ кѣмъ-же ты говоришь? кромѣ меня и тебя, никого нѣтъ, ни въ этой комнатѣ, ни въ той.

— Самъ съ собой.

— Это очень опасно, съ этого начинается сумашествіе.

Камердинеръ съ бѣшенствомъ уходилъ въ свою комнату возлѣ спальни; тамъ онъ читалъ Московскія Вѣдомости и тресировалъ волосы для продажныхъ париковъ. Вѣроятно, чтобъ отвести сердце, онъ свирѣпо нюхалъ табакъ; табакъ-ли былъ у него силенъ, нервы носа что-ли были слабы, но онъ вслѣдствіе этого почти всегда разъ шесть или семь чихалъ.

Баринъ звонилъ. Камердинеръ бросалъ свою пачку волосъ и входилъ.

— Это ты чихаешь?

— Я-съ.

— Желаю здравствовать. И онъ давалъ рукой знакъ, чтобъ камердинеръ удалился.

Въ послѣдній день масляницы, всѣ люди, по старинному обычаю, приходили вечеромъ просить прощенія къ барину; въ этихъ торжественныхъ случаяхъ мой отецъ выходилъ въ залу, сопровождаемый камердинеромъ. Тутъ онъ дѣлалъ видъ, будто не всѣхъ узнаетъ.

— Что это за почтенный старецъ стоитъ тамъ въ углу? спрашивалъ онъ камердинера.

— Кучеръ Данило, отвѣчалъ отрывисто камердинеръ, зная, что все это одно драматическое представленіе.

— Скажи пожалуйста, какъ онъ перемѣнился! я право думаю, что это все отъ вина люди такъ старѣютъ; чѣмъ онъ занимается?

— Дрова таскаетъ въ печи.

Старикъ дѣлалъ видъ нестерпимой боли. — Какъ это ты въ тридцать лѣтъ не научился говорить?... таскаетъ — какъ это таскать дрова? — дрова носить, а не таскають. Ну, Данило, слава богу, господь сподобилъ меня еще разъ тебя видѣть. Прощаю тебѣ все грѣхи за сей годъ и овесъ, который ты тратишь безмѣрно и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости. Пота-скай еще дровецъ, пока силенка есть, ну а теперь настаеъ постъ, такъ вина употребляй по меньше, въ наши лѣта вредно, да и грѣхъ. — Въ этомъ родѣ онъ дѣлалъ общій смотръ.

Обѣдали мы въ четвертомъ часу. Обѣдъ длился долго и былъ очень скученъ. Спиридонъ былъ отличный поваръ; но съ одной стороны экономія моего отца, а съ другой, его собственная, дѣлали обѣдъ довольно то-щимъ, не смотря на то, что блюдъ было много. Возлѣ моего отца стоялъ красный, глиняный тазъ, въ кото-рый онъ самъ клалъ разные куски для собакъ; сверхъ того онъ ихъ кормилъ съ своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу, и слѣдовательно меня. Почему? Трудно сказать.....

Гости вообще ѣздили рѣдко; обѣдать — еще рѣже. Помню одного человѣка, изъ всехъ посѣщавшихъ насъ, котораго пріѣздъ къ обѣду разглаживалъ иной разъ морщины моего отца — Н. Н. Бахметева. Н. Н. Бах-метевъ, братъ хромаго генерала и то-же генералъ, но давно въ отставкѣ, былъ друженъ съ нимъ еще во время ихъ службы въ Измайловскомъ полку. Они вмѣ-стѣ кутили съ нимъ при Екатеринѣ, при Павлѣ оба были подъ военнымъ судомъ, Бахметевъ за то, что стрѣлялся съ кѣмъ-то, а мой отецъ — за то, что былъ

секундантомъ; потомъ одинъ уѣхалъ въ чужіе края — туристомъ, а другой въ Уфу — губернаторомъ. Сходства между ними не было. Бахметевъ, полный, здоровый и красивый старикъ, любилъ и хорошенъко поѣсть, и выпить немного, любилъ веселую бесѣду и многое другое. Онъ хвастался, что во время оно, съѣдалъ до ста подовыхъ пирожковъ и могъ, лѣтъ около шестидесяти, безнаказанно употребить до дюжины гречневыхъ блиновъ, потонувшихъ въ лужѣ масла; этимъ опытамъ я бывалъ не разъ свидѣтель.

Бахметевъ имѣлъ какую-то тѣнь вліянія или по крайней мѣрѣ держалъ моего отца въ уздѣ. Когда Бахметевъ замѣчалъ, что мой отецъ ужъ черезъ край не въ духѣ, онъ надѣвалъ шляпу и шаркан по военному ногамъ, говорилъ: „до свиданья, — ты сегодня боленъ и глупъ; я хотѣлъ обѣдать, но я за обѣдомъ терпѣть не могу кислыхъ лицъ! Гегорсамеръ динеръ!“ а отецъ мой, въ видѣ поясненія, говорилъ мнѣ „Impressario! какой живой еще Н. Н.! Слава богу, здоровый человекъ, ему понять нельзя нашего брата, Иова многострадальнаго; морозъ въ двадцать градусовъ, онъ скачетъ въ санкахъ какъ ничего... съ Покровки... а я благодарю создателя каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. О... о... охъ! не даромъ пословица говорить: сытый голоднаго не понимаетъ!“ Больше снисходительности нельзя было отъ него ждать.

Изрѣдка давались семейные обѣды, на которыхъ бывалъ Сенаторъ, Голохвастовы и проч. и эти обѣды давались не изъ удовольствія и не спроста, а были основаны на глубокихъ экономико-политическихъ соображеніяхъ. Такъ 20 февраля въ день Льва Катанскаго, т. е. въ именины Сенатора, обѣдъ былъ у насъ, а 24 июня, т. е. въ Ивановъ день, у Сенатора, что сверхъ мораль-

наго примѣра братской любви, избавляло того и другаго отъ гораздо большаго обѣда у себя.

За тѣмъ были разные habitués; тутъ являлся ex-officio Карлъ Ивановичъ Зоненбергъ, который, хвативши дома, передъ самымъ обѣдомъ, рюмку водки и закусивши ревелъской килькой, отказывался отъ крошечной рюмочки какой-то особенно настоенной водки; иногда пріѣзжалъ послѣдній французскій учитель мой, старикъ, скряга, съ дерзкой рожей и сплетникъ. Monsieur Thigie такъ часто ошибался наливая вино въ стаканъ, вмѣсто пива, и выпивая его въ извиненіе, что отецъ мой, внослѣдствіи говорилъ ему: „съ правой стороны вашей стоитъ vin de Graves — вы опять не ошибитесь,“ и Тирье, пихая огромную щепотку табаку въ широкій и вздернутый въ одну сторону носъ, сыпалъ табакъ на тарелку.

Въ числѣ этихъ посѣтителей, одно лицо было въ высшей степени комическое. Небольшой, лысинкой старичекъ, постоянно одѣтый въ узенькій и короткій фракъ и въ жилетъ, оканчивавшійся тамъ, гдѣ нынче жилетъ собственно начинается, съ тоненькой тросточкой, онъ представлялъ всей своей фигурой двадцать лѣтъ назадъ, въ 1830 — 1810 годъ, а въ 1840 — 1820 годъ. Дмитрій Ивановичъ Пименовъ — статскій совѣтникъ по чину — былъ одинъ изъ начальниковъ шереметевского странно-пріимнаго дома, и притомъ занимался литературой. Скупо надѣленный природой, и воспитанный на сентиментальныхъ фразахъ Карамзина, на Мармонтелъ и Мариво — Пименовъ могъ стать среднимъ братомъ между Шаликовымъ и В. Панаевымъ. Вольтеръ этой почтенной фаланги былъ начальникъ тайной полиціи при Александрѣ — Яковъ Ивановичъ Де-Сангленъ; ея молодой человѣкъ, подававшій надежды — Пимень Араповъ. Все это примыкало къ общему патрі-

арху Ивану Ивановичу Дмитріеву; у него соперниковъ не было, а былъ Василій Львовичъ Пушкинъ. Пименовъ всякій вторникъ являлся къ „ветхому деньми“ Дмитріеву, въ его домъ на Садовой разсуждать о красотахъ стили, и о испорченности новаго языка. Дмитрій Ивановичъ самъ искусилъ на скользкомъ поприщѣ отечественной словесности; сначала онъ издалъ *Мысли герцога Де-ла Роше-Фуко*, потомъ трактатъ *О женской красотѣ и прелести*. Въ этомъ трактатѣ, котораго я не бралъ въ руки съ шестнадцати-лѣтняго возраста, я помню только длинныя сравненія въ томъ родѣ, какъ Плутархъ сравниваетъ героевъ — блондинокъ съ черноволосыми. „Хотя блондинка — то, то и то, но черноволосая женщина за то — то, то, и то. . . .“ Главная особенность Пименова состояла не въ томъ, что онъ издавалъ когда-то книжки, никогда никѣмъ не читанныя, а въ томъ, что если онъ начиналъ хохотать, то онъ не могъ остановиться, и смѣхъ у него выросалъ въ припадки коклюша со взрывами и глухими раскатами. Онъ зналъ это, и потому предчувствуя что нибудь смѣшное, бралъ мало по малу свои мѣры: вынималъ носовой платокъ, смотрѣлъ на часы, застегивалъ фракъ, закрывалъ обѣими руками лицо, и когда наступалъ кризисъ — вставалъ, оборачивался къ стѣнѣ, упираясь въ нее и мучился полчаса и больше, потомъ, усталый отъ пароксизма, красный, обтирая потъ съ плѣшивой головы, онъ садился, но еще долго потомъ его схватывало.

Разумѣется, мой отецъ не ставилъ его ни въ грошъ, онъ былъ тихъ, добръ, неловокъ, *литераторъ* и бѣдный человекъ — стало по всѣмъ условіямъ стоялъ за ценою; но его судорожную смѣшливость онъ очень хорошо замѣтилъ. Въ силу чего, онъ заставлялъ его смѣ-

яться до того, что всѣ остальные начинали, подъ его вліяніемъ, тоже какъ-то неестественно хохотать. Виновникъ глумленіемъ, немного улыбаясь, глядѣлъ тогда на насъ, какъ человѣкъ смотритъ на возню щенятъ.

Иногда мой отецъ дѣлалъ съ несчастнымъ цѣнителемъ женской красоты и прелести ужасныя вещи.

— Инженеръ полковникъ такой-то, докладывалъ человѣкъ.

— Проси, говорилъ мой отецъ, и обращаясь къ Пименову, прибавлялъ: „Димитрій Ивановичъ пожалуйста будьте осторожны при немъ, у него несчастный тикъ, когда онъ говоритъ, какъ-то странно заикается, точно будто у него хроническая отрыжка.“ При этомъ онъ представлялъ совершенно вѣрно полковника. „Я знаю, вы человѣкъ смѣшливый, пожалуйста воздержитесь.“

Этого было довольно. По второму слову инженера, Пименовъ вынималъ платокъ, дѣлалъ зонтикъ изъ руки и наконецъ вскакивалъ.

Инженеръ смотрѣлъ съ изумленіемъ, а отецъ мой говорилъ мнѣ преспокойно: „что это съ Димитріемъ Ивановичемъ? Il est malade, это спазмы; вели поскорѣ подать стаканъ холодной воды, да принеси оде-колонъ.“ Пименовъ хваталъ въ подобныхъ случаяхъ шляпу и хохоталъ до арбатскихъ воротъ, останавливаясь на перекресткахъ и опираясь на фонарные столбы.

Онъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ постоянно черезъ воскресенье обѣдалъ у пасъ, и равно его аккуратность и неаккуратность, если онъ пропускалъ, сердили моего отца и онъ тѣснилъ его. А добрый Пименовъ все таки ходилъ и ходилъ пѣшкомъ отъ красныхъ воротъ въ старую, конюшенную, до тѣхъ поръ, пока умеръ и притомъ совсѣмъ не смѣшно. Одинокій, холостой старикъ, послѣ долгой хворости, умирающимъ гла-

зами видѣлъ, какъ его эконожка забирала его вещи, платья, даже бѣлье съ постели, оставляя его безъ всякаго ухода.

Но настоящіе *souffre douleur*ы обѣда были разныя старухи, убогія и кочующія приживалки княгини М. А. Хованской (сестры моего отца). Для перемѣны, а долею для того, чтобъ освѣдомиться, какъ все обстоитъ въ домѣ у насъ, не было ли ссоры между господами, не дрался-ли поваръ съ своей женой и не узналъ-ли баринъ, что Палашка или Ульяша съ прибылью — прихаживали онѣ иногда въ праздники на цѣлый день. Надобно замѣтить, что эти вдовы еще незамужними, лѣтъ сорокъ, пятьдесятъ тому назадъ, были *прибѣжны* къ дому княгини и княжны Мещерской, и съ тѣхъ поръ знали моего отца; что въ этотъ промежутокъ между молодымъ шатаньемъ и старымъ кочевьемъ, онѣ лѣтъ двадцать бранились съ мужьями, удерживали ихъ отъ пьянства, ходили за ними въ параличѣ и снесли ихъ на кладбище. Однѣ таскались съ какимъ нибудь гарнизоннымъ офицеромъ и охабкой дѣтей въ Бессарабію, другія состояли годы подъ судомъ съ мужемъ, и все эти опыты жизненные оставили на нихъ слѣды по-вытѣй и уѣздныхъ городовъ, боязнь сильныхъ міра сего, духъ униженія и какое-то тупоумное изувѣрство.

Съ ними бывали сцены удивительныя.

— Да ты что это Анна Якимовна больна что-ли, ничего не кушаешь? — спрашивалъ мой отецъ. Скорчившаяся, съ поношеннымъ и вылинялымъ лицомъ старушонка, вдова какого-то смотрителя въ Кременчугѣ, постоянно и сильно пахнувшая какимъ-то пластыремъ, отвѣчала, унижаясь глазами и пальцами: „Простите, батюшка, Иванъ Алексѣевичъ, право-съ ужъ мнѣ совѣ-

стно-съ, да такъ-съ, по старинному-съ, ха, ха, ха, теперь спажинки.

— Ахъ какая скука! Набоженство все! Не то, матушка, сквернить, что въ уста входить, а что изъ за усть; то-ли ѣсть, другое-ли — одинъ исходъ; вотъ что изъ усть выходить, — надобно наблюдать... пересуды да о ближнемъ. Ну лучше ты обѣдала бы дома въ такіе дни, а то тутъ еще Турокъ придетъ — ему пилавъ надобно, у меня не гербергъ *à la carte*.“

Испуганная старуха, имѣвшая въ виду сверхъ того попросить крупки да мучки, бросалась на квасъ и салатъ, дѣлая видъ, что страшно ѣсть.

Но замѣчательно то, что стоило ей или кому нибудь изъ нихъ начать ѣсть скоромное въ постъ, отецъ мой, (никогда не употреблявшій постнаго), говорилъ, скорбно качая головой: „Не стоило бы, кажется, Анна Якимовна на нѣсколько послѣднихъ лѣтъ мѣнять обычай предковъ. Я грѣшу, ѣмъ скоромное, по множеству болѣзней; ну а ты, по твоимъ лѣтамъ, слава богу, всю жизнь соблюдала посты, и вдругъ.... что за примѣръ для *нихъ*.“ Онъ указывалъ на прислугу. И бѣдная старуха снова бросалась на квасъ да на салатъ.

Сцены эти сильно возмущали меня; иной разъ я держалъ вступаться и напоминалъ противоположное мнѣніе. Тогда отецъ мой привставалъ, снималъ съ себя за кисточку бархатную шапочку, и держа ее на воздухѣ, благодарилъ меня за уроки и просилъ извинить забывчивость, а потомъ говорилъ старухѣ: „Ужасный вѣкъ! Мудрено-ли, что ты *кушаешь* скоромное постомъ, когда дѣти учатъ родителей! Куда мы идемъ? Подумать страшно! Мы съ тобой по счастью не увидимъ.“

Послѣ обѣда мой отецъ ложился отдохнуть часа на полтора. Дворня тотчасъ разсыпалась по полнивнымъ

и по трактирамъ. Въ семь часовъ приготовляли чай; тутъ иногда кто нибудь пріѣзжалъ, всего чаще Сенаторъ; это было время отдыха для насъ. Сенаторъ привозилъ обыкновенно разныя новости, и рассказывалъ ихъ съ жаромъ. Отецъ мой показывалъ видъ совершеннаго невниманія, слушая его: дѣлалъ серьезную мину, когда тотъ былъ увѣренъ, что морить со смѣху и переспрашивалъ, какъ будто не слыхалъ въ чемъ дѣло, если тотъ рассказывалъ что нибудь поразительное.

Сенатору доставалось и не такъ, когда онъ противурѣчилъ или былъ не одного мнѣнія съ меньшимъ братомъ, что впрочемъ случалось очень рѣдко; а иногда безъ всякихъ противурѣчій, когда мой отецъ былъ особенно не въ духѣ. При этихъ комико-трагическихъ сценахъ, что всего было смѣшнѣе, это естественная запальчивость Сенатора и натянутое, искусственное хладнокровіе моего отца. „Ну ты сегодня боленъ,“ говорилъ нетерпѣливо Сенаторъ, хваталъ шляпу и бросался вонъ. Разъ въ досадѣ онъ не могъ отворить дверь и толкнулъ ее что есть силъ ногой, говоря: „что за проклятыя двери!“ Мой отецъ спокойно подошелъ, отворилъ дверь въ противоположную сторону и, совершенно тихимъ голосомъ, замѣтилъ: „дверь эта дѣлаетъ свое дѣло, она отворяется туда, а вы хотите ее отворить сюда, и сердитесь.“ При этомъ не мѣшается замѣтить, что Сенаторъ былъ двумя годами старше моего отца и говорилъ ему *ты*, а тотъ, въ качествѣ меньшаго брата—*вы*.

Послѣ Сенатора, отецъ мой отправлялся въ свою спальную, всякій разъ освѣдомлялся о томъ, заперты ли ворота, получалъ утвердительный отвѣтъ, изъяснялъ иѣкоторое сомнѣніе и ничего не дѣлалъ, чтобы удостовѣриться. Тутъ начиналась длинная исторія умы-

ваній, примочекъ, лекарствъ; камердинеръ приготовлялъ на столики возлѣ постели цѣлый арсеналъ разныхъ вещей: стеклинокъ, ночниковъ, коробочекъ. Старикъ обыкновенно читалъ съ часть времени Бурьена, *Mémoires de S^{te} Hélène* и вообще разныя Записки; за симъ наступала ночь.

Такъ я оставилъ въ 1834 нашъ домъ, такъ засталъ его въ 1840 и такъ все продолжалось до его кончины, въ 1846 году.

Лѣтъ тридцати, возвратившись изъ ссылки, я понялъ, что во многомъ мой отецъ былъ правъ, что онъ по несчастію оскорбительно хорошо зналъ людей. Но моя-ли была вина, что онъ и самую истину проповѣдывалъ такимъ возмутительнымъ образомъ для юнаго сердца. Его умъ, охлажденный длинной жизнію въ кругу людей испорченныхъ, поставилъ его *en garde* противу всѣхъ, а равнодушное сердце не требовало примиренія, онъ такъ и остался въ враждебномъ отношеніи со всѣми на свѣтѣ.

Я его засталъ въ 1839, а еще больше въ 1842 слабымъ и уже дѣйствительно больнымъ. Сенаторъ умеръ, пустота около него была еще больше, даже и камердинеръ былъ другой, но онъ самъ былъ тотъ-же, одни физическія силы измѣнили, тотъ-же злой умъ, та-же память, онъ такъ-же всѣхъ тѣснилъ мелочами, и неизмѣнный Зоненбергъ имѣлъ свое прежнее кочевье въ старомъ домѣ и дѣлалъ комиссіи.

Тогда только оцѣнилъ я все безотрадное этой жизни; съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣлъ я на грустный смыслъ этого одинокаго, оставленнаго существованія, потухавшаго на сухомъ, жесткомъ, каменистомъ пустырьѣ, который онъ самъ создалъ возлѣ себя, но который измѣнить было не въ его волѣ; онъ зналъ это,

видѣлъ приближающуюся смерть, и переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживалъ себя. Мнѣ бывало ужасно жаль старика, но дѣлать было нечего, онъ былъ непреступенъ.

...Тихо проходилъ я иногда мимо его кабинета, когда онъ, сидя въ глубокихъ креслахъ жесткихъ и неловкихъ, окруженный своими собаченками, одинъ одинохонекъ игралъ съ моимъ трехлѣтнимъ сыномъ. Казалось сжавшіяся руки и окоченѣвшіе нервы старика распускались при видѣ ребенка, и онъ отдыхалъ отъ безпрерывной тревоги, борьбы и досады, въ которой поддерживалъ себя, дотрогиваясь умирающей рукой до колыбели.

ГЛАВА VI.

Кремлевская экспедиція — Московскій университетъ — Химикъ —
Мы — Маловская исторія — Холеpa — Филаретъ — Сунгуровское дѣло —
В. Пассикъ. — Генераль Лиссовскій. — Н. А. Полевой.

О годы вольныхъ, свѣтлыхъ думъ
И безпредѣльныхъ упованій,
Гдѣ смѣхъ безъ желчи, шпра шумъ?
Гдѣ трудъ столь полный ожиданій?
(ЮМОРЪ).

Не смотря на зловѣщія пророчества хромага генерала, отецъ мой опредѣлилъ таки меня на службу къ князю Н. Б. Юсупову въ кремлевскую экспедицію. Я подписалъ бумагу, тѣмъ дѣло и кончилось; больше я о службѣ ничего не слыхалъ кромѣ того, что года черезъ три Юсуповъ прислалъ дворцоваго архитектора,

который всегда кричалъ такимъ голосомъ, какъ будто онъ стоялъ на стропилахъ пятого этажа и оттуда что нибудь приказывалъ работникамъ въ подвалѣ, извѣстить, что я получилъ первый офицерскій чинъ. Всѣ эти чудеса, замѣтимъ мимоходомъ, были ненужны, чины полученные службой и разомъ наверстать, выдержавши экзаменъ на кандидата — изъ какихъ нибудь двухъ-трехъ годовъ старшинства не стоило хлопотать. А между тѣмъ, эта мнимая служба чуть не помѣшала мнѣ вступить въ университетъ. Совѣтъ, видя, что я числюсь къ канцеляріи кремлевской экспедиціи, отказалъ мнѣ въ правѣ держать экзаменъ.

Для служащихъ были особые курсы послѣ обѣда, чрезвычайно ограниченные и дававшіе право на такъ называемые „комитетскіе экзамены.“ Всѣ дѣлѣнныя съ деньгами, баричи ничему неучившіеся, все, что не хотѣло служить въ военной службѣ и торопилось получить чинъ ассессора, держало комитетскіе экзамены; это было нѣчто въ родѣ *золотыхъ* пріисковъ, уступленныхъ старымъ профессорамъ, дававшимъ *privatissima* по двадцати рублей за урокъ.

Начать мою жизнь этими каудинскими фурулами науки далеко не согласовалось съ моими мыслями. Я сказалъ рѣшительно моему отцу, что если онъ не найдетъ другаго средства, я подамъ въ отставку.

Отецъ мой сердился, говорилъ, что я своими капризами мѣшаю ему устроить мою карьеру, бранилъ учителей, которые натоковали мнѣ этотъ вздоръ; но, видя, что все это очень мало меня трогаетъ, рѣшился ѣхать къ Юсупову.

Юсуповъ разсудилъ дѣло въ мигъ, отчасти по барски и отчасти по татарски. Онъ позвалъ секретаря и велѣлъ ему написать отпускъ на три года. Секретарь помялся,

помился и доложилъ со страхомъ по поламъ, что отпущъ болѣе нежели на четыре мѣсяца нельзя давать безъ высочайшаго разрѣшенія.

— Какой вздоръ, братецъ — сказалъ ему князь что тутъ затрудняться; ну въ отпущъ нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствованія въ наукахъ — слушать университетскій курсъ.

Секретарь написалъ и на другой день я уже сидѣлъ въ амфитеатрѣ физико-математической аудиторіи.

Въ исторіи русскаго образованія и въ жизни двухъ послѣднихъ поколѣній, московскій университетъ и царскосельскій лицей играютъ значительную роль.

Московскій университетъ выросъ въ своемъ значеніи вмѣстѣ съ Москвою послѣ 1812 года; разжалованная императоромъ Петромъ изъ царскихъ столицъ, Москва была произведена императоромъ Наполеономъ, (сколько волею, а вдвое того неволею) въ столицы народа русскаго. Народъ догадался по боли, которую чувствовалъ при вѣсти о ея занятіи непріателемъ, о своей кровной связи съ Москвой. Съ тѣхъ поръ началась для нея новая эпоха. Въ ней университетъ больше и больше становился средоточіемъ русскаго образованія. Всѣ условія для его развитія были соединены — историческое значеніе, географическое положеніе и отсутствіе царя.

Сильно возбужденная дѣятельность ума въ Петербургѣ, послѣ Павла, мрачно замкнулась 14 Декабремъ. Явился Николай съ пятью висѣлицами, съ каторжной работой, бѣлымъ ремнемъ и голубымъ Бенкендорфомъ.

Все пошло назадъ, кровь бросилась къ сердцу, дѣятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московскій университетъ устоялъ и началъ первый вырѣзываться изъ-за всеобщаго тумана. Государь его возненавидѣлъ съ Полежаевской исторіи. Онъ прислалъ

А. Писарева, генераль-маіора „Калужскихъ вечеровъ“ — попечителемъ, велѣлъ студентамъ одѣтъ въ мундирные сертуки, велѣлъ имъ носить шпагу, потомъ запретилъ носить шпагу; отдалъ Полежаева въ солдаты за стихи, Костенецкаго съ товарищами за прозу, уничтожилъ Критскихъ за бюстъ, отпавилъ насъ въ ссылку за сень-симонизмъ, посадилъ князя Сергѣя Михайловича Голицына попечителемъ и не занимался больше „этимъ разсадникомъ разврата“, благочестиво совѣтуя молодымъ людямъ, окончившимъ курсъ въ лицей и въ школѣ правовѣденія, не вступать въ него.

Голицынъ былъ удивительный человекъ, онъ долго не могъ привыкнуть къ тому безпорядку, что когда профессоръ боленъ, то и лекціи нѣтъ; онъ думалъ, что слѣдующій *поочереди* долженъ былъ его замѣнять, такъ что отцу Терновскому пришлось бы иной разъ читать въ клиникѣ о женскихъ болѣзняхъ, а акушеру Рихтеру — толковать безсѣмянное зачатіе.

Но, не смотря на это, ональный университетъ росъ вліяніемъ, въ него какъ въ общій резервуаръ вливались юныя силы Россіи со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ; въ его залахъ онѣ очищались отъ предразсудковъ, захваченныхъ у домашняго очага, приходили къ одному уровню, братались между собой и снова разливались во всѣ стороны Россіи, во всѣ слои ея.

До 1848 года, устройство нашихъ университетовъ было чисто демократическое. Двери ихъ были открыты всякому, кто могъ выдержать экзаменъ и не былъ ни крѣпостнымъ, ни крестьяниномъ, не уволеннымъ своей общиной. Николай все это искажилъ; онъ ограничилъ пріемъ студентовъ, увеличилъ плату своекоштныхъ и дозволилъ избавлять отъ нея только бѣдныхъ *дворянъ*. Все это принадлежитъ къ ряду безумныхъ мѣръ, кото-

рыя исчезнуть съ послѣднимъ дыханіемъ этого тормазѣ, попавшагося на русское колесо, — вмѣстѣ съ закономъ о пассахъ, о религіозной нетерпимости и пр.*)

Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, съ юга и съѣвера, быстро сплавлялась въ компактную массу товарищества. Общественныя различія не имѣли у насъ того оскорбительнаго вліянія, которое мы встрѣчаемъ

*) Кстати вотъ еще одна изъ отеческихъ мѣръ „незабвеннаго“ Николая. Воспитательные дома и приказъ общественнаго призрѣнія составляютъ одинъ изъ лучшихъ памятниковъ екатерининскаго времени. Самая мысль учрежденія больницъ, богадѣленъ и воспитательныхъ домовъ на доли процентовъ, которые ссудные банки получаютъ отъ оборотовъ капиталами, замѣчательно умна.

Учрежденія эти принялись, ломбарды и приказъ богатѣли, воспитательные дома и богоугодныя заведенія цѣли, на столько, на сколько допускало ихъ всеобщее воровство чиновниковъ. Дѣти, приносимыя въ воспитательный домъ, частію оставались тамъ, частію раздавались крестьянкамъ въ деревни; послѣдніе оставались крестьянами, первые воспитывались въ самомъ заведеніи. Изъ нихъ сортировали наиболѣе способныхъ для продолженія гимназическаго курса, отдавая менѣе способныхъ въ ученіе ремесламъ или въ технологическій институтъ. Тоже съ дѣвочками; одиѣ pripravлялись къ рукодѣльямъ, другія къ должности нянюшекъ и наконецъ способнѣйшія въ класныя дамы и въ гувернантки. Все шло какъ нельзя лучше. Но Николай и этому учрежденію нанесъ страшный ударъ. Говорятъ, что императрица, встрѣтивъ разъ въ домѣ у одного изъ своихъ приближенныхъ воспитательницу его дѣтей, вступила съ ней въ разговоръ, и будучи очень довольна ею, спросила гдѣ она воспитывалась; та сказала ей, что она изъ „пансіонерокъ воспитательнаго дома.“ Всякой подумаетъ, что императрица поблагодарила за это начальство. Нѣтъ, — это ей подало поводъ подумать о *неприличіи* давать такое воспитаніе подкинутымъ дѣтямъ.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Николай *произвелъ* высшіе классы воспитательныхъ домовъ въ *оберъ-офицерскій* институтъ, т. е. не велѣлъ болѣе помѣщать питомцевъ въ эти классы, а замѣнилъ ихъ оберъ-офицерскими дѣтьми. Онъ даже подумалъ о мѣрѣ болѣе радикальной, онъ не велѣлъ въ губернскихъ заведеніяхъ, въ приказахъ, принимать новорожденныхъ дѣтей. Лучшая коментарія на эту умную мѣру въ отчетѣ министра юстиціи въ графѣ „Дѣтубійство.“

въ англійскихъ школахъ и казармахъ; объ англійскихъ университетахъ и не говорю: они существуютъ исключительно для аристократіи и для богатыхъ. Студентъ, который бы вздумалъ у насъ хвастаться своей *бллой костью* или богатствомъ, былъ бы отлученъ отъ „воды и огня“, замученъ товарищами.

Вышнія различія, и то не глубокія, дѣлвшія студентовъ, шли изъ другихъ источниковъ. Такъ напр. медицинское отдѣленіе, находившееся по другую сторону сада, не было съ нами такъ близко, какъ прочіе факультеты; къ тому-же его большинство состояло изъ семинаристовъ и нѣмцевъ. Нѣмцы держали себя нѣсколько въ сторонѣ и были очень пропитаны западно-нѣмецкимъ духомъ. Все воспитаніе несчастныхъ семинаристовъ, всѣ ихъ понятія были совсѣмъ иныя чѣмъ у насъ, мы говорили разными языками; они, выросшіе подъ гнетомъ монашескаго деспотизма, забитые своей риторикой и теологіей, завидовали нашей развязности; мы — досадовали на ихъ христіанское смиреніе. *)

Я вступилъ въ физико-математическое отдѣленіе, не смотря на то, что никогда не имѣлъ ни большой способности, ни большой любви къ математикѣ. Учился ей мы съ Никомъ у одного учителя, котораго мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, онъ врядъ могъ-ли развитъ особую страсть къ своей наукѣ. Онъ зналъ математику включительно до коническихъ сѣченій, т. е. ровно столько, сколько было нужно для приготовленія гимназистовъ къ

*) Въ этомъ отношеніи сдѣланъ огромный успѣхъ, все что я слышалъ въ послѣднее время о духовныхъ академіяхъ и даже семинаріяхъ — подтверждаетъ это. Само собою разумѣется, что въ этомъ виновато — не духовное начальство, а духъ учащихся.

университету; настоящий философъ, онъ никогда не полюбопытствовалъ заглянуть въ „университетскія части“ математики. Особенно замѣчательно при этомъ, что онъ только одну книгу и читалъ, и читалъ ее постоянно лѣтъ десять, это Франкеровъ курсъ; но воздержанный по характеру и не любившій роскоши, онъ не переходилъ извѣстной страницы.

Я избралъ физико-математическій факультетъ потому, что въ немъ-же преподавались естественныя науки а къ нимъ, именно въ это время, развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встрѣча навела меня на эти занятія.

Послѣ знаменитаго раздѣла имѣнья въ 1822 году, о которомъ я рассказывалъ, „старшій братецъ“ переѣхалъ на житье въ Петербургъ. Долго объ немъ ничего не было слышно, какъ вдругъ разнесся слухъ, что онъ женился. Ему было за шестьдесятъ лѣтъ тогда, и всѣ знали, что сверхъ совершеннолѣтняго сына, у него были другія дѣти. Онъ именно женился на матеря старшаго сына; „молодой“ тоже было за пятьдесятъ. Этимъ бракомъ онъ „привѣнчалъ“, какъ говорили встарь, своего сына. Отчего-же не всѣхъ дѣтей? Мудрено было бы сказать отъ чего, еслибъ главная цѣль, съ которой онъ все это дѣлалъ, была неизвѣстна; онъ хотѣлъ одного — лишить своихъ братьевъ наслѣдства и этого онъ достигалъ вполне „привѣнчиваніемъ“ сына. Въ извѣстное наводненіе 1824 года, старика залило водой въ каретѣ, онъ простудился, слегъ и въ началѣ 1825 года умеръ.

О сынѣ носились странные слухи, говорили, что онъ былъ нелюдимъ, ни съ кѣмъ не знался, вѣчно сидѣлъ одианъ занимаясь химіей, проводилъ жизнь за микроско-

помъ, читаль даже за обѣдомъ и ненавидѣль женское общество. Объ немъ сказано въ „Горе отъ ума“:

— Онъ химикъ, онъ ботаникъ,
Князь Федоръ, нашъ племянникъ,
Отъ женщинъ бѣгаетъ и даже отъ меня.

Дяди, перенесшіе на него зубъ, который имѣли противъ отца, не называли его иначе какъ „Химикъ“, придавая этому слову порицательный смыслъ и подразумевая, что химія вовсе не можетъ быть занятіемъ порядочнаго человѣка.

Отецъ передъ смертію страшно тѣснилъ сына, онъ не только оскорблялъ его зрѣлищемъ сѣдаго отцовскаго разврата, разврата циническаго, но просто ревновалъ его къ своей сестрѣ. Химикъ разъ хотѣлъ отдѣлаться отъ этой неблагородной жизни лауданумомъ; его спасъ случайно товарищъ, съ которымъ онъ занимался химіей. Отецъ перепугался и передъ смертію сталъ смирнѣе съ сыномъ.

Послѣ смерти отца, Химикъ далъ отпускную несчастнымъ одалискамъ, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ, положенный отцомъ на крестьянъ, простилъ недоимки и даромъ отдалъ рекрутскія квитанціи, которыя продавалъ имъ старикъ, отдавая дворовыхъ въ солдаты.

Года черезъ полтора онъ пріѣхалъ въ Москву, мнѣ хотѣлось его видѣть, я его любилъ за крестьянъ и за несправедливое недоброжелательство къ нему его дядей.

Однимъ утромъ явился къ моему отцу небольшой человѣкъ, въ золотыхъ очкахъ, съ большимъ носомъ, съ полупотерянными волосами, съ пальцами обожженными химическими реакціями. Отецъ мой встрѣтилъ его холодно, колко; племянникъ отвѣчалъ той-же монетой и не хуже чеканеной; помѣрившись, они стали

говорить о посторонних предметах съ наружнымъ равнодушіемъ и разстались учтиво, но съ затаенной злобой другъ противъ друга. Отецъ мой увидѣлъ, что боецъ ему не уступить.

Они никогда не сближались потомъ. Химикъ ѣздилъ очень рѣдко къ дядямъ; въ послѣдній разъ онъ видѣлся съ моимъ отцомъ послѣ смерти Сенатора, онъ пріѣзжалъ просить у него тысячъ тридцать рублей въ займы на покупку земли. Отецъ мой не далъ; Химикъ разсердился и потирая рукою носъ, съ улыбкой ему замѣтилъ: „Какой-же тутъ рискъ, у меня имѣнье *родовое*, я беру деньги для его усовершенствованія, дѣтей у меня нѣтъ и мы другъ послѣ друга наследники.“ Старикъ 75 лѣтъ никогда не прощалъ племяннику эту выходку.

Я сталъ время отъ времени навѣщать его. Жилъ онъ чрезвычайно своеобразно; въ большомъ домѣ своемъ на Тверскомъ бульварѣ занималъ онъ одну крошечную комнату для себя и одну для лабораторіи. Старуха мать его жила черезъ коридоръ въ другой комнаткѣ, остальное было запущено и оставалось въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ было при отѣздѣ его отца въ Петербургъ. Почернѣвшіе канделябры, необыкновенная мебель, всякія рѣдкости, стѣнные часы, *будто бы* купленные Петромъ I въ Амстердамѣ, креслы, будто бы изъ дома Станислава Лещинскаго, рамы безъ картинъ, картины обороченныя къ стѣнѣ — все это, поставленное кой-какъ, наполняло три большія залы нетопленныя и неосвѣщенныя. Въ передней люди играли обыкновенно на торбанѣ и курили (въ той самой, въ которой прежде едва смѣли дышать и молиться). Человѣкъ зажигалъ свѣчку и провожалъ этой оружейной палатой, замѣчая всякой разъ, что плаща снимать не надобно, что въ

залахъ очень холодно; густые слои пыли покрывали рогагы и курьезныя вещи, отражавшіяся и днпгавшіяся вмѣстѣ со свѣчей въ вычурныхъ зеркалахъ, солома остававшаяся отъ укладки спокойно лежала тамъ-сямъ вмѣстѣ съ стриженной бумагой и бичевками.

Рядомъ этихъ комнатъ достигалась наконецъ дверь завѣшанная ковромъ, которая вела въ страшно нато-пленный кабинетъ. Въ немъ, Химикъ въ замараномъ халатѣ на бѣличьемъ мѣху, сидѣлъ безвыходно обложенный книгами, обстановленный склянками, ретортами, тигелями, снарядами. Въ этомъ кабинетѣ, гдѣ теперь царилъ микроскопъ Шевалье, пахло хлоромъ, и гдѣ совершались за нѣсколько лѣтъ страшныя, вопіющіе дѣла — въ этомъ кабинетѣ я *родился*. Отецъ мой, возвратившись изъ чужихъ краевъ, до ссоры съ братомъ, останавливался на нѣсколько мѣсяцевъ въ его домѣ и въ этомъ-же домѣ родилась моя жена въ 1817 году. Химикъ года черезъ два продалъ свой домъ и мнѣ опять случалось бывать въ немъ на вечерахъ у Свербѣева, спорить тамъ о панславизмѣ и сердиться на Хомякова, который никогда, ни на что не сердился. Комнаты были перестроены, но подъездъ, сѣни, лѣсница, передняя — все осталось, такъ-же и маленькій кабинетъ остался.

Хозяйство Химики было еще менѣе сложно, особенно когда мать его уѣзжала на лѣто въ подмосковную, а съ нею и поваръ. Камердинеръ его являлся часа въ четыре съ кофейникомъ, распускалъ въ немъ немного крѣпкаго бульену и пользуясь химическимъ горномъ ставилъ его къ огню вмѣстѣ съ всякими ядами. Потомъ онъ приносилъ изъ трактира полрябчика и хлѣбъ, въ этомъ состоялъ весь обѣдъ. По окончаніи его камердинеръ мылъ кофейникъ и онъ входилъ въ свои

естественныя права. Вечеромъ снова являлся камердинеръ, снималъ съ дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наслѣдству отъ отца и груду книгъ, слалъ простыню, приносилъ подушки и одѣяло, и кабинетъ также легко превращался въ спальню, какъ въ кухню и столовую.

Съ самаго начала нашего знакомства, Химикъ увидѣлъ, что я серьезно занимаюсь и сталъ уговаривать, чтобъ я бросилъ „пустыя“ занятія литературой и „опасныя безъ всякой пользы“ политикой — а принялся бы за естественныя науки. Онъ далъ мнѣ рѣчь Кюве о геологическихъ переворотахъ и Декантолеву растительную органографію. Видя, что чтеніе идетъ на пользу, онъ предложилъ свои превосходныя собранія, снаряды, гербаріи и даже свое руководство. Онъ на своей почвѣ былъ очень занимателенъ, чрезвычайно ученъ, остеръ и даже любезенъ; но для этого не надобно было ходить дальше обезьянъ; отъ камней до орангъ-утанга, его все интересовало, далѣе онъ не охотно пускался, особенно въ философію, которую считалъ болтовней. Онъ не былъ ни консерваторъ, ни отсталой человѣкъ, онъ просто не вѣрилъ въ людей. т. е. вѣрилъ, что эгоизмъ исключительное начало всѣхъ дѣйствій и находилъ, что его сдерживаетъ только безуміе однихъ и невѣжество другихъ.

Меня возмущалъ его матеріализмъ. Поверхностный и со страхомъ по поламъ вольтеріанизмъ нашихъ отцовъ нисколько не былъ похожъ на матеріализмъ Химика. Его взглядъ былъ спокойный, послѣдовательный, оконченный; онъ напоминалъ извѣстный отвѣтъ Лаланда Наполеону: „Кантъ принимаетъ гипотезу Бога, сказалъ ему Бонапартъ. — „Sire, возразилъ астрономъ, мнѣ въ моихъ занятіяхъ никогда не случалось нуждаться въ этой гипотезѣ“.

Атеизмъ Химика шелъ далѣе теологическихъ сферъ. Онъ считалъ Жофруа Сент-Илера мистикомъ, а Окена просто поврежденнымъ. Онъ съ тѣмъ пренебреженіемъ, съ которымъ мой отецъ сложилъ исторію Карамзина, закрылъ сочиненія натуръ-философовъ. „Сами выдумали первыя причины, духовныя силы, да и удивляются потомъ, что ихъ ни найти, ни понять нельзя“. Это былъ мой отецъ въ другомъ изданіи, въ иномъ вѣкѣ и иначе воспитанный.

Взглядъ его становился еще безотраднѣе во всѣхъ жизненныхъ вопросахъ. Онъ находилъ, что на человѣкѣ также мало лежитъ ответственности за добро и зло, какъ на звѣрѣ; что все дѣло организаціи, обстоятельствъ и вообще устройства первой системы, отъ которой *больше ждуть, нежели она въ состояніи дать*. Семейную жизнь онъ не любилъ, говорилъ съ ужасомъ о бракѣ и наивно признавался, что онъ пережилъ тридцать лѣтъ, не любя ни одной женщины. Впрочемъ одна теплая струйка въ этомъ охлажденномъ человѣкѣ еще оставалась, она была видна въ его отношеніяхъ къ старушкѣ матери; они много страдали вмѣстѣ отъ отца, бѣдствія сильно сплавили ихъ; онъ трогательно окружалъ одинокую и болѣзненную старость ея, насколько умѣлъ, покоемъ и вниманіемъ.

Теоріи своихъ, кромѣ химическихъ, онъ никогда не проповѣдывалъ, онѣ высказывались случайно, вызывались мною. Онъ даже нехоти отвѣчалъ на мои романтическія и философскія возраженія; его отвѣты были коротки, онъ ихъ дѣлалъ улыбаясь и съ той деликатностью, съ которой большой, старый мастифъ играетъ съ шпиромъ, позволяя ему себя терзать, и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше и я неутомимо возвращался à la charge, не вы-

игрывая впрочемъ ни одного пальца почвы. Впослѣдствіи, т. е. лѣтъ черезъ двѣнадцать, я много разъ поминалъ Химика, такъ какъ поминалъ замѣчанія моего отца; разумѣется онъ былъ правъ въ трехъ-четвертяхъ всего на что я возражалъ. Но вѣдь и я былъ правъ. Есть истины, мы уже говорили объ этомъ, которыя, какъ политическія права, не передаются раньше извѣстнаго возраста.

Вліяніе Химика заставило меня избрать физико-математическое отдѣленіе, можетъ еще лучше было бы вступить въ медицинское, но бѣды большой въ томъ нѣтъ, что я сперва посредственно выучилъ, потомъ основательно забылъ дифференціальныя и интегральныя исчисленія.

Безъ естественныхъ наукъ нѣтъ спасенія современному человѣку, безъ этой здоровой пищи, безъ этого строгаго воспитанія мысли фактами, безъ этой близости къ окружающей насъ жизни, безъ смиренія передъ ея независимостью — гдѣ нибудь въ душѣ остается монашеская келья и въ ней мистическое зерно, которое можетъ разлиться темной водой по всему разумѣнію.

Передъ окончаніемъ моего курса, Химикъ уѣхалъ въ Петербургъ и я не видался съ нимъ до возвращенія изъ Вятки. Нѣсколько мѣсяцевъ послѣ моей женитьбы, я ѣздилъ полутайкомъ на нѣсколько дней въ подмосковную, гдѣ тогда жилъ мой отецъ. Цѣль этой поѣздки состояла въ окончательномъ примиреніи съ нимъ, онъ все еще сердился на меня за мой бракъ.

По дорогѣ и остановился въ Перхушковѣ, тамъ гдѣ мы столько разъ останавливались; Химикъ меня ожидалъ и даже приготовилъ обѣдъ и двѣ бутылки шампанскаго. Онъ черезъ четыре или пять лѣтъ былъ неизмѣнно тотъ-же, только немного постарѣлъ. Передъ обѣдомъ

онъ спросилъ меня совершенно серьезно. „Скажите пожалуйста, откровенно, ну какъ вы находите семейную жизнь, бракъ? Что хорошо что-ли или не очень? — Я смѣлся. — Какая смѣлость съ вашей стороны, продолжалъ онъ, я удивляюсь вамъ; въ нормальномъ состояніи никогда человѣкъ не можетъ рѣшиться на такой страшный шагъ. Миѣ предлагали двѣ, три партіи очень хорошія, но какъ я вздумаю, что у меня въ комнатѣ будетъ распоряжаться женщина, будетъ все приводить по своему въ порядокъ, пожалуй будетъ миѣ запрещать курить мой табакъ (онъ курилъ нѣжинскіе корешки), подниметь шумъ, сумбуръ, тогда на меня находитъ такой страхъ, что я предпочитаю умереть въ одиночествѣ.“

— Остаться миѣ у васъ ночевать или ѣхать въ Покровское? спросилъ я его послѣ обѣда.

— Недостатка въ мѣстѣ у меня нѣтъ, отвѣтилъ онъ, но для васъ я думаю лучше ѣхать, вы приѣдете часовъ въ десять къ вашему батюшкѣ. Вы вѣдь знаете, что онъ еще сердитъ на васъ; ну—вечеромъ, передъ сномъ у старыхъ людей обыкновенно нервы ослаблены и вялы, онъ васъ приметъ вѣроятно гораздо лучше нынче, чѣмъ завтра; утромъ вы его найдете совсѣмъ готовымъ для сраженія.

— Ха, ха, ха — какъ я узнаю моего учителя физиологіи и матеріализма, сказалъ я ему смѣясь отъ души, ваше замѣчаніе такъ и напомнило миѣ тѣ блаженныя времена, когда я приходилъ къ вамъ, въ родѣ гетевского Вагнера, надоѣдать моимъ идеализмомъ и выслушивать не безъ негодованія ваши охлаждающія сентенціи.

— Вы съ тѣхъ поръ довольно жили, отвѣтилъ онъ, то-же смѣясь, чтобъ знать, что всѣ дѣла человѣче-

скія зависятъ просто отъ нервовъ и отъ химическаго состава.

Послѣ мы какъ то разошлись съ нимъ; вѣроятно мы оба были неправы... тѣмъ не менѣе въ 1846, онъ написалъ мнѣ письмо. Я начиналъ тогда входить въ моду послѣ первой части *Кто виноватъ?* Химикъ писалъ мнѣ, что онъ съ грустью видитъ, что я употребляю на пустыя занятія мой талантъ. „Я съ вами примирился за ваши письма объ изученіи природы; въ нихъ я понялъ (насколько человѣческому уму можно понимать) нѣмецкую философію — зачѣмъ-же вмѣсто продолженія серьезнаго труда вы пишете сказки?“ Я отвѣчалъ ему нѣсколькими дружескими строками — тѣмъ наши сношенія и кончились.

Если эти строки попадутся на глаза самому Химику, я попрошу его ихъ прочесть ложась спать въ постель, когда нервы ослаблены, и увѣренъ, что онъ проститъ мнѣ тогда дружескую болтовню, тѣмъ болѣе, что я храню серьезную и добрую память о немъ.

И такъ наконецъ затворничество родительскаго дома пало. Я былъ au large; вмѣсто одиночества въ нашей небольшой комнатѣ, вмѣсто тихихъ и полускрываемыхъ свиданій съ однимъ Огаревымъ, — шумная семья, въ семьсотъ головъ, окружила меня. Въ ней я больше оклиматился въ двѣ недѣли, чѣмъ въ родительскомъ домѣ съ самаго дня рожденія.

А домъ родительскій меня преслѣдовалъ даже въ университетъ, въ видѣ лакея, которому отецъ мой велѣлъ меня провожать, особенно, когда я ходилъ пѣшкомъ. Цѣлый семестръ я отдѣлывался отъ провожатаго и на силу официально успѣлъ въ этомъ. Я говорю: официально — потому что Петръ Ѳедоровичъ, мой камердинеръ, на котораго была возложена эта должность,

очень скоро понялъ, во-первыхъ, что мнѣ непріятно быть провожаемымъ, во-вторыхъ, что самому ему, гораздо пріятнѣе въ разныхъ увеселительныхъ мѣстахъ, чѣмъ въ передней физико-математическаго факультета, въ которой всѣ удовольствія ограничивались бесѣдою съ двумя сторожами и взаимнымъ подчиваніемъ другъ друга и самихъ себя табакомъ.

Къ чему посылали за мной провожатаго? Неужели Петръ, съ молодыхъ лѣтъ зашибавшій по нѣсколькимъ дней съ ряду, могъ меня остановить въ чемъ нибудь? Я полагаю, что мой отецъ и не думалъ этого, но для *своего* спокойствія, брать мѣры недѣйствительныя, но все же мѣры, въ родѣ того какъ люди, не вѣря, говорятъ. Черта эта принадлежитъ нашему старинному помѣщичьему воспитанію. До семи лѣтъ, было приказано водить меня за руку по внутренней лѣстницѣ, которая была нѣсколько крута; до одиннадцати, меня мыла въ корытѣ Вѣра Артамоновна; стало, очень послѣдовательно — за мной, студентомъ, посылали слугу и до 21 года мнѣ не позволялось возвращаться домой послѣ половины одиннадцатаго. Я практически очутился на волѣ и на своихъ ногахъ въ ссылкѣ; еслибъ меня не сослали, вѣроятно тотъ же режимъ продолжался бы до 25 лѣтъ... до 35.

Какъ большая часть живыхъ мальчиковъ, воспитанныхъ въ одиночествѣ, я съ такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, съ такой безумной неосторожностью дѣлалъ пропаганду, и такъ откровенно самъ всѣхъ любилъ, что не могъ не вызвать горячій отвѣтъ со стороны аудиторіи, состоявшей изъ юношей почти одного возраста (мнѣ былъ тогда семнадцатый годъ).

Мудрыя правила — со всѣми быть учтивымъ и ни

съ кѣмъ близкимъ, никому не довѣряться — столько же способствовали этимъ сближеніямъ, какъ неотлучная мысль, съ которой мы вступили въ университетъ, мысль — что *здѣсь* совершатся наши мечты, что здѣсь мы бросимъ сѣмена, положимъ *основу* союзу. Мы были увѣрены, что изъ этой аудиторіи выйдетъ та фаланга, которая пойдетъ вслѣдъ за Пестелемъ и Рылѣвымъ, и что мы будемъ въ ней.

Молодежь была прекрасная въ нашъ курсъ. Именно въ это время пробуждались у насъ больше и больше теоретическія стремленія. Семинарская выучка и шляхетская лѣнь равно исчезали, не замѣняясь еще нѣмецкимъ утилитаризмомъ, удобряющимъ умы наукой, какъ поля навозомъ, для успенной жатвы. Порядочный кругъ студентовъ не принималъ больше науку за необходимый, но скучный проселокъ, которымъ скорѣе обязываютъ въ коллежскіе ассессоры. Возникавшіе вопросы вовсе не относились до табели о рангахъ.

Съ другой стороны, научный интересъ не успѣлъ еще вырождаться въ доктринаризмъ; наука не отвлекала отъ вмѣшательства въ жизнь, страдавшую вокругъ. Это сочувствіе съ нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентовъ. Мы и наши товарищи говорили въ аудиторіи открыто все, что приходило въ голову; тетрадки *запрещенныхъ* стиховъ ходили изъ рукъ въ руки, запрещенныя книги читались съ комментаріями, и при всемъ томъ, я не помню ни одного доноса изъ аудиторіи, ни одного предательства. Были робкіе молодые люди, уклонившіеся, отстранявшіеся, — но и тѣ молчали.*)

Одинъ пустой мальчикъ, допрашиваемый своей ма-

* Тогда не было инспекторовъ и субъ-инспекторовъ, исправляющихъ при аудиторіяхъ роль моего Петра Федоровича.

терью о Маловской исторіи подѣ угрозою прута, разсказалъ ей кое-что. Нѣжная мать — *аристократка* и книгиня — бросилась къ ректору и передала доносъ сына, какъ доказательство его раскаянія. Мы узнали это, и мучили его до того, что онъ не остался до окончанія кррса.

Исторія эта, за которую и я посидѣлъ въ карцерѣ, стоитъ того, чтобъ разсказать ее.

Маловъ былъ глупый, грубый и необразованный профессоръ въ политическомъ отдѣленіи. Студенты презирали его, смѣялись надъ нимъ. „Сколько у васъ профессоровъ въ отдѣленіи?“ спросилъ какъ-то попечитель у студента въ политической аудиторіи. „Безъ Малова девять“, отвѣчалъ студентъ. Вотъ этотъ то профессоръ, котораго надобно было *вычестъ* для того чтобъ осталось девять, сталъ больше и больше дѣлать дерзостей студентамъ; студенты рѣшились прогнать его изъ аудиторіи. Сговорившись, они прислали въ наше отдѣленіе двухъ парламентаровъ, приглашая меня придти съ вспомогательнымъ войскомъ. Я тотчасъ объявилъ кличъ идти войной на Малова, нѣсколько человекъ пошли со мной; когда мы пришли въ политическую аудиторію, Маловъ былъ на лицо и видѣлъ насъ.

У всѣхъ студентовъ на лицахъ былъ написанъ одинъ страхъ, ну какъ онъ въ этотъ день не сдѣлаетъ никакого грубаго замѣчанія. Страхъ этотъ скоро прошелъ. Черезъ край полная аудиторія была непокойна и издавала глухой, сдвленный гулъ. Маловъ сдѣлалъ какое-то замѣчаніе, началось шарканье. „Вы выражаете ваши мысли какъ лошади ногами,“ замѣтилъ Маловъ, воображавшій вѣроятно, что лошади думаютъ галопомъ и рысью, и буря поднялась — свистъ, шиканье, крикъ „вонъ его, вонъ его, repeat!“ Маловъ блѣдный какъ полотно

сдѣлалъ отчаянное усиліе овладѣть шумомъ, и не могъ; студенты вскочили на лавки. Маловъ тихо сошелъ съ кафедры и съжившись сталъ пробираться къ дверямъ; аудиторія за нимъ, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслѣдъ за нимъ его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улицѣ дѣло получило совсѣмъ иной характеръ; но будто есть на свѣтѣ молодые люди 17, 18 лѣтъ, которые думаютъ объ этомъ.

Университетскій совѣтъ перепугался и убѣдилъ попечителя представить дѣло оконченнымъ и для того виновныхъ или такъ кого-нибудь посадить въ карцеръ. Это было не глупо. Легко можетъ быть что въ противномъ случаѣ государь прислалъ бы флигель-адъютанта, который для полученія креста сдѣлалъ бы изъ этого дѣла заговоръ, возстаніе, бунтъ и предложилъ бы всѣхъ отправить на каторжную работу, а государь помиловалъ бы въ солдаты. Видя что порокъ наказанъ и нравственность торжествуетъ, государь ограничился тѣмъ, что высочайше соизволилъ утвердить волю студентовъ и отставилъ профессора. Мы Малова прогнали до университетскихъ воротъ, а онъ его выгналъ за ворота. *Vae victis* съ Николаемъ; но на этотъ разъ не намъ пенить на него.

И такъ дѣло закипѣло; на другой день послѣ обѣда припелся ко мнѣ сторожъ изъ правленія, сѣдой старикъ, который добросовѣстно принималъ *à la lettre*, что студенты ему давали деньги на водку и потому постоянно поддерживалъ себя въ состояніи болѣе близкомъ къ пьяному, чѣмъ къ трезвому. Онъ въ обшлагѣ шинели принесъ отъ „Лехтура“ записочку, мнѣ было велѣно явиться къ нему въ семь часовъ вечера. Вслѣдъ за нимъ явился блѣдный и испуганный студентъ изъ

остзейскихъ бароновъ, получившій такое-же приглашеніе и принадлежавшій къ несчастнымъ жертвамъ приведеннымъ мною. Онъ началъ съ того, что осыпалъ меня упреками, потомъ спрашивалъ совѣта что ему говорить. „Лгать отчаянно, заператься во всемъ, кромѣ того что шумъ былъ и что вы были въ аудиторіи“ — отвѣчалъ я ему.

— А ректоръ спроситъ, зачѣмъ я былъ въ политической аудиторіи, а не въ нашей?

— Какъ зачѣмъ? Да развѣ вы не знаете, что Родіонъ Гейманъ не приходилъ на лекцію, вы, не желая потерять времени по пустому, пошли слушать другую.

— Онъ не повѣритъ.

— Это ужъ его дѣло.

Когда мы входили на университетскій дворъ, я посмотрѣлъ на моего барона, пухленькія щечки его были очень блѣдны и вообще ему было плохо. „Слушайте, сказалъ я, вы можете быть увѣрены, что ректоръ начнетъ не съ васъ, а съ меня, говорите тоже самое съ варіаціями, вы-же и въ самомъ дѣлѣ ничего особеннаго не сдѣлали. Не забудьте одно, за то что вы шумѣли и за то что лжете, — много, много васъ посадятъ въ карцеръ; а если вы проболтаетесь, да кого-нибудь при миѣ запутаете, я расскажу въ аудиторіи и мы отправимъ вамъ ваше существованіе.“ Баронъ обѣщалъ и честно сдержалъ слово.

Ректоромъ былъ тогда Двигубскій, одинъ изъ остатковъ и образцовъ допотопныхъ профессоровъ или лучше сказать *до пожарныхъ*, то есть до 1812 года.

Онъ вывелись теперь; съ попечительствомъ князя Оболенскаго вообще оканчивается патріархальный періодъ московскаго университета. Въ тѣ времена начальство университетомъ не занималось, профессора читали и не

читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притомъ не въ мундирныхъ сертукахъ *ad insiar* конноегерскихъ, а въ разныхъ отчаянныхъ и эксцентрическихъ платьяхъ, въ крошечныхъ фуражкахъ, едва державшихся на дѣвственныхъ волосахъ. Профессора составляли два стана или слоя. мирно ненавидѣвшіе другъ друга, одинъ состоялъ исключительно изъ нѣмцевъ, другой изъ не-нѣмцевъ. Нѣмцы, въ числѣ которыхъ были люди добрые и учевые какъ Лодеръ, Фишеръ, Гильдебрантъ и самъ Геймъ, вообще отличались незнаніемъ и нежеланіемъ знать русскаго языка, хладнокровіемъ къ студентамъ, духомъ западнаго кліентизма, ремесленничества, неумѣреннымъ куреніемъ сигаръ и огромнымъ количествомъ крестовъ, которыхъ они никогда не снимали. Не-нѣмцы съ своей стороны, не знали ни одного (живаго) языка кромѣ русскаго, были отечественно раболѣпны, семинарски неуклюжи, держались, за исключеніемъ Мерзлякова, въ черномъ тѣлѣ и вмѣсто неумѣреннаго употребленія сигаръ, употребляли неумѣренно настойку. Нѣмцы были больше изъ Геттингена, не-нѣмцы изъ поповскихъ дѣтей.

Двигубскій былъ изъ не-нѣмцевъ. Видъ его былъ такъ назидателенъ, что какой-то студентъ изъ семинаристовъ, приходя за табелью, подошелъ къ нему подъ благословеніе и постоянно называлъ его „Отецъ-Ректоръ.“ Притомъ онъ былъ страшно похожъ на сову съ Анной на шеѣ, какъ его рисовалъ другой студентъ, получившій болѣе свѣтское образованіе. Когда онъ бывало приходилъ въ нашу аудиторію или съ деканомъ Чумаковымъ, или съ Котельницкимъ, который завѣдывалъ шкапомъ съ надписью *Materia Medica*, неизвѣстно зачѣмъ проживавшемъ въ математической аудиторіи, или съ Рейсомъ, выписаннымъ изъ Германіи за то, что его дядя хорошо

зналъ химію, съ Рейсомъ, который, читая по французски, называлъ свѣтильню — *baton de coton*, ядъ—рыбой *poisson*, а слово молнія такъ несчастно произносилъ, что многіе думали, что онъ бранится. — мы смотрѣли на нихъ большими глазами какъ на собраніе ископаемыхъ, какъ на послѣднихъ Абенсераговъ, представителей много времени не столько близкаго къ намъ, какъ къ Тредьяковскому и Кострову; времени, въ которомъ читали Хераскова и Книжнина, времени добраго профессора Дильтея, у котораго были двѣ собачки, одна вѣчно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что онъ очень справедливо прозвалъ одну *Баваркой*, а другую *Пруденкой*.

Но Двигубскій былъ вовсе не добрый профессоръ, онъ принялъ насъ чрезвычайно круто и былъ грубъ; я поролъ страшную дичь и былъ неучтивъ, баронъ подгрѣвалъ тоже самое. Раздраженный Двигубскій велѣлъ явиться на другое утро въ совѣтъ, тамъ въ полчаса времени насъ допросили, осудили, приговорили и послали сентенцію на утвержденіе князя Голицына.

Едва я успѣлъ въ аудиторію, пять или шесть разъ въ лицахъ представить студентамъ судъ и расправу университетскаго сената, какъ вдругъ въ началѣ лекціи явился инспекторъ, русской службы майоръ и французскій танцмейстеръ, съ унтеръ-офицеромъ и съ приказомъ въ рукѣ — меня взять и свести въ карцеръ. Часть студентовъ пошла провожать, на дворѣ тоже толпилась молодежь; видно меня не перваго вели, когда мы проходили, всѣ махали фуражками, руками; университетскіе солдаты двигали ихъ назадъ, студенты не шли.

Въ грязномъ подвалѣ, служившемъ карцеромъ, я уже нашелъ двухъ арестантовъ, Арапетова и Олова, князя

Андрея Оболенскаго и Розенгейма посадили въ другую комнату, всего было шесть человѣкъ наказанныхъ по Маловскому дѣлу. Намъ было велѣно содержать на хлѣбѣ и водѣ, ректоръ прислалъ какой-то супъ, мы отказались и хорошо сдѣлали; какъ только смерклось и университетъ опустѣлъ, товарищи принесли намъ сыру, дичи, сигаръ, вина и ликеру. Солдатъ сердился, ворчалъ, бралъ двугривенные и носилъ припасы. Послѣ полуночи, онъ пошелъ далѣе и пустилъ къ намъ нѣсколько человѣкъ гостей. Такъ проводили мы время, пируя ночью и лежа спать днемъ.

Разъ какъ-то товарищъ попечителя Панинъ, братъ министра юстиціи, вѣрный своимъ конногвардейскимъ привычкамъ, вздумалъ обойти ночью рундомъ государственную тюрьму въ университетскомъ подвалѣ. Только что мы зажгли свѣчу подъ стуломъ, чтобъ снаружи не было видно и принялись за нашъ ночной завтракъ, раздался стукъ въ наружную дверь; не тотъ стукъ, который своей слабостью проситъ солдата отпереть, который больше боится, что его услышать, нежели то, что не услышать; нѣтъ, это былъ стукъ съ авторитетомъ, приказывающій. Солдатъ обмеръ, мы спрятали бутылки и студентовъ въ небольшой чуланъ, задули свѣчу и бросились на наши койки. Взошелъ Панинъ. „Вы *кажется* курите?“ — сказалъ онъ, едва вырѣзываясь съ инспекторомъ, который несъ фонарь, изъ за густыхъ облаковъ дыма. „Откуда это они берутъ огонь, ты даешь?“ Солдатъ клялся, что не даетъ. Мы отвѣчали что у насъ былъ съ собою трутъ. Инспекторъ обѣщалъ его отнять и обобрать сигары, и Панинъ удалился, не замѣтивъ, что количество фуражекъ было вдвое больше количества головъ.

Въ субботу вечеромъ явился инспекторъ и объявилъ,

что я и еще одинъ изъ насъ можетъ идти домой, но что остальные посидятъ до понедѣльника. Это предложеніе показалось мнѣ обиднымъ и я спросилъ инспектора, могу-ли остаться; онъ отступилъ на шагъ, посмотрѣлъ на меня съ тѣмъ грозно-граціознымъ видомъ, съ которымъ въ балетахъ цари и герои пляшутъ гнѣвъ и сказавши: „сидите, пожалуй,“ вышелъ вонъ. За послѣднюю выходку досталось мнѣ дома больше, нежели за всю исторію.

И такъ первыя ночи, которыя я не спалъ въ родительскомъ домѣ, были проведены въ карцерѣ. Вскорѣ мнѣ приходилось испытать другую тюрьму и тамъ я просидѣлъ не восемь дней, а девять мѣсяцевъ, послѣ которыхъ поѣхалъ не домой, а въ ссылку. Но до этого далеко.

Съ этого времени я въ аудиторіи пользовался величайшей симпатіей. Сперва я слылъ за хорошаго студента; послѣ маловской исторіи, сдѣлался, какъ извѣстная гоголевская дама, хорошій студентъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Учились ли мы при всемъ этомъ чему нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что „да.“ Преподаваніе было скуднѣе, объемъ его меньше, чѣмъ въ сороковыхъ годахъ. Университетъ, впрочемъ, не долженъ оканчивать научное воспитаніе; его дѣло — поставить человѣка и шѣе продолжать на своихъ ногахъ; его дѣло—возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и дѣлали такіе профессора, какъ М. Г. Павловъ, а съ другой стороны, и такіе какъ Каченовскій. Но больше лекцій и профессоровъ развивала студентовъ аудиторія, юнымъ столкновеніемъ, обмѣномъ мыслей, чтеній..... Московскій университетъ свое дѣло дѣлалъ; профессора, способствовавшіе своими лекціями развитію Лермонтова,

Бѣлинскаго, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могутъ спокойно играть въ бостонъ и еще спокойнѣе лежать подъ землей.

А какіе оригиналы были въ ихъ числѣ, и какія чудеса — отъ Ѳеодора Ивановича Чумакова, *поднявшаго* формулы къ тѣмъ, которыя были въ курсѣ Пуансо, съ совершеннѣйшей свободой помѣщичьяго права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и х за извѣстное, — до Гавріила Мягкова, читавшаго самую *жесткую* науку въ мірѣ — тактику. Отъ постоянного обращенія съ предметами героическими, самая наружность Мягкова пріобрѣла строевую выправку; застегнутый до горла, въ нестигающемся галстухѣ, онъ больше командовалъ свои лекціи, чѣмъ говорилъ. „Господа!“ кричалъ онъ, „на полѣ — *Объ артиллеріи!*“ это не значило на полѣ сраженія ѣдутъ пушки, а просто, что на маршѣ такое заглавіе. Какъ жаль, что Николай обходилъ университетъ! еслибъ онъ увидѣлъ Мягкова, онъ его сдѣлалъ бы попечителемъ.

А Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ Рейсъ, никогда не читавшій химіи далѣе второй химической ипостаси, т. е. водорода! Рейсъ, который дѣйствительно попалъ въ профессора химіи, потому что не онъ, а его дядя занимался когда-то ею. Въ концѣ царствованія Екатерины, старика пригласили въ Россію; ему ѣхать не хотѣлось — онъ отправилъ вмѣсто себя племянника.....

Къ чрезвычайнымъ событіямъ нашего курса, продолжавшагося четыре года, (потому что во время холеры университетъ былъ закрытъ цѣлый семестръ) — принадлежитъ сама холера, пріѣздъ Гумбольдта и посѣщеніе Уварова.

Гумбольдтъ, возвращаясь съ Урала, былъ встрѣченъ въ Москвѣ въ торжественномъ засѣданіи общества

естествоиспытателей при университетѣ, членами котораго были разные сенаторы, губернаторы, — вообще люди не занимавшіеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайнаго совѣтника его прусскаго величества, которому государь императоръ изволилъ дать Анну и приказалъ не брать съ него денегъ за матеріалъ и дипломъ, дошла и до нихъ. Они рѣшились не ударить себя лицомъ въ грязь передъ человѣкомъ, который былъ на Шимборазо и жилъ въ Санъ-Суси.

Мы до сихъ поръ смотримъ на европейцевъ и Европу въ томъ родѣ, какъ провинціалы смотрятъ на столичныхъ жителей, съ подобострастіемъ и чувствомъ собственной вины, принимая каждую разницу за недостатокъ, красяща своихъ особенностей, скрывая ихъ, подчиняясь и подражая. Дѣло въ томъ, что мы были застрашены и не оправились отъ насмѣшекъ Петра I, отъ оскорбленій Бирона, отъ высокомерія служебныхъ нѣмцевъ и воспитателей французовъ. Западные люди толкуютъ о нашемъ двоедушіи и лукавомъ коварствѣ; они принимаютъ за желаніе обмануть — желаніе выказаться и похвастаться. У насъ тотъ-же человѣкъ готовъ наивно либеральничать съ либераломъ, прикинуться легитимистомъ, и это безъ всякихъ заднихъ мыслей, просто изъ учтивости и изъ кокетства; бугоръ de l'arrogativité сильно развитъ въ нашемъ черепѣ.

„Князь Дмитрій Голицынъ,“ сказалъ какъ-то лордъ Дюрамъ, „настоящій вигъ, вигъ въ душѣ.“

Князь Д. В. Голицынъ былъ почтенный русскій баринъ, но почему онъ былъ „вигъ,“ съ чего онъ былъ „вигъ“ — не понимаю. Будете увѣрены, князь на старости лѣтъ хотѣлъ понравиться Дюраму и прикинулся вигомъ.

Пріемъ Гумбольдта въ Москвѣ и въ университетѣ, было дѣло не шуточное. Генераль-губернаторъ, разное вое и градоначальники, Сенатъ—все явилось лента черезъ плечо, въ полномъ мундирѣ, профессора воинственно при шпагахъ и съ трехъ угольными шляпами подъ рукой. Гумбольдтъ, ничего не подозрѣвая, пріѣхалъ въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами и, разумѣется, былъ сконфуженъ. Отъ сѣней до залы общества естествоиспытателей, вездѣ были приготовлены засады: тутъ ректоръ, тамъ деканъ, тутъ начинающій профессоръ, тамъ ветеранъ, обанчивающій свое поприще, и именно потому говорящій очень медленно; каждый привѣтствовалъ его по латынѣ, по нѣмецки, по французски, и все это въ этихъ страшныхъ каменныхъ трубахъ, называемыхъ корридорами, въ которыхъ нельзя остановиться на минуту, чтобъ не простудиться на мѣсяцъ. Гумбольдтъ все слушалъ безъ шляпы и на все отвѣчалъ — я увѣренъ, что всѣ дикіе, у которыхъ онъ былъ, краснокожіе и мѣднаго цвѣта, сдѣлали ему меньше непріятностей, чѣмъ московскій пріемъ.

Когда онъ дошелъ до залы и усѣлся, тогда надобно было встать. Попечитель Писаревъ счелъ нужнымъ, въ краткихъ, но сильныхъ словахъ, *отдать приказъ* по русски, о заслугахъ его превосходительства и знаменитаго путешественника; послѣ чего Сергѣй Глинка „офицеръ,“ голосомъ тысяча восьмисотъ двѣнадцатаго года, густо сирымъ, прочелъ свое стихотвореніе, начинавшееся такъ:

Humboldt — Prométhée de nos jours!

А Гумбольдту хотѣлось потолковать о наблюденіяхъ надъ магнитной стрѣлкой, сличить свои метеорологическія замѣтки на Уралѣ съ московскими — вмѣсто

этого, ректоръ пошелъ ему показывать что-то сплетенное изъ высочайшихъ волосъ Петра I.... насилу Эренбергъ и Розе нашли случай кой что рассказать о своихъ открытіяхъ. *)

У насъ и въ неофициальномъ мірѣ дѣла идутъ не много лучше; десять лѣтъ спустя, точно такъ-же принимали Листа въ московскомъ обществѣ. Глупостей довольно дѣлали для него и въ Германіи, но тутъ совсѣмъ не тотъ характеръ; въ Германіи это все стародѣвическая экзальтація, сентиментальность, все *Blumenstreuen*; у насъ — подчиненіе, признаніе власти, вытяжка, у насъ все „честь имѣю явиться къ вашему превосходительству.“ Тутъ-же, по несчастію, прибавилась слава Листа, какъ извѣстнаго Ловласа; дамы толпились около него, такъ какъ крестьянскіе мальчики на проселочныхъ дорогахъ толпятся около проѣзжаго, пока закладываютъ лошадей, любознательно разсматривая его самага, его коляску, шапку..... Все слушало одного Листа, все говорило только съ нимъ однимъ, отвѣчало только ему. Я помню, что на одномъ вечерѣ, Хомяковъ, краснѣя за почтенную публику, сказалъ мнѣ: „поспоримте пожалуйста о чемъ нибудь, чтобъ Листъ видѣлъ что есть здѣсь въ комнатѣ люди, не исключительно за-

*) Какъ розно было понято въ Россіи путешествіе Гумбольдта, можно судить изъ повѣствованія уральскаго казака, служившаго при канцеляріи пермскаго губернатора; онъ любилъ рассказывать какъ онъ провожалъ „сумасшедшаго прусскаго принца Гумплота.“ — Что-же онъ дѣлалъ? — „Такъ самое, т. е. пустое, травы набереть, песокъ смотреть; какъ-то въ Солончакахъ говорить мнѣ черезъ толмача: полѣзай въ воду, достань что на днѣ; ну я досталъ. обыкновенно что на днѣ бываетъ, а онъ спрашиваетъ: Что, внизу очень холодна вода? Думаю, ибѣтъ братъ, меня не проведешь, сдѣлалъ фрунтъ и отлѣтилъ: Того молю, ваша свѣтлость, служба требуетъ — все равно, мы рады стараться.“

нятые имъ.“ Въ утѣшеніе нашимъ дамамъ, я могу только одно сказать, что англичанки точно также метались, толпились, тормозились, не давали проходу другимъ знаменитостямъ: Кошуту, потомъ Гарибальди и пр.; на горе тѣмъ, кто хочетъ учиться хорошимъ манерамъ у англичапокъ и ихъ мужей!

Второй „знаменитый“ путешественникъ былъ тоже въ нѣкоторомъ смыслѣ „Промнеей нашихъ дней“, только что онъ свѣтъ кралъ не у Юпитера, а у людей. Этотъ Промнеей, воспѣтый не Глинкою, а самимъ Пушкинымъ въ посланіи къ Лукуллу, былъ министръ народнаго просвѣщенія С. С. (еще не графъ) Уваровъ. Онъ удивлялъ насъ своимъ многоязычіемъ и разнообразіемъ всякой всячины, которую зналъ; настоящий сидѣлецъ за прилавкомъ просвѣщенія, онъ берегъ въ памяти образчики всѣхъ наукъ, ихъ казовые концы или лучше начала. При Александрѣ онъ писалъ либеральныя брошюры по французски, потомъ переписывался съ Гёте по нѣмецки о греческихъ предметахъ. Сдѣлавшись министромъ, онъ толковалъ о славянской поэзіи IV столѣтія, на что Каченовскій ему замѣтилъ, что тогда впору было съ медвѣдями сражаться нашимъ праотцамъ, а не то, что пѣснопѣть о самоображійскихъ богахъ и самодержавномъ милосердіи. Въ родѣ патента, онъ носилъ въ карманѣ письмо отъ Гёте, въ которомъ Гёте ему сдѣлалъ прекуръезный комплиментъ, говоря: „Напрасно извиняетесь вы въ вашемъ слогѣ; вы достигли до того, до чего я не могъ достигнуть — вы забыли нѣмецкую грамматику.“

Вотъ этотъ-то дѣйствительный тайный Пикъ-де-ла Мирандоль завелъ новаго рода испытанія. Онъ велѣлъ отобрать лучшихъ студентовъ для того, чтобъ каждый изъ нихъ прочелъ по лекціи изъ своихъ предметовъ

вмѣсто профессора. Деканы, разумѣется, выбрали самыхъ бойкихъ.

Лекціи эти продолжались цѣлую недѣлю. Студенты должны были приготовляться на всѣ темы своего курса, деканъ вынималъ билетъ и ими. Уваровъ созвалъ всю московскую знать. Архимандриты и Сенаторы, генераль губернаторъ и Ив. Ив. Дмитріевъ — всѣ были на лицо.

Мнѣ пришлось читать у Ловецкаго изъ минералогіи — и онъ уже умеръ!

Гдѣ нашъ старецъ Лавжеронъ!
Гдѣ нашъ старецъ Бенигсонъ,
И тебя уже не стало,
И тебя какъ не бывало!

Алексѣй Леонтьевичъ Ловецкій былъ высокій, тяжело двигавшійся, топорной работы мущина съ большимъ ртомъ и большимъ лицомъ, совершенно ничего не выражавшимъ. Снималъ въ корридорѣ свою гороховую шинель, украшенную воротниками разнаго роста, какъ носили во время перваго консулата, — онъ, еще не входя въ аудиторію, начиналъ ровнымъ и безстрастнымъ (что очень хорошо шло къ каменному предмету его) голосомъ: „Мы заключили прошедшую лекцію, сказавъ все, что слѣдуетъ о кремнеземѣ,“ потомъ онъ садился и продолжалъ: „о глиноземѣ...“ У него были созданы неизмѣнныя рубрики для формулярныхъ списковъ каждаго минерала, отъ которыхъ онъ никогда не отступалъ; случалось, что характеристика иныхъ опредѣлялась отрицательно: „кристаллизація — не кристаллизуется, употребленіе — нигде не употребляется, польза—вредъ, приносимый организму...“

Впрочемъ, онъ не бѣжалъ ни поэзіи, ни нравственныхъ отгѣтокъ, и всякій разъ, когда показывалъ подѣльные камни и рассказывалъ, какъ ихъ дѣлаютъ, онъ

прибавлялъ: „господа, это обманъ.“ Въ сельскомъ хозяйствѣ онъ находилъ *моральными* качествами хорошаго пѣтуха, если онъ „охотникъ пѣть и до куръ,“ и отличительнымъ свойствомъ аристократическаго барана, „плѣшивыя колѣнки.“ Онъ умѣлъ тоже трогательно повѣствовать, какъ мушки рассказывали, какъ онѣ въ прекрасный лѣтній день гуляли по дереву и были залиты смолой, сдѣлавшейся янтаремъ, и всякій разъ добавлялъ: „господа это прозопопея.“

Когда деканъ вызвалъ меня, публика была нѣсколько утомлена; двѣ математическія лекціи распространили уныніе и грусть на людей, не понявшихъ ни одного слова. Уваровъ требовалъ что нибудь поживѣе и студента съ „хорошо-повѣшеннымъ языкомъ.“ Щепкинъ указалъ на меня.

Я взомель на кафедру. Ловецкій сидѣлъ возлѣ неподвижно, положи руки на ноги, какъ Мемнонъ или Озирисъ, и боялся... Я шепнулъ ему, „экое счастье, что мнѣ пришлось у васъ читать, я васъ не выдамъ.“— „Не хвались идучи на рать...“ отпечаталъ, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессоръ. Я чуть не захохоталъ, но когда я взглянулъ передъ собой, у меня зарыбило въ глазахъ, я чувствовалъ что я поблѣднѣлъ и какая-то сухость покрыла языкъ. Я никогда прежде не говорилъ публично, аудиторія была полна студентами — они надѣялись на меня; подъ кафедрой за столомъ „сильные міра сего“ и всѣ профессора нашего отдѣленія. Я взялъ вопросъ и прочелъ не своимъ голосомъ „о кристализаціи, ея условіяхъ, законахъ, формахъ.“

Пока я придумывалъ съ чего начать, мнѣ пришла счастливая мысль въ голову, если я и ошибусь, замѣтитъ можетъ профессора, но ни слова не скажутъ, дру-

гіе-же сами ничего не смыслятъ. а студенты — лишь бы я не срѣзлся на полдорогѣ, будутъ довольны, потому что я у нихъ въ фаверѣ. И такъ во имя Гайюи, Вернера и Мичерлиха, я прочелъ свою лекцію—заключилъ ее философскими разсужденіями и все время относился и обращался къ студентамъ, а не къ министру. Студенты и профессора жали мнѣ руки и благодарили, Уваровъ водилъ представлять князю Голицыну — онъ сказалъ что-то одними гласными, такъ что я не понималъ. Уваровъ обѣщалъ мнѣ книгу въ знакъ памяти и никогда не присылалъ.

Второй разъ и третій я совсѣмъ иначе выходилъ на сцену. Въ 1836 году я представлялъ „Угара,“ а жена жандармскаго полковника „Марфу,“ при всемъ вятскомъ бо-мондѣ и при Тюфяевѣ. Съ мѣсяцъ времени мы дѣлали репетицію, а все таки сердце сильно билось и руки дрожали, когда мертвая тишина вдругъ замѣнила увертюру и занавѣсъ стала, какъ-то страшно пошевеливаясь, подниматься; мы съ Марѳой ожидали за кулисами начала. Ей было меня до того жаль, или до того она боялась, что я испорчу дѣло, что она мнѣ подала огромный стаканъ шампанскаго, но и съ нимъ я былъ едва живъ.

Съ легкой руки министра народнаго просвѣщенія и жандармскаго полковника, я уже безъ нервныхъ явленій и самолюбивой застѣнчивости явился на польскомъ митингѣ въ Лондонѣ, это былъ мой третій публичный дебютъ. Отставной министръ Уваровъ былъ замѣненъ отставнымъ министромъ Ледрю-Ролленомъ.

Но не довольно-ли студентскихъ воспоминаній? я боюсь, не старчество-ли это останавливаться на нихъ такъ долго; прибавлю только нѣсколько подробностей о холерѣ 1831 года.

Холера—это слово такъ знакомое теперь въ Европѣ, домашнее въ Россіи до того, что какой-то патріотическій поэтъ называетъ холеру единственной вѣрной, союзницей Николая — раздалось тогда въ первый разъ на Сѣверѣ. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волгѣ къ Москвѣ. Преувеличенные слухи наполняли ужасомъ воображеніе. Болѣзнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось обошла Москву и вдругъ грозная вѣсть „Холера въ Москвѣ!“ — разнеслась по городу.

Утромъ одинъ студентъ политическаго отдѣленія почувствовалъ дурноту, на другой день онъ умеръ въ университетской больницѣ. Мы бросились смотрѣть его тѣло. Онъ исхудалъ какъ въ длинную болѣзнь, глаза ввалились, черты были искажены, возлѣ него лежалъ сторожъ занемогшій въ ночь.

Намъ объявили, что университетъ велѣно закрыть. Въ нашемъ отдѣленіи этотъ приказъ былъ прочтенъ профессоромъ технологіи Денисовымъ; онъ былъ грустенъ, можетъ быть испуганъ. На другой день къ вечеру умеръ и онъ.

Мы собрались изъ всѣхъ отдѣленій на большой университетскій дворъ; что-то трогательное было въ этой толпящейся молодежи, которой велѣно было разстаться передъ заразой. Лица были блѣдны, особенно одушевлены, многіе думали о родныхъ, друзьяхъ, мы простились съ казеннокоштными, которыхъ отъ насъ отдѣляли карантинными мѣрами и разбрелись небольшими кучками по домамъ. А дома всѣхъ встрѣтили вонючей хлористой извѣстью, укусомъ четырехъ разбойниковъ, и такой діэтой, которая одна безъ хлору и холеры могла свести человѣка въ постель.

Странное дѣло, это печальное время осталось какимъ-то торжественнымъ въ моихъ воспоминаніяхъ.

Москва приняла совсѣмъ иной видъ. Публичность, неизвѣстная въ обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачныя толпы народа стояли на перекресткахъ и толковали объ отравителяхъ; кареты, возившія больныхъ, шагомъ двигались, сопровождаемыя полицейскими; люди сторонились отъ черныхъ фуръ съ трупами. Бюлteni и болѣзни печатались два раза въ день. Городъ былъ оцѣпенъ какъ въ военное время и солдаты пристрѣлили какого-то бѣднаго дьячка, пробиравшагося черезъ рѣку. Все это сильно занимало умы, страхъ передъ болѣзнію отнялъ страхъ передъ властями, жители роптали, а тутъ вѣсть за вѣстью—что тотъ-то занемогъ, что такой-то умеръ.....

Митрополитъ устроилъ общее молебствіе. Въ одинъ день и въ одно время священники съ хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили изъ домовъ и бросались на колѣни во время шествія, прося со слезами отпущенія грѣховъ; самые священники, привыкшіе обращаться съ Богомъ за панпбрата, были серьезны и тронуты. Доля ихъ шла въ Кремль; тамъ на чистомъ воздухѣ, окруженный высшимъ духовенствомъ, стоялъ колѣно-преклоненный митрополитъ и молился—да мимо идетъ чапа сія. На томъ-же мѣстѣ онъ молился объ убіеніи Декабристовъ шесть лѣтъ тому назадъ.

Филаретъ представлялъ какого-то оппозиціоннаго іерарха; во имя чего онъ дѣлалъ оппозицію, я никогда не могъ понять. Развѣ во имя своей личности. Онъ былъ человѣкъ умный и ученый, владѣлъ мастерски русскимъ языкомъ, удачно вводя въ него церковно-славянскій, все это вмѣстѣ не давало ему никакихъ

правъ на оппозицію. Народъ его не любилъ и называлъ масономъ, потому что онъ былъ въ близости съ княземъ А. Н. Голицынымъ и проповѣдывалъ въ Петербургѣ въ самый разгаръ библейскаго общества. Синодъ запретилъ учить по его катехизису. Подчиненное ему духовенство трепетало его деспотизма; можетъ именно по соперничеству они ненавидѣли другъ друга съ Николаемъ.

Филаретъ умѣлъ хитро и ловко унижать временную власть; въ его проповѣдяхъ просвѣчивалъ тотъ христіанскій, неопредѣленный социализмъ, которымъ блистали Лакордеръ и другіе дальновидные католики. Филаретъ съ высоты своего первосвятительнаго амвона говорилъ о томъ, что человѣкъ никогда не можетъ быть *законно* орудіемъ другаго, что между людьми можетъ только быть обмѣна услугъ, и это говорилъ онъ въ государствѣ гдѣ полъ-населенія рабы.

Онъ говорилъ колодникамъ въ пересыльномъ острогѣ на Воробьевыхъ горахъ: „Гражданскій законъ васъ осудилъ и гонитъ, а церковь гонится за вами, хочетъ сказать еще слово, еще помолиться объ васъ и благословить на путь.“ Потомъ утѣшая ихъ, онъ прибавлялъ, „что они, наказанные, покончили съ своимъ прошедшимъ что имъ предстоитъ новая жизнь, въ то время какъ между другими (вѣроятно другихъ *кромя* чиновниковъ не было на лицо) есть еще большіе преступники,“ и онъ ставилъ въ примѣръ разбойника вмѣстѣ съ Христомъ.

Проповѣдь Филарета на молебствіи по случаю холеры превзошла всѣ остальные; онъ взялъ текстомъ, какъ ангелъ предложилъ въ наказаніе Давиду избрать войну, голодъ или чуму; Давидъ избралъ чуму. Государь пріѣхалъ въ Москву взбѣшенный, послалъ министра двора князя Волхонскаго намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитомъ въ Грузію. Митро-

полить смиренно покорился и разослалъ новое слово по всѣмъ церквамъ, въ которомъ пояснялъ, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложение въ текстѣ первой проповѣди къ благочестивѣйшему императору, что Давидъ это мы сами, погрязнувшіе въ грѣхахъ. Разумѣется тогда и тѣ поняли первую проповѣдь, которые не добрались до ея смысла сразу.

Такъ игралъ въ оппозицію московскій митрополитъ.

Молебствіе такъ-же мало помогло отъ заразы, какъ хлористая известь; болѣзнь увеличивалась.

Я былъ все время жесточайшей холеры 1849 въ Парижѣ. Болѣзнь свирѣпствовала страшно. Юньскіе жары ей помогали, бѣдные люди мерли какъ мухи; мѣщане бѣжали изъ Парижа, другіе сидѣли на заперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой противъ революціонеровъ, не думало брать дѣятельныхъ мѣръ. Тщедушные колекты были несоразмѣрны требованіямъ. Бѣдные работники оставались покинутыми на произволъ судьбы, въ больницахъ не было довольно кроватей, у полиціи не было достаточно гробовъ, и въ домахъ, биткомъ набитыхъ разными семьями, тѣла оставались дни по два во внутреннихъ комнатахъ.

Въ Москвѣ было не такъ.

Князь Д. В. Голицынъ, тогдашній генераль-губернаторъ, человѣкъ слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлекъ московское общество и какъ-то все уладилось по домашнему, т. е. безъ особеннаго вмѣшательства правительства. Составился комитетъ изъ почетныхъ жителей—богатыхъ помѣщиковъ и купцовъ. Каждый членъ взялъ себѣ одну изъ частей Москвы. Въ нѣсколько дней было открыто двадцать больницъ, они не стоили правительству ни копѣйки, все было сдѣлано на пожертвованныя деньги. Купцы давали да-

ромъ все что нужно для больницъ — одѣла, бѣлье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшимъ. Молодые люди шли даромъ въ смотрители больницъ, для того чтобъ приношенія не были на половину украдены служащими.

Университетъ не отсталъ. Весь медицинскій факультетъ студенты и лекаря en masse привели себя въ распоряженіе холернаго комитета; ихъ разослали по больницамъ и они остались тамъ безвыходно до конца заразы. Три или четыре мѣсяца эта чудная молодежь прожила въ больницахъ ординаторами, фельшерами, сидѣлками, письмоводителями — и все это безъ всякаго вознагражденія и притомъ въ то время, когда такъ преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента малороссіянина, кажется Фицхелаурова, который въ началѣ холеры просился въ отпускъ по важнымъ семейнымъ дѣламъ. Отпускъ во время курса даютъ рѣдко, онъ наконецъ получилъ его; въ самое то время какъ онъ собирался ѣхать, студенты отправлялись по больницамъ. Малороссіянинъ положилъ свой отпускъ въ карманъ и пошелъ съ ними. Когда онъ вышелъ изъ больницы, отпускъ былъ давно просроченъ — и онъ первый отъ души хохоталъ надъ своей поѣздкой.

Москва, по видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольемъ, свадьбами и ничѣмъ — просыпается всякій разъ, когда надобно и становится въ уровень съ обстоятельствами, когда надъ Русью гремитъ гроза.

Она въ 1612 году кроваво обвѣчалась съ Россіей и сипавилась съ нею огнемъ 1812.

Она склонила голову передъ Петромъ, потому что въ звѣриной лапѣ его была будущность Россіи. Но она съ ропотомъ и презрѣніемъ приняла въ своихъ стѣнахъ

женщину, обогренную кровью своего мужа, эту Леди Макбетъ безъ раскаянія, эту Лукрецію Борджію безъ итальянской крови, русскую царицу нѣмецкаго происхожденія — и она тихо удалилась изъ Москвы, хмури брови и надувая губы.

Хмури брови и надувая губы, ждалъ Наполеонъ ключей Москвы у Драгомилловской заставы, нетерпѣливо играя мундштукомъ и теребя перчатку. Онъ не привыкъ одинъ входить въ чужіе города.

„Но не пошла Москва моя.“

Какъ говорить Пушкинъ — а зажгла самое себя.

Явилась холера и снова народный городъ показался полнымъ сердца и энергіи!

Въ 1830, въ Августѣ, мы поѣхали въ Васильевское, останавливались, по обыкновенію, въ радклифовскомъ замкѣ Перхушкова, и собирались, покормивши себя и лошадей — ѣхать далѣе. Бакай, подноясанный полотенцомъ уже прокричалъ „трогай!“ — какъ какой-то человѣкъ, скакавшій верхомъ, далъ знакъ, чтобъ мы остановились и фореиторъ Сенатора въ пыли и поту, соскочилъ съ лошади и подалъ моему отцу пакетъ. Въ этомъ пакетѣ была *Іюльская революція!* — Два листа *Journal des Debats*, которые онъ привезъ съ письмомъ, я перечиталъ сто разъ, а ихъ зналъ наизусть—и первый разъ скучалъ въ деревнѣ.

Славное было время, событія неслись быстро. Едва худошаваа фигура Карла X успѣла скрыться за туманами Голируда, Бельгія вспыхнула, тронъ короля-гражданина качался, какое-то горячее, революціонное дуновеніе началось въ преніяхъ, въ литературѣ. Романы, драмы, поэмы, все снова сдѣлалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франціи намъ была неизвѣстна, и мы все принимали за чистые деньги.

Кто хочетъ знать, какъ сильно дѣйствовала на молодое поколѣніе вѣсть Іюльскаго переворота, пусть тотъ прочтетъ описаніе Гейне, услышавшаго на Гельголандѣ, „что великій, языческій Панъ умеръ.“ Тутъ нѣтъ поддѣльнаго жара, Гейне тридцати лѣтъ былъ также увлеченъ, также одушевленъ до ребячества, какъ мы восемнадцати.

Мы слѣдили шагъ за шагомъ, за каждымъ словомъ, за каждымъ событіемъ, за смѣлыми вопросами и рѣзкими отвѣтами, за генераломъ Лафайетомъ и за генераломъ Ламаркомъ, мы не только подробно знали, но горячо любили всѣхъ тогдашнихъ дѣятелей, разумѣется радикальныхъ, и хранили у себя ихъ портреты отъ Манюеля и Бенжаменъ Констанъ, до Дюпонъ-де-Лѣра и Арманъ Карель.

Середь этого разгара вдругъ какъ бомба, разорвавшаяся возлѣ, оглушила насъ вѣсть о варшавскомъ восстаніи. Это ужъ не далеко, это дома, и мы смотрѣли другъ на друга со слезами на глазахъ, повторяя любимое:

Nein! es sind keine leere Traume!

Мы радовались каждому пораженію Дибича, не вѣрили неуспѣхамъ поляковъ, и я тотчасъ прибавилъ въ свой иконостасъ портретъ Эаддѣя Костюшки.

Въ самое это время, я видѣлъ во второй разъ Николая, и тутъ лице его еще сильнѣе врѣзалось въ мою память. Дворянство ему давало балъ, я былъ на хорахъ собранія, и могъ до сыта насмотрѣться на него. Онъ еще тогда не носилъ усовъ, лице его было молодо,

но переменна въ его чертахъ со времени коронаціи поразила меня. Угрюмо стоялъ онъ у колонны, свирѣпо и холодно смотрѣлъ передъ собой, ни на кого не глядя. Онъ похудѣлъ. Въ этихъ чертахъ, за этими оловянными глазами, ясно можно было понять судьбу Польши, да и Россіи. Онъ былъ потрясенъ, *испуганъ*, онъ усомнился*) въ прочности трона, и готовился мстить за страданное имъ, за страхъ и сомнѣніе.

*) Вотъ что рассказываетъ Денисъ Давыдовъ въ своихъ запискахъ: Государь сказалъ однажды А. П. Ермолову: „Во время польской войны, я находился одно время въ ужаснѣйшемъ положеніи. Жена моя была на сносяхъ, въ Новгородѣ вспыхнулъ бунтъ, при нѣмъ оставались лишь два эскадрона кавалергардовъ, извѣстія изъ арміи доходили до меня лишь черезъ Кенигсбергъ. Я нашелся вынужденнымъ окружить себя выпущенными изъ госпиталя солдатами.“

Записки партизана не оставляютъ никакого сомнѣнія, что Николай, какъ Аракчеевъ, какъ всѣ бездушно-жестокосердые и мстительные люди — былъ *трусъ*. Вотъ что рассказывалъ Давыдову — генералъ Чеченскій: „Вы знаете, что я умѣю цѣнить мужество, а потому вы повѣрите моимъ словамъ. Находись 14 Декабря близъ государя, я во все время наблюдать за нимъ. Я васъ могу увѣрить честнымъ словомъ, что у государя, бывшаго во все время весьма *блѣднымъ*, *душа была въ петкахъ*.“

А вотъ что рассказываетъ самъ Давыдовъ. „Во время бунта на Сѣнной, государь прибылъ въ столицу лишь на *второй* день, когда уже все успокоилось. Государь былъ въ Петергофъ и какъ-то самъ случайно проговорился, „мы съ Волконскимъ стояли во весь день на курганѣ въ саду и прислушивались, не раздаются ли со стороны Петербурга пушечные выстрѣлы.“ Въмѣсто озабоченнаго прислушиванія въ саду, и непрерывныхъ отправокъ курьеровъ въ Петербургъ, добавляетъ Давыдовъ, онъ долженъ былъ лично поспѣшить туда; такъ поступилъ бы всякій, мало мальски мужественный чело-вѣкъ. На слѣдующій день (когда все было усмирено), государь вѣхалъ въ коляскѣ въ толпу наполнявшую площадь, онъ закричалъ ей: „На козѣ!“ и толпа поспѣшно исполнила его приказаніе. Государь, увидѣвъ нѣсколько лицъ одѣтыхъ въ партикулярныхъ платьяхъ (изъ числа слѣдовавшихъ за экипажемъ), *вообразилъ*, что это были лица подозрительные, приказалъ взять этихъ несчастныхъ на гауптвахты и, обратившись къ народу, сталъ кричать: „Это все

Съ покореніи Польши, всѣ задержанныя злобы этого человѣка распустились. Вскорѣ почувствовали это и мы.

Сѣть шпионства, обведенная около университета съ начала царствованія, стала затягиваться. Въ 1832 году *пропалъ* полякъ, студентъ нашего отдѣленія. Присланный на казенный счетъ, не по своей волѣ, онъ былъ помѣщенъ въ нашъ курсъ, мы познакомились съ нимъ, онъ велъ себя скромно и печально, никогда мы не слышали отъ него ни одного рѣзкаго слова, но никогда не слышали и ни одного слабого. Однимъ утромъ его не было на лекціяхъ, на другой день — тоже нѣтъ. Мы стали спрашивать, казеннокоштные студенты сказали намъ по секрету, что за нимъ приходили ночью, что его позвали въ правленіе, потомъ являлись какіе-то люди за его бумагами и пожитками и не велили объ этомъ говорить. Тѣмъ и кончилось, *мы никогда не слышали ничего о судьбѣ этого несчастнаго молодого человѣка.*)*

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, вдругъ разнесся въ аудиторіи слухъ, что схвачено ночью нѣсколько человѣкъ студентовъ, — называли *Костенецкаго, Кольрейфа, Антоновича* и другихъ; мы ихъ знали коротко, всѣ они были превосходные юноши. Кольрейфъ, сынъ протестантскаго пастора, былъ чрезвычайно даровитый музыкантъ. Надъ ними была назначена *военносудная коммиссія*; въ переводѣ это значило, что ихъ обрекли на гибель. Всѣ мы лихорадочно ждали, что съ ними будетъ, но и они сначала какъ будто канули въ воду. Буря ловавшая поднимавшіеся всходы была возлѣ. Мы уже не

подлые полячки, они васъ подбили.“ Подобная неумѣстная выходка, совершенно испортила по моему мнѣнію результаты.“ — Каковъ гусь былъ этотъ Николай?

*) А гдѣ Критскіе? Что они сдѣлали, кто ихъ судилъ? На что ихъ осудили?

то, что чуяли ея приближеніе — а слышали, видѣли, и жались тѣснѣе и тѣснѣе другъ къ другу.

Опасность поднимала еще болѣе наши раздраженные нервы, заставляла сильнѣе биться сердца, и съ большей горячностью любить другъ друга. Насъ было пятеро сначала, тутъ мы встрѣтились съ Пассекомъ.

Въ Вадимѣ для насъ было много новаго. Мы всѣ, съ небольшими варіаціями, имѣли сходное развитіе, т. е. ничего не знали кромѣ Москвы и деревни, учились по тѣмъ-же книгамъ, и брали уроки у тѣхъ-же учителей, воспитывались дома или въ университетскомъ пансіонѣ. Вадимъ родился въ Сибири, во время ссылки своего отца, въ нуждѣ и лишеніяхъ; его училъ самъ отецъ, онъ выросъ въ многочисленной семьѣ братьевъ и сестеръ, въ гнетущей бѣдности, но на полной волѣ. Сибирь кладетъ свой отпечатокъ,* вовсе не похожій на нашъ провинціальный; онъ далеко не такъ пошлъ и мелокъ, онъ обличаетъ больше здоровья и лучшій закалъ. Вадимъ былъ дичекъ въ сравненіи съ нами. Его удалъ была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизмъ несчастія развилъ въ немъ особое самолюбіе; но онъ много умѣлъ любить и другихъ и отдавался имъ не скупясь. Онъ былъ отваженъ, даже неостороженъ до излишества — человѣкъ, родившійся въ Сибири, и притомъ въ семьѣ сосланной, имѣетъ уже то преимущество передъ нами, что не боится Сибири.

Вадимъ, по наслѣдству, ненавидѣлъ ото всей души самовластье и крѣпко прижалъ насъ къ своей груди, какъ только встрѣтился. Мы сблизились очень скоро. Впрочемъ, въ то время, ни церемоній, ни благоразумной осторожности, ничего подобнаго не было въ нашемъ кругѣ.

— Хочешь познакомиться съ К., о которомъ ты столько слышалъ? — говорить мнѣ Вадимъ.

— Непремѣнно хочу.

— Приходи завтра въ семь часовъ вечера, да не опоздай, — онъ будетъ у меня.

Я прихожу — Вадима нѣтъ дома. Высокій мущина съ выразительнымъ лицомъ и добродушно - грознымъ изглаголомъ изъ подъ очковъ, дожидается его. Я беру книгу — онъ беретъ книгу. Да вы, говоритъ онъ, раскрывая ее — вы Герценъ?

— Да, а вы К.?

Начинается разговоръ — живѣй, живѣй... Позвольте, грубо перебиваетъ меня К., позвольте, — сдѣлайте одолженіе, говорите мнѣ *ты*.

— Будемъ-те говорить *ты*.

И съ этой минуты (которая могла быть въ концѣ 1831 г.), мы были неразрывными друзьями; съ этой минуты гнѣвъ и милость, смѣхъ и крикъ К. раздаются во всѣ наши возрасты, во всѣхъ приключеніяхъ нашей жизни.

Встрѣча съ Вадимомъ ввела новый элементъ въ нашу запорожскую сѣчь.

Собирались мы, по прежнему, всего чаще у Огарева. Больной отецъ его переѣхалъ на житье въ свое пензенское имѣніе. Онъ жилъ одинъ въ нижнемъ этажѣ ихъ дома у Никитскихъ воротъ. Квартира его была недалеко отъ университета и въ нее особенно всѣхъ тянуло. Въ Огаревѣ было то магнитное притяженіе, которое образуетъ первую стрѣлку кристаллизаціи во всякой массѣ безпорядочно встрѣчающихся атомовъ, если только они имѣютъ между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незамѣтно сердцемъ организма.

Но рядомъ съ его свѣтлой, веселой комнатою, обитою красными обоями съ золотыми полосками, въ которой не проходилъ дымъ сигаръ, запахъ сженки, и другихъ..... и хотѣлъ сказать, яствъ и питій, но остановился, потому что изъ съѣстныхъ припасовъ, кромѣ сыру, рѣдко что было — и такъ, рядомъ съ ультра-студенческимъ приютомъ Огарева, гдѣ мы спорили цѣлыя ночи на пролетъ, а иногда цѣлыя ночи кутили, дѣлался у насъ больше и больше любимымъ другой домъ, въ которомъ мы чуть-ли не впервые научились уважать семейную жизнь.

Вадимъ часто оставлялъ наши бесѣды и уходилъ домой, ему было скучно, когда онъ не видалъ долго сестеръ и матерп. Намъ, жившимъ всей душою въ товариществѣ, было странно, какъ онъ могъ предпочитать свою семью — нашей.

Онъ познакомилъ насъ съ нею. Въ этой семьѣ все носило слѣды царскаго *поспщенія*, она вчера пришла изъ Сибири, она была раззорена, замучена, и вмѣстѣ съ тѣмъ полна того величія, которое кладетъ несчастье не на *каждого* страдальца, а на чело тѣхъ, которые *умѣли* вынести.

Ихъ отецъ былъ схваченъ при Павлѣ вслѣдствіе какого то политическаго доноса, брошенъ въ Шлюсельбургъ и потомъ сосланъ въ Сибирь на поселенье. Александръ возвратилъ тысячи сосланныхъ безумнымъ отцомъ его, но Пассекъ былъ *забытъ*. Онъ былъ племянникъ того Пассека, который участвовалъ въ убійствѣ Петра III, потомъ былъ генералъ - губернаторомъ въ польскихъ провинціяхъ и могъ *требовать* долю наслѣдства, уже перешедшаго въ другія руки, эти-то другія руки и задержали его въ Сибири.

Содержась въ Шлюсельбургѣ, Пассекъ женился на

дочери одного изъ офицеровъ тамошняго гарнизона. Молодая дѣвушка знала, что дѣло кончится дурно, но не остановилась уstraшенная ссылкой. Сначала они въ Сибири кой-какъ перебивались, продавая послѣднія вещи, но страшная бѣдность шла неотразимо и тѣмъ скорѣе, что семья росла числомъ. Въ нуждѣ, въ работѣ, лишенные теплой одежды, а иногда насущнаго хлѣба, они умѣли выходить, вскормить цѣлую семью львенковъ; отецъ передалъ имъ неукротимый и гордый духъ свой, вѣру въ себя, тайну великихъ несчастій, онъ воспиталъ ихъ примѣромъ; мать самоотверженіемъ и горькими слезами. Сестры не уступали братьямъ въ героической твердости. Да, чего бояться словъ — это была семья героевъ. Что они всѣ вынесли другъ для друга, что они дѣлали для семьи — невѣроятно, и все съ поднятой головой, нисколько не сломившись.

Въ Сибири у трехъ сестеръ была какъ-то одна пара башмаковъ; онѣ ее берегли для прогулки, чтобъ посторонніе не видали крайности.

Въ началѣ 1826 года, Пессеку было разрѣшено возвратиться въ Россію. Дѣло было зимой; шутка-ли податься съ такой семьей безъ шубъ, безъ денегъ, изъ тобольской губерніи, а съ другой стороны сердце рвалось, ссылка всего невыносимѣе послѣ ея окончанія. Поплелись ваши страдальцы кой-какъ; кормилица крестьянка, кормившая кого-то изъ дѣтей во время болѣзни матери, принесла свои деньги кой-какъ сколоченныя ею, имъ на дорогу, прося только, чтобъ и ее взяли; ямщики провезли ихъ до русской границы за безцѣнокъ или даромъ; часть семьи шла, другая ѣхала, молодежь смѣнялась, такъ они перешли дальній зимній путь отъ уральскаго хребта до Москвы. Москва была мечтою молодежи, ихъ надеждой — тамъ ихъ ждалъ голодъ.

Правительство, прощая Пассековъ, и не думало имъ возвратить какую-нибудь долю имѣнья. Истощенный усиліями и лишеніями старикъ слегъ въ постель; не знали, чѣмъ будутъ обѣдать завтра.

Въ это время Николай праздновалъ свою коронацію, пиры слѣдовали за пирами, Москва была похожа на тяжело убранный балъную залу, вездѣ огни, щиты, наряды... Двѣ старшихъ сестры, ни съ кѣмъ не совѣтуясь, пишутъ просьбу Николаю, рассказываютъ о положеніи семьи, просятъ пересмотрѣ дѣла и возвращеніе имѣнья. Утромъ, онѣ тайкомъ оставляютъ домъ, идутъ въ Кремль, пробиваются впередъ и ждутъ „вѣнчаннаго и превознесеннаго“ царя. Когда Николай сходилъ со ступеней краснаго крыльца, двѣ дѣвушки тихо выступили впередъ и подняли просьбу. Онъ прошелъ мимо, сдѣлавъ видъ, что не замѣчаетъ ихъ; какой-то флигель-адъютантъ взялъ бумагу, полиція повела ихъ на съѣзжую.

Николаю тогда было около тридцати лѣтъ и онъ уже былъ способенъ къ такому бездушію. Этотъ холодъ, эта выдержка принадлежать натурамъ рядовымъ, мелкимъ, кассирамъ, экзекуторамъ. Я часто замѣчалъ эту *непоколебимую* твердость характера у почтовыхъ экспедиторовъ, у продавцевъ театральныхъ мѣстъ, билетовъ на желѣзной дорогѣ, у людей, которыхъ безпрестанно тормозать и которымъ ежеминутно мѣшаютъ; они умѣютъ не видѣть человѣка, глядя на него, и не слушать его, стоя возлѣ. А этотъ самодержавный экспедиторъ съ чего выучился не смотрѣть и какая необходимость не опоздать минутой на разводъ?

Дѣвушекъ продержали въ части до вечера. Испуганныя, оскорбленныя, онѣ слезами убѣдили частнаго пристава отпустить ихъ домой, гдѣ отсутствіе ихъ должно

было переполошить всю семью. По просьбѣ ничего не было сдѣлано.

Не вынесъ больше отецъ, съ него было довольно, онъ умеръ. Остались дѣти одни съ матерью, кой-какъ перебываясь съ дня на день. Чѣмъ больше было нуждъ, тѣмъ больше работали сыновья; трое блестящимъ образомъ окончили курсъ въ университетѣ и вышли кандидатами. Старшіе уѣхали въ Петербургъ, оба отличные математикъ, они сверхъ службы (одинъ во флотѣ, другой въ инженерахъ) давали уроки и, отказывая себѣ во всемъ, посылали въ семью вырученныя деньги.

Живо помню я старушку мать въ ея темномъ капотѣ и бѣломъ чепцѣ; худое блѣдное лицо ея было покрыто морщинами, она казалась съ виду гораздо старше, чѣмъ была, одни глаза нѣсколько отстали, въ нихъ было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлыхъ слезъ. Она была влюблена въ своихъ дѣтей, она была ими богата, знатна, молода... она читала и перечитывала намъ ихъ письма, она съ такимъ свято глубокимъ чувствомъ говорила о нихъ своимъ слабымъ голосомъ, который иногда измѣнялся и дрожалъ отъ удержанныхъ слезъ.

Когда они все бывали въ сборѣ въ Москвѣ и садились за свой простой обѣдъ, старушка была виѣ себя отъ радости, ходила около стола, хлопотала и, вдругъ останавливаясь, смотрѣла на свою молодежь съ такою гордостью, съ такимъ счастьемъ и потомъ поднимала на меня глаза, какъ будто спрашивая: „не правда-ли какъ они хороши?“ — Какъ въ эти минуты мнѣ хотѣлось броситься ей на шею, поцаловать ея руку. И къ тому же они дѣйствительно все были даже паружно очень красивы.

Она была счастлива тогда... Зачѣмъ она не умерла за однимъ изъ этихъ обѣдовъ?

Въ два года она лишилась трехъ старшихъ сыновей. Одинъ умеръ блестяще, окруженный признаніемъ враговъ, середѣ успѣховъ, славы, хотя и не за свое дѣло сложилъ голову. Это былъ молодой генералъ, убитый Черкесами подъ Дарго. Лавры не лечатъ сердца матери... Другимъ даже не удалось хорошо погибнуть; тяжелая русская жизнь давила ихъ, давила — пока продавила грудь.

Бѣдная мать! И бѣдная Россія!

Вадимъ умеръ въ февралѣ 1843 г., и былъ при его кончинѣ и тутъ въ первый разъ видѣлъ смерть близкаго человѣка и притомъ во всемъ не смягченномъ ужасѣ ея, во всей бессмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости.

Десять лѣтъ передъ своей смертью, Вадимъ женился на моей кузинѣ и я былъ шаферомъ на свадьбѣ. Семейная жизнь и перемѣна быта развели насъ нѣсколько. Онъ былъ счастливъ въ своемъ *a parte*, но внѣшняя сторона жизни не давалась ему, его предпріятія не шли. Не за долго до нашего ареста онъ поѣхалъ въ Харьковъ, гдѣ ему была обѣщана каеэдра въ университетѣ. Его поѣздка хотя и спасла его отъ тюрьмы, но имя его не ускользнуло отъ полицейскихъ ушей. Вадиму отказали въ мѣстѣ. Товарищъ попечителя признался ему что они получили бумагу, въ силу которой, имъ не велѣно ему давать каеэдры, за извѣстные правительству связи его съ *злоумышленными людьми*.

Вадимъ остался безъ мѣста, т. е. безъ хлѣба — вотъ его Вятка.

Насъ сослали. Сношенія съ нами были опасны. Черные годы нужды наступили для него, въ семилѣтней

борьбѣ съ добываніемъ скудныхъ средствъ, въ оскорбительныхъ столкновеніяхъ съ людьми грубыми и черствыми, вдали отъ друзей, безъ возможности перекликнуться съ ними; здоровые мышцы его износились.

— Разъ,—сказывала мнѣ его жена потомъ—у насъ вышли всѣ деньги до послѣдней копѣйки; на канунѣ я старалась достать гдѣ-нибудь рублей десять, нигдѣ не нашла, у кого можно было занять нѣсколько, я уже запыла. Въ лавочкахъ отказались давать припасы иначе, какъ на чистыя деньги; мы думали объ одномъ—что же завтра будутъ ѣсть дѣти? Печально сидѣлъ Вадимъ у окна, потомъ всталъ, взять шляпу и сказалъ, что хочетъ пройтись. Я видѣла, что ему очень тяжело, мнѣ было страшно, но все-же я радовалась, что онъ нѣсколько разсѣется. Когда онъ ушелъ, я бросилась на постель, и горько, горько плакала, потомъ стала думать что дѣлать— всѣ сколько-нибудь цѣнныя вещи—кольцы, ложки давно были заложены; я видѣла одинъ выходъ, приходилось идти къ *нашимъ*, и просить ихъ тяжелой, холодной помощи. Между тѣмъ Вадимъ бродилъ безъ опредѣленной цѣли по улицамъ и такъ дошелъ до Петровскаго бульвара. Проходи мимо лавки Шириева, ему пришло въ голову спросить, не продаты ли онъ хоть одинъ экземпляръ его книги; онъ былъ дней пять передъ тѣмъ, но ничего не нашелъ; со страхомъ взшелъ онъ въ его лавку. „Очень радъ васъ видѣть, сказалъ ему Шириевъ, отъ Петербургскаго корреспондента письмо, онъ продалъ на 300 рублей вашихъ книгъ, желаете получить?“ — И Шириевъ отсчиталъ ему пятнадцать золотыхъ. Вадимъ потерялъ голову отъ радости, бросился въ первый трактиръ за съѣстными припасами, купилъ бутылку вина, фруктъ и торжественно прискакалъ на извозикѣ домой. Я въ это

время разбавила водой остатокъ бульона для дѣтей, и думала удѣлить ему немного, увѣривши его что я уже ѣла, какъ вдругъ онъ входитъ съ кулькомъ и бутылкой, веселый и радостный какъ бывало.

И она рыдала и не могла выговорить ни слова...

Послѣ ссылки я его мелькомъ встрѣтилъ въ Петербургѣ и нашелъ его очень измѣнившимся. Убѣжденія свои онъ сохранилъ, но онъ ихъ сохранилъ, какъ воинъ не выпускаетъ меча изъ руки, чувствуя что самъ раненъ на вылетъ. Онъ былъ задумчивъ, изнуренъ и сухо смотрѣлъ впередъ. Такимъ я его засталъ въ Москвѣ въ 1842 году, обстоятельства его нѣсколько поправились, труды его были оцѣнены, но все это пришло поздно — это эпюлеты Полежаева, это прощенье Кольрейфа — сдѣланное не русскимъ царемъ, а русской жизнію.

Вадимъ тайлъ, туберкулезная чахотка открылась осенью 1842 года, страшная болѣзнь, которую мнѣ привелось еще разъ видѣть.

За мѣсяць до его смерти я съ ужасомъ сталъ примѣчать, что умственные способности его тухнуть, слабѣютъ, точно догорающіе свѣчи, въ комнатѣ становилось тѣмнѣе, смутнѣе. Онъ вскорѣ сталъ съ трудомъ и усиліемъ пріискивать слово для нескладной рѣчи, останавливался на вѣшнихъ созвучіяхъ, потомъ онъ почти и не говорилъ, а только заботливо спрашивалъ свои лекарства и не пора-ли принять.

Одной февральской ночью часа въ три, жена Вадима прислала за мной; больному было тяжело, онъ спрашивалъ меня, я подошелъ къ нему и тихо взялъ его за руку, его жена назвала меня, онъ посмотрѣлъ долго, устало, не узналъ и закрылъ глаза. Привели дѣтей, онъ посмотрѣлъ на нихъ, но тоже кажется не узналъ. Стоялъ

его становился тѣжелѣе, онъ утихалъ минутами и вдругъ продолжительно вздыхалъ съ крикомъ; тутъ въ ближней церкви ударили въ колоколъ; Вадимъ прислушался и сказалъ „Это заутреня.“ Большие онъ не произнесъ ни одного слова... Жена рыдала на колѣняхъ у кровати возлѣ покойника; добрый, милый молодой человѣкъ изъ университетскихъ товарищей, ходившій послѣднее время за нимъ, суетился, отодвигалъ столъ съ лекарствами, поднималъ шторы... я вышелъ вонъ, на дворѣ было морозно и свѣтло, восходящее солнце ярко свѣтило на снѣгъ, точно будто сдѣлалось что-нибудь хорошее; я отправился заказывать гробъ.

Когда я возвратился, въ маленькомъ домѣ царила мертвая тишина, покойникъ по русскому обычаю лежалъ на столѣ въ залѣ, поодаль сидѣлъ живописецъ Рабусъ, его пріятель и карандашомъ сквозь слезы снималъ его портретъ; возлѣ покойника, молча, сложа руки, съ выраженіемъ безконечной грусти стояла высокая женская фигура; ни одинъ артистъ не сумѣлъ бы изваять такую благородную и глубокую „Скорбь.“ Женщина эта была не молодая, но слѣды строгой, величавой красоты остались; завернутая въ длинную черную бархатную мантилью на горнастаевомъ мѣху, она стояла неподвижно.

Я остановился въ дверяхъ.

Прошли двѣ-три минуты, таже тишина, но вдругъ она поклонилась, крѣпко поцаловала покойника въ лобъ и сказавъ „Прощай! прощай другъ Вадимъ,“ твердыми шагами пошла во внутреннія комнаты, Рабусъ все рисовалъ, онъ кивнулъ мнѣ головой, говорить намъ не хотѣлось, я молча сѣлъ у окна.

Женщина эта была сестра графа Захара Чернышева, сосланнаго за 14 Декабря, Е. Черткова.

Симоновскій архимандритъ Мелхиседекъ самъ предложилъ мѣсто въ своемъ монастырѣ. Мелхиседекъ былъ нѣкогда простой плотникъ и отчаянный раскольникъ, потомъ обратился къ православію, пошелъ въ монахи, сдѣлался игуменомъ и наконецъ архимандритомъ. При этомъ онъ остался плотникомъ, т. е. не потерялъ ни сердца, ни широкихъ плечъ, ни краснаго, здороваго лица. Онъ зналъ Вадима и уважалъ его за его историческія изысканія о Москвѣ.

Когда тѣло покойника явилось передъ монастырскими воротами, онѣ отворились и вышелъ Мелхиседекъ со всѣми монахами встрѣтить тихимъ, грустнымъ пѣніемъ бѣдный гробъ страдальца и проводить до могилы. Недалеко отъ могилы Вадима покоится другой прахъ дорогой памъ, прахъ Веневитинова съ надписью: „Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!“ Много зналъ и Вадимъ жизнь!

Судьбѣ и этого было мало. Зачѣмъ въ самомъ дѣлѣ такъ долго зажила старушка мать? Видѣла конецъ ссылки, видѣла своихъ дѣтей во всей красотѣ юности, во всемъ блескѣ таланта, чего было жить еще! Кто дорожить счастіемъ, тотъ долженъ искать ранней смерти. Хроническаго счастья также нѣтъ, какъ петающаго льда.

Старшій братъ Вадима умеръ, нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ того, какъ Діомидъ былъ убитъ, онъ простудился, запустилъ болѣзнь, подточенный организмъ не вынесъ. Врядъ было-ли ему сорокъ лѣтъ, а онъ былъ старшій.

Эти три гроба, трехъ друзей, отбрасываютъ назадъ длинныя, черныя тѣни; послѣдніе мѣсяцы юности видѣются сквозь погребальный крѣпъ и дымъ кадила...

Прошло съ годъ, дѣло взятыхъ товарищей оконча-

лось. Ихъ обвинили (какъ въ послѣдствіи насъ, потомъ Петрашевцевъ) въ *намѣреніи* составить тайное общество, въ преступныхъ разговорахъ; за это ихъ отправляли въ солдаты, въ Оренбургъ. Одного изъ подсудимыхъ Николай отличилъ—*Сунгурова*. Онъ уже кончилъ курсъ и былъ на службѣ, женатъ и имѣлъ дѣтей; его приговорили къ лишенію правъ состоянія и ссылки въ Сибирь.

„Что могли сдѣлать нѣсколько молодыхъ студентовъ? Напрасно они погубили себя!“ Все это основательно, и люди разсуждающіе такимъ образомъ должны быть довольны *благоразуміемъ* русскаго юношества, слѣдовавшаго за нами. Послѣ нашей исторіи, шедшей вслѣдъ за Сунгуровской, и до исторіи Петрашевскаго, прошло спокойно *пятнадцать лѣтъ*, именно тѣ пятнадцать, отъ которыхъ едва начинается оправляться Россія и отъ которыхъ сломились два поколѣнія: старое, потерявшееся въ буйствѣ, и молодое, отравленное съ дѣтства, котораго квелихъ представителей мы теперь видимъ.

Послѣ Декабристовъ, всѣ попытки основывать общества не удавались дѣйствительно; бѣдность силъ, неясность цѣлей, указывали на необходимость другой работы, — предварительной, внутренней. Все это такъ.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы, въ ожиданіи теоретическихъ рѣшеній, спокойно смотрѣть на то, что дѣлалось вокругъ, на сотни поляковъ, гремѣвшихъ цѣнями по владимірской дорогѣ, на крѣпостное состояніе, на солдатъ, засѣкаемыхъ на ходынскомъ полѣ какимъ нибудь генераломъ Лашкевичемъ, на студентовъ-товарищей пропадавшихъ безъ вѣсти. Въ нравственную очистку поколѣнія, въ залогъ будущаго, они должны были негодовать до безумныхъ опытовъ, до презрѣнія опасности. Свирѣпныя наказанія

мальчиковъ 16, 17 лѣтъ служили грознымъ урокомъ и своего рода закаломъ; занесенная надъ каждымъ звѣриная лапа, шедшая отъ груди лишенной сердца, впередъ отводила розовыя надежды на снисхожденіе къ молодости. Шутить либерализмомъ было опасно, играть въ заговоры не могло придти въ голову. За одну дурно скрытую слезу о Польшѣ, за одно смѣло сказанное слово — годы ссылки, бѣлаго ремня, а иногда и казематъ; потому-то и важно, что слова эти говорились, и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной разъ; но они гибли не только не мѣшая работѣ мысли, разъяснявшей себѣ сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ея упованія.

Чередъ былъ теперь за нами. Имена наши уже были занесены въ списки тайной полиціи. Первая игра голубой кошки съ мышью началась такъ.

Когда приговоренныхъ молодыхъ людей отправляли по этапамъ, пѣшкомъ, безъ достаточно теплой одежды, въ Оренбургъ, Огаревъ въ нашемъ кругу, и И. Киреевскій, въ своемъ, сдѣлали подписки. Всѣ приговоренные были безъ денегъ. Киреевскій привезъ собранныя деньги коменданту Стаалу, добрѣйшему старику, о которомъ намъ придется еще говорить. Стааль общался деньгами отдать и спросилъ Киреевскаго: А это что за бумаги?

— Имена подписавшихся, сказалъ Киреевскій, и счетъ.

— Вы верите, что я деньги отдамъ, спросилъ старикъ.

— Объ этомъ нечего говорить.

— А я думаю, что тѣ, которые вамъ ихъ вручили, вѣрятъ вамъ. А потому на чтожъ намъ *беречь ихъ имена*.

Съ этими словами, Стааль списокъ бросилъ въ огонь, и само собою разумѣется поступилъ превосходно.

Огаревъ самъ свезъ деньги въ казармы, и это сошло съ рукъ. Но молодые люди вздумали поблагодарить изъ Оренбурга товарищей и пользуясь случаемъ, что какой то чиновникъ ѣхалъ въ Москву, попросили его взять письмо, котораго довѣрить почтѣ боялись. Чиновникъ не преминулъ воспользоваться такимъ рѣдкимъ случаемъ для засвидѣтельствованія всей ярости своихъ вѣрноподданныхъ чувствъ и представилъ письмо жандармскому окружному генералу въ Москвѣ.

Тогда на мѣстѣ А. А. Волкова, сошедшаго съ ума на томъ, что поляки хотятъ ему поднести польскую корону, (что за иронія свести съ ума жандармскаго генерала на коронѣ Ягелоновъ!) былъ Лисовскій. Лисовскій, самъ полякъ, былъ не злой и не дурной человѣкъ: разстроивъ свое имѣнье игрой и какой-то французской актрисой, онъ философски предпочелъ мѣсто жандармскаго генерала въ Москвѣ — мѣсту въ ямѣ того-же города.

Лисовскій призвалъ Огарева. К, С Вадима, И. Оболенскаго и проч., и обвинилъ ихъ за сношенія съ государственными преступниками. На замѣчаніе Огарева, что онъ ни къ кому не писалъ, а что если кто къ нему писалъ, то за это онъ отвѣчать не можетъ, къ тому-же до него никакого письма и не доходило, Лисовскій отвѣчалъ:

— Вы дѣлали для нихъ подписку, *это еще хуже*. На первый разъ государь *такъ милосердъ, что онъ васъ прощаетъ*, только господа предупреждаю васъ за вами будетъ строгій надзоръ, будьте осторожны.

Лисовскій осмотрѣлъ всѣхъ значительнымъ взглядомъ и остановившись на К....., который былъ всѣхъ выше,

постарше и такъ грозно поднималъ брови, прибавилъ: „вамъ-то милостивый государь, въ *вашемъ званіи* какъ не стыдно.“ Можно было думать, что К..... былъ тогда вице-канцлеромъ россійскихъ орденовъ, а онъ занимать только должность уѣзднаго лекаря.

Я не былъ призванъ, вѣроятно моего имени въ письмѣ не было.

Угроза эта была чиномъ, посвященіемъ, мощными шпорами. Совѣтъ Лисовскаго попалъ масломъ въ огонь и мы, какъ-бы облегчая будущій надзоръ полиціи, надѣли на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакіе *трехцвѣтные шарфы!*

Полковникъ Шубинскій, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшійся на мѣсто Лисовскаго, цѣпко ухватился за его слабость съ нами, мы должны были послужить одной изъ ступенекъ его повышенія по службѣ — и послужили.

Но прежде прибавлю нѣсколько словъ о судьбѣ Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфа Николай возвратилъ черезъ *десять лѣтъ* изъ Оренбурга, гдѣ стоялъ его полкъ. Онъ его простилъ за чахотку, такъ какъ за чахотку произвелъ Полежаева въ офицеры, а Бестужеву далъ крестъ за *смерть*. Кольрейфъ возвратился въ Москву и потухъ на старыхъ рукахъ убитого горемъ отца.

Костенецкій отличился рядовымъ на Кавказѣ и былъ произведенъ въ офицеры. *Антоновичъ* тоже.

Судьба несчастнаго Сунгурова несравненно страшнѣе. Пришедши въ первый этапъ на Воробьевыхъ горахъ, Сунгуровъ попросилъ у офицера позволеніе выйти на воздухъ изъ душной избы, биткомъ набитой ссыльными. Офицеръ, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, вышелъ самъ съ нимъ на дорогу. Сунгуровъ, избравъ

удобную минуту, свернулъ съ дороги и исчезъ. Вѣроятно онъ очень хорошо зналъ мѣстность, ему удалось уйти отъ офицера, но на другой день жандармы попали на его слѣдъ. Когда Сунгуровъ увидѣлъ, что ему нельзя спастись, онъ перерѣзалъ себѣ горло. Жандармы привезли его въ Москву безъ памяти и исходящаго кровью.

Несчастный офицеръ былъ разжалованъ въ солдаты.

Сунгуровъ не умеръ. Его снова судили, но уже не какъ политическаго преступника, а какъ бѣглаго поселщика: ему обрили пол-головы. Мѣра оригинальная и вѣроятно унаслѣдованная отъ татаръ, употребляемая въ *предупрежденіе* побѣговъ и показывающая, больше тѣлесныхъ наказаній, всю мѣру презрѣнія къ человѣческому достоинству со стороны русскаго законодательства. Къ этому внѣшнему сраму сентенція прибавила *одинъ* ударъ плетью въ стѣнахъ острога. Было-ли это исполнено, не знаю. Послѣ этого Сунгуровъ былъ отправленъ въ Нерчинскъ въ рудники.

Имя его еще разъ прозвучало для меня, и потомъ совсѣмъ исчезло.

Въ Вяткѣ встрѣтилъ я разъ на улицѣ молодаго лекаря, товарища по университету, ѣхавшаго куда-то на заводы. Мы разговорились о былыхъ временахъ, объ общихъ знакомыхъ.

— Боже мой, сказалъ лекарь, знаете-ли кого я видѣлъ, ѣхавши сюда? Въ нижегородской губерніи сѣжу я на почтовой станціи и жду лошадей. Погода была прескверная. Возшелъ этапный офицеръ, приведшій партію арестантовъ, пообогрѣться. Мы съ нимъ разговорились; услышавъ, что я лекарь, онъ попросилъ меня дойти до этапа взглянуть на одного больного изъ пересыльныхъ, притворяется что-ли онъ или вправду

крѣпко болѣнъ. Я пошелъ, разумѣется, съ намѣреніемъ во всякомъ случаѣ подтвердить болѣзнь колодника. Въ небольшомъ этапѣ было человѣкъ восемьдесятъ народу въ цѣпяхъ, бритыхъ и небритыхъ, женщинъ, дѣтей; всѣ они разступились передъ офицеромъ, и мы увидѣли на грязномъ полу, въ углу на соломѣ, какую-то фигуру, завернутую въ кафтанъ ссыльнаго.

— Вотъ больной, сказалъ офицеръ. Лгать мнѣ не пришлось: несчастный былъ въ сильнѣйшей горячкѣ; исхудалый и изнеможенный отъ тюрьмы и дороги, полуобритый и съ бородой, онъ былъ страшенъ, безсмысленно водилъ глазами и безпрестанно просилъ пить.

— Что братъ плохо? сказалъ я больному, и прибавилъ офицеру, идти ему невозможно.

Больной уставилъ на меня глаза, и пробормоталъ — Это вы? онъ назвалъ меня. — Вы меня не узнаете, прибавилъ онъ голосомъ, который ножомъ провелъ по сердцу.

— Извините меня, сказалъ я ему, взявъ его сухую и каленую руку, не могу припомнить.

— Я Сунгуровъ, отвѣчалъ онъ. — Бѣдный Сунгуровъ! повторилъ лекарь, качая головой.

— Что же его оставили? спросилъ я.

— Нѣтъ, однако дали телѣгу.

Послѣ того какъ я писалъ это, я узналъ, что Сунгуровъ умеръ въ *Нерчинскѣ*. Имѣнье его, состоявшее изъ 250 душъ въ бронницкомъ уѣздѣ подъ Москвой, и въ арзамаскомъ нижегородской губерніи въ 400 душъ, *пошло на уплату за содержаніе его и его товарищей въ тюрьмѣ въ продолженіи слѣдствія*. Семью его раззорили; впрочемъ сперва позаботились и о томъ, чтобъ ее уменьшить, жена Сунгурова была схвачена съ двумя дѣтьми, и *мѣсяцевъ шесть прожила въ пречистенской части,*

грудной ребенокъ тамъ и умеръ. Да будетъ проклято царствование Николая во вѣки вѣковъ, Аминь!

ГЛАВА VII.

Конецъ курса — Шиллеровскій періодъ — Молодая юность и артистическая жизнь — С. Симонизмъ и Н. Полевой.

Пока еще не разразилась надъ нами гроза, мой курсъ пришелъ къ концу. Обыкновенные хлопоты, неспяные ночи для бесполезныхъ мнемоническихъ пытокъ, поверхностное ученіе на скорую руку, и мысль объ экзаменѣ, побуждающая научный интересъ, все это какъ всегда. Я писалъ *астрономическую* диссертацию на золотую медаль, и получилъ серебряную. Я увѣренъ, что я теперь не въ состояніи былъ бы понять того, что тогда писалъ, и что стоило вѣсь — *серебра*.

Мнѣ случалось иной разъ видѣть во снѣ, что я студентъ и иду на экзаменъ, — я съ ужасомъ думалъ, сколько я забылъ, сръжешься да и только, — и я просыпался, радуясь отъ души, что море и паспорта, годы и вины отдѣляютъ меня отъ университета, никто меня не будетъ испытывать, и не осмѣлится поставить отвратительную единицу. А въ самомъ дѣлѣ, профессора удивились бы, что я въ столько лѣтъ, такъ много пошелъ назадъ. Разъ это со мной уже и случилось.*)

*) Въ 1844 г., встрѣтился я съ Перевощиковымъ у Щепкина и сидѣлъ возле него за обѣдомъ. Подъ конецъ онъ не выдержалъ и сказалъ: „Жаль-съ, очень жаль-съ, что обстоятельства-съ помѣшали-

Послѣ окончательнаго экзамена, профессора заперлись для счета баловъ, а мы, волнуемые надеждами и сомнѣніями, бродили маленькими кучками по коридору и по сѣнямъ. Иногда кто-нибудь выходилъ изъ совѣта, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было рѣшено; наконецъ вышелъ Гейманъ. Поздравляю васъ, сказалъ онъ мнѣ — вы кандидатъ. — Кто еще, кто еще? — Такой-то и такой-то. Мнѣ разомъ сдѣлалось грустно и весело; выходя изъ-за университетскихъ воротъ я чувствовалъ, что не такъ выхожу какъ вчера, какъ всякой день; я отчуждался отъ университета, отъ этого общаго родительскаго дома, въ которомъ провелъ такъ юно-хорошо четыре года; а съ другой стороны меня тѣшило чувство признаннаго совершеннѣйшаго и отчего-же не признаться, и названіе кандидата полученное сразу.*

съ заниматься дѣломъ-съ, у васъ прекрасные-съ были-съ способности-съ.“

— Да вѣдь, не всѣмъ же, говорилъ я ему, за вами на небо лѣзть. Мы здѣсь займемся, на землѣ, кой-чѣмъ.

— Помилуйте-съ, какъ-же-съ, это-съ-можно-съ, какое занятіе-съ, Гегелева-съ философія-съ, ваши статьи-съ читалъ-съ, понимать-съ нельзя-съ, птичій языкъ-съ. Какое-съ это дѣло-съ. Нѣтъ-съ!

Я долго смѣялся надъ этимъ приговоромъ, т. е. долго не понималъ, что языкъ-то у насъ тогда дѣйствительно былъ скверный, и если птичій, то навѣрно — птицы состоящей при минервѣ.

*) Въ бумагахъ присланныхъ мнѣ изъ Москвы, я нашелъ записку, которой я извѣщалъ *кузину*, бывшую тогда въ деревнѣ съ княгиней, объ окончаніи курса. „Экзаменъ кончился, и я кандидатъ! Вы не можете себѣ представить сладкое чувство воли послѣ четырехлѣтнихъ занятій. Вспомнили ли вы обо мнѣ въ четвергъ? День былъ душный и пытка продолжалась отъ 9 утра до 9 вечера.“ (26 Іюня 1833). Мнѣ кажется, часа два прибавлено для эффекта или для скругления. Но при всемъ удовольствіи самолюбіе было задѣто тѣмъ, что золотая медаль досталась другому, Александру Драбусову. Во второмъ письмѣ отъ 6 Іюля сказано: „Сегодня актъ, но я не былъ, я не хотѣлъ быть *вторымъ* при полученіи медали.“

Alma Mater! Я такъ много обязанъ университету и такъ долго послѣ курса жилъ его жизнію, съ нимъ, что не могу вспоминать о немъ безъ любви и уваженія. Въ неблагодарности онъ меня не обвинить, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ университету легка благодарность, она нераздѣльна съ любовью, съ свѣтлымъ воспоминаніемъ молодаго развитія..... и я благославляю его изъ дальней чужбины!

Годъ проведенный нами послѣ курса торжественно заключилъ первую юность. Это былъ продолжающійся пиръ дружбы, обмѣна идей, вдохновенья, разгула...

Небольшая кучка университетскихъ друзей, пережившая курсъ, не разошлась и жила еще общими симпатіями и фантазіями, никто не думалъ о матеріальномъ положеніи, объ устройствѣ будущаго. Я не похвалилъ бы этого въ людяхъ совершеннѣйшихъ, но дорого цѣню въ юношахъ. Юность, гдѣ только она не изсыкла отъ нравственнаго растлѣнія мѣщанствомъ, вездѣ не практична, тѣмъ больше она должна быть такою въ странѣ молодой, имѣющей много стремленій и мало достигнутаго. Сверхъ того быть непрактическимъ далеко не значить быть во лжи, все обращенное къ будущему имѣетъ непремѣнно долю идеализма. Безъ непрактическихъ натуръ всѣ практики остановились бы на скучно повторяющемся одномъ и томъ-же.

Иная восторженность, лучше всякихъ правоученій, хранить отъ истинныхъ паденій. Я помню юношескія оргіи, разгульныя минуты, хватавшія иногда черезъ край, я не помню ни одной безнравственной исторіи въ нашемъ кругу, ничего такого, отъ чего человѣкъ серьезно долженъ былъ краснѣть, что старался бы забыть, скрыть. Все дѣлалось открыто, открыто рѣдко дѣлается дурное. Половина, больше половины сердца,

была не туда направлена, гдѣ праздная 'страстность и болѣзненный эгоизмъ сосредоточиваются на нечистыхъ помыслахъ и троить пороки.

Я считаю большимъ несчастіемъ [положеніе] народа, котораго молодое поколѣніе не имѣетъ юности, мы уже замѣтили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый періодъ нѣмедкаго студентства во сто разъ лучше мѣщанскаго совершеннолѣтія молодежи во Франціи и Англіи; для меня американскіе *пожилые* люди лѣтъ въ пятнадцать отроду — просто противны.

Во Франціи нѣкогда была блестящая аристократическая юность, потомъ революціонная. Всѣ эти С. Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героическія дѣти, выросшій на мрачной поэзіи Жан-Жака, были настоящіе юноши. Революція была сдѣлана молодыми людьми; ни Дантонъ, ни Робеспьеръ, ни самъ Людовикъ XVI не пережили своихъ тридцати пяти лѣтъ. Съ Наполеономъ изъ юношей дѣлаются ординарцы, съ реставраціей, „съ воскресеніемъ старости,“ — юность вовсе несомѣстна, — все становится совершеннолѣтнимъ, дѣловымъ, т. е. мѣщанскимъ.

Послѣдніе юноши Франціи были Сен-Симонисты и Фаланга. Нѣсколько исключеній не могутъ измѣнить прозаически-плоской характеръ французской молодежи. Деку и Лебра застрѣлились оттого, что они были юны въ обществѣ стариковъ. Другіе бились какъ рыба выкинутая изъ воды на грязномъ берегу, пока одни не попались на барикаду, другіе на іезуитскую уду.

Но такъ какъ возрастъ беретъ свое, то большая часть французской молодежи отбываетъ юность *артистическимъ* періодомъ, т. е. живетъ, если нѣтъ денегъ, въ маленькихъ кафе, съ маленькими гризетками въ *quartier Latin*, и въ большихъ кафе съ большими лоретками,

если есть деньги. Въмѣсто шиллеровскаго періода, это періодъ Поль-де-Коковскій; въ немъ наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергія, все молодое и чело-вѣкъ готовъ — въ *comptis* торговыхъ домовъ. Арти-стическій періодъ оставляетъ на днѣ души одну страсть — жажду денегъ и ей жертвуется вся будущая жизнь, другихъ интересовъ нѣтъ; практическіе люди эти смѣ-ются надъ общими вопросами, презираютъ женщинъ (слѣдствіе многочисленныхъ побѣдъ надъ *побѣжденными* по ремеслу). Обыкновенно артистическій періодъ дѣла-ется подъ руководствомъ какого нибудь истасканнаго грѣшника, изъ увядшихъ знаменитостей, *d'un vieux prostitué*, живущаго на чужой счетъ, какого нибудь актера, потерявшаго голосъ, живописца, у котораго трясутся руки, ему подражаютъ въ произношеніи, въ питьѣ, а главное въ гордомъ взглядѣ на людскія дѣла и въ основательномъ знаніи блудъ.

Въ Англіи артистическій періодъ замѣненъ пароксиз-момъ милыхъ оригинальностей и эксцентрическихъ лю-безностей, т. е. безумныхъ продѣлокъ, нелѣпныхъ тратъ, тяжелыхъ шалостей, увѣсистаго, но тщательно скрyta-го разврата, бесплодныхъ поѣздокъ въ Калабрію или Квито, на Югъ, на Сѣверъ — по дорогѣ лошади, со-баки, скачки, глупые обѣды, а тутъ и жена съ неимо-вѣрнымъ количествомъ румяныхъ и дебѣлыхъ *babu*, обороты, *Times*, Парламентъ, и придавливающей къ землѣ Ольдъ-Портъ.

Дѣлали шалости и мы, пировали и мы, но основной тонъ былъ не тотъ, діапазонъ былъ слишкомъ поднятъ. Шалость, разгулъ не становились цѣлью. Цѣль была вѣра въ призваніе; положимте, что мы ошибались, но фактически вѣру, мы уважали въ себѣ и другъ въ другѣ орудіа общаго дѣла.

И въ чемъ-же состояли наши пиры и оргіи. Вдругъ приходитъ въ голову, что черезъ два дня 6 Декабря, Николинъ день. Обиліе Николаевъ страшное: Николай Огаревъ, Николай С., Николай К., Николай Сазоновъ... „Господа, кто празднуетъ именины?“ — Я! Я! — А я на другой день.—Это все вздоръ, что такое на другой день. Общій праздникъ, складку! За то каковъ будетъ и пиръ!

— Да, да, у кого же собираться.

— С. боленъ, ясно что у него.

И вотъ дѣлаются смѣты, проекты, это занимаетъ невѣроятно будущихъ гостей и хозяевъ. Одинъ Николай ѣдетъ къ Яру заказывать ужинъ, другой къ Матерну за сыромъ и салами. Вино разумѣется берется на Петровкѣ у Дебре, на книжкѣ котораго Огаревъ написалъ эпитафій :

De pres ou de loin,
Mais le fourni toujours,

Нашъ неопытный вкусъ, еще далѣе шампанскаго не шелъ, и былъ до того молодъ, что мы какъ-то измѣнили и шампанскому въ пользу Rivesaltes mousseux. Въ Парижѣ я на картѣ у ресторана увидѣлъ это пмя, вспомнилъ 1833 годъ и потребовалъ бутылку. Но увь, даже воспоминанія не помогли мнѣ выпить больше одного бокала.

До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать нарочнаго, потому что пробы явнымъ образомъ нравятся.

При этомъ не могу не разсказать, что случилось съ Соколовскимъ. Онъ былъ постоянно безъ денегъ, и тотчасъ тратилъ все, что получалъ. За годъ до его ареста онъ пріѣзжалъ въ Москву и остановился у С. Онъ какъ-то удачно продалъ помнится рукопись „Хевери.“

и потому рѣшился дать праздникъ, не только намъ, но и pour les gros bonnets, т. е. позовалъ Полеваго, Максимовича и пр. Наканунѣ онъ съ утра поѣхалъ, съ Полежаевымъ, который тогда былъ съ своимъ полкомъ въ Москвѣ — дѣлать покупки, накупилъ чашекъ и даже самоваръ, разныхъ ненужныхъ вещей, и наконецъ вина и съѣстныхъ припасовъ, т. е. пастетовъ, фаршированныхъ видѣекъ и пр. Вечеромъ мы пришли къ С. . . . Соколовскій предложилъ откупорить одну бутылку, за тѣмъ другую, насъ было человекъ пять, къ концу вечера, т. е. къ началу утра слѣдующаго дня, оказалось, что ни вина большо иѣтъ, ни денегъ у Соколовскаго. Онъ купилъ на все, что оставалось отъ уплаты маленькихъ долговъ.

Огорчился было Соколовскій, но, скрѣпивъ сердце, подумалъ, подумалъ, и написалъ ко всѣмъ gros bonnets, что онъ страшно занемогъ и праздникъ откладываетъ.

Для пира *четырехъ имянинъ*, я писалъ цѣлую программу, которая удостоилась особеннаго вниманія инквизитора Голицына, спрашивавшаго меня въ комиссіи, точно ли программа была исполнена.

— A la lettre, отвѣчалъ я ему. Онъ пожалъ плечами, какъ будто онъ всю жизнь провелъ въ смольномъ монастырѣ или въ великой пятницѣ.

Послѣ ужина, возникалъ обыкновенно *капитальный* вопросъ, вопросъ возбуждавшій пренія, а именно „какъ варить жженку?“ Остальное обыкновенно ѣлось и пилось, какъ вотируютъ по довѣрію въ парламентахъ, безъ спору. Но тутъ каждый участвовалъ и притомъ съ высоты ужина. „Зажигать — не зажигать еще, — какъ зажигать? тушить шампанскимъ или сотерномъ? — класть фрукты и ананасъ пока еще горятъ, — или послѣ?“

— Очевидно пока горить, тогда то весь аромъ перейдетъ въ пуншъ.

— Помилуй, ананасы плаваютъ, стороны ихъ подожгутся, это просто бѣда.

— Все это вздоръ, кричить К..... всѣхъ громче, а вотъ что не вздоръ, свѣчи надобно потушить.

— Свѣчи потушены, лица у всѣхъ посинѣли и черты колеблются съ движеніемъ огня. А между тѣмъ въ небольшой комнатѣ температура отъ горящаго рома становится тропическая. Всѣмъ хочется пить, жженка не готова. Но Joseph, французъ присланный отъ Яра готовъ, онъ приготовляетъ какой-то антитезисъ жженки, напитокъ со льдомъ изъ разныхъ винъ, à la base de cognac; неподдѣльный сынъ „великаго народа,“ онъ, наливая французское вино, объясняетъ намъ, что оно потому такъ хорошо, что два раза проѣхало экваторъ.— *Oui, oui, messieurs, deux fois l'equateur, messieurs!*

Когда замѣчательный своей полярной стужей напитокъ оконченъ, и вообще пить больше не надобно, К..... кричить, мѣшая огненное озеро въ суповой чашкѣ, причемъ послѣдніе куски сахара таютъ съ шипѣніемъ и плачемъ: Пора тушить! — пора тушить!

Огонь краснѣетъ отъ шампанскаго, бѣгаетъ по поверхности пунша съ какой-то тоской и дурнымъ предчувствіемъ.

А тутъ отчаянный голосъ. — Да помилуй братецъ, ты съ ума сходишь, развѣ не видишь, смола топится прямо въ пуншъ.

— А ты самъ поддержи бутылку въ такомъ жару, чтобъ смола не топилась.

— Ну такъ ее прежде обить, продолжаетъ огорченный голосъ.

— Чашки, чашки, довольно ли у васъ ихъ, сколь-

ко, насъ — девять, десять, четырнадцать, — такъ, такъ.

— Гдѣ найти четырнадцать чашекъ.

— Ну кому чашекъ не достало въ стаканъ.

— Стаканы лопнуть.

— Никогда, никогда, стоитъ только ложечку положить, Свѣчи поданы, послѣдній зайчикъ огня выбѣжалъ на середину, сдѣлалъ пируэтъ и нѣтъ его.

— Жженка удалась!

— Удалась, очень удалась! — говорятъ со всѣхъ сторонъ.

На другой день болить голова, тошно. Это очевидно отъ жженки, — смѣсь! И тутъ искренное рѣшеніе впредь жженки никогда не пить, это отрава.

Входитъ Петръ Ѳедоровичъ. — А вы-съ сегодня пришли не въ своей шляпѣ, наша шляпа будетъ лучше.

— Чертъ съ ней совсѣмъ.

— Не прикажете ли сбѣгать къ Николай Михайловичу Кузьмѣ?

— Что ты воображаешь, что кто нибудь пошелъ безъ шляпы.

— Не мѣшаетъ-съ, на всякой случай.

Тутъ я догадываюсь, что дѣло совсѣмъ не въ шляпѣ, а въ томъ, что Кузьма звалъ на поле битвы Петра Ѳедоровича.

— Ты къ Кузьмѣ ступай, да только прежде попроси у повара мнѣ кислой капусты.

— Знать Лександъ Ивановичъ имянинники-то, не ударили лицомъ въ грязь?

— Какой въ грязь, эдакаго пира во весь курсъ не было.

— Въ ниверситетъ-то, уже должно быть сегодня отложимъ попеченіе?

Меня угрызаетъ совѣсть и я молчу.

— Папенька-то вашъ меня спрашивалъ. — Какъ это говорить, еще не вставалъ? Я знаете непромахъ, голова изволить болѣть, съ утра-съ жаловались, такъ и такъ и стору не подымалъ-съ. Ну говорить, и хорошо сдѣлалъ.

— Да, дай ты мнѣ Христа ради уснуть. Хотѣлъ идти къ С....., ну и ступай.

— Сію минуточку-съ, только за канустой сбѣгаю-съ.

Тяжелый сонъ снова смыкаетъ глаза, часа черезъ два просыпаешься гораздо свѣжѣе. Что то они дѣлаютъ тамъ? К..... и Огаревъ, остались ночевать. Досадно что жженка такъ на голову дѣйствуетъ, надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить жженку стаканомъ, а рѣшительно отнынѣ и до вѣка буду пить небольшую чашку.

Между тѣмъ мой отецъ уже окончилъ чтеніе газетъ и пріемъ повара.

— У тебя голова болить сегодня?

— Очень.

— Можетъ слишкомъ много занимался? И при этомъ вопросъ видно, что прежде отвѣта онъ усомнился.

— Я и забылъ, вѣдь вчера ты кажется былъ у Николаши*) и у Огарева?

— Какъ-же-съ.

— Подчивали что ли они тебя именины? Опять супъ съ мадерой? Охъ, неохотникъ я до всего до этого. Николаша-то любить, я знаю не во время вино, и откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павлъ Ивовичъ ну 29 Іюня именины, поздраветь всѣхъ родныхъ, обѣдъ какъ водится, все скромно,

*) Голохвастова.

прилично. А это по нынѣшнему, шампанскаго, да сардинки въ маслѣ, — противно смотрѣть. О несчастномъ сынѣ Платона Богдановича, я и не говорю, одинъ, брошенъ! Москва..... деньги есть — кучеръ Еремей, „пошелъ за виномъ.“ А кучеръ радъ, ему за это въ лавкѣ гривенникъ.

— Да, я у Николая Павловича завтракалъ. Впрочемъ я не думаю, чтобъ отъ этого болѣла голова. Я пройдуся немного, это мнѣ всегда помогаетъ.

— Съ богомъ, — обѣдаешь дома, я надѣюсь.

— Безъ сомнѣнія, я только такъ.

Для поясненія *супа съ мадерой*, необходимо сказать, что за годъ или больше до знаменитаго пира четырехъ именинниковъ, мы на святой недѣли отправлялись съ Огаревымъ гулять, и чтобъ отѣлаться отъ обѣда дома, я сказалъ, что меня пригласилъ обѣдать отецъ Огарева.

Отецъ мой не любилъ вообще моихъ знакомыхъ, называлъ наизнанку ихъ фамиліи, ошибаясь постоянно одинакимъ образомъ, такъ С....., онъ безошибочно называлъ Сакенымъ, а Сазонова — Сназинымъ. Огарева, онъ еще меньше другихъ любилъ, и за то, что у него волосы были длинны, и за то, что онъ курилъ безъ его спроса. Но съ другой стороны, онъ его считалъ внушительнымъ племянникомъ, и слѣдственно родственной фамиліи искажать не могъ. Къ тому же Платонъ Богдановичъ принадлежалъ, и по родству и по богатству, къ малому числу признанныхъ моимъ отцемъ личностей, и мое близкое знакомство съ его домомъ ему нравилось. Оно нравилось бы еще больше, еслибъ у Платона Богдановича не было сына.

И такъ отказать ему, не считалось приличнымъ.

Вмѣсто почтенной столовой Платона Богдановича,

мы отправились сначала под Новинское, въ балаганъ Прейса, (я потомъ встрѣтилъ съ восторгомъ эту семью акробатовъ въ Женевѣ и Лондонѣ), тамъ была небольшая дѣвочка, которой мы восхищались, и которую называли Миньоной.

Посмотрѣвъ Миньону и рѣшившись еще разъ придти ее посмотреть вечеромъ, мы отправились обѣдать къ Яру. У меня былъ золотой и у Огарева около того-же. Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали *ouka au champagne*, бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, въ силу чего, мы встали изъ-за обѣда. ужасно дорогаго, совершенно голодные и отправились опять смотреть Миньону.

Отецъ мой, прощаясь со мной, сказалъ мнѣ, что ему кажется, будто бы отъ меня пахнетъ виномъ.

— Это вѣрно оттого, сказалъ я, что супъ былъ съ мадерой.

— *Au madère*,—это зять Платона Богдановича вѣрно такъ завелъ; *cela sent les casernes de la garde*.

Съ тѣхъ поръ и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпилъ вина, что у меня лицо красно, онъ непремѣнно говорилъ мнѣ: „Ты вѣрно ѣлъ сегодня супъ съ мадерой!“

И такъ я скорымъ шагомъ къ С.....

Разумѣется Огаревъ и К....., были на мѣстѣ. К..... съ помятымъ лицомъ, былъ недоволенъ нѣкоторыми распоряженіями и строго ихъ критиковалъ. Огаревъ го-меопатически вышибалъ клинъ клиномъ, допивая какіе-то остатки не только послѣ праздника, но и послѣ фуражировки Петра Ѳедоровича, который уже съ пѣніемъ, присвистомъ и дробью игралъ на кухнѣ у С.

Въ рождѣ Марьиной гулянье,
Въ самой тотъ день семина.

..... Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной исторіи, которая осталась бы на совѣсти, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится безъ исключенія ко всѣмъ нашимъ друзьямъ.

Были у насъ платоническіе мечтатели, и разочарованные юноши въ семнадцать лѣтъ. Вадимъ даже написалъ драму, въ которой хотѣлъ представить „страшный опытъ своего *изжитаго* сердца.“ Драма эта начиналась такъ: „Садъ — вдали домъ — окна освѣщены — буря — никого нѣтъ — калитка не заперта, она хлопаетъ и скрипитъ.“

— Сверхъ калитки и сада, есть дѣйствующія лица? спросилъ я у Вадима.

И Вадимъ нѣсколько огорченный сказалъ мнѣ — ты все дурачишься! Это не шутка, а былъ моего сердца, если такъ, я и читать не стану; и сталъ читать.

Были и вовсе не платоническія шалости — даже такія, которыя оканчивались на драмой, а аптекой. Но не было пошлыхъ интригъ, губящихъ женщину и унижающихъ мужчину, не было *содержанокъ* (даже не было и этого подлаго слова). Покойный, безопасный, прозаическій, мѣщанскій развратъ, развратъ по контракту, миновалъ нашъ кругъ.

— Стало быть вы допускаете худшій, продажный развратъ?

— Не я, а вы! То есть не *вы* вы, а вы всѣ. Онъ такъ прочно покоится на общественномъ устройствѣ, что ему не нужно моей инвеституры.

Общіе вопросы, гражданская экзальтація — спасали насъ; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интересъ. Они, какъ зажженная бумага, выжигали сальныя пятна. У меня сохранилось нѣсколь-

ко писемъ Огарева того времени о тогдашнемъ грундтонѣ нашей жизни, можно легко по нимъ судить. Въ 1833 году Іюня 7, Огаревъ напริมѣръ мнѣ пишетъ:

„Мы другъ друга кажется знаемъ, кажется можемъ быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. И такъ скажи — съ нѣкотораго времени я рѣшительно такъ полонъ, можно сказать задавленъ ощущеніями и мыслями что мнѣ кажется, мало того кажется, мнѣ врѣзалась мысль, что мое призваніе — быть поэтомъ, стихотворцемъ или музыкантомъ, *alles eins*, но я чувствую необходимость жить въ этой мысли, ибо имѣю какое-то самоощущеніе, что я поэтъ; положимъ я еще пишу дрянно, но этотъ огонь въ душѣ, эта полнота чувствъ даетъ мнѣ надежду, что я буду и порядочно (извини за такое пошлое выраженіе) писать. Другъ, скажи же вѣрить ли мнѣ моему призванью? Ты можешь лучше меня знаешь, нежели я самъ, и не ошибешься.“

Іюня 7, 1833.

„Ты пишешь: *Да ты поэтъ, поэтъ истинный!* Другъ, можешь ли ты постигнуть все то, что производятъ эти слова? И такъ оно не ложно, все что я чувствую, къ чему стремлюсь, въ чемъ моя жизнь. Оно не ложно! Правду ли говоришь? Это не бредъ горячки — это я чувствую. Ты меня знаешь болѣе, чѣмъ кто нибудь, не правда ли, я это дѣйствительно чувствую. Нѣтъ, эта высокая жизнь не бредъ горячки, не обманъ воображенія, она слишкомъ высока для обмана, она дѣйствительна, я живу ею, я не могу вообразить себя съ иною жизнію. Для чего я не знаю музыки, какаѣ симфоніи вылетѣла бы изъ моей души теперь. Вотъ слышишь величественное *adagio*, но нѣтъ силъ выразиться, надо-

было больше сказать, нежели сказано, *presto, presto*, мнѣ надобно бурное, неукротимое *presto. Adagio* и *presto*, двѣ крайности. Прочь съ этой посредственностью, *andante, allegro moderato*, это занки или слабоумные, не могутъ ни сильно говорить, ни сильно чувствовать.”

Село Чертково 18 Августа 1833.

Мы отвыкли отъ того восторженнаго лепета юности, онъ намъ страненъ, но въ этихъ строкахъ молодого чловѣка, которому еще не стукнуло 20 лѣтъ, ясно видно, что онъ застрахованъ отъ пошлаго порока и отъ пошлой добродѣтели, что онъ можетъ, не спасется отъ болота, но выйдетъ изъ него, не загрязнившись.

Это не неувѣренность въ себѣ, это сомнѣніе въѣры, это страстное желаніе подтвержденія, ненужнаго слова любви, которое такъ дорого намъ. Да, это безпокойство зарождающагося творчества, это тревожное озираніе души *зачавшей*.

„Я не могу еще взять, пишетъ онъ въ томъ же письмѣ, тѣ звуки, которые слышатся душѣ моей, неспособность тѣлесная ограничиваетъ фантазію. Но чортъ возьми! Я поэтъ, поэзія мнѣ подсказываетъ истину, тамъ гдѣ бы я ее не понялъ холоднымъ рассужденіемъ. Вотъ философія откровенія.”

Такъ оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде нежели мы взойдемъ въ нее, надобно упомянуть въ какомъ направленіи, съ какими думами она застала насъ.

Время слѣдовавшее за усмиреніемъ польскаго возстанія быстро воспитывало. Насъ уже не одно то мучило, что Николай выросъ и осѣлся въ строгости; мы начали съ внутреннимъ ужасомъ разглядывать, что и въ

Европѣ и особенно во Франціи, откуда ждали пароль политическій и лозунгъ, дѣла идутъ не ладно; теоріи наши становились намъ подозрительны.

Дѣтскій либерализмъ 1826 года, сложившійся мало по малу въ то французское воззрѣніе, которое проповѣдывали Лафайеты и Бенжаменъ [Констанъ, пѣлъ Беранже, терялъ для насъ, послѣ гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и въ ея числѣ Вадимъ, бросились на глубокое и серьезное изученіе русской исторіи.

Другая въ изученіе нѣмецкой философіи.

Мы съ Огаревымъ не принадлежали ни къ тѣмъ, ни къ другимъ. Мы слишкомъ сжились съ иными идеями, чтобъ скоро поступиться ими. Вѣра въ беранжеровскую *застольную* революцію была потрясена, но мы искали чего-то другаго, чего не могли найти ни въ несторовской лѣтописи, ни въ трансцендентальномъ идеализмѣ Шеллинга.

Середь этого броженія, середь догадокъ, усилій понять сомнѣнія пугавшія насъ, попались въ наши руки Сен-Симонистскія брошюры, ихъ проповѣди, ихъ процессъ. Они поразили насъ.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смѣялись надъ отцомъ Енфантенъ и надъ его апостолами; время иного признанія наступаетъ для этихъ предтечъ социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мѣщанскаго міра эти восторженные юноши съ своими неразрѣзными жилетами, съ отрощенными бородами. Они возвѣстили новую вѣру, имъ было что сказать и было во имя чего позвать передъ свой судъ старый порядокъ вещей, хотѣвшій ихъ судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религіи.

Съ одной стороны *освобожденіе женщины*, призваніе ее на общій трудъ, отдаваніе ея судебъ въ ея руки, союзъ съ нею какъ съ равнымъ.

Съ другой оправданіе, *искупленіе плоти*, *Réhabilitation de la chair* !

Великія слова заключающія въ себѣ цѣлый міръ новыхъ отношеній между людьми, міръ здоровья, міръ духа, міръ красоты, міръ естественно-нравственный и потому нравственно-чистый. Много издѣвались надъ свободой женщины, надъ признаніемъ правъ плоти, придавая словамъ этимъ смыслъ грязный и пошлый; наше монашески-развратное воображеніе боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное *крещеніе плоти* есть отходная христіанства; религія жизни шла на смѣну религіи смерти, религія красоты на смѣну религіи бичеванія и худобы отъ поста и молитвы. Распятое тѣло воскресало въ свою очередь и не стыдилось больше себя; человекъ достигалъ созвучнаго единства, догадывался, что онъ существо цѣлое, а не составленъ какъ маятникъ изъ двухъ разныхъ металловъ, удерживающихъ другъ друга, что врагъ спящий съ нимъ исчезъ.

Какое мужество надобно было имѣть, чтобъ произнести всенародно во Франціи эти слова освобожденія отъ спиритуализма, который такъ силенъ въ понятіяхъ французовъ и такъ вовсе не существуетъ въ ихъ поведеніи.

Старый міръ, осмѣянный Вольтеромъ, подшибленный революціей, но закрѣпленный, перешитый и упроченный мѣщанствомъ для своего обихода, этого еще не испыталъ. Онъ хотѣлъ судить отщепенцевъ на основаніи своего тайно соглашеннаго лицемѣрія, а люди эти обвиняли его. Ихъ обвиняли въ отступничествѣ отъ хри-

стіанства, а они указали надъ головой судьи *завѣщанную* икону послѣ революціи 1830 года. Ихъ обвиняли въ оправданіи чувственности, а они спросили у судьи: цѣломудренно-ли онъ живетъ?

Новый міръ толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-Симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ.

Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тотъ рубежъ, на которомъ останавливаются цѣлые ряды людей, складываютъ руки, идутъ назадъ или ищутъ по сторонамъ броду — черезъ море!

Но не всѣ рискнули съ нами. Соціализмъ и реализмъ остаются до сихъ поръ пробными камнями, брошенными на путяхъ революціи и науки. Группы пловцовъ, прибитые волнами событій или мышленіемъ къ этимъ скаламъ, немедленно растаются и составляютъ двѣ вѣчныя партіи, которыя, мѣняя одежды, проходятъ черезъ всю исторію, черезъ всѣ перевороты, черезъ многочисленные партіи и кружки, состоящіе изъ десяти юношей. Одна представляетъ логику, другая—исторію, одна — діалектику, другая — эмбриогенію. Одна изъ нихъ *правда*, другая — *возможность*.

О выборѣ не можетъ быть и рѣчи, обуздать мысль труднѣе чѣмъ всякую страсть, она влечетъ невольно; кто можетъ ее затормозить чувствомъ, мечтой, страхомъ послѣдствій, тотъ и затормозитъ ее, но не всѣ могутъ. У кого мысль беретъ верхъ, у того вопросъ не о прилагаемости, не о томъ, легче или тяжеле будетъ, тотъ ищетъ истины и неумолимо, нелицепріятно проводитъ начала какъ С. Симонисты нѣкогда, какъ Прудонъ до сихъ поръ.

Кругъ нашъ еще тѣснѣе сомкнулся. Уже тогда въ 1833 году, *либералы* смотрѣли на насъ изъ-подлѣбья какъ на сбившихся съ дороги. Передъ самой тюрьмой Сен-Симонизмъ поставилъ рубежъ между мной и Н. А. Полевымъ. Полевой былъ человѣкъ необыкновенно ловкаго ума, дѣятельнаго, легко претворяющаго всякую пищу; онъ родился быть журналистомъ, лѣтописцемъ успѣховъ, открытій, политической и ученой борьбы. И познакомился съ нимъ въ концѣ курса — и бывалъ иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время предшествовавшее запрещенію *Телеграфа*.

Этотъ-то человѣкъ, жившій послѣднимъ открытіемъ, вчерашнимъ вопросомъ, новой новостью въ теоріи и въ событіяхъ, мѣнявшійся какъ хамелеонъ, при всей живости ума не могъ понять Сен-Симонизма. Для насъ Сен-Симонизмъ былъ откровеніемъ — для него безуміемъ, пустой утопіей, мѣшающей гражданскому развитію. Сколько я ни ораторствовалъ, ни развивалъ, ни доказывалъ, Полевой былъ глухъ, сердился, становился желченъ. Ему была особенно досадна оппозиція, дѣлаемая студентомъ, онъ очень дорожилъ своимъ вліяніемъ на молодежь и въ этомъ преніи видѣлъ, что она ускользаетъ отъ него.

Одинъ разъ, оскорбленный нелѣпостью его возраженій, я ему замѣтилъ, что-онъ такой же отстаый консерваторъ, какъ тѣ, противъ которыхъ онъ всю жизнь сражался. Полевой глубоко обидѣлся моими словами и качая головой сказалъ мнѣ: „Придетъ время, и вамъ въ награду за цѣлую жизнь усилій и трудовъ, какой-нибудь молодой человѣкъ улыбаясь скажетъ: Ступайте прочь, вы отстаый человѣкъ.“ Мнѣ было жаль его, мнѣ было стыдно, что я его огорчилъ, но вмѣстѣ съ

тѣмъ я понялъ, что въ его грустныхъ словахъ звучалъ его приговоръ. Въ нихъ слышался уже не сильный боецъ, а отжившій, устарѣлый гладиаторъ. Я понялъ тогда, что впередъ онъ не двинется, а на мѣстѣ устоять не сѣмѣетъ съ такимъ дѣйтельнымъ умомъ и съ такимъ непрочнымъ грунтомъ.

Вы знаете, что съ нимъ было потомъ; онъ принялся за Парашу Сибирячку.

Какое счастье во время умереть для человѣка, не умѣющаго въ свой часъ ни сойти со сцены, ни идти впередъ. Это я думалъ, глядя на Полеваго, глядя на Пія IX и на *многихъ другихъ.....?*

Прибавленіе

А. ПОЛЕЖАЕВЪ.

Въ дополненіе къ печальной лѣтописи того времени слѣдуетъ передать нѣсколько подробностей объ А. Полежаевѣ.

Полежаевъ студентомъ въ университетѣ былъ уже извѣстенъ своими превосходными стихотвореніями. Между прочимъ написалъ онъ юмористическую поэму *Сашка*, пародируя Онѣгина. Въ ней, не стѣсняя себя приличіями, шутивымъ тономъ и очень милыми стихами задѣлъ онъ многое.

Осенью 1826 года Николай, повѣсивъ Пестеля, Муравьева и ихъ друзей, праздновалъ въ Москвѣ свою коронацію. Для другихъ эти торжества бывають поводомъ амнистій и прощеній; Николай, отпраздновавши

снова пошелъ „разить враговъ отечества“ какъ Робеспьеръ оослѣ своего Fête-Dieu.

Тайная полиція доставила ему поэму Полежаева...

И вотъ въ одну ночь, часа въ три, ректоръ будитъ Полежаева, велитъ одѣться въ мундиръ и сойти въ правленіе. Тамъ его ждетъ попечитель. Осмотрѣвъ всѣ ли пуговицы на его мундирѣ и нѣтъ-ли лишннихъ, онъ безъ всякаго объясненія пригласилъ Полежаева въ свою карету и увезъ.

Привезъ онъ его къ министру народнаго просвѣщенія. Министръ сажаетъ Полежаева въ свою карету и тоже везетъ — но, на этотъ разъ, ужъ прямо къ государю.

Князь Ливенъ оставилъ Полежаева въ залѣ — гдѣ дожидались нѣсколько придворныхъ и другихъ высшихъ чиновниковъ, не смотря на то, что былъ шестой часъ утра — и пошелъ во внутреннія комнаты. Придворные вообразили себѣ, что молодой человѣкъ чѣмъ-нибудь отличился и тотчасъ вступили съ нимъ въ разговоръ. Какой-то сенаторъ предложилъ ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали въ кабинетъ. Государь стоялъ, опершись на бюро, и говорилъ съ Ливеномъ. Онъ бросилъ на взшедшаго испытующій и злой взглядъ, въ рукѣ у него была тетрадь.

— Ты-ли — спросилъ онъ, сочинилъ эти стихи?

— Я — отвѣчалъ Полежаевъ.

— Вотъ князь — продолжалъ государь, вотъ я вамъ дамъ образецъ университетскаго воспитанія, я вамъ покажу, чему учатся тамъ молодые люди. Читай эту тетрадь вслухъ, прибавилъ онъ, обращаясь снова къ Полежаеву.

Волненіе Полежаева было такъ сильно, что онъ не могъ читать. Взглядъ Николая неподвижно остановился

на немъ. Я знаю этотъ взглядъ, и ни одного не знаю страшнѣе, безнадежнѣе этого сѣро-бѣзцвѣтнаго, холоднаго, оловяннаго взгляда.

— Я не могу, сказалъ Полежаевъ.

— Читай! закричалъ высочайшій фельдфебель.

Этотъ крикъ воротилъ силу Полежаеву, онъ развернулъ тетрадь. Никогда — говорилъ онъ, я не видывалъ *Сашку* такъ переписаннаго и на такой славной бумагѣ.

Сначала ему было трудно читать, потомъ, одушевляясь болѣе и болѣе, онъ громко и живо дочиталъ поэму до конца. Въ мѣстахъ особенно рѣзкихъ государь дѣлалъ знакъ рукой министру. Министръ закрывалъ глаза отъ ужаса.

— Что скажете? — спросилъ Николай по окончаніи чтенія. — Я положу предѣлъ этому разврату, это все еще *слѣды, послѣдніе остатки*; я ихъ искореню. Какого онъ поведенія?

Министръ, разумѣется, не зналъ его поведенія, но въ немъ проснулось что-то человѣческое, и онъ сказалъ: Превосходнѣйшаго поведенія, в. в.

— Этотъ отзывъ тебя спасъ, но наказать тебя надобно, для примѣра другимъ. Хочешь въ военную службу?

Полежаевъ молчалъ.

— Я тебѣ даю военной службой средство очиститься. — Что-же хочешь?

— Я долженъ повиноваться, отвѣчалъ Полежаевъ.

Государь подошелъ къ нему, положилъ руку на плечо и сказалъ: „Отъ тебя зависитъ твоя судьба; если я забуду, ты можешь мнѣ *писать*,“ *поцѣловалъ его въ лобъ*.

Я десять разъ заставлялъ Полежаева повторять рассказъ о поцѣлѣ, такъ онъ мнѣ казался невѣроятнымъ. Полежаевъ клялся, что это правда.

Отъ государя Полежаева свели къ Дибичу, который

жилъ тутъ-же, во дворцѣ. Дибичъ спалъ, его разбудили, онъ вышелъ зѣвая и, прочитавъ бумагу, спросилъ флигель-адъютанта. — Это онъ? — Онъ, в. с.

— Что-же! доброе дѣло, послужите въ военной, и все въ военной службѣ былъ — видите, дослужился, и вы, можетъ, будете фельдмаршаломъ. Эта неумѣстная, тупая, нѣмецкая шутка была поцѣлуемъ Дибича. Полежаева свезли въ лагерь и отдали въ солдаты.

Прошли года три, Полежаевъ вспомнилъ слова государя и написалъ ему письмо. Отвѣта не было. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, онъ написалъ другое—тоже нѣтъ отвѣта. Увѣренный, что его письма не доходятъ, онъ бѣжалъ и бѣжалъ для того, чтобъ лично подать просьбу. Онъ велъ себя неосторожно, видѣлся въ Москвѣ съ товарищами, былъ ими угощаемъ; разумѣется, это не могло остаться въ тайнѣ. Въ Твери его схватили и отправили въ полкъ какъ бѣглаго солдата, въ цѣпяхъ, нѣшномъ. Военный судъ приговорилъ его прогнать сквозь строй; приговоръ послали къ государю на утверждение.

Полежаевъ хотѣлъ лишить себя жизни передъ наказаніемъ. Долго отыскивая въ тюрьмѣ какое-нибудь острое орудіе, онъ довѣрился старому солдату, который его любилъ. Солдатъ понялъ его и оцѣнилъ его желаніе. Когда старикъ узналъ, что отвѣтъ пришелъ, онъ принесъ ему штыкъ и отдавая сказалъ сквозь слезы: „Я самъ отточилъ его.“

Государь не велѣлъ наказывать Полежаева.

Тогда-то написалъ онъ свое превосходное стихотвореніе:

Безъ утѣшеній
Я погибалъ,
Мой злобный геній
Торжествовалъ.....

Полежаева отправили на Кавказъ; тамъ онъ былъ произведенъ за отличіе въ унтеръ-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положеніе сломило его; сдѣлаться полицейскимъ поэтомъ и пѣть доблести Николая, онъ не могъ, а это былъ единственный путь отдѣлаться отъ ранца.

Быль впрочемъ еще другой и онъ предпочелъ его: онъ пилъ для того, чтобъ забыться. Есть страшное стихотвореніе его „Къ свухѣ.“

Онъ перепросился въ карабинерный полкъ, стоявшій въ Москвѣ. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разѣдала его грудь. Въ это время и познакомился съ нимъ, около 1833 года. Помаялся онъ еще года четыре и умеръ въ солдатской больницѣ.

Когда одинъ изъ друзей его явился просить тѣло для погребенія, никто не зналъ гдѣ оно; солдатская больница торгуетъ трупами, она ихъ продаетъ въ университетъ, въ медицинскую академію, вывариваетъ скелеты и пр. Наконецъ онъ нашелъ въ подвалѣ трупъ бѣднаго Полежаева, онъ валялся подъ другими, крысы обѣли ему одну ногу.

Послѣ его смерти издали его сочиненія и при нихъ хотѣли приложить его портретъ въ солдатскій шинели. Цензура нашла это неприличнымъ и бѣдный страдалецъ представленъ въ офицерскихъ эполетахъ — онъ былъ произведенъ въ больницѣ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТЮРЬМА И ССЫЛКА

(1834—1838).

ГЛАВА VIII.

Пророчество—Аресть Огарева—Пожаръ — Московскій либераль —
М. Ѳ. Орловъ — Кладбище.

... Разъ весною 1834 года пришелъ я утромъ къ Вадиму, ни его не было дома, ни его братьевъ и сестеръ. Я взшелъ на верхъ въ небольшую комнату его и сѣлъ писать.

Дверь тихо отворилась и взошла старушка, мать Вадима; шаги ея были едва слышны, она подошла устало, болѣзненно къ кресламъ и сказала мнѣ, садись въ нихъ: Пишите, пишите — я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя, дѣти пошли гулять, внизу такая пустота, мнѣ сдѣлалось грустно и страшно, я посижу здѣсь, я вамъ не мѣшаю, дѣлайте свое дѣло.

Лице ея было задумчиво, въ немъ яснѣе обыкновеннаго виднѣлся отблескъ вынесеннаго въ прошедшемъ и та подозрительная робость къ будущему, то недовѣріе къ жизни, которое всегда остается послѣ большихъ, долгихъ и многочисленныхъ бѣдствій.

Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири. — Много, много пришлось мнѣ перестрадать, что то еще придется увидѣть, прибавила она, качая головой — хорошаго ничего не чувствуетъ сердце.

Я вспомнилъ какъ старушка, иной разъ слушая наши смѣлые рассказы и демагогическіе разговоры, становилась блѣднѣе, тихо вздыхала, уходила въ другую комнату, и долго не говорила ни слова.

— Вы, продолжала она, и ваши друзья, вы идете вѣрной дорогой къ гибели. Погубите вы Вадю, себя и всѣхъ; я вѣдь и васъ люблю какъ сына. Слеза катилась по исхудалой щекѣ.

Я молчалъ. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила: Не сердитесь, у меня первы расстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для васъ нѣтъ другой, а еслибъ была, вы всѣ были бы не тѣ. Я знаю это, но не могу пересилить страха, и такъ много перенесла несчастій, что на новыя недостаесть силъ. Смотрите, вы ни слова не говорите Вадѣ объ этомъ, онъ огорчится, будетъ меня уговаривать... вотъ онъ, прибавила старушка, поспѣшно утирая слезы и прося еще разъ взглядомъ, чтобъ я молчалъ.

Бѣдная мать! Святая, великая женщина!

Это стоить корнелевскаго «qu'il thought!»

Пророчество ея скоро сбылось; по счастью на этотъ разъ гроза пронеслась надъ головой ея семьи, но много набралась бѣдная горя и страху.

— *Какъ взяли?* спрашивалъ я, вскочивъ съ постели и щупая голову, чтобъ знать, сплю я или нѣтъ.

— Полицмейстеръ пріѣзжалъ ночью, съ квартальнымъ и казаками, часа черезъ два послѣ того какъ вы ушли отъ насъ, забралъ бумаги и увезъ Н. П.

Это былъ камердинеръ Огарева. Я не могъ понять, какой поводъ выдумала полиція, въ послѣднее время все было тихо. Огаревъ только за день пріѣхалъ... и отчего же его взяли, а меня нѣтъ?

Сложив руки нельзя было оставаться, я одѣлся, и вышелъ изъ дому безъ опредѣленной цѣли. Это было первое несчастіе, падавшее на мою голову. Мнѣ было скверно, меня мучило мое безсиліе.

Бродя по улицамъ, мнѣ наконецъ пришелъ въ голову одинъ пріятель, котораго общественное положеніе ставило въ возможность узнать въ чемъ дѣло, а можетъ и помочь. Онъ жилъ страшно далеко, на дачѣ за воронцовскимъ полемъ; я сѣлъ на перваго извозчика и поскакалъ къ нему. Это былъ часъ седьмой утра.

Года за полтора передъ тѣмъ, познакомились мы съ В., это былъ своего рода левъ въ Москвѣ. Онъ воспитывался въ Парижѣ, былъ богатъ, уменъ, образованъ, остеръ, вольнодумъ, сидѣлъ въ петропавловской крѣпости по дѣлу 14 Декабря и былъ въ числѣ выпущенныхъ; ссылки онъ не испыталъ, но слава осталась при немъ. Онъ служилъ и имѣлъ большую силу у генералъ-губернатора. Князь Голицынъ любилъ людей съ свободнымъ образомъ мыслей, особенно если они его хорошо выражали по французски. Въ русскомъ языкѣ князь былъ не силенъ.

В. былъ лѣтъ десять старше насъ и удивлялъ насъ своими практическими замѣтками, своимъ знаніемъ политическихъ дѣлъ, своимъ французскимъ краснорѣчіемъ и горячностью своего либерализма. Онъ зналъ такъ много и такъ подробно, рассказывалъ такъ мило и такъ плавно; мнѣнія его были такъ твердо очерчены, на все былъ отвѣтъ, совѣтъ, разрѣшеніе. Читалъ онъ все, новыя романы, трактаты, журналы, стихи и сверхъ того сильно занимался зоологіей, писалъ проэкты для князя и составлялъ планы для дѣтскихъ книгъ.

Либерализмъ его былъ чистѣйшій трехъ-цвѣтной воды, лѣваго бока между Могеномъ и генераломъ Ламаркомъ.

Его кабинетъ былъ увѣшанъ портретами всѣхъ революціонныхъ знаменитостей отъ Гемидена и Балли, до Фіески и Арманъ Кареля. Цѣлая библіотека запрещенныхъ книгъ находилась подъ этимъ революціоннымъ иконостасомъ. Скелеть, нѣсколько набитыхъ птицъ, сушеныхъ амфибій и моченыхъ внутренностей, набрасывали серьезный колоритъ думы и созерцанія на слишкомъ горячительный характеръ кабинета.

Мы съ завистью посматривали на его опытность и знаніе людей; его тонкая ироническая манера возражать имѣла на насъ большое вліяніе. Мы на него смотрѣли какъ на *дѣловаго* революціонера, какъ на государственнаго человѣка *in spe*.

Я не засталъ В. дома. Онъ съ вечера уѣхалъ въ городъ для свиданья съ княземъ, его камердинеръ сказалъ, что онъ непремѣнно будетъ часа черезъ полтора домой. Я остался ждать.

Дача занимаемая В. была превосходна. Кабинетъ, въ которомъ я дожидался былъ обширенъ, высокъ и *au rez-de-chaussée*, огромная дверь вела на террасу и въ садъ. День былъ жаркій, изъ сада пахло деревьями и цвѣтами, дѣти играли передъ домомъ, звонко смѣясь. Богатство, довольство, просторъ, солнце и тѣнь, цвѣты и зелень... а въ тюрьмѣ-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидѣлъ погруженный въ горькія мысли, какъ вдругъ камердннеръ съ какимъ-то страннымъ одушевленіемъ позвалъ меня съ террасы.

— Что-такое? спросилъ я.

— Да пожалуйста сюда, взгляните.

Я вышелъ, не желая его обидѣть, на террасу — и обомлѣлъ. Цѣлый полукругъ домовъ пылалъ, точно будто всѣ они загорѣлись въ одно время. Пожаръ разрастался съ невѣроятной скоростью.

Я остался на террасѣ. Камердинеръ смотрѣлъ съ какимъ-то нервнымъ удовольствіемъ на пожаръ, приговаривая: „славно забираетъ, вотъ и этотъ домъ на право загорится, непременно загорится.“

Пожаръ имѣетъ въ себѣ что-то революціонное, онъ смѣется надъ собственностью, нивелируетъ состоянія. Камердинеръ инстинктомъ понялъ это.

Черезъ полчаса времени, четверть небосклона покрылась дымомъ, краснымъ внизу и сѣрочернымъ сверху. Въ этотъ день выгорѣло Лафертово. Это было начало тѣхъ зажигательствъ, которыя продолжались мѣсяцевъ пять, объ нихъ мы еще будемъ говорить.

Наконецъ пріѣхалъ и В. Онъ былъ въ ударѣ, миль, привѣтливъ, разсказалъ мнѣ о пожарѣ, мимо котораго ѣхалъ, объ общемъ говорѣ, что это поджогъ и полушутя прибавилъ: Пугачевщина-съ, вотъ посмотрите и мы съ вами не уйдемъ, посадятъ насъ на колья...

— Прежде нежели посадятъ насъ на колья, отвѣчалъ я, боюсь, чтобъ не посадили на цѣпь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиція взяла Огарева?

— Полиція, — что вы говорите?

— Я за этимъ къ вамъ пріѣхалъ. Надобно что нибудь сдѣлать, съѣздите къ князю, узнайте въ чемъ дѣло, попросите мнѣ дозволеніе его увидѣть.

Не получая отвѣта, я взглянулъ на В., но вмѣсто его, казалось, былъ его старшій братъ, съ посоловѣлымъ лицомъ, съ опустившимися чертами, — онъ ахалъ и беспокоился.

— Что съ вами?

— Вѣдь вотъ я вамъ говорилъ, всегда говорилъ, до чего это доведетъ... да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно, — ни тѣломъ, ни душой невиновать, а

и меня пожалуй посадить, эдакъ шутить нельзя, и знаю что такое казематы.

— Поѣдете вы къ князю?

— Помилуйте, за чѣмъ же это? я вамъ совѣтую дружески, и не говорите объ Огаревѣ, живите какъ можно тише, а то худо будетъ. Вы не знаете, какъ эти дѣла опасны; мой искренній совѣтъ, держите себя въ сторонѣ; тормошитесь, какъ хотите, Огареву не можете, а сами попадетесь. Вотъ оно самовластье—какія права, какая защита, есть что ли адвокаты, судьи?

На этотъ разъ я не былъ расположенъ слушать его смѣлыя мнѣнія и рѣзкія сужденія. Я взялъ шляпу и уѣхалъ.

Дома я засталъ все въ волненіи. Уже отецъ мой былъ сердитъ на меня за взятіе Огарева, уже Сенаторъ былъ на лицо, рылся въ моихъ книгахъ, отбиралъ по его мнѣнію опасныя и былъ недоволенъ.

На столѣ я нашелъ записку отъ М. Ѳ. Орлова, онъ звалъ меня обѣдать. Не можетъ ли онъ чего нибудь сдѣлать? Опытъ хотя меня и проучилъ, но все же — попытка не пытка и спросъ не бѣда.

Михаилъ Ѳеодоровичъ Орловъ былъ одинъ изъ основателей знаменитаго Союза Благоденствія и если онъ не попалъ въ Сибирь, то это не его вина, а его брата, пользующагося особой дружбой Николая и который первый прискакалъ съ своей Конной Гвардіей на защиту Зимняго Дворца, 14 декабря. Орловъ былъ посланъ въ свои деревни, черезъ нѣсколько лѣтъ ему позволено было поселиться въ Москвѣ. Въ продолженіе уединенной жизни своей въ деревнѣ, онъ занимался политической экономіей и химіей. Первый разъ, когда я его встрѣтилъ, онъ толковалъ о новой химической номенклатурѣ. У всѣхъ энергическихъ людей, поздно

начинающихъ заниматься какой нибудь наукой, является поползновеніе переставлять мебель и распоряжаться по своему. Номенклатура его была сложіѣе общепринятой французской. Мнѣ хотѣлось обратить его вниманіе и я въ родѣ *captatio benevolentiae* сталъ доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орловъ поспорилъ—потомъ согласился.

Мое кокетство удалось, мы съ тѣхъ поръ были съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ. Онъ видѣлъ во мнѣ восходящую возможность, я видѣлъ въ немъ ветерана нашихъ мнѣній, друга нашихъ героевъ, благородное явленіе въ нашей жизни.

Бѣдный Орловъ былъ похожъ на льва въ клѣткѣ. Вездѣ стучался онъ въ рѣшетку, нигдѣ не было ему ни простора, ни дѣла, а жажда дѣятельности его снѣдала.

Послѣ паденія Франціи, я не разъ встрѣчалъ людей этого рода, людей разлагаемыхъ потребностью политической дѣятельности и не имѣющихъ возможности найтись въ четырехъ стѣнахъ кабинета или въ семейной жизни. Они не умѣютъ быть одни; въ одиночествѣ на нихъ нападаетъ хандра, они становятся капризны, ссорятся съ послѣдними друзьями, видятъ вездѣ интриги противъ себя и сами интригуютъ, чтобъ скрыть всѣ эти несуществующія козни.

Имъ надобна, какъ воздухъ, сцена и зрители; на сценѣ они дѣйствительно герои и вынесутъ невыносимое. Имъ необходимъ шумъ, громъ, трескъ, имъ надобно произносить рѣчи, слышать возраженія враговъ, имъ необходимо раздраженіе борьбы, лихорадка опасности—безъ этихъ confortativовъ они тоскуютъ, вянутъ, опускаются, тяжелѣютъ, рвутся вонъ, дѣлаютъ ошибки.

Таковъ Ледрю-Ролленъ, который кстатѣ и лицомъ напоминаетъ Орлова, особенно съ тѣхъ поръ какъ отростилъ усы.

Онъ былъ очень хорошъ собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивыя мужественныя черты, совершенно обнаженный черепъ, и все это вмѣстѣ стройно соединенное, сообщали его наружности неотразимую привлекательность. Его бюстъ *pendant* бюсту А. П. Ермолова, которому его насупленный, четверугольный лобъ, шалашъ сѣдыхъ волосъ и взглядъ пронизывающій даль, придавали ту красоту вождя, состарѣвшагося въ битвахъ, въ которую влюбилась Марія Кочубей въ Мазепѣ.

Отъ скуки Орловъ не зналъ что начать. Пробовалъ онъ и хрустальную фабрику заводить, на которой дѣлались средне-вѣковыя стекла съ картинами, обходившіяся ему дороже, чѣмъ онъ ихъ продавалъ, и книгу онъ принимался писать „о кредитѣ“ — нѣтъ, не туда рвалось сердце, но другаго выхода не было. Левъ былъ осужденъ праздно бродить между Арбатомъ и Басманной, не смѣя даже давать волю своему языку.

Смертельно жаль было видѣть Орлова, усиливавшагося сдѣлаться ученымъ, теоретикомъ. Онъ имѣлъ умъ ясный и блестящій, но вовсе не спекулятивный, а тутъ онъ путался въ разныхъ новоизобрѣтенныхъ системахъ на давнознакомые предметы — въ родѣ химической номенклатуры. Все отвлеченное ему рѣшительно не удавалось, но онъ съ величайшимъ ожесточеніемъ возился съ метафизикой.

Неосторожный, невоздержный на языкъ, онъ безпрестанно дѣлалъ ошибки; увлекаемый первымъ впечатлѣніемъ, которое у него было рыцарски благородно, онъ вдругъ вспоминалъ свое положеніе и сворачивалъ съ

поль-дороги. Эти дипломатическіе контръ марши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры; и онъ, заступивъ за одну постромку, заступалъ за двѣ, за три, стараясь выправиться. Его бранили за это; люди такъ поверхностны и не внимательны, что они больше смотрятъ на слова, чѣмъ на дѣйствія и отдѣльнымъ ошибкамъ даютъ больше вѣса, чѣмъ совокупности всего характера. Что тутъ винить съ натянутой регуловской точки зрѣнія человѣка—надобно винить грустную среду, въ которой всякое благородное чувство передается какъ контрабанда, подъ полой, да затворивши двери; а сказалъ слово громко—такъ день цѣлый и думаешь, скоро ли придетъ полиція...

Обѣдъ былъ большой. Мнѣ пришлось сидѣть возлѣ генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевскій былъ тоже въ опалѣ съ 14 декабря; сынъ знаменитаго Н. Н. Раевского, онъ мальчикомъ четырнадцати лѣтъ находился съ своимъ братомъ подъ Бородинымъ возлѣ отца; впоследствии онъ умеръ отъ ранъ на Кавказѣ. Я разсказалъ ему объ Огаревѣ и спросилъ, можетъ ли и захочетъ ли Орловъ что нибудь сдѣлать?

Лице Раевского подернулось облакомъ, но это было не выраженіе плаксиваго самосохраненія, которое я видѣлъ утромъ, а какая-то смѣсь горькихъ воспоминаній и отвращенія.

— Тутъ нѣтъ мѣста хотѣть или не хотѣть, отвѣчалъ онъ, только я сомнѣваюсь, чтобъ Орловъ могъ много сдѣлать; послѣ обѣда пройдите въ кабинетъ, и его приведу къ вамъ. Такъ вотъ, прибавилъ онъ, помолчавъ, и ваша чередъ пришелъ; этотъ омутъ всѣхъ утѣнеть.

Распросивши меня, Орловъ написалъ письмо къ кня-

зю Голицыну, прося его свиданья. „Князь—сказалъ онъ мнѣ—порядочный человѣкъ; если онъ ничего не сдѣлаетъ, то скажетъ, по крайней мѣрѣ, правду.“

Я, на другой день, поѣхалъ за отвѣтомъ. Князь Голицынъ сказалъ, что Огаревъ арестованъ по высочайшему повелѣнію, что назначена слѣдственная коммиссія, и что матерьяльнымъ поводомъ былъ какой-то пиръ 24 іюня, на которомъ пѣли возмутительныя пѣсни. Я ничего не могъ понять. Въ этотъ день были именины моего отца; я весь день былъ дома и Огаревъ былъ у насъ.

Съ тяжелымъ сердцемъ оставилъ я Орлова; и ему было не хорошо; когда я ему подаль руку, онъ всталъ, обнялъ меня, крѣпко прижалъ къ широкой своей груди и поцѣловалъ.

Точно будто онъ чувствовалъ, что мы расстаемся на долго.

Я его видѣлъ съ тѣхъ поръ одинъ разъ, ровно черезъ шесть лѣтъ. Онъ угасалъ. Болѣзненное выраженіе, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; онъ былъ печаленъ, чувствовалъ свое разрушеніе, зналъ разстройство дѣлъ — и не видѣлъ выхода. Мѣсяца черезъ два онъ умеръ; кровь свернулась въ его жилахъ.

...Въ Люцернѣ есть удивительный памятникъ; онъ сдѣланъ Торвальдсеномъ въ дикой скалѣ. Въ впадинѣ лежитъ умирающій левъ; онъ раненъ на смерть, кровь струится изъ раны, въ которой торчатъ обломки стрѣлы; онъ положилъ молодецкую голову на лапу, онъ стонетъ, его взоръ выражаетъ нестерпимую боль; кругомъ пусто, внизу прудъ, все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожіе идутъ, не догадываясь, что тутъ умираетъ царственный звѣрь.

Разъ какъ-то, долго сяди на скамьѣ противъ каменнаго страдальца, и вдругъ вспомнилъ мое послѣднее посѣщеніе Орлова...

Бѣжавши отъ Орлова домой мимо оберъ-полицмейстерскаго дома, мнѣ пришло въ голову попросить у него открыто дозволеніе повидаться съ Огаревымъ.

И отъ роду никогда не бывалъ прежде ни у одного полицейскаго лица. Меня заставили долго ждать, наконецъ оберъ-полицмейстеръ вышелъ.

Мой вопросъ его удивилъ.

— Какой поводъ заставляетъ васъ просить дозволеніе?

— Огаревъ мой родственникъ.

— Родственникъ? спросилъ онъ, прямо глядя мнѣ въ глаза.

Я не отвѣчалъ, но также прямо смотрѣлъ въ глаза его превосходительства.

— Я не могу вамъ дать позволенія, сказалъ онъ, вашъ родственникъ *au secret*. Очень жаль!

...Неизвѣстность и бездѣйствіе убивали меня. Почти никого изъ друзей не было въ городѣ, узнать рѣшительно нельзя было ничего. Казалось полиція забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволокло сѣрыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, свѣтлый лучъ сошелъ на меня.

Нѣсколько словъ глубокой симпатіи, сказанныя семнадцатилѣтней дѣвушкой, которую я считалъ ребенкомъ, воскресили меня.

Первый разъ въ моемъ разсказѣ является женскій образъ.... и собственно одинъ женскій образъ является во всей моей жизни.

Мимолетныя, юныя, весеннія увлеченія, волновавшія

душу, поблѣднѣли, исчезли передъ нимъ, какъ туманныя картины; новыхъ, другихъ не пришло.

Мы встрѣтились на кладбищѣ. Она стояла опершись на надгробный памятникъ, и говорила объ Огаревѣ, и грусть моя улеглась.

— До завтра— сказала она, и подала мнѣ руку, улыбаясь сквозь слезы.

— До завтра — отвѣтилъ я.... и долго смотрѣлъ вслѣдъ за исчезающимъ образомъ ея.

Это было девятнадцатаго іюля 1834.

ГЛАВА IX.

Арестъ—Добросовѣстный—Канцелярія пречистенскаго частнаго дома—Патріархальный судъ.

...„До завтра,“ повторилъ я засыпая... на душѣ было необыкновенно легко и хорошо.

Часу во второмъ ночи, меня разбудилъ камердинеръ моего отца; онъ былъ раздѣтъ и испуганъ.

— Васъ требуетъ какой-то офицеръ.

— Какой офицеръ?

— Я не знаю.

— Ну такъ я знаю, сказалъ я ему, и набросилъ на себя халатъ. Въ дверяхъ залы стояла фигура, завернутая въ военную шинель; къ окну видѣлся бѣлый султанъ, сзади были еще какія-то лица—я разглядѣлъ казацкую шапку.

Это былъ полицмейстеръ Миллеръ.

Онъ сказалъ мнѣ, что по приказанію военнаго генераль-губернатора, которое было у него въ рукахъ, онъ долженъ осмотрѣть мои бумажки. Принесли свѣчи. Полицмейстеръ взялъ мои ключи; квартальный и его поручикъ стали рыться въ книгахъ, въ бѣльѣ. Полицмейстеръ занялся бумагами; ему все казалось подозрительнымъ, онъ все откладывалъ и вдругъ, обращаясь ко мнѣ, сказалъ:

— Я васъ попрошу покаместъ одѣться: вы поѣдете со мной.

— Куда? спросилъ я.

— Въ пречистенскую часть — отвѣтилъ полицмейстеръ успокоивающимъ голосомъ.

— А потомъ?

— Дальше ничего нѣтъ въ приказаніи генераль-губернатора.

Я сталъ одѣваться.

Между тѣмъ, испуганные слуги разбудили мою мать; она бросилась изъ своей спальни, ко мнѣ въ комнату, но въ дверяхъ между гостиной и залой была остановлена казакомъ. Она вскрикнула, я вздрогнулъ и побѣжалъ туда. Полицмейстеръ оставилъ бумажки и вышелъ со мной въ залу. Онъ извинился передъ моею матерью, пропустилъ ее, разругалъ казака, который былъ не виноватъ, и воротился къ бумагамъ.

Потомъ взмошелъ мой отецъ. Онъ былъ блѣденъ, но старался выдержать свою безстрастную роль. Сцена становилась тяжела. Мать моя сидѣла въ углу и плакала. Старикъ говорилъ безразличныя вещи съ полицмейстеромъ, но голосъ его дрожалъ. Я боялся, что не выдержу этого *à la longue* и не хотѣлъ доставить квартальнымъ удовольствіе видѣть меня плачущимъ.

Я дернулъ полицмейстера за рукавъ.—Поѣдемте!

— Поѣдемте — сказалъ онъ съ радостью. Отецъ мой вышелъ изъ комнаты и черезъ минуту возвратился; онъ принесъ маленькой образъ, надѣлъ мнѣ на шею и сказалъ, что имъ благословилъ его отецъ умирая. Я былъ тронутъ; этотъ *религіозный* подарокъ показалъ мнѣ мѣру страха и потрясенія въ душѣ старика. Я сталъ на колѣни, когда онъ надѣвалъ его; онъ поднималъ меня, обнялъ и благословилъ.

Образъ представлялъ, на финифти, отсѣченную голову Іоанна Предтечи на блюдѣ. Что это было — примѣръ, совѣтъ или пророчество? — не знаю, по смыслъ образа поразилъ меня.

Мать моя была почти безъ чувствъ.

Вся дворня провожала меня по лѣстницѣ со слезами, бросаясь цѣловать меня, мои руки — я живо присутствовалъ при своемъ выносѣ; полицмейстеръ хмурился и торопился.

Когда мы вышли за ворота, онъ собралъ свою команду; съ нимъ было четыре казака, двое квартальныхъ и двое полицейскихъ. — Позвольте мнѣ идти домой, спросилъ у полицмейстера человѣкъ съ бородой, сидѣвшій передъ воротами. — Ступай, сказалъ Миллеръ. — Это что за человѣкъ? спросилъ я, садясь на дрожки. — Добросовѣстный; вы знаете, что безъ добросовѣстнаго полиціа не можетъ входить въ домъ. — За тѣмъ-то вы и оставили его за воротами? — Пустая форма! даромъ помѣшали человѣку спать, замѣтилъ Миллеръ.

Мы поѣхали въ сопровожденіи двухъ казаковъ верхомъ.

Въ частномъ домѣ не было для меня особой комнаты. Полицмейстеръ велѣлъ до утра посадить меня въ канцелярію. Онъ самъ привелъ меня туда; бросился на кресла, и устало зѣвая, бормоталъ: „проклятая служба,

на скачкѣ былъ съ трехъ часовъ, да вотъ съ вами провозился до утра — небось ужъ четвертый часъ, а завтра въ девять съ рапортомъ ѣхать."

— Прощайте — прибавилъ онъ черезъ минуту и вышелъ. Унтеръ заперъ меня на ключъ, замѣтивъ, что если что нужно, то могу постучать въ дверь.

Я отворилъ окно — день ужъ начался, утренній вѣтеръ подымался; я попросилъ у унтера воды и выпилъ цѣлую кружку. О снѣ не было и въ помышленіи. Впрочемъ и лечь было некуда; кромѣ грязныхъ кожаныхъ стульевъ и одного кресла въ канцеляріи находился только большой столъ, заваленный бумагами и въ углу маленькой столъ, еще болѣе заваленный бумагами. Скучный ночникъ не могъ освѣщать комнату, а дѣлалъ колеблющееся пятно свѣта на потолокъ, блѣднѣвшее больше и больше отъ разсвѣта.

Я сѣлъ на мѣсто частнаго пристава и взялъ первую бумагу, лежавшую на столѣ — билетъ на похороны двороваго человѣка князя Гагарина и медицинское свидѣтельство, что онъ умеръ по всѣмъ правиламъ науки. Я взялъ другую — полицейскій уставъ. Я пробѣжалъ его и нашелъ въ немъ статью, въ которой сказано: „всякій арестованный имѣетъ право черезъ три дня послѣ ареста узнать причину онаго или быть выпущенъ.“ Эту статью я себѣ замѣтилъ.

Черезъ часъ времени, я видѣлъ въ окно, какъ пріѣхалъ нашъ дворецкій и привезъ мнѣ подушку, одѣяло и шинель. Онъ просилъ о чемъ-то унтера, вѣроятно о позволеніи взойти ко мнѣ; это былъ сѣдой старикъ, у котораго я ребенкомъ перекрестилъ двухъ или трехъ дѣтей. Унтеръ грубо и отрывисто отказывалъ ему; одинъ изъ нашихъ кучеровъ стоялъ возлѣ. Я имъ закричалъ въ окно. Унтеръ засуетился и велѣлъ имъ убираться.

Старикъ кланялся мнѣ въ поясъ и плакалъ; кучеръ, стегнувши лошадь, снялъ шляпу и утеръ глаза — дрожки застучали и слезы полились у меня градомъ. Душа переполнилась. Это были первыя и послѣднія слезы во все время заключенія.

Къ утру, канцелярія начала наполняться, явился писарь, который продолжалъ быть пьянымъ съ вчерашняго дня — фигура чахоточная, рыжая, въ прищахъ, съ животно развратнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Онъ былъ во фракѣ кирпичнаго цвѣта, прескверно сшитомъ, нечистомъ, лоснящемся. Всѣмъ за нимъ пришелъ дружкой, въ унтеръ-офицерской шинели, чрезвычайно развизный. Онъ тотчасъ обратился къ мнѣ съ вопросомъ:

— Въ театрѣ что ли-съ попались?

— Меня арестовали дома.

— И самъ Ѳедоръ Ивановичъ?

— Кто это Ѳедоръ Ивановичъ?

— Полковникъ Маллеръ-съ.

— Да, онъ.

— Понимаемъ-съ, — онъ моргнулъ рыжему, который не показалъ никакого участія. Кантонистъ не продолжалъ разговора; онъ увидѣлъ, что я взялъ ни за буянство, ни за пьянство, и потерялъ ко мнѣ весь интересъ, а можетъ и боялся вступить въ разговоръ съ опаснымъ арестантомъ.

Спустя не много явились разные квартальные, заспанные и непроспавшіеся, наконецъ просители и тяжущіеся.

Содержательница публичнаго дома жаловалась на полпивщика, что онъ въ своей лавкѣ обругалъ ее всенародно и притомъ такими словами, которыя она, будучи женщиной, не можетъ произнести при начальствѣ. Полпивщикъ клялся, что онъ такихъ словъ никогда не

произносилъ. Содержательница клялась, что онъ ихъ неоднократно произносилъ и очень громко, причемъ она прибавляла, что онъ замахнулся на нее, и еслибъ она не наклонилась, то онъ раскроилъ бы ей все лице. Сидѣлецъ говорилъ, что она во-первыхъ ему не платить долгъ, во-вторыхъ разбила его въ собственной его лавкѣ, и, мало того, общала исколотить его не на животь, а на смерть руками своихъ приверженцевъ.

Содержательница, высокая, неопрятная женщина, съ отеками глазами, кричала пронзительно громкимъ, визжащимъ голосомъ и была чрезвычайно многорѣчива. Сидѣлецъ больше бралъ мимикой и движеніями, чѣмъ словами.

Саломонъ-квартирный, вмѣсто суда, бранилъ ихъ обоихъ на чемъ свѣтъ стоитъ. — Съ жиру собаки бѣсятся, говорилъ онъ, сидѣли-бъ бестія покойно у себя, благо мы молчимъ, да мирволимъ. Видишь, важность какая! поругались — да и тотчасъ начальство беспокоить. И что вы за фря такая? словно вамъ въ первый разъ—да васъ назвать нельзя, не выругавши, такимъ ремесломъ занимаетесь. — Полпившикъ тряхнулъ головой и передернулъ плечами въ знакъ глубокаго удовольствія. Квартирный тотчасъ напалъ на него. — А ты что изъ-за прилавка ланься, собака? хочешь въ сибирку? Сквернословъ эдакой, да лапу еще подымать — а березовыхъ, горичихъ... хочешь?

Для меня эта сцена имѣла всю прелесть новости, она у меня осталась въ памяти на всегда; это былъ первый, патріархальный русскій процессъ, который я видѣлъ.

Содержательница и квартирный кричали до тѣхъ поръ, пока взомелъ частный приставъ. Онъ, не спрашивая зачѣмъ эти люди тутъ и чего хотятъ, закричалъ

еще больше дикимъ голосомъ: „Вонъ отсюда, вонъ, что здѣсь торговая баня или кабакъ?“ — Прогнавши „сволочь“, онъ обратился къ квартальному: „Какъ вамъ это не стыдно допускать такой беспорядокъ? сколько разъ вамъ говорилъ? уваженіе къ мѣсту теряется — шваль всякая станеть послѣ этого Содомъ дѣлать. Вы потакаете слишкомъ этимъ мошенникамъ. Это что за человѣкъ?“ спросилъ онъ обо мнѣ.

Арестантъ, отвѣчалъ квартальный, котораго привезли Федоръ Ивановичъ, тутъ есть бумажка-съ.

Частный пробѣжалъ бумажку, посмотрѣлъ на меня, съ неудовольствіемъ встрѣтилъ прямой и неподвижный взглядъ, который я на немъ остановилъ, приготовляясь на первое его слово дать сдачи, и сказалъ: Извините.

Дѣло содержательницы и полпивщика снова явилось; она требовала присяги; пришелъ попъ; кажется, они оба присягнули, и конца не видалъ. Меня увезли къ оберъ-полицмейстеру; не знаю зачѣмъ, никто не говорилъ со мною ни слова, потомъ опять привезли въ частный домъ, гдѣ мнѣ была приготовлена комната подъ самой каланчей. Унтеръ-офицеръ замѣтилъ, что если я хочу поѣсть, то надобно послать купить что нибудь, что казенный паекъ еще не назначенъ, и что онъ еще дня два не будетъ назначенъ; сверхъ того, какъ онъ состоитъ изъ 3 или 4 копѣекъ серебромъ, то *хорошіе* арестанты предоставляютъ его въ экономію.

Запачканный диванъ стоялъ у стѣны, время было за полдень, я чувствовалъ страшную усталъ, бросился на диванъ и уснулъ мертвымъ сномъ. Когда я проснулся, на душѣ все улеглось и успокоилось. Я былъ измученъ въ послѣднее время неизвѣстностью объ Огаревѣ, теперь чередъ дошелъ и до меня, опасность не видѣлась издали, а обложила въ кругу, туча была надъ головой.

Это первое гоненіе должно было намъ служить рукоположеніемъ.

ГЛАВА X.

Подъ Каланчей—Лисабонскій кварталъ—Зажигатели.

Къ тюрьмѣ человѣкъ приучается скоро, если онъ имѣетъ сколько нибудь внутренняго содержанія. Къ тишинѣ и совершенной волѣ въ клѣткѣ привыкаешь быстро — никакой заботы, никакого разсѣянія.

Сначала не давали книгъ; частный приставъ увѣрялъ, что изъ дому книгъ не дозволяется брать. Я его просилъ купить. „Развѣ что нибудь учебное, грамматику какую, что-ли? пожалуй можно, а не то, надобно спросить генерала.“ Предложеніе читать отъ скуки грамматику было неизмѣримо смѣшно, тѣмъ не менѣе я ухватился за него обѣими руками и попросилъ частнаго пристава купить итальянскую грамматику и лексиконъ. Со мной были двѣ красненькія ассигнаціи, я отдалъ одну ему; онъ тутъ же послалъ поручика за книгами и отдалъ ему мое письмо къ оберъ-полицмейстеру, въ которомъ я, основываясь на вычитанной мною статьѣ, просилъ объявить мнѣ причину ареста или выпустить меня.

Частный приставъ, въ присутствіи котораго я писалъ письмо, уговаривалъ не посылать его. „Напрасно-съ, ей богу напрасно-съ утруждаете генерала, скажутъ: безпокійные люди, вамъ же вредъ, а пользы никакой не будетъ.“

Вечеромъ явился квартальный и сказалъ: что оберъ-полицмейстеръ велѣлъ мнѣ на словахъ объявить, что въ свое время и узнаю причину ареста. Далѣе онъ вытащилъ изъ кармана засаленную итальянскую грамматику и, улыбаясь, прибавилъ: такъ хорошо случилось, что тутъ и словарь есть, лексикончика не нужно. Объ сдачѣ и разговора не было. Я хотѣлъ было снова писать къ оберъ-полицмейстру, но роль миниатюрнаго Гемпдена въ пречистенской части показалась мнѣ слишкомъ смѣшной.

Недѣли черезъ полторы послѣ моего взятія, часу въ десятомъ вечера, пришелъ маленькаго роста черненькой и рябенькой квартальный съ приказомъ одѣться и отправляться въ слѣдственную комиссію.

Пока я одѣвался, случилось слѣдующее смѣшно-досадное происшествіе. Обѣдъ мнѣ присылали изъ дома, слуга отдавалъ внизу дежурному унтеръ-офицеру, тотъ присылалъ съ солдатомъ ко мнѣ. Виноградное вино позволялось пропускать отъ полубутылки до цѣлой въ день. Н. Сазоновъ, пользуясь этимъ дозволеніемъ, прислалъ мнѣ бутылку превосходнаго Іоганисберга. Солдаты и я, мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку; букетъ поразилъ издали. Этимъ виномъ я хотѣлъ наслаждаться дни три-четыре.

Надобно быть въ тюрьмѣ, чтобъ знать сколько ребячества остается въ человѣкѣ и какъ могутъ тѣшить мелочи отъ бутылки вина до шалости надъ сторожемъ.

Рябинькой квартальной отыскалъ мою бутылку и, обращаясь ко мнѣ, просилъ позволенія немного выпить. Досадно мнѣ было; однако я сказалъ, что очень радъ. Рюмки у меня не было. Извергъ этотъ взялъ стаканъ, налилъ его до невозможной полноты, и вылилъ его себѣ внутрь, не переводя дыханія; этотъ образъ вливанія

спиртовъ и винъ только существуетъ у русскихъ и у поляковъ; я во всей Европѣ не видалъ людей, которые бы пили *заломъ* стаканъ или умѣли *хватить* рюмку. Чтобъ потерю этого стакана сдѣлать еще чувствительнѣе, рябинкой квартальный, обтирая синимъ табачнымъ платкомъ губы, благодарилъ меня, приговаривая: „мадера хоть куда.“ Я съ ненавистью посмотрѣлъ на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа не обошла его человѣческой.

Этотъ знатокъ винъ привезъ меня въ оберъ-полицейстерской домъ на Тверскомъ бульварѣ, ввелъ въ боковую залу и оставилъ одного. Полчаса спустя, изъ внутреннихъ комнатъ вышелъ толстый человѣкъ съ лѣнивымъ и добродушнымъ видомъ; онъ бросилъ портфель съ бумагами на стулъ и послалъ куда-то жандарма, стоявшаго въ дверяхъ.

— Вы вѣрно, сказалъ онъ мнѣ по дѣлу Огарева и другихъ молодыхъ людей недавно взятыхъ? — Я подтвердилъ.

— Слышалъ я, продолжалъ онъ, мелькомъ. Странное дѣло, ничего не понимаю.

— Я сижу двѣ недѣли въ тюрьмѣ по этому дѣлу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего.

— Это-то и прекрасно, сказалъ онъ, пристально посмотрѣвши на меня, и не знайте ничего. Вы меня простите, а я вамъ дамъ совѣтъ: вы молоды, у васъ еще кровь горяча, хочется поговорить, это бѣда; не забудьте же, что вы ничего не знаете, это единственный путь спасенія.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ: лицо его не выражало ничего дурнаго; онъ догадался и, улыбувшись, сказалъ: Я самъ былъ студентъ Московскаго Университета лѣтъ двѣнадцать тому назадъ.

Взошелъ какой-то чиновникъ; толстякъ обратился къ нему какъ начальникъ и, кончивъ свои приказанія, вышелъ вонъ, ласково кивнувъ головой и приложивъ палецъ къ губамъ. Я никогда послѣ не встрѣчалъ этого господина и не знаю кто онъ; но искренность его совѣта я испыталъ.

Потомъ взошелъ полицмейстеръ, другой, не Ѳедоръ Ивановичъ, и позвалъ меня въ комиссію. Въ большой довольно красивой залѣ сидѣли за столомъ человѣкъ пять, всѣ въ военныхъ мундирахъ, за исключеніемъ одного чахлаго старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, растегнувши мундиры и развалиясь на креслахъ. Оберъ-полицмейстеръ предсѣдательствовалъ.

Когда я взошелъ, онъ обратился къ какой-то фигурѣ, смиренно сидѣвшей въ углу и сказалъ: — Батюшка, не угодно ли? Тутъ только я разглядѣлъ, что въ углу сидѣлъ старый священникъ съ сѣдой бородой и красно-синимъ лицомъ. Священникъ дремалъ, хотѣлъ домой; думалъ о чемъ-то другомъ и зѣвалъ, прикрывая рукою ротъ. Протяжнымъ голосомъ и нѣсколько на распѣвъ началъ онъ меня *утѣщать*; толковалъ о грѣхѣ утаивать истину предъ лицами, назначенными царемъ, и о бесполезности такой неоткровенности, взявъ во вниманіе всеслышащее ухо Божіе; онъ не забылъ даже сослаться на бѣчные тексты, что нѣтъ власти еще не отъ Бога и Кесарю Кесарево. Въ заключеніе онъ сказалъ, чтобъ я приложился къ святому Евангелію и *честному* кресту въ удостовѣреніе обѣта, котораго я впрочемъ не давалъ, да онъ и не требовалъ, искренно и откровенно раскрыть всю истину.

Окончивши, онъ поспѣшно началъ закрывать Евангеліе и крестъ. Цинскій, едва приподнявшись, сказалъ.

ему, что онъ можетъ идти. Послѣ этого онъ обратился ко мнѣ и перевелъ духовную рѣчь на гражданскій языкъ. „Я прибавлю къ словамъ священника одно— заператься вамъ нельзя, еслибъ вы и хотѣли.“ Онъ указалъ на кны бумагъ, писемъ, портретовъ, съ намѣреніемъ разбросанныхъ по столу. „Одно откровенное сознание можетъ смягчить вашу участь; быть на волѣ или въ Бобруйскѣ, на Кавказѣ, это зависитъ отъ васъ.“

Вопросы предлагались письменно; наивность нѣкоторыхъ была поразительна. „Не знаете ли вы о существованіи какого либо тайнаго общества? Не принадлежите ли вы къ какому нибудь обществу, литературному или иному? Кто его члены? гдѣ они собираются?“

На все это было чрезвычайно легко отвѣчать однимъ *Нѣтъ*.

— Вы, я вижу, ничего не знаете, сказалъ, перечитывая отвѣты, Цинскій. Я васъ предупредилъ, вы условните ваше положеніе.

Тѣмъ и кончился первый допросъ.

...Восемь лѣтъ спустя, въ другой половинѣ дома, гдѣ была слѣдственная коммиссія, жила женщина, нѣкогда прекрасная собой, съ дочерью красавицей, сестра новаго оберъ-полицейстера.

Я бывалъ у нихъ и всякій разъ проходилъ той залой, гдѣ Цинскій съ компаніей судилъ и радилъ насъ; въ ней висѣлъ, тогда и потомъ, портретъ Павла, напоминовеніемъ ли того, до чего можетъ унижить человека необузданность и злоупотребленіе власти, или для того чтобъ поощрять полицейскихъ на всякую свирѣность, не знаю, но онъ былъ тутъ, съ тростью въ рукахъ, курносый и нахмуренный; я останавливался всякій разъ предъ этимъ портретомъ, тогда арестантомъ, теперь гостемъ. Небольшая гостинная возлѣ, гдѣ все дышало

женщиной и красотой, была какъ-то неумѣстна въ домѣ строгости и слѣдствій; мнѣ было не по себѣ тамъ и какъ-то жалъ, что прекрасно развернувшійся цвѣтокъ попалъ на кирпичную, печальную стѣну съѣзжей. Наши рѣчи и рѣчи небольшого круга, друзей собиравшихся у нихъ, такъ иронически звучали, такъ удивляли ухо въ этихъ стѣнахъ, привыкнущихъ слушать допросы, доносы и рапорты о повальныхъ обыскахъ, въ этихъ стѣнахъ, отдѣлявшихъ насъ отъ шопота квартальныхъ, отъ вздоховъ арестантовъ, отъ бряканья жандармскихъ шпоръ и сабли уральскаго казака.....

Черезъ недѣлю или двѣ снова пришелъ рябинькой квартальный и снова привезъ меня къ Цинскому. Въ сѣняхъ сидѣли и лежали нѣсколько человѣкъ скованныхъ, окруженные солдатами съ ружьями; въ передней было тоже нѣсколько человѣкъ, разныхъ сословій, безъ цѣпей, но строго охраняемыхъ. Квартальный сказалъ мнѣ, что это все зажигатели. Цинскій былъ на пожарѣ, слѣдовало ждать его возвращенія; мы пріѣхали часу въ десятомъ вечера; въ часъ ночи меня еще никто не спрашивалъ и я все еще преспокойно сидѣлъ въ передней съ зажигателями. Изъ нихъ требовали то одного, то другого — полицейскіе бѣгали взадъ и впередъ, цѣпи гремѣли, солдаты отъ скуки брякали ружьями и выкидывали артикуль. Около часу пріѣхалъ Цинскій, въ сажѣ и копотѣ, и пробѣжалъ въ кабинетъ, не останавливаясь. Прошло съ полъ-часа, позвали моего квартальнаго; онъ воротился блѣдный, растерянный и съ судорожнымъ подергиваніемъ въ лицѣ. Вслѣдъ за нимъ Цинскій высунулъ голову въ дверь и сказалъ: А васъ, *Monsieur Г.*, вся комиссія ждала цѣлый вечеръ, этотъ *болванъ* привезъ васъ сюда въ то время, какъ васъ требовали къ князю Голицыну. Мнѣ очень жалъ, что вы

здѣсь прождали такъ долго, но это не моя вина. Что прикажете дѣлать съ такими исполнителями? я думаю, пятьдесятъ лѣтъ служить и все чурбанъ. Ну, пошелъ теперь домой! прибавилъ онъ, измѣнивъ голосъ на гораздо грубѣйшій и обращаясь къ квартальному.

Квартальный повторялъ цѣлую дорогу — Господи! какая бѣда! человекъ не думаетъ, не гадаетъ, что надъ нимъ сдѣлается; ну ужъ онъ меня доѣдетъ теперь, Онъ бы еще ничего, еслибъ васъ тамъ не ждали, а то вѣдь ему срамъ. Господи, какое несчастье!

Я простилъ ему рейнвейнгъ, особенно когда онъ мнѣ сообщилъ, что онъ менѣе былъ испуганъ, когда разъ тонулъ возлѣ Лисабона, чѣмъ теперь. Последнее обстоятельство было такъ неожиданно для меня, что мною овладѣлъ безумный смѣхъ.—Какъ же вы это попали въ Лисабонъ? помилуйте, на что же это похоже? спросилъ я его. Старикъ былъ лѣтъ за двадцать пять морскимъ офицеромъ. Нельзя не согласиться съ министромъ, который увѣрилъ капитана Копѣйкина, что въ Россіи, нѣкоторымъ образомъ, никакая служба не остается безъ вознагражденія. Его судьба спасла въ Лисабонѣ, для того чтобъ быть обруганнымъ Цинскимъ, какъ мальчишкѣ, послѣ сорокалѣтней службы.

Онъ же почти не былъ виноватъ.

Слѣдственная коммиссія, составленная генераль-губернаторомъ, не понравилась государю; онъ назначилъ новую подъ предсѣдательствомъ князя Сергѣя Михайловича Голицына. Въ этой коммиссіи членами были: московскій коммендантъ Стааль, другой князь Голицынъ, жандармскій полковникъ Шубенскій и прежній аудиторъ Оранскій.

Въ оберъ-полицейстерскомъ приказѣ не было ска-

зано, что комиссія переведена; весьма естественно, что лисабонскій квартальный свезъ меня къ Цинскому.

Въ частномъ домѣ была тоже большая тревога: три пожара случились въ одинъ вечеръ, и потомъ изъ комиссіи присылали два раза узнать, что со мной сдѣлалось—не бѣжалъ ли я. Чего Цинскій не добранилъ, то добавилъ частный приставъ лисабонцу, что и слѣдовало ожидать, потому что частный приставъ былъ тоже долею виноватъ, не справившись, куда именно требуютъ. Въ канцеляріи, въ углу, кто то лежалъ на стульяхъ и стоналъ; я посмотрѣлъ — молодой человѣкъ красивой наружности и чисто одѣтый; онъ харкалъ кровью и охалъ, частный лекарь совѣтовалъ пораньше утромъ отправить его въ больницу.

Когда унтеръ-офицеръ привезъ меня въ мою комнату, я выпыталъ отъ него исторію раненаго. Это былъ отставной гвардейскій офицеръ, онъ имѣлъ интригу съ какой-то горничной и былъ у нея, когда загорѣлся флигель. Это было время наибольшаго страха отъ зажигательства; дѣйствительно, не проходило дня, чтобъ я не слышалъ трехъ-четырехъ разъ сигнальнаго колокольчика; изъ окна я видѣлъ всякую ночь два-три зарева. Полиція и жители съ ожесточеніемъ искали зажигателей. Офицеръ, чтобъ не компрометировать дѣвушку, какъ только началась тревога, перелѣзъ заборъ и спрятался въ сараѣ сосѣдняго дома, выжидая минуты, чтобъ выйти. Маленькая дѣвчонка, бывшая на дворѣ, увидѣла его и сказала первымъ прискакавшимъ полицейскимъ, что зажигатель спрятался въ сараѣ; они ринулись туда съ толпой народа и съ торжествомъ вытащили офицера. Они его такъ основательно избили, что онъ на другой день къ утру умеръ.

Начался разборъ захваченныхъ людей; половину от-

пустыли, другихъ нашли подозрительными. Полицмейстеръ Брянчаниновъ ѣздилъ всякое утро и допрашивалъ часа три или четыре. Иногда допрашиваемыхъ сѣкли или били; тогда ихъ вопль, крикъ, просьбы, визгъ, женскій стонъ, вмѣстѣ съ рѣзкимъ голосомъ полицмейстера и однообразнымъ чтеніемъ письмоводителя, доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Мнѣ по ночамъ грезились эти звуки и я просыпался въ изступленіи, думая, что страдальцы эти въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня лежатъ на соломѣ, въ цѣпяхъ, съ изодранной, съ избитой спиной, и навѣрное безъ всякой вины.

Чтобъ знать, что такое русская тюрьма, русскій судъ и полиція, для этого надобно быть мужикомъ, дворovýmъ, мастеровымъ или мѣщаниномъ. Политическихъ арестантовъ, которые большею частію принадлежатъ къ дворянству, содержатъ строго, наказываютъ свирѣпо, но ихъ судьба не идетъ ни въ какое сравненіе съ судьбою бѣдныхъ бородачей. Съ этими полиція не церемонится. Къ кому мужикъ или мастеровой пойдетъ потомъ жаловаться, гдѣ найдетъ судъ?

Таковъ безпорядокъ, звѣрство, своеволие и развратъ русскаго суда и русской полиціи, что простой человѣкъ, попавшійся подъ судъ, боится не наказанія по суду, а судопроизводства. Онъ ждетъ съ нетерпѣніемъ, когда его пошлютъ въ Сибирь; его мученичество оканчивается съ началомъ наказанія. Теперь вспомнимъ, что три четверти людей, хватаемыхъ полиціею по подозрѣнію, судомъ освобождаются и что они прошли черезъ тѣ же истязанія, какъ и виновные.

Петръ III уничтожилъ застѣнокъ и тайную канцелярію.

Екатерина II уничтожила пытку.

Александръ I *еще разъ* ее уничтожилъ.

Отвѣты, сдѣланные „подъ страхомъ,“ не считаются по закону. Чиновникъ, пытающій подсудимаго, подвергается самъ суду и строгому наказанію.

И во всей Россіи — отъ Берингова пролива до Тау-рогена—людей пытаются; тамъ гдѣ опасно пытатъ розгами, пытаются нестерпимымъ жаромъ, жаждой, соленой пищей; въ Москвѣ полиція ставила какого то подсудимаго босаго, градусовъ въ десять мороза, на чугунный полъ; онъ занемогъ и умеръ въ больницѣ, бывшей подъ начальствомъ князя Мещерскаго, рассказывавшаго съ негодованіемъ объ этомъ. Начальство знаетъ все это, губернаторы прикрываютъ, *правительствующій сенатъ* мирволить, министры молчатъ; государь и синодъ, помѣщики и квартальные всѣ согласны съ Селифаномъ, „что отъ чего же мужика и не посѣчь, мужика иногда надобно посѣчь!“

Коммиссія, назначенная для розыска зажигательствъ, судила, т. е. сѣкла, мѣсяцевъ шесть къ ряду, и ничего не высѣкла. Государь разсердился и велѣлъ дѣло окончить въ три дня. Дѣло и кончилось въ три дня; виновные были найдены и приговорены къ наказанію кнутомъ, клейменію и ссылкѣ въ каторжную работу. Изъ всѣхъ домовъ собрали дворниковъ смотрѣть страшное наказаніе „зажигателей.“ Это было уже зимой и я содержался тогда въ крутицкихъ казармахъ. Жандармскій ротмистръ, бывший при наказаніи, добрый старикъ, сообщилъ мнѣ подробности, которыя я передаю. Первый, осужденный на кнутъ, громкимъ голосомъ сказалъ народу, что онъ клянется въ своей невинности, что онъ самъ не знаетъ, что отвѣчалъ подъ вліяніемъ боли, при этомъ онъ снялъ съ себя рубашку и, повернувшись спиной къ народу, прибавилъ: „посмотрите, православные!“

Стоянь ужаса пробѣжалъ по толпѣ, его спина была синяя полосатая рана и по этой-то ранѣ его слѣдовало бить кнутомъ. Ропотъ и мрачный видъ собраннаго народа заставили полицію торопиться, палачи отпустили законное число ударовъ, другіе заклеямили, третьи сковали ноги и дѣло казалось оконченнымъ. Однако сцена эта поразила жителей; во всѣхъ кругахъ Москвы говорили объ ней. Генераль-губернаторъ донесъ объ этомъ государю. Государь велѣлъ назначить *новый* судъ и особенно разобрать дѣло зажигателя, протестовавшаго передъ наказіемъ.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, прочелъ я въ газетахъ, что государь, желая вознаградить двухъ невинно наказанныхъ кнутомъ, приказалъ имъ выдать по 200 руб. за ударъ и снабдить особымъ паспортомъ, свидѣтельствующимъ ихъ невинность, не смотря на клеймо. Это былъ зажигатель, говорившій къ народу, и одинъ изъ его товарищей.

Исторія о зажигательствахъ въ Москвѣ въ 1834 г., отозвавшаяся лѣтъ черезъ десять въ разныхъ провинціяхъ, остается загадкой. Что поджоги были, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; вообще огонь, „красный пѣтухъ—“ очень національное средство мести у насъ. Безпрестанно слышишь о поджогѣ барской усадьбы, овина, амбара. Но что за причина была пожаровъ, именно въ 1834 въ Москвѣ, этого никто не знаетъ, всего меньше члены комиссіи.

Передъ 22 Августа, днемъ коронаціи, какіе-то шалуны подкинули въ разныхъ мѣстахъ письма, въ которыхъ сообщали жителямъ, чтобъ они не заботились объ иллюминаціи, что освѣщеніе будетъ.

Переполюшилось трусливое московское начальство. Съ утра частный домъ былъ наполненъ солдатами, эс-

кадронъ улановъ стоялъ на дворѣ. Вечеромъ патрули верхомъ и пѣшіе безпрестанно объѣзжали улицы. Въ экзерциръ-гаузѣ была приготовлена артилерія. Полицейскіе мастера сказали взадъ и впередъ съ казаками и жандармами, самъ князь Голицынъ съ адъютантами проѣхалъ верхомъ по городу. Этотъ военный видъ скромной Москвы былъ страненъ и дѣйствовалъ на нервы. Я до поздней ночи лежалъ на окнѣ подъ своей каланчей и смотрѣлъ на дворъ... спѣшившіеся уланы сидѣли кучками около лошадей, другіе садились на коней; офицеры расхаживали, съ пренебреженіемъ глядя на полицейскихъ; плацъ-адъютанты пріѣзжали съ озабоченнымъ видомъ, съ желтымъ воротникомъ и, ничего не сдѣлавши, уѣзжали.

Пожаровъ не было.

Вслѣдъ за тѣмъ явился самъ государь въ Москву. Онъ былъ недоволенъ слѣдствіемъ надъ нами, которое только началось, былъ недоволенъ, что насъ оставили въ рукахъ явной полиціи, былъ недоволенъ, что не нашли зажигателей, словомъ былъ недоволенъ всѣмъ и всѣми.

Мы вскорѣ почувствовали высочайшую близость.

ГЛАВА XI.

Крутицкія казармы — Жандармскія повѣствованія — Офицеры.

Дня черезъ три послѣ пріѣзда государя, поздно вечеромъ—всѣ эти вещи дѣлаются въ темнотѣ, чтобъ не беспокоить публику—пришелъ ко мнѣ полицейскій офи-

церь съ приказомъ собрать вещи и отправляться съ нимъ.

— Куда? спросилъ я.

— Вы увидите, отвѣчалъ умно и учтиво полицейскій. Послѣ этого разумѣется я не продолжалъ разговора, собралъ вещи и пошелъ.

Вѣхали мы, вѣхали, часа полтора, наконецъ проѣхали Симоновъ монастырь и остановились у тяжелыхъ каменныхъ воротъ, передъ которыми ходили два жандарма съ карабинами. Это былъ крутицкій монастырь, превращенный въ жандармскія казармы.

Меня привели въ небольшую канцелярію. Писаря, адъютанты, офицеры, все было голубое. Дежурный офицеръ, въ каскѣ и полной формѣ, просилъ меня подождать и даже предложилъ закурить трубку, которую я держалъ въ рукахъ. Послѣ этого онъ принялся писать росписку въ полученіи арестанта; отдавъ ее квартальному, онъ ушелъ и воротился съ другимъ офицеромъ. Комната ваша готова, сказалъ мнѣ послѣдній, пойдемте. Жандармъ свѣтилъ намъ, мы сошли съ лѣстницы, прошли нѣсколько шаговъ дворомъ, взошли небольшою дверью въ длинный коридоръ, освѣщенный однимъ фонаремъ; по обѣимъ сторонамъ были небольшія двери, одну изъ нихъ отворилъ дежурный офицеръ; дверь вела въ крошечную кордегардію, за которой была небольшая комнатка сырая, холодная и съ запахомъ подвала. Офицеръ съ аксельбантомъ, который привелъ меня, обратился ко мнѣ, на французскомъ языкѣ говоря, что онъ *désolé d'être dans la nécessité* шарить въ моихъ карманахъ, но что военная служба, обязанность, повиновеніе... Послѣ этого краснорѣчиваго вступленія, онъ очень просто обернулся къ жандарму и указалъ на меня глазомъ. Жандармъ въ ту-же минуту запустилъ невѣроятно боль-

шую и шершавую руку въ мой карманъ. Я замѣтилъ учтивому офицеру, что это вовсе не нужно, что я самъ пожалуй выворочу все карманы, безъ такихъ насильственныхъ мѣръ. Къ тому-же, что могло быть у меня послѣ полутора-мѣсячнаго заключенія.

— Знаемъ мы, сказалъ, неподражаемо самодовольно улыбаясь, офицеръ съ аксельбантомъ, знаемъ мы порядки частныхъ домовъ. Дежурный офицеръ тоже колко улыбнулся, однако жандарму сказали, чтобъ онъ только смотрѣлъ; я вынулъ все, что было.

— Высыпьте на столъ вашъ табакъ, сказалъ офицеръ *désolé*.

У меня въ кисетѣ былъ перочинный ножикъ и карандашъ, завернутые въ бумажкѣ; и съ самаго начала думалъ объ нихъ и, говоря съ офицеромъ, игралъ съ кисетомъ до тѣхъ поръ, пока ножикъ мнѣ попалъ въ руку, я держалъ его сквозь матерію, и смѣло высыпалъ табакъ на столъ, жандармъ снова его высыпалъ. Ножикъ и карандашъ были спасены: вотъ жандарму съ аксельбантомъ урокъ за его гордое пренебреженіе къ явной полиціи.

Это происшествіе расположило меня чрезвычайно хорошо, я весело сталъ разсматривать мои новыя владѣнія.

Въ монашескихъ кельяхъ, построенныхъ за триста лѣтъ и ушедшихъ въ землю, устроили нѣсколько свѣтскихъ келій для политическихъ арестантовъ.

Въ моей комнатѣ стояла кровать безъ тюфяка, маленькой столикъ, на немъ кружка съ водой, возлѣ стулъ, въ большомъ мѣдномъ шандалѣ горѣла тонкая сальная свѣча. Сырость и холодъ проникали до костей; офицеръ велѣлъ затопить печь, потомъ все ушли. Солдаты обѣщали принести сѣна, пока, подложивъ шинель

подъ голову, и легъ на голую кровать, и закурилъ трубку.

Черезъ минуту я замѣтилъ, что потолокъ былъ покрытъ прусскими тараканами. Они давно не видали свѣчи и бѣжали со всѣхъ сторонъ къ освѣщенному мѣсту, толкались, суетились, падали на столъ и бѣгали потомъ опрометью взадъ впередъ по краю стола.

Я не любилъ таракановъ, какъ вообще всякихъ незваныхъ гостей; сосѣди мои показались мнѣ страшно гадки, но дѣлать было нечего, не начать же было жаловаться на таракановъ и нервы покорились. Впрочемъ дня черезъ три всѣ пруссаки перебрались за загородку къ солдату, у котораго было теплѣе; иногда только забѣжить бывало одинъ, другой тараканъ, поводить усами и тотчасъ назадъ грѣться.

Сколько я не просилъ жандарма, онъ печку все таки закрылъ. Мнѣ становилось не по себѣ, въ головѣ кружилось, я хотѣлъ встать и постучать солдату; дѣйствительно всталъ, но этимъ и оканчивается все, что я помню...

... Когда я пришелъ въ себя, я лежалъ на полу, голову ломило странно. Высокій, сѣдой жандармъ стоялъ сложа руки и смотрѣлъ на меня безсмысленно-внимательно, въ томъ родѣ, какъ въ извѣстныхъ бронзовыхъ статуеткахъ собака смотритъ на черепаху.

— Славно угорѣли, ваше благородіе, сказалъ онъ, види, что я очнулся. И вамъ хрѣнку принесть съ солью и съ квасомъ, я ужъ вамъ давалъ нюхать, теперь выпейте; я выпилъ, онъ поднялъ меня и положилъ на постель; мнѣ было очень дурно, окно было съ двойной рамой и безъ форточки; солдатъ ходилъ въ канцелярію просить разрѣшенія выйти на дворъ; дежурный офицеръ велѣлъ сказать, что ни полковника, ни адъютанта

нѣтъ на лицо, а что онъ на свою отвѣтственность взять не можетъ. Пришлось оставаться въ угарной комнатѣ.

Обжился я и въ крутицкихъ казармахъ, спрягая итальянскіе глаголы и почитывая кой-какія книжонки. Сначала содержаніе было довольно строго, въ девять часовъ вечера при послѣднемъ звукѣ вѣстовой трубы солдатъ входилъ въ комнату, тушилъ свѣчу и запиралъ дверь на замокъ. Съ девяти вечера до восьми слѣдующаго дня приходилось сидѣть въ потемкахъ. Я никогда не спалъ много, въ тюрьмѣ безъ всякаго движенія мнѣ за глаза было достаточно четырехъ часовъ сна, каково же наказаніе не имѣть свѣчи? Къ тому же часовые съ двухъ сторонъ коридора кричали каждые четверть часа протяжно и громко „Слу—у—у шай!“

Черезъ нѣсколько недѣль, полковникъ Семеновъ (братъ знаменитой актрисы, впослѣдствіи княгини Гагариной) позволилъ оставлять свѣчу, запретивъ, чтобъ чѣмъ нибудь завѣшивали окно, которое было ниже двора, такъ что часовой могъ видѣть все, что дѣлается у арестанта, и не велѣлъ въ коридорѣ кричать „слушай.“

Потомъ комендантъ разрѣшилъ намъ имѣть чернильницу и гулять по двору. Бумага давалась счетомъ на томъ условіи, чтобъ всѣ листы были цѣлы. Гулять было дозволено разъ въ сутки на дворѣ, окруженномъ оградой и цѣпью часовыхъ въ сопровожденіи солдата и дежурнаго офицера.

Жизнь шла однообразно, тихо, военная аккуратность придавала ей какую-то механическую правильность въ родѣ цензуры въ стихахъ. Утромъ я варилъ съ помощью жандарма въ печкѣ кофей; часовъ въ десять являлся дежурный офицеръ, внося съ собой нѣсколько кубическихъ футовъ мороза, гремя саблей, въ перчаткахъ съ

огромными обшлагами, въ каскѣ и шинели, въ часѣ жандармъ приносилъ грязную салфетку и чашку супа, которую онъ держалъ всегда за края, такъ что два большіе пальца были примѣтно чище остальныхъ. Кормили насъ спосно, но при этомъ не слѣдуетъ забывать, что за кормъ брали по два руб. асс. въ день, что въ продолженіи девяти мѣсячнаго заключенія составило довольно значительную сумму для немущихъ. Отецъ одного арестанта просто сказалъ, что у него денегъ нѣтъ; ему хладнокровно отвѣтили, что у него изъ жалованья вычтутъ. Еслибъ онъ не получалъ жалованья, весьма вѣроятно, что его посадили бы въ тюрьму.

Въ дополненіи должно замѣтить, что въ казармы прислалось для нашего прокормленія полковнику Семенову 1 руб. 50 коп. изъ ордонансъ-гауза. Изъ этого было вышелъ шумъ; но пользовавшіеся этимъ плацъ-адъютанты задарили жандармскій дивизіонъ ложами на первыя представленія и бенефисы, тѣмъ дѣло и кончилось.

Послѣ вечерней зари наступала совершенная тишина, вовсе не прерываемая шагами солдата, хрустѣвшими по снѣгу передъ самымъ окномъ, ни дальними оклика-ми часовыхъ. Обыкновенно я читалъ до часу, и потомъ тушилъ свѣчу. Сонъ переносилъ на волю, иной разъ въ просоньяхъ казалось: фу какія тяжелыя грезы приснились — тюрьма, жандармы, и радуешься, что все это сонъ, а тутъ вдругъ прогрѣмить сабля по коридору, или дежурный офицеръ отворить дверь, сопровождаемый солдатомъ съ фонаремъ, или часовой прокричить нечеловѣчески „кто идетъ?“ или труба подъ самымъ окномъ рѣзкой „зарей“ раздеретъ утренній воздухъ...

Въ скучныя минуты, когда не хотѣлось читать, и толковалъ съ жандармами, караулившими меня, особенно съ старикомъ, лечившимъ меня отъ угара. Полковникъ

въ знакъ милости отряжаетъ старыхъ солдатъ, избавляя ихъ отъ строя, на спокойную должность беречь запертаго человѣка, надъ ними назначается ефрейтеръ — шпіонъ и плутъ. Пять-шесть жандармовъ дѣлали всю службу.

Старикъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ существо простое, доброе и преданное за всякую ласку, которыхъ вѣроятно ему немного доставалось въ жизни. Онъ дѣлалъ кампанію 1812 года, грудь его была покрыта медалями, срокъ свой онъ выслужилъ, и остался по доброй волѣ, не зная куда дѣться. Я два раза, говорилъ онъ, писалъ на родину въ могилевскую губернію, да отвѣта не было, видно изъ моихъ никого больше нѣтъ; такъ оно какъ-то и жутко на родину придти, побудешь, побудешь, да какъ окаинный какой и пойдешь, куда глаза глядятъ Христа ради просить. Какое варварское и безжалостное устройство военной службы въ Россіи, съ ея чудовищнымъ срокомъ! Личность человѣка у насъ вездѣ привнесена на жертву безъ малѣйшей пощады, безъ всякаго вознагражденія.

Старикъ Филимоновъ имѣлъ притязанія на знаніе нѣмецкаго языка, которому обучался на зимнихъ квартирахъ послѣ взятія Парижа. Онъ очень удачно накладывалъ на русскіе правы нѣмецкія слова: лошадь онъ называлъ *фертъ*, лица—*пры*, рыбу—*пишъ*, овесъ—*оберъ*, блины—*панкузи*.

Въ его разсказахъ былъ характеръ наивности, наводившій на меня грусть и раздумье. Въ Молдавіи во время турецкой кампаніи 1805 г. онъ былъ въ ротѣ капитана, добрейшаго въ мірѣ, который о каждомъ солдатѣ какъ о сынѣ пекся и въ дѣлѣ былъ всегда впереди. „Его приворожила къ себѣ одна молдаванка, мы видимъ нашъ ротный командиръ въ заботѣ, а, онъ знаете

того, подмѣтилъ, что молдаванка къ другому офицеру похаживаетъ. Вотъ разъ позвалъ онъ меня и одного товарища—славнаго солдата, ему потомъ подѣ Малымъ-Ирославцемъ обѣ ноги оторвало — и сталъ намъ говорить, какъ его молдаванка обидѣла, и что хотимъ ли мы помочь ему и дать ей науку. Отъ чего же, говоримъ мы ему, мы вашему высокоблагородію всегда ради стараться, Онъ поблагодарилъ, да и указалъ домъ, въ которомъ жилъ офицеръ и говоритъ: вы почью станите на мосту, она безпремѣнно поидетъ къ нему, вы ее безъ шума возьмите, да и въ рѣку. Можно молъ, ваше высокоблагородіе, говоримъ мы ему, да и припасли съ товарищемъ мѣшочикъ; сидимъ-съ, только едакъ къ полночи бѣжитъ молдаванка, мы знаете, говоримъ ей: что молъ сударыня торопитесь, да и дали ей разъ по головѣ, она голубушка не пикнула, мы ее въ мѣшокъ да и въ рѣку. А капитанъ на другой день къ офицеру пришелъ и говоритъ: вы не гнѣвайтесь на молдаванку, мы ее немножко позадержали, она то есть теперь въ рѣкѣ, а съ вами дискать прогуляться можно, на саблѣ или на пистоляхъ, какъ угодно. Ну и рублились. Тотъ нашему капитану грудь сильно прохватилъ, почахъ сердечный, одначе мѣсяца черезъ три Богу душу и отдалъ.

— А молдаванка, спросилъ я, такъ и утонула?

— Утонула-съ, отвѣчалъ солдатъ.

Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на дѣтскую безпечность, съ которой старый жандармъ мнѣ рассказывалъ эту исторію. И онъ, какъ будто догадавшись или подумавъ въ первый разъ о ней, добавилъ, успокоивая меня и примиряясь съ совѣстью:

— Изычница-съ, все равно что некрещенная, такой народъ.

Жандармамъ даютъ всякій царскій день чарку водки.

Вахмистръ позволялъ Филимонову отказываться разъ пять-шесть отъ своей порціи и получать разомъ всѣ пять-шесть; Филимоновъ мѣтилъ на деревянную бирку сколько стаканчиковъ пропущено и въ самые большіе праздники отправлялся за ними. Водку эту онъ выливалъ въ миску, крошилъ въ нее хлѣбъ и ѣлъ ложкой. Послѣ такой закуски, онъ закуривалъ большую трубку на крошечномъ чубучкѣ, табакъ у него былъ крѣпости невѣроятной, онъ его самъ крошилъ и вслѣдствіе этого остроумно называлъ „санкраше.“ Кури, онъ укладывался на небольшомъ окнѣ, стула въ солдатской комнатѣ не было, согнувшись въ три погибели и пѣлъ пѣсню:

Вышли дѣвки на лужокъ
Гдѣ муравка и цвѣтокъ.

По мѣрѣ того какъ онъ пьянѣлъ, онъ иначе произносилъ слово цвѣтокъ—твѣтокъ, квѣтокъ, хвѣтокъ, дойдя до хвѣтокъ, онъ засыпалъ. Каково здоровье человѣка, слишкомъ шестидесяти лѣтъ, два раза раненаго и который выносилъ такіе завтраки?

Прежде нежели я оставлю эти казарменно-фламандскія картины à la Вуверманъ-Кало и эти тюремныя сцены, похожія на воспоминанія всѣхъ въ неволѣ заключенныхъ, скажу еще нѣсколько словъ объ офицерахъ.

Большая часть между ними были довольно добрые люди, вовсе не шпионы, а люди случайно занесенные въ жандармскій дивизіонъ. Молодые дворяне, мало или ничему не учившіеся, безъ состоянія, не зная куда преклонить главы, они были жандармами, потому что не нашли другого дѣла. Должность свою они исполняли со всею военной точностью, но я не замѣчалъ тѣни усердія, исключая, впрочемъ, адъютанта, но за то онъ и былъ адъютантомъ.

Когда офицеры ознакомились со мной, они дѣлали всѣ маленькія льготы и облегченія, которыя отъ нихъ зависѣли, жаловаться на нихъ было бы грѣшно.

Одинъ молодой офицеръ рассказывалъ мнѣ, что въ 1831 году онъ былъ командированъ отыскать и захватить одного польскаго помѣщика, скрывавшагося въ сосѣдствѣ своего имѣнія. Его обвиняли въ сношеніяхъ съ эмигрантами. Офицеръ отправился, по собраннымъ свѣдѣніямъ онъ узналъ мѣсто, гдѣ укрывался помѣщикъ, явился туда съ командой, оцѣнилъ домъ и взошелъ въ него съ двумя жандармами. Домъ былъ пустой — походили они по комнатамъ, пошныряли, нигдѣ никого, а между прочимъ нѣкоторые бездѣлцы явно показывали, что въ домѣ недавно были жильцы. Оставя жандармовъ внизу, молодой человѣкъ второй разъ пошелъ на чердакъ; осматривая внимательно, онъ увидѣлъ небольшую дверь, которая вела къ чулану или къ какой нибудь коморкѣ; дверь была заперта изнутри, онъ толкнулъ ее ногой, она отворилась и высокая женщина, красивая собой, стояла передъ ней; она молча указывала ему на мужчину, державшаго въ своихъ рукахъ дѣвочку лѣтъ двѣнадцати, почти безъ памяти. Это былъ онъ и его семья. Офицеръ смутился. Высокая женщина замѣтила это и спросила его: И вы будете имѣть жестокость погубить ихъ? Офицеръ извинился, говоря обычныя пошлости о безпрекословномъ повиновеніи, о долгѣ и наконецъ въ отчаяніи, видя, что его слова нисколько не дѣйствуютъ, кончилъ свою рѣчь вопросомъ: Что же мнѣ дѣлать? Женщина гордо посмотрѣла на него и сказала указывая рукой на дверь: Идти внизъ и сказать, что здѣсь никого нѣтъ. „Ей Богу, не знаю, говорилъ офицеръ, какъ это случилось и что со мной было, но я сошелъ съ чердака и велѣлъ унтеру собрать команду.

Черезъ два часа мы его усердно искали въ другомъ помѣсти; пока онъ пробирался за границу. Ну женщина! признаюсь!”

...Ничего въ мірѣ не можетъ быть ограниченіе и безчеловѣчіе какъ оптовья осужденія цѣлыхъ сословій по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цѣха. Названія страшная вещь. Ж. П. Рихтеръ говоритъ съ чрезвычайной вѣрностью: если дитя солжетъ, испугайте его дурнымъ дѣйствіемъ, скажите что онъ солгалъ, но не говорите, что онъ *лунъ*. Вы разрушаете его нравственное довѣріе къ себѣ, опредѣляя его какъ лгуна. „Это убійца“ говорятъ намъ, и намъ тотчасъ кажется спрятанный кинжалъ, звѣрское выраженіе, черные замыслы, точно будто убивать постоянное занятіе, ремесло человѣка, которому случилось разъ въ жизни кого нибудь убить. Нельзя быть шпиономъ, торгашемъ чужаго разврата, и честнымъ человекомъ, но можно быть жандармскимъ офицеромъ, не утративъ всего человѣческаго достоинства; такъ какъ сплошь да рядомъ можно пайти женственность, нѣжное сердце и даже благородство въ несчастныхъ жертвахъ „общественной невоздержности.“

Я имѣю отвращеніе къ людямъ, которые не умѣютъ, не хотятъ или не даютъ себѣ труда идти далѣе названія, перешагнуть черезъ преступленіе, черезъ запутанное, ложное положеніе, цѣломудренно отворачиваясь или грубо отталкивая. Это дѣлаютъ обыкновенно отвлеченныя, сухія, себялюбивыя, противныя въ своей чистотѣ натуры или натуры пошлыя, низшія, которымъ еще не удалось или не было нужды заявить себя официально; онѣ по сочувствію дома на грязномъ днѣ, на которое другіе упали.

ГЛАВА XII.

Слѣдствіе—Голицинъ *ser.*—Голицинъ *jup.*—Генераль Стааль—
Сентенція—Соколовскій.

..... Но при всемъ этомъ что же *дѣло*, что же слѣдствіе и процессъ ?

Въ новой комиссіи дѣло также не шло на ладъ какъ въ старой. Полиція слѣдила за нами давно, но нетерпѣливая не могла въ своемъ усердіи дожидаться дѣльнаго повода и сдѣлала вздоръ. Она подослала отставнаго офицера Скарятку, чтобъ насъ завлечь, обличить; онъ познакомился почти со всѣмъ нашимъ кругомъ, но мы очень скоро угадали что онъ такое и удалили его отъ себя. Другіе молодые люди, большею частью студенты, не были такъ осторожны, но эти *другіе* не имѣли съ нами никакой серьезной связи.

Одинъ студентъ, окончившій курсъ, давалъ своимъ пріятелямъ праздникъ 24 Іюня 1834 года. Изъ насъ не только не было ни одного на пиру, но никто не *былъ приглашенъ*. Молодые люди перепились, дурачились, танцовали мазурку и между прочимъ спѣли хоромъ извѣстную пѣсню Соколовскаго :

Русскій Императоръ
Въ вѣчность отошелъ.
Ему операторъ
Брюхо распоролъ.
Плачетъ Государство,
Плачетъ весь народъ,
Вѣдетъ къ намъ на царство
Константиъ уродъ.

Но царю вселенной,
Богу вышнихъ силъ,
Царь благословенный
Грамотку вручилъ.

Манифестъ читая
Сжалился Творецъ.
Далъ намъ Николая,
С. . . . , подлецъ.

Вечеромъ Скарятка *вдругъ* вспомнилъ, что это день его именинъ, рассказалъ исторію, какъ онъ выгодно продалъ лошадь и пригласилъ студентовъ къ себѣ, обѣщая дюжину шампанскаго. Всѣ поѣхали. Шампанское явилось и хозяинъ покачиваясь предложилъ еще разъ спѣть пѣсню Соколовскаго. Среди пѣнія отворилась дверь и взмошелъ Цинскій съ полиціей. Все это было грубо, глупо, неловко и притомъ неудачно.

Полиція хотѣла захватить насъ, она искала внѣшній поводъ запутать въ дѣло человѣкъ пять-шесть, до которыхъ добиралась — и захватила двадцать человѣкъ невинныхъ.

Но русскую полицію трудно сконфузить. Черезъ двѣ недѣли арестовали насъ какъ *соприкосновенныхъ* къ дѣлу праздника. У Соколовскаго нашли письма С., у С. письма Огарева, у Огарева мон, — тѣмъ не менѣе ничего не раскрывалось. Первое слѣдствіе не удалось. Для большаго успѣха второй комиссіи, государь послалъ изъ Петербурга отборнѣйшаго изъ инквизиторовъ, А. Ѳ. Голыцина.

Порода эта у насъ рѣдка. Къ ней принадлежалъ извѣстный начальникъ третьяго отдѣленія Мордвиновъ, виленскій ректоръ Пеликанъ, да нѣсколько служивыхъ остзейцевъ и падшихъ поляковъ.*)

*) Къ вновь отличившимся талантамъ принадлежитъ извѣстный

Но на бѣду инквизиціи, первымъ членомъ былъ назначенъ московскій комендантъ Стааль. Стааль — прямодушный воинъ, старый, храбрый генералъ, разобралъ дѣло и нашелъ, что оно состоитъ изъ двухъ обстоятельствъ, не имѣющихъ ничего общаго между собой, изъ дѣла о праздникѣ, за который слѣдуетъ полицейскій наказъ, и изъ ареста людей захваченныхъ богъ знаетъ почему, которыхъ вся видимая вина въ какихъ-то полувывсканныхъ миѣніяхъ, за которыя судить и трудно и смѣшно.

Миѣніе Стаали не понравилось Голицыну младшему. Споръ ихъ принялъ колкій характеръ; старый воинъ вспыхнулъ отъ гнѣва, ударилъ своей саблей по полу и сказалъ: „вмѣсто того, чтобъ губить людей, вы бы лучше сдѣлали представленіе о закрытіи всѣхъ школъ и университетовъ, это предупредить другихъ несчастныхъ а впрочемъ вы можете дѣлать, что хотите, но дѣлать безъ меня, нога моя не будетъ въ комиссіи.“ Съ этими словами старикъ поспѣшно оставилъ залу.

Въ тотъ-же день это было донесено государю.

Утромъ когда комендантъ явился съ рапортомъ, государь спросилъ его, зачѣмъ онъ не хочетъ ѣздить въ комиссію? Стааль рассказалъ зачѣмъ.

— Что за вздоръ? возразилъ императоръ, ссориться съ Голицынымъ, какъ не стыдно! я надѣюсь, что ты по прежнему будешь въ комиссіи.

— Государь, отвѣтилъ Стааль, пощадите мои сѣдые волосы, я дожилъ до нихъ безъ малѣйшаго пятна. Мое усердіе извѣстно в. в., кровь моя, остатокъ дней принадлежитъ вамъ. Но тутъ дѣло идетъ о моей чести —

Дипраиди, подавшій прозектъ объ учрежденіи академіи шпіонства (1858).

моя совѣсть возстаётъ противъ того, что дѣлается въ комиссіи.

Государь сморщился, Стааль откланялся и въ комиссіи не былъ ни разу съ тѣхъ поръ.

Этотъ анекдотъ, котораго вѣрность не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, бросаетъ большой свѣтъ на характеръ Николая. Какъ же ему не пришло въ голову, что если человѣкъ, которому онъ не отказываетъ въ уваженіи, храбрый воинъ, заслуженный старецъ, такъ упирается и такъ умоляетъ пощадить его честь, то стало быть дѣло не совсѣмъ чисто? Меньше нельзя было сдѣлать какъ потребовать на лицо Голицына и велѣть Стаалу при немъ объяснить дѣло. Онъ этого не сдѣлалъ, а велѣлъ насъ строже содержать.

Послѣ него въ комиссіи остались одни враги подсудимыхъ подъ предсѣдательствомъ простенькаго старичка, князя С. М. Голицына, который черезъ девять мѣсяцевъ также мало зналъ дѣло какъ девять мѣсяцевъ прежде его начала. Онъ хранилъ важно молчаніе, рѣдко вступалъ въ разговоръ и при окончаніи допроса всякій разъ спрашивалъ: Его *можно* отпустить?— Можно, отвѣчалъ Голицынъ junior, и senior важно говорилъ арестанту: Ступайте!

Первый допросъ мой продолжался четыре часа.

Вопросы были двухъ родовъ. Одни имѣли цѣлью раскрыть образъ мыслей „несвойственныхъ духу правительства, мнѣнія революціонныя и проникнутыя пагубнымъ ученіемъ Сенъ-Симона“ — такъ выражался Голицынъ junior и аудиторъ Оранскій.

Эти вопросы были легки, но не были вопросы. Въ захваченныхъ бумагахъ и письмахъ мнѣнія были высказаны довольно просто; вопросы собственно могли относиться къ вещественному факту, писалъ ли человѣкъ

или нѣтъ такіа строки. Коммиссія сочла нужнымъ прибавлять къ каждой выписанной фразѣ: „какъ вы объясните слѣдующее мѣсто вашего письма?“

Разумѣется, объяснить было нечего, я писалъ уклончивыя и пустыя фразы въ отвѣтъ. Въ одномъ письмѣ аудиторъ открылъ фразу: „всѣ конституціонныя хартіи ни къ чему не ведутъ, это контракты между господиномъ и рабами; задача не въ томъ, чтобъ рабамъ было лучше, но чтобъ не было рабовъ.“ Когда мнѣ пришлось объяснять эту фразу, я замѣтилъ, что я не вижу никакой обязанности защищать конституціонное правительство, и что еслибъ я его защищалъ, меня въ этомъ обвинили бы.

— На конституціонную форму можно нападать съ двухъ сторонъ—замѣтилъ своимъ нервнымъ шипящимъ голосомъ Голицынъ junior — вы не съ монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о рабахъ.

— Въ этомъ отношеніи я дѣлаю ошибку съ императрицей Екатериной II, которая не велѣла своимъ подданнымъ зваться рабами.

Голицынъ junior, задыхаясь отъ злобы за этотъ проиническій отвѣтъ, сказалъ мнѣ: Вы вѣрно, думаете что мы здѣсь собираемся для того, чтобъ вести схоластическіе споры, что вы въ университетѣ защищаете диссертацию?

— За чѣмъ-же вы требуете объясненій?

— Вы дѣлаете видъ, будто не понимаете, чего отъ васъ хотятъ?

— Не понимаю.

— Какая у нихъ у всѣхъ упорность, прибавилъ председатель Голицынъ senior, пожалъ плечами и взглянулъ на жандармскаго полковника Шубенскаго. Я улыбнулся. „Точно Огаревъ,“ довершилъ добрыйшій председатель.

Сдѣлалась пауза. Коммиссія собиралась въ библіотекѣ бвзяи Сергѣя Михайловича, я обернулся къ шкафамъ и сталъ- смотрѣть книги. Между прочимъ тутъ стояло много - томное изданіе записокъ герцога Сень-Симона.—Вотъ, сказалъ я, обращаясь къ предсѣдателью, какая несправедливость? я подѣ слѣдствіемъ за Сень-Симонизмъ, а у васъ, князь, томовъ двадцать его сочиненій.

Такъ какъ добрякъ отродясь ничего не читалъ, то онъ и не нашелся что отвѣчать. Но Голицынъ junior взглянулъ на меня глазами эхидны и спросилъ: Что вы не видите, что-ли, что это записки герцога С. Симона, который былъ при Людовикѣ XIV?

Предсѣдатель улыбнулся, сдѣлалъ мнѣ знакъ, головой выражавшій: Что братъ обманишился? и сказалъ: Ступайте.

Когда я былъ въ дверяхъ, предсѣдатель спросилъ: Вѣдь это онъ писалъ о Петрѣ I, вотъ что вы мнѣ показывали?

— Онъ, отвѣчалъ Шубенскій.

Я приостановился.

— Il a des moyens — замѣтилъ предсѣдатель.

— Тѣмъ хуже. Ядъ въ ловкихъ рукахъ опаснѣе, прибавилъ инквизиторъ, превредный и совершенно неисправимый молодой человѣкъ.....

Приговоръ мой лежалъ въ этихъ словахъ.

А prors къ Сень-Симоку. Когда полицмейстеръ бралъ бумаги и книги у Огарева, онъ отложилъ томъ исторіи французской революціи Тьера, потомъ нашелъ другой... третій... восьмой. Наконецъ онъ не вытерпѣлъ и сказалъ: Господи! какое количество революціонныхъ книгъ..... И вотъ еще, прибавилъ онъ, отдавая квартальному рѣчь Кювье sur les revolutions du globe terrestre.

Другой порядокъ вопросовъ былъ запутаннѣе. Въ нихъ употреблялись разныя полицейскія уловки и слѣдственные шалости, чтобы сбить, запутать, натянуть противурѣчіе. Тутъ дѣлались намеки на показаніе другихъ и разныя нравственные пытки. Разсказывать ихъ не стоитъ, довольно сказать, что между нами четырьмя при всѣхъ своихъ уловкахъ они не могли натянуть *ни одной очной ставки*.

Получивъ послѣдній вопросъ, я сидѣлъ одинъ въ небольшой комнатѣ, гдѣ мы писали. Вдругъ отворилась дверь и вошелъ Голицынъ юн. съ печальнымъ и озабоченнымъ видомъ. „Я, сказалъ онъ, пришелъ поговорить съ вами передъ окончаніемъ вашихъ показаній. Давнишняя связь моего покойнаго отца съ вашимъ заставляеть меня принимать въ васъ особенное участіе. Вы молоды и можете еще сдѣлать карьеру; для этого вамъ надобно выпутаться изъ дѣла..... а это зависить по счастию отъ васъ. Вашъ отецъ очень принялъ къ сердцу вашъ арестъ и живетъ теперь надеждой, что васъ выпустятъ; мы съ княземъ Сергіемъ Михайловичемъ сейчасъ говорили объ этомъ и искренно готовы многое сдѣлать; дайте намъ средства помочь.“

Я видѣлъ, куда шла его рѣчь; кровь у меня бросилась въ голову, я съ досадой грызъ перо.

Онъ продолжалъ: „вы идете прямо подъ бѣлый ремень или въ казематы, по дорогѣ вы убьете отца, онъ дня не переживетъ, увидѣвъ васъ въ сѣрой шинели.“

Я хотѣлъ что-то сказать, но онъ перервалъ мои слова. „Я знаю, что вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у васъ были замыслы противъ правительства, это очевидно. Для того, чтобы обратить на васъ монаршую милость, намъ надобны доказательства вашего раскаянія. Вы запираетесь во всемъ, уклоняетесь отъ отвѣ-

товъ и изъ ложнаго чувства чести бережете людей, о которыхъ мы знаемъ больше чѣмъ вы, и которые не были такъ скромны какъ вы;*) вы имъ не поможете, а они васъ стащатъ съ собой въ пропасть. Напишите письмо въ комиссію, просто, откровенно, скажите, что вы чувствуете свою вину, что вы были увлечены по молодости лѣтъ, назовите несчастныхъ заблудшихъ людей, которые вовлекли васъ..... Хотите ли вы этой легкой цѣной искупить вашу будущность? и жизнь вашего отца?"

— Я ничего не знаю и не прибавлю къ моимъ показаніямъ ни слова, отвѣтилъ я.

Голицынъ всталъ и сказалъ сухимъ голосомъ: „А такъ вы не хотите, не наша вина!“ Этимъ заключились допросы.

Въ Январѣ или Февралѣ 1835 года я былъ въ послѣдній разъ въ комиссіи. Меня призвали перечитать мои отвѣты, добавить, если хочу, и подписать. Одинъ Шубенскій былъ на лицо. Окончивъ чтеніе, я сказалъ ему: Хотѣлось бы мнѣ знать, въ чемъ можно обвинить человѣка по этимъ вопросамъ и по этимъ отвѣтамъ? Подъ какую статью Свода вы подведете меня?

— Сводъ законовъ назначенъ для преступленій другого рода, замѣтилъ голубой полковникъ.

— Это дѣло иное. Перечитывая всѣ эти литературныя упражненія, я не могу повѣрить что въ этомъ-то все дѣло, по которому я сижу въ тюрьмѣ седьмой мѣсяцъ.

— Да вы въ самомъ дѣлѣ воображаете, возразилъ Шубенскій, что мы такъ и повѣрили вамъ, что у васъ не составлялось тайнаго общества?

*) Нужно ли говорить, что это была нагая ложь, пошлая полицейская уловка.

— Гдѣ же это общество? спросилъ я.

— Ваше счастье, что слѣдовъ не нашли, что вы не успѣли ничего надѣлать. Мы во время васъ остановили, то есть просто сказать, мы спасли васъ.

Опять исторія слесарши Пошлепкиной и ея мужа въ Ревизорѣ.

Когда и подписалъ, Шубенскій позвонилъ и велѣлъ позвать священника. Священникъ взомелъ и подписалъ подъ моей подписью, что всѣ показанія мною сдѣланы были добровольно и безъ всякаго насилія. Само собою разумѣется, что онъ не былъ при допросахъ и что даже не спросилъ меня изъ приличій, какъ и что было (а это опять мой добросовѣстный за воротами!).

По окончаніи слѣдствія тюремное заключеніе нѣсколько ослабили. Близкіе родные могли доставать въ ордонансъ-гаузѣ дозволеніе видѣться. Такъ прошли еще два мѣсяца.

Въ половинѣ Марта приговоръ нашъ былъ утвержденъ; никто не зналъ его содержанія; одни говорили, что насъ посылаютъ на Кавказъ, другіе—что насъ свезутъ въ Бобруйскъ, третьи надѣлись, что всѣхъ выпустятъ (таково было мнѣніе Стаала, посланное имъ особо государю; онъ предлагалъ вмѣнить намъ тюремное заключеніе въ наказаніе).

Наконецъ насъ собрали всѣхъ двадцатаго Марта къ князю Голицыну для слушанія приговора. Это былъ праздникомъ праздникъ. Тутъ мы увидѣлись въ первый разъ послѣ ареста.

Шумно, весело, обнимаясь и пожимая другъ другу руки, стояли мы, окруженные цѣпью жандармскихъ и гарнизонныхъ офицеровъ. Свиданіе одушевило всѣхъ; распросамъ, анекдотамъ не было конца.

Соколовскій былъ на лицо, нѣсколько похудѣвшій и блѣдный, но во всемъ блескъ своего юмора.

Соколовскій, авторъ „Міроздавія“, „Хеверн“ и другихъ довольно хорошихъ стихотвореній, имѣлъ отъ природы большой поэтической талантъ, но не довольно дико-самобытный, чтобъ обойтись безъ развитія, и не довольно образованный, чтобъ развиться. Милой гуляка, поэтъ въ жизни, онъ вовсе не былъ политическимъ человекомъ. Онъ былъ очень забавенъ, любезенъ, веселый товарищъ въ веселыя минуты, *bon vivant*, любившій покутить, какъ мы всѣ... можетъ немного больше.

Попавшись невзначай съ оргій въ тюрьму, Соколовскій превосходно себя велъ, онъ выросъ въ острогѣ. Аудиторъ комиссіи, педантъ, шетистъ, сыщикъ, похудѣвшій, посѣдѣвшій въ зависти стяжаній и ябедахъ, сиросилъ Соколовскаго, не смѣя изъ преданности къ престолу и религіи понимать грамматическаго смысла послѣднихъ двухъ стиховъ:

— Къ кому относятся дерзкія слова въ концѣ пѣсни?

— Будьте увѣрены, сказалъ Соколовскій, что не къ государю, и особенно обращаю ваше вниманіе на эту *облегающую* причину.

Аудиторъ пожалъ плечами, возвелъ глаза горѣ, и, долго молча, посмотрѣвъ на Соколовскаго, понюхалъ табакъ.

Соколовскаго схватили въ Петербургѣ и, не сказавши куда его повезутъ, отправили въ Москву. Подобныя шутки полиціи у насъ дѣлаетъ часто и совершенно бесполезно. Это ея поэзія. Нѣтъ на свѣтѣ такого прозаическаго, такого отвратительнаго занятія, которое бы не имѣло своей артистической потребности, ненужной роскоши, украшеній. Соколовскаго привезли прямо въ острогъ и посадили въ какой-то темный чуланъ. По-

чему его посадили въ острогъ, когда насъ содержали по казармамъ ?

У него было съ собой двѣ, три рубашки и больше ничего. Въ Англіи всякаго колодника, приводимаго въ тюрьму, тотчасъ по приходѣ сажаютъ въ ванну, у насъ берутъ предварительныя мѣры противъ чистоты.

Если-бъ докторъ Гаазъ не прислалъ Соколовскому связку своего бѣлья, онъ заросъ бы въ грязи.

Докторъ Гаазъ былъ преоригинальный чудакъ. Память объ этомъ *юродивомъ и поврежденномъ* не должна заглухнуть въ лебедѣ официальныхъ некрологовъ, описывающихъ добродѣтели первыхъ двухъ классовъ, обнаруживающіяся не прежде гніенія тѣла.

Старый, худощавый, восковой старичекъ, въ черномъ фракѣ, коротенькихъ панталонахъ, въ черныхъ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками, казался только-что вышедшимъ изъ какой нибудь драмы XVIII столѣтія. Въ этомъ grand gala похоронъ и свадьбъ, и въ пріятномъ климатѣ 59° сѣв. шир., Гаазъ ѣздилъ каждую недѣлю въ этапъ на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльныхъ. Въ качествѣ доктора тюремныхъ заведеній, онъ имѣлъ доступъ къ нимъ, онъ ѣздилъ ихъ осматривать и всегда привозилъ съ собой корзину всякой всячины, съѣстныхъ припасовъ и разныхъ лакомствъ—грецкихъ орѣховъ, пряниковъ, апельсиповъ и яблокъ для женщинъ. Это возбуждало гнѣвъ и негодованіе *благотворительныхъ* дамъ, боящихся благотвореніемъ сдѣлать удовольствіе, боящихся больше благотворить, чѣмъ нужно, чтобъ спасти отъ голодной смерти и трескучихъ морозовъ.

Но Гаазъ былъ несговорчивъ, и кротко выслушивая упреки за „глупое баловство преступницъ,“ потиралъ себѣ руки и говорилъ: „Извольте видѣть, милостивой

сударинъ, кусокъ кѣба, крошъ, имъ всякой даетъ, а конфекту или апфельзину долго онѣ не увидать, этого имъ никто не даетъ, это я могу консеквировать изъ вашихъ словъ; потому я и дѣлаю имъ это удовольствіе, что оно долго не повториться.“

Гаазъ жилъ въ больницѣ. Приходитъ къ нему передъ обѣдомъ какой-то больной посовѣтоваться. Гаазъ осмотрѣлъ его и пошелъ въ кабинетъ что-то прописать. Возвратившись, онъ не нашелъ ни больного, ни серебряныхъ приборовъ, лежавшихъ на столѣ. Гаазъ позвалъ сторожа и спросилъ, не входилъ ли кто, кромѣ больного? Сторожъ смекнулъ дѣло, бросился вонъ и черезъ минуту возвратился съ ложками и пациентомъ, котораго онъ остановилъ съ помощью другаго больничнаго солдата. Мошенникъ бросился въ ноги доктору и просилъ помилованія. Гаазъ сконфузился.

— Сходи за квартальнымъ, сказалъ онъ одному изъ сторожей.

— А ты позови сейчасъ писаря.

Сторожа, довольные открытіемъ, побѣдой и вообще участіемъ въ дѣлѣ, бросились вонъ, а Гаазъ, пользуясь ихъ отсутствіемъ, сказалъ вору: „Ты фальшивый чело-вѣкъ, ты обманулъ меня и хотѣлъ обокрасть, Богъ тебя разсудитъ.... а теперь бѣги скорѣе въ заднія ворота, пока солдаты не воротились... да постой, можетъ у тебя нѣтъ ни гроша, вотъ полтинникъ; но старайся исправить свою душу: отъ Бога не уйдешь какъ отъ будочника!“

Тутъ возстали на Гааза и домочадцы. Но неисправимый докторъ толковалъ свое: „воровство—большой порокъ; но я знаю полицію, я знаю какъ они истязаютъ—будутъ допрашивать, будутъ сѣчь; подвергнуть ближ-

ниго розгамъ гораздо большій порокъ; да и почему знать, можетъ мой поступокъ тронетъ его душу!"

Домочадцы качали головой и говорили *er hat einen gartius*; благотворительныя дамы говорили: „*c'est un brave homme, mais ce n'est pas tout à fait en règle, là,*“ и онѣ указывали на лобъ. А Гаазъ потиралъ руки и дѣлалъ свое.

.... Едва Соколовскій кончилъ свои анекдоты, какъ нѣсколько другихъ разомъ начали свои; точно всѣ мы возвратились послѣ долгаго путешествія — распросамъ, шуткамъ, остротамъ не было конца.

Физически С..... пострадалъ больше другихъ, онъ былъ худъ и лишился части волосъ. Узнавъ въ тамбовской губерніи въ деревнѣ у своей матери, что насъ схватили, онъ самъ поѣхалъ въ Москву, чтобъ пріѣздъ жандармовъ не испугалъ мать, простудился на дорогѣ и пріѣхалъ домой въ горячкѣ. Полиція его застала въ постели, вести въ часть было не возможно. Его арестовали дома, поставили у дверей спальни съ внутренней стороны полицейскаго солдата, и *братомъ милосердія* посадили у постели больного квартальнаго надзирателя; такъ что приходи въ себя послѣ бреда, онъ встрѣчалъ *слушающій* взглядъ одного, или испитую рожу другого.

Въ началѣ зимы его перевезли въ лефортовскій госпиталь; оказалось, что въ больницѣ не было ни одной пустой *секретной* арестантской комнаты; за такой бездѣлицей останавливаться не стоило: нашелся какой-то отгороженный уголь *безъ печи*, — положили больного въ эту южную веранду и поставили къ нему часового. Какова была температура зимой въ каменномъ чуланѣ, можно понять изъ того, что часовой ночью до того изнемогъ отъ стужи, что пошелъ въ корридоръ по-

грѣться къ печи, прося С.... не говорить объ этомъ дежурному.

Тропическое помѣщеніе показалось самымъ властямъ госпиталя, въ такой близости къ полюсу, невозможнымъ; С.... перевели въ комнату, возлѣ которой оттирали замерзлыхъ.

Не успѣли мы пересказать и переслужать половину походовъ, какъ вдругъ адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры выткнулись, квартальные оправились; дверь отворилась торжественно — и маленький князь Сергій Михайловичъ Голицынъ вошелъ *en grande tenue*, лента черезъ плечо; Цинскій въ свитскомъ мундирѣ, даже аудиторъ Оранскій надѣлъ какой-то свѣтло-зеленый статско-военный мундиръ для такой радости. Комендантъ, разумѣется, не пріѣхалъ.

Шумъ и смѣхъ между тѣмъ до того возрастали, что аудиторъ грозно вышелъ въ залу и замѣтилъ, что громкій разговоръ и особенно смѣхъ показываютъ пагубное *неуваженіе* къ высочайшей волѣ, которую мы должны услышать.

Двери растворились. Офицеры раздѣлили насъ на три отдѣла; въ первомъ были: Соколовскій, живописецъ Уткинъ и офицеръ Ибаевъ; во второмъ были мы; въ третьемъ *tutti frunt*.

Приговоръ прочли особо первой категоріи; онъ былъ ужасенъ: обвиненные въ оскорбленіи величества, они сосланы въ Шлюсельбургъ на *безсрочное время*.

Всѣ трое выслушали геройски этотъ дикій приговоръ.

Когда Оранскій, ямля для важности, съ разстановкой читалъ, что за оскорбленіе величества и августѣйшей фамиліи слѣдуетъ то и то... Соколовскій ему замѣтилъ: „Ну фамилья то я никогда не оскорблялъ.“

У него въ бумагахъ сверхъ стиховъ нашли шути нѣ-

сколько разъ писанныхъ подъ руку в. к. Михаила Павловича резолюціи съ намѣренными ореографическими ошибками, напр.: „Утвѣрждаю... пѣреговорить.... доложить мне....“ и пр. и эти ошибки способствовали къ обвиненію его.

Цинскій, чтобъ показать, что и онъ можетъ быть развязнымъ и любезнымъ человѣкомъ, сказалъ Соколовскому послѣ септенціи: „А вы прежде въ Шлюссельбургѣ бывали?“ „Въ прошломъ году, отвѣчалъ ему тотчасъ Соколовскій, точно сердце чувствовало, я тамъ выпилъ бутылку мадеры.“

Черезъ два года Уткинъ умеръ въ казематѣ. Соколовскаго выпустили полуиертваго на Кавказъ, онъ умеръ въ Питигорскѣ. Какой-то остатокъ стыда и совѣсти заставилъ правительство послѣ смерти двоихъ перевести третьяго въ Пермь. Ибаевъ умеръ по своему, онъ сдѣлался мистикомъ.

Уткинъ, „вольный художникъ, содержащійся въ острогѣ,“ какъ онъ подписывался подъ допросами, былъ человѣкъ лѣтъ сорока; онъ никогда не участвовалъ ни въ какомъ политическомъ дѣлѣ, но благородный и порывистый, онъ давалъ волю языку въ комиссіи, былъ рѣзокъ и грубъ съ членами. Его за это *уморили* въ сыромъ казематѣ, въ которомъ вода текла со стѣнъ.

Ибаевъ былъ виноватѣе другихъ только эполетами. Не будь онъ офицеръ, его никогда бы такъ не наказали. Человѣкъ этотъ поналъ на *какую-то* пирушку, иѣроятно пилъ и пѣлъ какъ всѣ прочіе, но навѣрное не болѣе и не громче другихъ.

Пришелъ нашъ чередъ. Оранскій протеръ очки, откашлинулъ и принялся благоговѣйно возвѣщать высочайшую волю. Въ ней было *изображено*: что государь, разсмотрѣвъ докладъ комиссіи и взявъ въ особенное

вниманіе молодыя лѣта преступниковъ, *повелѣлъ подѣ судъ насъ не отдавать*, а объявить намъ, что по закону слѣдовало бы насъ, какъ людей уличенныхъ въ оскорбленіи величества пѣніемъ возмутительныхъ пѣсень, лишить живота; а въ силу другихъ законовъ сослать на вѣчную каторжную работу. Въмѣсто чего государь, въ безпредѣльномъ милосердіи своемъ, большую часть виновныхъ прощаетъ, оставляя ихъ на мѣстѣ жительства подѣ надзоромъ полиціи. Болѣе-же виноватыхъ повелѣваетъ подвергнуть исправительнымъ мѣрамъ, состоящимъ въ отправленіи ихъ на безсрочное время въ дальнія губерніи на гражданскую службу и подѣ надзоръ мѣстнаго начальства.

Этихъ болѣе виновныхъ нашлось шестеро: Огаревъ, С....., Лахтинъ, Оболенскій, Сорокинъ и я. Я назначался въ Пермь. Въ числѣ осужденныхъ былъ Лахтинъ, который вовсе не былъ арестованъ. Когда его позвали въ комиссію слушать сентенцію, онъ думалъ что это для страха, для того, чтобъ онъ казнился, глядя какъ другихъ наказываютъ. Разсказывали, что кто-то изъ близкихъ князя Голицына, сердясь на его жену, угрожилъ ему этимъ сюрпризомъ. Слабый здоровьемъ, онъ года черезъ три умеръ въ ссылкѣ.

Когда Оранскій окончилъ чтеніе, выступилъ полковникъ Шубенскій. Онъ отборными словами и ломоносскимъ слогомъ объявилъ намъ, что мы обязаны предстательству того благороднаго вельможи, который предсѣдательствовалъ въ комиссіи, что государь былъ такъ милосердъ.

Шубенскій ждалъ, что при этомъ словѣ всѣ примутся благодарить князя; но вышло не такъ.

Нѣсколько изъ прощенныхъ кивнули головой, да и то украдкой глядя на насъ.

Мы стояли сложа руки, нисколько не показывая вида, что сердце наше тронута царской и княжеской милостью.

Тогда Шубенскій выдумалъ другую уловку и, обращаясь къ Огареву, сказалъ: „Вы ѣдете въ Пензу, неужели вы думаете что это случайно? Въ Пензѣ лежитъ въ параличѣ вашъ отецъ, князь просилъ государя вамъ назначить этотъ городъ для того, чтобъ ваше присутствіе сколько нибудь ему облегчило ударъ вашей сснли. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?“

Дѣлать было нечего, Огаревъ слегка поклонился. Вотъ изъ чего они бились.

Добренькому старику это понравилось и онъ, не знаю почему, вслѣдъ за тѣмъ позвалъ меня. Я вышелъ впередъ съ святѣйшимъ намѣреніемъ, чтобы онъ и Шубенскій ни говорили, не благодарить; къ тому-же меня посылали дальше всѣхъ и въ самый скверный городъ.

— А вы ѣдете въ Пермь, сказалъ князь.

Я молчалъ. Князь сѣзлся, и чтобъ что-нибудь сказать, прибавилъ: У меня тамъ есть имѣніе.

— Вамъ угодно что нибудь поручить черезъ меня вашему старостѣ? спросилъ я улыбаясь.

— Я такимъ людямъ, какъ вы, ничего не поручаю—*карбонаріямъ*—добавилъ находчивый князь.

— Что же вы желаете отъ меня?

— Ничего.

— Миѣ показалось, что вы меня позвали.

— Вы можете идти, перервалъ Шубенскій.

— Позвольте, возразилъ я, благо я здѣсь, вамъ напомнить, что вы, полковникъ, миѣ говорили, когда я былъ въ послѣдній разъ въ комиссіи, что меня никто не обвиняетъ въ дѣлѣ праздника, а въ приговорѣ ска-

зано, что я одинъ изъ виновныхъ по этому дѣлу. Тутъ какая нибудь ошибка.

— Вы хотите возражать на высочайшее рѣшеніе? замѣтилъ Шубенскій, смотрите, какъ бы Пермь не переимѣнилась на что нибудь худшее. Я ваши слова велю записать.

— Я объ этомъ хотѣлъ просить. Въ приговорѣ сказано: по докладу комиссін; я возражаю на вашъ докладъ, а не на высочайшую волю. Я шлюсь на князя, что мнѣ не было даже вопроса ни о праздникѣ, ни о какихъ пѣсняхъ.

— Какъ будто вы не знаете, сказалъ Шубенскій, начпнавшій блѣднѣть отъ злобы, что ваша вина въ десятиро больше тѣхъ, которые были на праздникѣ. Вотъ, онъ указалъ пальцемъ на одного изъ прощенныхъ, вотъ онъ подъ пьяную руку спѣлъ мерзость, да послѣ на колѣнкахъ со слезами просилъ прощенія. Ну, вы еще отъ всякаго раскаянія далеки.

Господинъ, на котораго указалъ полковникъ, промолчалъ и понурилъ голову, побагровѣвъ въ лицѣ. . . Урокъ былъ хорошъ. Вотъ и дѣлай послѣ подлости. . .

— Позвольте, не о томъ рѣчь, продолжалъ я, велика-ли моя вина или нѣтъ; но если я убійца, я не хочу, чтобъ меня считали воромъ. Я не хочу, чтобъ обо мнѣ, даже оправдывая меня, сказали, что я то-то надѣлалъ „подъ пьяную руку,“ какъ вы сейчасъ выразились.

-- Еслибъ у меня былъ сынъ, родной сынъ, съ такой закоснѣlostью, я бы самъ попросилъ государя сослать его въ Сибирь.

Тутъ оберъ-полицмейстеръ вмѣшалъ въ разговоръ какой-то безсвязный вздоръ. Жаль, что не было меньшаго Голицына, вотъ былъ бы случай поораторствовать.

Все это, разумѣется, окончилось ничѣмъ.

Лахтинъ подошелъ къ князю Голицыну и просилъ отложить отъѣздъ. „Моя жена беременна,“ сказалъ онъ. „Въ этомъ я не виновать,“ отвѣчалъ Голицынъ. Звѣрь, бѣшеная собака, когда кусается, дѣлаетъ серьезный видъ, поджимаетъ хвостъ, а этотъ юродивый вельможа, аристократъ, да притомъ со славой добраго человѣка... не постыдился этой подлой шутки.

... Мы остановились еще разъ на четверть часа въ залѣ, вопреки ревностнымъ увѣщаніямъ жандармскихъ и полицейскихъ офицеровъ, крѣпко обнялись мы другъ съ другомъ и простились на долго. Кромѣ Оболенскаго я никого не видѣлъ до возвращенія изъ Вятки.

Отъѣздъ былъ передъ нами.

Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь; но съ отъѣздомъ въ глушь она обрывалась.

Юношеское существованіе въ нашемъ дружескомъ кружкѣ оканчивалось.

Ссылка продолжится навѣрное нѣсколько лѣтъ. Гдѣ и какъ встрѣтимся мы, и встрѣтимся ли?...

Жаль было прежней жизни, и такъ круто приходилось ее оставить... не простясь. Видѣть Огарева я не имѣлъ надежды. Двое изъ друзей добрались ко мнѣ въ послѣдніе дни, но этого мнѣ было мало.

Еще бы разъ увидѣть мою юную утѣшительницу, пожать ей руку, какъ я пожалъ ей на кладбищѣ... Въ ее лицѣ хотѣлъ я проститься са былымъ и встрѣтиться съ будущимъ...

Мы увидѣлись на нѣсколько минутъ, 9 Апрѣля 1835 г., на канунѣ моего отправленія въ ссылку.

Долго святить я этотъ день въ моей памяти, это одно изъ счастливѣйшихъ мгновеній въ моей жизни.

... Зачѣмъ же воспоминаніе объ этомъ днѣ, и ибо всѣхъ свѣтлыхъ дняхъ моего блага, напоминаютъ такъ

много страшнаго?... Могилу, вѣнокъ изъ темнокрасныхъ розъ, двухъ дѣтей которыхъ я держалъ за руки — факелы, толпы изгнанниковъ, мѣсяцъ, теплое море подъ горой, рѣчь, которую я не понималъ и которая рѣзала мое сердце...

Все прошло!

ГЛАВА XIII.

Ссылка — Городничій — Волга — Пермь.

Утромъ 10 Апрѣля жандармскій офицеръ привезъ меня въ домъ генералъ-губернатора. Тамъ въ секретномъ отдѣленіи канцеляріи позволено было родственникамъ проститься со мною.

Разумѣется, все это было неловко и щемило душу; шныряющіе шпионы, писаря; чтеніе инструкцій жандарму, который долженъ былъ меня везти, невозможность сказать что нибудь безъ свидѣтелей, словомъ, оскорбительнѣе и печальнѣе обстановки нельзя было придумать.

Я вздохнулъ когда коляска покатила въ наконецъ по Владиміркѣ.

Per me si va nella citta dolente

Per me si va nel eterno dolor —

На станціи гдѣ-то я написалъ эти два стиха, которые равно хорошо идутъ къ преддверію ада и къ сибирскому тракту.

Въ семи верстахъ отъ Москвы есть трактиръ, назы-

ваемый „Перовымъ.“ Тамъ меня обѣщали ждать одинъ изъ близкихъ друзей. Я предложилъ жандарму выпить водки, онъ согласился; отъ городу было далеко. Мы взошли, но пріятеля тамъ не было. Я мѣшкалъ въ трактирѣ всѣми способами, жандармъ не хотѣлъ больше ждать, ямщикъ трогалъ коней — вдругъ несется тройка и прямо къ трактиру, я бросился къ двери..... двое незнакомыхъ гуляющихъ купеческихъ сынковъ шумно слѣзали съ телеги. Я посмотрѣлъ въ даль — ни одной движущейся точки, ни одного человѣка не было видно на дорогѣ къ Москвѣ... горько было садиться и ѣхать. Я далъ двугривенный ямщику, и мы понеслись какъ изъ лука стрѣла.

Мы ѣхали не останавливаясь; жандарму вѣрно было дѣлать не менѣе двухъ сотъ верстъ въ сутки. Это было бы сносно, но только не въ началѣ Апрѣля. Дорога мѣстами была покрыта льдомъ, мѣстами водой и грязью; притомъ, подвигаясь къ Сибири, она становилась хуже и хуже съ каждой станціей.

Первый путевой анекдотъ былъ въ Покровѣ.

Мы потеряли нѣсколько часовъ за льдомъ, который шелъ по рѣкѣ, прерывая всѣ сношенія съ другимъ берегомъ. Жандармъ торопился; вдругъ станціонный смотритель въ Покровѣ объявляетъ, что лошадей нѣтъ. Жандармъ показываетъ, что въ подорожной сказано: давать изъ курьерскихъ, если нѣтъ почтовыхъ. Смотритель отвѣчаетъ, что лошади взяты подъ товарища министра внутреннихъ дѣлъ. Какъ разумѣется, жандармъ сталъ спорить, шумѣть; смотритель побѣждалъ доставать обывательскихъ лошадей. Жандармъ отира-вился съ нимъ.

Надоѣло мнѣ дожидаться ихъ въ нечистой комнатѣ станціоннаго смотрителя. Я вышелъ за ворота и сталъ

ходить передъ домомъ. Это была первая прогулка безъ солдата послѣ девятимѣсячнаго заключенія.

Я ходилъ съ полчаса, какъ вдругъ повстрѣчался мнѣ человекъ въ мундирномъ сертукѣ безъ эполетъ и съ голубымъ роуг le sergite на шеѣ. Онъ съ чрезвычайной настойчивостью посмотрѣлъ на меня, прошелъ, тотчасъ возвратился, и съ дерзкимъ видомъ спросилъ меня: Васъ везетъ жандармъ въ Пермь? Меня, отвѣчалъ я, не останавливаясь.— Позвольте, позвольте, да какъ же онъ смѣетъ...

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— Я здѣшній городничій, отвѣтилъ незнакомецъ голосомъ, въ которомъ звучало глубокое сознаніе высоты такого общественнаго положенія. Прошу покорно, я съ часу на часъ жду товарища министра — а тутъ политическіе арестанты по улицамъ прогуливаются. Да что же это за осель жандармъ.

— Не угодно-ли вамъ адресоваться къ самому жандарму?

— Не адресоваться — а я его арестую, я ему велю влѣпить сто палокъ, а васъ отправлю съ полицейскимъ.

Я кивнулъ ему головой, не дожидаясь окончанія рѣчи и быстрыми шагами пошелъ въ станціонный домъ. Въ окно мнѣ было слышно, какъ онъ горячился съ жандармомъ, какъ грозилъ ему. Жандармъ извинялся, но, кажется, мало былъ испуганъ. Минуты черезъ три они взошли оба, я сидѣлъ обернувшись къ окну и не смотрѣлъ на нихъ.

Изъ вопросовъ городничаго жандарму я тотчасъ увидѣлъ, что онъ снѣдается желаніемъ узнать за какое дѣло, почему и какъ я сосланъ. Я упорно молчалъ. Городничій началъ безличную рѣчь между мною и жан-

дармомъ: „Въ наше положеніе никто не хочетъ взойти. Что мнѣ весело что-ли браниться съ солдатомъ или дѣлать непріятности человѣку, котораго я отродясь не видалъ? Отвѣтственность! городничій — хозяинъ города. Что бы ни было, отвѣчай; казначейство обокрадутъ — виновать; церковь сгорѣла — виновать; пьяныхъ много на улицѣ—виновать; вина мало пьютъ — тоже виновать; (последнее замѣчаніе ему очень понравилось и онъ продолжалъ болѣе веселымъ тономъ) хорошо, вы меня встрѣтили, ну встрѣтили бы министра, да тоже бы эдакъ мимо, а тотъ спросилъ бы: „Какъ, политическій арестантъ гуляетъ? — городничаго подѣ судъ...“

Мнѣ наконецъ надоѣло его краснорѣчіе и я, обращаясь къ нему, сказалъ: Дѣлайте все что вамъ приказываетъ служба, но я васъ прошу избавить меня отъ поученій. Изъ вашихъ словъ я вижу, что вы ждали, чтобъ я вамъ поклонился. Я не имѣю привычки кланяться незнакомымъ.

Городничій сконфузился.

У насъ все такъ, говорилъ А. А.; кто первый дастъ острастку, начнетъ кричать, тотъ и одержитъ верхъ. Если, говоря съ начальникомъ, вы ему позволите поднять голосъ, вы пропали; услышавъ себя кричащимъ, онъ сдѣлается дикій звѣрь. Если же при первомъ грубомъ словѣ вы закричали, онъ непременно испугается и уступитъ, думая что вы съ характеромъ и что такихъ людей не надобно слишкомъ дразнить.

Городничій уславъ жандарма спросить что лошади и, обращаясь ко мнѣ, замѣтилъ въ родѣ извиненія: Я это больше для солдата и сдѣлалъ, вы не знаете что такое нашъ солдатъ—ни малѣйшаго поущенія не слѣдуетъ допускать, но повѣрьте, я умѣю различать людей

— позвольте васъ спросить, какой несчастный случай...

— По окончаніи дѣла намъ запретили рассказывать.

— Въ такомъ случаѣ..... конечно..... я не смѣю..... и взглядъ городничаго выразилъ муку любопытства. Онъ помолчалъ.

— У меня былъ родственникъ дальній, онъ сидѣлъ съ годъ въ петропавловской крѣпости, знаете тоже, сношенія — позвольте, у меня это на душѣ, вы кажется, все еще сердитесь? Я человекъ военный, строгій, привыкъ; по семнадцатому году поступилъ въ полкъ, у меня нравъ горячій, но черезъ минуту все прошло. Я вашего жандарма оставлю въ покоѣ, чортъ съ нимъ совсѣмъ...

Жандармъ взошелъ съ докладомъ, что равнѣ часа лошадей нельзя пригнать съ выгона.

Городничій объявилъ ему, что онъ прощаетъ его по моему ходатайству; потомъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ:

— И вы ужъ не откажите въ моей просьбѣ и въ доказательство, что не сердитесь — я живу черезъ два дома отсюда — позвольте васъ просить позавтракать чѣмъ богъ послалъ.

Это было такъ смѣшно послѣ нашей встрѣчи, что я пошелъ къ городничему и ѣлъ его балыкъ и его икру и пилъ его водку и мадеру.

Онъ до того разлюбезничался, что рассказалъ мнѣ всѣ свои семейныя дѣла, даже семилѣтнюю болѣзнь жены. Послѣ завтрака онъ съ гордымъ удовольствіемъ взялъ съ вазы, стоявшей на столѣ, письмо и далъ мнѣ прочесть „стихотвореніе“ его сына, удостоенное публичнаго чтенія на экзаменѣ въ кадетскомъ корпусѣ. Одолживъ меня такими знаками несомнѣннаго довѣрія, онъ ловко перешелъ къ вопросу, косвенно поставленному, о моемъ дѣлѣ. На этотъ разъ я долею удовлетворилъ городничаго.

Городничій этотъ напоминалъ мнѣ того секретаря уѣзднаго суда, о которомъ рассказывать нашъ Щ. „Де-вять исправниковъ перемѣнились, а секретарь остался безсмѣнно и управлялъ по прежнему уѣздомъ. Какъ это вы ладите со всѣми? спросилъ его Щ. Ничего-съ, съ божіей помощью обходимся кой-какъ. Иной, точно, сначала такой сердитый, бьетъ передними и задними ногами, кричитъ, ругается и въ отставку, говорить, вы-гону, и въ губернію, говорить, отпущу — ну знаете, наше дѣло подчиненное, смолчишь и думаешь: дай срокъ, надорвется еще! такъ это—еще первая упрямка. И дѣйствительно, глядишь — куда потомъ въ пздѣ хорошъ.“

...Когда мы подъѣхали къ Казани, Волга была во всемъ блескѣ весеннаго разлива; цѣлую станцію отъ Услона до Казани надобно было плыть на досчаникѣ, рѣка разливалась верстѣ на пятнадцать или больше. День былъ ненастный. Перевозъ остановился, множество телегъ и всякихъ повозокъ ждали на берегу.

Жандармъ пошелъ къ смотрителю и требовалъ досчаника. Смотритель давалъ его нехотя, говорилъ, что впрочемъ лучше обождать, что неровень часъ. Жандармъ торопился, потому что былъ пьянъ, потому что хотѣлъ показать свою власть.

Уставили мою коляску на небольшомъ досчаникѣ и мы поплыли. Погода, казалось, утихла; татаринъ черезъ полчаса поднять парусъ, какъ вдругъ утихавшая буря снова усилилась. Насъ понесло съ такой силой, что нагнавъ какое-то бревно, мы такъ въ него стукнулись, что дрянной паромъ проломился и вода разлилась по палубѣ. Положеніе было непріятное; впрочемъ татаринъ сумѣлъ направить досчаникъ на мель.

Купеческая барка прошла въ виду, мы ей кричали,

просили прислать лодку, бурлаки слышали и проплыли, не сдѣлавъ ничего.

Крестьянинъ подѣхалъ на небольшой комягѣ съ женой, спросилъ насъ въ чемъ дѣло и замѣтивъ: „Ну что же? Ну заткнуть дыру, да благословись и въ путь. Что тутъ киснуть? ты вотъ, для того что татаринъ, такъ ничего и не умѣешь сдѣлать“—взошелъ на досчаникъ.

Татаринъ въ самомъ дѣлѣ былъ очень встревоженъ. Во-первыхъ, когда вода залила спящаго жандарма, тотъ вскочилъ и тотчасъ началъ бить татарина. Во-вторыхъ, досчаникъ былъ казенный, и татаринъ повторялъ: Ну вотъ потонетъ, что мнѣ будетъ! что мнѣ будетъ! — Я его утѣшалъ, говоря, что и онъ тогда съ досчаникомъ потонетъ.

— Хорошо, бачька, коли потону, а какъ нѣтъ? отвѣчалъ онъ.

Мужикъ и работники заткнули дыру всякой всячиной; мужикъ постучалъ топоромъ, прибилъ какую-то досчечку; потомъ по поясъ въ водѣ помогъ другимъ стащить досчаникъ съ мели, и мы скоро выплыли въ русло Волги. Рѣка несла свирѣпо. Вѣтеръ и дождь со снѣгомъ сѣкли лицо, холодъ проникалъ до костей, но вскорѣ сталъ вырѣзываться изъ-за тумана и потоковъ воды памятникъ Іоанна Грознаго. Казалось опасность прошла, какъ вдругъ татаринъ жалобнымъ голосомъ закричалъ: Тече, тече!—и дѣйствительно вода съ силой вливалась въ заткнутую дыру. Мы были на самомъ стержнѣ рѣки, досчаникъ двигался тише и тише, можно было предвидѣть когда онъ совсѣмъ погрузнется. Татаринъ снялъ шапку и молился. Мой камердинеръ, растерянный, плакалъ и говорилъ: Прощай мои матушка, не увижусь я съ тобой больше. Жандармъ бранился и обѣщался на берегу всѣхъ исколотить.

Сначала и мнѣ было жутко, къ тому же вѣтеръ съ дождемъ прибавлялъ какой-то беспорядокъ, смятеніе. Но мысль, что это нелѣпо, чтобъ я могъ погибнуть *ничего не сдѣлавъ*, это юношеское *quid timeas? cesarem vehis!* взяло верхъ, и я спокойно ждалъ конца, увѣренный, что не погибну между Услономъ и Казанью. Жизнь впоследствии отучаетъ отъ гордой вѣры, наказываетъ за нее; оттого-то юность и отважна и полна героизма, а въ лѣтахъ человѣкъ остороженъ и рѣдко увлекается.

...Черезъ четверть часа мы были на берегу подлѣ стѣны казанскаго Кремля, передрогнувшіе и вымоченные. Я взошелъ въ первый кабакъ, выпилъ стаканъ пѣннаго вина, закусилъ печенымъ яицомъ и отирая въ почтайтѣ.

Въ деревняхъ и маленькихъ городкахъ у станціонныхъ смотрителей есть комната для проѣзжихъ. Въ большихъ городахъ всѣ останавливаются въ гостиницахъ, и у смотрителей нѣтъ ничего для проѣзжающихъ. Меня привели въ почтовую канцелярію. Станціонный смотритель показалъ мнѣ свою комнату; въ ней были дѣти и женщины, больной старикъ не сходилъ съ постели, мнѣ рѣшительно не было угла переодѣться. Я написалъ письмо къ жандармскому генералу и просилъ его отвести комнату гдѣ-нибудь, для того, чтобъ обогрѣться и высушить платье.

Черезъ часъ времени жандармъ воротился и сказалъ, что графъ Апраксинъ велѣлъ отвести комнату. Подождать я часа два, никто не приходилъ, и я опять отправилъ жандарма. Онъ пришелъ съ отвѣтомъ, что полковникъ Поль, которому генералъ приказалъ отвести мнѣ квартиру, въ дворянскомъ клубѣ играетъ въ карты и что квартиры до завтра отвести нельзя.

Это было варварство; и я написалъ второе письмо къ графу Апраксину, прося меня немедленно отира-
вить, говоря что я на слѣдующей станціи могу найти
пріютъ. Графъ изволилъ почивать и письмо осталось
до утра. Нечего было дѣлать; я снялъ мокрое платье
и легъ на столъ почтовой конторы, завернувшись въ
шинель „старшого,“ вмѣсто подушки я взялъ толстую
книгу и положилъ на нее немного бѣлья.

Утромъ я послалъ принести себѣ завтракъ. Чиновни-
ки уже собирались. Экзекуторъ ставилъ мнѣ на видъ,
что въ сущности завтракать въ присутственномъ мѣстѣ
не хорошо, что ему лично это все равно, но что почт-
мейстеру это можетъ не понравится.

Я шутя говорилъ ему, что выгнать можно только
того, кто имѣетъ право выйти, а кто не имѣетъ его, то-
му по неволѣ приходится ѣсть и пить тамъ, гдѣ онъ
задержанъ...

На другой день графъ Апраксинъ разрѣшилъ мнѣ
остаться до трехъ дней въ Казани и остановиться въ
гостинницѣ.

Три дня эти я бродилъ съ жандармомъ по городу.
Татарки съ покрытыми лицами, скуластые мужья ихъ,
правовѣрные мечети рядомъ съ православными цер-
квями, все это напоминаетъ Азію и Востокъ. Въ Вла-
димірѣ, Нижнемъ—подозрѣвается близость къ Москвѣ;
здѣсь даль отъ нея.

...Въ Перми меня привезли прямо къ губернатору.
У него былъ большой сѣздъ, въ этотъ день вѣнчали
его дочь съ какимъ-то офицеромъ. Онъ требовалъ,
чтобъ и я изшелъ, и я долженъ былъ представиться
всему пермскому обществу въ замараномъ дорожномъ
архалукѣ, въ грязи и пыли. Губернаторъ потолковавъ
всякій вздоръ, запретилъ мнѣ знакомиться съ сослан-

ными поляками и велѣлъ на дняхъ придти къ нему, говоря, что онъ тогда съестъ мнѣ занятіе въ канцеляріи.

Губернаторъ этотъ былъ изъ малороссіянь, сосланныхъ не тѣснилъ и вообще былъ человекъ смирный. Онъ какъ-то въ тихомолку улучшалъ свое состояніе, какъ кротъ, гдѣ-то подъ землею, незамѣтно, онъ прибавлялъ зерно къ зерну и отложилъ таки малую толику на черные дни.

Для какого-то непонятнаго контроля и порядка, онъ приезывалъ всѣмъ сосланнымъ на житье въ Пермь являться къ себѣ въ десять часовъ утра по субботамъ. Онъ выходилъ съ трубкой и съ листомъ, повѣрялъ всѣ ли на лицо, а если кого не было, посылалъ квартальнаго узнавать о причинѣ — ничего почти ни съ кѣмъ не говорилъ и отпускалъ. Такимъ образомъ я въ его залѣ перезнакомился со всѣми поляками, съ которыми онъ предупреждалъ, чтобъ я не былъ знакомъ.

На другой день послѣ моего приѣзда, уѣхалъ жандармъ и я впервые послѣ ареста очутился на волѣ.

На волѣ... въ маленькомъ городѣ на сибирской границѣ, безъ малѣйшей опытности, не имѣя понятія о средѣ, въ которой мнѣ надобно было жить.

Изъ дѣтской я перешелъ въ аудиторію, изъ аудиторіи въ дружескій кружокъ — теоріи, мечты, свои люди, никакихъ дѣловыхъ отношеній. Потомъ тюрьма, чтобъ дать всему осѣсться. Практическое соприкосновеніе съ жизнью начиналось тутъ — возлѣ Уральскаго хребта.

Она тотчасъ заявила себя; на другой день послѣ приѣзда, я пошелъ съ сторожемъ губернаторской канцеляріи искать квартиру, онъ меня привелъ въ большой одноэтажный домъ. Сколько я ему ни толковалъ, что я ищу домъ очень маленький и еще лучше часть дома, онъ унорно требовалъ, чтобъ я взомелъ.

Хозяйка усадила меня на диванъ, узнавъ что я изъ Москвы, спросила — видѣлъ ли я въ Москвѣ г. Кабри-та? Я ей сказалъ, что никогда и фамиліи подобной не слыхалъ.

— Что ты это, замѣтила старушка — Кабрить-то, и она назвала его по имени и по отчеству. Помилуй батюшка, онъ у насъ вистъ-то губернаторомъ.

— Да я девять мѣсяцевъ въ тюрьмѣ сидѣлъ, можетъ потому не слыхалъ, сказалъ я улыбаясь.

— *Пожалуй*, что и такъ. Такъ ты батюшка домикъ занимаешь.

— Великъ, больно великъ, я служивому-то говорилъ

— Лишнее добро за плечами не висить.

— Оно такъ, но за лишнее добро вы попросите и денегъ побольше.

— Ахъ отецъ родной, да кто же это тебѣ о моихъ цѣнахъ говорилъ, я и не молвила еще.

— Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой домъ.

— Даешь то ты сколько?

Чтобъ отдѣлаться отъ нея, я сказалъ, что больше трехъ сотъ пятидесяти руб. (асс.) не дамъ.

— Ну и на томъ спасибо, велика голубчикъ мой, чемоданчики-то перенести, да выпей тенерифу рюмочку.

Цѣна ея мнѣ показалась баснословно дешевой, я взялъ домъ, и когда совсѣмъ собрался идти, она меня остановила. „Забыла тебя спросить, а что коровку свою станешь держать?“

— Нѣтъ, помилуйте, отвѣчалъ я, до оскорбленія пораженный ея вопросомъ.

— Ну, такъ я буду тебѣ сливочекъ приносить.

Я пошелъ домой, думая съ ужасомъ гдѣ я, и что я,

что меня заподозрили въ возможности держать свою коровку.

Но я еще не успѣлъ обглядѣться, какъ губернаторъ миѣ объявилъ, что я переведенъ въ Вятку, потому что другой сосланный, назначенный въ Вятку, просилъ его перевести въ Пермь, гдѣ у него были родственники. Губернаторъ хотѣлъ, чтобъ я ѣхалъ на другой-же день. Это было невозможно; думая остаться нѣсколько времени въ Перми, я накупилъ всякой всячины, надобно было продать хоть за полцѣны. Послѣ разныхъ уклончивыхъ отвѣтовъ, губернаторъ разрѣшилъ миѣ остаться двое сутокъ, взявъ слово, что я не буду искать случая увидѣться съ другимъ сосланнымъ.

Я собирался на другой день продать лошадь и всякую дрянь, какъ вдругъ явился полицмейстеръ съ приказомъ выѣхать въ продолженіи 24 часовъ. Я объяснилъ ему, что губернаторъ далъ миѣ отсрочку. Полицмейстеръ показалъ бумагу, въ которой дѣйствительно было ему предписано выпроводить меня въ 24 часа. Бумага была подписана въ самый тотъ день, слѣдовательно послѣ разговора со мною.

— А, сказалъ полицмейстеръ, понимаю, понимаю это нашъ герой-то хочетъ оставить дѣло на моей ответственности.

— Поѣдете его уличать.

— Поѣдете!

Губернаторъ сказалъ, что онъ забылъ разрѣшеніе данное миѣ. Полицмейстеръ лукаво спросилъ, не прикажетъ ли онъ переписать бумагу. Стоитъ ли труда! прибавилъ простодушно губернаторъ. Поймали, сказалъ миѣ полицмейстеръ, потирая отъ удовольствія руки... чернильная душа!

Пермскій полицмейстеръ принадлежалъ къ особому

типу военно-гражданских чиновниковъ. Это люди, которымъ посчастливилось въ военной службѣ какъ нибудь наткнуться на штыкъ или подвернуться подъ пулю, за это имъ даются преимущественно мѣста городничихъ, экзекуторовъ.

Въ полку они привыкли къ нѣкоторымъ замашкамъ откровенности, затвердили разныя сентенціи о неприкосновенности чести, о благородствѣ, язвительныя пасмѣшки надъ писарями. Младшіе изъ нихъ читали Марлинскаго и Загоскина, знаютъ на память начало „Кавказскаго плѣнника“, „Войнаровскаго“ и часто повторяютъ затверженные стихи. Напримѣръ иные говорятъ всякій разъ, заставляя человѣка курящимъ :

Янтарь въ устахъ его дымился.

Всѣ они безъ исключенія глубоко и громко сознаютъ, что ихъ положеніе гораздо ниже ихъ достоинства, что одна нужда можетъ ихъ держать въ этомъ „чернильномъ мірѣ“, что еслибъ не бѣдность и не раны, то они управляли бы корпусами арміи или были бы генералъ-адъютантами. Каждый прибавляетъ поразительный примѣръ кого-нибудь изъ прежнихъ товарищей, и говоритъ : Вѣдь вотъ — Крейцъ или Ридигеръ, — въ одномъ приказѣ въ корнеты произведены были. Жили на одной квартирѣ — Петруша, Алёша — ну я, видите, не иѣмецъ, да и поддержки не было никакой — вотъ и сиди будочникомъ. Вы думаете легко благородному человѣку съ нашими понятіями занимать полицейскую должность.

Жены ихъ еще болѣе горюютъ и съ стѣсненнымъ сердцемъ возятъ въ ломбардъ всякій годъ денежки класть, отправляясь въ Москву подъ предлогомъ, что мать или тетка больна и хочетъ въ послѣдній разъ видѣть.

просто рваннаго однообразные и скудные цвѣты того края. Когда онъ поднялъ голову, я узналъ Цихановича и подошелъ къ нему.

Впослѣдствіи я много видѣлъ мучениковъ польскаго дѣла; Чети-Миней польской борьбы чрезвычайно богаты—Цихановичъ былъ первый. Когда онъ мнѣ рассказъ, какъ ихъ преслѣдовали заплечные мастера въ генераль-адъютантскихъ мундирахъ, эти кулаки, которыми дрался разсвирѣпѣлый деспотъ Зимняго дворца, —жалки показались мнѣ тогда наши невзгоды, наша тюрьма и наше слѣдствіе.

Въ Вильнѣ былъ въ то время начальникомъ, *со стороны побѣдоноснаго непріятели*, тотъ знаменитый ренегатъ Муравьевъ, который обезсмертилъ себя историческимъ изрѣченіемъ: „что онъ принадлежитъ не къ тѣмъ Муравьевымъ, которыхъ вѣшаютъ, а къ тѣмъ, которые вѣшаютъ.“ Для узкаго мстительнаго взгляда Николая, люди раздражительнаго властолюбія и грубой безпощадности, были всего пригоднѣе, по крайней мѣрѣ всего симпатичнѣе.

Генералы сидѣвшіе въ застѣнкѣ и мучившіе эмиссаровъ, ихъ знакомыхъ, знакомыхъ ихъ знакомыхъ, обращались съ арестантами, какъ мерзавцы лишенные всякаго воспитанія, всякаго чувства деликатности и притомъ очень хорошо знавшіе, что всѣ ихъ дѣйствія покрыты солдатской шинелью Николая, облитой и польской кровью мучениковъ и слезами польскихъ матерей... Еще эта *страстная недѣля* цѣлаго народа ждетъ своего Луки или Матеѳа... Но пусть *они* знаютъ: одинъ палачъ за другимъ будетъ выведенъ къ позорному столбу исторій и оставить тамъ свое имя. Это будетъ портретная галлерей николаевскаго времени въ pendant галлерей полководцевъ 1812 года

Вѣсть о моемъ отъѣздѣ огорчила его, но онъ такъ привыкъ къ лишеніямъ, что черезъ минуту почти свѣтло улыбнувшись, сказалъ мнѣ: „Вотъ за то то я и люблю природу, ее никакъ не отнимешь, гдѣ бы человекъ ни былъ.“

Мнѣ хотѣлось оставить ему что нибудь на память, я снялъ небольшую запонку съ рубашки и просилъ его принять ее.

— Къ моей рубашкѣ она не идетъ, сказалъ онъ мнѣ, но запонку вашу я сохраню до конца жизни, и наряджусь въ нее на своихъ похоронахъ.

Потомъ онъ задумался, и вдругъ быстро началъ рыться въ чемоданѣ. Досталъ небольшой мѣшечекъ, вынулъ изъ него желѣзную цѣпочку, сдѣланную особымъ образомъ, оторвавъ отъ нее нѣсколько звѣнцевъ, подаль мнѣ со словами: „Цѣпочка эта мнѣ очень дорога, съ ней связаны святѣйшія воспоминанія юного времени, все я вамъ не дамъ, а возьмите эти кольца. Не думалъ, что я, изгнанникъ изъ Литвы, подарю ихъ русскому изгнаннику.“

— Я обнялъ его и простился.

— Когда вы ѣдете? спросилъ онъ.

— Завтра утромъ, но я васъ не зову, у меня уже на квартирѣ ждетъ безсмѣнно жандармъ.

— И такъ добрый путь вамъ, будьте счастливые меня.

На другой день съ девяти часовъ утра полицмейстеръ былъ уже на лицо въ моей квартирѣ и торопилъ меня. Пермскій жандармъ, гораздо болѣе ручной, чѣмъ крутицкій, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что онъ будетъ 350 верстъ пьянъ, работалъ около коляски. Все было готово; я нечаянно взглянулъ на улицу, идетъ мимо Цихановичъ, я бросился къ окну. „Ну, слава богу,“ сказалъ онъ, „я вотъ четвер-

тый разъ прохожу, чтобъ проститься съ вами, хоть издали, но вы все не видали.“

Глазами полными слезъ поблагодарилъ я его. Это нѣжное, женское вниманіе глубоко тронуло меня; безъ этой встрѣчи мнѣ нечего было бы и пожалѣть въ Перми!

... На другой день послѣ отъѣзда изъ Перми, съ разсвѣта полилъ дождь сильный, непрерывный, какъ бываетъ въ лѣсистыхъ мѣстахъ и продолжался весь день; часа въ два мы пріѣхали въ бѣдиѣйскую вятскую деревню. Станціоннаго дома не было; вотьки (безграмотные) справляли должность смотрителей, развѣтывали подорожную, справлялись двѣ ли печати или одна, кричали „айда, айда!“ и запрягали лошадей, разумѣется, вдвое скорѣе чѣмъ бы это сдѣлалось при смотрителѣ. Мнѣ хотѣлось обсушиться, обогрѣться, съѣсть что нибудь. Пермскій жандармъ согласился на мое предложеніе часа два отдохнуть. Все это было сдѣлано, подъѣзжалъ къ деревнѣ. Когда же я взомель въ избу душную, черную и узналъ, что рѣшительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нѣту верстъ пять, я было раскаялся и хотѣлъ спросить лошадей.

Пока я думалъ, ѣхать или не ѣхать, взомель солдатъ и отпраповорвалъ мнѣ, что этапный офицеръ прислалъ меня звать на чашку чая.

— Съ большимъ удовольствіемъ, гдѣ твой офицеръ?

— Возлѣ въ избѣ, ваше благородіе! и солдатъ выдѣлалъ извѣстное *на* налѣво кру—омъ.

Я пошелъ вслѣдъ за нимъ.

Пожилыхъ лѣтъ, небольшой ростомъ офицеръ, съ лицомъ выразившимъ много перенесенныхъ заботъ, мелкихъ нуждъ, страха передъ начальствомъ, встрѣтилъ меня со всѣмъ радушіемъ мертвящей скуки. Это былъ одинъ изъ тѣхъ недалекихъ, добродушныхъ служаекъ,

тинувшій дѣтъ двадцать пять свою лямку и затянувшійся, безъ разсужденій, безъ повышеній, въ томъ родѣ, какъ служатъ старыя лошади, полагая вѣроятно, что такъ и надобно на разсвѣтѣ надѣть хомутъ и что нибудь тащить.

— Кого и куда вы ведете?

— И не спрашивайте, индо сердце надрывается, ну да про то знаютъ першіе, наше дѣло исполнять приказанія, не мы въ отвѣтъ; а по человѣческому не красиво.

— Да въ чемъ дѣло то?

— Видите, набрали араву проклятыхъ жиденятъ съ восьми, девятилѣтняго возраста. Во флотъ, что ли набираютъ, не знаю. Сначала было ихъ *велики мати въ Пермь, да вышла перемѣна, гонимъ въ Казань*. Я ихъ принялъ верстъ за сто; офицеръ, что сдавалъ, говорилъ бѣда да и только, треть осталась на дорогѣ (и офицеръ показалъ пальцемъ въ землю). Половина не дойдетъ до назначенія, прибавилъ онъ.

— Повальные болѣзни что ли? спросилъ я, потрясенный до внутренности.

— Нѣтъ не то, чтобъ повальные, а такъ мрутъ какъ мухи; жиденокъ, знаете, эдакой чахлый, тщедушный, словно кошка ободранная, не привыкъ часовъ десять мясить грязь, да ѣсть сухари — опять чужіе люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну покашляетъ, покашляетъ да и въ Могилевъ. И скажите, сдѣлайте милость, что это имъ далось, что можно съ ребятишками дѣлать?

Я молчалъ.

— Вы когда выступаете?

— Да пора бы давно, дождь былъ уже больно силенъ... Эй ты, служба! велика мелюзгу собрать.

Привели малютокъ и построили въ правильный фронтъ;

это было одно изъ самыхъ ужасныхъ зрѣлищъ, которыя и видаль — бѣдные, бѣдные дѣти! Мальчики двѣнадцати, тринадцати лѣтъ еще кой какъ держались но, малютки восьми, десяти лѣтъ... Ни одна черная кисть не вызоветъ такого ужаса на холстѣ.

Блѣдные, изнуренные, съ испуганнымъ видомъ стояли они въ неловкихъ, толстыхъ солдатскихъ шинеляхъ съ стоячимъ воротникомъ, обращая, какой-то безпомощный жалостный взглядъ на гарнизонныхъ солдатъ, грубо ровнявшихъ ихъ; блѣдые губы, синіе круги подъ глазами, показывали лихорадку или знобъ. И эти больные дѣти безъ ухodu, безъ ласки, обдуваемые вѣтромъ, который безпрепятственно дуетъ съ Ледовитаго моря, шли въ могилу.

И притомъ замѣтите, что ихъ велъ добрякъ офицеръ которому явно было жалъ дѣтей. Ну! а еслибъ попался военно-политическій экономъ?

Я взялъ офицера за руку и, сказавъ „поберегите ихъ,“ бросился въ коляску, мнѣ хотѣлось рыдать, я чувствовалъ, что не удержусь...

Какія чудовищныя преступленія безвѣстно схоронены въ архивахъ злодѣйскаго, безнравственнаго царствованія Николая! Мы къ нимъ привыкли, они дѣлались обыкновенно, дѣлались какъ ни въ чемъ не бывало, никѣмъ не замѣченныя, потеряныя за страшной далью, беззвучно, заморенныя въ нѣмыхъ канцелярскихъ омотахъ, или задержанныя полицейской цензурой.

Развѣ мы не видали своими глазами семьи голодныхъ исковскихъ мужиковъ, переселяемыхъ насильственно въ тобольскую губернію и кочевавшихъ, безъ корма и ночлеговъ по Тверской площади въ Москвѣ, до тѣхъ поръ, пока князь Д. В. Голицынъ на свои деньги велѣлъ ихъ призрѣть?

ГЛАВА XIV.

Вятка — Канцелярія и столовая его превосходительства —
К. Я. Тюфяевъ.

Вятскій губернаторъ не принялъ меня, а велѣлъ сказать, чтобъ я явился къ нему на другой день въ десять часовъ.

Въ залѣ утромъ я засталъ исправника, полицмейстера и двухъ чиновниковъ: всѣ стояли, говорили шопотомъ и съ безпокойствомъ посматривали на дверь. Дверь растрепалась и взмохъ небольшого роста, плечистый старикъ, съ головой посаженной на плечи какъ у бульдога, большія челюсти продолжали сходство съ собакой, къ тому же онѣ какъ-то плотоядно улыбались; старое и съ тѣмъ вмѣстѣ пріащическое выраженіе лица, небольшіе, быстрые, сѣринькіе глазки и рѣдкіе прямые волосы дѣлали невѣроятно гадкое впечатлѣніе.

Онъ сначала сильно намылилъ голову исправнику за дорогу, по которой вчера ѣхалъ. Исправникъ стоялъ съ нѣсколько опущенной, въ знакъ уваженія и покорности, головою, и ко всему прибавлялъ, какъ это встарь дѣлывали слуги: „Слушаю, ваше превосходительство.“

Послѣ исправника онъ обратился ко мнѣ. Дерзко посмотрѣлъ на меня и спросилъ: Вы вѣдь кончили курсъ въ московскомъ университетѣ?

— Я кандидатъ.

— Потомъ служили?

— Въ Кремлевской экспедиціи.

— Ха, ха, ха — хорошая служба! вамъ разумѣется

при такой службѣ былъ досугъ пировать и пѣсни пѣть. Аленицынъ! закричалъ онъ.

Взошелъ молодой, золотушный человѣкъ.

— Послушай, братецъ, вотъ кандидатъ московскаго университета, онъ вѣроятно все знаетъ, кромѣ службы; его величеству угодно, чтобъ онъ ей у насъ поучился. Займи его у себя въ канцеляріи и докладывай мнѣ особо. Завтра вы явитесь въ канцелярію въ девять утромъ, а теперь можете идти. Да позвольте, я забылъ спросить, какъ вы пишете?

Я съ разу не понялъ.—Ну то есть почеркъ.

— У меня ничего нѣтъ съ собой. — Дай бумаги и перо—и Аленицынъ подалъ мнѣ перо.

— Что же я буду писать?

— Что вамъ угодно, замѣтилъ секретарь, напишите:
А по справкѣ оказалось.

— Ну къ государю переписывать вы не будете, замѣтилъ проницески улыбаясь губернаторъ.

Я еще въ Перми многое слышалъ о Тюфяевѣ, но онъ далеко превзошелъ всѣ мои ожиданія.

Что и чего не производитъ русская жизнь!

Тюфяевъ родился въ Tobольскѣ. Отецъ его чуть ли не былъ сосланъ и принадлежалъ къ бѣднѣйшимъ мѣщанамъ. Лѣтъ тринадцати молодой Тюфяевъ присталъ къ ватагѣ бродящихъ комедіантовъ, которые слоняются съ ярмарки на ярмарку, пляшутъ на канатѣ, кувыркаются колесомъ и пр. Онъ съ ними дошелъ отъ Tobольска до польскихъ губерній, потѣшая православный народъ. Тамъ его, не знаю почему, арестовали и такъ какъ онъ былъ безъ вида, его, какъ бродягу, отправили пѣшкомъ при партіи арестантовъ въ Tobольскъ. Его мать овдовѣла и жила въ большой крайности, сынъ клалъ самъ печку, когда она развалилась; надоб-

но было пріискать какое нибудь ремесло; мальчику далась грамота и онъ сталъ заниматься писцомъ въ магистратѣ. Развязный отъ природы и изощрившій свои способности многостороннимъ воспитаніемъ въ таборѣ акробатовъ и въ пересыльныхъ арестантскихъ партіяхъ, съ которыми прошелъ съ одного конца Россіи до другого, онъ сдѣлался лихимъ дѣльцомъ.

Въ началѣ царствованія Александра, въ Tobольскъ пріѣзжалъ какой-то ревизоръ. Ему нужны были дѣловые писаря, кто-то рекомендовалъ ему Тюфяева. Ревизоръ до того былъ доволенъ имъ, что предложилъ ему ѣхать съ нимъ въ Петербургъ. Тогда Тюфяевъ, у котораго по собственнымъ словамъ самолюбіе не шло дальше мѣста секретаря въ уѣздномъ судѣ, иначе оцѣнилъ себя и съ желѣзной волей рѣшился сдѣлать карьеру.

И сдѣлалъ ее. Черезъ десять лѣтъ мы его уже видимъ неутомимымъ секретаремъ Канкринна, который тогда былъ генераль-интендантомъ. Еще годъ спустя, онъ уже завѣдуетъ одной экспедиціей въ канцеляріи Аракчеева, завѣдывавшей всею Россіей; онъ съ графомъ былъ въ Парижѣ во время занятія его союзными войсками.

Тюфяевъ все время просидѣлъ безвыходно въ походной канцеляріи и à la lettre не видалъ ни одной улицы въ Парижѣ. День и ночь сидѣлъ онъ, составляя и переписывая бумаги, съ достойнымъ товарищемъ своимъ Клейнмихелемъ.

Канцелярія Аракчеева была въ родѣ тѣхъ мѣдныхъ рудниковъ, куда работниковъ посплаютъ только на нѣсколько мѣсяцевъ, потому что если оставить долѣе, то они мрутъ. Усталъ наконецъ и Тюфяевъ на этой фабрикѣ приказовъ и указовъ, распоряженій и учрежде-

ній, и сталъ проситься на болѣе спокойное мѣсто. Аракчеевъ не могъ не полюбить такого человѣка какъ Тюфяевъ, безъ выспихъ притязаній, безъ развлеченій, безъ мнѣній, человѣца формально честнаго, снѣдаемаго честолюбіемъ и ставящаго повиновеніе въ первую добродѣтель людскую. Аракчеевъ наградиъ Тюфяева мѣстомъ вице-губернатора. Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ ему далъ пермское воеводство. Губернія, по которой Тюфяевъ разъ прошелъ по веревкѣ и разъ на веревкѣ лежала у его ногъ.

Власть губернатора вообще растетъ въ прямомъ отношеніи разстоянія отъ Петербурга, но она растетъ въ геометрической прогрессіи въ губерніяхъ, гдѣ нѣтъ дворянства, какъ въ Пермь, Вяткѣ и Сибири. Такой-то край и былъ нуженъ Тюфяеву.

Тюфяевъ былъ восточный сатрапъ, но только дѣятельный, безпокойный, во все мѣшавшійся, вѣчно занятый. Тюфяевъ былъ бы свирѣпымъ комиссаромъ конвента въ 94 году, какимъ нибудь Карье.

Развратный по жизни, грубый по натурѣ, петерпий никакого возраженія, его вліяніе было чрезвычайно вредно. Онъ не бралъ взятокъ, хотя состояніе себѣ таки составилъ, какъ оказалось послѣ смерти. Онъ былъ строгъ къ подчиненнымъ; безъ пощады преслѣдовалъ тѣхъ, которые попадались, а чиновники крали больше, чѣмъ когда-нибудь. Онъ злоупотребленіе вліяній довелъ до нельзя; напр., отправляя чиновника на слѣдствіе, разумѣется, если онъ былъ интересованъ въ дѣлѣ, говорилъ ему: что вѣроятно откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, еслибъ открылось что-нибудь другое.

Въ Пермь все еще было полно славою Тюфяева, у него тамъ была партія приверженцевъ, враждебная по-

вому губернатору, который, какъ разумѣется, окружилъ себя своими клеветами.

Но за то были люди ненавидившіе его. Одинъ изъ нихъ, довольно оригинальное произведеніе русскаго *надлома*, особенно преупреждалъ меня, что такое Тюфяевъ. Я говорю объ докторѣ на одномъ изъ заводовъ. Человѣкъ этотъ умный и очень нервный, вскорѣ послѣ курса какъ-то несчастно женился, потомъ былъ занесенъ въ Екатеринбургъ и безъ всякой опытности затеръ въ болото провинціальной жизни. Поставленный довольно независимо въ этой средѣ, онъ все таки сломился; вся дѣятельность его обратилась на преслѣдованіе чиновниковъ сарказмами. Онъ хохоталъ надъ ними въ глаза, онъ съ гримасами и кривляніемъ говорилъ имъ въ лицо самыя оскорбительныя вещи. Такъ какъ никому не было пощады, то никто особенно не сердился на злой языкъ доктора. Онъ сдѣлалъ себѣ общественное положеніе своими нападками и заставилъ безхарактерное общество терпѣть розги, которыми онъ хлесталъ его безъ отдыха.

Меня предупредили что онъ хорошій докторъ, но поврежденный, и что онъ чрезвычайно дерзокъ.

Его болтовня и шутки не были ни грубы, ни плоски; совсѣмъ напротивъ, онъ былъ полнъ юмора и сосредоточенной желчи, это была его поэзія, его месть, его крикъ досады, а можетъ долею и отчаянія. Онъ изучилъ чиновническій кругъ какъ артистъ и какъ медикъ, онъ зналъ всѣ мелкія и затаенныя страсти ихъ и ободренный ненаходчивостью, трусостью своихъ знакомыхъ, позволялъ себѣ все.

Ко всякому слову прибавлялъ онъ: „ни копѣйки не стоитъ.“ Я разъ шутя замѣтилъ ему это повтореніе. „Чему-же вы удивляетесь, возразилъ докторъ, цѣль вся-

но что просить ее предварительно разрѣшить ему слѣдующее сомнѣніе, съ кого ему получить заплаченные деньги въ томъ случаѣ, если энкіева комета, пересѣкая орбиту земнаго шара, собьетъ его съ пути—что можетъ случиться за полтора года до окончанія срока.

Въ день моего отъѣзда въ Вятку, утромъ рано явился докторъ и началъ съ слѣдующей глупости: Вы какъ Гораций, разъ *тыли* и до сихъ поръ васъ все *персводятъ*. Потомъ онъ вынулъ бумажникъ и спросилъ, не нужно ли мнѣ денегъ на дорогу. Я поблагодарилъ его и отказался.—Отчего же вы не берете? вамъ это ни копѣйки не стоитъ.—У меня есть деньги.—Плохо, сказалъ онъ, міръ кончается, раскрылъ свою записную книжку и вписалъ: „Послѣ пятнадцатилѣтней практики въ первый разъ встрѣтилъ человѣка, который не взялъ денегъ, да еще будучи на отъѣздѣ.“

Отдурочившись, онъ сѣлъ ко мнѣ на постель и серьезно сказалъ: Вы ѣдете къ страшному человѣку. Остерегайтесь его и удайтесь, какъ можно болѣе. Если онъ васъ полюбитъ, плохая вамъ рекомендація; если же возненавидитъ, такъ ужъ онъ васъ доѣдетъ, клеветой, лбедой, не знаю чѣмъ, но доѣдетъ, ему это ни копѣйки не стоитъ.

При этомъ онъ мнѣ разсказалъ происшествіе, истинность котораго я имѣлъ случай послѣ повѣрить по документамъ въ канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ.

Тюфиевъ былъ въ сткрытой связи съ сестрой одного бѣднаго чиновника. Надъ братомъ смѣялись, братъ хотѣлъ разорвать эту связь, грозился доносомъ, хотѣлъ писать въ Петербургъ, словомъ шумѣлъ и беспокоился до того, что его однажды полиція схватила и представила какъ сумашедшаго для освидѣтельствованія въ губернское правленіе.

Губернское правленіе, предсѣдатели палатъ и инспекторъ врачебной управы, старикъ нѣмецъ, пользовавшійся большою любовью народа, и котораго я лично зналъ, всѣ нашли, что Петровскій—сумашедшій.

Нашъ докторъ зналъ Петровскаго и былъ его врачомъ. Спросили и его для формы. Онъ объявилъ инспектору, что Петровскій вовсе не сумашедшій, и что онъ предлагаетъ переосвидѣтельствовать, иначе долженъ будетъ дѣло это вести дальше. Губернское правленіе было вовсе не прочь, но по несчастію Петровскій умеръ въ сумашедшемъ домѣ, не дождавшись дня назначеннаго для вторичнаго свидѣтельства и не смотря на то, что онъ былъ молодой, здоровый малый.

Дѣло дошло до Петербурга. Петровскую арестовали (почему не Тюфиева?), началось секретное слѣдствіе. Отвѣты диктовалъ Тюфиевъ, онъ превзошелъ себя въ этомъ дѣлѣ. Чтобъ разомъ остановить его и отклонить отъ себя опасность вторичнаго, произвольнаго путешествія въ Сибирь, Тюфиевъ научилъ Петровскую сказать, что братъ ея съ тѣхъ поръ съ нею въ ссорѣ, какъ она, увлеченная молодостью и неопытностью, лишилась невинности при проѣздѣ императора Александра въ Пермь, за что и получила черезъ генерала Соломку 5,000 р.

Привычки Александра были таковы, что невѣроятнаго ничего тутъ не было. Узнать правда ли было не легко и во всякомъ случаѣ надѣлало бы много скандалу. На вопросъ г. Бенкендорфа, генераль Соломка отвѣчалъ, что черезъ его руки проходило столько денегъ, что онъ не припомнить объ этихъ 5,000.

„La ragione en aveva molto!“ говоритъ импровизаторъ въ *Египетскихъ ночахъ* Пушкина...

И вотъ этотъ-то почтенный ученикъ Аракчеева и

достойный товарищ Клейнмихеля, акробатъ, бродяга, писарь, секретарь, губернаторъ, вѣжное сердце, безкорыстный человекъ, запирающій здоровыхъ въ сумасшедшій домъ и уничтожающій ихъ тамъ, человекъ оклеветавшій императора Александра для того, чтобъ отвести глаза императора Николаю, брался теперь приучать меня къ службѣ.

Зависимость моя отъ него была велика. Стоило ему написать какойнибудь вздоръ министру, меня отослали бы куданибудь въ Иркутскъ. Да и зачѣмъ писать? онъ имѣлъ право перевести въ какойнибудь дикій городъ Кай или Царево-Санчурскъ, безъ всякихъ сообщеній, безъ всякихъ ресурсовъ. Тюфяевъ отправилъ въ Глазовъ одного молодого поляка за то, что дамы предпочитали танцевать съ нимъ мазурку, а не съ его превосходительствомъ.

Такъ князь Долгоруковъ былъ отправленъ изъ Перми въ Верхотурье. Верхотурье, потерянное въ горахъ и сѣняхъ, принадлежитъ еще къ пермской губерніи, но это мѣсто стоитъ Березова по климату,—онъ хуже Березова—по пустотѣ.

Князь Долгоруковъ принадлежалъ къ аристократическимъ повѣсамъ въ дурномъ родѣ, которые ужъ рѣдко встрѣчаются въ наше время. Онъ дѣлалъ всякія проказы въ Петербургѣ, проказы въ Москвѣ, проказы въ Парижѣ.

На это тратилась его жизнь. Это былъ Измайловъ въ маленькомъ размѣрѣ, князь Е. Грузинскій безъ притона бѣглыхъ въ Лысковѣ, т. е. избалованный, дерзкій, отвратительный забавникъ, баринъ и шутъ вѣстѣ. Когда его продѣлки перешли всѣ границы, ему велѣли отправиться на жительство въ Пермь.

Онъ пріѣхалъ въ двухъ каретахъ: въ одной онъ

самъ съ собакой, въ другой—его поваръ французъ съ попугаями. Въ Перми обрадовались богатому гостю и вскорѣ весь городъ толкся въ его столовой. Долгорукій завелъ шашни съ пермской барыней; барыня, заподозривъ какія-то невѣрности, явилась невзначай утромъ къ князю и застала его съ горничной. Изъ этого вышла сцена, кончившаяся тѣмъ, что невѣрный любовникъ снялъ со стѣны арапникъ; совѣтница, видя его намѣреніе, пустилась бѣжать; онъ за ней, небрежно одѣтый въ одинъ халатъ; нагнавъ ее на небольшой площади, гдѣ учили обыкновенно батальонъ, онъ вытянулъ раза три ревнивую совѣтницу арапникомъ и спокойно отправился домой, какъ будто сдѣлалъ дѣло.

Подобныя милыя шутки навлекли на него гоненіе пермскихъ друзей и начальство рѣшилось сорокалѣтняго шалуна отослать въ Верхотурье. Онъ далъ накануне отъѣзда богатый обѣдъ и чиновники, не смотря на разладъ, все таки поѣхали; Долгорукій обѣщалъ ихъ накормить какимъ-то неслыханнымъ пирогомъ.

Пирогъ былъ дѣйствительно превосходенъ и исчезалъ съ невѣроятной быстротой. Когда остались одни корки, Долгорукій патетически обратился къ гостямъ и сказалъ: „Не будетъ же сказано, что я, разставаясь съ вами, что нибудь пожалѣлъ. Я велѣлъ вчера убить моего Гарди для пирога.“

Чиновники съ ужасомъ взглянули другъ на друга и искали глазами знакомую всѣмъ датскую собаку: ея не было. Князь догадался и велѣлъ слугѣ принести бранные остатки Гарди, его шкуру; внутренность была въ пермскихъ желудкахъ. Полгорода занемогло отъ ужаса.

Между тѣмъ Долгорукій, довольный тѣмъ, что ловко подшутилъ надъ пріятелями, ѣхалъ торжественно въ Верхотурье. Третья повозка везла цѣлый курятникъ,

курятникъ ѣдущій на почтовыхъ! По дорогѣ онъ увезъ съ нѣсколькихъ станцій приходныя книги, перемѣшалъ ихъ, поправилъ въ нихъ цифры и чуть не свелъ съ ума почтовое вѣдомство, которое и съ книгами не всегда ловко сводило концы съ концами.

Удушливая пустота и нѣмота русской жизни, страннымъ образомъ соединяаясь съ живостью и даже бурностью характера, особенно развивается въ насъ всякія юродства.

Въ нѣтушемъ крикѣ Суворова, какъ въ собачьемъ паштетѣ князи Долгорукова, въ дикихъ выходкахъ Измайлова, въ полудобровольномъ безуміи Мамонова и буйныхъ преступленіяхъ Толстого-Американца, я слышу родственную ноту, знакомую намъ всѣмъ, но которая у насъ ослаблена образованіемъ или направлена на что нибудь другое.

Я лично зналъ Толстого и именно въ ту эпоху, когда онъ лишился своей дочери Сарры, необыкновенной дѣвушки, съ высокимъ поэтическимъ даромъ. Одинъ взглядъ на наружность старика, на его лобъ, покрытый сѣдыми кудрями, на его свергающіе глаза и атлетическое тѣло, показывали сколько энергіи и силы было ему дано отъ природы. Онъ развилъ одиѣ буйныя страсти, одиѣ дурныя наклонности и это не удивительно; всему порочному позволяютъ у насъ развиваться долгое время безпретѣнствено, а за страсти человѣческія посылаютъ въ гарнизонъ или въ Сибирь при первомъ шагѣ... Онъ буйствовалъ, обыгрывалъ, дрался, уродовалъ людей, раззорялъ семейства лѣтъ двадцать сряду, пока наконецъ былъ сосланъ въ Сибирь, откуда „вернулся алеутомъ,“ какъ говоритъ Грибоѣдовъ, т. е. пробрался черезъ Камчатку, въ Америку и оттуда выпросилъ дозволеніе возвратиться въ Россію. Александръ его простилъ, и онъ,

на другой день послѣ приѣзда, продолжалъ прежнюю жизнь. Женатый на цыганкѣ, извѣстной своимъ голосомъ и принадлежавшей къ московскому табору, онъ превратилъ свой домъ въ игорный, проводилъ все время въ оргіяхъ, всѣ ночи за картами и дикія сцены алчности и пьянства совершались возлѣ колыбели маленькой Сарры. Говорятъ, что онъ разъ, въ доказательство мѣткости своего глаза, велѣлъ женѣ стать на столъ и прострѣлить ее каблукъ башмака.

Послѣдняя его продѣлка чуть было снова не свела его въ Сибирь. Онъ былъ давно сердитъ на какого-то мѣщанина, поймалъ его какъ-то у себя въ домѣ, связалъ по рукамъ и ногамъ и вырвалъ у него зубъ. Вѣроятно-ли, что этотъ случай былъ лѣтъ десять или двѣнадцать тому назадъ? Мѣщанинъ подалъ просьбу. Толстой задалъ полицейскихъ, задалъ судъ, и мѣщанина посадили въ острогъ за ложный извѣтъ. Въ это время одинъ извѣстный русскій литераторъ, Н. Ф. Павловъ, служилъ въ тюремномъ комитетѣ. Мѣщанинъ рассказалъ ему дѣло, неопытный чиновникъ поднялъ его. Толстой струхнулъ не на шутку, дѣло клонилось явнымъ образомъ къ его осужденію; но русскій богъ великъ! Графъ Орловъ написалъ князю Щербатову секретное отношеніе, въ которомъ совѣтовалъ ему дѣло затушить чтобъ не дать такого *прямою торжества низшему сословію надъ высшимъ*. Н. Ф. Павлова графъ Орловъ совѣтовалъ удалить отъ такого мѣста... Это почти невѣроятное вырваннаго зуба. Я былъ тогда въ Москвѣ и очень хорошо зналъ неосторожнаго чиновника. Но возвратимся въ Вятку.

Канцелярія была безъ всякаго сравненія хуже тюрьмы. Не матерьяльная работа была велика, а удушающій, какъ въ собачьемъ гротѣ, воздухъ этой затхлой среды

и страшная глупая потеря времени, вотъ что дѣлало канцелярію невыносимой. Аленицынъ меня не тѣснилъ, онъ былъ даже вѣжливѣе, чѣмъ я ожидалъ, онъ учился въ казанской гимназіи и въ силу этого имѣлъ уваженіе къ кандидату московскаго университета.

Въ канцеляріи было человѣкъ двадцать писцовъ. Большею частію люди безъ малѣйшаго образованія и безъ всякаго нравственнаго понятія; дѣти писцовъ и секретарей, съ колыбели привыкнувшіе считать службу средствомъ пріобрѣтенія, а крестьянъ почвой приносящей доходъ, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стаканъ вина, унижались, дѣлали всякія подлости. Мой камердинеръ пересталъ ходить въ „бильярдную,“ говоря, что чиновники плутуютъ хуже всякаго, а проучить ихъ нельзя, потому что они *офицеры*.

Вотъ съ этими-то людьми, которыхъ мой слуга не билъ только за ихъ чинъ, мнѣ приходилось сидѣть ежедневно отъ 9 до 2 утра и отъ 5 до 8 часовъ вечера.

Сверхъ Аленицына, общаго начальника канцеляріи, у меня былъ начальникъ стола, къ которому меня посадили, существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За однимъ столомъ со мною сидѣли четыре писца. Съ ними надобно было говорить и быть закомымъ, да и со всѣми другими тоже. Не говоря уже о томъ, что эти люди „за гордость“ рано или поздно подставили бы мнѣ ловушку, просто нѣтъ возможности проводить нѣсколько часовъ дни съ одними и тѣми-же людьми, не перезнакомившись съ ними. Сверхъ того не должно забывать, какъ провинціалы льнутъ къ постороннему, особенно пріѣхавшему изъ столицы и притомъ еще съ какой-то интересной исторіей за спиной.

Просидѣвши день цѣлый въ этой галерѣ, я прихо-

диль иной разъ домой въ какомъ-то отупленіи всѣхъ способностей и бросался на диванъ — изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятіе. Я душевно жалѣлъ о моей крутицкой кельи съ ея чадомъ и тараканами, съ жандармомъ у дверей и съ замкомъ на дверяхъ. Тамъ я былъ воленъ, дѣлалъ что хотѣлъ, никто мнѣ не мѣшалъ; вмѣсто этихъ пошлыхъ рѣчей, грязныхъ людей, низкихъ понятій, грубыхъ чувствъ, тамъ была мертвая тишина и невозмущаемый досугъ. И когда мнѣ приходило въ голову, что послѣ обѣда опять слѣдуетъ идти, и завтра опять, мною подъ часъ овладѣвало бѣшенство и отчаяніе и я пилъ вино и водку для утѣшенія.

А тутъ еще придетъ по „дорогѣ“ кто нибудь изъ сослуживцевъ посидѣть отъ скуки, поговорить пока до законеннаго часа идти на службу.....

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ впрочемъ канцелярія сдѣлалась нѣсколько полегче.

Долгое, равномѣрное преслѣдованіе не въ русскомъ характерѣ, если не примѣшивается личностей или денежныхъ видовъ; и это совсѣмъ не отъ того, чтобъ правительство не хотѣло душить и добивать, а отъ русской безпечности, отъ нашего *laisser aller*. Русскія власти всѣ вообще неотесаны, наглы, дерзки, на грубость съ ними накупиться очень легко, но постоянное доколачиваніе людей не въ ихъ нравахъ, у нихъ на это не достаесть терпѣнія, можетъ оттого, что оно не приноситъ никакого барыша.

Сначала, съ горяча, чтобъ показать въ одну сторону усердіе, въ другую власть, дѣлаются всякія глупости и ненужности, потомъ мало по малу человѣка оставляютъ въ покоѣ.

Такъ случилось и съ канцеляріей. Министерство вну-

треннихъ дѣлъ было тогда въ припадкѣ статистики; оно велѣло вездѣ завести комитеты, и разослало такія программы, которыя врядъ возможно ли было бы исполнить гдѣ-нибудь въ Бельгін или Швейцаріи; при этомъ всякія вычурныя таблицы съ *maximum* и *minimum*, съ средними числами и разными выводами изъ десятилѣтнихъ сложностей (составленными по свѣденіямъ, которыя *за годъ передъ тѣмъ* не собирались!) съ нравственными отмѣтками и метеорологическими замѣчаніями. На комитетъ и на собраніе свѣденій денегъ не назначалось ни копѣйки; все это слѣдовало дѣлать изъ любви къ статистикѣ, черезъ земскую полицію, и приводить въ порядокъ въ губернаторской канцеляріи. Канцелярія, заваленная дѣлами, земская полиція, ненавидищая всѣ *мирныя* и теоретическія занятія, смотрѣли на статистическій комитетъ какъ на ненужную роскошь, какъ на министерскую шалость; однако отчеты надобно было представить съ таблицами и выводами.

Это дѣло казалось безмѣрно труднымъ всей канцеляріи; оно было просто невозможно; но на это никто не обратилъ вниманія, хлопотали о томъ, чтобы не было выговора. Я обѣщаль Аленицыну приготовить введеніе и начало, очерки таблицъ, съ краснорѣчивыми отмѣтками, съ иностранными словами, съ цитатами и поразительными выводами, если онъ разрѣшитъ мнѣ, этимъ тяжелымъ трудомъ заниматься дома, а не въ канцеляріи. Аленицынъ переговорилъ съ Тюфяевымъ и согласился.

Начало отчета о занятіяхъ комитета, въ которомъ я говорилъ о надеждахъ и проэктахъ, потому что въ настоящемъ ничего не было, тронули Аленицына до глубины душевной. Самъ Тюфяевъ нашелъ, что оно мастерски написано. Тѣмъ и окончились труды по части

статистики, но комитетъ дали въ мое завѣдываніе. На барщину переписки бумагъ меня больше не гоняли и мой пьяненькій столоначальникъ сдѣлался почти подчиненное мнѣ лицо. Аленицынъ требовалъ только, изъ какихъ-то соображеній высшаго приличія, чтобъ я на короткое время заходилъ всякій день въ канцелярію.

Для того, чтобъ показать всю мѣру невозможности серьезныхъ таблицъ, я упомяну свѣденія присланныя изъ заштатнаго города Кап. Тамъ между разными нелѣпостями было: „Утопшихъ—2, причины утопленія не известны—2,“ и въ графѣ суммъ выставлено „четыре.“ Подъ рубрикой чрезвычайныхъ происшествій значился слѣдующій трагическій анекдотъ: „Мѣщанинъ такой то, разстроивъ горячительными напитками свой умъ — повѣсился.“ Подъ рубрикой о нравственности городскихъ жителей было написано: „Жидовъ въ городѣ Капъ не находилось.“ На вопросъ не было ли ассигновано суммъ на постройку церкви, биржи, богадѣльни? Отвѣты шли такъ: „На постройку биржи ассигновано было—не было.....“

Статистика, спасая меня отъ канцелярской работы, имѣла несчастнымъ послѣдствіемъ личныя сношенія съ Тюфяевымъ.

Было время, когда и этого человѣка ненавидѣлъ, это время давно прошло, да и человѣкъ этотъ прошелъ, онъ умеръ въ своихъ казанскихъ помѣстьяхъ, около 1845 года. Теперь я вспоминаю о немъ безъ злобы, какъ объ особенномъ звѣрѣ, понавшемся въ лѣсу и дичи, котораго надобно было изучать, но на котораго нельзя было сердиться за то, что онъ звѣрь; тогда я не могъ не вступитъ съ нимъ въ борьбу, это была необходимость для всякаго порядочнаго человѣка. Случай мнѣ помогъ, иначе онъ сильно повредилъ бы мнѣ; имѣть

зубъ за зло, которое онъ мнѣ не сдѣлалъ, было бы смѣшно и жалко.

Тюфиевъ жилъ одинъ. Жена его была съ нимъ въ разводѣ. На задней половинѣ губернаторскаго дома, какъ-то намѣренно неловко, пряталась его фаворитка, жена повара, удаленнаго именно за вину своего брака въ деревню. Она не являлась официально, но чиновники, особенно преданные губернатору, т. е. особенно боявшіеся слѣдствій, составляли придворный штатъ супруги повара „въ случаѣ.“ Ихъ жены и дочери, не хватаясь этимъ, потихоньку, вечеромъ дѣлали ей визиты. Госпожа эта отличалась тѣмъ тактомъ, который имѣлъ одинъ изъ блестящихъ ея предшественниковъ—Потемкинъ; зная нравъ старика и боясь быть смѣненной, она сама прискивала ему не опасныхъ соперницъ. Благодарный старикъ платилъ привязанностью за такую снисходительную любовь и они жили ладно.

Тюфиевъ все утро работалъ и былъ въ губернскомъ правленіи. Поэзія жизни начиналась съ трехъ часовъ. Обѣдъ для него была вещь не шуточная. Онъ любилъ поѣсть и поѣсть на людяхъ. У него на кухнѣ готовилось всегда на двѣнадцать человѣкъ; если гостей было меньше половины, онъ огорчался; если не больше двухъ человѣкъ, онъ былъ несчастенъ; если же никого не было, онъ уходилъ обѣдать близкій къ отчаянію въ комнаты дульциней. Достать людей для того, чтобъ ихъ накормить до тошноты, не трудная задача, но его официальное положеніе и страхъ чиновниковъ передъ нимъ не позволяли ни имъ свободно пользоваться его гостепріимствомъ, ни ему сдѣлать трактиръ изъ своего дома. Надобно было ограничиться совѣтниками, предсѣдателями (но съ половиной онъ былъ въ ссорѣ, т. е. не благоволялъ къ нимъ), рѣдкими проѣзжими, богатыми

купцами, откупщиками и *странностями*, нѣчто въ родѣ *sarasinés*, которыя хотѣли ввести при Людовикѣ Филиппѣ въ выборы. Разумѣется, я былъ странность первой величины въ Вяткѣ.

Людей сосланныхъ на житье „за мнѣнія“ въ дальніе города нѣсколько боятся, но никакъ не смѣшиваютъ съ обыкновенными смертными. „Опасные люди“ имѣютъ тотъ интересъ для провинціи, который имѣютъ извѣстные Ловласы для женщинъ и куртизаны для мущинъ. Опасныхъ людей гораздо больше избѣгаютъ петербургскіе чиновники и московскіе тузы, чѣмъ провинціальныя жители, особенно сибиряки.

Сосланные по четырнадцатому Декабря пользовались огромнымъ уваженіемъ. Къ вдовѣ Юшневскаго дѣлали чиновники первый визитъ въ новый годъ. Сенаторъ Толстой, ревизовавши Сибирь, руководствовался свѣденіями, получаемыми отъ сосланныхъ декабристовъ, для повѣрки тѣхъ, которые доставляли чиновники.

Минихъ завѣдывалъ изъ своей башни въ Целымъ дѣлами тобольской губерніи. Губернаторы ходили къ нему совѣщаться о важныхъ дѣлахъ.

Простой народъ еще менѣе враждебенъ къ сосланнымъ; онъ вообще со стороны наказанныхъ. Около сибирской границы слово „ссылный“ исчезаетъ и замѣняется словомъ „несчастный.“ Въ глазахъ русскаго народа судебный приговоръ не пятнаетъ человѣка. Въ пермской губерніи по дорогѣ въ Тобольскъ крестьяне выставляютъ часто квасъ, молоко и хлѣбъ въ маленькомъ окошкѣ на случай, если „несчастный“ будетъ тайкомъ пробираться изъ Сибири.

Кстати, говоря о сосланныхъ, за Нижнимъ начинаютъ встрѣчаться сосланные поляки, съ Казани число ихъ быстро возрастаетъ. Въ Перми было человѣкъ со-

рокъ, въ Вяткѣ не меньше; сверхъ того, въ каждомъ уѣздномъ городѣ было нѣсколько человѣкъ.

Они жили совершенно отдѣльно отъ русскихъ и удалялись отъ всякаго сообщенія съ жителями; между собою у нихъ было большое единодушiе, и богатые дѣлились братски съ бѣдными.

Со стороны жителей я не видалъ ни ненависти, ни особеннаго расположенія къ нимъ. Они смотрѣли на нихъ какъ на постороннихъ — въ тому же почти ни одинъ полякъ не зналъ по русски.

Одинъ закоснѣлый сармать, старикъ, уланскій офицеръ при Понятовскомъ, дѣлавшій часть наполеоновскихъ походовъ, получилъ въ 1837 году дозволенiе возвратиться въ свои литовскiя помѣстья. Наканунѣ отъѣзда старикъ позвалъ меня и нѣсколько поляковъ отобѣдать. Послѣ обѣда мой кавалеристъ подошелъ ко мнѣ съ бокаломъ, обнялъ меня и съ военнымъ простодушиемъ сказалъ мнѣ на ухо: *Да зачѣмъ же вы русский!* Я ни отвѣчалъ ни слова, но замѣчанiе это сильно запало мнѣ въ грудь. Я понялъ, что *этому* поколѣнiю нельзя было освободить Польшу.

Съ Конарскаго начиная, поляки совсѣмъ вначе смотрятъ на русскихъ.

Вообще поляковъ сосланныхъ на житiе не тѣснятъ, но матеріальное положенiе ужасно для тѣхъ, которые не имѣютъ состоянiя. Правительство даетъ немущимъ по 15 рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ; изъ этихъ денегъ слѣдуетъ платить за квартиру, одѣваться, ѣсть и отапливаться. Въ довольно большихъ городахъ, въ Казани, Тобольскѣ, можно было что-нибудь выработать уроками, концертами, играя на балахъ, рисуя портреты, заводя танцъ-классы. Въ Перми и Вяткѣ не было и

этихъ средствъ. И не смотря на то, у русскихъ они не просили ничего.

..... Приглашеніе Тюфяева на его жирные, сибирскіе обѣды, было для меня истиннымъ наказаніемъ. Столовая его была та же канцелярія, но въ другой формѣ, менѣе грязной, но болѣе пошлой, потому что она имѣла видъ доброй воли, а не насилія.

Тюфяевъ зналъ своихъ гостей на сквозь, презиралъ ихъ, показывалъ имъ иногда когти и вообще обращался съ ними въ томъ родѣ, какъ хозяинъ обращается съ своими собаками, то съ излишней фамильярностію, то съ грубостію, выходящей изъ всѣхъ предѣловъ — и все таки онъ звалъ ихъ на свои обѣды, и они съ трепетомъ и радостію являлись къ нему, унижаясь, сплетничая, подслуживаясь, угождая, улыбаясь, кланяясь.

И за нихъ краснѣлъ и стыдился.

Дружба наша не долго продолжалась. Тюфяевъ скоро догадался, что я не гожусь въ „высшее“ вятское общество.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ былъ мною недоволенъ, черезъ нѣсколько другихъ онъ меня ненавидѣлъ и я не только не ходилъ на его обѣды, но вовсе пересталъ къ нему ходить. Проѣздъ послѣдника спасъ меня отъ его преслѣдованій, какъ мы увидимъ послѣ.

Притомъ необходимо замѣтить, что я рѣшительно ничего не сдѣлалъ, чтобы заслужить сначала его вниманіе и приглашеніе, потомъ гнѣвъ и немилость. Онъ не могъ вынести во мнѣ человѣка, державшаго себя независимо, но вовсе не дерзко; я былъ съ нимъ всегда en règle, онъ требовалъ подобострастія.

Онъ ревниво любилъ свою власть, она ему досталась трудовой копѣйкой и онъ искалъ не только повинове-

нія, но *вида* безпрекословной подчиненности. По несчастью въ этомъ онъ былъ націоналентъ.

Помѣщикъ говоритъ слугѣ: Молчать, я не потерплю, чтобъ ты мнѣ отвѣчалъ.

Начальникъ департамента замѣчаетъ, блѣднѣя, чиновнику, дѣлающему возраженіе: Вы забываетесь, знаете ли вы, съ кѣмъ вы говорите?

Государь „за мнѣнія“ посылаетъ въ Сибирь, за *стихи* морить въ казематахъ — и всѣ трое скорѣе готовы простить воровство и изятки, убійство и разбой, чѣмъ наглость человѣческаго достоинства и дерзость независимой рѣчи.

Тюфяевъ былъ настоящій царскій слуга, его оцѣнили но мало. Въ немъ византійское рабство необыкновенно, хорошо соединилось съ канцелярскимъ порядкомъ. Уничтоженіе себя, отрѣченіе отъ воли и мысли передъ властью шло неразрывно съ суровымъ гнетомъ подчиненныхъ. Онъ бы могъ быть статскій Клейнмихель, его „усердіе“ точно также превозмогло бы все, и онъ точно также штукатурилъ бы стѣны человѣческими трупами, сушилъ бы дворецъ людскими легкими, а молодыхъ людей инженернаго корпуса сѣкъ бы еще больнѣе, за то, что они не доносчики.

У Тюфяева была живучая, затаенная ненависть ко всему аристократическому, ее онъ сохранилъ отъ горькихъ испытаній. Для Тюфяева каторжная канцелярія Аркачеева, была первой гаванью, первымъ освобожденіемъ. Прежде начальники не предлагали ему стула, употребляли его на мелкія комиссіи. Когда онъ служилъ по интендантской части, офицеры по армейски преслѣдовали его и одинъ полковникъ вытянулъ его на улицѣ въ Вильнѣ хлыстомъ... Все это возшло и назрѣло въ душѣ писаря; теперь, губернаторомъ, его чередъ

тѣснить, не давать стула, говорить *ты*, поднимать голосъ больше чѣмъ нужно, а иной разъ отдавать подъ судъ столбовыхъ дворянъ.

Изъ Перми Тюфяевъ былъ переведенъ въ Тверь. Дворянство, при всей уступчивости и при всемъ раболѣпш, не могло вынести Тюфяева. Они упростили министра Блудова удалить его. Блудовъ назначилъ его въ Вятку.

Тутъ онъ снова очутился въ своей средѣ. Чиновники и откупщики, заводчики и чиновники, раздолье да и только. Все трепетало его, все вставало передъ нимъ, все поило его, все давало ему обѣды, все глядѣло въ глаза; на свадьбахъ и именинахъ первый тостъ предлагали: „за здравіе его превосходительства!“

ГЛАВА XV.

Чиновники — Сибирскіе генералъ-губернаторы — Хищный полицеймейстеръ — Ручный судья — Жареный исправникъ — Равноапостольный татаринъ — Мальчикъ женскаго пола — Картофельный терроръ и пр.

Одинъ изъ самыхъ печальныхъ результатовъ петровскаго переворота — это развитіе чиновническаго сословія. Классъ искусственный, необразованный, голодный, не умѣющій ничего дѣлать кромѣ „служенія“, ничего не знающій кромѣ канцелярскихъ формъ; онъ составляетъ какое-то гражданское духовенство, священнодѣйствующее въ судахъ и полиціяхъ и сосущее кровь народа тысячами ртовъ жадныхъ и нечистыхъ.

Гоголь приподнялъ одну сторону занавѣси и пока-

залъ намъ русское чиновничество во всемъ безобразіи его; но Гоголь невольно примиряетъ смѣхомъ, его огромный комическій талантъ беретъ верхъ надъ негодованіемъ. Сверхъ того въ колодкахъ русской цензуры онъ едва могъ касаться печальной стороны этого грязнаго подземелья, въ которомъ куются судьбы бѣднаго русскаго народа.

Тамъ, гдѣ-то въ законѣлыхъ канцеляріяхъ, черезъ которыя мы спѣшимъ пройти, обтерханные люди пишутъ — пишутъ на сѣрой бумагѣ, перенисываютъ на гербовую, и лица, семьи, цѣлыя деревни обижены, испуганы, раззорены. Отецъ, идетъ на поселенье, мать въ тюрьму, сынъ въ солдаты и все это разразилось какъ громъ, неожиданно, большей частью неповинно. А изъ за чего? Изъ за денегъ. Складчину... или начнется слѣдствіе о мертвомъ тѣлѣ какого нибудь пьяницы, сгорѣвшаго отъ вина и замерзнувшаго отъ мороза. И голова собираетъ, староста собираетъ, мужики несутъ послѣднюю копѣйку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; совѣтнику надобно жить, да и дѣтей воспитать, совѣтникъ примѣрный отецъ.

Чиновничество царить въ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ Руси и въ Сибири; тутъ оно раскинулось безпрепятственно, безъ оглядки... даль страшная, всѣ участвуютъ въ выгодахъ, кража становится *res publica*. Самая власть царская, которая бьетъ какъ картечь, не можетъ пробить эти подсыжныя, болотистыя траншеи изъ тонкой грязи. Всѣ мѣры пранительства—ослаблены, всѣ желанія искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано и все съ видомъ вѣрноподданческаго раболѣпія и съ соблюденіемъ всѣхъ канцелярскихъ формъ.

Сперанскій пробовалъ облегчить участь сибирскаго народа. Онъ ввелъ всюду коллегіальное начало; какъ будто дѣло зависѣло оттого, какъ кто крадетъ — по одиночкѣ или шайками. Онъ сотнями отрѣшалъ старыхъ плутовъ и сотнями принималъ новыхъ. Сначала онъ нагналъ такой ужасъ на земскую полицію, что мужики *брали* деньги съ чиновниковъ, чтобъ не ходить съ челобитьемъ. Года черезъ три чиновники наживались по новымъ формамъ, не хуже какъ по старымъ.

Нашелся другой чудакъ, генералъ Вельяминовъ. Года два онъ побился въ Тобольскѣ, желая уничтожить злоупотребленія, но, видя безуспѣшность, бросилъ все и совсѣмъ пересталъ заниматься дѣлами.

Другіе, благоразуміе его, не дѣлали опыта, а наживались и давали наживаться.

— Я искореню взятки, сказалъ московскій губернаторъ Сениявинъ сѣдому крестьянину, подавшему жалобу на какую-то явную несправедливость. Старикъ улыбнулся.

— Что же ты смѣешься? спросилъ Сениявинъ.

— Да, батюшка, отвѣчалъ мужикъ, ты прости; на умъ пришелъ мнѣ одинъ молодецъ нашъ, похвалялся царь-пушку поднять, и точно, пробовалъ — до только пушку-то не поднялъ!

Сениявинъ, который самъ рассказывалъ этотъ анекдотъ, принадлежалъ къ тому числу непрактическихъ людей въ русской службѣ, которые думаютъ, что риторическими выходками о честности и деспотическимъ преслѣдованіемъ двухъ-трехъ плутовъ, которые подвернутся, можно помочь такой всеобщей болѣзни, какъ русское взяточничество, свободно растущее подъ тѣнью ценсурнаго древа.

Противъ него два средства: гласность и совершен-

но другая организація всей машины, введеніе снова народныхъ началъ третейскаго суда, изустнаго процесса, цѣловальниковъ, и всего того, что такъ ненавидитъ петербургское правительство.

Генераль - губернаторъ западной Сибири Пестель, отецъ знаменитаго Пестеля, казеннаго Николаемъ, былъ настоящій римскій проконсулъ, да еще изъ самыхъ яростныхъ. Онъ завелъ открытый, систематическій грабежъ во всемъ краѣ, отрѣзанномъ его лазутчиками отъ Россіи. Ни одно письмо не переходило границы не распечатанное, и горе человѣку, который осмѣлился бы написать что-нибудь о его управленіи. Онъ купцовъ первой гильдіи держалъ по году въ тюрьмѣ, въ цѣняхъ, онъ ихъ пыталъ. Чиновниковъ посылалъ на границу восточной Сибири и оставлялъ тамъ года на два, на три.

Долго терпѣлъ народъ; наконецъ какой-то тобольскій мѣщанинъ рѣшился довести до свѣденія государя о положеніи дѣлъ. Боясь обыкновеннаго пути, онъ отправился на Кяхту и оттуда пробрался съ караваномъ чаевъ черезъ сибирскую границу. Онъ нашелъ случай въ Царскомъ-Селѣ подать Александру свою просьбу, умоляя его прочесть ее. Александръ былъ удивленъ, пораженъ страшными вещами, прочтенными имъ. Онъ позвалъ мѣщанина и, долго говоря съ нимъ, убѣдился въ печальной истинѣ его довеса. Огорченный и нѣсколько смущенный, онъ сказалъ ему:

— Ступай, братецъ, теперь домой, дѣло это будетъ разобрано.

— Ваше величество. отвѣчалъ мѣщанинъ, я къ себѣ теперь не пойду. Прикажете лучше меня запереть въ острогъ. Разговоръ мой съ вашимъ величествомъ не останется въ тайнѣ — меня убьютъ.

Александръ содрогнулся и сказалъ, обращаясь къ

Милорадовичу, который тогда былъ генераль-губернаторомъ въ Петербургѣ: Ты мнѣ отвѣчаешь за него.

— Въ такомъ случаѣ, замѣтилъ Милорадовичъ, позвольте мнѣ его взять къ себѣ въ домъ. Тамъ мѣщанинъ дѣйствительно и оставался до окончанія дѣла.

Пестель почти всегда жилъ въ Петербургѣ. Помните, что и проконсулы жилали обыкновенно въ Римѣ. Онъ своимъ присутствіемъ и связями, а всего болѣе дѣлежемъ добычи, предупреждалъ всякіе непріятные слухи и дразни. *) Государственный совѣтъ, пользуясь отсутствіемъ Александра, бывшаго въ Веронѣ или Ахенѣ, умно и справедливо рѣшилъ, что такъ какъ рѣчь въ доносѣ идетъ о Сибири, то дѣло и передать на разборъ Пестелю, благо онъ на лицо. Милорадовичъ, Мордвиновъ и еще человѣка два возстали противъ этого предложенія, и дѣло пошло въ сенатъ.

Сенатъ, съ тою возмутительною несправедливостію, съ которой постоянно судить дѣла высшихъ чиновниковъ, выгородилъ Пестеля, а Трескина, тобольскаго гражданскаго губернатора, лишивъ чиновъ и дворянства, сослалъ куда-то на житье. Пестель былъ только отрѣшенъ отъ службы.

Послѣ Пестеля явился въ Tobольскъ Капцевичъ, изъ школы Аракчеева. Худой, желчевой, тиранъ по натурѣ, тиранъ потому что всю жизнь служилъ въ военной службѣ, беспокойный исполнитель — онъ приводилъ все во фронтъ и строй, объявлялъ тахітисъ на цѣны, а

*) Это дало поводъ графу Раstopчину отнустить колкое слово на счетъ Пестеля. Они оба обѣдали у государя. Государь спросилъ, стоя у окна: Что это тамъ на церкви... на крестѣ, черное?—Я не могу разглядѣть, замѣтилъ Раstopчинъ; это надобно спросить у Бориса Ивановича, у него чудесные глаза, онъ видитъ отсюда, что дѣлается въ Сибири.

обыкновенныя дѣла оставлялъ въ рукахъ разбойниковъ. Въ 1824 году государь хотѣлъ посѣтить Tobольскъ. По пермской губерніи идетъ превосходная широкая дорога, давно наѣзженная и которой вѣроятно способствовала почва. Капцевичъ сдѣлалъ такую же до Tobольска въ нѣсколько мѣсяцевъ. Весной, въ распутицу и стужу, онъ заставилъ тысячи работниковъ дѣлать дорогу; ихъ стогнали по раскладкѣ изъ ближнихъ и дальнихъ поселеній; открылись болѣзни, половина рабочихъ перемерла, но „усердіе все превозмогаетъ“ — дорога была сдѣлана.

Восточная Сибирь управляется еще больше спустя рукава. Это ужъ такъ далеко, что и вѣсти едва доходятъ до Петербурга. Въ Иркутскѣ генералъ-губернаторъ Броневскій любилъ палить въ городъ изъ пушекъ, когда „гулялъ.“ А другой служилъ пьяный у себя въ домѣ обѣдно въ полномъ облаченіи и въ присутствіи архіерея. По крайней мѣрѣ шумъ одного и набожность другаго не были такъ вредны какъ осадное положеніе Пестели и неуспѣшная дѣятельность Капцевича.

Жаль, что Сибирь такъ скверно управляется. Выборъ генералъ-губернаторовъ особенно несчастенъ. Не знаю каковъ Муравьевъ; онъ извѣстенъ умомъ и способностями; остальные были никуда не годны. Сибирь имѣетъ большую будущность; на нее смотрятъ только какъ на подвалъ, въ которомъ много золота, много мѣху и другаго добра, но который холоденъ, занесенъ снѣгомъ, бѣденъ средствами жизни, не изрѣзанъ дорогами, не населенъ. Это невѣрно.

Мертвящее русское правительство, дѣлающее все насиліемъ, все палкой, не умѣетъ сообщить тотъ жизненный толчекъ, который увлекъ бы Сибирь съ американской быстротой впередъ. Увидимъ, что будетъ,

когда устья Амура откроются для судоходства и Америка встрѣтится съ Сибирью возлѣ Китая.

Я давно говорилъ, что *Тихій океанъ* — *Средиземное море будущаго*.*) Въ этомъ будущемъ, роль Сибири, страны между океаномъ, южной Азіей и Россіей, чрезвычайно важна. Разумѣется, Сибирь должна спуститься къ китайской границѣ. Не въ самомъ-же дѣлѣ мерзнуть и дрожать въ Березовѣ и Якутскѣ, когда есть Красноярскъ, Минусинскъ и пр.

Самое русское народонаселеніе въ Сибири имѣетъ въ характерѣ своемъ начала, намекающія на иное развитіе. Вообще сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дѣти поселщиковъ, сибиряки, вовсе не знаютъ помѣщичьей власти. Дворянства въ Сибири нѣтъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ нѣтъ и аристократіи въ городахъ; чиновникъ и офицеръ, представители власти, скорѣе похожи на непріятельскій гарнизонъ поставленный побѣдителемъ, чѣмъ на аристократію. Огромныя разстоянія спасаютъ крестьянъ, отъ частаго сношенія съ ними; деньги спасаютъ купцовъ, которые въ Сибири презираютъ чиновниковъ, и наружно уступая имъ, принимаютъ ихъ за то, что они есть — за своихъ прикащиковъ по гражданскимъ дѣламъ.

Привычка къ оружію, необходимая для сибиряка, повсемѣстна; привычка къ опасностямъ, къ расторопности, сдѣлали сибирскаго крестьянина болѣе воинственнымъ, находчивымъ, готовымъ на отпоръ, чѣмъ великорусскаго. Даль церквей оставила его умъ свободнѣе отъ изувѣрства чѣмъ въ Россіи, онъ холоденъ къ религіи, большей частью раскольникъ. Есть дальнія

*) Съ большой радостью видѣлъ я, что Нью-Йорскіе журналы нѣсколько разъ повторили это.

деревеньки, куда попь ѣздитъ раза три въ годъ и гуртомъ накрещиваетъ, хоронитъ, женитъ и исповѣдуетъ за все время.

По сю сторону уральскаго хребта дѣла дѣлаются скромнѣе, и не смотря на то, я томы могъ бы наполнить анекдотами о злоупотребленіяхъ и плутовствѣ чиновниковъ, слышанными мною въ продолженіи моей службы въ канцеляріи и столовой губернатора.

— Вотъ былъ профессоръ-съ—мой предшественникъ, говорилъ мнѣ въ минуту задушевнаго разговора вятскій полицмейстеръ, ну конечно эдакъ жить можно, только на это надобно родиться-съ; это въ своемъ родѣ, могу сказать, Сеславинъ, Фигнеръ—и глаза хромаго майора, за рану произведеннаго въ полицмейстеры, блистали при воспоминаніи славнаго предшественника.

— Показалась шайка воровъ, не далеко отъ города, разъ, другой доходитъ до начальства — то у купцовъ товаръ ограбленъ, то у управляющаго по откупамъ деньги взяты. Губернаторъ въ хлопотахъ, пишетъ одно предписаніе за другимъ. Ну знаете, земская полиція трусъ; такъ какого нибудь воришку связать да представить она умѣетъ—а тамъ шайка, да и пожалуй съ ружьями. Земскіе ничего не сдѣлали. Губернаторъ призываетъ полицмейстера и говоритъ: „Я молъ знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляетъ меня обратиться къ вамъ.“

Полицмейстеръ прежде ужъ о дѣлѣ былъ наслышанъ. „Генераль, отвѣчаетъ онъ, я ѣду черезъ часъ. Воры должны быть тамъ-то и тамъ-то; я беру съ собой команду, найду ихъ тамъ-то и тамъ-то и черезъ два три дня приведу ихъ въ цѣпяхъ въ губернский острогъ.“ Въдь это Суворовъ-съ у австрійскаго императора! Дѣйствительно: сказано, сдѣлано—онъ ихъ такъ и накрывъ

съ командой, денегъ не успѣли спрятать, полицмейстеръ все взялъ и представилъ воровъ въ городъ.

Начинается слѣдствіе. Полицмейстеръ спрашиваетъ : „гдѣ деньги?“

— Да мы ихъ тебѣ, батюшка, сами въ руки отдали, отвѣчаютъ двое воровъ.

— Мнѣ? говоритъ полицмейстеръ, пораженный удивленіемъ.

— Тебѣ, кричатъ воры, тебѣ.

— Вотъ дерзость-то, говоритъ полицмейстеръ частному приставу, блѣднѣя отъ негодованія — да вы, мошенники, пожалуй, увѣрите, что я вмѣстѣ съ вами грабилъ. Такъ вотъ я вамъ покажу каково марать мой мундиръ; я уланскій корнетъ и честь свою не дамъ въ обиду!

Онъ ихъ сѣчь—признавайся да и только куда деньги дѣли? Тѣ сначала свое. Только какъ онъ велѣлъ имъ закатить *на двѣ трубки*, какъ главный-то изъ воровъ закричалъ: „виноваты, деньги прогуляли.“

— Давно бы такъ, говоритъ полицмейстеръ, а то несешь вздоръ такой; меня, братъ, не скоро надуешь.

— Ну ужъ точно намъ у вашего благородія надобно учиться, а не вамъ у насъ. Гдѣ намъ! пробормоталъ старый плутъ, съ удивленіемъ поглядывая на полицмейстера. — А вѣдь онъ за это дѣло получилъ Владиміра въ петлицу.

— Позвольте — спросилъ я, перебивая похвальное слово великому полицмейстеру — что же это значить: *на двѣ трубки*?

— Это такъ у насъ *домашнее* выраженіе. Скучно, знаете, при наказаніи, ну такъ велишь сѣчь да и куришь трубку, обыкновенно къ концу трубки и наказанію конецъ — ну а въ экстренныхъ случаяхъ, велишь

иной разъ и на двѣ трубы угостить пріятеля. Полицейскіе привычны, знаютъ примѣрно сколько.

Объ этомъ Фигнеръ и Сеславинъ ходили цѣлыя легенды въ Вяткѣ. Онъ чудеса дѣлалъ. Разъ, не помню по какому поводу, пріѣзжалъ - ли генералъ - адъютантъ какой или министръ, полицмейстеру хотѣлось показать, что онъ не даромъ носилъ уланскій мундиръ и что кольнетъ шпорой не хуже другаго свою лошадь. Для этого онъ адресовался съ просьбой къ одному изъ Машковцевыхъ, богатыхъ купцовъ того края, чтобъ онъ ему далъ свою сѣрую, дорогую верховую лошадь. Машковцевъ не далъ.

— Хорошо, говоритъ Фигнеръ, вы этакой бездѣлицы не хотите сдѣлать по доброй волѣ, я и безъ вашего позволенія возьму лошадь.

— Ну это еще посмотримъ! сказала *злато*.

— Ну и увидите, сказалъ *булатъ*.

Машковцевъ заперъ лошадь, приставилъ двухъ карaulныхъ. На этотъ разъ полицмейстеръ ошибется.

Но въ эту ночь, какъ нарочно, загорѣлись пустые сараи, принадлежавшіе откупщикамъ и находившіеся за самымъ машковцевымъ домомъ. Полицмейстеръ и полицейскіе дѣйствовали отлично; чтобъ спасти домъ Машковцева они даже разобрали стѣну конюшни и вывели, не опаливши ни гривы, ни хвоста, спорную лошадь. Черезъ два часа полицмейстеръ, парадирюя на бѣломъ жеребцѣ, ѣхалъ получать благодарность особы за примѣрное потушеніе пожара. Послѣ этого никто не сомнѣвался въ томъ, что полицмейстеръ все можетъ сдѣлать.

Губернаторъ Рыхлевскій ѣхалъ изъ собранія; въ то время какъ его карета двинулась, какой-то кучеръ съ небольшими санками зазѣвавшись попалъ между по-

стромокъ двухъ коренныхъ и двухъ переднихъ лошадей. Изъ этого вышла минутная конфузiя, не помѣшавшая Рыхлевскому преспокойно пріѣхать домой. На другой день губернаторъ спросилъ полицмейстера, знаютъ ли онъ чей кучеръ вѣхалъ ему въ постромки и что его слѣдуетъ постращать.

— Этотъ кучеръ, ваше превосходительство, не будетъ болѣе въ постромки заѣзжать, я ему влѣпилъ порядочный урокъ, отвѣчалъ улыбаясь полицмейстеръ.

— Да чей онъ?

— Совѣтника Кулакова-съ, ваше превосходительство.

Въ это время старикъ совѣтникъ, котораго я засталъ и оставилъ тѣмъ-же совѣтникомъ губернскаго правленiя, взошелъ къ губернатору.

— Вы насъ простите сказалъ губернаторъ ему, что мы вашего кучера поучили.

Удивленный совѣтникъ, не понимая ничего, смотрѣлъ вопросительно.

— Вчера онъ заѣхалъ мнѣ въ постромки. Вы понимаете, если онъ мнѣ заѣхалъ, то...

— Да, ваше превосходительство, я вчера да и хозяйка моя спдѣли дома и кучеръ былъ дома.

— Что это значить? спросилъ губернаторъ.

— Я, ваше превосходительство, вчера былъ такъ занятъ, голова кругомъ шла, виновать, совсѣмъ забылъ о кучерѣ и, признаюсь, не посмѣлъ доложить это вашему превосходительству. Я хотѣлъ сейчасъ распорядиться.

— Ну вы настоящій полицмейстеръ, нечего сказать! замѣтилъ Рыхлевскій.

Рядомъ съ этимъ хищнымъ чиновникомъ, я покажу вамъ и другую, противоположную породу — чиновника мягкаго, сострадательнаго, ручнаго.

Между моими знакомыми былъ одинъ почтенный старецъ, исправникъ, отрѣшенный по сенаторской ревизіи отъ дѣлъ. Онъ занимался составленіемъ просьбъ и хожденіемъ по дѣламъ, что именно было ему запрещено. Человѣкъ этотъ, начавшій службу съ незапамятныхъ временъ, воровалъ, подкаблывалъ, наводилъ ложныя справки въ трехъ губерніяхъ, два раза былъ подъ судомъ и пр. Этотъ ветеранъ земской полиціи любилъ рассказывать удивительныя анекдоты о самомъ себѣ и своихъ сослуживцахъ, не скрывая своего презрѣнія къ выродившимся чиновникамъ новаго поколѣнія.

— Это такъ вертопрахи, говорилъ онъ, конечно они берутъ, безъ этого жить нельзя, но то-есть эдакъ ловкости или званія закона и не спрашивайте.

Я расскажу вамъ, для примѣра, объ одномъ пріятелѣ. Судей былъ лѣтъ двадцать, въ прошедшемъ году помре, вотъ былъ голова! и мужики его лихомъ не поминаютъ и своимъ хлѣба кусокъ оставилъ.

Совсѣмъ особенную манеру имѣлъ. Придетъ бывало мужикъ съ просьбицей, судья сейчасъ пускаетъ къ себѣ, такой ласковый, веселый.

— Какъ дыскать, дидюшка, твое имя и батюшку твоего какъ звали?

Крестьянинъ кланяется.—Ермолаемъ молъ, батюшка, а отца Григорьемъ прозывали.

— Ну здравствуйте, Ермолай Григорьевичъ, изъ какихъ мѣстъ Господь несетъ?

— А мы Дубиловскіе.

— Знаю, знаю. Мельницы-то кажись ваши вправо отъ дороги—отъ трахта.

— Точно, батюшка, мельницы обшійныя наши.

— Село зажиточное, земляца хорошая, черноземъ.

— На бога не жалобимся, нешто кормилецъ.

— Да вѣдь оно и нужно. Не бось у тебя, Ермолай Григорьевичъ, семейка не малая?

— Три сыночка, да дѣвки двѣ, да во дворъ къ старшей принялъ молодца, пятый годокъ пошелъ.

— Чай ужъ и внучата завелись?

— Есть точно небольшое дѣло, ваша милость.

— И слава богу! плодитесь и умножайтесь. Ну-тка, Ермолай Григорьевичъ, дорога дальняя, выпьемъ-ка рюмочку березовой.

Мужикъ ломается. Судья наливаетъ ему, приговаривая: „полно, полно братъ, сегодня отъ святыхъ отцевъ нѣтъ запрета на вино и елей.“

— Оно точно, что запрету нѣтъ; но вино-то и доводитъ человека до всѣхъ бѣдъ. Тутъ онъ крестится, кланяется и пьетъ березовку.

— При такой семейкѣ, Григоричъ, не бось накладно жить? каждого накормить, одѣть — одной кляченкой или коровенкой не оборотишь дѣла, молока не достанетъ.

— Помилуй, батюшка, куда толкнешься съ одной лошаденкой; есть таки троичка, была четвертая саврасая, да пала съ глазу о Петровки; плотникъ у насъ, Дорожей, не приведи богъ, ненавидитъ чужое добро и глазъ у него больно дурень.

— Бываетъ-съ, бываетъ-съ. А у васъ вѣдь выгоны большіе, небось барашковъ держите!

— Нешто, есть и барашки.

— Охъ, затолковался я съ тобой. Служба, Ермолай Григоричъ, царская, пора въ судъ. Что у тебя дѣльцо что-ли?

— Точно, ваша милость — есть.

— Ну что такое? повздорили что нибудь? поскорѣ дядя рассказывай, пора ѣхать.

— Да что, отецъ родной, бѣда подѣ старость лѣтъ пришла... Вотъ въ самое-то Успеніе были мы въ питейномъ, ну и кружно поговорили съ сусѣдскимъ крестьяниномъ — такой безобразный человѣкъ, нашъ лѣсъ крадетъ. Только поговоривши, онъ размахнулся да меня кулакомъ въ грудь. „Ты молъ въ чужой деревни не дерись,“ говорю я ему, да хотѣлъ, такъ то-есть примѣръ сдѣлать, тычка ему дать, да съ пьяну что-ли или нечистая сила, прямо ему въ глазъ — ну и попортилъ то-есть глазъ, а онъ со старостой церковнымъ сей часъ къ становому — хочу дискать судъ по формѣ.

Во время разсказа, судья — что ваши петербургскіе актеры! — все становится серьезнѣе, глаза эдакіе сдѣлають странные и ни слова.

Мужикъ видитъ и блѣднѣетъ, ставитъ шляпу у ногъ и вынимаетъ полотенце, чтобъ обтереть потъ. Судья все молчитъ и въ книжкѣ листочки перевортываетъ.

— Такъ вотъ я, батюшка, къ тебѣ и пришелъ, говорить мужикъ не своимъ голосомъ.

— Чего-жъ я могу сдѣлать тутъ? экая причина! и зачѣмъ же это прямо въ глазъ?

— Точно, батюшка, зачѣмъ... врагъ попуталъ.

— Жаль, очень жаль! изъ чего домъ долженъ погибнуть! ну что семья безъ тебя останется? все молодежь; а внучата мелкота, да и старушку-то твою жаль.

У мужика начинаютъ ноги дрожать. — Да что же отецъ родной, къ чему же это я себя угодилъ?

— Вотъ, Ермолай Григорьячъ, читай самъ... или того, грамота-то не далась? Ну вотъ видишь „о члено-

вредителейъ“ статья... Наказавши плетью сослать въ Сибирь на поселенье.

— Не дай раззориться человѣку! не погуби христіанина! развѣ нельзя какъ...?

— Экой ты какой! Развѣ супротивъ закона можно идти? Конечно все дѣло рукъ человѣческихъ. Ну вмѣсто тридцати ударовъ, мы назначимъ эдакъ пяточекъ.

— Да то-есть въ Сибирь-то...?

— Не въ нашей, братецъ ты мой, волѣ.

Тащить мужикъ изъ за пазухи кошелькъ, вынимаетъ изъ кошелька бумажку, изъ бумажки два, три золотыхъ п съ низкимъ поклономъ кладетъ ихъ на столъ.

— Это что, Ермолай Григорьевичъ?

— Спаси, батюшка.

— И полно, полно! что ты это? Я, грѣшный человѣкъ, иной разъ беру благодарность. Жалованье у меня малое, по неволѣ возьмешь; но принять, такъ было бы за что. Какъ я тебѣ помогу? добро бы ребро или зубъ, а то прямо въ глазъ! Возьмите денежки ваши назадъ.

Мужичекъ уничтоженъ.

— Развѣ вотъ что; поговорить мнѣ съ товарищами, да и въ губернію отписать? неравно дѣло пойдетъ въ палату, тамъ у меня есть пріятели, все сдѣлаютъ, ну только это люди другого сорта, тутъ тремя лобанчиками не отдѣлаешься.

Мужикъ начинаетъ приходить въ себя.

— Мнѣ пожалуй ничего не давай, мнѣ семью жалъ. ну а тѣмъ меньше двухъ сѣринькихъ и предлагать нечего.

— То есть, какъ предъ богомъ, ума не приложу гдѣ это достать такую палестину денегъ — четыреста рублевъ—время же какое?

— Я таки и самъ думаю, что оно трудноовато. Нака-

занье мы уменьшимъ, за раскаянье молю и принимаю въ соображеніе нетрезвый видъ... вѣдь и въ Сибирѣ люди живутъ. Тебѣ же не богъ вѣсть какъ далеко идти. . . Конечно, если продать парочку лошадокъ, да одну изъ коровъ, да барашковъ, оно можетъ и хватить. Да скоро-ли потомъ въ крестьянскомъ дѣлѣ сколотишь столько денегъ! А съ другой стороны подумаешь, лошадки-то останутся, а ты-то пойдешь себѣ, куда Макаръ телять не гонялъ. Подумай, Григорьичъ, время терпѣть, пообождемъ до завтра, а мнѣ пора, прибавляетъ судья и кладетъ въ карманъ лобанчики, отъ которыхъ отказался, говоря: „это вовсе лишнее, я беру только, чтобъ васъ не обидѣть.“

На другое утро, глядь, старый жидъ тащитъ разными крестовиками, да старинными рублями рублей триста пятьдесятъ ассигнаціями къ судѣ.

Судья общается печься объ дѣлѣ; мужика судятъ, судятъ, стращаютъ, а потомъ и выпускаютъ съ какимъ нибудь легкимъ наказаніемъ или съ совѣтомъ впредь въ подобныхъ случаяхъ быть осторожнымъ, или съ отмѣткой: „оставить въ подозрѣніи“ и мужикъ всю жизнь молить бога за судью.

Вотъ какъ дѣлали встарь, приговаривалъ отрѣшенный отъ дѣлъ исправникъ—на чистоту.

... Вятскіе мужики вообще не очень выносливы. За то ихъ и считаютъ чиновники ябедниками и безпокойными. Настоящій кладъ для земской полиціи это вотяки, мордва, чуваша; народъ жалкій, робкій, бездарный. Исправники даютъ двойной окупъ губернаторамъ за назначеніе ихъ въ уѣзды, населенные финнами.

Полиція и чиновники дѣлаютъ невѣроятныя вещи съ этими бѣдняками.

Землемѣръ-ли ѣдетъ съ порученіемъ черезъ вотскую

деревню, онъ непремѣнно въ ней оставливается, беретъ съ телеги астролябію, вбиваетъ шесть, протягиваетъ цѣпъ. Черезъ часъ вся деревня въ смятеніи. „Межемѣрія, межемѣрія!“ говорятъ мужики съ тѣмъ видомъ, съ которымъ въ 12-мъ году говорили „французъ, французъ!“ Является староста поклониться съ міромъ. А тотъ все мѣряетъ и записываетъ. Онъ его проситъ не обмѣривать, не обидѣть. Землемѣръ требуетъ двадцать, тридцать рублей. Вотяки радехоньки, собираютъ деньги — и землемѣръ ѣдетъ до слѣдующей вотской деревни.

Попадется-ли мертвое тѣло исправнику съ становымъ, они его возятъ двѣ недѣли, пользуясь морозомъ, по вятскимъ деревнямъ, и въ каждой говорятъ, что сей часъ подняли и что слѣдствіе и судъ назначены въ ихъ деревнѣ. Вотяки откупаются.

За нѣсколько лѣтъ до моего пріѣзда, исправникъ, разохотившійся брать выкупы, привезъ мертвое тѣло въ большую русскую деревню и требовалъ, помнится, двѣсти рублей. Староста собралъ міръ: міръ больше ста не давалъ. Исправникъ не уступалъ. Мужики разсердились, заперли его съ двумя писарями въ волостномъ правленіи и въ свою очередь, грозили ихъ сжечь. Исправникъ не повѣрилъ угрозѣ. Мужики обложили избу соломой и какъ ультиматумъ подали исправнику на шесть въ окно сторублевую ассигнацію. Героническій исправникъ требовалъ еще сто. Тогда мужики зажгли съ четырехъ сторонъ солому, и всѣ три Муціи Сневола земской полиціи сгорѣли. Дѣло это было потомъ въ сенатѣ.

Вотскія деревни вообще гораздо бѣднѣе русскихъ.

— Плохо, братъ, ты живешь, говорилъ я хозяину вотяку, дожидаясь лошадей въ душной, черной и поко-

сившейся избушкѣ, поставленной окнами назадъ. т. е. на дворъ.

— Что, бачка, дѣлать? мы бѣдна, деньга бережемъ на черная дня.

— Ну чериѣ мудрено быть дню, старинушка, сказалъ я ему, наливая рюмку рому, вышей-ка съ гори.

— Мы не пьемъ, отвѣчалъ вотякъ, страстно гляди на рюмку и подозрительно на меня.

— Полно, нутка бери.

— Вышей сама прежде.

— Я выпилъ и вотякъ выпилъ. „А ты что? спросилъ онъ, съ губерніа, по дѣлу?“

— Нѣтъ, отвѣчалъ я, проѣздомъ, ѣду въ Вятку. Это его значительно успокоило и онъ, осмотрѣвшись на всѣ стороны, прибавилъ въ видѣ поясненія: „черной дня, когда исправникъ да *попъ* пріѣдутъ.“

Вотъ о послѣднемъ-то я и хочу рассказать вамъ кое-что. Попъ у насъ превращается болѣе и болѣе въ духовнаго квартальнаго, какъ и слѣдуетъ ожидать отъ византійскаго смиренія нашей церкви и отъ императорскаго первосвященства.

Финское насиліе долею приняло крещеніе въ допетровскія времена, долею было окрещено въ царствованіе Елизаветы, и долею осталось въ изычествѣ. Большая часть крещеныхъ при Елизаветѣ тайно придерживается своей печальной, дикой религін.*)

*) Всѣ молитвы ихъ сводятся на матеріальную просьбу о продолженіи ихъ рода, объ урожаѣ, о сохраненіи стада и больше ничего. „Дай Юмаза, чтобъ отъ одного барана родилось два, отъ одного зерна родилось пять, чтобъ у моихъ дѣтей были дѣти.“ Въ этой неуверенности въ *земной* жизни и хлѣбъ насущномъ есть что-то отжившее, подавленное, несчастное и печальное. Діаволь (шайтанъ) почитается наравнѣ съ богомъ. Я видѣлъ сильный пожаръ въ одномъ селѣ, въ которомъ жители были перемѣшаны—русскіе и ви-

Года черезъ два, три, исправникъ или становой отправляются съ попомъ по деревнямъ ревизовать, кто изъ вотяковъ говѣлъ, кто нѣтъ, и почему нѣтъ. Ихъ тѣснятъ, сажаютъ въ тюрьму, сѣкутъ, заставляютъ платить требы; а главное, попъ и исправникъ ищутъ какое нибудь доказательство, что вотяки не оставили своихъ прежнихъ обрядовъ. Тутъ духовный сыщикъ и земскій миссіонеръ поднимаютъ бурю, берутъ огромный окупъ. дѣлаютъ „черная дня,“ потомъ уѣзжаютъ, оставляя все по старому, чтобъ имѣть случай черезъ годъ, другой, снова поѣхать съ розгами и крестомъ.

Въ 1835 году святѣйшій синодъ счелъ нужнымъ поапостольствовать въ вятской губерніи и обратить черемисовъ язычниковъ въ православіе.

Это обращеніе типъ всѣхъ великихъ улучшеній, дѣлаемыхъ русскимъ правительствомъ, фасадъ, декорация, blague, ложь, пышной отчетъ, кто нибудь крадетъ и кого нибудь сѣкутъ.

Митрополитъ Филаретъ отрядилъ миссіонеромъ бойкаго священника. Его звали Курбановскимъ. Снѣдаемый русской болѣзью — честолюбіемъ, Курбановскій горячо принялся за дѣло. Во чтобъ то ни стало, онъ рѣшился втѣснить благодать божію черемисамъ. Сначала онъ попробовалъ проповѣдывать, но это ему скоро надоѣло. И въ самомъ дѣлѣ много ли возьмешь этимъ старымъ средствомъ?

Черемисы, смекнувши въ чемъ дѣло, прислали своихъ священниковъ, дикихъ, фанатическихъ и ловкихъ. Они, послѣ долгихъ разговоровъ, сказали Курбановскому: „въ

тяки. Русскіе таскали вещи, кричали, хлопотали — особенно между ними отличался цѣловальникъ. Пожаръ остановить было невозможно; но спасти кое-что было сначала легко. Вотяки собрались на небольшой холмикъ и плакали на взридь, ничего не дѣлая.

лѣсу есть бѣлыя березы, высокія сосны и ели, есть тоже и малая можжуха. Богъ всѣхъ ихъ терпѣть и не велѣть можжухѣ быть сосной. Такъ вотъ и мы межъ собой какъ лѣсъ. Будьте вы бѣлыми березами, мы останемся можжухой, мы вамъ не мѣшаемъ, *за царя молимся*, податъ платимъ и рекрутовъ ставимъ, а святинѣ своей измѣнить не хотимъ.“*)

Курбановскій увидѣлъ, что съ ними не столкуешь и что доля Кирила и Меводія ему не удастся. Онъ обратился къ исправнику. Исправникъ обрадовался до нелѣзья; ему давно хотѣлось показать свое усердіе къ церкви — онъ былъ некрещеный татаринъ, т. е. правовѣрный магометанинъ, по названію Девлетъ Кялдіевъ.

Исправникъ взялъ съ собой команду и поѣхалъ осаждать черемисовъ словомъ божіимъ. Нѣсколько деревень были окрещены. Апостолъ Курбановскій отслужилъ молебствіе и отправился смиренно получать камилавку. Апостолу-татарину правительство прислало Владимірскій крестъ за распространеніе Христіанства!

По несчастію татаринъ-миссіонеръ былъ не въ ладахъ съ Мулою въ Малмыжѣ. Мулѣ совсѣмъ не правилось, что правовѣрный сынъ Корана такъ успѣшно проповѣдуетъ Евангеліе. Въ рамазанъ, исправникъ, отчаянно привязавши крестъ въ пеглицу, явился въ мечети, и разумѣется сталъ впереди всѣхъ. Мула только было началъ читать въ носъ Коранъ, какъ вдругъ остановился и сказалъ, что онъ не смѣетъ продолжать въ присутствіи *правостраннаго*, пришедшаго въ мечеть съ христіанскимъ знаменіемъ.

*) Подобный отвѣтъ (если Курбановскій его не выдумалъ) былъ нѣкогда сказанъ крестьянами въ Германіи, которыхъ хотѣли обращать въ католицизмъ.

Татары зароптали, исправникъ смѣшался и куда-то спрятался или снялъ крестъ.

Я потомъ читалъ въ журналѣ министерства внутреннихъ дѣлъ объ этомъ блестящемъ обращеніи черемисовъ. Въ статьѣ было упомянуто ревностное содѣйствіе Девлетъ-Килдѣева. По несчастію забыли прибавить, что усердіе къ церкви было тѣмъ болѣе безкорыстно у него, чѣмъ тверже онъ вѣрилъ въ Исламизмъ.

Передъ окончаніемъ моей вятской жизни департаментъ государственныхъ имуществъ воровалъ до такой наглости, что надъ нимъ назначили слѣдственную комиссію, которая разослала ревизоровъ по губерніямъ. Съ этого началось введеніе новаго управленія государственными крестьянами.

Губернаторъ Корниловъ долженъ былъ назначить отъ себя двухъ чиновниковъ при ревизіи. Я былъ одинъ изъ назначенныхъ. Чего не пришлось мнѣ тутъ прочесть! и печальнаго, и смѣшнаго, и гадкаго. Самые заголовки дѣлъ поражали меня удивленіемъ.

„Дѣло о потери *неизвѣстно* куда дома Волостнаго правленія и о изгрызенія плана онаго мышами.“

„Дѣло о потери *двадцати двухъ* казенныхъ оброчныхъ статей;“ т. е. верстъ пятнадцати земли.

„Дѣло о перечисленіи крестьянскаго мальчика Василья въ женскій полъ.“

Последнее было такъ хорошо, что я тотчасъ прочелъ его отъ доски до доски.

Отецъ этого предполагаемаго Василья пишетъ въ своей просьбѣ губернатору, что лѣтъ пятнадцать тому назадъ у него родилась дочь, которую онъ хотѣлъ назвать Василисой, но что священникъ, бывъ „подъ хмѣлькомъ“, окрестилъ дѣвочку Васильемъ и такъ внесъ въ метрику. Обстоятельство это по видимому мало безпо-

коню мужика, но когда онъ понялъ, что скоро падеть на его домъ рекрутская очередь и подушная, тогда онъ объявилъ о томъ головѣ и становому. Случай этотъ показался полиціи очень мудренъ. Она предварительно отказала мужику, говоря, что онъ пропустилъ десятилѣтнюю давность. Мужикъ пошелъ къ губернатору. Губернаторъ назначилъ торжественное освидѣтельствованіе этого мальчика женскаго пола медикомъ и повивальной бабкой... Тутъ ужъ какъ-то завелась переписка съ консисторіей, и понѣ, наслѣдникъ того, который подъ хмѣлькомъ цѣломудренно не разбиралъ плотскихъ различій, выступилъ на сцену, и дѣло длилось годы, и чуть ли дѣвочку не оставили въ подозрѣніи мужескаго пола.

Не думайте, что это нелѣпое предположеніе сдѣлано мною для шутки; вовсе нѣтъ, это совершенно сообразно духу русскаго самодержавія.

При Павлѣ, какой-то гвардейскій полковникъ въ мѣсячномъ рапортѣ показалъ умершимъ офицера, который отходилъ въ больницѣ. Павелъ его исключилъ за смертію изъ списковъ. Но несчастью офицеръ не умеръ, а выздоровѣлъ. Полковникъ упросилъ его на годъ или на два уѣхать въ свои деревни, надѣясь сыскать случай поправить дѣло. Офицеръ согласился, но, на бѣду полковника, наслѣдники прочитавши въ приказахъ о смерти родственника, ни за что не хотѣли его признавать живымъ и, безутѣшные отъ потери, настойчиво требовали ввода во владѣніе. Когда живой мертвецъ увидѣлъ, что ему приходится въ другой разъ умирать, и не съ приказу, а съ голоду, тогда онъ поѣхалъ въ Петербургъ и подалъ Павлу просьбу. Павелъ написалъ своей рукой на его просьбѣ: „Такъ какъ объ г. офицерѣ состоялся высочайшій приказъ, то въ просьбѣ ему отказать.“

Это еще лучше моей Василисы-Васильи. Что значить грубый фактъ жизни передъ высочайшимъ приказомъ? Павелъ былъ поэтъ и діалектикъ самовластьи!

Какъ ни грязно и ни топо въ этомъ болотѣ приказныхъ дѣлъ, но прибавлю еще нѣсколько словъ. Эта гласность послѣднее, слабое вознагражденіе страдавшимъ, погибнувшимъ безъ вѣсти, безъ утѣшенія.

Правительство даетъ охотно въ награду высшимъ чиновникамъ пустопорожнія земли. Вреда въ этомъ большаго нѣтъ, хотя умнѣе было бы сохранить эти запасы для умножающагося населенія. Правила, по которымъ велѣно отмежевывать земли, довольно подробно; нельзя давать береговъ сухоходной рѣки, строеваго лѣса, обонхъ береговъ рѣки, наконецъ, ни въ какомъ случаѣ не велено выдѣлять земель, обработанныхъ крестьянами, хотя бы крестьяне не имѣли никакихъ правъ на эти земли кромѣ давности...*)

Все это, разумѣется, на бумагѣ. На дѣлѣ отмежеваніе земель въ частное владѣніе страшный источникъ грабежа казны и притѣсненія крестьянъ.

Благородные вельможи, получающіе аренды, обыкновенно или продаютъ свои права купцамъ, или стараются черезъ губернское начальство завладѣть вопреки правиламъ чѣмъ-нибудь особеннымъ. Самъ графъ Орловъ *случайно* получилъ въ надѣль дорогу и пастбища, на которыхъ останавливаются гурты въ Саратовской губерніи.

*) Въ Вятской губерніи крестьяне особенно любятъ переселяться. Очень часто въ лѣсу открываются вдругъ три-четыре *починка*. Огромныя земли и лѣса (до половины уже сведенные) увлекаютъ крестьянъ брать эту *gez nullius*, бесполезно остающуюся. Министерство финансовъ нѣсколько разъ принуждено было утверждать землю за захватившими.

Дивиться стало быть нечему, что однимъ добрымъ утромъ у крестьянъ Даровской волости, Котельническаго уѣзда отрѣзали землю вплоть до гумениковъ и домовъ и отдали въ частное владѣніе купцамъ, купившимъ аренду у какого-то родственника графа Канкрина. Купцы положили наемную плату за землю. Изъ этого началось дѣло. Казенная палата, закупленная купцами и боясь родственника Канкрина, запутала дѣло. Но крестьяне рѣшились его вести настойчиво; они выбрали двухъ толковыхъ мужиковъ и отправили ихъ въ Петербургъ. Дѣло пошло въ Сенатъ. Межевой департаментъ догадался, что мужики правы, но не зналъ что дѣлать и спросилъ Канкрина. Канкринъ просто призналъ, что земля неправильно отрѣзана, но считалъ затруднительнымъ возвратить ее, потому что она съ тѣхъ поръ могла быть перепродаваема и что владѣльцы оной могли сдѣлать разные улучшенія. А потому его сіятельство положило, пользуясь большимъ количествомъ казенныхъ земель, надѣлить крестьянъ полнымъ количествомъ съ другой стороны. Это понравилось всѣмъ, кромѣ крестьянъ. Во первыхъ, шуточное ли дѣло вновь разрабатывать поля? во-вторыхъ, земля съ другой стороны оказалась неудобною, болотистою. Такъ какъ крестьяне даровской волости больше занимались хлѣбопашествомъ, чѣмъ охотой за дунелями и бекасами, то они снова подали просьбу.

Тогда казенная палата и министерство финансовъ отдѣлили новое дѣло отъ прежняго и найдя законъ, въ которомъ сказано, что если попадется неудобная земля идущая въ надѣлъ, то не вырѣзывать ее, а прибавлять еще половинное количество, велѣли дать даровскимъ крестьянамъ къ болоту еще полболота.

Крестьяне снова подали въ Сенатъ, но пока ихъ дѣ-

до дошло до разбора, межевой департаментъ прислалъ имъ планы на новую землю, какъ водится, переплетенные, раскрашенные, съ изображеніемъ звѣзды вѣтровъ, съ приличными объясненіями ромба R R Z и ромба Z Z R, а главное съ требованіемъ такой то подесятинной платы. Крестьяне, увидѣвъ, что имъ не только не отдаютъ земли, но хотять съ нихъ слупить деньги за болото, начисто отказались платить.

Исправникъ донесъ Тюфяеву. Тюфиевъ послалъ военную экзекуцію подѣ начальствомъ вятскаго полицмейстера. Тотъ пріѣхалъ, схватилъ нѣсколько человѣкъ, пересѣкъ ихъ, усмирилъ волость, взялъ деньги, предалъ виновныхъ уголовному суду и недѣлю говорилъ хриплымъ языкомъ отъ крику. Нѣсколько человѣкъ были наказаны плетью и сосланы на поселенье.

Черезъ два года наслѣдникъ проѣзжалъ Даровской волостью. крестьяне подали ему просьбу, онъ велѣлъ разобрать дѣло. По этому случаю, я составлялъ изъ него докладную записку. Что вышло путнаго изъ этого пересмотра, я не знаю. Слышалъ я, что сосланныхъ воротили, но воротили-ли землю, не слыхалъ.

Въ заключеніе упомяну о знаменитой исторіи картофельнаго бунта, и о томъ, какъ Николай пріобщалъ къ благамъ петербургской цивилизаціи кочующихъ цыганъ.

Русскіе крестьяне не охотно сажали картофель, какъ нѣкогда крестьяне всей Европы, какъ будто истиникъ говорилъ народу, что это дрянная пища, не дающая ни силъ, ни здоровья. Впрочемъ у порядочныхъ помѣщиковъ и во многихъ казенныхъ деревняхъ „земляныя яблоки“ саживались гораздо прежде картофельнаго террора. Но русскому правительству то-то и противно, что дѣлается само собою. Все надобно, чтобъ дѣлалось изъ подъ палки, по флигельману, по темпамъ.

Крестьяне Казанской и долею Вятской губернии засѣли картофелемъ поля. Когда картофель былъ собранъ, министерству пришло въ голову завести по волостямъ центральныя ямы. Ямы утверждены, ямы предписаны, ямы копаются, и въ началѣ зимы мужики, скрѣпя сердце, повезли картофель въ центральныя ямы. Но когда слѣдующей весной ихъ хотѣли заставить сажать мерзлый картофель, они отказались. Дѣйствительно, не могло быть оскорбленія болѣе дерзкаго труда, какъ приказъ дѣлать явнымъ образомъ нелѣпность. Это возраженіе было представлено какъ бунтъ. Министръ Киселевъ прислалъ изъ Петербурга чиновника; онъ, человѣкъ умный и практическій, взялъ въ первой волости по рублю съ души и позволилъ не сѣять картофельные выморозки.

Чинovníкъ повторилъ это во второй и въ третьей. Но въ четвертой голова сказалъ ему на отрѣзъ, что онъ картофель сажать не будетъ, ни денегъ ему не дастъ. „Ты, говорилъ онъ ему, освободилъ такихъ-то и такихъ-то; ясное дѣло, что и насъ долженъ освободить.“ Чинovníкъ хотѣлъ дѣло кончить угрозами и розгами, но мужики схватились за колья, полицейскую команду прогнали; военный губернаторъ послалъ казаковъ. Сосѣднія волости вступились за своихъ.

Довольно сказать, что дѣло дошло до пушечной картечи и ружейныхъ выстрѣловъ. Мужики оставили дома, разсыпались по лѣсамъ; казаки ихъ выгоняли изъ чащи, какъ дикихъ звѣрей; тутъ ихъ хватали, ковали въ цѣпи и отправляли въ военно-судную комиссію въ Космодеміанскъ.

По странной случайности старшій майоръ внутренней стражи былъ честный, простой человѣкъ, онъ добродушно сказалъ, что всему виною чинovníкъ; прислан-

ный изъ Петербурга. На него всѣ опрокинулись, его голосъ подавили, заглушили; его запугали и даже застыдили тѣмъ, что онъ хочетъ „погубить невиннаго человека.“

Ну и слѣдствіе пошло обычнымъ русскимъ чередомъ: мужиковъ сѣкли при допросахъ, сѣкли въ наказаніе, сѣкли для примѣра, сѣкли изъ денегъ и цѣлую толпу сослали въ Сибирь.

Замѣчательно, что Киселевъ проѣзжалъ по Космодемьянску во время суда. Можно было бы, кажется, завернуть въ военную комиссію или позвать къ себѣ маіора.

Онъ этого не сдѣлалъ!

... Знаменитый Тюрго, видя ненависть французовъ къ картофелю, разослалъ всѣмъ откупщикамъ, поставщикамъ и другимъ подвластнымъ лицамъ картофель на посѣвъ, строго запретивъ давать крестьянамъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ онъ сообщилъ имъ тайно, чтобъ они не препятствовали крестьянамъ красть на посѣвъ картофель. Въ нѣсколько лѣтъ часть Франціи обсыпалась картофелемъ.

Tout bien pris, вѣдь это лучше картечи, Павелъ Дмитриевичъ?

Къ Вяткѣ прикочевалъ въ 1836 г. таборъ цыганъ и расположился на полѣ. Цыгане эти таскались до Тобольска и Ирбита, продолжая съ незапамятныхъ временъ свою вольную бродячую жизнь, съ вѣчнымъ ученымъ медвѣдемъ и ничему не учеными дѣтьми, съ коновалами, гадающимъ и мелкимъ воровствомъ. Они спокойно пѣли пѣсни и крали куръ, но вдругъ губернаторъ получилъ высочайшее повелѣніе, буде найдутся цыгане *безпаспортные* (ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта, и это очень хорошо знали Николай и

его люди), то дать имъ такой-то срокъ, чтобъ они приписались тамъ, гдѣ ихъ застанетъ указъ къ сельскимъ городскимъ обществамъ.

По прошествіи же даннаго срока, предписывалось *всѣхъ* годныхъ къ военной службѣ отдать въ солдаты, *остальныхъ* отправить на поселеніе, *отобравъ дѣтей* мужескаго пола.

Этотъ безумный указъ, напоминающій библейскіе рассказы о избіеніяхъ и наказаніяхъ цѣлыхъ породъ и всѣхъ къ стѣнѣ мочащихся, сконфузилъ самаго Тюфява. Онъ объявилъ цыганамъ нелѣпый указъ, написалъ въ Петербургъ о невозможности исполненія. Для того, чтобъ приписываться, надобны деньги, надобно согласіе обществъ, которые тоже даромъ не захотятъ принять цыганъ и притомъ слѣдуетъ еще предположить, что сами цыгане хотятъ ли именно тутъ поселиться. Взявъ все во вниманіе, Тюфяевъ, и тутъ нельзя ему не отдать справедливости, представлялъ министерству о томъ, чтобъ имъ дать льготы и отсрочки.

Министръ отвѣчалъ предписаніемъ, по истеченіи срока привести въ исполненіе навуходоносоровское распоряженіе. Скрѣпи сердце, послалъ Тюфяевъ команду, которой велѣлъ окружить таборъ; когда это было сдѣлано, явилась полиція съ гарнизоннымъ баталіономъ, и что тутъ, говорить, было, это трудно себѣ представить. Женщины съ растрепанными волосами, съ крикомъ и слезами, въ какомъ-то безуміи бѣгали, валялись въ ногахъ у полиціи, сѣдые старухи цѣплялись за сыновей. Но порядокъ восторжествовалъ и колчевскій полицмейстеръ забралъ дѣтей, забралъ рекрутъ, остальныхъ отправили по этапамъ куда-то на поселеніе.

Но когда отобрали дѣтей, возникъ вопросъ, куда ихъ дѣть? и на какіе деньги содержать?

Прежде при приказахъ общественнаго призрѣнія были воспитательные дома, ничего не стоившіе казнѣ. Но прусское цѣломудріе Николая ихъ уничтожило, какъ вредныя для нравственности. Тюфяевъ далъ впередъ своихъ денегъ и спросилъ министра. Министры никогда и ни зачѣмъ не останавливаются, велѣли отдать малютокъ впредъ до распоряженія, на попеченіе стариковъ и старухъ, призираемыхъ въ богадѣльнѣ.

Маленькихъ дѣтей помѣстить съ умирающими стариками и старухами, и заставить ихъ дышать воздухомъ смерти, и поручить ищущимъ покоя старикамъ—уходъ за дѣтьми даромъ...

Поэты!

—Чтобъ не прерываться, расскажу я здѣсь исторію, случившуюся года полтора спустя съ владимірскимъ старостой моего отца. Мужикъ онъ былъ умный, бывалый, ходилъ въ извозѣ, самъ держалъ нѣсколько троекъ и лѣтъ двадцать сидѣлъ старостой небольшой оброчной деревеньки.

Въ тотъ годъ, въ который я жилъ въ Владимірѣ — сосѣдніе крестьяне просили его сдать за нихъ рекрута, онъ явился въ городъ съ будущимъ защитникомъ отечества на веревкѣ и съ большой самоуваженностью, какъ мастеръ своего дѣла.

„Это батюшка, говорилъ онъ, расчесывая пальцами свою обкладистую бѣлокурую бороду съ просѣдью, все дѣло рукъ человѣческихъ. Въ запрошломъ году нашего малаго ставили, былъ такой плохенькой, ледящій, мужички больно опасались, что не сойдетъ. Ну я и говорю, а что примѣрно православные прикладу положите—не мазано колесо не вертится. Мы такъ потолковали промежь себя, міръ-то и опредѣлилъ двадцать

пять золотыхъ. Приѣзжаю я въ губернію и поговоривши въ казенной палатѣ, иду прямо къ предсѣдателью—человѣкъ, батюшка, былъ онъ умный и меня давненько зналъ. Велѣлъ онъ позвать меня въ кабинетъ, а у самага ножка болять, такъ изволить лежать на софѣ. Я ему все представилъ; а онъ мнѣ въ отвѣтъ со смѣхомъ: „ладно, ладно, ты толкуй, сколько *онимъ* то привезъ—ты вѣдь жидоморъ, знаю я тебя.“ Я положилъ на столъ десять лобанчиковъ и поклонился въ поясъ—они ихъ такъ въ ручку взяли и понгрывають,—„а что, говорить, не мнѣ вѣдь одному платить—то надо, что же ты еще привезъ?“ Я докладываю, съ десятокъ молъ еще наберется. Ну, говорить, куда же ты ихъ дѣнешь, самъ считай—лекарю два, военному приѣмщику два, письмоводителю, ну тамъ на всякое угощеніе все-же больше трехъ не выйдетъ—такъ ты ужъ остальные мнѣ отдай, а я постараюсь уладить дѣльцо“

—Ну что же ты далъ?

—Вѣстимо, что далъ—ну и забрали лобъ очень хорошо.

Обученный такому округленію счетовъ, привыкнущій къ такого рода смѣтамъ, а вѣроятно и къ пяти золотымъ, о судьбѣ которыхъ онъ умолчалъ, староста былъ увѣренъ въ успѣхѣ. Но много несчастій можетъ пройти между взяткой и рукой того, который ее беретъ. Къ рекрутскому набору въ Владиміръ былъ присланъ флигель-адъютантъ графъ Эссенъ. Староста сунулъ къ нему съ своими лобанчиками и арапниками. По несчастію нашъ графъ, какъ героиня въ Нулинѣ, былъ воспитанъ „не въ отеческомъ законѣ“, а въ школѣ балтійской аристократіи, учащей нѣмецкой преданности русскому государю. Эссенъ разсердился, раскричался и, что хуже всего, позвонилъ, вбѣжалъ письмо-

водители, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавший о существованіи людей въ мундирѣ, которые бы не брали взятокъ, до того растерялся, что не заперся, не началъ клясться и божиться, что никогда денегъ не давалъ, что если только хотѣлъ этого, такъ чтобъ лопнули его глаза и росинка не попала бы въ ротъ. Онъ какъ баранъ позволилъ себя уличить, свести въ полицію, и раскаяваясь вѣроятно въ томъ, что мало генералу предложилъ и тѣмъ его обидѣлъ.

Но Эссенъ, недовольный ни собственной чистой совестью, ни страхомъ несчастнаго крестьянина, и желая, вѣроятно, искоренить in Russland взятки, наказать порока и поставить цѣлебный примѣръ, написалъ въ полицію, написалъ губернатору, написалъ въ рекрутское присутствіе — о злодѣйскомъ покушеніи старосты. Мужика посадили въ острогъ и отдали подъ судъ. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честнымъ человекомъ, даетъ деньги чиновнику и самого чиновника, который беретъ взятку, дѣло было скверно и старосту надобно было спасти, во чтобъ ни стало.

Я бросился къ губернатору; онъ отказался вступать въ это дѣло; председатель и совѣтники уголовной палаты, испуганные вмѣшательствомъ флигель-адъютанта, качали головой. Самъ флигель-адъютантъ первый, смѣнивъ гнѣвъ на милость, говорилъ, „что онъ никакого зла сдѣлать старостѣ не хочетъ, что онъ хотѣлъ его проучить, что *„пусть его посудятъ да и отпустятъ.“* Когда я это рассказывалъ полицмейстеру, тотъ мнѣ замѣтилъ: „То то и есть, что всѣ эти господа не знаютъ дѣла, прислалъ бы его просто ко мнѣ, я бы ему дураку вздулъ бы спину, не суйся, молъ, въ воду, не спросясь броду, да и отпустилъ бы его во сво-

лся—всѣ бы и были довольны; а теперь поди расчихивайся съ палатой.“

Два сужденія эти такъ ловко и ярко выражаютъ русское, имперское понятіе о правѣ, что я не могъ ихъ позабыть.

Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденціи—староста попалъ въ средній, въ самый глубокій омутъ, т. е. въ уголовную палату. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ заготовили рѣшеніе, въ силу котораго старосту, наказавши плетью, отправляли въ Сибирь на поселеніе. Явился ко мнѣ его сынъ, вся семья, умоляя спасти отца и главу семейства. Жаль мнѣ было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно гибнуваго. Поѣхалъ я снова къ предсѣдателю и совѣтникамъ, снова сталъ имъ доказывать, что они себѣ причиняютъ вредъ, наказывая такъ строго старосту; что они сами очень хорошо знаютъ, что ни одного дѣла безъ взятокъ не кончишь, что, наконецъ, имъ самимъ нечего будетъ ѣсть, если они, какъ истинные христіане, не будутъ находить, что всякъ даръ совершенъ и всякое даяніе благо. Прося, кланаясь и посылая сына старосты еще ниже кланяться, я достигъ въ половину моей цѣли. Старосту присудили къ наказанію нѣсколькими ударами плетью въ стѣнахъ острога, съ оставленіемъ на мѣстѣ жительства и съ воспрещеніемъ ходатайствовать по дѣламъ за другихъ крестьянъ.

Я веселѣе вздохнулъ, увидя, что губернаторъ и прокуроръ согласились и отправился въ полицію просить объ облегченіи силы наказанія; полицейскіе, отчасти польщенные тѣмъ, что я самъ пришелъ ихъ просить, отчасти жалѣя мученика, пострадавшаго за такое близкое каждому дѣло, сверхъ того, зная, что онъ мужикъ зажиточный, обѣщали мнѣ сдѣлать одну проформу.

Черезъ нѣсколько дней явился какъ-то утромъ староста, похудѣвшій и еще болѣе сѣдой, нежели былъ. Я замѣтилъ, что при всей радости, онъ былъ что-то грустенъ и подъ вліяніемъ какой-то тяжелой мысли.

— О чемъ ты кручиннишься? спросилъ я его.

— Да что ужъ разомъ бы все порѣшили.

— Ничего не понимаю.

— Да то есть, когда же наказывать-то будутъ?

— А тебя не наказывали?

— Нѣтъ.

— Какъ же тебя выпустили? Ты, вѣдь, идешь домой?

— Домой-то домой—да вотъ о наказаніи-то думается, секретарь именно читалъ.

Я ничего въ самомъ дѣлѣ не понималъ и наконецъ спросилъ его: дали ли ему какойнибудь видъ? Онъ подалъ мнѣ его. Въ немъ было написано все рѣшеніе и въ концѣ сказано, что, учинивъ по указу уголовной палаты наказаніе плетью въ стѣнахъ тюремнаго замка, „выдать ему оное свидѣтельство и изъ замка освободить.“

Я расхохотался.— Да вѣдь уже ты наказанъ!

— Нѣтъ, батюшка, нѣтъ.

— Ну, если недоволенъ, ступай назадъ, проси чтобъ наказали, можетъ полиціи взойдетъ въ твое положеніе.

Видя, что я смѣюсь, улыбнулся и старикъ, сомнительно качая головой и приговаривая: „Поди-ты вонъ. эки чудеса.“

„Экой безпорядокъ,“ скажутъ многіе; но пусть же они вспомнятъ, что только этотъ безпорядокъ и дѣлаетъ возможною жизнь въ Россіи.

ГЛАВА XVI.

Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ.

Средь этихъ уродливыхъ и сальныхъ, мелкихъ и отвратительныхъ лицъ и сценъ, дѣлъ и заголовковъ, въ этой канцелярской рамѣ и приказной обстановкѣ, вспоминаются мнѣ печальныя, благородныя черты художника, задавленнаго правительствомъ съ холодной и безчувственной жестокостью.

Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведеніе въ колыбели, не только уничтожила самое творчество художника, запутавъ его въ судебныя продѣлки и слѣдственные полицейскія уловки, но она попыталась съ послѣднимъ кускомъ хлѣба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада.

Раззоривъ, опозоривъ А. Л. Витберга, Николай его сослалъ въ Вятку. Тамъ мы встрѣтились съ нимъ.

Два года съ половиной я прожилъ съ великимъ художникомъ и видѣлъ, какъ подъ бременемъ гоненій и несчастій, разлагался этотъ сильный человѣкъ, нависшій жертвою приказно-казарменнаго самовластія, тупо мѣряющаго все на свѣтѣ рекрутской мѣркой и канцелярской линейкой.

Нельзя сказать, чтобъ онъ легко сдался, онъ отчаянно боролся цѣлыхъ десять лѣтъ, онъ пріѣхалъ въ ссылку еще въ надеждѣ одолѣть враговъ, оправдаться, онъ пріѣхалъ, словомъ, еще готовый на борьбу, съ пла-

нами и предположеніями. Но тутъ онъ разглядѣлъ, что все кончено.

Можетъ быть, онъ сладилъ бы и съ этимъ открытіемъ, но возлѣ стояла жена, дѣти, а впереди представлялись годы ссылки, нужды, лишеній, и Витбергъ сѣдѣлъ, сѣдѣлъ, старѣлъ, старѣлъ не по днямъ, а по часамъ. Когда я его оставилъ въ Виткѣ черезъ два года, онъ былъ десятью годами старше.

Вотъ повѣсть этого длиннаго мученичества.

Императоръ Александръ не вѣрилъ своей побѣдѣ надъ Наполеономъ, ему было тяжело отъ славы и онъ откровенно относилъ ее къ Богу. Всегда наклонный къ мистицизму и сумрачному расположенію духа, въ которомъ многіе видѣли угрызенія совѣсти, онъ особенно предался ему послѣ ряда побѣдъ надъ Наполеономъ.

Когда „последній непріятельскій солдатъ переступилъ границу,“ Александръ издалъ манифестъ, въ которомъ давалъ обѣтъ воздвигнуть въ Москвѣ огромный храмъ во имя Спасителя.

Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурсъ.

Витбергъ былъ тогда молодымъ художникомъ, окончившимъ курсъ и получившимъ золотую медаль за живопись. Шведъ по происхожденію, онъ родился въ Россіи и сначала воспитывался въ горномъ кадетскомъ корпусѣ. Восторженный, эксцентрическій и преданный мистицизму артистъ; артистъ читаетъ манифестъ, читаетъ вызовы—и бросаетъ всѣ свои занятія. Дни и ночи бродитъ онъ по улицамъ Петербурга, мучимый неотступной мыслию, она сильнѣе его, онъ запирается въ своей комнатѣ, беретъ карандашъ и работаетъ.

Ни одному человѣку не довѣрилъ артистъ своего замысла. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ труда, онъ ѣдетъ

въ Москву изучать городъ, окрестности, и снова работаетъ, мѣсяцы цѣлые скрываясь отъ глазъ и скрывая свой проэктъ.

Пришло время конкурса. Проэктовъ было много, были проэктъ изъ Италіи и изъ Германіи, наши академики представили свои. И неизвѣстный молодой человѣкъ представилъ свой чертежъ въ числѣ прочихъ. Недѣли прошли, прежде чѣмъ императоръ занялся планами. Это были сорокъ дней въ пустынѣ, дни искуса, сомнѣній и мучительнаго ожиданія.

Колоссальный, исполненный религіозной поэзіи проэктъ Витберга поразилъ Александра. Онъ остановился передъ нимъ и объ немъ первомъ спросилъ, кѣмъ онъ представленъ. Распечатали пакетъ и нашли неизвѣстное имя ученика академіи.

Александръ захотѣлъ видѣть Витберга. Долго говорилъ онъ съ художникомъ. Смѣлый и одушевленный языкъ его, дѣйствительное вдохновеніе, которымъ онъ былъ проникнутъ, и мистическій колоритъ его убѣжденій поразили императора. „Вы камнями говорите,“ замѣтилъ онъ, снова разсматривая проэктъ.

Въ тотъ же день проэктъ былъ утвержденъ и Витбергъ назначенъ строителемъ храма и директоромъ коммиссіи о постройкѣ. Александръ не зналъ, что вмѣстѣ съ лавровымъ вѣнкомъ онъ надѣваетъ и терновый на голову артиста.

Нѣтъ ни одного искусства, которое было бы родище мистицизму какъ зодчество; отвлеченное, геометрическое, нѣмо музыкальное, безстрастное, оно живетъ символически, образомъ, намекомъ. Простыя линіи, ихъ гармоническое сочетаніе, ритмъ, числовыя отношенія представляютъ нѣчто таинственное и съ тѣмъ вмѣстѣ неполное. Зданіе, храмъ не заключаютъ сами въ себѣ

своей цѣли, какъ статуя или картина, поэма или симфонія; зданіе ищетъ обитателя, это очерченное, расчищенное мѣсто, это обстановка, броня черепахи, раковина моллюска — именно въ томъ-то и дѣло, чтобъ содержащее такъ соотвѣтствовало духу, цѣли, жильцу, какъ панцырь черепахѣ. Въ стѣнахъ храма, въ его сводахъ и колоннахъ, въ его порталѣ и фасадѣ, въ его фундаментѣ и куполѣ должно быть отпечатлѣно божество, обитающее въ немъ, такъ какъ извивы мозга отпечатлѣваются на костяномъ черепѣ.

Египетскіе храмы были ихъ священныя книги. Обелиски — проповѣди на большой дорогѣ.

Соломоновъ храмъ — построенная библія. Такъ какъ храмъ святаго Петра — построенный выходъ изъ католицизма, начало свѣтскаго міра, начало растриженія рода человѣческаго.

Самое построеніе храмовъ было всегда такъ полно мистическихъ обрядовъ, иносказаній, таинственныхъ посвященій, что средневѣковые строители считали себя чѣмъ-то особеннымъ, какимъ-то духовенствомъ, преемниками строителей Соломонова храма, и составляли между собой тайныя артели каменщиковъ, перешедшія въ послѣдствіи въ масонство.

Собственно мистическій характеръ зодчество теряетъ съ вѣками Возстановленія. Христіанская вѣра борется съ философскимъ сомнѣніемъ, готическая стрѣла съ греческимъ фронтономъ, духовная святиня съ свѣтской красотой. По этому-то храмъ св. Петра и имѣетъ такое высокое значеніе, въ его колоссальныхъ размѣрахъ христіанство рвется въ жизнь, церковь становится языческая и Бонаротти рисуетъ на стѣнѣ сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечимъ атлетомъ, Геркулесомъ въ цвѣтѣ лѣтъ и силы.

Послѣ храма св. Петра зодчество церквей совсѣмъ пало и свелось наконецъ на простое повтореніе въ разныхъ размѣрахъ, то древнихъ греческихъ *периптеровъ*, то церкви св. Петра.

Одинъ Пареевонъ назвали церковь св. Магдалины въ Парижѣ. Другой биржей въ Нью-Йоркѣ.

Безъ вѣры и безъ особыхъ обстоятельствъ трудно было создать что нибудь живое; всѣ новыя церкви дышали натяжкой, лицемѣріемъ, анахронизмомъ, какъ пятиглавыя *судки* съ луковками вмѣсто пробоковъ на индовизантійскій манеръ, которые строитъ Николай съ Тонемъ, или какъ угловатая готическія, оскорбляющія аристократическій глазъ церкви, которыми англичане украшаютъ свои города.

Но именно обстоятельства, при которыхъ Витбергъ сочинилъ свой прое́ктъ, его личность и настроеніе императора выходили изъ ряда вонъ.

Война 1812 года сильно потрясла умы въ Россіи, долго послѣ освобожденія Москвы не могли устояться волнующіяся мысли и нервное раздраженіе. Событія вѣ Россіи, взятіе Парижа, исторія ста дней, ожиданія, слухи, Ватерло, Наполеонъ, плывущій за Океанъ, трауръ по убитымъ родственникамъ, страхъ за живыхъ, возвращающихся войска, ратники, идущіе домой, все это сильно дѣйствовало на самыя грубыя натуры. Представьте же себѣ артиста-юношу, мистика, художника, одареннаго творческой силой и притомъ фанатика, подъ вліяніемъ совершающагося, подъ вліяніемъ царскаго вызова и своего собственнаго генія.

Вблизи Москвы между Можайской и Калужской дорогой небольшая возвышенность царитъ надъ всѣмъ городомъ. Это тѣ Воробьевы горы, о которыхъ я упоминалъ въ первыхъ воспоминаніяхъ юности. Весь го-

родъ стелется у ихъ подошвы, съ ихъ высотъ одинъ изъ самыхъ изящныхъ видовъ на Москву. Здѣсь стоялъ плачущій Іоаннъ Грозный, тогда еще молодой развратникъ, и смотрѣлъ, какъ горѣла его столица; здѣсь явился передъ нимъ іерей Сильвестръ и строгимъ словомъ пересоздалъ на двадцать лѣтъ геніальнаго изверга.

Эту гору обогнулъ Наполеонъ съ своей арміей, тутъ переломилась его сила, отъ подошвы Воробьевыхъ горъ началось отступленіе.

Можно ли было найти лучше мѣсто для храма въ память 1812 года, какъ дальнѣйшую точку, до которой достигнулъ непріятель?

Но это еще мало, надобно было самую гору превратить въ нижнюю часть храма — поле до рѣки обнять колонадой и на этой базѣ, построенной съ трехъ сторонъ самой природой, поставить второй и третій храмъ, представлявшіе удивительное единство.

Храмъ Витберга, какъ главный догматъ христіанства, тройствененъ и нераздѣленъ.

Нижній храмъ, изсѣченный въ горѣ, имѣлъ форму параллелограмма, гроба, тѣла; его наружность представляла тяжелый порталъ, поддерживаемый почти египетскими колоннами; онъ пропадалъ въ горѣ, въ дикой необработанной природѣ. Храмъ этотъ былъ освѣщенъ лампами въ этрурійскихъ высокихъ канделабрахъ, дневной свѣтъ скудно падалъ въ него изъ втораго храма, проходи сквозъ прозрачный образъ рождества. Въ этой криптѣ должны были покоиться всѣ герон, падшіе въ 1812 году, вѣчная панихида должна была служить о убитенныхъ на полѣ битвы, по стѣнамъ должны были быть изсѣчены имена всѣхъ ихъ, отъ полководцевъ до рядовыхъ.

На этомъ гробѣ, на этомъ кладбищѣ разбрасывался во всѣ стороны равноконечный греческій крестъ втораго храма—храма распростертыхъ рукъ, жизни, страданій, труда. Колонада, ведущая къ нему, была украшена статуями вѣтхозавѣтныхъ лицъ. При входѣ стояли пророки. Они стояли вѣ храма, указывая путь, по которому имъ идти не пришлось. Внутри этого храма была вся евангельская исторія и исторія апостольскихъ дѣяній.

Надъ нимъ, вѣнчая его, оканчивая и заключая, былъ третій храмъ въ видѣ ротонды. Этотъ храмъ, ярко освѣщенный, былъ храмъ духа, невозмущаемаго покоя, вѣчности, выражавшейся кольцеобразнымъ его планомъ. Тутъ не было ни образовъ, ни изваяній, только снаружи онъ былъ окруженъ вѣнкомъ архангеловъ и накрытъ колоссальнымъ куполомъ.

Я теперь передаю на память главную мысль Витберга, она у него была разработана до мелкихъ подробностей и вездѣ совершенно послѣдовательно христіанской теодицеѣ и архитектурному изяществу.

Удивительный человѣкъ, онъ всю жизнь работалъ надъ своимъ проэктомъ. Десять лѣтъ подсудимости онъ занимался только имъ, гонимый бѣдностью и нуждой въ ссылкѣ, онъ всякій день посвящалъ нѣсколько часовъ своему храму. Онъ жилъ въ немъ, онъ не вѣрилъ что его не будутъ строить: воспоминанія, утѣшенія—слава, все было въ этомъ портфелѣ артиста.

Быть можетъ когда нибудь другой художникъ, послѣ смерти страдальца, стряхнетъ пыль съ этихъ листовъ и съ благочестіемъ издастъ этотъ архитектурный мартирологъ за которымъ прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освѣщенная яркимъ свѣтомъ и затертая, раздавленная потомъ, понашимся между царемъ фельд-

фебелемъ, крѣпостными сенаторами и министрами-писцами.

Проектъ былъ геніаленъ, страшенъ, безуменъ; оттого-то Александръ его выбралъ, оттого-то его и слѣдовало исполнить. Говорятъ, что гора не могла вынести этого храма. Я не вѣрю этому. Особенно если мы вспомнимъ всѣ новыя средства инженеровъ въ Америкѣ и Англіи, эти тунели въ восемь минутъ ѣзды, цѣнные мосты и пр.

Милорадовичъ совѣтовалъ Витбергу толстыя колонны нижняго храма сдѣлать монолитныя изъ гранита. На это кто-то замѣтилъ графу, что провозъ изъ Финляндіи будетъ очень дорого стоить. „Именно по этому-то и надобно ихъ выписать, отвѣчалъ онъ, еслибъ гранитная каменоломня была въ Москвѣ рѣкѣ, что за чудо бы ихъ поставить.“

Милорадовичъ былъ воинъ-поэтъ и потому понималъ вообще поэзію. Грандіозныя вещи дѣлаются грандіозными средствами.

Одна природа дѣлаетъ великое даромъ.

Главное обвиненіе, падающее на Витберга со стороны даже тѣхъ, которые никогда не сомнѣвались въ его чистотѣ: за чѣмъ онъ принялъ мѣсто директора; онъ, неопытный артистъ, молодой человѣкъ, ничего не смыслившій въ канцелярскихъ дѣлахъ? Ему слѣдовало ограничиться ролей архитектора. Это правда.

Но такія обвиненія легко поддерживать, сиди у себя въ комнатѣ. Онъ именно потому и принялъ, что былъ молодъ, не опытенъ, артистъ; онъ принялъ — потому, что послѣ принятія его проекта ему казалось все легко; онъ принялъ — потому, что самъ царь предлагалъ ему, ободрялъ его, поддерживалъ. У кого не закружилась бы голова?... гдѣ эти трезвые люди, умѣренные, воздерж-

ные? да если и есть, то они не дѣлають колосальныхъ проэктовъ и не заставляютъ „говорить каменья!“

Само собою разумѣется, что Витберга окружила толпа плутовъ, людей, принимающихъ Россію — за аферу, службу—за выгодную сдѣлку, мѣсто — за счастливый случай нажиться. Не трудно было понять, что они подъ ногами Витберга выкопають яму. Но для того, чтобъ онъ упавши въ нее, не могъ изъ нея выйти, для этого нужно было еще, чтобъ къ воровству прибавилась зависть однихъ, оскорбленное честолюбіе другихъ.

Товарищами Витберга въ комиссіи были: митрополитъ Филаретъ, московскій генераль-губернаторъ, сенаторъ Кушниковъ; всѣ они впередъ были разобижены товариществомъ съ молокососомъ, да еще притомъ смѣло говорящимъ свое мнѣніе и возражающимъ, если не согласенъ.

Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потомъ.

Этому способствовало сначала паденіе мистическаго министерства князя А. Н. Голицына, потомъ смерть Александра.

Вмѣстѣ съ министерствомъ Голицына пали масонство, библейскія общества, лютеранскій піэтизмъ, которые въ лицѣ Магницкаго въ Казани и Рунича въ Петербургѣ, дошли до безграничной уродливости, до дикихъ преслѣдованій, до судорожныхъ плясокъ, до состоянія кликушъ и богъ знаетъ какихъ чудесъ.

Съ своей стороны дикое, грубое, невѣжественное православіе взяло верхъ. Его проповѣдывалъ новгородскій архимандритъ Фотій, жившій въ какой-то — разумѣется нетелѣсной — близости съ графиней Орловой. Дочь знаменитаго Алексѣя Григорьевича, задушившаго Петра III, думала искупить душу отца, отдавая Фотію

и его обители большую часть несмѣтнаго имѣнья, насильственно отнятаго у монастырей Екатериной, и предаваясь неистовому изуверству.

Но въ чемъ петербургское правительство постоянно, чему оно не измѣняетъ, какъ бы не мѣнялись его начала, его религія, это—несправедливое гоненіе и преслѣдованія. Неистовство Руничей и Магницкихъ обратилось на Руничей и Магницкихъ. Библейское общество, —вчера покровительствуемое и одобряемое, опора нравственности и религіи — сегодня закрыто, запечатано и поставлено на одну доску чуть не съ фальшивыми монетчиками; „Сіонскій вѣстникъ,“ вчера рекомендованный всѣмъ отцамъ семейства—запрещенъ больше Вольтера и Дидро, и его издатель Лабзинъ сосланъ въ Вологду.

Паденіе князя А. Н. Голицына увлекло Витберга; все опрокидывается на него, коммиссія жалуется, митрополитъ огорченъ, генераль-губернаторъ недоволенъ. Его отвѣты „дерзки“ (въ его дѣлѣ *дервозтъ* поставлена въ одно изъ главныхъ обвиненій); его подчиненные *воруютъ* — какъ будто кто-нибудь находящійся на службѣ въ Россіи не воруетъ. Впрочемъ вѣроятно, что у Витберга воровали больше чѣмъ у другихъ; онъ не имѣлъ никакой привычки завѣдывать смирительными домами и классными ворами.

Александръ велѣлъ Аракчееву разобрать дѣло. Ему было жаль Витберга, онъ передалъ ему черезъ одного изъ своихъ приближенныхъ, что онъ увѣренъ въ его правотѣ.

Но Александръ умеръ и Аракчеевъ палъ. Дѣло Витберга при Николаѣ приняло тотчасъ худшій видъ. Оно тянулось *десять лѣтъ* съ невѣроятными нелѣпостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой,

отвергаются Сенатомъ. Пункты, въ которыхъ оправдываетъ палата, ставятся въ вину Сенатомъ. Комитетъ министровъ принимаетъ всѣ обвиненія. Государь, пользуясь „лучшей привилегіей царей миловать и уменьшать наказанія,“ прибавляетъ къ приговору — ссылку на Вятку.

И такъ Витбергъ отправился въ ссылку, отрѣшенный отъ службы „за злоупотребленіе довѣренности императора Александра и за ущербы нанесенные казѣ;“ на него насчитываютъ миллионъ, кажется, рублей, берутъ все имѣнье, продаютъ все съ публичнаго торга, и пускаютъ слухъ, что онъ перевелъ видимо-не-видимо денегъ въ Америку.

Я жилъ съ Витбергомъ въ одномъ домѣ два года и послѣ остался до самаго отъѣзда постоянно въ сношеніяхъ съ нимъ. Онъ не спасъ насущнаго куска хлѣба; семья его жила въ самой страшной бѣдности.

Для характеристики этого дѣла и всѣхъ подобныхъ въ Россіи я приведу двѣ небольшія подробности, которыя у меня особенно остались въ памяти.

Витбергъ купилъ для работъ рощу у купца Лобанова; прежде чѣмъ началась рубка, Витбергъ увидѣлъ другую рощу, тоже Лобанова, ближе къ рѣкѣ и предложилъ ему промѣнять проданную для храма на эту. Купецъ согласился. Роща была вырублена, лѣсъ сплавленъ. Впослѣдствіи зандобилась другая роща и Витбергъ снова купилъ первую. Вотъ знаменитое обвиненіе въ двойной покупке одной и той-же рощи. Бѣдный Лобановъ былъ посаженъ въ острогъ за это дѣло и умеръ тамъ.

Второе дѣло было передъ моими глазами. Витбергъ скупалъ имѣнья для храма. Его мысль состояла въ томъ, чтобъ помѣщичьи крестьяне, купленные съ землею для

храма, обязывались выставить известное число работниковъ, этимъ способомъ они пріобрѣтали полную волю себѣ и деревнѣ. Забавно, что наши сенаторы-помѣщики находили въ этой мѣрѣ какое-то невольничество!

Между прочимъ Витбергъ хотѣлъ купить имѣнье моего отца въ рускомъ уѣздѣ, на берегу Москвы рѣки. Въ деревнѣ былъ найденъ мраморъ и Витбергъ просилъ дозволеніе сдѣлать геологическое изслѣдованіе, чтобы опредѣлить количество его. Отецъ мой позволялъ. Витбергъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Мѣсяца черезъ три, отецъ мой узнаетъ, что ломка камня производится въ огромномъ размѣрѣ, что озимыя поля крестьянъ завалены мраморомъ; онъ протестуетъ, его не слушаютъ. Начинается упорный процессъ. Сначала хотѣли все свалить на Витберга, но по несчастію оказалось, что онъ не давалъ никакого приказа и что все это было сдѣлано комиссіей во время его отсутствія.

Дѣло пошло въ Сенатъ. Сенатъ рѣшилъ къ *общему удивленію* довольно близко къ *здравому смыслу*. Наломанный камень оставить помѣщику, считая ему его въ вознагражденіе за помятыя поля. Деньги истраченныя казной на ломку и работу до ста тысячъ ассигнаціями, взыскать съ подписавшихъ контрактъ о работахъ. Подписавшіеся были: князь Голицынъ, Филаретъ и Кушниковъ. Ризумѣется крикъ, шумъ. Дѣло довели до государя.

У него своя юриспруденція. Онъ велѣлъ освободить виновныхъ отъ платежа, потому, написалъ онъ собственноручно, какъ и напечатано въ сенатской запискѣ „что члены комиссіи не знали что подписывали.“ Положимъ, что митрополитъ по ремеслу долженъ оказывать смиреніе, а каковы другіе-то вельможи, которые

приняли подарокъ такъ учтиво и милостиво мотивированный!

Но откуда же было взять сто тысячъ? казенное добро, говорятъ, ни на огнѣ не горитъ, ни въ водѣ не тонетъ—оно только крадется, могли бы мы прибавить. Чего тутъ задумываться, сейчасъ генераль-адъютанта на почтовыхъ въ Москву разбирать дѣло.

Стрекаловъ все разобралъ, привелъ въ порядокъ, уладилъ и кончилъ въ нѣсколько дней: камень у помѣщика взять за сумму заплаченную за ломку, впрочемъ, если помѣщикъ хочетъ оставить, взыскать съ него сто тысячъ. Особого вознагражденія помѣщику потому не слѣдуетъ, что цѣнность его имѣнія возвысилась открытіемъ новой отрасли богатства (вѣдь это *chef d'œuvre*!) а впрочемъ за помятыя крестьянскія поля *выдать* по закону о затопленныхъ лугахъ и потравленныхъ сѣнокосахъ, утвержденному Петромъ I, столько то копѣекъ съ десятины.

Собственно наказанный въ этомъ дѣлѣ былъ мой отецъ. Не нужно добавлять, что ломка этого камня въ процессъ все таки поставлена на счетъ Витберга.

... Года черезъ два послѣ ссылки Витберга, вятское купечество вознамѣрилось построить новую церковь.

Желая вездѣ и во всемъ убить всякій духъ независимости, личности, фантазіи, воли, Николай издалъ цѣлый томъ церковныхъ фасадовъ *высочайше* утвержденныхъ. Кто бы ни хотѣлъ строить церковь, онъ долженъ непременно выбрать одинъ изъ казенныхъ плановъ. Говорятъ, что онъ-же запретилъ писать русскія оперы, находя, что даже писанныя въ III отдѣленіи собственной канцеляріи флигель-адъютантомъ Львовымъ, никуда не годятся. Но это еще мало, ему бы издать собраніе высочайше утвержденныхъ мотивовъ.

Вятское купечество, перебирал „апробованные“ планы, имѣло смѣлость не быть согласнымъ со вкусомъ государя. Проектъ вятскаго купечества удивилъ Николая, онъ утвердилъ его и велѣлъ предписать губернскому начальству, чтобъ при исполненіи не исказили мысли архитектора.

— Кто дѣлалъ этотъ проектъ? спросилъ онъ статсъ-секретаря.

— Витбергъ, в. в.

— Какъ, тотъ Витбергъ?

— Тотъ самый, в. в.

И вотъ Витбергу какъ свѣгъ на голову разрѣшеніе возвратиться въ Москву или Петербургъ. Человѣкъ просилъ позволеніе оправдаться — ему отказали; онъ сдѣлалъ удачный проектъ—государь велѣлъ его воротить, какъ будто кто-нибудь сомнѣвался въ его художественной способности.....

Въ Петербургѣ, погибая отъ бѣдности, онъ сдѣлалъ послѣдній опытъ защитить свою честь. Онъ вовсе не удался. Витбергъ просилъ объ этомъ князя А. Н. Голицына, но князь не считалъ возможнымъ поднимать снова дѣло и совѣтовалъ Витбергу написать пожалобнаѣ письмо къ наслѣднику, съ просьбой о денежномъ вспоможеніи. Онъ общался съ Жуковскимъ хлопотать и сулилъ рублей тысячу серебромъ.

Витбергъ отказался.

Въ 1846 въ началѣ зимы, я былъ въ послѣдній разъ въ Петербургѣ и видѣлъ Витберга. Онъ совершенно гибнулъ даже его прежній гнѣвъ противъ его враговъ, который я такъ любилъ, сталъ потухать; надеждъ у него не было больше, онъ ничего не дѣлалъ, чтобъ выйти изъ своего положенія, ровное отчаяніе dokonчило

его, существованіе сломилось на всѣхъ составахъ. Онъ ждалъ смерти.

Если этого хотѣлъ Николай Павловичъ, то онъ можетъ быть доволенъ.

Живъ-ли страдалецъ?—не знаю, но сомнѣваюсь.

— Еслибъ не семья, не дѣти — говорилъ онъ мнѣ прощаясь—я вырвался бы изъ Россіи и пошелъ бы по міру; съ моимъ владимірскимъ крестомъ на шеѣ, спокойно протягивалъ бы я прохожимъ руку, которую жалъ императоръ Александръ—разсказывая имъ мой прозекъ и судьбу художника въ Россіи!

Судьбу твою мученикъ — думалъ я — узнаютъ въ Европѣ, я тебя за это отвечаю.

Близость съ Витбергомъ была мнѣ большимъ облегченіемъ въ Вяткѣ. Серьезная ясность и пѣкаторая торжественность въ манерахъ придавали ему что-то духовное. Онъ былъ очень чистыхъ нравовъ и вообще скорѣе склонился къ аскетизму, чѣмъ къ наслажденіямъ; но его строгость ничего не отнимала отъ роскоши и богатства его артистической натуры. Онъ умѣлъ своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изысканный колоритъ, что возраженіе замирало на губахъ, жалъ было анализировать, разлагать мерцающіе образы и туманныя картины его фантазій.

Мистицизмъ Витберга лежалъ долею въ его скандинавской крови, это та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видимъ въ Шведенборгѣ, похожая въ свою очередь на огненное отраженіе солнечныхъ лучей, падающихъ на ледяныя горы и снѣга Норвегіи.

Вліяніе Витберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все таки верхъ. Мнѣ не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно

земнымъ человѣкомъ. Отъ моихъ рукъ не вертятся столы и отъ моего взгляда не качаются кольца. Дневной свѣтъ мысли мнѣ роди́те луннаго освѣщенія фантазій.

Но именно въ ту эпоху, когда и жилъ съ Витбергомъ, я болѣе чѣмъ когда нибудь былъ расположенъ къ мистицизму.

Разлука, ссылка, религіозная экзальтація писемъ, получаемыхъ мною, любовь, сильнѣе и сильнѣе обнимавшая всю душу, и вмѣстѣ гнетущее чувство раскаянія, все это помогало Витбергу.

И еще года два послѣ я былъ подъ вліяніемъ идей мистически - соціальныхъ, взятыхъ изъ евангелія и Жанъ-Жака, на манеръ французскихъ мыслителей, въ родѣ Пьера-Леру.

Огаревъ еще прежде меня окунулся въ мистическія волны. Въ 1833, онъ начиналъ писать текстъ для Гебелевой*) ораторіи, „Потерянный рай.“ „Въ идеѣ потеряннаго рая, писалъ мнѣ Огаревъ, заключается вся исторія человѣчества!“ Стало быть, въ то время и онъ *отыскиваемый рай* идеала принималъ за утраченный.

Я въ 1838 году написалъ въ соціально-религіозномъ духѣ историческія сцены, которыя тогда принималъ за драмы. Въ однихъ я представлялъ борьбу древняго міра съ христіанствомъ; тутъ Павелъ, входя въ Римъ, воскрешалъ мертвѣго юношу къ новой жизни. Въ другихъ борьбу, официальной церкви съ квекерами и отъѣздъ Уильяма-Пена въ Америку, въ новый свѣтъ.**)

*) Гебель, извѣстный композиторъ того времени.

**) Я эти сцены, не понимая почему, вздумалъ написать *стихами*. Вѣроятно я думалъ, что всякій можетъ писать пятистопнымъ ямбомъ безъ рیمъ, если самъ Погодинъ писалъ имъ. Въ 1839 или 40 году я далъ объ тетрадка Бѣлинскому и спокойно ждалъ похвалы. Но Бѣлинскій на другой день прислалъ мнѣ ихъ съ запиской, въ которой писалъ: „вели, пожалуйста, переписать сплошь, не

Мистицизмъ науки вскорѣ замѣнилъ во мнѣ евангельскій мистицизмъ; по счастію отдѣлался я и отъ втораго.

Но возвратимся въ нашъ скромный Хлыновъ городокъ, переименованный не знаю зачѣмъ, развѣ изъ финскаго патріотизма, Екатериной II въ Вятку.

Въ этомъ захолустѣ вятской ссылки, въ этой грязной средѣ чиновниковъ, въ этой печальной дали, разлученный со всѣмъ дорогимъ, безъ защиты отданный во власть губернатора, я провелъ много чудныхъ, святыхъ минутъ, встрѣтилъ много горячихъ сердецъ и дружескихъ рукъ.

Гдѣ вы? Что съ вами, подсаѣжные друзья мои? Двадцать лѣтъ мы не видались. Чай, состарѣлись вы, какъ я, дочерей выдаете за мужъ, не пьете больше бутылками шампанское и стаканчикомъ на ножкѣ наливку. Кто изъ васъ разбогатѣлъ, кто раззорился, кто въ чинахъ, кто въ параличѣ? А главное, жива ли у васъ память объ нашихъ смѣлыхъ бесѣдахъ, живы ли тѣ струны, которыя такъ сильно сотрясались любовью и *ислюдованіемъ*.

Я остался тотъ же, вы это знаете; чай, долѣтаютъ до васъ вѣсти съ береговъ Темзы. Иногда вспоминаю

отмѣчая стиховъ, я тогда съ охотой прочту, а теперь мнѣ все изшаетъ мысль, что это стихи."

Убилъ Бѣлинскій обѣ попытки драматическихъ сценъ. Долгъ красенъ платежами. Въ 1841, Бѣлинскій помѣстилъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ длинный разговоръ о литературѣ: „Какъ тебѣ правится моя послѣдняя статья?“ спросилъ онъ меня, обѣдая *en petit comité* у Дюсо. „Очень,“ отвѣчалъ я, все что ты говоришь превосходно, но скажи, пожалуйста, какъ же ты могъ биться два часа говорить съ этимъ человѣкомъ, не догадавшись съ перваго слова, что онъ дуракъ? И въ самомъ дѣлѣ такъ—сказалъ, помирай со смѣху, Бѣлинскій—ну, братъ, зарѣзалъ! вѣдь совершенный дуракъ!

вась, всегда съ любовью; у меня есть нѣсколько писемъ того времени, нѣкоторыя изъ нихъ мнѣ ужасно дороги и я люблю ихъ перечитывать.

„Я не стыжусь тебѣ признаться, писалъ мнѣ 26 Января 1838 одинъ юноша, что мнѣ очень горько теперь. Помоги мнѣ ради той жизни, къ которой призвалъ меня, помоги мнѣ своимъ совѣтомъ. *Я хочу учиться*, назначь мнѣ книги, назначь что хочешь, я употреблю все силы, дай мнѣ ходъ—на тебѣ будетъ грѣхъ, если ты оттолкнешь меня.“

„Я тебя благословляю, пишетъ мнѣ другой, вслѣдъ за моимъ отъѣздомъ, какъ земледѣлецъ благословляетъ дождь, оживотворившій его неудобренную почву.“

Не изъ суетнаго чувства выписалъ я эти строки, а потому что онѣ мнѣ очень дороги. За эти юношескіе призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную въ нихъ *тоску*, можно было примириться съ девятымѣсячной тюрьмой и трехлѣтней жизнью въ Вяткѣ.

А тутъ два раза въ недѣлю приходила въ Вятку московская почта; съ какимъ волненіемъ дождался я возлѣ почтовой конторы, пока разберутъ письма, съ какимъ трепетомъ ломалъ я печать и искалъ въ письмѣ изъ дома, нѣтъ-ли маленькой записочки, на тонкой бумагѣ, писанной удивительно мелкимъ и изящнымъ шрифтомъ.

И я не читалъ ее въ почтовой конторѣ, а тихо шелъ домой, отдавая минуту чтенія, наслаждаясь одной мыслию, что письмо *есть*.

Эти письма все сохранились. Я ихъ оставилъ въ Москвѣ. Ужасно хотѣлось бы перечитать ихъ и страшно коснуться...

Письма больше чѣмъ воспоминанья, на нихъ запек-

лась кровь событий, это само прошедшее, какъ оно было, задержанное и нетлѣнное.

... Нужно-ли еще разъ знать, видѣть, касаться сморщившимися отъ старости руками до своего вѣнчальнаго убора?...

ГЛАВА XVIII.

Наслѣдникъ въ Вяткѣ—Паденіе Тюфяева—Переводъ во Владимірѣ
Исправникъ на слѣдствіи.

Наслѣдникъ будетъ въ Вяткѣ! Наслѣдникъ ѣдетъ по Россіи, чтобъ себя ей показать и ее посмотреть! Новость эта занимала всѣхъ, но всѣхъ болѣе, разумѣется, губернатора. Онъ затормошился и надѣлалъ рядъ невѣроятныхъ глупостей, велѣлъ мужикамъ по дорогѣ быть одѣтыми въ праздничные кафтаны, велѣлъ въ городахъ перекрасить заборы и перечинить тротуары. Въ Орловѣ, бѣдная вдова, владѣлица небольшого дома, объявила городничему, что у нея нѣтъ денегъ на поправку тротуара, городничій донесъ губернатору. Губернаторъ велѣлъ у нея розобрать полы, (тротуары тамъ деревянные), а буде не достанетъ, сдѣлать поправку на казенный счетъ, и взыскать потомъ съ нея деньги, хотя бы для этого слѣдовало продать домъ съ публичнаго торга. До продажи не дошло, а полы у вдовы сломали.

Верстахъ въ пятидесяти отъ Вятки находится мѣсто, на которомъ явилась новгородцамъ чудотворная икона Николая Хлыновскаго. Когда новгородцы поселились

въ Хлыновѣ (Вяткѣ), они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой рѣкѣ въ 50 верстахъ отъ Вятки; Новогородцы опять перенесли ее, но съ тѣмъ вмѣстѣ дали обѣтъ, если икона останется, ежегодно носить ее торжественнымъ ходомъ на Великую рѣку, кажется 23 Мая. Это главный лѣтній праздникъ въ вятской губерніи. За сутки отправляется икона на богатомъ досчаникѣ по рѣкѣ, съ нею архіерей и все духовенство въ полномъ облаченіи. Сотни всякаго рода лодокъ, досчаниковъ, комягъ, наполненныхъ крестьянами и крестьянками, вотяками, мѣщанами, пестро двигаются за плывущимъ образомъ. И впереди всѣхъ губернаторская расшива, покрытая краснымъ сукномъ. Дикое зрѣлище это очень недурно. Десятки тысячъ народа изъ близкихъ и дальнихъ уѣздовъ ждутъ образа на Великой рѣкѣ. Все это кочуетъ шумными толпами около небольшой деревни — и что всего страннѣе, толпы некрещенныхъ вотяковъ и черемисъ, даже татаръ, приходятъ молиться иконѣ. За то и праздникъ имѣетъ чисто-языческій видъ. За монастырской стѣной вотяки, русскіе приносятъ на жертву барановъ и телятъ, ихъ тутъ-же бьютъ, іеромонахъ читаетъ молитвы, благословляетъ и святитъ мясо, которое подаютъ въ особое окно съ внутренней стороны ограды. Мясо это раздаютъ по кускамъ народу. Встарь давали его даромъ, теперь монахи берутъ нѣсколько копѣекъ за каждый кусокъ. Такъ что мужикъ, подарившій цѣлаго теленка, долженъ истратить грошъ-другой, чтобъ получить кусокъ себѣ на снѣдь. На монастырскомъ дворѣ сидятъ цѣлыя толпы нищихъ, калѣкъ, слѣпыхъ, всякихъ уродовъ, которые хоромъ поютъ „Лазаря.“ Молодые поповичи и мѣщанскіе мальчики сидятъ на надгробныхъ памятникахъ около церкви съ чернильницей

и кричатъ: „кому памяти писать, кому памяти.“ Бабы и дѣвки окружаютъ ихъ, сказывая имена, мальчишки, ухорски скрипя перомъ, повторяютъ „Марью, Марью, Акулину, Степаниду, Отца Іоанна, Матрену — нутка тетушка твоихъ, твоихъ-то—вишь отколола грошъ, меньше пятака взять нельзя, родни-то, родни-то — Іоанна, Василису, Іону, Марью, Евпраксію, младенца Катерину...“

Въ церкви толкотня и странныя предпочтенія, одна баба передаетъ сосѣду свѣчку съ точнымъ порученіемъ поставить „гостю,“ другая „хозяину.“ Вятскіе монахи и дьяконы постоянно пьяны во все время этой процессіи. Они по дорогѣ останавливаются въ большихъ деревняхъ и мужики ихъ подчуютъ на убой.

Вотъ этотъ-то народный праздникъ, къ которому крестьяне привыкли вѣками, переставилъ было губернаторъ, желая имъ потѣшить Наслѣдника, который долженъ былъ пріѣхать 19 Мая, что за бѣда, кажется, если Николай *юсть* тремя днями раньше придетъ къ *хозяину*. На это надобно было согласіе архіерея; по счастью архіерей былъ человѣкъ сговорчивый и не нашелъ ничего возразить противъ губернаторскаго намѣренія отпраздновать 23 Мая 19-го.

Рядъ ловкихъ мѣръ своихъ для пріема Наслѣдника губернаторъ послалъ къ государю — посмотрите, молъ, какъ сына угощаемъ. Государь, прочитавши, взбѣсился и сказалъ министру внутреннихъ дѣлъ: „губернаторъ и архіерей дураки, оставить праздникъ какъ былъ.“ Министръ намылилъ голову губернатору, Синодъ архіереемъ и Николай-гость остался при своихъ привычкахъ.

Между разными распоряженіями изъ Петербурга велѣно было въ каждомъ губернскомъ городѣ пригото-

вить выставку всякаго рода произведеній и издѣлій края и расположить ее по тремъ царствамъ природы. Это раздѣленіе по царствамъ очень затруднило канцелярію и даже отчасти Тюфиева. Чтобъ не ошибиться, онъ рѣшился, не смотря на свое неблагоприятное положеніе, позвать меня на совѣтъ. Ну на примѣръ медь, говоритъ онъ — куда принадлежитъ медь? Или золоченая рама, какъ опредѣлить, куда она относится? Увидя изъ моихъ отвѣтовъ, что я имѣю удивительно точныя свѣдѣнія о трехъ царствахъ природы, онъ предложилъ мнѣ заняться расположеніемъ выставки.

Пока я занимался размѣщеніемъ деревянной посуды и вотскихъ нарядовъ, меда и чугунныхъ рѣшетокъ, а Тюфиевъ продолжалъ брать свирѣпшія мѣры для вящаго удовольствія „Его высочества,“ оно изволило прибыть въ Орловъ и громовая вѣсть объ арестѣ орловскаго городничаго разнеслась по городу. Тюфиевъ пожелтѣлъ и какъ-то невѣрно началъ ступать ногами.

Дней за пять до пріѣзда Наслѣдника въ Орловъ, городничій писалъ Тюфиеву, что вдова, у которой полъ сломали, шумить, и что купецъ такой-то, богатый и знаемый въ городѣ человѣкъ, похваляется что все Наслѣднику скажетъ, Тюфиевъ на счетъ его распорядился очень умно, онъ велѣлъ городничему заподозрить его сумашедшимъ (примѣръ Петровскаго ему понравился) и представить для свидѣтельства въ Вятку; пока бы дѣло длилось, Наслѣдникъ уѣхалъ бы изъ вятской губерніи, тѣмъ дѣло и кончилось бы. Городничій все исполнилъ; купецъ былъ въ вятской больницѣ.

Наконецъ Наслѣдникъ пріѣхалъ. Сухо поклонился Тюфиеву, не пригласилъ его, и тотчасъ послалъ доктора Енохина свидѣтельствовать арестованнаго купца.

Все ему было извѣстно. Орловская вдова свою просьбу подала, другіе купцы и мѣщане рассказали все что дѣлалось. Тюфиевъ еще на два градуса перекосялся. Дѣло было не хорошо. Городничій прямо сказать, что онъ на все имѣлъ письменныя приказанія отъ губернатора.

Докторъ Енохинъ увѣрилъ, что купецъ совершенно здоровъ. Тюфиевъ былъ потерянъ.

Въ восьмомъ часу вечера, Наслѣдникъ съ свитой явился на выставку, Тюфиевъ повелъ его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о какомъ-то царѣ Тохтамышѣ. Жуковскій и Арсеньевъ, видя что дѣло не идетъ на ладъ, обратились ко мнѣ съ просьбой показать имъ выставку. Я повелъ ихъ.

Видъ Наслѣдника не выражалъ той узкой строгости, той холодной, безпощадной жестокости, какъ видъ его отца; черты его скорѣе показывали добродушіе и вялость. Ему было около двадцати лѣтъ, но онъ уже начиналъ толстѣть.

Нѣсколько словъ, которыя онъ сказалъ мнѣ, были ласковы, безъ хриплага, отрывистаго тона Константина Павловича, безъ отцовской привычки испугать слушающаго до обморока.

Когда онъ уѣхалъ, Жуковскій и Арсеньевъ стали меня спрашивать какъ я попалъ въ Витку, ихъ удивилъ языкъ порядочнаго человѣка въ витскомъ губернскомъ чиновникѣ. Они тотчасъ предложили мнѣ сказать Наслѣднику объ моемъ положеніи, и дѣйствительно они сдѣлали все, что могли. Наслѣдникъ представилъ государю о разрѣшеніи мнѣ ѣхать въ Петербургъ. Государь отвѣчалъ что это было бы несправедливо относительно другихъ сосланныхъ, но, взявъ во вниманіе представленіе Наслѣдника, велѣлъ меня перевести во

Владимиръ, это было географическое улучшение, 700 верстъ меньше. Но объ этомъ послѣ.

Вечеромъ былъ балъ въ благородномъ собраніи. Музыканты, нарочно выписанные съ одного изъ заводовъ, пріѣхали мертвецки-пьяные; губернаторъ распорядился, чтобъ ихъ заперли за сутки до бала и прямо изъ полиціи конвоировали на хоры, откуда не выпускали никого до окончанія бала.

Балъ былъ глушь, неловокъ. слишкомъ бѣденъ и слишкомъ пестръ, какъ всегда бываетъ въ маленькихъ городкахъ при чрезвычайныхъ случаяхъ. Полицейскіе суетились, чиновники въ мундирахъ жались къ стѣнѣ, дамы толпились около Наслѣдника въ томъ родѣ какъ дикіе окружаютъ путешественниковъ..... Кстати объ дамахъ, въ одномъ городкѣ былъ приготовленъ послѣ выставки „гута.“ Наслѣдникъ ничего не бралъ, кромѣ одного персика, котораго кость онъ бросилъ на окно. Вдругъ изъ толпы чиновниковъ отдѣляется высокая фигура, налитая спиртомъ, земскаго засѣдателя, извѣстнаго забуддыга, который мѣрными шагами отправляется къ окну, беретъ кость и кладетъ ее въ карманъ.

Послѣ бала или *гута*, засѣдатель подходитъ къ одной изъ значительныхъ дамъ и предлагаетъ высочайше обглоданную косточку, дама въ восхищеніи. Потомъ онъ отправляется къ другой, потомъ къ третьей, — всѣ въ восторгѣ.

Засѣдатель купилъ нять персиковъ, вырѣзалъ косточки и осчастливилъ шесть дамъ. У кого настоящая? Всѣ подозреваютъ истинность своей косточки.....

Тюфяевъ, послѣ отъѣзда Наслѣдника, готовился съ стѣсненнымъ сердцемъ промѣнять пашалыкъ на сенаторскія кресла—но вышло хуже.

Недѣли черезъ три почта привезла изъ Петербурга

бумаги на имя „управляющаго губерніей.“ Въ канцеляріи все переполошилось. Регистраторъ губернскаго правленія приближалъ сказать, что у нихъ полученъ указъ. Правитель дѣлъ бросился къ Тюфяеву, Тюфяевъ сказался больнымъ и не поѣхалъ въ присутствіе.

Черезъ часъ мы узнали, онъ былъ отставленъ—*same phrase.*

Весь городъ былъ радъ паденію губернатора, управленіе его имѣло въ себѣ что-то удушливое, нечистое, затхло-приказное, и, не смотря на то, все таки гадко было смотрѣть на ликованіе чиновниковъ.

Да, не одинъ осель ударилъ конькомъ этого раненаго вепри. Людская подлость и тутъ показалась не меньше какъ при паденіи Наполеона, не смотря на разницу діаметровъ. Все послѣднее время я былъ съ нимъ въ открытой ссорѣ, и онъ непременно услалъ бы меня въ какой нибудь заштатный городъ Кай, еслибъ его не прогнали самого. Я удалился отъ него и мнѣ нечего было мѣнять въ моемъ поведеніи относительно его. Но другіе, вчера снимавшіе шляпу, завидя его карету, гладѣвшіе ему въ глаза, улыбавшіеся его шипцу, подчивавшіе табакомъ его камердинера—теперь едва кланялись съ нимъ и кричали во весь голосъ противъ безпорядковъ, которые онъ дѣлалъ *вмѣстѣ съ ними.* Все это старо и до того постоянно повторяется изъ вѣка въ вѣкъ, и вездѣ, что намъ слѣдуетъ эту низость принять за обще-человѣческую черту, и по крайней мѣрѣ не удивляться ей.

Явился новый губернаторъ. Это былъ человѣкъ совершенно въ другомъ родѣ. Высокій, толстый и рыхло-лимфатическій мушкетеръ, лѣтъ около пятидесяти съ пріятно улыбающимся лицомъ и съ образованными манерами. Онъ выражался съ необычайной граматической

правильностью, пространно, подробно, съ ясностью, которая въ состояніи была своей излишностью затемнить простѣйшій предметъ. Онъ былъ ученикъ Лицея товарищъ Пушкина, служилъ въ гвардіи, покупалъ новыя французскія книги, любилъ бесѣдовать о предметахъ важныхъ и далъ мнѣ книгу Токвиля о демократіи въ Америкѣ, на другой день послѣ пріѣзда.

Перемѣна была очень рѣзка. Тѣ же комнаты, та же мебель, а на мѣстѣ татарскаго баскака, съ тунгусской наружностью и сибирскими привычками — доктринеръ, нѣсколько педантъ, но все же порядочный человекъ. Новый губернаторъ былъ уменъ, но умъ его какъ-то свѣтилъ, а не грѣлъ, въ родѣ яснаго зимняго дня — пріятнаго, но отъ котораго плодовъ не дождешься. Къ тому же онъ былъ страшный формалистъ—формалистъ не приказный—а какъ бы это выразить?..... его формализмъ былъ второй степени; но столько же скучный, какъ и всѣ прочіе.

Такъ какъ новый губернаторъ былъ въ самомъ дѣлѣ женатъ, губернаторскій домъ утратилъ свой ультра-холостой и полигамическій характеръ. Разумѣется, это обратило всѣхъ совѣтниковъ къ совѣтницамъ; плѣшивые старики не хвастались побѣдами „на счетъ клубники,“ а напротивъ нѣжно отзывались о завялыхъ, жестко и угловато костлявыхъ, или заплывшихъ жиромъ до невозможности пускать кровь—супругахъ своихъ.

Корниловъ былъ назначенъ за нѣсколько лѣтъ передъ пріѣздомъ въ Вятку, прямо изъ семеновскихъ или измайловскихъ полковниковъ, куда-то гражданскимъ губернаторомъ. Онъ пріѣхалъ на воеводство, вовсе не зная дѣла. Сначала, какъ всѣ новички, онъ принялся все читать, вдругъ ему попалась бумага изъ другой губерніи, которую онъ, прочитавши два раза, три раза—не понялъ.

Онъ позвалъ секретаря и далъ ему прочесть. Секретарь тоже не могъ ясно изложить дѣла.

— Что-же вы сдѣлаете съ этой бумагой, спросилъ его Корниловъ, если я ее передамъ въ канцелярію?

— Отправлю въ третій столъ, это по третьему столу.

— Стало быть столоначальникъ третьяго стола знаетъ что дѣлать?

— Какъ-же в. п., ему не знать? онъ седьмой годъ правитъ столомъ.

— Позовите его ко мнѣ.

Пришелъ столоначальникъ. Корниловъ, отдавая ему бумагу, спросилъ, что надобно сдѣлать. Столоначальникъ пробѣжалъ на-скоро дѣло и доложилъ, что-де въ казенную палату слѣдуетъ сдѣлать запросъ и исправнику предписать.

— Да что предписать?

Столоначальникъ затруднился и наконецъ признался, что это трудно такъ разсказать, а что написать легко.

— Вотъ стулъ прошу васъ написать отвѣтъ.

Столоначальникъ принялся за перо и, не останавливаясь, бойко настрочилъ двѣ бумаги.

Губернаторъ взялъ ихъ, прочелъ, прочелъ разъ, и два ничего понять нельзя. „Я увидѣлъ, разсказывалъ онъ, улыбаясь, что это дѣйствительно былъ отвѣтъ на ту бумагу и, благословясь, подписалъ. Никогда болѣе не было помину объ этомъ дѣлѣ — бумага была вполне удовлетворительна.“

Вѣсть о моемъ переводѣ во Владиміръ пришла передъ рождествомъ — я скоро собрался и пустился въ путь.

Съ вятскимъ обществомъ я растался тепло. Въ этомъ дальнемъ городѣ, я нашелъ двухъ-трехъ искреннихъ пріятелей между молодыми кунцами.

Всѣ хотѣли на перерывъ показать изгнаннику участіе и дружбу. Нѣсколько саней провожали меня до первой станціи, и сколько я ни защищался, въ мою повозку наставили цѣлый грузъ всякихъ припасовъ и винъ. На другой день я пріѣхалъ въ Иранскъ.

Отъ Иранска дорога идетъ безконечными сосновыми лѣсами. Ночи были лунныя и очень морозныя, небольшія пошевни неслись по узенькой дорогѣ. Такихъ лѣсовъ я послѣ никогда не видалъ, они идутъ такимъ образомъ, не прерываясь до Архангельска, изрѣдка по нимъ забѣгаютъ олени въ вятскую губернію. Лѣсъ большей частью строевой. Сосны, чрезвычайной прямизны, шли мимо саней какъ солдаты, высокія и покрытыя снѣгомъ, изъ подъ котораго торчали ихъ черныя хвои какъ щетина—и заснешь и опять проснешься, а полки сосенъ все идутъ быстрыми шагами, стряхивая иной разъ снѣгъ. Лошадей мѣняють въ маленькихъ разчищенныхъ мѣстахъ, домишко потерянный за деревьями, лошади привязаны къ столбу, бубенчики позваниваютъ, два-три черемисскихъ мальчика въ шитыхъ рубашкахъ выбѣгутъ заспанные, ямщикъ вотякъ какимъ-то силнымъ альтомъ поругается съ товарищемъ, покричитъ „Айда,“ запоетъ пѣсню въ двѣ ноты... и опять сосны, снѣгъ—снѣгъ, сосны...

При самомъ выѣздѣ изъ вятской губерніи мнѣ еще пришлось проститься съ чиновническимъ міромъ, и онъ pour la clôture явился во всемъ блескѣ.

Мы остановились у станціи, ямщикъ сталъ откладывать, высокій мужикъ показался въ сѣняхъ и спросилъ: кто проѣзжаетъ?

— А тебѣ что за дѣло?

— А то дѣло, что исправникъ велѣлъ узнать, а я разсылной при земскомъ судѣ.

— Ну, такъ ступай-же въ станціонную избу, тамъ моя подорожная.

Мужикъ ушелъ и черезъ минуту воротился, говоря ямщику: не давать ему лошадей.

Это было черезъ край. Я соскочилъ съ саней и пошелъ въ избу. Полушьяный исправникъ сидѣлъ на лавкѣ и диктовалъ полушьяному писарю. На другой лавкѣ въ углу сидѣлъ или лучше лежалъ человѣкъ съ скованными ногами и руками. Нѣсколько бутылокъ, стаканы, табачная зола и кипы бумагъ, были разбросаны.

— Гдѣ исправникъ? сказать я громко входя.

— Исправникъ здѣсь, отвѣчалъ мнѣ полушьяный Лазаревъ, котораго я видѣлъ въ Вяткѣ. При этомъ онъ дерзко и грубо уставилъ на меня глаза—и вдругъ бросился ко мнѣ съ распростертыми объятіями.

Надобно при этомъ вспомнить, что послѣ смѣны Тюфяева чиновники, видя мои довольно хорошія отношенія съ новымъ губернаторомъ, начинали меня побаиваться.

Я остановилъ его рукою и спросилъ очень серьезно: Какъ вы могли велѣть, чтобъ мнѣ не давали лошадей? что это за вздоръ на большой дорогѣ останавливать проѣзжихъ?

— Да я пошутилъ, помилуйте—какъ вамъ не стыдно сердиться! лошадей, вели лошадей, что ты тутъ стоишь, разбойникъ! закричалъ онъ разсылному.

— Сдѣлайте одолженіе, выкушайте чашку чаю съ ромомъ

— Покорно благодарю.

— Да иѣтъ-ли у насъ шампанскаго... Онъ бросился къ бутылкамъ, всѣ были пусты.

— Что вы тутъ дѣлаете?

— Слѣдствіе-съ, вотъ молодчикъ-то топоромъ убилъ отца и сестру родную, изъ-за ссоры, да по ревности.

— Такъ это вы вмѣстѣ и пируете?

Исправникъ замился. Я взглянулъ на черемиса, онъ былъ лѣтъ двадцати, ничего свирѣпаго не было въ его лицѣ, совершенно восточномъ, съ узенькими, сверкающими глазами, съ черными волосами.

Все это вмѣстѣ такъ было гадко, что я вышелъ опять на дворъ. Исправникъ выбѣжалъ вслѣдъ за мной, онъ держалъ въ одной рукѣ рюмку, въ другой бутылку рома и приставалъ ко мнѣ, чтобъ я выпилъ.

Чтобы отвязаться отъ него, я выпилъ. Онъ схватилъ меня за руку и сказалъ: Виновать, ну виновать, что дѣлать! но я надѣюсь, вы не скажете объ этомъ его превосходительству, не погубите благороднаго человѣка. При этомъ исправникъ *схватилъ мою руку и поцѣловалъ* ее, повторяя десять разъ: ей богу, не погубите благороднаго человѣка. Я съ отвращеніемъ отдернулъ руку и сказалъ ему: Да ступайте вы къ себѣ, нужно мнѣ очень рассказывать.

— Да чѣмъ-же бы мнѣ услужить вамъ?

— Посмотрите, чтобъ поскорѣе закладывали лошадей.

— Живѣй, закричалъ онъ, Айда, Айда! и самъ сталъ подергивать какія-то веревки и ремешки у упряжи.

Случай этотъ сильно врѣзался [въ мою память. Въ 1846 г., когда я былъ въ послѣдній разъ въ Петербургѣ, нужно мнѣ было сходить въ канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ, гдѣ я хлопоталъ о пасѣ. Пока я толковалъ съ столоначальникомъ, прошелъ какой-то господинъ..... дружески пожимая руку магнатамъ канцеляріи, снисходительно кланяясь столоначальникамъ.

Фу, чортъ возьми, подумалъ я, да неужели это онъ!—
Кто это?

— Лазаревъ, чиновникъ особыхъ порученій при министрѣ и въ большой силѣ.

— Былъ онъ въ вятской губерніи исправникомъ?

— Былъ.

— Поздравляю васъ, господа, девять лѣтъ тому назадъ онъ цѣловалъ мнѣ руку.

Перовскій мастеръ выбирать людей!

ГЛАВА XVIII.

Начало Владимірской жизни.

... Когда я вышелъ садиться въ повозку въ Космодеміанскѣ, сани были заложены по русски, тройка въ рядъ, одна въ корню, двѣ на пристяжкѣ, коренная въ дугѣ весело звонила колокольчикомъ.

Въ Перми и Вяткѣ закладываютъ лошадей гуськомъ, одну передъ другой или двѣ въ рядъ, а третью впереди.

Такъ сердце и стукнуло отъ радости, когда я увидѣлъ нашу упряжь.

— Нутка, нутка, покажи намъ свою прыть, сказалъ я молодому парню, лихо сидѣвшему на облучкѣ въ нагольномъ тулупѣ и негнибаемыхъ рукавицахъ, которые едва ему позволяли на столько сблизить пальцы, чтобъ взять пяти-алтынный изъ моихъ рукъ.

— Уважимъ-съ, уважимъ-съ. Эй вы, голубчики!—ну баринъ, сказалъ онъ, обращаясь вдругъ ко мнѣ, ты только держись, туда гора, такъ я коней-то пушу. Это

былъ крутой съѣздъ къ Волгѣ, по которой шелъ зимній трактъ.

Дѣйствительно, коней онъ пустилъ. Сани не ѣхали, а какъ-то цѣликомъ прыгали съ права на лѣво, и съ лѣва на право, лошади мчали подъ гору, ямщикъ былъ смертельно доволенъ, да, грѣшный человѣкъ, и я самъ — русская натура.

Такъ въѣзжалъ я на почтовыхъ въ 1838 годъ — въ лучшій, въ самый свѣтлый годъ моей жизни. Расскажу вамъ нашу первую встрѣчу съ нимъ.

Верстахъ въ 80 отъ Нижняго, взошли мы, т. е. я и мой камердинеръ Матвѣй, обогрѣться къ станціонному смотрителю. На дворѣ было очень морозно, и къ тому же вѣтрено. Смотритель худой, болѣзненный и жалкой наружности человѣкъ, записывалъ подорожную, самъ себѣ диктуя каждую букву и все таки ошибаясь. Я снялъ шубу и ходилъ по комнатѣ въ огромныхъ мѣховыхъ сапогахъ, Матвѣй грѣлся у каленой печи, смотритель бормоталъ, деревянные часы постукивали разбитымъ и слабымъ звукомъ...

— Посмотрите—сказалъ мнѣ Матвѣй, скоро двѣнадцать часовъ, вѣдь новый годъ-съ. Я принесу, прибавилъ онъ, полувопросительно глядя на меня, что-нибудь изъ запаса, который намъ въ Вяткѣ поставили, и не дожидаясь отвѣта бросился доставать бутылки и какой то кулечикъ.

Матвѣй, о которомъ я еще буду говорить впоследствии, былъ больше нежели слуга; онъ былъ моимъ пріятелемъ, меньшимъ братомъ. Московскій мѣщанинъ отданный Зоненбергу, съ которымъ мы тоже познакомимся, на изученіе переплетнаго искусства, въ которомъ впрочемъ Зоненбергъ не былъ особенно свѣдущъ, онъ перешелъ ко мнѣ.

Я зналъ, что мой отказъ огорчилъ бы Матвѣя, да и самъ въ сущности ничего не имѣлъ противъ почтоваго праздника... Новый годъ своего рода станція.

Матвѣй принесъ ветчину и шампанское.

Шампанское оказалось замерзнувшимъ въ густую; ветчину можно было рубить топоромъ, она вся блистала отъ льдинокъ; но *à la guerre comme à la guerre*.

„Съ новымъ годомъ! Съ новымъ счастьемъ!“ — въ самомъ дѣлѣ, съ новымъ счастьемъ. Развѣ я не былъ на возвратномъ пути? всякій часъ приближалъ меня къ Москвѣ,—сердце было полно надеждъ.

Мороженное шампанское не то чтобъ слишкомъ нравилось зрителю, я прибавилъ ему въ вино полстакана рома. Это новое *half and half* имѣло большой успѣхъ.

Ямщикъ, котораго я тоже пригласилъ, былъ еще радикальнѣе, онъ насыпалъ перцу въ стаканъ пѣннаго вина, размѣшалъ ложкой, выпилъ разомъ, болѣзненно вздохнулъ и нѣсколько со стономъ прибавилъ: „славно огорчило!“

Смотритель самъ усадилъ меня въ сани и такъ усердно хлопоталъ, что уронилъ въ сѣно зажженную свѣчу и не могъ ее потомъ найти. Онъ былъ очень въ духѣ и повторялъ: „Вотъ и меня вы сдѣлали съ новымъ годомъ—вотъ и съ новымъ годомъ!“

Огорченный ямщикъ тронулъ лошадей...

На другой день часовъ въ восемь вечера пріѣхалъ я во Владиміръ и остановился въ гостиницѣ чрезвычайно вѣрно описанной въ „Тарантасѣ“, съ своей курицей „съ рысью“, хлѣбнымъ—патише и съ уксусомъ вмѣсто бордо.

— Васъ спрашивалъ какой-то человѣкъ сегодня утромъ, онъ никакъ дожидается въ полливной, сказали

миѣ, прочитавъ въ подорожной мое имя, половой, съ тѣмъ ухорскимъ пробормомъ и отчаяннымъ вискомъ, которыми отличались прежде одни русскіе полове, а теперь полове и Людовикъ Наполеонъ.

Я не могъ понять, кто бы это могъ быть.

— Да вотъ и они-съ, прибавилъ половой, стороясь. Но явился сначала не человекъ, а страшной величины подносъ, на которомъ было много всякаго добра: куличъ и баранки, апельсины и яблоки, яйца, миндаль, изюмъ... а за подносомъ виднѣлась сѣдая борода и голубые глаза старосты изъ владимірской деревни моего отца.

— Гаврило Семенычъ! воскликнулъ я и бросился его обнимать. Это былъ *первый* человекъ изъ нашихъ, изъ прежней жизни, котораго я встрѣтилъ послѣ *тюрьмы и ссылки*. Я не могъ насмотрѣться на умнаго старика и наговориться съ нимъ. Онъ былъ для меня представителемъ близости къ Москвѣ, къ дому, къ друзьямъ, онъ три дня тому назадъ всѣхъ видѣлъ, отъ всѣхъ привезъ поклонны... Стало, не такъ-то далеко! *)

*) Отрывокъ изъ этой главы, начинающійся съ слѣдующей строчки и до конца (за исключеніемъ послѣднихъ четырехъ строчекъ) былъ напечатанъ въ *Полярной Звѣздѣ* кн. III, стр. 120. Ему предшествовало слѣдующее вступленіе, выпущенное въ первомъ томѣ "Былокъ и Думъ." Изд.

"Ну прощай,— писалъ я къ Natalie— прощай городъ, въ которомъ прошли почти три года моей жизни, прощай Вятка, благословеніе изнаника на тебя, за твою пріятность, за дружбу, которой я былъ окруженъ. Во Владиміръ вся жизнь моя будетъ посвящена тебѣ, тамъ буду я очищать душу и издали молиться тебѣ. Такъ или-инымъ останавливается, не доходя до Иерусалима идѣ нибудь въ Емаусъ, просить прощенія за прошедшее и приоткрывается. Это будутъ мои сорокъ дней въ пустынь."

Я сдержалъ слово, съ самою пріязнью моею во Владиміръ, жизнь сложилась иначе, нежели въ Вяткѣ. Моя небольшая квартира близъ Золотыхъ Воротъ, скорее походила на келью монаха, нежели на бер-

Губернаторъ Курута, умный грекъ, хорошо зналъ людей и давно успѣлъ охладѣть къ добру и злу. Мое положеніе онъ понялъ тотчасъ и не дѣлалъ ни малѣйшаго опыта меня притѣснять. О канцеляріи не было и помину, онъ поручилъ мнѣ съ однимъ учителемъ гимназій завѣдывать *Губернскими Вѣдомостями*, въ этокъ состояла вся служба.

Дѣло это было мнѣ знакомое, я уже въ Вяткѣ поставилъ на ноги неофициальную часть вѣдомостей и помѣстилъ въ нее разъ статейку, за которую чуть не попалъ въ бѣду мой преемникъ. Описывая празднество на „Великой рѣкѣ“, я сказалъ, что баранину, приносимую на жертву Николаю Хлыновскому, встары годы раздавали бѣднымъ, а нынче продаютъ. Архіерей разгнѣвался, и губернаторъ насилу уговорилъ его оставить дѣло.

Губернскія вѣдомости были введены въ 1837 году. Оригинальная мысль приучать къ гласности въ странѣ молчанія и нѣмоты пришла въ голову министру внутреннихъ дѣлъ Блудову. Блудовъ, извѣстный какъ продолжатель исторіи Карамзина, не написавшій ни строки далѣе, и какъ сочинитель Доклада слѣдственной комиссіи послѣ 14 Декабря, котораго было бы лучше совсѣмъ не писать, принадлежалъ къ числу государственныхъ доктринеровъ, явившихся въ концѣ александровскаго царствованія. Это были люди умные, образованные, честные, состарившіеся и выслужившіеся

лоу провинціального льва. Да я и не былъ львомъ во Владимирѣ. Никакое пошлое разспяніе не шло отъ юлову, рука поддерживавшая меня, служившая мнѣ правительственной опорой была ближе. Письма приходили на другой день, казалось, бумага еще была тепла, пульсъ руки чувствовался на ней; слѣдъ взгляда, обращеннаго на строчки, казалось не успѣлъ пройти.....

„арзамаскіе гуси;“ они умѣли писать по русски, были патріоты и такъ усердно занимались отечественной исторіей, что не имѣли досуга заняться серьезно современностью. Всѣ они чтили незабвенную память Н. М. Карамзина, любили Жуковского, знали на память Крылова и ѣздили въ Москву бесѣдовать къ И. И. Дмитріеву, въ его домъ на Садовой, куда и я ѣзживалъ къ нему студентомъ, вооруженный романтическими предразсудками, личнымъ знакомствомъ съ Н. Полевымъ и затаеннымъ чувствомъ неудовольствія, что Дмитріевъ, будучи поэтомъ, былъ министромъ юстиціи. Отъ нихъ много надѣялись, они ничего не сдѣлали, какъ вообще доктринеры всѣхъ странъ. Можетъ быть, имъ и удалось бы оставить слѣдъ болѣе прочный при Александрѣ; но Александръ умеръ и они остались при своемъ *желаніи* дѣлать что-нибудь путное.

Въ Монако на надгробномъ памятникѣ одного изъ владѣтельныхъ князей написано: „Здѣсь покойся Флорестанъ такой-то — онъ *хотѣлъ* дѣлать добро своимъ подданнымъ!“*) Наши доктринеры тоже желали дѣлать добро, если не своимъ, то подданнымъ Николая Павловича, но счетъ былъ составленъ безъ хозяина. Не знаю, кто помѣшалъ Флорестану, но имъ помѣшалъ нашъ Флорестанъ. Имъ пришлось быть соприкосновенными во всѣхъ ухудшеніяхъ Россіи и ограничиваться ненужными нововведеніями, перемѣнами формъ, названій. Всякій начальникъ у насъ считаетъ высшей обязанностію нѣтъ-нѣтъ да и представить какой-нибудь проектъ, измѣненіе, обыкновенно къ худшему, но иногда просто безразлично. Секретаря въ канцеляріи губернатора напр. сочли нужнымъ назвать правителемъ дѣлъ,

*) Il a voulu le bien de ses sujets.

а секретаря губернскаго правленія оставили безъ перевода на русскій языкъ. Я помню, что министр юстиціи подавалъ проэктъ о необходимыхъ измѣненіяхъ мундировъ гражданскихъ чиновниковъ. Проэктъ этотъ начинался какъ-то величаво и торжественно: „Обративъ въ особенности вниманіе на недостатокъ единства въ шитьѣ и покроѣ нѣкоторыхъ мундировъ гражданского вѣдомства и взявъ въ основаніе“ и т. д.

Одержимый тою же болѣзнію проэктовъ, министр внутреннихъ дѣлъ *замѣнилъ* земскихъ засѣдателей становыми приставами. Засѣдатели жили по городамъ и наѣзжали въ деревни. Становые иногда съѣзжаются въ городъ, но постоянно живутъ въ деревнѣ. Всѣ крестьяне такимъ образомъ были отданы подъ надзоръ полиціи, и это при полномъ знаніи, какое хищное, плотоядное, развратное существо нашъ полицейскій чиновникъ. Блудовъ ввелъ полицейскаго въ тайны крестьянскаго промысла и богатства, въ семейную жизнь, въ мірскія дѣла и черезъ это коснулся послѣдняго убѣжища народной жизни. По счастью, деревень у насъ очень много, а становыхъ бываетъ два на уѣздъ.

Почти въ то же время, тотъ же Блудовъ выдумалъ *Губернскія Вѣдомости*. У насъ правительство, презирая всякую грамотность, имѣетъ большія притязанія на литературу, и въ то время, какъ въ Англіи напр. совсѣмъ нѣтъ казенныхъ журналовъ, у насъ каждое министерство издаетъ свой, академія и университеты свой. У насъ есть журналы горные и соляные, французскіе и нѣмецкіе, морскіе и сухонутные. Все это издается на казенный счетъ, подряды статей дѣлаются въ министерствахъ, такъ какъ подряды на дрова и свѣчи, только безъ переторжки; недостатка въ общихъ отчетахъ, выдуманныхъ цифрахъ и фантастическихъ вы-

водахъ не бываетъ. Взявши всѣ монополи, правительство взяло и монополь болтовни, оно велѣло всѣмъ молчать и стало говорить безъ умолку. Продолжая эту систему, Блудовъ велѣлъ, чтобъ каждое губернское правленіе издавало свои вѣдомости и чтобъ каждая вѣдомость имѣла свою неофициальную часть для статей историческихъ, литературныхъ и пр.

Сказано, сдѣлано, и вотъ пятьдесятъ губернскихъ правленій рвутъ себѣ волосы надъ неофициальной частью. Священники изъ семинаристовъ, доктора медицины, учителя гимназій, всѣ люди, состоящіе въ подозреніи образованія и умѣстнаго употребленія буквы „ѣ“, берутся въ реквизицію. Они думаютъ, перечитываютъ „Библіотеку для чтенія“ и „Отечественныя Записки“, боятся, посягають и, наконецъ, пишутъ статьи.

Видѣть себя въ печати, одна изъ самыхъ сильныхъ искусственныхъ страстей челоѣка, испорченнаго книжнымъ вѣкомъ. Но тѣмъ не меньше рѣшиться на публичную выставку своихъ произведеній не легко, безъ особаго случая. Люди, которые не смѣли бы думать о печатаніи своихъ статей въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, въ петербургскихъ журналахъ, стали печататься у себя дома. А между тѣмъ *наузная* привычка имѣть органъ, привычка къ гласности, укоренилась. Да и со всѣмъ готовое орудіе имѣть не дурно. Типографскій станокъ *тоже* безъ костей.

Товарищъ мой по редакціи былъ кандидатъ нашего университета и одного со мною отдѣленія. Я не имѣю духу говорить о немъ съ улыбкой, такъ горестно онъ кончилъ свою жизнь, а все таки до самой смерти онъ былъ очень смѣшонъ. Далеко не глухой, онъ былъ необыкновенно неуклюжъ и неловокъ. Не только полнѣйшаго безобразія трудно было встрѣтить, но и такого

большаго, т. е. такого растянутаго. Лицо его было вполтора больше обыкновеннаго, и какъ-то шереховато, огромный рыбій ротъ раскрывался до ушей, свѣтлосѣрые глаза были не отѣпены, а скорѣе освѣщены бѣлокурыми рѣсницами, жесткіе волосы скудно покрывали его черепъ и притомъ онъ былъ головою выше меня, сутуловатъ и очень неопрятенъ.

Онъ даже назывался такъ, что часовой во Владиміръ посадилъ его въ караульню за его фамилію. Поздно вечеромъ шелъ онъ, завернутый въ шинель, мимо губернаторскаго дома, въ рукѣ у него былъ ручной телескопъ, онъ остановился и прицѣлился въ какую-то планету; это озадачило солдата, вѣроятно считавшаго звѣзды казенной собственностью. „Кто идетъ?“ закричалъ онъ неподвижно стоявшему наблюдателю. „Небаба,“ отвѣчалъ мой пріитель густымъ голосомъ, не двигаясь съ мѣста.

— Вы не дурачьтесь, отвѣтилъ оскорбленный часовой, и въ должности.

— Да говорю же, что я Небаба!

Солдатъ не вытерпѣлъ и дернулъ звонокъ, явился унтеръ-офицеръ, часовой отдалъ ему астронома, чтобъ свести на гауптвахту. — „Тамъ, молъ, тебя разберутъ, баба ты или нѣтъ.“ Онъ непремѣнно просидѣлъ бы до утра, еслибъ дежурный офицеръ не узналъ его.

Разъ Небаба зашелъ ко мнѣ по утру, чтобъ сказать, что ѣдетъ на нѣсколько дней въ Москву, при этомъ онъ какъ-то умильно лукаво улыбнулся. „Я, сказалъ онъ, заминаюсь, я возвращусь не одинъ!“ Какъ, вы — то есть? — „Да-съ, вступаю въ законный бракъ,“ отвѣтилъ онъ застѣнчиво. Я удивлялся героической отвагѣ женщины, рѣшающейся идти за этого добраго, но ужъ черезъ чуръ некрасиваго человѣка. Но когда черезъ

двѣ-три недѣли, я увидѣлъ у него въ домѣ дѣвочку лѣтъ восемнадцать, не то чтобъ красивую, но смазливенькую и съ живыми глазами, тогда я сталъ смотрѣть на него, какъ на героя.

Мѣсяца черезъ полтора я замѣтилъ, что жизнь моего Казимида шла плохо, онъ былъ подавленъ горемъ, дурно правилъ корректуру, не оканчивалъ своей статьи „о перелетныхъ птицахъ“ и былъ мрачно разсѣянъ; иногда мнѣ казались его глаза заплаканными. Это продолжалось не долго. Разъ, возвращаясь домой черезъ Золотыя Ворота, я увидѣлъ мальчиковъ и лавочниковъ, бѣгущихъ на погостъ церкви, полицейскіе сустились. Пошелъ и я.

Трупъ Небабы лежалъ у церковной стѣны, а возлѣ ружье. Онъ застрѣлился супротивъ оконъ своего дома, на ногѣ оставалась веревочка, которой онъ спустилъ курокъ. Инспекторъ врачебной управы плавно повѣствовалъ окружающимъ, что покойникъ нисколько не мучился; полицейскіе приготавлились нести его въ часть.

... Куда природа свирѣна къ лицамъ. Что и что почувствовалось въ этой груди страдальца, прежде чѣмъ онъ рѣшился своей веревочкой остановить маятникъ, мѣрившій ему дни оскорбленія, дни несчастія. И за что? За то, что отецъ былъ золотушень или мать лимфатична? Все это такъ. Но по какому праву мы требуемъ справедливости, отчета, причинъ — у кого? — у крутящагося урагана жизни?...

Въ тоже время для меня начался новый отдѣлъ жизни... отдѣлъ чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью...

Онъ принадлежитъ къ другой части.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Предисловіе (<i>Н. П. Огареву</i>)	СТР. 1
--	-----------

Часть первая.

Дѣтская и университетъ (1812—1835).

ГЛАВА I.

Моя нянюшка и <i>La grande agnée</i> — Пожаръ Москвы — Мой отецъ у Наполеона — Генералъ Иловайскій — Путешествіе съ французскими плѣнниками — Патріотизмъ К. Кало — Обще управленіе нѣмцемъ — Раздѣлъ — Сенаторъ . . .	7
--	---

ГЛАВА II.

Разговоръ нянюшекъ и бесѣда генераловъ — Ложное положеніе — Русскіе энциклопедисты — Скука — Дѣвчья и передняя — Два нѣмца — Ученіе и чтеніе — Катехизисъ и Евангеліе	29
---	----

ГЛАВА III.

Смерть Александра I и 14 Декабря — Нравственное пробужденіе — Террористъ Вушо — Корчевская кухня . . .	60
--	----

ГЛАВА IV.

Никъ и Воробьевы горы	87
---------------------------------	----

ГЛАВА V.

Подробности домашняго житія — Люди XVIII вѣка въ Россіи — День у насъ въ домѣ — Гости и <i>habitués</i> — Зонепбергъ Камердинеръ и пр.	98
--	----

ГЛАВА VI.

Кремлевская экспедиція — Московскій Университетъ — Хи- микъ—Мы — Маловская исторія — Холера — Филаретъ — Сунгуровское дѣло—В. Пассекъ—Генераль Лиссовскій — Н. А. Полевой	122
--	-----

ГЛАВА VII.

Конецъ курса — Шиллеровскій періодъ — Молодая юность и артистическая жизнь—С. Симонизмъ и Н. Полевой . . .	180
Прибавленіе — А. Полежаевъ	199

Часть вторая.

Тюрьма и ссылка (1834—1838).

ГЛАВА VIII.

Пророчество—Арестъ Огарева — Пожаръ — Московскій либе- раль—М. Ѳ. Орловъ — Кладбище	204
--	-----

ГЛАВА IX.

Арестъ — Добросовѣстный—Канцелярія пречистенскаго част- наго дома—Патріархальный судъ	215
--	-----

ГЛАВА X.

Подъ калачей—Лисабонскій квартальный—Зажигатели . . .	222
---	-----

ГЛАВА XI.

Кругиція казармы — Жандармскія повѣствованія — Офицеры. .	233
---	-----

ГЛАВА XII.

Сладствіе—Голицынъ сен.—Голицынъ юп.—Генераль Стааль —Сентенція—Соколовскій	244
--	-----

ГЛАВА XIII.

Ссылка—Городничій—Волга—Пермь	263
---	-----

ГЛАВА XIV.

Вятка Канцелярія и столовая его превосходительства — К. Я. Тюфяевъ	283
---	-----

ГЛАВА XV.

Чиновники — Сибирскіе генералъ-губернаторы — Хищный полицмейстеръ — Ручный судья — Жареный исправникъ — Равноапостольный татаринъ—Мальчикъ женскаго пола — Картофельный терроръ и пр.	305
---	-----

ГЛАВА XVI.

Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ	338
---	-----

ГЛАВА XVII.

Наслѣдникъ въ Вяткѣ—Паденіе Тюфяева—Переводъ во Владиміръ—Исправникъ на слѣдствіи	356
---	-----

ГЛАВА XVIII.

Начало владимірской жизни	368
-------------------------------------	-----



Stanford University Libraries



3 6105 012 077 108

M
V₁

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

